Мигель де Сервантес Сааведра

Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский. Часть 1



Часть первая

Посвящение



ГЕРЦОГУ БЕХАРСКОМУ, МАРКИЗУ ХИБРАЛЕОНСКОМУ, ГРАФУ БЕНАЛЬКАСАРСКОМУ И БАНЬЯРЕССКОМУ, ВИКОНТУ АЛЬКОСЕРСКОМУ, СЕНЬОРУ КАПИЛЬЯССКОМУ, КУРЬЕЛЬСКОМУ И БУРГИЛЬОССКОМУ

Ввиду того что Вы, Ваша Светлость, принадлежа к числу вельмож, столь склонных поощрять изящные искусства, оказываете радушный и почетный прием всякого рода книгам, наипаче же таким, которые по своему благородству не унижаются до своекорыстного угождения черни, положил я выдать в свет Хитроумного идальго Дон Кихота Ламанчского под защитой достославного имени Вашей Светлости и ныне, с тою почтительностью, какую внушает мне Ваше величие, молю Вас принять его под милостивое свое покровительство, дабы, хотя и лишенный драгоценных украшений изящества и учености, обычно составляющих убранство произведений, выходящих из-под пера людей просвещенных, дерзнул он под сенью Вашей Светлости бесстрашно предстать на суд тех, кто, выходя за пределы собственного невежества, имеет обыкновение при разборе чужих трудов выносить не столько справедливый, сколько суровый приговор, – Вы же, Ваша Светлость, вперив очи мудрости своей в мои благие намерения, надеюсь, не отвергнете столь слабого изъявления нижайшей моей преданности.

Мигель де Сервантес Сааведра

Пролог

Досужий читатель! Ты и без клятвы можешь поверить, как хотелось бы мне, чтобы эта книга, плод моего разумения, являла собою верх красоты, изящества и глубокомыслия. Но отменить закон природы, согласно которому всякое живое существо порождает себе подобное, не в моей власти. А когда так, то что же иное мог породить в темнице[1] бесплодный мой и неразвитый ум, если не повесть о костлявом, тощем, взбалмошном сыне, полном самых неожиданных мыслей, доселе никому не приходивших в голову, – словом, о таком, какого только и можно было породить в темнице, местопребывании всякого рода помех, обиталище одних лишь унылых звуков. Тихий уголок, покой, приветные долины, безоблачные небеса,

журчащие ручьи, умиротворенный дух – вот что способно оплодотворить самую бесплодную музу и благодаря чему ее потомство, едва появившись на свет, преисполняет его восторгом и удивлением. Случается иной раз, что у кого-нибудь родится безобразный и нескладный сын, однако же любовь спешит наложить повязку на глаза отца, и он не только не замечает его недостатков, но, напротив того, в самых этих недостатках находит нечто остроумное и привлекательное и в разговоре с друзьями выдает их за образец сметливости и грации. Я же только считаюсь отцом Дон Кихота, – на самом деле я его отчим, и я не собираюсь идти проторенной дорогой и, как это делают иные, почти со слезами на глазах умолять тебя, дражайший читатель, простить моему детищу его недостатки или же посмотреть на них сквозь пальцы: ведь ты ему не родня и не друг, в твоем теле есть душа, воля у тебя столь же свободна, как у всякого многоопытного мужа, у себя дома ты так же властен распоряжаться, как король властен установить любой налог, и тебе должна быть известна поговорка: «Дай накроюсь моим плащом – тогда я расправлюсь и с королем». Все это избавляет тебя от необходимости льстить моему герою и освобождает от каких бы то ни было обязательств, – следственно, ты можешь говорить об этой истории все, что тебе вздумается, не боясь, что тебя осудят, если ты станешь хулить ее, или же наградят, если похвалишь.

Единственно, чего бы я желал, это чтобы она предстала пред тобой ничем не запятнанная и нагая, не украшенная ни прологом, ни бесчисленным множеством неизменных сонетов, эпиграмм и похвальных стихов, коими обыкновенно открывается у нас книга. Должен сознаться, что хотя я потратил на свою книгу немало труда, однако ж еще труднее было мне сочинить это самое предисловие, которое тебе предстоит прочесть. Много раз брался я за перо и много раз бросал, ибо не знал, о чем писать; но вот однажды, когда я, расстелив перед собой лист бумаги, заложив перо за ухо, облокотившись на письменный стол и подперев щеку ладонью, пребывал в нерешительности, ко мне зашел невзначай мой приятель, человек остроумный и здравомыслящий, и, видя, что я погружен в раздумье, осведомился о причине моей озабоченности, – я же, вовсе не намереваясь скрывать ее от моего друга, сказал, что обдумываю пролог к истории Дон Кихота, что у меня ничего не выходит и что из-за этого пролога у меня даже пропало желание выдать в свет книгу о подвигах столь благородного рыцаря.

– В самом деле, как же мне не бояться законодателя, издревле именуемого публикой, если после стольких лет, проведенных в тиши забвения,[2] я, с тяжким грузом лет за плечами, ныне выношу на его суд сочинение сухое, как жердь, не блещущее выдумкой, не отличающееся ни красотами слога, ни игрою ума, не содержащее в себе никаких научных сведений и ничего назидательного, без выносок на полях и примечаний в конце, меж тем как другие авторы уснащают свои книги, хотя бы даже и светские, принадлежащие к повествовательному роду, изречениями Аристотеля, Платона и всего сонма философов, чем приводят в восторг читателей и благодаря чему эти самые авторы сходят за людей начитанных, образованных и красноречивых? Это еще что, – они вам и Священное писание процитируют! Право, можно подумать, что читаешь кого-нибудь вроде святого Фомы[3] или же другого учителя церкви. При этом они мастера по части соблюдения приличий: на одной странице изобразят вам беспутного повесу, а на другой преподнесут куцую проповедь в христианском духе, до того трогательную, что читать ее или слушать – одно наслаждение и удовольствие. Все это отсутствует в моей книге, ибо нечего мне выносить на поля и не к чему делать примечания; более того: не имея понятия, каким авторам я следовал в этой книге, я не могу предпослать ей по заведенному обычаю хотя бы список имен в алфавитном порядке – список, в котором непременно значились бы и Аристотель, и Ксенофонт, даже Зоил и Зевксид,[4] несмотря на то, что один из них был просто ругатель, а другой художник. Не найдете вы в начале моей книги и сонетов – по крайней мере, сонетов, принадлежащих перу герцогов, маркизов, графов, епископов, дам или же самых знаменитых поэтов. Впрочем, обратись я к двум-трем из моих чиновных друзей, они написали

бы для меня сонеты, да еще такие, с которыми и рядом нельзя было бы поставить творения наиболее чтимых испанских поэтов.

Словом, друг и государь мой, – продолжал я, – пусть уж сеньор Дон Кихот останется погребенным в ламанчских архивах до тех пор, пока небо не пошлет ему кого-нибудь такого, кто украсит его всем, чего ему недостает. Ибо исправить свою книгу я не в состоянии, во-первых, потому, что я не довольно для этого образован и даровит, а во-вторых, потому, что врожденная лень и наклонность к безделью мешают мне устремиться на поиски авторов, которые, кстати сказать, не сообщат мне ничего такого, чего бы я не знал и без них. Вот откуда проистекают мое недоумение и моя растерянность, – все, что я вам рассказал, служит достаточным к тому основанием.

Выслушав меня, приятель мой хлопнул себя по лбу и, разразившись хохотом, сказал:

– Ей-богу, дружище, только сейчас уразумел я, как я в вас ошибался: ведь за время нашего длительного знакомства все поступки ваши убеждали меня в том, что я имею дело с человеком рассудительным и благоразумным. Но теперь я вижу, что мое представление о вас так же далеко от истины, как небо от земли. В самом деле, как могло случиться, что столь незначительные и легко устранимые препятствия смутили и озадачили ваш зрелый ум, привыкший с честью выходить из более затруднительных положений? Ручаюсь, что дело тут не в неумении, а в избытке лени и в вялости мысли. Хотите, я вам докажу, что я прав? В таком случае слушайте меня внимательно, и вы увидите, как я в мгновение ока смету с вашего пути все преграды и восполню все пробелы, которые якобы смущают вас и повергают в такое уныние, что вы уже не решаетесь выпустить на свет божий повесть о славном вашем Дон Кихоте, светоче и зерцале всего странствующего рыцарства.

– Ну так объясните же, – выслушав его, вскричал я, – каким образом надеетесь вы извлечь меня из пучины страха и озарить хаос моего смятения?

На это он мне ответил так:

– Прежде всего у вас вышла заминка с сонетами, эпиграммами и похвальными стихами, которые вам хотелось бы поместить в начале книги и которые должны быть написаны особами важными и титулованными, – это уладить легко. Возьмите на себя труд и сочините их сами, а затем, окрестив, дайте им любые имена: пусть их усыновит – ну хоть пресвитер Иоанн Индийский[5] или же император Трапезундский,[6] о которых, сколько мне известно, сохранилось предание, что это были отменные стихотворцы. Если же дело обстоит иначе и если иные педанты и бакалавры станут шипеть и жалить вас исподтишка, то не принимайте этого близко к сердцу: ведь если даже вас и уличат во лжи, то руку, которою вы будете это писать, вам все-таки не отрубят.

Что касается ссылок на полях – ссылок на авторов и на те произведения, откуда вы позаимствуете для своей книги сентенции и изречения, то вам стоит лишь привести к месту такие сентенции и латинские поговорки, которые вы знаете наизусть, или, по крайней мере, такие, которые вам не составит труда отыскать, – так, например, заговорив о свободе и рабстве, вставьте:

Non bene pro toto libertas venditur auro[7]

и тут же на полях отметьте, что это написал, положим, Гораций или кто-нибудь еще. Зайдет ли речь о всесильной смерти, спешите опереться на другую цитату:

Pallida mors aequo pulsat pede pauperum tabernas

Requmque turres.[8]

Зайдет ли речь о том, что господь заповедал хранить в сердце любовь и дружеское расположение к недругам нашим, – нимало не медля сошлитесь на Священное писание, что доступно всякому мало-мальски сведущему человеку, и произнесите слова, сказанные не кем-либо, а самим господом богом: Ego autem dico vobis: diligite inimicos vestros.[9] Если о дурных

помыслах – снова обратитесь к Евангелию: De corde exeunt cogitationes malae.[10] Если о непостоянстве друзей – к вашим услугам Катон со своим двустишием:

Donee eris felix, multos numerabis amicos.

Tempora si fuerint nubila, solus eris.[11]

И так, благодаря латинщине и прочему тому подобному, вы прослывете по меньшей мере грамматиком, а в наше время звание это приносит немалую известность и немалый доход.

Что касается примечаний в конце книги, то вы смело можете сделать так: если в вашей повести упоминается какой-нибудь великан, назовите его Голиафом, – вам это ничего не будет стоить, а между тем у вас уже готово обширное примечание в таком роде: *Великан Голиаф – филистимлянин, коего пастух Давид в Теревиндской долине поразил камнем из пращи, как о том повествуется в Книге Царств, в главе такой-то.*

Затем, если вы хотите сойти за человека, отлично разбирающегося в светских науках, а равно и за космографа, постарайтесь упомянуть в своей книге реку Тахо, – вот вам еще одно великолепное примечание, а именно: *Река Тахо названа так по имени одного из королей всех Испаний; берет начало там-то и, омывая стены славного города Лиссабона, впадает в Море-Океан;*[12] *существует предположение, что на дне ее имеется золотой песок,* и так далее. Зайдет ли речь о ворах – я расскажу вам историю Кака,[13] которую я знаю назубок; о падших ли женщинах – к вашим услугам епископ Мондоньедский;[14] он предоставит в ваше распоряжение Ламию, Лайду и Флору, ссылка же на него придаст вам немалый вес; о женщинах жестоких – Овидий преподнесет вам свою Медею;[15] о волшебницах ли и колдуньях – у Гомера имеется для вас Калипсо,[16] а у Вергилия – Цирцея;[17] о храбрых ли полководцах – Юлий Цезарь в своих *Записках*[18] предоставит в ваше распоряжение собственную свою персону, а Плутарх[19] наградит вас тьмой Александров. Если речь зайдет о любви – зная два-три слова по-тоскански, вы без труда сговоритесь со Львом Иудеем,[20] а уж от него с пустыми руками вы не уйдете. Если же вам не захочется скитаться по чужим странам, то у себя дома вы найдете трактат Фонсеки[21] *О любви к богу,* который и вас, и даже более искушенных в этой области читателей удовлетворит вполне. Итак, вам остается лишь упомянуть все эти имена и сослаться на те произведения, которые я вам назвал, примечания же и выноски поручите мне: клянусь, что поля вашей повести будут испещрены выносками, а примечания в конце книги займут несколько листов.

Теперь перейдем к списку авторов, который во всех других книгах имеется и которого недостает вашей. Это беда поправимая: постарайтесь только отыскать книгу, к коей был бы приложен наиболее полный список, составленный, как вы говорите, в алфавитном порядке, и вот этот алфавитный указатель вставьте-ка в свою книгу. И если даже и выйдет наружу обман, ибо вряд ли вы в самом деле что-нибудь у этих авторов позаимствуете, то не придавайте этому значения: кто знает, может быть, и найдутся такие простаки, которые поверят, что вы и точно прибегали к этим авторам в своей простой и бесхитростной книге. Следственно, в крайнем случае этот длиннейший список будет вам хоть тем полезен, что совершенно для вас неожиданно придаст книге вашей известную внушительность. К тому же вряд ли кто станет проверять, следовали вы кому-либо из этих авторов или не следовали, ибо никому от этого ни тепло, ни холодно. Тем более что, сколько я понимаю, книга ваша не нуждается ни в одном из тех украшений, которых, как вам кажется, ей недостает, ибо вся она есть сплошное обличение рыцарских романов, а о них и не помышлял Аристотель, ничего не говорил Василий Великий и не имел ни малейшего представления Цицерон. Побасенки ее ничего общего не имеют ни с поисками непреложной истины, ни с наблюдениями астрологов; ей незачем прибегать ни к геометрическим измерениям, ни к способу опровержения доказательств, коим пользуется риторика; она ничего решительно не проповедует и не смешивает божеского с человеческим, какового смешения надлежит остерегаться всякому разумному христианину. Ваше дело подражать природе, ибо чем искуснее автор ей подражает, тем ближе к совершенству его писания. И коль скоро единственная цель вашего сочинения – свергнуть власть рыцарских

романов и свести на нет широкое распространение, какое получили они в высшем обществе и у простонародья, то и незачем вам выпрашивать у философов изречений, у Священного писания – поучений, у поэтов – сказок, у риторов – речей, у святых – чудес; лучше позаботьтесь о том, чтобы все слова ваши были понятны, пристойны и правильно расположены, чтобы каждое предложение и каждый ваш период, затейливый и полнозвучный, с наивозможною и доступною вам простотою и живостью передавали то, что вы хотите сказать; выражайтесь яснее, не запутывая и не затемняя смысла. Позаботьтесь также о том, чтобы, читая вашу повесть, меланхолик рассмеялся, весельчак стал еще веселее, простак не соскучился, разумный пришел в восторг от вашей выдумки, степенный не осудил ее, мудрый не мог не воздать ей хвалу. Одним словом, неустанно стремитесь к тому, чтобы разрушить шаткое сооружение рыцарских романов, ибо хотя у многих они вызывают отвращение, но сколькие еще превозносят их! И если вы своего добьетесь, то знайте, что вами сделано немало.

С великим вниманием слушал я моего приятеля, и его слова так ярко запечатлелись в моей памяти, что, не вступая ни в какие пререкания, я тут же с ним согласился и из этих его рассуждений решился составить пролог, ты же, благосклонный читатель, можешь теперь судить об уме моего друга, поймешь, какая это была для меня удача – в трудную минуту найти такого советчика, и почувствуешь облегчение при мысли о том, что история славного Дон Кихота Ламанчского дойдет до тебя без всяких обиняков, во всей своей непосредственности, а ведь вся Монтьельская округа[22] говорит в один голос, что это был целомудреннейший из любовников и храбрейший из рыцарей, какие когда-либо в том краю появлялись. Однако ж, знакомя тебя с таким благородным и таким достойным рыцарем, я не собираюсь преувеличивать ценность своей услуги; я хочу одного – чтобы ты был признателен мне за знакомство с его славным оруженосцем Санчо Пансою, ибо, по моему мнению, я воплотил в нем все лучшие качества оруженосца, тогда как в ворохе бессодержательных рыцарских романов мелькают лишь разрозненные его черты. Засим молю бога, чтобы он и тебе послал здоровья и меня не оставил. *Vale.*[23]

На книгу о Дон Кихоте Ламанчском Урганда Неуловимая

Если к тем, кто мыслит здра-,
Адресуешься ты, кни-,
Не грозят тебе упре —
В том, что чепуху ты ме-;
Если же неосторож —
Дашься в руки дурале-,
То от них немало вздо —
О самой себе услы-,
Хоть они из кожи ле-,
Чтоб учеными казать-,
Опыт учит: чем пышне —
Древо расцвело на солн-,
Тем под ним в жару прохлад-,
Вот ты в Бехар и отправь-:
Там есть царственное дре-,
На котором принцы зре-,

И блистает между ни —
Герцог, равный Александ-,
В чьей тени ищи прию-.
Смелого удача лю-!
Расскажи о приключень —
Дворянина из Ламан-,
У кого от книг неле —
Ум совсем зашел за ра-.
Дамы, рыцари, турни —
Голову ему вскружи-,
И с Неистовым Ролан-[24]
Стал тягаться он: влюбил —
И решил мечом добить —
Дульсинеи из Тобо-.
Титульный свой лист не взду —
Авторским гербом укра —
В картах лишняя фигу —
Нам очков не прибавля-.
В предисловье будь смирен-,
Пусть об авторе не ска-:
«Он сравниться с Ганниба-,[25]
Альваро де Луной хо-,
Или с королем Францис-,
Свой удел в плену кляну-!»
Раз не столь умен твой ав-,
Как Хуан Латино слав-,
Негр, ученостью извест-,
Щеголять не смей латынь-.
Раз где тонко, там и рвет-,
Древних всуе не цити-,
А не то иной чита —
Разберется, в чем тут де-,
И подумает с улыб-:
«Что же ты меня моро-?»
Бойся длинных описа —
И не лезь героям в ду-,
Ибо там всегда потем-,
А в потемках нету ело-.
Избегай играть слова-:
Острякам дают по шап-,
Но, усилий не жале-,
Добивайся доброй ела-,
Ибо сочинитель глу —

Есть предмет насмешек веч —
Не забудь, что, квартиру —
В доме со стеклянной кры-,
Неразумно брать булыж —
И швыряться им в сосе-;
Что достойный литера-,
Осмотрителен и сдер-,
И что только тот, кто пор —
Безответную бума-,
Чтобы потешать куха-,
Пишет через пень-коло-.

Амадис Галльский Дон Кихоту Ламанчскому

СОНЕТ

Тебе, кому достался тот удел,
Какой познал я сам, когда, влюбленный
И с милою безвинно разлученный,
Над Бедною Стремниною[26] скорбел;
Тебе, кто зной и холод претерпел,
Кто жажду утолял слезой соленой,
Кто, серебра и медяков лишенный,
Дары земли с земли срывал и ел,
Вкушать бессмертье суждено, покуда
Своих коней бичом стремит вперед
В четвертом небе Феб золотокудрый.
Неустрашимым прослывешь ты всюду,
Твоя страна все страны превзойдет,
Всех авторов затмит твой автор мудрый.

Дон Бельянис Греческий Дон Кихоту Ламанчскому

СОНЕТ

Я бил, колол, сражал, крушил, громил,
Мстил тем, кто зло творит, живет обманом,
И ловкостью, отвагой, пылом бранным
Всех странствующих рыцарей затмил.
Хранил я верность той, кому был мил;

Как с карликом, справлялся с великаном;
С оружием прошел по многим странам
И честь свою нигде не посрамил.
Служила мне удача, как рабыня,
И случай я за чуб с собой волок,
По тропам и путям судьбы плутая;
Но хоть меня возносит слава ныне
Намного выше, чем луна свой рог,
Я зависть, Дон Кихот, к тебе питаю.

Сеньора Ориана Дульсинее Тобосской

СОНЕТ

О Дульсинея! Если б только мог
В Тобосо Мирафлорес[27] очутиться
И Лондон мой в твой хутор превратиться,
Я день и ночь благословляла б рок!
О, как хотела б я, чтоб дал мне бог
В твой дивный облик перевоплотиться
И в честь мою на бой быстрее птицы
Летел твой рыцарь, обнажив клинок!
О, если бы невинность соблюла я
И, как тебе стыдливый Дон Кихот,
Мой Амадис остался мне лишь другом,
На зависть всем, но зависти не зная,
Вкушала бы я счастье без забот
И после не страдала б по заслугам!

Гандалин, оруженосец Амадиса Галльского, Санчо Пансе, оруженосцу Дон Кихота

СОНЕТ

Привет, о муж, направленный судьбой
На путь оруженосного служенья,
Который по ее соизволенью
Прошел ты, не вступив ни разу в бой!
Был люб тебе нехитрый заступ твой,
Но странствованьям ратным предпочтенье
Ты отдал и затмил в своем смиренье

Немало тех, кто слишком горд собой.
Упитан твой осел, полны котомки,
И, видя, как ты жизнью умудрен,
Тебе, собрат, завидую я пылко.
Так славься ж, Санчо, чьи дела столь громки,
Что дружески испанский наш Назон
Почтил тебя ударом по затылку!

Балагур, празднословный виршеплет, Санчо Пансе и Росинанту

Санчо Пансе

Я – оруженосец Сан-,
Что с ламанчцем Дон Кихо-,
Возмечтав о легкой жиз-,
В странствования пустил-,
Ибо тягу дать, коль нуж-,
Был весьма способен да —
Вильядьего бессловес-,
Как об этом говорит —
в «Селестине»,[28] книге муд-,
Хоть, пожалуй, слишком воль-.
Росинанту
Я Бабьеки[29] правнук слав-,
Нареченный Росинан-,
Был, служа у Дон Кихо-,
Хил и тощ, как мой хозя-,
Но хоть не блистал проворст-,
А умел овса спрово-,
Столь же ловко, как когда —
Через тонкую солом —
Выдул все вино украд —
Ласарильо[30] у слепо-.

Неистовый Роланд Дон Кихоту Ламанчскому

СОНЕТ

Пусть ты не пэр, но между пэров нет
Такого, о храбрец непревзойденный,

Непобедимый и непобежденный,
Кто бы затмил тебя числом побед.
Я – тот Роланд, который много лет,
С ума красой Анджелики[31] сведенный,
Дивил своей отвагой исступленной
Запомнивший меня навеки свет.
Тебя я ниже, ибо вечной славой
Из нас увенчан только ты, герой,
Хотя безумьем мы с тобою схожи;
Ты ж равен мне, хотя и мавр лукавый,
И дикий скиф укрощены тобой, —
Ведь ты, как я, в любви несчастен тоже.

Рыцарь Феба Дон Кихоту Ламанчскому

СОНЕТ

Учтивейший и лучший из людей!
Твой добрый меч разил врагов так рьяно,
Что, хоть с тобой мы одного чекана,
Ты стал, испанский Феб, меня славней.
Сокровища и власть своих царей
Восточные мне предлагали страны,
Но все отверг я ради Кларидьяны,[32]
Чей дивный лик сиял зари светлей.
Когда я буйствовал в разлуке с нею,
Передо мною даже ад дрожал,
Страшась, чтоб там я всех не покалечил.
Ты ж, Дон Кихот, любовью к Дульсинее
И сам себе бессмертие стяжал,
И ту, кому служил, увековечил.

Солисдан Дон Кихоту Ламанчскому

СОНЕТ

Хоть с головой, сеньор мой Дон Кихот,
У вас от чтенья вздорных книг неладно,
Никто на свете дерзко и злорадно
В поступке низком вас не упрекнет.
Деяньям славным вы забыли счет,
С неправдою сражаясь беспощадно,

За что порой вас колотил изрядно
Различный подлый и трусливый сброд.
И если Дульсинея, ваша дама,
За верность вас не наградила все ж
И прогнала с поспешностью обидной,
Утешьтесь мыслью, что она упряма,
Что Санчо Панса в сводники негож.
А сами вы – любовник незавидный.

Диалог Бабьеки и Росинанта

СОНЕТ

Б. Эй, Росинант, ты что так тощ и зол?
Р. Умаялся, и скуден корм к тому же.
Б. Как! Разве ты овса не видишь, друже?
Р. Его мой господин и сам уплел.
Б. Кто на сеньора клеплет, тот осел.
Попридержи-ка свой язык досужий!
Р. Владелец мой осла любого хуже:
Влюбился и совсем с ума сошел.
Б. Любовь, выходит, вздор?
Р. Притом – опасный
Б. Ты мудр. Р. Еще бы! Я пощусь давно.
Б. Пожалуйся на конюха и пищу.
Р. К кому пойду я с жалобой напрасной,
Коль конюх и хозяин мой равно —
Два жалкие одра, меня почище?



Глава I,

повествующая о нраве и образе жизни славного идальго Дон Кихота Ламанчского



В некоем селе Ламанчском,[33] которого название у меня нет охоты припоминать, не так давно жил-был один из тех идальго, чье имущество заключается в фамильном копье, древнем щите, тощей кляче и борзой собаке. Олья[34] чаще с говядиной, нежели с бараниной, винегрет, почти всегда заменявший ему ужин, яичница с салом по субботам, чечевица по пятницам, голубь, в виде добавочного блюда, по воскресеньям, – все это поглощало три четверти его

доходов. Остальное тратилось на тонкого сукна полукафтанье, бархатные штаны и такие же туфли, что составляло праздничный его наряд, а в будни он щеголял в камзоле из дешевого, но весьма добротного сукна. При нем находились ключница, коей перевалило за сорок, племянница, коей не исполнилось и двадцати, и слуга для домашних дел и полевых работ, умевший и лошадь седлать, и с садовыми ножницами обращаться. Возраст нашего идальго приближался к пятидесяти годам; был он крепкого сложения, телом сухопар, лицом худощав, любитель вставать спозаранку и заядлый охотник. Иные утверждают, что он носил фамилию Кихада,[35] иные – Кесада. В сем случае авторы, писавшие о нем, расходятся; однако ж у нас есть все основания полагать, что фамилия его была Кехана. Впрочем, для нашего рассказа это не имеет существенного значения; важно, чтобы, повествуя о нем, мы ни на шаг не отступали от истины.

Надобно знать, что вышеупомянутый идальго в часы досуга, – а досуг длился у него чуть ли не весь год, – отдавался чтению рыцарских романов с таким жаром и увлечением, что почти совсем забросил не только охоту, но даже свое хозяйство; и так далеко зашли его любознательность и его помешательство на этих книгах, что, дабы приобрести их, он продал несколько десятин пахотной земли и таким образом собрал у себя все романы, какие только ему удалось достать; больше же всего любил он сочинения знаменитого Фельсьяно де Сильва,[36] ибо блестящий его слог и замысловатость его выражений казались ему верхом совершенства, особливо в любовных посланиях и в вызовах на поединок, где нередко можно было прочитать: «Благоразумие вашего неблагоразумия по отношению к моим разумным доводам до того помрачает мой разум, что я почитаю вполне разумным принести жалобу на ваше великолепие». Или, например, такое: «...всемогущие небеса, при помощи звезд божественно возвышающие вашу божественность, соделывают вас достойною тех достоинств, коих удостоилось ваше величие».

Над подобными оборотами речи бедный кавальеро[37] ломал себе голову и не спал ночей, силясь понять их и добраться до их смысла, хотя сам Аристотель, если б он нарочно для этого воскрес, не распутал бы их и не понял. Не лучше обстояло дело и с теми ударами, которые наносил и получал дон Бельянис, ибо ему казалось, что, какое бы великое искусство ни выказали пользовавшие рыцаря врачи, лицо его и все тело должны были быть в рубцах и отметинах. Все же он одобрял автора за то, что тот закончил свою книгу обещанием продолжить длиннейшую эту историю, и у него самого не раз являлось желание взяться за перо и дописать за автора конец; и так бы он, вне всякого сомнения, и поступил и отлично справился бы с этим, когда бы его не отвлекали иные, более важные и всечасные помыслы. Не раз приходилось ему спорить с местным священником, – человеком образованным, получившим ученую степень в Сигуэнсе,[38] – о том, какой рыцарь лучше: Пальмерин Английский[39] или же Амадис Галльский.[40] Однако маэсе Николас, цирюльник из того же села, утверждал, что им обоим далеко до Рыцаря Феба и что если кто и может с ним сравниться, так это дон Галаор, брат Амадиса Галльского ибо он всем взял; он не ломака и не такой плакса, как его брат, в молодечестве же нисколько ему не уступит.

Одним словом, идальго наш с головой ушел в чтение, и сидел он над книгами с утра до ночи и с ночи до утра; и вот оттого, что он мало спал и много читал, мозг у него стал иссыхать, так что в конце концов он и вовсе потерял рассудок. Воображение его было поглощено всем тем, о чем он читал в книгах: чародейством, распрями, битвами, вызовами на поединок, ранениями, объяснениями в любви, любовными похождениями, сердечными муками и разной невероятной чепухой, и до того прочно засела у него в голове мысль, будто все это нагромождение вздорных небылиц – истинная правда, что для него в целом мире не было уже ничего более достоверного. Он говорил, что Сид Руй Диас[41] очень хороший рыцарь, но что он ни в какое сравнение не идет с Рыцарем Пламенного Меча,[42] который одним ударом рассек пополам двух свирепых и чудовищных великанов. Он отдавал предпочтение Бернардо дель Карпьо[43] оттого, что тот, прибегнув к хитрости Геркулеса, задушившего в своих объятиях сына

Земли – Антея, умертвил в Ронсевальском ущелье очарованного Роланда.[44] С большой похвалой отзывался он о Моргате,[45] который хотя и происходил из надменного и дерзкого рода великанов, однако ж, единственный из всех, отличался любезностью и отменною учтивостью. Но никем он так не восхищался, как Ринальдом Монтальванским,[46] особливо когда тот, выехав из замка, грабил всех, кто только попадался ему на пути, или, очутившись за морем, похищал истукан Магомета – весь как есть золотой, по уверению автора. А за то, чтобы отколотить изменника Ганнелона,[47] наш идальго отдал бы свою ключницу да еще и племянницу в придачу.

И вот, когда он уже окончательно свихнулся, в голову ему пришла такая странная мысль, какая еще не приходила ни одному безумцу на свете, а именно: он почел благоразумным и даже необходимым как для собственной славы, так и для пользы отечества сделаться странствующим рыцарем, сесть на коня и, с оружием в руках отправившись на поиски приключений, начать заниматься тем же, чем, как это ему было известно из книг, все странствующие рыцари, скитаясь по свету, обыкновенно занимались, то есть искоренять всякого рода неправду и в борении со всевозможными случайностями и опасностями стяжать себе бессмертное имя и почет. Бедняга уже представлял себя увенчанным за свои подвиги, по малой мере, короной Трапезундского царства; и, весь отдавшись во власть столь отрадных мечтаний, доставлявших ему наслаждение неизъяснимое, поспешил он достигнуть цели своих стремлений. Первым делом принялся он за чистку принадлежавших его предкам доспехов, некогда сваленных как попало в угол и покрывшихся ржавчиной и плесенью. Когда же он с крайним тщанием вычистил их и привел в исправность, то заметил, что недостает одной весьма важной вещи, а именно: вместо шлема с забралом он обнаружил обыкновенный шишак; но тут ему пришла на выручку его изобретательность: смастерив из картона полушлем, он прикрепил его к шишаку, и получилось нечто вроде закрытого шлема. Не скроем, однако ж, что когда он, намереваясь испытать его прочность и устойчивость, выхватил меч и нанес два удара, то первым же ударом в одно мгновение уничтожил труд целой недели; легкость же, с какою забрало разлетелось на куски, особого удовольствия ему не доставила, и, чтобы предотвратить подобную опасность, он сделал его заново, подложив внутрь железные пластинки, так что в конце концов остался доволен его прочностью и, найдя дальнейшие испытания излишними, признал его вполне годным к употреблению и решил, что это настоящий шлем с забралом удивительно тонкой работы.

Затем он осмотрел свою клячу и, хотя она хромала на все четыре ноги и недостатков у нее было больше, чем у лошади Гонеллы,[48] которая *tantum pellis et ossa fuit*,[49] нашел, что ни Буцефал[50] Александра Македонского, ни Бабьека Сида не могли бы с нею тягаться. Несколько дней раздумывал он, как ее назвать, ибо, говорил он себе, коню столь доблестного рыцаря, да еще такому доброму коню, нельзя не дать какого-нибудь достойного имени. Наш идальго твердо держался того мнения, что если произошла перемена в положении хозяина, то и конь должен переменить имя и получить новое, славное и громкое, соответствующее новому сану и новому поприщу хозяина; вот он и старался найти такое, которое само показывало бы, что представлял собой этот конь до того, как стал конем странствующего рыцаря, и что он собой представляет теперь; итак, он долго придумывал разные имена, роясь в памяти и напрягая воображение, – отвергал, отметал, переделывал, пускал насмарку, сызнова принимался составлять, – и в конце концов остановился на *Росинанте,*[51] имени, по его мнению, благородном и звучном, поясняющем, что прежде конь этот был обыкновенной клячей, ныне же, опередив всех остальных, стал первой клячей в мире.

Столь удачно, как ему казалось, назвав своего коня, решился он подыскать имя и для себя самого и, потратив на это еще неделю, назвался наконец *Дон Кихотом,*– отсюда, повторяем, и сделали вывод авторы правдивой этой истории, что настоящая его фамилия, вне всякого сомнения, была Кихада, а вовсе не Кесада, как уверяли иные. Вспомнив, однако ж, что доблестный Амадис не пожелал именоваться просто Амадисом, но присовокупил к этому имени

название своего королевства и отечества, дабы тем прославить его, и назвался Амадисом Галльским, решил он, что и ему, как истинному рыцарю, надлежит присовокупить к своему имени название своей родины и стать *Дон Кихотом Ламанчским,* чем, по его мнению, он сразу даст понять, из какого он рода и из какого края, и при этом окажет честь своей отчизне.

Вычистив же доспехи, сделав из шишака настоящий шлем, выбрав имя для своей лошаденки и окрестив самого себя, он пришел к заключению, что ему остается лишь найти даму, в которую он мог бы влюбиться, ибо странствующий рыцарь без любви – это все равно что дерево без плодов и листьев или же тело без души.

– Если в наказание за мои грехи или же на мое счастье, – говорил он себе, – встретится мне где-нибудь один из тех великанов, с коими странствующие рыцари встречаются нередко, и я сокрушу его при первой же стычке, или разрублю пополам, или, наконец, одолев, заставлю просить пощады, то разве плохо иметь на сей случай даму, которой я мог бы послать его в дар, с тем чтобы он, войдя, пал пред моею кроткою госпожою на колени и покорно и смиренно молвил: «Сеньора! Я – великан Каракульямбр, правитель острова Малиндрании, побежденный на поединке неоцененным рыцарем Дон Кихотом Ламанчским, который и велел мне явиться к вашей милости, дабы ваше величие располагало мной по своему благоусмотрению»?

О, как ликовал наш добрый рыцарь, произнося эти слова, особливо же когда он нашел, кого назвать своею дамой! Должно заметить, что, сколько нам известно, в ближайшем селении жила весьма миловидная деревенская девушка, в которую он одно время был влюблен, хотя она, само собою разумеется, об этом не подозревала и не обращала на него никакого внимания. Звали ее Альдонсою Лоренсо, и вот она-то и показалась ему достойною титула владычицы его помыслов; и, выбирая для нее имя, которое не слишком резко отличалось бы от ее собственного и в то же время напоминало и приближалось бы к имени какой-нибудь принцессы или знатной сеньоры, положил он назвать ее *Дульсинеей*[52] *Тобосскою* — ибо родом она была из Тобоссо,[53] – именем, по его мнению, приятным для слуха, изысканным и глубокомысленным, как и все ранее придуманные им имена.



Глава II,

повествующая о первом выезде хитроумного Дон Кихота из его владений



Покончив со всеми этими приготовлениями, наш идальго решился тотчас же осуществить свой замысел, ибо он полагал, что всякое промедление с его стороны может пагубно отозваться на человеческом роде: сколько беззаконий предстоит ему устранить, сколько кривды выпрямить, несправедливостей загладить, злоупотреблений искоренить, скольких обездоленных удовлетворить! И вот, чуть свет, в один из июльских дней, обещавший быть весьма жарким, никому ни слова не сказав о своем намерении и оставшись незамеченным, облачился он во все свои доспехи, сел на Росинанта, кое-как приладил нескладный свой шлем, взял щит, прихватил копье и, безмерно счастливый и довольный тем, что никто не помешал ему приступить к исполнению благих его желаний, через ворота скотного двора выехал в поле. Но как скоро он очутился за воротами, в голову ему пришла страшная мысль, до того страшная, что он уже готов был отказаться от задуманного предприятия, и вот почему: он вспомнил, что еще не посвящен в рыцари и что, следственно, по законам рыцарства, ему нельзя и не должно вступать в бой ни с одним рыцарем; а если б даже и был посвящен, то ему как новичку подобает носить белые доспехи, без девиза на щите, до тех пор, пока он не заслужит его своею храбростью. Эти размышления поколебали его решимость; однако ж безумие взяло верх над всеми доводами, и по примеру многих рыцарей, о которых он читал в тех самых романах, что довели его до такого состояния, вознамерился он обратиться с просьбой о посвящении к первому встречному. Что же касается белых доспехов, то он дал себе слово на досуге так начистить свои латы, чтобы они казались белее горностая, и, порешив на том, продолжал свой путь, – вернее, путь, который избрал его конь, ибо Дон Кихот полагал, что именно так и надлежит искать приключений.

Ехал путем-дорогой наш новоявленный рыцарь и сам с собой рассуждал:

– Когда-нибудь увидит свет правдивая повесть о моих славных деяниях, и тот ученый муж, который станет их описывать, дойдя до первого моего и столь раннего выезда, вне всякого сомнения, начнет свой рассказ так: «Златокудрый Феб только еще распускал по лицу широкой и просторной земли светлые нити своих роскошных волос, а пестрые птички нежной и сладкой гармонией арфоподобных своих голосов только еще встречали румяную Аврору, покинувшую мягкое ложе ревнивого супруга, распахнувшую врата и окна ламанчского горизонта и обратившую взор на смертных, когда славный рыцарь Дон Кихот Ламанчский презрел негу пуховиков и, вскочив на славного своего коня Росинанта, пустился в путь по древней и знаменитой Монтьельской равнине».

В самом деле, именно по этой равнине он и ехал.

– Блаженны времена и блажен тот век, – продолжал он, – когда увидят свет мои славные подвиги, достойные быть вычеканенными на меди, высеченными на мраморе и изображенными на полотне в назидание потомкам! Кто б ни был ты, о мудрый волшебник, коему суждено стать

летописцем необычайных моих приключений, молю: не позабудь доброго Росинанта, вечного моего спутника, странствующего вместе со мною по всем дорогам.

Потом он заговорил так, как если бы точно был влюблен:

– О принцесса Дульсинея, владычица моего сердца, покоренного вами! Горько обидели вы меня тем, что, осыпав упреками, изгнали меня и в порыве гнева велели не показываться на глаза красоте вашей! Заклинаю вас, сеньора: сжальтесь над преданным вам сердцем, которое, любя вас, тягчайшие терпит муки!

На эти нелепости он нагромождал другие, точь-в-точь как в его любимых романах, стараясь при этом по мере возможности подражать их слогу, и оттого ехал так медленно, солнце же стояло теперь так высоко и столь нещадно палило, что если б в голове у Дон Кихота еще оставался мозг, то растопился бы неминуемо.

В сущности, за весь этот день с ним не произошло ничего, о чем следовало бы рассказать, и он уже приходил в отчаяние, ибо ему хотелось как можно скорее встретиться с кем-нибудь таким, на ком он мог бы проявить свою мощь. Одни авторы первым его приключением считают случай, происшедший в Ущелье Лаписе,[54] другие – случай с ветряными мельницами, – то же, что удалось установить мне и чему я нашел подтверждение в летописях Ламанчи, сводится к следующему. Весь этот день Дон Кихот провел в пути, а к вечеру он и его кляча устали и сильно проголодались; тогда, оглядевшись по сторонам в надежде обнаружить какой-нибудь замок, то есть шалаш пастуха, где бы можно было подкрепиться и расправить усталые члены, заприметил он неподалеку от дороги постоялый двор, и этот постоялый двор показался ему звездой, которая должна привести его не к преддверию храма спасения, а прямо в самый храм. Он тронул поводья и подъехал к постоялому двору, как раз когда стало смеркаться.

Случайно за ворота постоялого двора вышли две незамужние женщины из числа тех, что, как говорится, ходят по рукам; вместе с погонщиками мулов они держали путь в Севилью, но те порешили здесь заночевать; а как нашему искателю приключений казалось, будто все, о чем он думал, все, что он видел или рисовал себе, создано и совершается по образу и подобию вычитанного им в книгах, то, увидев постоялый двор, он тут же вообразил, что перед ним замок с четырьмя башнями и блестящими серебряными шпилями, с неизменным подъемным мостом и глубоким рвом – словом, со всеми принадлежностями, с какими подобные замки принято изображать. В нескольких шагах от постоялого двора, или мнимого замка, он натянул поводья и остановился в ожидании, что вот сейчас между зубцов покажется карлик и, возвещая о прибытии рыцаря, затрубит в трубу. Но карлик медлил, Росинанту же не терпелось пробраться в стойло; тогда Дон Кихот подъехал ближе и, увидев двух гулящих бабенок, решил, что подле замка резвятся не то прекрасные девы, не то прелестные дамы. Нужно же было случиться так, чтобы в это самое время какой-то свинопас, сгоняя со жнивья стадо свиней, – прошу меня извинить, но другого названия у этих животных нет, – затрубил в рожок, по каковому знаку те имеют обыкновение сбегаться, и тут Дон Кихот, вообразив, что чаемое им свершилось, – а именно, что карлик возвестил о его прибытии, – не помня себя от радости направился к дамам, но дамы, к ужасу своему заметив, что к ним приближается всадник, облаченный в столь диковинные доспехи, со щитом и копьем, бросились наутек; тогда Дон Кихот, догадавшись, что это он испугал их, поднял картонное забрало, скрывавшее худое и запыленное его лицо, и с самым приветливым видом спокойно проговорил:

– Не бегите от меня, сеньоры, и не бойтесь ничего, ибо рыцарям того ордена, к коему я принадлежу, не пристало и не подобает чинить обиды кому бы то ни было, а тем паче столь знатным, судя по вашему виду, девицам.

Бабенки воззрились на незнакомца, пытаясь разглядеть его лицо, на которое опять сползло дрянное забрало, но, услышав, что он величает их девицами, каковое наименование

отнюдь не соответствовало их роду занятий, принялись хохотать, да так, что Дон Кихот почувствовал себя неловко.

– Красоте приличествует степенность, – сказал он, – беспричинный же смех есть признак весьма недалекого ума. Впрочем, все это я говорю не для того, чтобы оскорбить вас или же привести в дурное расположение духа, ибо я со своей стороны расположен лишь к тому, чтобы служить вам.

Свойственная нашему рыцарю манера выражаться, непривычная для слуха обеих дам, и неказистая его наружность все больше и больше смешили их, Дон Кихот же все пуще гневался, и неизвестно, чем бы это кончилось, если б в это самое время не подоспел хозяин постоялого двора, человек весьма тучный и оттого весьма добродушный, но даже и он, увидев перед собой нелепую фигуру и все эти разнородные предметы, как то: тяжеловесное копье и легкий кожаный щит, столь же легкий кожаный панцирь и тяжелую сбрую, чуть было не присоединился к развеселившимся девицам. Однако ж, устрашенный этою грудою доспехов, рассудил за благо быть с незнакомцем полюбезнее и обратился к нему с такими словами:

– Коли ваша милость, сеньор кавальеро, ищет ночлега, то вы не найдете здесь только кровати – кровати, правда, у меня нет ни одной, – зато все остальное имеется в изобилии.

Почтительный тон коменданта – надобно заметить, что хозяина наш рыцарь принял за коменданта, а постоялый двор за крепость, – умиротворил Дон Кихота.

– Я всем буду доволен, сеньор кастелян,[55] – сказал он, – ибо *мой наряд – мои доспехи, в лютой битве мой покой*[56] и так далее.

Хозяин подумал, что тот принял его за честного кастильца и потому назвал кастеляном, на самом же деле он был андалусец, да еще из Сан Лукара,[57] и в жульничестве не уступал самому Каку, а в плутовстве – школярам и слугам.

– Стало быть, – подхватил он, – *ложе вашей милости – твердый камень, бденье до зари – ваш сон*.[58] А коли так, то вы смело можете здесь остановиться: уверяю вас, что в этой лачуге вы найдете сколько угодно поводов не то что одну ночь – весь год не смыкать глаз.

С этими словами хозяин ухватился за стремя, и Дон Кихот спешился, хотя это стоило ему немалых трудов и усилий, оттого что он целый день постился.

Затем он попросил хозяина не оставить своими заботами и попечениями его коня, ибо, по его словам, то было лучшее из травоядных. Хозяин, взглянув на Росинанта, не обнаружил и половины тех достоинств, какие видел в нем Дон Кихот, однако ж отвел коня в стойло и тотчас вернулся узнать, не нужно ли чего-нибудь гостю; с гостя же успевшие с ним помириться девы снимали доспехи, причем снять нагрудник и наплечье им удалось, а расстегнуть ожерельник и стащить безобразный шлем, к коему были пришиты зеленые ленты, они так и не сумели; по-настоящему следовало разрезать ленты, ибо развязать узлы девицам оказалось не под силу, но Дон Кихот ни за что на это не согласился и так потом до самого утра и проходил в шлеме, являя собою нечто в высшей степени странное и забавное, и пока девки снимали с него доспехи, он, думая, что это знатные сеньоры, обитательницы замка, с великою приятностью читал им стихи:

Был неслыханно радушен

Тот прием, который встретил

Дон Кихот у дам прекрасных,

Из своих земель приехав.

Фрейлины пеклись о нем,

О коне его – принцессы,

то есть о Росинанте, ибо так зовут моего коня, сеньоры, меня же зовут Дон Кихот Ламанчский, и хотя я должен был бы поведать вам свое имя не прежде, чем его поведают подвиги, которые я намерен совершить, дабы послужить вам и быть вам полезным, однако ж

соблазн применить старинный романс о Ланцелоте к нынешним обстоятельствам вынудил меня поведать вам, кто я таков, раньше времени. Впрочем, настанет пора, когда ваши светлости будут мною повелевать, я же буду вам повиноваться, и доблестная моя длань поведает о моей готовности служить вам.

Девицы, не привыкшие к столь пышной риторике, хранили молчание; они лишь осведомились, не желает ли он покушать.

– Вкусить чего-либо я не прочь, – отвечал Дон Кихот, – и, сдается мне, это было бы весьма кстати.

Дело, как нарочно, происходило в пятницу, и на всем постоялом дворе не нашлось ничего, кроме небольшого запаса трески, которую в Кастилии называют абадехо, в Андалусии – бакальяо, в иных местах – курадильо, в иных – форелькой. Дон Кихота спросили, не угодно ли его милости, за неимением другой рыбы, отведать *форелек.*

– Побольше бы этих самых *форелек,* тогда они заменят одну форель, – рассудил Дон Кихот, – ибо не все ли равно, дадут мне восемь реалов[60] мелочью или же одну монету в восемь реалов? Притом очень может быть, что *форелька* настолько же нежнее форели, насколько телятина нежнее говядины, а молодой козленок неяснее козла. Как бы то ни было, несите их скорей: ведь если не удовлетворить настойчивой потребности желудка, то и бремени трудов, а равно и тяжелых доспехов на себе не потащишь.

Стол поставили у ворот, прямо на свежем воздухе, а затем хозяин принес Дон Кихоту порцию плохо вымоченной и еще хуже приготовленной трески и кусок хлеба, не менее черного и не менее заплесневелого, чем его доспехи. И как же тут было не рассмеяться, глядя на Дон Кихота, который, наотрез отказавшись снять шлем с поднятым забралом, не мог из-за этого поднести ко рту ни одного куска! Надлежало кому-нибудь другому ухаживать за ним и класть ему пищу в рот, и эту обязанность приняла на себя одна из дам. А уж напоить его не было никакой возможности, и так бы он и не напился, если б хозяин не провертел в тростинке дырочку и не вставил один конец ему в рот, а в другой не принялся лить вино; рыцарь же, чтобы не резать лент, покорно терпел все эти неудобства. В это время на постоялый двор случилось зайти коновалу, собиравшемуся холостить поросят, и, войдя, он несколько раз дунул в свою свистульку, после чего Дон Кихот совершенно уверился, что находится в некоем славном замке, что на пиру в его честь играет музыка, что треска – форель, что хлеб – из белоснежной муки, что непотребные девки – дамы, что хозяин постоялого двора – владелец замка, и первый его выезд, равно как и самая мысль пуститься в странствия, показались ему на редкость удачными. Одно лишь смущало его – то, что он еще не посвящен в рыцари, а кто не принадлежал к какому-нибудь рыцарскому ордену, тот, по его мнению, не имел права искать приключений.



Глава III,

в коей рассказывается о том, каким забавным способом Дон Кихот был посвящен в рыцари



Преследуемый этою мыслью, Дон Кихот, быстро покончив со своим скудным трактирным ужином, подозвал хозяина, удалился с ним в конюшню, пал на колени и сказал:

– Доблестный рыцарь! Я не двинусь с места до тех пор, пока ваша любезность не соизволит исполнить мою просьбу, – исполнение же того, о чем я прошу, покроет вас неувядаемою славой, а также послужит на пользу всему человеческому роду.

Увидев, что гость опустился перед ним на колени, и услышав такие речи, хозяин оторопел: он не знал, что делать и что говорить, а затем стал убеждать его подняться с колен, но тот поднялся лишь после того, как хозяин дал слово исполнить его просьбу.

– Меньшего, государь мой, я и не ожидал от вашего несказанного великодушия, – заметил Дон Кихот. – Итак, да будет вам известно, что просьба, с которой я к вам обратился и которую ваше человеколюбие обещало исполнить, состоит в том, чтобы завтра утром вы посвятили меня в рыцари; ночь я проведу в часовне вашего замка, в бдении над оружием, а завтра, повторяю, сбудется то, чего я так жажду, и я обрету законное право объезжать все четыре страны света, искать приключений и защищать обиженных, тем самым исполняя долг всего рыцарства, а также долг рыцаря странствующего, каковым я являюсь и каковой обязан стремиться к совершению указанных мною подвигов.

Хозяин, будучи, как мы уже говорили, изрядною шельмой, отчасти догадывался, что гость не в своем уме, – при этих же словах он совершенно в том уверился и, решившись потакать всем его прихотям, дабы весело провести ночь, сказал Дон Кихоту следующее: намерение-де его и просьба более чем разумны, и, вполне естественно и законно, что у такого знатного, сколько можно судить по его наружности и горделивой осанке, рыцаря явилось подобное желание; да и он, хозяин, в молодости сам предавался этому почтенному занятию: бродил по разным странам и, в поисках приключений неукоснительно заглядывая в Перчелес под Малагой,[61] на Риаранские острова,[62] в севильский Компас, сеговийский Асогехо, валенсийскую Оливеру, гранадскую Рондилью,[63] на набережную в Сан Лукаре, в кордовский Потро,[64] толедские игорные притоны и еще кое-куда, развивал проворство ног и ловкость рук, проявлял необычайную шкодливость, не давал проходу вдовушкам, соблазнял девиц, совращал малолетних, так что слава его гремела по всем испанским судам и судилищам; под

конец же удалился на покой в этот свой замок, где и живет на свой и на чужой счет, принимая у себя всех странствующих рыцарей, независимо от их звания и состояния, исключительно из особой любви к ним и с условием, чтобы в благодарность за его гостеприимство они делились с ним своим достоянием. К этому хозяин прибавил, что у него в замке нет часовни, где бы можно было бодрствовать над оружием, ибо старую он снес, дабы на ее месте выстроить новую, но что, сколько ему известно, в крайнем случае бодрствовать над оружием дозволяется где угодно, так что Дон Кихот может провести эту ночь на дворе, а завтра, бог даст, все приличествующие случаю церемонии будут совершены и он станет настоящим рыцарем, да еще таким, какого свет не производил.

Затем он осведомился, есть ли у Дон Кихота деньги; тот ответил, что у него нет ни гроша, ибо ни в одном рыцарском романе ему не приходилось читать, чтобы кто-нибудь из странствующих рыцарей имел при себе деньги. На это хозяин сказал, что он ошибается; что хотя в романах о том и не пишется, ибо авторы не почитают за нужное упоминать о таких простых и необходимых вещах, как, например, деньги или чистые сорочки, однако ж из этого вовсе не следует, что у рыцарей ни того, ни другого не было; напротив, ему доподлинно и точно известно, что у всех этих странствующих рыцарей, о которых насочиняли столько романов, кошельки на всякий случай были туго набиты; брали они с собой и чистые сорочки, а также баночки с мазью, коей врачевали они свои раны: ведь не всегда же в полях и в пустынях, где они сражались и где им наносили раны, был у них под рукой лекарь, разве уж кто-нибудь из них водил дружбу с мудрым волшебником, который немедленно сажал на облако и направлял к нему по воздуху какую-нибудь девицу или же карлика с пузырьком воды столь целебного свойства, что стоило рыцарю выпить несколько капель – и всех его язв и ран как не бывало; при отсутствии же такого рода помощи прежние рыцари полагали благоразумным позаботиться о том, чтобы их оруженосцы были наделены деньгами и прочими необходимыми вещами, как-то: корпией и лечебными мазями; а у кого из рыцарей почему-либо оруженосца не было, – случай редкий, можно сказать, исключительный, – те сами возили все это в крошечных сумочках, которые они привязывали к лошадиному крупу и, словно некую драгоценность, старались как можно лучше спрятать; впрочем, обычай возить с собою сумочки не принадлежал к числу наиболее распространенных среди странствующих рыцарей. В заключение хозяин посоветовал Дон Кихоту, – хотя, в сущности, он имел право приказывать ему, ибо тот в ближайшем будущем должен был стать его крестником, – впредь без денег и упомянутых снадобий в путь не пускаться: он сам, дескать, увидит, что в один прекрасный день они ему пригодятся.

Дон Кихот обещал в точности исполнить все, что ему советовал хозяин, а затем начал готовиться к ночи, которую ему надлежало провести на обширном скотном дворе в бдении над оружием; он собрал свои доспехи, разложил их на водопойном корыте, стоявшем возле колодца, и, взяв копье и щит, с крайне независимым видом стал ходить взад и вперед; и только он начал прогуливаться, как наступила ночь.

Хозяин рассказал своим постояльцам о сумасшествии Дон Кихота, о его намерении провести ночь в бдении над оружием и о предстоящей возне с посвящением его в рыцари. Присутствовавшие подивились такому странному виду умственного расстройства и пошли посмотреть на Дон Кихота издали, а Дон Кихот между тем то чинно прохаживался, то, опершись на копье, впивался глазами в свои доспехи и долго потом не отводил их. Дело было глухою ночью, однако ясный месяц вполне заменял дневное светило, коему он обязан своим сиянием, так что все движения новоиспеченного рыцаря хорошо видны были зрителям. В это время одному из погонщиков, ночевавших на постоялом дворе, вздумалось напоить мулов, для чего надлежало снять с водопойного корыта доспехи нашего рыцаря; и, едва увидев погонщика, Дон Кихот тотчас же заговорил громким голосом:

– Кто б ни был ты, о дерзкий рыцарь, осмеливающийся прикасаться к оружию самого доблестного из всех странствующих рыцарей, какие когда-либо опоясывались мечом! Помысли

о том, что ты делаешь, и не прикасайся к нему, не то жизнью поплатишься ты за свою продерзость!

Погонщик и в ус себе не дул, – а между тем лучше было бы, если бы он дул: по крайности его самого тогда бы не вздули, – он схватил доспехи и постарался зашвырнуть их как можно дальше. Тогда Дон Кихот возвел очи к небу и, по-видимому, обращаясь мысленно к госпоже своей Дульсинее, сказал:

– Помогите мне, госпожа моя, отомстить за оскорбление, впервые нанесенное моему сердцу – вашему верноподданному. Ныне предстоит мне первое испытание – не лишайте же меня защиты своей и покрова.

Продолжая взывать к своей даме, Дон Кихот отложил в сторону щит, обеими руками поднял копье и с такой силой опустил его на голову погонщика, что тот упал замертво, так что если б за этим ударом последовал второй, то ему уже незачем было бы обращаться к врачу. Засим Дон Кихот подобрал свои доспехи и, как ни в чем не бывало, снова стал прогуливаться. Малое время спустя другой погонщик, не подозревавший о том, какая участь постигла первого, – ибо тот все еще лежал без чувств, – вздумал напоить мулов, но как скоро приблизился он к водопойной колоде и, чтобы освободить место, стал снимать доспехи, Дон Кихот, ни слова не говоря и на сей раз ни у кого не испросив помощи, снова отложил в сторону щит, снова поднял копье и так хватил второго погонщика, что не копье разлетелось на куски, но череп погонщика раскололся даже не на три, а на четыре части. На шум сбежались обитатели постоялого двора, в том числе хозяин. Тогда Дон Кихот, одною рукой схватив щит, а другою придерживая меч, воскликнул:

– О царица красоты, сила и крепость изнемогшего моего сердца! Пора тебе обратить взоры величия своего на преданного тебе рыцаря, на которого столь грозная надвигается опасность!

Тут он ощутил в себе такую решимость, что, если б сюда со всего света набежали погонщики, все равно, казалось ему, не отступил бы он ни на шаг. Товарищи раненых погонщиков, найдя их в столь тяжелом состоянии, принялись издали осыпать Дон Кихота градом камней, – тот по мере возможности закрывался щитом, но, не желая оставлять на произвол судьбы свои доспехи, от колоды не отходил. Хозяин кричал на погонщиков и уговаривал их не трогать рыцаря: ведь он же, дескать, предупреждал их, что это сумасшедший, а с сумасшедшего, хоть бы он тут всех переколотил, взятки гладки. Но Дон Кихот кричал еще громче: погонщиков он обозвал изменниками и предателями, а владельца замка – за то, что тот допускает, чтобы со странствующими рыцарями так поступали, – малодушным и неучтивым кавальеро, да еще прибавил, что если б он, Дон Кихот, был посвящен в рыцари, то владелец замка ответил бы ему за свое вероломство.

– А эту пакостную и гнусную чернь я презираю. Швыряйтесь камнями, подходите ближе, нападайте, делайте со мной все, что хотите, – сейчас вы поплатитесь за свое безрассудство и наглость.

В голосе его слышалась столь грозная отвага, что на его недругов напал необоримый страх; и, отчасти из страха, отчасти же проникшись доводами хозяина, они перестали бросать в него камни, а он, позволив унести раненых, все так же величественно и невозмутимо принялся охранять доспехи.

Хозяину надоели выходки гостя, и, чтобы положить им конец, вознамерился он сей же час, пока не стряслось горшей беды, совершить над ним этот треклятый обряд посвящения. Подойдя к нему, он принес извинения в том, что этот подлый народ без его ведома так дерзко с ним обошелся, и обещал строго наказать наглецов. Затем еще раз повторил, что часовни в замке нет, но что теперь всякая необходимость в ней отпала: сколько ему известен церемониал рыцарства, обряд посвящения состоит в подзатыльнике и в ударе шпагой по спине, вот, мол, и вся хитрость, а это и среди поля с успехом можно проделать; что касается бдения над

оружием, то с этим уже покончено, потому что бодрствовать полагается всего только два часа, а Дон Кихот бодрствует уже более четырех. Дон Кихот всему этому поверил; он объявил, что готов повиноваться, только предлагает как можно скорее совершить обряд, а затем добавил, что когда его, Дон Кихота, посвятят в рыцари, то в случае, если на него снова нападут, он никого здесь не оставит в живых – впрочем, за кого владелец замка попросит, тех он из уважения к нему пощадит.

Перепуганный владелец замка, не будь дурак, тотчас сбегал за книгой, где он записывал, сколько овса и соломы выдано погонщикам, и вместе со слугой, державшим в руке огарок свечи, и двумя помянутыми девицами подошел к Дон Кихоту, велел ему преклонить колена, сделал вид, что читает некую священную молитву, и тут же изо всех сил треснул его по затылку, а затем, все еще бормоча себе под нос что-то вроде молитвы, славно огрел рыцаря по спине его же собственным мечом. После этого он велел одной из шлюх препоясать этим мечом рыцаря, что та и исполнила, выказав при этом чрезвычайную ловкость и деликатность: в самом деле, немалое искусство требовалось для того, чтобы во время этой церемонии в любую минуту не лопнуть от смеха; впрочем, при одном воспоминании о недавних подвигах новонареченного рыцаря смех невольно замирал на устах у присутствовавших.

– Да поможет бог вашей милости стать удачливейшим из рыцарей и да ниспошлет он вам удачу во всех сражениях! – препоясывая его мечом, молвила почтенная сеньора.

Дон Кихот объявил, что он должен знать, кто оказал ему такое благодеяние, а потому просит ее назвать себя, ибо намерен разделить с нею почести, которые он надеется заслужить доблестною своею дланью. Она же весьма скромно ответила ему, что зовут ее Непоседа, что она дочь сапожника, уроженца Толедо, ныне проживающего в торговых рядах Санчо Бьенайи, и что с этих пор, где бы она ни находилась, она всегда готова ему служить и почитать за своего господина. Дон Кихот попросил ее об одном одолжении, а именно: из любви к нему прибавить к своей фамилии *донья*[65] и впредь именоваться *доньей* Непоседою. Она обещала. Тогда другая девица надела на него шпоры, и с нею он повел почти такую же речь, как и с той, что препоясала его мечом. Он спросил, как ее зовут, она же ответила, что ее зовут Ветрогона и что она дочь почтенного антекерского мельника. Дон Кихот, предложив ей свои услуги и свое покровительство, попросил и ее присовокупить к своей фамилии *донья* и впредь именоваться *доньей* Ветрогоною.

Дон Кихот не чаял, как дождаться минуты, когда можно будет снова сесть на коня и отправиться на поиски приключений, и, после того как были закончены все эти доселе невиданные церемонии, совершенные с такою быстротою и поспешностью, он тот же час оседлал Росинанта, сел верхом и, обняв хозяина, в столь мудреных выражениях изъявил ему свою благодарность за посвящение в рыцари, что передать их нам было бы не под силу. В ответ хозяин на радостях, что отделался от него, произнес не менее высокопарную, хотя и не столь пространную речь и, ничего не взяв за ночлег, отпустил его с миром.



Глава IV

О том, что случилось с рыцарем нашим, когда он выехал с постоялого двора



Уже занималась заря, когда Дон Кихот, ликующий, счастливый и гордый сознанием, что его посвятили в рыцари, от радости подскакивая в седле, выехал с постоялого двора. Но как скоро пришли ему на память наставления хозяина, положил он возвратиться домой, чтобы запастись всем необходимым, главное – деньгами и сорочками; в оруженосцы же себе прочил он одного хлебопашца, своего односельчанина, бедного, многодетного, однако ж для таковых обязанностей как нельзя более подходившего. С этою целью он поворотил Росинанта в сторону своего села, и Росинант, словно почуяв родное стойло, обнаружил такую резвость, что казалось, будто копыта его не касаются земли.

Только успел Дон Кихот немного отъехать, как вдруг справа, из чащи леса, до него донеслись тихие жалобы, точно кто-то стонал, и, едва заслышав их, он тотчас воскликнул:

– Хвала небесам за ту милость, какую они мне явили, – за то, что так скоро предоставили они мне возможность исполнить мой рыцарский долг и пожать плоды моих благих желаний! Не подлежит сомнению, что это стонет какой-нибудь беззащитный или же беззащитная, нуждающиеся в помощи моей и защите.

С этими словами он дернул поводья и устремился туда, откуда долетали стоны. Проехав же несколько шагов по лесу, увидел он кобылу, привязанную к дубу, а рядом, к другому дубу, привязан был голый до пояса мальчуган лет пятнадцати, и вот этот-то мальчуган и стонал, и стонал не зря, ибо некий дюжий сельчанин нещадно стегал его ремнем, сопровождая каждый удар попреками и нравоучениями.

– Смотри в оба, а язык держи за зубами, – приговаривал он.

А мальчуган причитал:

– Больше не буду, хозяин, Христом-богом клянусь, не буду, обещаю вам глаз не спускать со стада!

Увидев, что здесь происходит, Дон Кихот грозно воскликнул:

– Неучтивый рыцарь! Как вам не стыдно нападать на того, кто не в силах себя защитить! Садитесь на коня, возьмите копье, – надобно заметить, что у сельчанина тоже было копье: он прислонил его к тому дубу, к коему была привязана кобыла, – и я вам докажу всю низость вашего поступка.

Сельчанин, обнаружив у себя над головой увешанную доспехами фигуру, перед самым его носом размахивающую копьем, подумал, что пришла его смерть.

– Сеньор кавальеро! – вкрадчивым голосом заговорил он. – Я наказываю мальчишку, моего слугу, который пасет здесь отару моих овец; из-за этого ротозея я каждый день недосчитываюсь овцы. И наказываю я его за разгильдяйство, вернее, за плутовство, а он

говорит, что я из скупости возвожу на него напраслину, чтобы не платить ему жалованья, но я клянусь богом и спасением души, что он врет.

– Как вы смеете, мерзкий грубиян, говорить в моем присутствии, что он врет? – воскликнул рыцарь. – Клянусь солнцем, всех нас освещающим, что я сию минуту вот этим самым копьем проткну вас насквозь. Без всяких разговоров уплатите ему, не то, да будет мне свидетелем всевышний, я с вами разделаюсь и уложу на месте. Ну, отвязывайте его, живо!

Сельчанин, понурив голову, молча отвязал своего слугу; тогда Дон Кихот спросил мальчика, сколько ему должен хозяин. Мальчик ответил, что всего за девять месяцев, считая по семи реалов за месяц. Дон Кихот высчитал, что в сумме это составляет шестьдесят три реала, и сказал сельчанину, чтоб он немедленно раскошеливался, если только ему дорога жизнь. На это испуганный сельчанин ответил так: он, дескать, уже клялся, – хотя до сих пор об этом не было и речи, – и теперь говорит, как на духу, что долг его вовсе не так велик, ибо надлежит принять в расчет и сбросить со счетов стоимость трех пар обуви, которые износил пастух, да еще один реал за два кровопускания, которые были ему сделаны, когда он занемог.

– Это все так, – возразил Дон Кихот, – однако вы ни за что ни про что отхлестали его ремнем, – пусть же это пойдет в уплату за обувь и кровопускания: ведь если он порвал кожу на башмаках, которые вы ему купили, то вы, в свою очередь, порвали ему собственную его кожу. И если цирюльник пускал ему кровь, когда он был болен, то вы пускаете ему кровь, когда он находится в добром здравии. Таким образом, тут вы с ним в расчете.

– Беда в том, сеньор кавальеро, что я не взял с собой денег, – придется Андресу пойти со мной, и дома я уплачу ему все до последнего реала.

– Чтобы я с ним пошел? – воскликнул мальчуган. – Час от часу не легче! Нет, сеньор, ни за что на свете. Если я останусь с ним наедине, то он сдерет с меня кожу, вроде как со святого Варфоломея или с кого-то там еще.

– Он этого не сделает, – возразил Дон Кихот, – я ему прикажу, и он не посмеет меня ослушаться. Пусть только он поклянется тем рыцарским орденом, к которому он принадлежит, и я отпущу его на все четыре стороны и поручусь, что он тебе заплатит.

– Помилуйте, сеньор, что вы говорите! – воскликнул мальчуган. – Мой хозяин – вовсе не рыцарь, и ни к какому рыцарскому ордену он не принадлежит, – это Хуан Альдудо, богатый крестьянин из деревни Кинтанар.



– Это ничего не значит, – возразил Дон Кихот, – и Альдудо могут быть рыцарями. Тем более что каждого человека должно судить по его делам.

– Это верно, – согласился Андрес, – но в таком случае как же прикажете судить моего хозяина, коли он отказывается платить мне жалованье, которое я заработал в поте лица?

– Брат мой Андрес, да разве я отказываюсь? – снова заговорил сельчанин. – Сделай милость, пойдем со мной, – клянусь всеми рыцарскими орденами, сколько их ни развелось на свете, что уплачу тебе, как я уже сказал, все до последнего реала, с радостью уплачу.

– Можно и без радости, – сказал Дон Кихот, – уплатите лишь ту сумму, которую вы ему задолжали: это все, что от вас требуется. Но бойтесь нарушить клятву, иначе, клянусь тою же самою клятвою, я разыщу вас и накажу: будь вы проворнее ящерицы, я все равно вас найду, куда бы вы ни спрятались. Если же вы хотите знать, от кого получили вы этот приказ, дабы тем ревностнее приняться за его исполнение, то знайте, что я – доблестный Дон Кихот Ламанчский, заступник обиженных и утесненных, засим оставайтесь с богом и под страхом грозящей вам страшной кары не забывайте обещанного и скрепленного клятвою.

С этими словами он пришпорил Росинанта и стал быстро удаляться. Сельчанин посмотрел ему вслед и, удостоверившись, что он миновал рощу и скрылся из виду, повернулся к слуге своему Андресу и сказал:

– Поди-ка сюда, сынок! Сейчас я исполню повеление этого заступника обиженных и уплачу тебе долг.

– Я в этом нимало не сомневаюсь, ваша милость, – заметил Андрес. – В ваших же интересах исполнить повеление доброго рыцаря, дай бог ему прожить тысячу лет; он такой храбрый и такой справедливый, что, если вы мне не уплатите, клянусь святым Роке, он непременно вернется и приведет угрозу свою в исполнение.

– Я тоже в этом не сомневаюсь, – сказал сельчанин, – но я так люблю тебя, желанный мой, что желаю еще больше тебе задолжать, чтобы затем побольше заплатить.

Тут он схватил мальчугана за руку и, снова привязав его к дубу, всыпал ему столько горячих, что тот остался чуть жив.

– Теперь зовите заступника обиженных, сеньор Андрес, посмотрим, как он за вас заступится, – сказал сельчанин. – Полагаю, впрочем, что я вас еще недостаточно обидел, – у меня чешутся руки спустить с вас шкуру, чего вы как раз и опасались.

Однако ж в конце концов он отвязал его и позволил отправиться на поиски своего судьи, дабы тот претворил в жизнь вынесенное им решение. Пастушонок с кислою миною удалился, поклявшись сыскать доблестного Дон Кихота Ламанчского и во всех подробностях рассказать ему о том, что произошло, дабы он принудил хозяина заплатить сторицей. Как бы то ни было, Андрес ушел в слезах, а хозяин посмеивался. Тем временем доблестный Дон Кихот, заступившись таким образом за обиженного, в восторге от этого происшествия, которое показалось ему великолепным и счастливым началом рыцарских его подвигов, и весьма довольный собою, ехал к себе в село и вполголоса говорил:

– По праву можешь ты именоваться счастливейшею из всех женщин, ныне живущих на земле, о из красавиц красавица Дульсинея Тобосская! Судьбе угодно было превратить в послушного исполнителя всех прихотей твоих и желаний столь отважного и столь славного рыцаря, каков есть и каким будет всегда Дон Кихот Ламанчский; всем известно, что только вчера вступил он в рыцарский орден, а сегодня уже искоренил величайшее зло и величайшее беззаконие, какие когда-либо вкупе с жестокостью творила неправда, – ныне он вырвал бич из рук этого изверга, что истязал ни в чем не повинного слабого отрока.

Тут он приблизился к тому месту, где скрещивались четыре дороги, и воображению его тотчас представились странствующие рыцари, имевшие обыкновение останавливаться на распутье и размышлять о том, по какой дороге ехать; и в подражание им он тоже постоял-постоял, а затем, пораскинув умом, опустил поводья и всецело положился на Росинанта, Росинант же не изменил первоначальному своему намерению, то есть избрал путь, который вел прямо к его конюшне. Дон Кихот проехал уже около двух миль, когда глазам его открылось великое скопление народа: как выяснилось впоследствии, то были толедские купцы, направлявшиеся за шелком в Мурсию. Их было шестеро, и ехали они под зонтиками в сопровождении семи слуг, из коих четверо сидели верхами, а трое шли пешком и погоняли мулов. Завидев их, Дон Кихот тут же вообразил, что его ожидает новое приключение; между тем он задался целью по возможности действовать так, как действуют в романах, потому-то и почел он уместным одно из подобных деяний совершить теперь же. Того ради он вытянулся на стременах, сжал в руке копье, заградился щитом и в ожидании странствующих рыцарей, за каковых он принимал и почитал толедских купцов, с крайне независимым и гордым видом остановился на самой дороге; когда же те подъехали к нему так близко, что могли видеть и слышать его, Дон Кихот принял воинственную позу и возвысил голос:

– Все, сколько вас ни есть, – ни с места, до тех пор, пока все, сколько вас ни есть, не признают, что, сколько бы ни было красавиц на свете, прекраснее всех ламанчская императрица Дульсинея Тобосская!

При этих речах и при виде произносившего их человека столь странной наружности купцы остановились; и хотя по его речам и наружности они тотчас догадались, что он сумасшедший, однако ж им захотелось выведать у него исподволь, зачем понадобилось ему признание, которого он от них добивался, и тут один из купцов, склонный к зубоскальству и очень даже себе на уме, молвил:

– Сеньор кавальеро! Мы не знаем, кто эта почтенная особа, о которой вы толкуете. Покажите нам ее, и если она в самом деле так прекрасна, как вы утверждаете, то мы охотно и добровольно исполним ваше повеление и засвидетельствуем эту истину.

– Если я вам ее покажу, – возразил Дон Кихот, – то что вам будет стоить засвидетельствовать непреложную истину? Все дело в том, чтобы, не видя, уверовать, засвидетельствовать, подтвердить, присягнуть и стать на защиту, а не то я вызову вас на бой, дерзкий и надменный сброд. Выходите по одному, как того требует рыцарский устав, или же, как это водится у подобного сорта людишек, верные дурной своей привычке, нападайте все вдруг. С полным сознанием своей правоты я встречу вас грудью и дам надлежащий отпор.

– Сеньор кавальеро! – снова заговорил купец. – От имени всех присутствующих здесь вельмож я обращаюсь к вам с покорной просьбой: чтобы нам не отягощать свою совесть свидетельством в пользу особы, которую мы сроду не видели и о которой ровно ничего не слыхали, и вдобавок не унизить подобным свидетельством императриц и королев алькаррийских и эстремадурских, будьте так любезны, ваша милость, покажите нам какой ни на есть портрет этой особы, хотя бы величиною с пшеничное зерно: ведь по щетинке узнается свинка, тогда мы совершенно уверимся, почтем себя вполне удовлетворенными и, в свою очередь, не останемся у вас в долгу и ублаготворим вашу милость. Признаюсь, мы и без того уже очарованы ею, и если б даже при взгляде на портрет нам стало ясно, что упомянутая особа на один глаз крива, а из другого у нее сочится киноварь и сера, все равно в угоду вашей милости мы признаем за ней какие угодно достоинства.

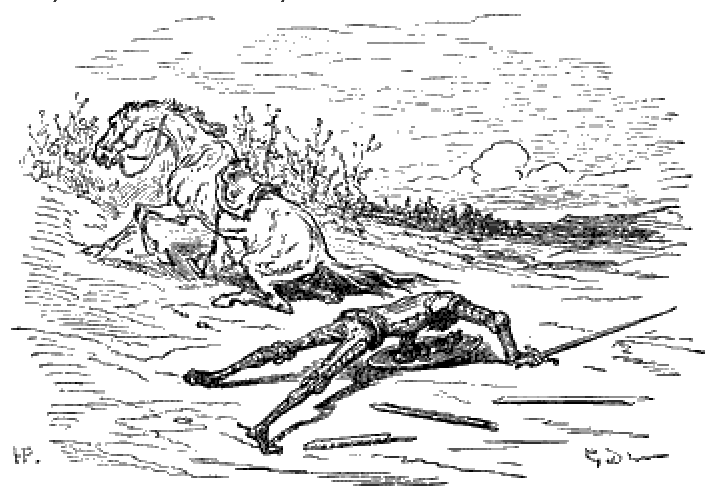
– Ничего такого у нее не сочится, подлая тварь! – пылая гневом, вскричал Дон Кихот. – Ничего такого у нее не сочится, говорю я, – это небесное создание источает лишь амбру и мускус. И вовсе она не крива и не горбата, а стройна, как ледяная игла Гуадаррамы. Вы же мне сейчас заплатите за величайшее кощунство, ибо вы опорочили божественную красоту моей повелительницы.

С этими словами он взял копье наперевес и с такой яростью и ожесточением ринулся на своего собеседника, что если бы, на счастье дерзкого купца, Росинант по дороге не споткнулся и не упал, то ему бы не поздоровилось. Итак, Росинант упал, а его хозяин отлетел далеко в сторону; хотел встать – и не мог: копье, щит, шпоры, шлем и тяжеловесные старинные доспехи связали его по рукам и ногам. Между тем, тщетно пытаясь подняться, он все еще кричал:

– Стойте, жалкие трусы! Презренные холопы, погодите! Ведь я не по своей вине упал, а по вине моего коня.

Тут один из погонщиков, особым смирением, как видно, не отличавшийся, заметив, что потерпевший крушение продолжает их поносить, не выдержал и вместо ответа вознамерился пересчитать ему ребра. Он подскочил к нему, выхватил у него из рук копье, разломал на куски и одним из этих кусков, невзирая на доспехи, измолотил его так, точно это был сноп пшеницы. Хозяева унимали погонщика и уговаривали оставить кавальеро в покое, но погонщик, войдя в азарт, решился до тех пор не прекращать игры, пока не истощится весь его гнев; он хватал один кусок копья за другим и обламывал их об несчастного рыцаря, растянувшегося на земле, – рыцарь же, между тем как на него все еще сыпался град палочных ударов, не умолкал ни на секунду, грозя отомстить небу, земле и купцам, коих он принимал теперь за душегубов.

Наконец погонщик устал, и купцы, на все время путешествия запасшись пищею для разговоров, каковою должен был им служить бедный избитый рыцарь, поехали дальше. А рыцарь, оставшись один, снова попробовал встать; но если уж он не мог подняться, будучи целым и невредимым, то мог ли он это сделать теперь, когда его измолотили до полусмерти? И все же ему казалось, что он счастлив, – он полагал, что это обычное злоключение странствующего рыцаря, в коем к тому же повинен был его конь. Вот только он никакими силами не мог встать – уж очень болели у него все кости.



Глава V,

в коей продолжается рассказ о злоключении нашего рыцаря



Убедившись же, что он и в самом деле не может пошевелиться, рыцарь наш решился прибегнуть к обычному своему средству, а именно: припомнить какое-нибудь из происшествий, что описываются в романах, и тут расстроенному его воображению представилось то, что произошло между Балдуином и маркизом Мантуанским после того, как Карлотто ранил Балдуина в горах, – представилась вся эта история, хорошо известная детям, памятная юношам, пользующаяся успехом у старцев, которые также склонны принимать ее на веру, и, однако ж, не более правдивая, чем россказни о чудесах Магомета. Между этой самой историей

и тем, что произошло с ним самим, Дон Кихот нашел нечто общее; и вот в сильном волнении стал он кататься по земле и чуть слышно произносить слова, будто бы некогда произнесенные раненым Рыцарем Леса:

Где же ты, моя сеньора?

Что не делишь скорбь со мной?

Или ты о ней не знаешь,

Или я тебе чужой?

И так, читая на память этот романс, дошел он наконец до стихов:

О властитель мантуанский,

Государь и дядя мой!

В то время как Дон Кихот читал эти стихи, по той же самой дороге случилось ехать его односельчанину, возвращавшемуся с мельницы, куда он возил зерно; и как скоро увидел он, что на земле лежит человек, то приблизился к нему и спросил, кто он таков, что у него болит и отчего он так жалобно стонет. Дон Кихот, разумеется, вообразил, что это и есть маркиз Мантуанский, его дядя, и потому вместо ответа снова повел рассказ о своем несчастье и о любви сына императора к своей мачехе, точь-в-точь как о том поется в романсе.

Земледелец с удивлением выслушал эти бредни, затем снял с него забрало, сломавшееся от ударов, и отер с его лица пыль; отерев же, тотчас узнал его и сказал:

– Сеньор Кихана! (Так звали Дон Кихота, пока он еще не лишился рассудка и из степенного идальго не превратился в странствующего рыцаря.) Кто же это вас так избил?

Но Дон Кихот на все вопросы отвечал стихами из того же самого романса. Тогда добрый земледелец, чтобы удостовериться, не ранен ли он, с великим бережением снял с него нагрудник и наплечье, однако ж ни крови, ни каких-либо ссадин не обнаружил. Он поднял его и, полагая, что осел более смирное животное, не без труда посадил на своего осла. Затем подобрал оружие, даже обломки копья, все это привязал к седлу Росинанта, взял и его и осла под уздцы и, погруженный в глубокое раздумье, пропуская мимо ушей то, что городил Дон Кихот, зашагал по направлению к своему селу. Дон Кихот тоже впал в задумчивость; избитый до полусмерти, он едва мог держаться в седле и по временам испускал достигавшие неба вздохи, так что земледелец в конце концов снова принужден был спросить, что у него болит, но Дон Кихоту точно сам дьявол нашептывал разные сказки, применимые к его собственным похождениям, ибо в эту минуту он, уже забыв о Балдуине, вспомнил о том, как антекерский алькайд Родриго де Нарваэс[67] взял в плен мавра Абиндарраэса[68] и привел его в свой замок. И когда земледелец снова задал ему вопрос, как он поживает и как себя чувствует, он обратился к нему с теми же словами, с какими в прочитанной им некогда книге Хорхе де Монтемайора *Диана,* где описывается эта история, пленный Абенсерраг[69] обращается к Родриго де Нарваэсу. И так искусно сумел он применить историю с мавром к себе, что, слушая эту галиматью, земледелец не один раз помянул черта; именно эта галиматья и навела земледельца на мысль, что односельчанин его спятил, и, чтобы поскорей отвязаться от Дон Кихота, докучавшего ему своим многословием, решился он прибавить шагу. Дон Кихот же объявил в заключение:

– Да будет известно вашей милости, сеньор дон Родриго де Нарваэс, что прекрасная Харифа, о которой я вам сейчас рассказывал, это и есть очаровательная Дульсинея Тобосская, ради которой я совершал, совершаю и совершу такие подвиги, каких еще не видел, не видит и так никогда и не увидит свет.

Земледелец ему на это сказал:

– Горе мне с вами, ваша милость! Да поймите же, сеньор, что никакой я не дон Родриго де Нарваэс и не маркиз Мантуанский, а всего-навсего Педро Алонсо, ваш односельчанин. Так

же точно и ваша милость: никакой вы не Балдуин и не Абиндарраэс, а почтенный идальго, сеньор Кихана.

– Я сам знаю, кто я таков, – возразил Дон Кихот, – и еще я знаю, что имею право назваться не только теми, о ком я вам рассказывал, но и всеми Двенадцатью Пэрами Франции,[70] а также всеми Девятью Мужами Славы,[71] ибо подвиги, которые они совершили и вместе и порознь, не идут ни в какое сравнение с моими.

Продолжая такой разговор, под вечер достигли они своего села; однако ж избитый идальго еле держался в седле, так что земледелец, чтобы никто не увидел его, рассудил за благо дождаться темноты. А когда уже совсем стемнело, он направился прямо к дому Дон Кихота, где в это время царило великое смятение и откуда доносился громкий голос ключницы, разговаривавшей с двумя ближайшими друзьями нашего рыцаря, священником и цирюльником:

– Что вы скажете, сеньор лиценциат[72] Перо Перес (так звали священника), о злоключении моего господина? Вот уж три дня, как исчезли и он, и лошадь, и щит, и копье, и доспехи. Что я за несчастная! Одно могу сказать – и это так же верно, как то, что все мы сначала рождаемся, а потом умираем, – начитался он этих проклятых рыцарских книжек, вот они и свели его с ума. Теперь-то я припоминаю, что, рассуждая сам с собой, он не раз изъявлял желание сделаться странствующим рыцарем и ради приключений начать скитаться по всему белому свету. Пускай Сатана и Варавва унесут эти книги, коли из-за них помрачился светлый его ум: ведь другого такого не сыщешь во всей Ламанче.

Племянница к ней присоединилась.

– Знаете, сеньор маэсе Николас, – заговорила она, обращаясь к цирюльнику, – дядюшке моему не раз случалось двое суток подряд читать скверные эти *романы злоключений*. Потом, бывало, бросит книгу, схватит меч и давай тыкать в стены, пока совсем не выбьется из сил. «Я, скажет, убил четырех великанов, а каждый из них ростом с башню». Пот с него градом, а он говорит, что это кровь течет, – его, видите ли, ранили в бою. Ну, а потом выпьет целый ковш холодной воды, отдохнет, успокоится: это, дескать, драгоценный напиток, который ему принес мудрый – как бишь его? – не то Алкиф, не то Паф-пиф, великий чародей и его верный друг. Нет, это я во всем виновата: если б я заранее уведомила вас, что у дядюшки не все дома, то ваши милости не дали бы ему дойти до такой крайности, вы сожгли бы все эти богомерзкие книги, ведь у него пропасть таких, которые давно пора, все равно как писания еретиков, бросить в костер.

– Я тоже так думаю, – заметил священник, – и даю вам слово, что завтра же мы устроим аутодафе и предадим их огню, дабы впредь не подбивали они читателей на такие дела, какие, по-видимому, творит сейчас добрый мой друг.

Земледелец и Дон Кихот слышали весь этот разговор, и тут земледелец, вполне уразумев, какого рода недуг овладел его односельчанином, стал громко кричать:

– Ваши милости! Откройте дверь сеньору Балдуину, тяжело раненному маркизу Мантуанскому и сеньору мавру Абиндарраэсу, которого ведет в плен антекерский алькайд, доблестный Родриго де Нарваэс!

На крик выбежали все, и как скоро мужчины узнали своего друга, а женщины – дядю своего и господина, который все еще сидел на осле, ибо не мог слезть, то бросились обнимать его. Он же сказал им:

– Погодите! Я тяжело ранен по вине моего коня. Отнесите меня на постель и, если можно, позовите мудрую Урганду, чтобы она осмотрела и залечила мои раны.

– Вот беда-то! – воскликнула ключница. – Чуяло мое сердце, на какую ногу захромал мой хозяин! Слезайте с богом, ваша милость, мы и без этой *Поганды* сумеем вас вылечить. До чего же довели вас эти рыцарские книжки, будь они трижды прокляты!

Дон Кихота отнесли на постель, осмотрели его, однако ран на нем не обнаружили. Он же сказал, что просто ушибся, ибо, сражаясь с десятью исполинами, такими страшными и дерзкими, каких еще не видывал свет, он вместе со своим конем Росинантом грянулся оземь.

– Те-те-те! – воскликнул священник. – Дело уже и до исполинов дошло? Накажи меня бог, если завтра же, еще до захода солнца, все они не будут сожжены.

Дон Кихота забросали вопросами, но он, не пожелав отвечать, попросил лишь, чтобы ему дали поесть и поспать, в чем он теперь, мол, особенно нуждается. Желание его было исполнено, а затем священник начал подробно расспрашивать земледельца о том, как ему удалось найти Дон Кихота. Когда же земледелец рассказал ему все, не утаив и той чуши, какую, валяясь на земле и по дороге домой, молол наш рыцарь, лиценциат загорелся желанием как можно скорее осуществить то, что он действительно на другой день и осуществил, а именно: зашел за своим приятелем, цирюльником маэсе Николасом, и вместе с ним отправился к Дон Кихоту.



Глава VI

О тщательнейшем и забавном осмотре, который священник и цирюльник произвели в книгохранилище хитроумного нашего идальго



Тот все еще спал. Священник попросил у племянницы ключ от комнаты, где находились эти зловредные книги, и она с превеликою готовностью исполнила его просьбу; когда же все вошли туда, в том числе и ключница, то обнаружили более ста больших книг в весьма добротных переплетах, а также другие книги, менее внушительных размеров, и ключница, окинув их взглядом, опрометью выбежала из комнаты, но тотчас же вернулась с чашкой святой воды и с кропилом.

– Пожалуйста, ваша милость, сеньор лиценциат, окропите комнату, – сказала она, – а то еще кто-нибудь из волшебников, которые прячутся в этих книгах, заколдует нас в отместку за то, что мы собираемся сжить их всех со свету.

Посмеялся лиценциат простодушию ключницы и предложил цирюльнику такой порядок: цирюльник будет передавать ему эти книги по одной, а он-де займется их осмотром, – может статься, некоторые из них и не повинны смерти.

– Нет, – возразила племянница, – ни одна из них не заслуживает прощения, все они причинили нам зло. Их надобно выбросить в окно, сложить в кучу и поджечь. А еще лучше отнести на скотный двор и там сложить из них костер, тогда и дым не будет нас беспокоить.

Ключница к ней присоединилась, – обе они страстно желали погибели этих невинных страдальцев; однако ж священник настоял на том, чтобы сперва читать хотя бы заглавия. И первое, что вручил ему маэсе Николас, это *Амадиса Галльского в четырех частях.*

– В этом есть нечто знаменательное, – сказал священник, – сколько мне известно, перед нами первый рыцарский роман, вышедший из печати в Испании, и от него берут начало и ведут свое происхождение все остальные, а потому, мне кажется, как основоположника сей богопротивной ереси, должны мы без всякого сожаления предать его огню.

– Нет, сеньор, – возразил цирюльник, – я слышал другое: говорят, что это лучшая из книг, кем-либо в этом роде сочиненных, а потому, в виде особого исключения, должно его помиловать.

– Ваша правда, – согласился священник, – примем это в соображение и временно даруем ему жизнь. Посмотрим теперь, кто там стоит рядом с ним.

– *Подвиги Эспландиана*,[73] законного, сына Амадиса Галльского, – возгласил цирюльник.

– Справедливость требует заметить, что заслуги отца на сына не распространяются, – сказал священник. – Нате, сеньора домоправительница, откройте окно и выбросьте его, пусть он положит начало груде книг, из которых мы устроим костер.

Ключница с особым удовольствием привела это в исполнение: добрый Эспландиан полетел во двор и там весьма терпеливо стал дожидаться грозившей ему казни.

– Дальше, – сказал священник.

– За ним идет *Амадис Греческий,*– сказал цирюльник, – да, по-моему, в этом ряду одни лишь Амадисовы родичи и стоят.

– Вот мы их всех сейчас и выбросим во двор, – сказал священник. – Только за то, чтобы иметь удовольствие сжечь королеву Пинтикинестру, пастушка Даринеля с его эклогами и всю эту хитросплетенную чертовщину, какую развел здесь автор, я и собственного родителя не постеснялся бы сжечь, если бы только он принял образ странствующего рыцаря.

– И я того же мнения, – сказал цирюльник.

– И я, – сказала племянница.

– А коли так, – сказала ключница, – давайте их сюда, я их прямо во двор.

Ей дали изрядное количество книг, и она, щадя, как видно, лестницу, побросала их в окно.

– А это еще что за толстяк? – спросил священник.

– Дон *Оливант Лаврский*,[74] – отвечал цирюльник.

– Эту книгу сочинил автор *Цветочного сада,* – сказал священник. – Откровенно говоря, я не сумел бы определить, какая из них более правдива или, вернее, менее лжива. Одно могу сказать: книга дерзкая и нелепая, а потому – в окно ее.

– Следующий – *Флорисмарт Гирканский*,[75] – объявил цирюльник.

– А, и сеньор Флорисмарт здесь? – воскликнул священник. – Бьюсь об заклад, что он тоже мгновенно очутится на дворе, несмотря на чрезвычайные обстоятельства, при которых он произошел на свет, и на громкие его дела. Он написан таким тяжелым и сухим языком, что

ничего иного и не заслуживает. Во двор его, сеньора домоправительница, и еще вот этого заодно.

– Охотно, государь мой, – молвила ключница, с великою радостью исполнявшая все, что ей приказывали.

– Это *Рыцарь Платир*,[76] – объявил цирюльник.

– Старинный роман, – заметил священник, однако ж я не вижу причины, по которой он заслуживал бы снисхождения. Без всяких разговоров препроводите его туда же.

Как сказано, так и сделано. Раскрыли еще одну книгу, под заглавием *Рыцарь Креста*.[77]

– Ради такого душеспасительного заглавия можно было бы простить автору его невежество. С другой стороны, недаром же говорится: «За крестом стоит сам дьявол». В огонь его!

Цирюльник достал с полки еще один том и сказал:

– Это Зерцало рыцарства.[78]

– Знаю я сию почтенную книгу, – сказал священник. – В ней действуют сеньор Ринальд Монтальванский со своими друзьями-приятелями, жуликами почище самого Кака, и Двенадцать Пэров Франции вместе с их правдивым летописцем Турпином.[79] Впрочем, откровенно говоря, я отправил бы их на вечное поселение – и только, хотя бы потому, что они причастны к замыслу знаменитого Маттео Боярдо,[80] сочинение же Боярдо, в свою очередь, послужило канвой для Лодовико Ариосто, поэта, проникнутого истинно христианским чувством, и вот если мне попадется здесь Ариосто и если при этом обнаружится, что он говорит не на своем родном, а на чужом языке, то я не почувствую к нему никакого уважения, если же на своем, то я возложу его себе на главу.

– У меня он есть по-итальянски, – сказал цирюльник, – но я его не понимаю.

– И хорошо, что не понимаете, – заметил священник, – мы бы и сеньору военачальнику[81] это простили, лишь бы он не переносил Ариосто в Испанию и не делал из него кастильца: ведь через то он лишил его многих природных достоинств, как это случается со всеми, кто берется переводить поэтические произведения, ибо самому добросовестному и самому искусному переводчику никогда не подняться на такую высоту, какой достигают они в первоначальном своем виде. Словом, я хочу сказать, что эту книгу вместе с прочими досужими вымыслами французских сочинителей следует бросить на дно высохшего колодца, и пусть они там и лежат, пока мы, по зрелом размышлении, не придумаем, как с ними поступить; я бы только не помиловал *Бернардо дель Карпьо*,[82] который, уж верно, где-нибудь тут притаился, и еще одну книгу, под названием *Ронсеваль*:[83] эти две книги, как скоро они попадутся мне в руки, тотчас перейдут в руки домоправительницы, домоправительница же без всякого снисхождения предаст их огню.

Цирюльник поддержал священника, – он почитал его за доброго христианина и верного друга истины, который ни за какие блага в мире не станет кривить душой, а потому суждения его показались цирюльнику справедливыми и весьма остроумными. Засим он раскрыл еще одну книгу: то был *Пальмерин Оливский*,[84] а рядом с ним стоял *Пальмерин Английский*. Прочитав заглавия, лиценциат сказал:

– *Оливку* эту растоптать и сжечь, а пепел развеять по ветру, но английскую *пальму* должно хранить и беречь, как зеницу ока, в особом ларце,[85] вроде того, который найден был Александром Македонским среди трофеев, оставшихся после Дария, и в котором он потом хранил творения Гомера. Эта книга, любезный друг, достойна уважения по двум причинам: во-первых, она отменно хороша сама по себе, а во-вторых, если верить преданию, ее написал один мудрый португальский король. Приключения в замке *Следи-и-бди* очаровательны – все они обличают в авторе великого искусника. Бдительный автор строго следит за тем, чтобы герои его рассуждали здраво и выражали свои мысли изысканно и ясно,

в полном соответствии с положением, какое они занимают в обществе. Итак, сеньор маэсе Николас, буде на то *ваша.* добрая воля, этот роман, а также *Амадис Галльский* избегнут огня, прочие же, без всякого дальнейшего осмотра и проверки, да погибнут.

– Погодите, любезный друг, – возразил цирюльник, – у меня в руках прославленный *Дон Бельянис.*

– Этому, – рассудил священник, – за вторую, третью и четвертую части не мешает дать ревеню, дабы освободить его от избытка желчи, а затем надлежит выбросить из него все, что касается Замка Славы, и еще худшие несуразности, для каковой цели давайте отложим судебное разбирательство на неопределенный срок, дабы потом, в зависимости от того, исправится он или нет, вынести мягкий или же суровый приговор. А пока что, любезный друг, возьмите его себе, но только никому не давайте читать.

– С удовольствием, – молвил цирюльник.

Не желая тратить силы на дальнейший осмотр рыцарских романов, он велел ключнице забрать все большие тома и выбросить во двор. Ключница же не заставляла себя долго ждать и упрашивать – напротив, складывать из книг костер представлялось ей куда более легким делом, нежели ткать огромный кусок тончайшего полотна, а потому, схватив в охапку штук восемь зараз, она выкинула их в окно. Ноша эта оказалась для нее, впрочем, непосильною, и одна из книг упала к ногам цирюльника, – тот, пожелав узнать, что это такое, прочел: *История славного рыцаря Тиранта Белого.*[86]

– С нами крестная сила! – возопил священник. – Как, и *Тирант Белый* здесь? Дайте-ка мне его, любезный друг, это же сокровищница наслаждений и залежи утех. В нем выведены доблестный рыцарь дон Кириэлейсон Монтальванский, брат его, Томас Монтальванский, и рыцарь Фонсека, в нем изображается битва отважного Тиранта с догом, в нем описываются хитрости девы Отрады, шашни и плутни вдовы Потрафиры и, наконец, сердечная склонность императрицы к ее конюшему Ипполиту. Уверяю вас, любезный друг, что в рассуждении слога это лучшая книга в мире. Рыцари здесь едят, спят, умирают на своей постели, перед смертью составляют завещания, и еще в ней много такого, что в других книгах этого сорта отсутствует. Со всем тем автор ее умышленно нагородил столько всякого вздора, что его следовало бы приговорить к пожизненной каторге. Возьмите ее с собой, прочтите, и вы увидите, что я сказал о ней истинную правду.

– Так я и сделаю, – сказал цирюльник. – А как же быть с маленькими книжками?

– Это не рыцарские романы, это, как видно, стихи, – сказал священник.

Раскрыв наудачу одну из них и увидев, что это *Диана* Хорхе де Монтемайора,[87] он подумал, что и остальные должны быть в таком же роде.

– Эти жечь не следует, – сказал он, – они не причиняют и никогда не причинят такого зла, как рыцарские романы: это хорошие книги и совершенно безвредные.

– Ах, сеньор! – воскликнула племянница. – Давайте сожжем их вместе с прочими! Ведь если у моего дядюшки и пройдет помешательство на рыцарских романах, так он, чего доброго, примется за чтение стихов, и тут ему вспадет на ум сделаться пастушком: станет бродить по рощам и лугам, петь, играть на свирели или, еще того хуже, сам станет поэтом, а я слыхала, что болезнь эта прилипчива и неизлечима.

– Девица говорит дело, – заметил священник, – лучше устранить с пути нашего друга и этот камень преткновения. Что касается *Дианы* Монтемайора, то я предлагаю не сжигать эту книгу, а только выкинуть из нее все, что относится к мудрой Фелисье и волшебной воде, а также почти все ее длинные строчки,[88] оставим ей в добрый час ее прозу и честь быть первой в ряду ей подобных.

– За нею следуют так называемая *Вторая Диана,Диана* Саламантинца,[89] – сказал цирюльник, – и еще одна книга под тем же названием, сочинение Хиля Поло.[90]

– Саламантинец отправится вслед за другими во двор и увеличит собою число приговоренных к сожжению, – рассудил священник, – но *Диану* Хиля Поло должно беречь так, как если бы ее написал сам Аполлон. Ну, давайте дальше, любезный друг, мешкать нечего, ведь уж поздно.

– Это *Счастье любви в десяти частях*,[91] – вытащив еще одну книгу, объявил цирюльник, – сочинение сардинского поэта Антоньо де Лофрасо.

– Клянусь моим саном, – сказал священник, – что с тех пор, как Аполлон стал Аполлоном, музы – музами, а поэты – поэтами, никто еще не сочинял столь занятной и столь нелепой книги; это единственное в своем роде сочинение, лучшее из всех ему подобных, когда-либо появлявшихся на свет божий, и кто ее не читал, тот еще не читал ничего увлекательного. Дайте-ка ее сюда, любезный друг, – если б мне подарили сутану из флорентийского шелка, то я не так был бы ей рад, как этой находке.

Весьма довольный, он отложил книгу в сторону, а цирюльник между тем продолжал:

– Далее следуют *Иберийский пастух, Энаресские нимфы* и *Исцеление ревности*.

– Предадим их, не колеблясь, в руки светской власти, сиречь ключницы, – сказал священник. – Резонов на то не спрашивайте, иначе мы никогда не кончим.

– За ними идет *Пастух Филиды*.[92]

– Он вовсе не пастух, – заметил священник, – а весьма просвещенный столичный житель. Будем беречь его как некую драгоценность.

– Эта толстая книга носит название *Сокровищницы разных стихотворений*,[93] – объявил цирюльник.

– Будь их поменьше, мы бы их больше ценили, – заметил священник. – Следует выполоть ее и очистить от всего низкого, попавшего в нее вместе с высоким. Пощадим ее, во-первых, потому, что автор ее – мой друг, а во-вторых, из уважения к другим его произведениям, более возвышенным и героичным.

– Вот *Сборник песен* Лопеса Мальдонадо,[94] – продолжал цирюльник.

– С этим автором мы тоже большие друзья, – сказал священник, – ив его собственном исполнении песни эти всех приводят в восторг, ибо голос у него поистине ангельский. Эклоги его растянуты, ну да ведь хорошим никогда сыт не будешь. Присоединим же его к избранникам. А что за книга стоит рядом с этой?

– *Галатея* Мигеля де Сервантеса, – отвечал цирюльник.

– С этим самым Сервантесом я с давних пор в большой дружбе, и мне хорошо известно, что в стихах он одержал меньше побед, нежели на его голову сыплется бед. Кое-что в его книге придумано удачно, но все его замыслы так и остались незавершенными. Подождем обещанной второй части: может статься, он исправится и заслужит наконец снисхождение, в коем мы отказываем ему ныне. А до тех пор держите его у себя в заточении.

– С удовольствием, любезный друг, – сказал цирюльник. – Вот еще три книжки: *Араукана* дона Алонсо де Эрсильи,[95] *Австриада* Хуана Руфо,[96] кордовского судьи, и *Монсеррат*[97] валенсийского поэта Кристоваля де Вируэса.

– Эти три книги, – сказал священник, – лучшее из всего, что было написано героическим стихом на испанском языке: они стоят наравне с самыми знаменитыми итальянскими поэмами. Берегите их, – это вершины испанской поэзии.

Наконец просмотр книг утомил священника, и он предложил сжечь остальные без разбора, но цирюльник как раз в это время раскрыл еще одну – под названием *Слезы Анджелики*.[98]

– Я бы тоже проливал слезы, когда бы мне пришлось сжечь такую книгу, – сказал священник, – ибо автор ее один из лучших поэтов не только в Испании, но и во всем мире, и он так чудесно перевел некоторые сказания Овидия!



Глава VII

О втором выезде доброго нашего рыцаря Дон Кихота Ламанчского



В это время послышался голос Дон Кихота.

– Сюда, сюда, отважные рыцари! – кричал он. – Пора вам выказать силу доблестных ваших дланей, не то придворные рыцари возьмут верх на турнире.

Пришлось прекратить осмотр книгохранилища и бежать на шум и грохот, – от того-то некоторые и утверждают, что *Карлиада*[99] и *Лев Испанский*,[100] а также *Деяния*

императора[101] дона Луиса де Авила, вне всякого сомнения находившиеся среди неразобранных книг, без суда и следствия полетели в огонь, тогда как если бы священник видел их, то, может статься, они и не подверглись бы столь тяжкому наказанию.

Войдя к Дон Кихоту в комнату, друзья и домашние его обнаружили, что он уже встал с постели; казалось, он и не думал спать, так он был оживлен: по-прежнему шумел, безумствовал, тыкал во все стороны мечом. Его схватили и насильно уложили в постель, – тут он несколько успокоился и, обратившись к священнику, молвил:

– Какой позор, – не правда ли, сеньор архиепископ Турпин? – что так называемые Двенадцать Пэров ни с того ни с сего уступили пальму первенства на турнире придворным рыцарям, тогда как мы, странствующие рыцари, три дня подряд пожинали плоды победы!

– Полно, ваша милость, полно, любезный друг, – заговорил священник. – Бог даст, все обойдется, – что упущено сегодня, то всегда можно наверстать завтра, а теперь, ваша милость, подумайте о своем здоровье: сдается мне, вы очень устали, а может быть, даже и ранены.

– Ранен-то я не ранен, – возразил Дон Кихот, – а что меня избили и отколотили, в этом нет сомнения: ублюдок Роланд бросился на меня с дубиной – и все из зависти, ибо единственно, кто не уступит ему в храбрости, так это я. Но не будь я Ринальд Монтальванский, если, встав с этого ложа, я ему не отомщу, несмотря на все его чары. А пока что принесите мне поесть, сейчас я ни в чем так не нуждаюсь, как в пище, а уж постоять за себя я и сам сумею.

Желание Дон Кихота было исполнено: ему принесли поесть, а затем он снова заснул, прочие же еще раз подивились его сумасбродству.

В ту же ночь стараниями ключницы были сожжены дотла все книги: и те, что валялись на дворе, и те, что еще оставались в комнате; по всей вероятности, вместе с ними сгорели и такие, которые надобно было сдать на вечное хранение в архив, но этому помешали судьба и нерадение учинявшего осмотр, – недаром говорит пословица, что из-за грешников частенько страдают и праведники.

Священник с цирюльником решили, что первое средство от недуга, который овладел их приятелем, – это заложить и замуровать вход в книгохранилище, чтобы, встав с постели, он не нашел его (если, мол, устранить причину, то следствия, может статься, отпадут сами собой), а затем объявить ему, что некий волшебник вместе со всеми книгами похитил и комнату; и все это было осуществлено с великим проворством. Два дня спустя Дон Кихот встал с постели и прежде всего пошел взглянуть на свои книги, но, не обнаружив помещения, в котором они находились, стал бродить и шарить по всем комнатам. Несколько раз подходил к тому месту, где раньше была дверь, ощупывал стену, молча обводил глазами комнату; наконец после долгих поисков он спросил ключницу, где находится его книгохранилище. Ключницу же научили, как должно отвечать.

– О каком таком книгохранилище вы говорите, ваша милость? – в свою очередь спросила она. – Нет у нас теперь ни книг, ни хранилища, все унес дьявол.

– Вовсе не дьявол, а волшебник, – возразила племянница. – После того как вы от нас уехали, ваша милость, на следующую ночь он прилетел сюда на облаке, спрыгнул с дракона, на котором сидел верхом, и проник в книгохранилище. Не знаю, что он там делал, только немного погодя, гляжу, вылетает через крышу, а в комнатах полно дыму. Пошли мы посмотреть, что он натворил, а уж ни книг, ни комнаты нет и в помине. Одно только мы обе отлично помним: улетая, этот злой старик громко крикнул, что по злобе, которую он втайне питает к владельцу книг и помещения, он нанес его дому урон и что урон этот впоследствии обнаружится. Еще он сказал, что зовут его мудрый Муньятон.

– Не Муньятон, а Фрестон, – поправил ее Дон Кихот.

– Не то Фрестон, не то Фритон, – вмешалась ключница, – помню только, что имя его оканчивается на *тон.*

– Так, так, – подхватил Дон Кихот, – это один мудрый волшебник, злейший мой враг: он меня ненавидит, ибо колдовские чары и тайнопись открыли ему, что по прошествии некоторого времени мне предстоит единоборство с рыцарем, коему он покровительствует, и что, несмотря на все его козни, я над тем рыцарем одержу победу, оттого-то он всеми силами и старается мне досадить. Но да будет ему известно, что ни нарушить, ни обойти предустановленного небесами он не властен.

– Какие же тут могут быть сомнения! – воскликнула племянница. – Но только вот что, дядюшка: кто велит вашей милости лезть в драку? Не лучше ли спокойно сидеть дома, нежели мыкаться по свету и ловить в небе журавля, забывая о том, что коли идешь за шерстью – гляди, как бы самого не обстригли?

– Ах, племянница! – воскликнул Дон Кихот. – Как мало ты во всем этом смыслишь! Прежде нежели меня обстригут, я сам выщиплю и вырву бороду всякому, кто посмеет дотронуться до кончика моего волоса.

Обе женщины, видя, что он гневается, решились более ему не перечить.

Как бы то ни было, целых две недели сидел он спокойно дома, ничем не обнаруживая желания снова начать колобродить, и в течение этих двух недель у него не раз происходили в высшей степени забавные собеседования с двумя его приятелями, священником и цирюльником, которых он уверял, что в настоящее время мир ни в ком так не нуждается, как в странствующих рыцарях, и что странствующему рыцарству суждено воскреснуть в его лице. Священник, полагая, что его можно вразумить, не иначе как пустившись на хитрости, в иных случаях спорил с ним, в иных – соглашался.

Одновременно Дон Кихот вступил в переговоры с одним своим односельчанином: это был человек добропорядочный (если только подобное определение применимо к людям, которые не могут похвастаться порядочным количеством всякого добра), однако ж мозги у него были сильно набекрень. Дон Кихот такого ему наговорил, такого наобещал и так сумел его убедить, что в конце концов бедный хлебопашец дал слово отправиться вместе с ним в качестве его оруженосца. Между прочим, Дон Кихот советовал ему особенно не мешкать, ибо вполне, дескать, может случиться, что он, Дон Кихот, в мгновение ока завоюет какой-нибудь остров и сделает его губернатором такового. Подобные обещания соблазнили Санчо Пансу – так звали нашего хлебопашца, – и он согласился покинуть жену и детей и стать оруженосцем своего односельчанина.

Затем Дон Кихот принялся раздобывать деньги: кое-что продал, кое-что заложил с большим для себя убытком и в конце концов собрал значительную сумму. Кроме того, он взял на время у одного из своих приятелей круглый щит и, починив, как мог, разбитый свой шлем, предуведомил оруженосца Санчо о дне и часе выезда, чтобы тот успел запастись всем необходимым, а главное, не забыл взять с собой дорожную суму. Санчо дал слово, что не забудет, но, сославшись на то, что он не мастак ходить пешком, объявил, что у него есть очень хороший осел и что он поедет на нем. Это обстоятельство слегка озадачило Дон Кихота: он перебирал в памяти, был ли у кого-нибудь из странствующих рыцарей такой оруженосец, который прибегал к ослиному способу передвижения, но так и не припомнил; однако в надежде, что ему не замедлит представиться случай отбить коня у первого же неучтивого рыцаря, который встретится ему на пути, и передать это куда более почтенное четвероногое во владение своему оруженосцу, он позволил Санчо Пансе взять осла. По совету хозяина постоялого двора Дон Кихот запасся сорочками и всем, чем только мог. Когда же все было готово и приведено в надлежащий вид, Дон Кихот, не простившись ни с племянницей, ни с ключницей, в сопровождении Санчо Пансы, который тоже не простился ни с женой, ни с детьми, однажды ночью тайком выехал из села; и за ночь им удалось отъехать на весьма значительное расстояние, так что, когда рассвело, они почувствовали себя в полной безопасности: если б и снарядили за ними погоню, то все равно уже не настигли бы их.



Санчо Панса не забыл приторочить суму и бурдюк, и теперь он, горя желанием сделаться губернатором обещанного острова, как некий патриарх, восседал на осле. Между тем Дон Кихот избрал тот же самый путь и двинулся по той же дороге, по какой ехал он в прошлый раз, то есть по Монтьельской равнине, только теперь он чувствовал себя несравненно бодрее, ибо время было еще раннее и косые лучи солнца не очень его беспокоили. Тут-то и обратился Санчо Панса к своему господину:

– Смотрите же, ваша милость, сеньор странствующий рыцарь, не забудьте, что вы мне обещали насчет острова, а уж я с каким угодно островом управлюсь.

Дон Кихот ему на это сказал:

– Надобно тебе знать, друг мой Санчо Панса, что в былые времена странствующие рыцари имели обыкновение назначать правителями завоеванных ими островов и королевств своих же собственных оруженосцев, а уж за мной дело не станет, ибо я положил восстановить похвальный этот обычай. Более того, я намерен пойти еще дальше: прежде рыцари иной раз, а, пожалуй, даже и всякий раз, ждали, пока их оруженосцы состарятся, и лишь по прошествии

многих беспокойных дней и еще менее спокойных ночей, когда тем уже не под силу становилось служить, присваивали им титул графа или, в лучшем случае, маркиза и вводили их во владение землей или какой-нибудь захудалой провинцией. Если же мы с тобой будем живы и здоровы, то легко может случиться, что не пройдет и недели, как я уже завоюю королевство, коему подвластно еще несколько королевств, и какое из них тебе полюбится, тем я тебя, короновав, и пожалую. И пусть это тебя не удивляет: с рыцарями творятся дела необыкновенные и происходят случаи непредвиденные, так что мне ничего не будет стоить наградить тебя еще чем-нибудь сверх того, что я обещал.

– Значит, выходит так, – заключил Санчо Панса, – что если я каким-нибудь чудом стану королем, то Хуана Гутьеррес, моя благоверная, станет по меньшей мере королевой, а детки мои – инфантами?

– Кто же в этом сомневается? – возразил Дон Кихот.

– Да я первый, – отвечал Санчо Панса. – Ведь если б даже господь устроил так, чтобы королевские короны сыпались на землю дождем, и тогда, думается мне, ни одна из них не пришлась бы по мерке Хуане Гутьеррес. Уверяю вас, сеньор, что королевы из нее нипочем не выйдет. Графиня – это еще так-сяк, да и то бабушка надвое сказала.

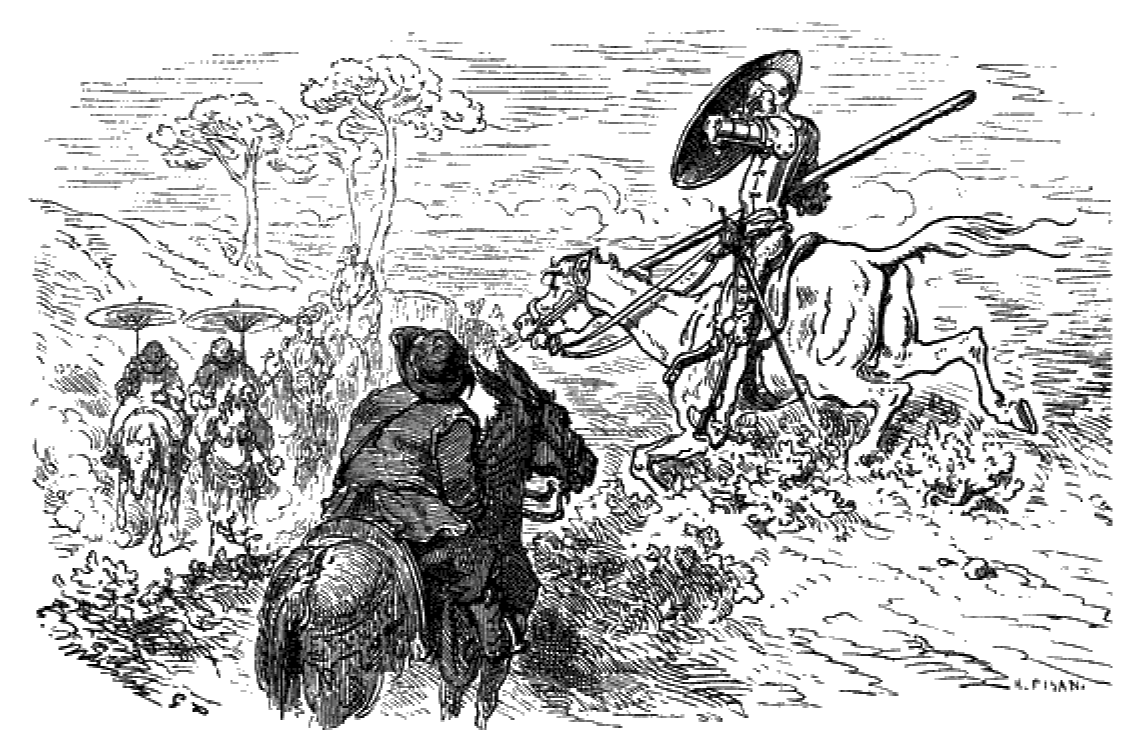
– Уповай, Санчо, не на какую-то неведомую бабушку, а на бога, – сказал Дон Кихот, – и он наградит твою жену тем, что ей более всего подходит. Ты же не роняй своего достоинства и готовься занять пост генерал-губернатора, а на меньшем ни в коем случае не мирись.

– Ни за что не помирюсь, государь мой, – сказал Санчо. – Такой важный господин, как вы, ваша милость, всегда сумеет выбрать для меня что-нибудь такое, что придется мне по плечу и по нраву.



Глава VIII

О славной победе, одержанной доблестным Дон Кихотом в страшной и доселе неслыханной битве с ветряными мельницами, равно как и о других событиях, о которых мы не без приятности упомянем



Тут глазам их открылось не то тридцать, не то сорок ветряных мельниц, стоявших среди поля, и как скоро увидел их Дон Кихот, то обратился к своему оруженосцу с такими словами:

– Судьба руководит нами как нельзя лучше. Посмотри, друг Санчо Панса: вон там виднеются тридцать, если не больше, чудовищных великанов, – я намерен вступить с ними в бой и перебить их всех до единого, трофеи же, которые нам достанутся, явятся основою нашего благосостояния. Это война справедливая: стереть дурное семя с лица земли – значит верой и правдой послужить богу.

– Где вы видите великанов? – спросил Санчо Панса.

– Да вон они, с громадными руками, – отвечал его господин. – У некоторых из них длина рук достигает почти двух миль.

– Помилуйте, сеньор, – возразил Санчо, – то, что там виднеется, вовсе не великаны, а ветряные мельницы; то же, что вы принимаете за их руки, – это крылья: они кружатся от ветра и приводят в движение мельничные жернова.

– Сейчас видно неопытного искателя приключений, – заметил Дон Кихот, – это великаны. И если ты боишься, то отъезжай в сторону и помолись, а я тем временем вступлю с ними в жестокий и неравный бой.

С последним словом, не внемля голосу Санчо, который предупреждал его, что не с великанами едет он сражаться, а, вне всякого сомнения, с ветряными мельницами, Дон Кихот дал Росинанту шпоры. Он был совершенно уверен, что это великаны, а потому, не обращая внимания на крики оруженосца и не видя, что перед ним, хотя находился совсем близко от мельниц, громко восклицал:

– Стойте, трусливые и подлые твари! Ведь на вас нападает только один рыцарь.

В это время подул легкий ветерок, и, заметив, что огромные крылья мельниц начинают кружиться, Дон Кихот воскликнул:

– Машите, машите руками! Если б у вас их было больше, чем у великана Бриарея,[102] и тогда пришлось бы вам поплатиться!

Сказавши это, он всецело отдался под покровительство госпожи своей Дульсинеи, обратился к ней с мольбою помочь ему выдержать столь тяжкое испытание и, заградившись щитом и пустив Росинанта в галоп, вонзил копье в крыло ближайшей мельницы; но в это время ветер с такой бешеной силой повернул крыло, что от копья остались одни щепки, а крыло, подхватив и коня и всадника, оказавшегося в весьма жалком положении, сбросило Дон Кихота на землю. На помощь ему во весь ослиный мах поскакал Санчо Панса и, приблизившись, удостоверился, что господин его не может пошевелиться – так тяжело упал он с Росинанта.

– Ах ты, господи! – воскликнул Санчо. – Не говорил ли я вашей милости, чтобы вы были осторожнее и что это всего-навсего ветряные мельницы? Их никто бы не спутал, разве тот, у кого ветряные мельницы кружатся в голове.

– Помолчи, друг Санчо, – сказал Дон Кихот. – Должно заметить, что нет ничего изменчивее военных обстоятельств. К тому же, я полагаю, и не без основания, что мудрый Фрестон, тот самый, который похитил у меня книги вместе с помещением, превратил великанов в ветряные мельницы, дабы лишить меня плодов победы, – так он меня ненавидит. Но рано или поздно злые его чары не устоят пред силою моего меча.

– Это уж как бог даст, – заметил Санчо Панса.

Он помог Дон Кихоту встать и усадил его на Росинанта, который тоже был чуть жив. Продолжая обсуждать недавнее происшествие, они поехали по дороге к Ущелью Лаписе, ибо Дон Кихот не мог упустить множество разнообразных приключений, какое, по его словам, на этом людном месте их ожидало; одно лишь огорчало его – то, что он лишился копья, и, поведав горе свое оруженосцу, он сказал:

– Помнится, я читал, что один испанский рыцарь по имени Дьего Перес де Варгас,[103] утратив в бою свой меч, отломил от дуба громадный сук и отдубасил и перебил в этот день столько мавров, что ему потом дали прозвище Дубас, и с тех пор он и его потомки именуются *Варгас-Дубас.* Все это я говорю к тому, что я тоже намерен отломить сук от первого же дуба, который попадется мне по дороге, все равно – обыкновенного или каменного, такой же величины, какой, я себе представляю, долженствовал быть у Варгаса, и при помощи этого сука совершить такие подвиги, что ты почтешь себя избранником судьбы, ибо удостоился чести быть очевидцем и свидетелем деяний, которые впоследствии могут показаться невероятными.

– Все в руках божиих, – заметил Санчо. – Я верю всему, что говорит ваша милость. Только сядьте прямее, а то вы все как будто съезжаете набок – верно, оттого, что ушиблись, когда падали.

– Твоя правда, – сказал Дон Кихот, – и если я не стону от боли, то единственно потому, что странствующим рыцарям в случае какого-либо ранения стонать не положено, хотя бы у них вываливались кишки.

– Коли так, то мне возразить нечего, – сказал Санчо, – но одному богу известно, как бы я был рад, если б вы, ваша милость, пожаловались, когда у вас что-нибудь заболит. А уж доведись до меня, так я начну стонать от самой пустячной боли, если только этот закон не распространяется и на оруженосцев странствующих рыцарей.

Дон Кихот не мог не посмеяться простодушию своего оруженосца, а затем объявил, что тот волен стонать, когда и сколько ему вздумается, как по необходимости, так и без всякой необходимости, ибо в рыцарском уставе ничего на сей предмет не сказано. Санчо напомнил Дон Кихоту, что пора закусить. Дон Кихот сказал, что ему пока не хочется, а что Санчо может есть, когда ему заблагорассудится. Получив позволение, Санчо со всеми удобствами расположился на осле, вынул из сумки ее содержимое и принялся закусывать; он плелся шажком за своим господином и время от времени с таким смаком потягивал из бурдюка, что ему позавидовали бы даже малагские трактирщики, а ведь у них по части вина раздолье. И пока Санчо отхлебывал понемножку, у него вылетели из головы все обещания, какие ему

надавал Дон Кихот, а поиски приключений, пусть даже опасных, казались ему уже не тяжкой повинностью, но сплошным праздником.

Эту ночь они провели под деревьями; от одного из них Дон Кихот отломил засохший сук и приставил к нему железный наконечник – таким образом у него получилось нечто вроде копья. Стараясь во всем подражать рыцарям, которые, как это ему было известно из книг, не спали ночей в лесах и пустынях, тешась мечтой о своих повелительницах, Дон Кихот всю ночь не смыкал глаз и думал о госпоже своей Дульсинее. Совсем по-иному провел ее Санчо Панса: наполнив себе брюхо отнюдь не цикорной водой,[104] он мертвым сном проспал до утра, и, не разбуди его Дон Кихот, он еще не скоро проснулся бы, хотя солнце давно уже било ему прямо в глаза, а множество птиц веселым щебетом приветствовало наступивший день. Наконец Санчо встал и, не замедлив глотнуть из бурдюка, обнаружил, что бурдюк слегка осунулся со вчерашнего дня; это было для него весьма огорчительно, ибо он понимал, что в ближайшее время вряд ли могла ему представиться возможность пополнить запас. Дон Кихот не пожелал завтракать, – как уже было сказано, он питался одними сладкими мечтами. Оба выехали на дорогу, и около трех часов пополудни вдали показалось Ущелье Лаписе.

– Здесь, брат Санчо, – завидев ущелье, сказал Дон Кихот, – мы, что называется, по локоть запустим руки в приключения. Но упреждаю: какая бы опасность мне ни грозила, ты не должен браться за меч, разве только ты увидишь, что на меня нападают смерды, люди низкого звания: в сем случае ты волен оказать мне помощь. Если же это будут рыцари, то по законам рыцарства ты не должен и не имеешь никакого права за меня вступаться, пока ты еще не посвящен в рыцари.

– Насчет этого можете быть уверены, сеньор: я из повиновения не выйду, – сказал Санчо. – Тем более нрав у меня тихий: лезть в драку, затевать перепалку – это не мое дело. Вот если кто-нибудь затронет мою особу, тут уж я, по правде сказать, на рыцарские законы не погляжу: ведь и божеские и человеческие законы никому не воспрещают обороняться.

– С этим я вполне согласен, – сказал Дон Кихот. – Тебе придется сдерживать естественные свои порывы только в том случае, если на меня нападут рыцари.

– Непременно сдержу, – сказал Санчо, – для меня это установление будет священно, как воскресный отдых.



Они все еще продолжали беседовать, когда впереди показались два монаха-бенедиктинца верхом на верблюдах, именно на верблюдах, иначе не скажешь, – такой невероятной величины достигали их мулы. Монахи были в дорожных очках[105] и под зонтиками. Двое слуг шли пешком и погоняли мулов, а позади ехала карета в сопровождении не то четырех, не то пяти верховых. Как выяснилось впоследствии, в карете сидела дама из Бискайи, – ехала она в Севилью, к мужу, который собирался в Америку, где его ожидала весьма почетная должность, монахи же были ее случайными спутниками, а вовсе не провожатыми. Но Дон Кихот, едва завидев их, тотчас же сказал своему оруженосцу:

– Если я не ошибаюсь, нас ожидает самое удивительное приключение, какое только можно себе представить. Вон те черные страшилища, что показались вдали, – это, само собой разумеется, волшебники: они похитили принцессу и увозят ее в карете, мне же во что бы то ни стало надлежит расстроить этот злой умысел.

– Как бы не вышло хуже, чем с ветряными мельницами, – заметил Санчо. – Полноте, сеньор, да ведь это братья-бенедиктинцы, а в карете, уж верно, едут какие-нибудь

путешественники. Право, ваша милость, послушайте вы меня и одумайтесь, а то вас опять лукавый попутает.

– Я уже говорил тебе, Санчо, что ты еще ничего не смыслишь в приключениях, – возразил Дон Кихот. – Я совершенно прав, и сейчас ты в этом удостоверишься.

Тут он выехал вперед, остановился посреди дороги и, когда монахи очутились на таком близком расстоянии, что им должно было быть слышно его, громким голосом заговорил:

– Бесноватые чудища! Сей же час освободите благородных принцесс, которых вы насильно увозите в карете! А не то готовьтесь принять скорую смерть как достойную кару за свои злодеяния!

Монахи натянули поводья и, устрашенные видом Дон Кихота и речами его, ответили ему так:

– Сеньор кавальеро! Мы не бесноватые чудища, мы бенедиктинские иноки, едем по своим надобностям, и есть ли в карете похищенные принцессы или нет – про то мы не ведаем.

– Сладкими речами вы меня не улестите. Знаю я вас, вероломных негодяев, – сказал Дон Кихот.

Не дожидаясь ответа, он пришпорил Росинанта и с копьем наперевес, вне себя от ярости, отважно ринулся на одного из монахов, так что если б тот загодя не слетел с мула, то он принудил бы его к этому силой да еще вдобавок тяжело ранил бы его, а может, и просто убил. Другой монах, видя, как обходятся с его спутником, вонзил пятки в бока доброго своего мула и помчался легче ветра.

Тем временем Санчо Панса мигом соскочил с осла, кинулся к лежавшему на земле человеку и принялся снимать с него одеяние. В ту же секунду к нему подбежали два погонщика и спросили, зачем он раздевает его. Санчо Панса ответил, что эти трофеи по праву принадлежат ему, ибо сражение выиграл его господин Дон Кихот. Погонщики шуток не понимали и не имели ни малейшего представления о том, что такое сражения и трофеи; воспользовавшись тем, что Дон Кихот подъехал к карете и заговорил с путешественницей, они бросились на Санчо, сшибли его с ног и, не оставив в его бороде ни единого волоса, надавали ему таких пинков, что он, бесчувственный и бездыханный, остался лежать на земле. Перепуганный же и оторопелый монах, бледный как полотно, не теряя драгоценного времени, сел на своего мула и поскакал туда, где, издали наблюдая за всей этой кутерьмой, поджидал его спутник, а затем оба, не дожидаясь развязки, поехали дальше и при этом так усердно крестились, точно по пятам за ними гнался сам дьявол.

Между тем Дон Кихот, как уже было сказано, вступил в разговор с сидевшей в карете дамой.

– Сеньора! – так начал он. – Ваше великолепие может теперь располагать собою, как ему заблагорассудится, ибо заносчивость ваших похитителей сметена и повержена в прах мощной моей дланью. А дабы вы не мучились тем, что не знаете имени своего избавителя, я вам скажу, что я – Дон Кихот Ламанчский, странствующий рыцарь и искатель приключений, прельщенный несравненною красавицей Дульсинеей Тобосскою. И в награду за оказанную вам услугу я хочу одного: поезжайте в Тобосо к моей госпоже, скажите ей, что вы от меня, и поведайте ей все, что я совершил, добиваясь вашего освобождения.

Едва успел Дон Кихот вымолвить это, как один из слуг, сопровождавших даму, родом бискаец, видя, что Дон Кихот не пропускает карету и требует, чтобы они возвращались обратно и ехали в Тобосо, приблизился к нему и, схватившись за его копье, на дурном кастильском и отвратительном бискайском наречиях сказал ему следующее:

– Ходи прочь, кавальеро, чтоб тебе нет пути! Клянусь создателем: не выпускать карету, так я тебя убьешь, не будь я бискаец!

Дон Кихот прекрасно понял его.

– Если б ты был не жалкий смерд, а кавальеро, – невозмутимо заметил он, – я бы тебя наказал за твое безрассудство и наглость.

Бискаец же ему на это сказал:

– Я не кавальеро? Клянусь богом, ты врешь, как христианин. А ну, бросай копье, хватай меч – будем смотреть, кого кто! Бискаец – он тебе и на суше, и на море, и черт его знает где идальго. Наоборот скажешь – враль будешь.

– Ну, это мы еще посмотрим, как сказал Аграхес,[106] – молвил Дон Кихот.

Швырнув копье наземь, он выхватил меч, заградился щитом и с твердым намерением уложить бискайца на месте бросился на него. Бискаец же, смекнув, что дело принимает дурной оборот, хотел было спешиться, ибо мул, на котором он путешествовал, скверный наемный мул, не внушал ему доверия, но он успел только выхватить меч; по счастливой случайности он находился возле самой кареты; воспользовавшись этим, он вытащил подушку и прикрылся ею, как щитом, а затем они оба ринулись в бой, как два заклятых врага. Те, кто при сем присутствовал, тщетно пытались их помирить, – бискаец кричал на своем ломаном языке, что если ему не дадут сразиться, то он убьет свою госпожу и всех, кто станет ему поперек дороги. Сидевшая в карете дама, пораженная и напуганная происходящим, велела кучеру отъехать в сторону и стала издали наблюдать за жестокой битвой, в пылу которой бискаец так хватил Дон Кихота по плечу, что, если б не щит, он рассек бы его до пояса. Восчувствовав силу этого страшного удара, Дон Кихот громко воскликнул:

– О Дульсинея, владычица моего сердца, цвет красоты! Придите на помощь вашему рыцарю, который в угоду несказанной доброте вашей столь суровому испытанию себя подвергает!

Произнести эти слова, схватить меч, как можно лучше заградиться щитом и устремиться на врага – все это было делом секунды для нашего рыцаря, задумавшего одним смелым ударом покончить с бискайцем.

Решительный вид, с каким Дон Кихот перешел в наступление, красноречиво свидетельствовал об охватившем его гневе, а потому бискаец почел за нужное изготовиться к обороне. Он прижал подушку к груди, но с места не сдвинулся, ибо ни туда ни сюда не мог повернуть своего мула, который, по причине крайнего утомления и от непривычки к подобного рода дурачествам, не в силах был пошевелить ногой. Словом, как уже было сказано, Дон Кихот, высоко подняв меч, дабы разрубить изворотливого бискайца пополам, наступал на него; бискаец защитился подушкой и тоже высоко поднял меч; испуганные зрители с замиранием сердца ждали, что будет, когда опустятся эти мечи, сокрушительным ударом грозившие один другому, меж тем как дама в карете вместе со своими служанками призывала на помощь силы небесные и давала богу обещание пожертвовать на все святыни и внести вклад во все испанские монастыри, только бы он отвел от бискайца и от них самих столь великую опасность. Но тут, к величайшему нашему сожалению, первый летописец Дон Кихота, сославшись на то, что о дальнейших его подвигах история умалчивает, прерывает описание поединка и ставит точку. Однако ж второй его биограф, откровенно говоря, не мог допустить, чтобы эти достойные внимания события были преданы забвению и чтобы ламанчские писатели оказались настолько нелюбознательными, что не сохранили у себя в архивах или же в письменных столах каких-либо рукописей, к славному нашему рыцарю относящихся; оттого-то, утешаясь этою мыслью, и не терял он надежды отыскать конец занятной этой истории, и точно: небу угодно было, чтобы он его нашел, а уж каким образом – об этом будет рассказано во второй части.[107]



Глава IX,

повествующая об исходе и конце необычайного поединка между неустрашимым бискайцем и отважным ламанчцем



В первой части этой истории мы расстались с доблестным бискайцем и славным Дон Кихотом в то самое мгновение, когда они с мечами наголо готовились нанести друг другу такой сокрушительной силы удар, что если б это им удалось в полной мере, то они, во всяком случае, рассекли бы и разрубили один другого сверху донизу, подобно как разрезают на две половины гранат; расстались же мы с ними потому, что автор на самом интересном месте остановился и обрубил концы увлекательному своему повествованию, не указав даже, где можно узнать, что произошло дальше.

Это обстоятельство крайне меня огорчило, и то удовольствие, какое мне доставили немногие эти страницы, сменилось неудовольствием при мысли о том, какой трудный путь надлежит мне пройти, прежде нежели я обрету многие страницы, которых, как я себе представлял, этой занятной повести недостает. А чтобы для столь славного рыцаря не нашлось ученого мужа, который взял бы на себя труд описать беспримерные его подвиги, это мне

казалось невероятным и из ряду вон выходящим, ибо всем странствующим рыцарям, что *стяжали вечну славу поисками приключений*,[108] на летописцев везло: у каждого из них было по одному, а то и по два ученых мужа, и те не только описывали их деяния, но и поведали нам их мысли, даже самые пустые, и все их дурачества, включая и такие, которые они самым тщательным образом скрывали, – не могла же постигнуть доброго нашего рыцаря такая неудача, чтобы судьба отказала ему в том, что у Платира и ему подобных имелось в изобилии!

Итак, я не склонен был думать, чтобы столь забавная история осталась искалеченною и незавершенною, – я был уверен, что ее поглотило или сокрыло коварное время, которое все на свете истребляет и пожирает. Кроме того, я полагал, что если в хранилище у Дон Кихота были найдены *Энаресские нимфы и пастухи* и *Исцеление ревности* – книги, столь недавно вышедшие в свет, то и его история не может быть весьма древней, и пусть даже она и не записана, все равно она должна быть памятна его односельчанам и всей ламанчской округе. Догадка эта волновала меня и усиливала во мне желание добиться точных и достоверных сведений о жизни и чудесных приключениях славного нашего испанца Дон Кихота Ламанчского, светоча и зерцала ламанчского рыцарства, первого, кто в наш век, в наше злосчастное время, возложил на себя бремена и обязанности странствующего воина, долженствовавшего заступаться за обиженных, помогать вдовам и оказывать покровительство девицам, тем отягощенным собственным девством особам, что, зажав в руке хлыст, разъезжали на иноходцах по горам и долам; в старину, и правда, были такие девы, которые, прожив до восьмидесяти лет и ни одной ночи не проспав под кровлей, ухитрялись, если только их не лишал невинности какой-нибудь недобрый человек, какой-нибудь разбойник с большой дороги или чудовищный великан, сходить в гроб такими же непорочными, как их родительницы. Словом, я утверждаю, что за это и многое другое неустрашимому нашему Дон Кихоту должно воздавать неустанную и громкую хвалу, а заодно следовало бы похвалить и меня – за труды и усилия, которые я потратил на то, чтобы отыскать конец занятной этой истории; впрочем, я вполне сознаю, что когда бы небо, случай и судьба мне не благоприятствовали, то род людской навеки был бы лишен развлечения и удовольствия, какое на протяжении почти двух часов может она доставить внимательному читателю. Конец же ее отыскался вот при каких обстоятельствах.

Однажды, идя в Толедо по улице Алькана, я обратил внимание на одного мальчугана, продававшего торговцу шелком тетради и старую бумагу, а как я большой охотник до чтения и читаю все подряд, даже клочки бумаги, подобранные на улице, то, побуждаемый врожденною этою склонностью, взял я у мальчика одну из тетрадей, которые он продавал, и по начертанию букв догадался, что это арабские буквы. Но догадаться-то я догадался, а прочитать не сумел, и вот стал я поглядывать, не идет ли мимо какой-нибудь мориск, который мог бы мне это прочесть, – кстати сказать, в Толедо такого рода переводчики попадаются на каждом шагу, так что если б даже мне понадобился переводчик с другого языка, повыше сортом и более древнего, то отыскать его не составило бы труда. В конце концов судьба свела меня с одним мориском, и как скоро я изложил ему свою просьбу, он взял в руки тетрадь, раскрыл ее на середине и, прочитав несколько строк, расхохотался. Я спросил, чему он смеется, и он мне ответил, что его насмешило примечание на полях. Я попросил его перевести.

– Здесь, на полях, написано вот что, – сказал он со смехом: – *Дульсинея Тобосская, которой имя столь часто на страницах предлагаемой истории упоминается, была, говорят, великою мастерицею солить свинину и в рассуждении сего не имела себе равных во всей Ламанче.*

Имя Дульсинеи Тобосской повергло меня в крайнее изумление, ибо мне тотчас пришло на ум, что тетради эти заключают в себе историю Дон Кихота. Потрясенный этою догадкою, я попросил мориска немедленно прочитать заглавие, и он тут же, с листа, перевел мне его с арабского на кастильский так, как оно было составлено автором: *История Дон Кихота Ламанчского, написанная Сидом Ахмедом Бенинхали, историком арабским.* Тут мне пришла на

помощь вся моя осмотрительность, и мне удалось скрыть радостное волнение, охватившее меня в тот миг, когда это заглавие достигло моего слуха. Бросившись к торговцу шелком, я вырвал у него из рук все тетради и бумаги и за полреала купил их у мальчика; будь он подогадливее и если б он знал, как жажду я приобрести их, то наверняка запросил бы с меня и взял шесть реалов, а может быть, и больше. Затем мы с мориском зашли на церковный двор, и тут я попросил его за любое вознаграждение перевести на кастильский язык, ничего не пропуская и не прибавляя от себя, все, что в этих тетрадях относится к Дон Кихоту. Мориск, удовольствовавшись двумя арробами[109] изюма и двумя фанегами[110] пшеницы, обещал перевести хорошо, точно и в кратчайший срок. Но чтобы ускорить дело и чтобы не выпускать из рук столь ценной находки, я поселил мориска у себя в доме, и он меньше чем за полтора месяца перевел мне всю эту историю так, как она изложена здесь.

В первой тетради я обнаружил картинку, на которой весьма натурально была изображена битва Дон Кихота с бискайцем: обоим, в полном согласии с историей, приданы воинственные позы, оба высоко подняли мечи, один заградился щитом, другой – подушкой, а мул бискайца – совсем как живой: на расстоянии арбалетного выстрела видно, что это не собственный, а наемный мул. Под фигурой бискайца было написано: *Дон Санчо де Аспейтья,* – очевидно, именно так его и звали, а под Росинантом – *Дон Кихот.* Росинант был нарисован великолепно: длинный, нескладный, изнуренный, худой, с выпирающим хребтом и впавшими боками, он вполне оправдывал меткое и удачное свое прозвище. Поодаль Санчо Панса держал под уздцы своего осла, под которым было написано: *Санчо Санкас*;[111] судя по картинке, у Санчо был толстый живот, короткое туловище и длинные ноги, – потому-то его, наверное, и прозвали *Панса* и *Санкас:* эти два прозвища неоднократно встречаются на страницах нашей истории. Следовало бы отметить еще кое-какие мелкие черты, но они не столь существенны и не делают эту историю более правдивой, чем она есть на самом деле, а всякая история только тогда и хороша, когда она правдива.

Единственно, что вызывает сомнение в правдивости именно этой истории, так это то, что автор ее араб; между тем лживость составляет отличительную черту этого племени; впрочем, арабы – злейшие наши враги,[112] а потому скорей можно предположить, что автор более склонен к преуменьшению, чем к преувеличению. И, по-моему, это так и есть, ибо там, где он мог бы и обязан был бы не поскупиться на похвалы столь доброму рыцарю, он, кажется, намеренно обходит его заслуги молчанием; это очень дурно с его стороны, а еще хуже то, что он это делал умышленно; между тем историки должны и обязаны быть точными, правдивыми и до такой степени беспристрастными, чтобы ни корысть, ни страх, ни вражда, ни дружба не властны были свести их с пути истины, истина же есть родная дочь истории – соперницы времени, сокровищницы деяний, свидетельницы минувшего, поучительного примера для настоящего, предостережения для будущего. Я знаю, что в этой истории вы найдете все, что только от занимательного чтения можно требовать; в изъянах же ее, коль скоро таковые обнаружатся, повинен, на мой взгляд, собака-автор, но отнюдь не самый предмет. Итак, если верить переводу, вот с чего начинается вторая ее часть.

Когда наши храбрые и рассвирепевшие бойцы взмахнули острыми своими мечами, то по их воинственному виду можно было заключить, что они грозят небу, земле и преисподней. Первым нанес удар вспыльчивый бискаец, и при этом с такой силой и яростью, что, не повернись у него в руке меч, один этот удар мог бы положить конец жестокой схватке и всем приключениям нашего рыцаря; но благая судьба, хранившая Дон Кихота для более важных дел, повернула меч в руке его недруга так, что хотя удар и пришелся ему в левое плечо, однако ж особого ущерба не причинил, за исключением разве того, что сорвал с левого бока доспехи и мимоходом рассек ему ухо и шлем. Доспехи с ужасающим грохотом рухнули наземь, и в эту минуту рыцарь наш являл собою весьма жалкое зрелище.

Боже ты мой, есть ли на свете такой человек, который мог бы найти подходящие выражения, чтобы передать гнев, обуявший нашего ламанчца, когда он увидел, как с ним

обошлись! Нет, лучше прямо обратиться к рассказу. Итак, Дон Кихот снова привстал на стременах и, еще крепче сжимая обеими руками меч, с таким бешенством ударил бискайца наотмашь по подушке и по голове, что, несмотря на эту надежную защиту, у бискайца было такое чувство, точно на него обрушилась гора, кровь хлынула у него из носа, изо рта, из ушей, он покачнулся и, конечно, полетел бы с мула, если б ему не удалось обхватить его за шею, но в это самое время ноги выскользнули у него из стремян, руки он растопырил, а мул, напуганный страшным ударом, отчаянно брыкаясь, помчался вперед и очень скоро сбросил седока наземь.

Дон Кихот с самым невозмутимым видом взирал на происходящее; когда же бискаец упал, он соскочил с коня, мгновенно очутился возле своего недруга и, поднеся острие меча к его глазам, велел сдаваться, пригрозив в противном случае отрубить ему голову. Бискаец был так ошарашен, что не мог выговорить ни слова; и ему, уж верно, не поздоровилось бы (ибо Дон Кихот не помнил себя от ярости), если б находившиеся в карете женщины, до тех пор в полной растерянности следившие за потасовкой, не подошли к нашему рыцарю и не принялись неотступно молить его сделать им такую милость и одолжение – пощадить их слугу. Дон Кихот же им на это с большим достоинством и важностью ответил:

– Прекрасные сеньоры! Разумеется, я весьма охотно исполню вашу просьбу, но с одним условием и оговоркой: рыцарь этот должен мне обещать, что он отправится в город, именуемый Тобосо, к несравненной донье Дульсинее, и скажет, что это я послал его к ней, а уж она поступит с ним, как ей заблагорассудится.

Перепуганные и удрученные дамы, не вникнув в то, чего он от них требовал, и даже не узнав, кто такая эта Дульсинея, обещали, что слуга в точности исполнит его приказание.

– Ну, хорошо, верю вам на слово, – сказал Дон Кихот. – Больше я не причиню ему зла, хотя он этого вполне заслуживает.



Глава X

Об остроумной беседе, которую вели между собой Дон Кихот и его оруженосец Санчо Панса



Тем временем Санчо Панса, с которым не слишком любезно обошлись слуги монахов, стал на ноги и, внимательно следя за поединком, мысленно обратился к богу: он просил его даровать Дон Кихоту победу и помочь ему завоевать остров, коего губернатором согласно данному им обещанию должен был стать его оруженосец. Когда же стычка кончилась и Дон Кихот направился к Росинанту, Санчо бросился подержать ему стремя, и не успел рыцарь наш сесть на коня, как он опустился перед ним на колени, схватил его руку, поцеловал ее и сказал:

– Будьте так добры, сеньор Дон Кихот, сделайте меня губернатором острова, который достался вам в этом жестоком бою. Как бы ни был велик этот остров, все же я сумею на нем губернаторствовать ничуть не хуже любого губернатора, какой только есть на свете.

Дон Кихот же ему на это сказал:

– Имей в виду, брат Санчо, что это приключение, равно как и все ему подобные, суть приключения дорожные, но не островные, и здесь ты всегда можешь рассчитывать на то, что тебе проломят череп или же отрубят ухо, но ни на что больше. Дай срок, будут у нас и такие приключения, которые дадут мне возможность сделать тебя не только губернатором острова, но и вознести еще выше.

Санчо горячо поблагодарил Дон Кихота и, еще раз поцеловав ему руку и край кольчуги, подсадил его на Росинанта, сам же вскочил на осла и двинулся следом за своим господином, а тот, ни слова больше не сказав путешественницам и даже не попрощавшись с ними, быстрым шагом въехал в ближнюю рощу. Санчо трусил во весь ослиный мах, но Росинант неожиданно обнаружил такую прыть, что оруженосцу за ним было не поспеть, и в конце концов он принужден был крикнуть своему господину, чтобы тот подождал его. Дон Кихот исполнил просьбу выбившегося из сил оруженосца и натянул поводья, тот же, нагнав его, молвил:

– Вот что я вам скажу, сеньор: не мешало бы нам укрыться в какой-нибудь церкви.[113] Ведь мы оставили человека, с которым вы сражались, в самом бедственном положении, так что, того и гляди, нагрянет Святое братство[114] и нас с вами схватят. А пока мы выйдем на свободу, у нас, честное слово, глаза на лоб вылезут.

– Помолчи, – сказал Дон Кихот. – Где ты видел или читал, чтобы странствующего рыцаря привлекали к суду за кровопролития, сколько бы он их ни учинил?

– Насчет *провокролития* я ничего не слыхал и отродясь ни на ком не пробовал, – отвечал Санчо. – Знаю только, что тех, кто затевает на больших дорогах драки, Святое братство по головке не гладит, остальное меня не касается.

– Не горюй, друг мой, – сказал Дон Кихот, – я тебя вырву из рук халдеев, не то что из рук Братства. Но скажи мне по совести: встречал ли ты где-нибудь в известных нам странах более отважного рыцаря, чем я? Читал ли ты в книгах, чтобы какой-нибудь рыцарь смелее, чем я, нападал, мужественнее оборонялся, искуснее наносил удары, стремительнее опрокидывал врага?

– По правде сказать, я за всю свою жизнь не прочел ни одной книги, потому как не умею ни читать, ни писать, – признался Санчо. – Но могу побиться об заклад, что никогда в жизни не служил я такому храброму господину, как вы, ваша милость, – вот только дай бог, чтобы вам не пришлось расплачиваться за вашу храбрость в одном малоприятном месте. А теперь послушайтесь меня, ваша милость: вам непременно надобно полечиться, – кровь так и течет у вас из уха, а у меня в сумке имеется корпия и немножко белой мази.

– Во всем этом не было бы никакой необходимости, – заметил Дон Кихот, – если б я не забыл захватить в дорогу сосуд с бальзамом Фьерабраса:[115] одна капля этого бальзама сберегла бы нам время и снадобья.

– Что это за сосуд и что это за бальзам? – спросил Санчо Панса.

– Рецепт этого бальзама я знаю наизусть, – отвечал Дон Кихот, – с ним нечего бояться смерти и не страшны никакие раны. Так вот, я приготовлю его и отдам тебе, ты же, как увидишь, что меня в пылу битвы рассекли пополам – а такие случаи со странствующими рыцарями бывают постоянно, – недолго думая, бережно подними ту половину, что упала на землю, и, пока еще не свернулась кровь, с величайшею осторожностью приставь к той, которая осталась в седле, – при этом надобно так ухитриться, чтобы они пришлись одна к другой в самый раз. Затем дай мне только два глотка помянутого бальзама – и я вновь предстану пред тобой свежим и бодрым.

– Коли так, – сказал Панса, – то я раз навсегда отказываюсь от управления островом и в награду за мою усердную и верную службу прошу одного: дайте мне, ваша милость, рецепт этой необыкновенной жидкости. Ручаюсь, что за одну ее унцию где угодно дадут не меньше двух реалов, а уж на эти деньги я сумею прожить свой век честно и без горя. Прежде, однако ж, надобно узнать, дорого ли стоит его изготовление.

– Три асумбры[116] обойдутся меньше трех реалов, – сказал Дон Кихот.

– Беда мне с вами, ваша милость! – воскликнул Санчо. – Чего же вы ждете, отчего же вы сами его не изготовляете и меня не научите?

– Молчи, друг мой, – сказал Дон Кихот, – я тебе еще не такие тайны открою и не такими милостями осыплю. А теперь давай лечиться – у меня мочи нет, как болит ухо.

Санчо вынул из сумки корпию и мазь. Но тут Дон Кихот взглянул на разбитый свой шлем и чуть не лишился чувств; затем положил руку на рукоять меча и, возведя очи к небу, молвил:

– Клянусь творцом неба и земли и четырьмя святыми Евангелиями, как если бы они лежали предо мной, что отныне я буду вести такой же образ жизни, какой вел великий маркиз Мантуанский после того, как поклялся отомстить за смерть своего племянника Балдуина, а именно: клянусь во время трапезы обходиться без скатерти, не резвиться с женой и еще чего-то не делать – точно не помню, но все это входит в мою клятву, – до тех пор, пока не отомщу тому, кто нанес мне такое оскорбление.

Санчо же ему на это сказал:

– Примите в соображение, сеньор Дон Кихот, что если этот рыцарь исполнил ваше приказание и представился сеньоре Дульсинее Тобосской, стало быть, он исполнил свой долг и не заслуживает новой кары, разве только совершит новое преступление.

– Твои рассуждения и замечания вполне справедливы, – сказал Дон Кихот, – поэтому я отменяю клятву вновь отомстить моему недругу. Зато я вновь даю клятву и подтверждаю, что буду вести тот образ жизни, о котором я уже говорил, до тех пор, пока не отниму у кого-нибудь

из рыцарей такого же славного шлема, как этот. И не думай, Санчо, что я бросаю слова на ветер: мне есть кому подражать, – ведь буквально то же самое случилось со шлемом Мамбрина,[117] который так дорого обошелся Сакрипанту.[118]

– Ах, государь мой, да пошлите вы к черту все эти клятвы! – воскликнул Санчо. – От них только вред здоровью и на душе грех. Подумайте сами: а ну как мы еще не скоро встретим человека в шлеме, что нам тогда делать? Неужто вы останетесь верны своей клятве, несмотря на все сопряженные с нею лишения и неудобства? Ведь вам придется спать одетым, ночевать под открытым небом и подвергать себя множеству других испытаний, о которых толкует этот выживший из ума старик, маркиз Мантуанский, чьи обязательства вы ныне задумали взять на себя. Помилуйте, сеньор, ведь по всем этим дорогам ездят не вооруженные люди, а возчики да погонщики, которые не только не носят шлемов, а, пожалуй, и слова такого отродясь не слыхивали.

– Ты ошибаешься, – возразил Дон Кихот. – Не пройдет и двух часов, как где-нибудь на распутье нам встретится великое множество вооруженных людей, какого не насчитывало войско, двинувшееся на Альбраку[119] для того, чтобы захватить Анджелику Прекрасную.

– Ну ладно, пусть будет по-вашему, – сказал Санчо. – Дай бог, чтобы все обошлось благополучно и чтобы поскорей пришло время завоевать этот остров, который мне так дорого стоит, а там хоть бы и умереть.

– Я уже говорил тебе, Санчо, чтобы ты об этом не беспокоился: не будет острова, найдем какое-нибудь государство вроде Дании или Собрадисы[120] – вящему твоему удовольствию, ибо это государства материковые, и там ты будешь чувствовать себя совершенно в своей тарелке. А пока что оставим этот разговор, посмотри лучше, нет ли у тебя в сумке чего-нибудь поесть: мы закусим и сей же час отправимся на поиски замка, где бы нам можно было переночевать и приготовить бальзам, о котором я тебе говорил, – клянусь богом, у меня очень болит ухо.

– У меня есть луковица, немного сыру и несколько сухих корок, – объявил Санчо, – но столь доблестному рыцарю, как вы, ваша милость, такие яства вкушать не пристало.

– Как мало ты в этом смыслишь! – воскликнул Дон Кихот. – Да будет тебе известно, Санчо, что странствующие рыцари за особую для себя честь почитают целый месяц не принимать пищи или уж едят что придется. И если б ты прочел столько книг, сколько я, то для тебя это не явилось бы новостью, а я хоть и много их прочел, однако ж ни в одной из них не нашел указаний, чтобы странствующие рыцари что-нибудь ели, – разве случайно, во время роскошных пиршеств, которые устраивались для них, в остальное же время они питались чем бог пошлет. Само собой разумеется, не могли же они совсем ничего не есть и не отправлять всех прочих естественных потребностей, ибо, в сущности говоря, это были такие же люди, как мы, но, с другой стороны, они почти всю жизнь проводили в лесах и пустынях, а поваров у них не было, – следственно, с таким же успехом можно предположить, что обычною их пищей была пища грубая, вроде той, которую ты мне сейчас предлагаешь. А потому да не огорчает тебя, друг Санчо, то, что доставляет удовольствие мне, не заводи ты в чужом монастыре своего устава и не сбивай странствующего рыцаря с пути истинного.

– Прошу прощения, ваша милость, – сказал Санчо, – но ведь я уже вам говорил, что я ни читать, ни писать не умею, и правила рыцарского поведения – это для меня темный лес. Однако ж впредь, коль скоро вы рыцарь, я буду вас снабжать сушеными плодами, а себя самого, коль скоро я не рыцарь, – всякого рода живностью и вообще кое-чем посущественнее.

– Я вовсе не говорю, Санчо, – возразил Дон Кихот, – что странствующие рыцари обязаны пробавляться одними сушеными плодами, я лишь хочу сказать, что плоды составляли обычное пропитание рыцарей да еще некоторые полевые травы, в коих они, как и я, знали толк.

– Знать толк в растениях – это великое дело, – заметил Санчо, – потому, думается мне, когда-нибудь ваши знания нам вот как пригодятся!

Тут он разложил свои припасы, и оба в мире и согласии принялись за еду. Но как и тому и другому не терпелось добраться до ночлега, то они мигом покончили со своею скудною и черствою трапезою. Затем снова сели верхами и, чтобы засветло прибыть в селение, быстрым шагом поехали дальше; однако вскоре солнечные лучи погасли, а вместе с ними погасла и надежда наших путешественников достигнуть желаемого, – погасли, как раз когда они проезжали мимо шалашей козопасов, и потому они решились здесь заночевать. И насколько прискорбно было Санчо Пансе, что они не добрались до села, настолько же отрадно было Дон Кихоту думать, что он проведет эту ночь под открытым небом: подобные случаи, казалось ему, являются лишним доказательством того, что он настоящий рыцарь.



Глава XI

О чем говорил Дон Кихот с козопасами



Козопасы приняли его радушно; Санчо же, устроив со всеми удобствами Росинанта и своего осла, пошел было в ту сторону, откуда несся запах козлятины, варившейся в котле на огне: его тянуло тотчас удостовериться, не пора ли переложить ее из котла в желудок, но он не успел осуществить свое намерение, ибо в это самое время козопасы сняли котел с огня и, расстелив овчины, на скорую руку приготовили деревенскую свою трапезу, а затем с самым приветливым видом предложили обоим путешественникам ее разделить. Все шесть пастухов, сторожившие этот загон, сели в кружок на овчины, предварительно с неуклюжей церемонностью указав Дон Кихоту место на перевернутом вверх дном водопойном корыте. Дон Кихот сел, а Санчо стал позади своего господина, чтобы подносить ему сделанный из рога кубок. Видя, что он продолжает стоять, Дон Кихот обратился к нему с такими словами:

– Дабы ты уразумел, Санчо, сколь благодетельно учреждение, странствующим рыцарством именуемое, и что те, кто так или иначе этому делу служит, в кратчайший срок и в любую минуту могут снискать всеобщее уважение и почет, я хочу посадить тебя рядом с собой, среди этих добрых людей, и мы будем с тобою как равный с равным, – я, твой господин и природный сеньор, и ты, мой оруженосец, – будем есть с одной тарелки и пить из одного сосуда, ибо о странствующем рыцарстве можно сказать то же, что обыкновенно говорят о любви: оно все на свете уравнивает.

– Премного благодарен, – сказал Санчо, – однако ж осмелюсь доложить вашей милости, что если только у меня есть что поесть, то я с таким же и даже с большим удовольствием буду есть стоя и один на один с самим собой, нежели сидя за одним столом с императором. Уж если на то пошло, так я, конечно, предпочту у себя дома без всяких кривляний и церемоний уписывать хлеб с луком, нежели кушать индейку в гостях, где я должен медленно жевать, все время вытирать рот, пить с оглядкой, где не смей чихнуть, не смей кашлянуть, не смей еще что-нибудь сделать – такое, что вполне допускают свобода и уединение. А потому, государь мой, благоволите превратить те почести, которые вы намерены мне воздать, как я имею касательство к странствующему рыцарству и состою у него на службе и как я есть оруженосец вашей милости, в нечто более доходное и полезное. А за почести я вам очень признателен, но отказываюсь от них на веки вечные.

– Как бы то ни было, тебе придется сесть, ибо *кто себя унижает, того господь возвысит.*

Взяв Санчо за руку, Дон Кихот усадил его рядом с собой.

Козопасы не имели понятия о том, что такое оруженосцы и странствующие рыцари, – все это было для них тарабарщиной, – они молча ели и поглядывали на гостей, с превеликой охотой и смаком засовывавших в рот куски козлятины величиною с кулак. После того как с мясным блюдом было покончено, хозяева высыпали на овчины уйму желудей и поставили полголовы сыру, такого твердого, точно он был сделан из извести. Кубок между тем тоже не оставался праздным: то полный, то пустой, подобно ведру водоливной машины, он так часто обходил круг, что ему без труда удалось опустошить один из двух бурдюков, выставленных козопасами. Наевшись досыта, Дон Кихот взял пригоршню желудей и, внимательно их разглядывая, пустился в рассуждения:

– Блаженны времена и блажен тот век, который древние назвали золотым, – и не потому, чтобы золото, в наш железный век представляющее собой такую огромную ценность, в ту счастливую пору доставалось даром, а потому, что жившие тогда люди не знали двух слов: *твое* и *мое*. В те благословенные времена все было общее. Для того, чтоб добыть себе дневное пропитание, человеку стоило лишь вытянуть руку и протянуть ее к могучим дубам, и ветви их тянулись к нему и сладкими и спелыми своими плодами щедро его одаряли. Быстрые реки и светлые родники утоляли его жажду роскошным изобилием приятных на вкус и прозрачных вод. Мудрые и трудолюбивые пчелы основывали свои государства в расселинах скал и в дуплах дерев и безвозмездно потчевали любого просителя обильными плодами сладчайших своих трудов. Кряжистые пробковые дубы снимали с себя широкую свою и легкую кору не из каких-либо корыстных целей, но единственно из доброжелательности, и люди покрывали ею свои хижины, державшиеся на неотесанных столбах, – покрывали не для чего-либо, а лишь для того, чтобы защитить себя от непогоды. Тогда всюду царили дружба, мир и согласие. Кривой лемех тяжелого плуга тогда еще не осмеливался разверзать и исследовать милосердную утробу праматери нашей, ибо плодоносное ее и просторное лоно всюду и добровольно наделяло детей, владевших ею в ту пору, всем, что только могло насытить их, напитать и порадовать. Тогда по холмам и долинам гуляли прекрасные и бесхитростные пастушки в одеждах, стыдливо прикрывавших лишь то, что всегда требовал и ныне требует прикрывать стыд, с обнаженною головою, в венках из сочных листьев подорожника и плюща вместо уборов, что вошли в моду за последнее время и коих отделку составляют тирский пурпур и шелк, подвергающийся всякого рода пыткам, и в этом своем наряде они были, наверное, столь же величественны и изящны, как и светские наши дамы с их причудливыми и диковинными затеями, на которые толкает их суетная праздность. Тогда движения любящего сердца выражались так же просто и естественно, как возникали, без всяких искусственных украшений и околичностей. Правдивость и откровенность свободны были от примеси лжи, лицемерия и лукавства. Корысть и пристрастие не были столь сильны, чтобы посметь оскорбить или же совратить тогда еще всесильное правосудие, которое они так унижают, преследуют и искушают ныне. Закон личного произвола не тяготел над помыслами судьи, ибо тогда еще некого и не за что было судить. Девушки, как я уже сказал, всюду ходили об руку с невинностью, без всякого присмотра и надзора, не боясь, что чья-нибудь распущенность, сладострастием распаляемая, их оскорбит, а если они и теряли невинность, то по своей доброй воле и хотению. Ныне же, в наше подлое время, все они беззащитны, хотя бы даже их спрятали и заперли в новом каком-нибудь лабиринте наподобие критского, ибо любовная зараза носится в воздухе, с помощью этой проклятой светскости она проникает во все щели, и перед нею их неприступности не устоять. С течением времени мир все более и более полнился злом, и вот, дабы охранять их, и учредили наконец орден странствующих рыцарей, в обязанности коего входит защищать девушек, опекать вдов, помогать сирым и неимущим. К этому ордену принадлежу и я, братья пастухи, и теперь я от своего имени и от имени моего оруженосца не могу не поблагодарить вас за угощение и гостеприимство. Правда, оказывать содействие странствующему рыцарю есть прямой долг всех живущих на свете, однако же, зная заведомо,

что вы, и не зная этой своей обязанности, все же приютили меня и угостили, я непритворную воздаю вам хвалу за непритворное ваше радушие.



Рыцарь наш произнес эту длинную речь, которую он с таким же успехом мог бы и не произносить вовсе, единственно потому, что, взглянув на желуди, коими его угостили, он вспомнил о золотом веке, и ему захотелось поделиться своими размышлениями с козопасами, а те слушали его молча, с вытянутыми лицами, выражавшими совершенное недоумение. Санчо также помалкивал; он поедал желуди и то и дело навещал второй бурдюк, который пастухи, чтобы вино не нагревалось, подвесили к дубу.

Ужин давно кончился, а Дон Кихот все еще говорил без умолку; наконец один из козопасов обратился к нему с такими словами:

– Дабы вы, ваша милость, сеньор странствующий рыцарь, положа руку на сердце могли признать, что мы, и правда, оказали вам искренний и радушный прием, мы попросим одного пастуха, который с минуты на минуту должен быть здесь, позабавить вас и усладить ваш слух

своим пением. Он малый смышленый, чувствительный, главное, умеет читать и писать, а на равеле играет так, что лучше и нельзя.

Только успел козопас произнести эти слова, как вдруг до них донеслись звуки равеля, а немного погодя появился и тот, кто на нем играл: это был юноша лет двадцати двух, весьма приятной наружности. Товарищи спросили, ужинал ли он; юноша ответил, что ужинал, тогда тот пастух, который только что вел о нем речь, обратился к нему:

– В таком случае, Антоньо, доставь нам удовольствие, спой что-нибудь, пусть наш почтенный гость уверится, что и в лесах и в горах можно встретить людей, смыслящих в музыке. Мы уже рассказали ему о твоих способностях, – твое дело проявить их и доказать, что мы говорили правду. Итак, прошу тебя: сядь и спой нам, пожалуйста, романс о твоих сердечных делах, тот, что сложил для тебя твой дядя, священник, и который пользуется таким успехом в нашем селе.

– Охотно, – молвил юноша.

Не заставив себя долго упрашивать, он сел на дубовый пень и, как скоро настроил равель,[121] с великою приятностью начал петь:

Ты меня, Олалья, любишь,
Хоть об этом мне, конечно,
Не сказала даже взором —
Языком безгласным сердца.

Зная, что ты знаешь это,Я отбросил все сомненья:Мы любовь скрывать не в силах,Если нам о ней известно. Пусть меня по временамТы пытаешься уверить,Что душа твоя – как бронза,Как гранит холодный – перси. Но из-под глухих покрововТвоего высокомерьяМне тайком надежда кажетКраешек своей одежды. И гонюсь я за приманкой,Хоть и не могу доселеНи торжествовать, что избран,Ни крушиться, что отвергнут. Если правда, что учтивостьЕсть взаимности примета,Вправе я считать, что скороСбудутся мои надежды. Если правда, что наградаПолагается за верность,Кой-какие основаньяЯ просить о ней имею. Не заметить не могла ты,Если только не ослепла,Что хожу я и по буднямВ том же, в чем по дням воскресным. Где любовь, там и наряды,Потому-то попышнееЯ одеться и стараюсь,Если жду с тобою встречи. Уж не говорю о танцахИ о пенье, коим тешилЯ порой тебя с закатаИ до петухов рассветных. Я красу твою повсюдуВосхвалял так откровенно,Что себе врагов немалоНажил честностью своею. Например, сказала такВ Беррокале мне Тереса:«Можно ангела увидетьДаже в обезьяне мерзкой. Долго ль самого АмураОдурачить при уменьеНакладными волосамиИль любой другой подделкой?» Я вспылил, девица – в слезы.Тут со мною в объясненьяБрат двоюродный пустился...Знаешь ты, что с ним я сделал. Домогаюсь я тебяНе из жажды наслажденийНезаконных и внебрачных.Нет, мои похвальны цели. Так пускай в силок из шелкаНас с тобой уловит церковь.Ты лишь не сопротивляйся,Затянуть позволь мне петлю. Если ж нет, клянусь,

Олалья,Всем святым, что есть на свете:Разве только что в монахиЯ уйду из этих дебрей.

На этом кончил свою песню пастух, тогда Дон Кихот попросил его еще что-нибудь спеть, но Санчо Панса, который более расположен был соснуть, нежели слушать пение, воспротивился.

– Давно пора вашей милости выбрать себе место для ночлега, – сказал он своему господину. – Они и так за день намаялись, куда им еще петь по ночам!

– Я тебя понимаю, Санчо, – заметил Дон Кихот. – Ясно, что походы к бурдюку должны быть вознаграждаемы сном, но не музыкой.

– Боже милостивый, кому что! – воскликнул Санчо.

– Не отрицаю, – сказал Дон Кихот. – Итак, ты можешь устраиваться, где тебе угодно, мне же, принимая в рассуждение избранный мною род занятий, приличнее бодрствовать, нежели спать. Со всем тем не худо было бы тебе, Санчо, еще раз перевязать мне ухо, потому что оно болит нестерпимо.

Санчо принялся было за перевязку, но один из пастухов, осмотрев рану, сказал оруженосцу, чтобы тот не трудился, ибо у него есть лекарство, от которого она скоро заживет. Вокруг было много розмарину, пастух сорвал несколько листиков, разжевал их, смешал с солью, приложил к уху, а затем, умелой рукой перевязав его, объявил, что иного средства и не потребуется, и так оно впоследствии и оказалось.



Глава XII

Что некий козопас рассказал тем, кто был с Дон Кихотом



В это время явился один из тех, кому поручалось ходить в деревню за продовольствием, и сказал:

– Друзья! Знаете, что случилось в деревне?

– Откуда нам знать! – отозвался один из пастухов.

– Так вот знайте, – продолжал тот, – что сегодня утром скончался всем известный пастух-студент по имени Хризостом, и говорят, будто умер он от любви к этой чертовке Марселе, дочери богача Гильермо, той самой, что в одежде пастушки разгуливает по нашим дебрям.

– К Марселе, говоришь? – переспросил кто-то.

– Ну да, к Марселе, – подтвердил козопас. – Но всего удивительнее то, что он завещал похоронить себя, точно мавра, среди поля, у подошвы скалы, где растет над источником дуб, ибо, по слухам, да и от него самого будто бы приходилось слышать, что там он увидел ее впервые. Он и еще кое-что завещал, но местное духовенство объявило, что воля покойного исполнена быть не может и что ее и не подобает исполнять, – это, мол, пахнет язычеством. А закадычный друг покойного, студент Амбросьо, который вместе с ним переодевался пастухом, говорит, что завещание Хризостома должно быть исполнено в точности, как оно есть, и по сему случаю в деревне переполох. Однако ж, если верить молве, дело кончится тем, что Амбросьо и его друзья-пастухи поставят на своем и завтра с величайшею торжественностью понесут хоронить Хризостома в поле. И думается мне, что поглядеть на это стоит, – я, по крайней мере, пойду непременно, если только мне и завтра не придется идти за продовольствием.

– Да мы все пойдем на похороны, – подхватили пастухи, – только сначала бросим жребий, кому стеречь коз.

– Ты дело говоришь, Педро, – заметил один из пастухов. – Впрочем, незачем вам себя утруждать, – я за вас постерегу стадо. И не думайте, что я такой добряк или что я нелюбопытен, просто я на днях занозил себе ногу и мне больно ходить.

– Как бы то ни было, мы тебе очень признательны, – сказал Педро.

Дон Кихот спросил Педро, что собой представлял покойный и кто такая эта пастушка. Педро ответил, что, сколько ему известно, покойный был богатый идальго, уроженец одного

из окрестных горных селений, что он много лет учился в Саламанке, а потом возвратился на родину и прослыл человеком весьма ученым и начитанным.

– Говорят, он лучше всего знал науку о звездах, знал, что там на небе делают солнце и луна: ведь он нам точно предсказывал солнечные и лунные смятения.

– Потемнение этих двух великих светил именуется *затмением,* а не смятением, друг мой, – поправил его Дон Кихот.

Но Педро, не обращая внимания на такой пустяк, продолжал свой рассказ:

– Еще он угадывал, какой будет год: недородный или дородный.

– Ты хочешь сказать – *урожайный* или *неурожайный,* друг мой, – заметил Дон Кихот.

– Дородный или урожайный – это что в лоб, что по лбу, – возразил Педро. – Так вот, благодаря его предсказаниям отец и друзья Хризостома сильно разбогатели, – они верили ему и слушались его во всем, а он им, бывало, скажет: «В этом году вместо пшеницы сейте ячмень. А в этом году сейте горох, а ячменя не сейте. В наступающем году оливкового масла будет хоть залейся, а потом три года подряд капельки не наберется».

– Эта наука называется астрологией, – вставил Дон Кихот.

– Уж не знаю, как она там называется, – сказал Педро, – знаю одно, что он поднаторел и в этом, как и во многом другом. Коротко говоря, не прошло и нескольких месяцев с тех пор, как он приехал из Саламанки, только в один прекрасный день сбросил он свое долгополое студенческое одеяние и предстал перед нами в одежде пастуха: в тулупе и с посохом в руке, а вместе с ним нарядился пастухом и закадычный его друг и товарищ по ученью Амбросьо. Я забыл вам сказать, что покойный Хризостом был великим мастером по стихотворной части: сочинял он и рождественские песни, и действа для праздника тела Христова, которые разыгрывала наша деревенская молодежь, – сочинял так, что народ ахал от восторга. Когда же эти два школяра столь неожиданно переоделись пастухами, вся деревня была ошеломлена, и никто не мог взять в толк, зачем понадобилось им такое странное превращение. На ту пору скончался отец нашего Хризостома, и в наследство ему досталось весьма ценное имущество, как движимое, так и недвижимое, изрядное количество крупного и мелкого скота и немало денег. Все это перешло в его безраздельное пользование, и, по правде сказать, он этого вполне заслуживал: Хризостом был юноша отзывчивый, отличный товарищ, друг людей достойных, а красив он был – не налюбуешься. Вскоре стало известно, что переоделся бедняга Хризостом единственно потому, что, влюбившись в пастушку Марселу, о которой один из наших пастухов недавно здесь упоминал, задумал он вслед за ней удалиться в пустынные наши места. Теперь надобно вам знать, кто эта девчонка, и я вам про нее расскажу: может быть – да не может быть, а наверное, – вы за всю свою жизнь ничего подобного не услышите, даже если сойдете в могилу древесным старцем.

– Не древесным, а *древним,* – поправил его Дон Кихот: он не мог слышать, как пастух коверкает слова.

– Я потому и сказал *древесный,* что иное дерево любого старика переживет, – пояснил Педро. – Но только если вы, сеньор, будете придираться к каждому моему слову, то я и через год не кончу.

– Прости, друг мой, – сказал Дон Кихот, – но я перебил тебя потому, что между *древним* и *древесным* есть весьма существенная разница. Впрочем, ты совершенно правильно заметил, что иное дерево переживет любого старика. Продолжай же свой рассказ, больше я не буду тебе мешать.

– Итак, милостивый государь мой, – снова заговорил козопас, – жил в нашей деревне крестьянин по имени Гильермо; был он еще богаче отца Хризостома, и, помимо огромного и несметного богатства, господь послал ему дочку, мать которой, самая почтенная женщина во всей нашей округе, умерла от родов. Я ее как сейчас вижу: очи у ней сияли, как звезды

небесные. А самое главное, была она отличной хозяйкой и помогала бедным, так что, думается мне, душа ее ныне в селениях райских. Лишившись столь доброй супруги, муж ее, Гильермо, умер с горя, дочка же его, юная и богатая Марсела, перешла на воспитание к своему дяде, нашему деревенскому священнику. Красота этой девушки невольно заставляла вспомнить ее мать, и хотя та была писаною красавицею, все же казалось, что Марсела ее затмит. А когда ей исполнилось лет четырнадцать-пятнадцать, все при взгляде на нее благословляли бога за то, что он создал ее такой прекрасной, многие же были без памяти в нее влюблены. Дядя держал ее под семью замками и в большой строгости, и все же не только в нашем селе, но и на сто миль в окружности славилась она своею красотою и несметным богатством, и самые завидные женихи докучали дяде, прося и добиваясь ее руки. Но дядя, как истинный христианин, хотя и не прочь был выдать Марселу замуж, коль скоро она уже вошла в возраст, решился, однако ж, повременить, – и вовсе не из-за барышей и доходов, которые сулила ему долговременная опека над имуществом девушки, а единственно из-за того, что она сама все еще не давала согласия. Клянусь честью, что так говорили о почтенном священнослужителе на всех посиделках и единодушно одобряли его, а надобно вам знать, сеньор странник, что в нашей глуши кому угодно перемоют косточки и кого угодно ославят, и смею вас уверить, что уж коли прихожане, особливо деревенские, отзываются о священнике с похвалой, стало быть, он и в самом деле хорош.

– То правда, – заметил Дон Кихот, – но только я попросил бы тебя продолжать, ибо рассказ твой очень хорош, к тому же ты, добрый Педро, очень хороший рассказчик, рассказчик божьей милостью.

– Да пребудет же милость господня со мною вовек, – это самое главное. Ну, а дальше, к вашему сведению, произошло вот что. Сколько ни толковал с нею дядя о ее многочисленных женихах и ни описывал достоинства каждого из тех, кто за нее сватался, сколько ни уговаривал ее выбрать того, кто ей по сердцу, и выйти за него замуж, Марсела все отнекивалась: она, дескать, замуж не собирается, она еще молода и чувствует, что не в силах нести бремя супружеской жизни. Доводы эти показались ее дяде разумными, и он перестал докучать ей в надежде, что когда она станет постарше, то сама сумеет выбрать себе спутника жизни, ибо он рассудил – и рассудил весьма здраво, – что негоже родителям ломать судьбу детей своих. Долго ли, коротко ли, в один прекрасный день разборчивая Марсела нежданно-негаданно переоделась пастушкою и, не обращая внимания на уговоры дяди и односельчан, вместе с другими пастушками вышла в поле и принялась пасти свое стадо. И едва она показалась на люди и красота ее стала доступной для лицезрения, тотчас видимо-невидимо богатых юнцов, идальго и простых хлебопашцев вырядилось, как Хризостом, и начали они за нею ухаживать, в том числе, как я уже говорил, покойный наш друг, о котором ходила молва, что он не просто любит ее, но боготворит. Не следует думать, однако ж, что, добившись свободы и совершенной самостоятельности, почти или, вернее, совсем не допускающей уединения, тем самым Марсела показала или дала понять, что не дорожит своей чистотою и честью, – напротив, она оказалась столь бдительным стражем своей невинности, что никто из тех, кто ей угождает и добивается ее расположения, еще не похвалился, да, наверно, никогда и не похвалится, что она подала ему хоть какую-нибудь надежду на взаимность. Правда, она не избегает общества пастухов, не уклоняется от бесед с ними, обхождение ее отличается учтивостью и дружелюбием, но только кто-нибудь из них поведает ей свое желание, хотя бы это было законное и благочестивое желание вступить с нею в брак, – и вот он уже летит от нее, подобно камню, выпущенному из катапульты. И этот ее образ действий приносит больше вреда, чем если бы наши края посетила чума, ибо ее красота и приветливый нрав привлекают сердца тех, кто любит ее и желает ей угождать, холодность же ее и надменность повергают их в отчаяние, и оттого они не дают ей иных названий, кроме жестокой, неблагодарной и тому подобных, живописующих душевные ее качества. И если бы вы, сеньор, остались здесь на денек, то непременно услышали бы, как отвергнутые поклонники, продолжая преследовать ее,

оглашают горы и долы своими стенаниями. Неподалеку отсюда есть одно место, где растет более двадцати высоких буков, и на гладкой коре каждого из них вырезано и начертано имя Марселы, а на некоторых сверху вырезана еще и корона, словно красноречивыми этими знаками влюбленный хотел сказать, что Марсела достойна носить венец земной красоты. Один пастух вздыхает, другой сетует, здесь слышатся любовные песни, там – скорбные песни. Иной всю ночь напролет у подошвы скалы или под дубом не смыкает заплаканных очей своих, и там его, возносящегося на крыльях упоительной мечты, находит утренняя заря, а иного нестерпимый зной летнего полдня застает распростертым на раскаленном песке, беспрестанно и беспрерывно вздыхающим и воссылающим свои жалобы сострадательным небесам. Но равнодушно проходит мимо тех и других свободная и беспечная красавица Марсела, и мы все, зная ее, невольно спрашиваем себя: когда же придет конец ее высокомерию и кто будет тот счастливец, коему удастся сломить строптивый ее нрав и насладиться необычайною ее красотою? Все, что я вам рассказал, – это истинная правда, а потому, думается мне, и толки о смерти Хризостома, которые передал наш пастух, также находятся в согласии с истиной. И я советую вам, сеньор, непременно пойти на погребение, каковое обещает быть зрелищем внушительным, ибо друзей у покойного много, а отсюда до того места, где он завещал себя похоронить, не будет и полмили.

– Да уж я-то непременно пойду, – сказал Дон Кихот. – А теперь позволь поблагодарить тебя за то удовольствие, которое ты мне доставил занимательным своим рассказом.

– О, мне известна лишь половина тех происшествий, которые случились с поклонниками Марселы! – возразил козопас. – Может статься, однако ж, что завтра мы встретим по дороге кого-нибудь из пастухов, и он нам расскажет все. А сейчас не худо бы вам соснуть под кровлей: ночная прохлада может повредить вашей ране, – впрочем, мой пластырь таков, что каких-либо осложнений вам опасаться нечего.

Санчо Панса давно уже мысленно послал к черту словоохотливого козопаса, и теперь он также принялся упрашивать Дон Кихота соснуть в шалаше у Педро. Тот сдался на уговоры и, подражая поклонникам Марселы, провел остаток ночи в мечтах о госпоже своей Дульсинее. Санчо Панса расположился между Росинантом и ослом и заснул не как безнадежно влюбленный, а как человек, которому изрядно намяли бока.



Глава XIII,

содержащая конец повести о пастушке Марселе и повествующая о других происшествиях



В окнах востока чуть только показался день, а пятеро из шести козопасов уже вскочили и, разбудив Дон Кихота, обратились к нему с вопросом, не изменил ли он своему намерению отправиться на торжественное погребение Хризостома, и вызвались ему сопутствовать. Дон Кихоту только того и нужно было; он встал и велел Санчо седлать коня и осла, что тот с великим проворством исполнил, и не менее проворно собрались в дорогу все остальные. Но не успели они продвинуться и на четверть мили, как вдруг увидели, что на ту же самую тропинку выходят шесть пастухов в черных овчинных тулупах и с венками из веток олеандра и кипариса на голове. Все они опирались на тяжелые остролистовые посохи. Поодаль ехали верхами два дворянина в богатом дорожном одеянии, трое слуг шли за ними пешком. Поравнявшись, и те и другие учтиво раскланялись, осведомились, кто куда держит путь, и, узнав, что все спешат на погребение, продолжали путь вместе.

Один из всадников, обратившись к другому, сказал:

– Кажется, сеньор Вивальдо, мы не зря потратим время, если посмотрим на необычайные эти похороны: это и в самом деле должно быть нечто необычайное, судя по тем удивительным вещам, какие нам рассказывали наши спутники об умершем пастухе и о погубившей его пастушке.

– Мне тоже так кажется, – отозвался Вивальдо. – Я готов потратить не один, а несколько дней, только бы посмотреть на похороны.

Дон Кихот спросил, что слышали они о Марселе и Хризостоме. Путник сообщил, что на рассвете повстречали они пастухов и, обратив внимание на их печальный наряд, осведомились о причине, побудившей их облачиться в траур, тогда один из пастухов все им объяснил и рассказал о прекрасной и своенравной пастушке Марселе, о многочисленных ее поклонниках и, наконец, о смерти Хризостома, к месту похорон которого пастухи и направлялись. Словом, путник сообщил Дон Кихоту все, что тот уже слышал от Педро.

Но тут их разговор принял иное направление, ибо тот, кого звали Вивальдо, спросил Дон Кихота, что заставило его с оружием в руках разъезжать по столь мирной стране. На это ему Дон Кихот ответил так:

– Избранное мною поприще не дозволяет и не разрешает ездить иначе. Удобства, роскошь и покой созданы для изнеженных столичных жителей, а тяготы, тревоги и ратные подвиги

созданы и существуют для тех, кого обыкновенно называют странствующими рыцарями, из коих последним я, недостойный, почитаю себя.

Тут уже для всех стало очевидно, что он сумасшедший, но, дабы совершенно в том удостовериться и уяснить себе, на чем именно он помешался, Вивальдо снова обратился к нему и спросил, что такое странствующие рыцари.

– Разве ваши милости незнакомы с анналами английской истории, – в свою очередь, спросил Дон Кихот, – в коих повествуется о славных подвигах короля Артура,[122] которого мы на своем кастильском наречии обыкновенно именуем Артусом и относительно которого существует весьма древнее предание, получившее распространение во всем Британском королевстве, а именно, что король тот не умер, что его силою волшебных чар превратили в ворона и что придет время, когда он снова станет королем и вновь обретет корону и скипетр, по каковой причине с той самой поры еще ни один англичанин не убил ворона? Ну так вот, при этом добром короле был учрежден славный рыцарский орден Рыцарей Круглого Стола, а Рыцарь Озера Ланцелот,[123] согласно тому же преданию, в это самое время воспылал любовью к королеве Джиневре, наперсницей же их и посредницей между ними была придворная дама, достопочтенная Кинтаньона, – отсюда и ведет свое происхождение известный романс, который доныне распевает вся Испания:

Был неслыханно радушен

Тот прием, который встретил

Дон Кихот у дам прекрасных,

Из своих земель приехав, —

а дальше в самых нежных и мягких красках изображаются любовные его похождения и смелые подвиги. И вот с той поры этот рыцарский орден мало-помалу все ширился, ширился и наконец охватил многоразличные страны, и в лоне этого ордена подвигами своими стяжали себе славу и почет отважный Амадис Галльский со всеми своими сыновьями и внуками даже до пятого колена, доблестный Фелисмарт Гирканский, неоцененный Тирант Белый и, наконец, доблестный и непобедимый рыцарь дон Бельянис Греческий, которого мы словно вчера еще видели, слышали, с которым мы словно еще так недавно общались. Вот что такое, сеньоры, странствующий рыцарь и вот каков этот рыцарский орден, к коему, как вы знаете, принадлежу и я, грешный, давший тот же обет, что и перечисленные мною рыцари. В поисках приключений и заехал я в пустынные эти и глухие места с твердым намерением мужественно и стойко выдержать опаснейшие из всех испытаний, какие пошлет мне судьбина, и защитить обездоленных и слабых.

Теперь у спутников Дон Кихота уже не оставалось сомнений в том, что у него помутился рассудок и какой именно вид умственного расстройства овладел им, и они не могли всему этому не подивиться, как, впрочем, и все, кто с ним впервые встречался. До места погребения Хризостома, по словам пастухов, оставалось немного, и, чтобы веселее провести остаток пути, великий насмешник и шутник Вивальдо вздумал еще пуще подзадорить нашего рыцаря. И для того он обратился к нему с такими словами:

– По моему разумению, сеньор странствующий рыцарь, вы дали самый суровый обет, какой только можно было дать, – даже обет картезианских монахов[124] представляется мне менее суровым.

– Очень может быть, что он и столь же суров, – возразил Дон Кихот, – но чтобы от него была людям такая же точно польза – вот за это я не ручаюсь. Уж если на то пошло, воин, исполняющий приказ военачальника, делает не менее важное дело, нежели отдающий приказы военачальник. Я хочу сказать, что иноки, в тишине и спокойствии проводя все дни свои, молятся небу о благоденствии земли, мы же, воины и рыцари, осуществляем то, о чем они молятся: мы защищаем землю доблестными нашими дланями и лезвиями наших мечей – и не под кровлей, а под открытым небом, летом подставляя грудь лучам палящего солнца и

жгучим морозам – зимой. Итак, мы – слуги господа на земле, мы – орудия, посредством которых вершит он свой правый суд. Но исполнение воинских обязанностей и всего, что с ними сопряжено и имеет к ним касательство, достигается ценою тяжких усилий, в поте лица, следственно тот, кто таковые обязанности на себя принимает, затрачивает, разумеется, больше усилий, нежели тот, кто в мирном, тихом и безмятежном своем житии молит бога о заступлении беспомощных. Я не хочу сказать и весьма далек от мысли, что подвиг странствующего рыцаря и подвиг затворника равно священны, но на основании собственного горького опыта я пришел к убеждению, что странствующий рыцарь, вечно алчущий и жаждущий, страждущий и изнуренный, бесприютный, полураздетый и усыпанный насекомыми, терпит, разумеется, больше лишений, нежели схимник, ибо не подлежит сомнению, что на долю странствующего рыцаря былых времен всечасно выпадали невзгоды. Если же кто-нибудь из них доблестною своею дланью и завоевал себе императорскую корону, то, смею вас уверить, ради этого ему должно было пролить немало пота и крови, и если б тем, кто удостоился столь высоких степеней, вовремя не пришли на помощь мудрецы и волшебники, то они скоро убедились бы в призрачности и обманчивости мечтаний своих и надежд.

– Я тоже так думаю, – заметил путник. – Но вот что мне особенно не нравится в странствующих рыцарях: когда их ожидает необычайное и опасное приключение, сопряженное с явною опасностью для жизни, то, вместо того чтобы, как подобает христианину, в минуту подобной опасности поручить себя богу, они поручают себя своим дамам, да еще с таким молитвенным жаром и благоговением, точно дамы эти их божества. Право, все это припахивает чем-то языческим.

– Так тому и быть надлежит, сеньор, – возразил Дон Кихот, – иначе странствующий рыцарь покрыл бы себя позором: нравы и обычаи странствующего рыцарства таковы, что, перед тем как совершить ратный подвиг, странствующий рыцарь должен обратить к своей госпоже мысленный свой нежный и ласковый взор, как бы прося ее укрепить его и помочь ему выдержать ожидающее его суровое испытание. И даже если никто не слышит его, все равно он обязан, всецело отдавшись под ее покровительство, произнести эти несколько слов шепотом, – бесчисленные тому примеры вы можете найти в романах. Но отсюда не следует делать вывод, что рыцари не молятся богу: ведь для этого у них всегда найдется время и повод в ходе самого боя.

– И все же вы не рассеяли моего сомнения, – заметил путник. – Сколько раз мне приходилось читать: повздорят два странствующих рыцаря, слово за слово – и вот уже оба воспылали гневом, поворотили коней, разъехались в разные стороны, а затем, нимало не медля, с разгона бросаются друг на друга, и вот тут-то, летя на конях, они и поручают себя своим дамам. Сшибка же обыкновенно кончается тем, что один из них валится навзничь, пронзенный насквозь копьем противника, а другой – другой, разумеется, последовал бы его примеру и тоже грянулся оземь, если б ему не удалось схватиться за гриву коня. Так вот, мог ли убитый рыцарь в пылу скоропалительной битвы найти время для того, чтобы помолиться богу, – это остается неясным. И чем тратить слова на взывания к своей даме, лучше бы он потратил их на то, к чему обязывает и что нам велит долг христианина. К тому же я убежден, что не у всякого странствующего рыцаря есть дама, которой он мог бы себя поручить, – ведь не все же они влюблены.

– Не может этого быть, – возразил Дон Кихот. – То есть я хочу сказать, что не может быть странствующего рыцаря без дамы, ибо влюбленный рыцарь – это столь же обычное и естественное явление, как звездное небо, и я не могу себе представить, чтобы в каком-нибудь романе был выведен странствующий рыцарь, которого сердце оставалось бы незанятым. А если бы даже и существовал такой рыцарь, то его сочли бы не законным, а приблудным сыном рыцарства, проникшим в его твердыню не через врата, но перескочившим через ограду, как тать и разбойник.

– Со всем тем, если память мне не изменяет, – заметил путник, – я как будто читал, что у дона Галаора, брата Амадиса Галльского, не было такой дамы, которой он мог бы себя поручить, и, однако ж, никто его за это не порицал, и это нисколько не мешало ему быть весьма отважным и славным рыцарем.

На это ему Дон Кихот ответил так:

– Сеньор! Одна ласточка еще не делает весны. К тому же мне известно, что рыцарь этот был тайно влюблен, и влюблен страстно, хотя и ухаживал за всеми дамами, которые ему нравились, но такова была его натура, и тут уж он ничего не мог с собой поделать. Не подлежит, однако ж, сомнению, что владычица души у него была и что ей одной поручал он себя всечасно, хотя и облекал это глубочайшею тайною, ибо то был рыцарь, славившийся своим искусством хранить тайны.

– Если уж странствующий рыцарь по самой своей сущности не может не быть влюблен, – заметил путник, – то и вы, ваша милость, очевидно, не составляете исключения, ибо к этому вас обязывает ваше призвание. И если только вы не задались целью быть таким же скрытным, как дон Галаор, то я от имени всех присутствующих и в том числе и от своего убедительно вас прошу сообщить нам имя, титул и место рождения вашей дамы и описать ее наружность. Она почтет себя счастливою, если все будут знать, что ей служит и что любит ее такой, по-видимому, доблестный рыцарь, как вы, ваша милость.

При этих словах Дон Кихот глубоко вздохнул.

– Не берусь утверждать, – сказал он, – угодно или не угодно кроткой моей врагине, чтобы все знали, что я ей служу. Однако ж, уступая просьбе, с которой вы столь почтительно ко мне обратились, могу вам сказать, что зовут ее Дульсинея. Родилась она в одном из селений Ламанчи, а именно в Тобосо. Она моя королева и госпожа, – следственно, по меньшей мере, принцесса. Обаяние ее сверхъестественно, ибо в ней воплощены все невероятные и воображаемые знаки красоты, коими наделяют поэты своих возлюбленных: ее волосы – золото, чело – Елисейские поля,[125] брови – радуги небесные, очи ее – два солнца, ланиты – розы, уста – кораллы, жемчуг – зубы ее, алебастр – ее шея, мрамор – перси, слоновая кость – ее руки, белизна ее кожи – снег, те же части тела, которые целомудрие скрывает от людских взоров, сколько я понимаю и представляю себе, таковы, что скромное воображение вправе лишь восхищаться ими, уподоблять же их чему-либо оно не властно.

– Нам хотелось бы знать ее происхождение, предков ее и ее родословную, – сказал Вивальдо.

На это ему Дон Кихот ответил так:

– Она происходит не от древних римлян, Курциев, Каев и Сципионов,[126] и не от здравствующих и поныне Колонна и Орсини, не от Монкада и Рекесенов Каталонских,[127] не от Ребелья и Вильянова Валенсийских, не от Палафоксов, Нуса, Рокаберти, Корелья, Луна, Алагонов, Корреа, Фосов и Гурреа Арагонских, не от Серда, Манрике, Мендоса и Гусманов Кастильских, не от Аленкастро, Палья и Менёсесов Португальских, – она из рода Тобосо Ламанчских, рода хотя и не древнего, однако ж могущего положить достойное начало знатнейшим поколениям грядущих столетий. Если же кто-нибудь вздумает это оспаривать, то я предъявлю те же условия, какие Дзербин[128] начертал у подножья Роландовой груды трофеев:

Лишь тот достоин ими обладать,

Кто и Роланду бой решится дать.

– Хотя я и происхожу из рода Выскочек Ларедских,[129] – заметил путник, – однако ж не дерзну поставить его рядом с Тобосо Ламанчскими, несмотря на то, что, откровенно говоря, слышу это имя впервые.

– Не может быть, чтобы впервые! – воскликнул Дон Кихот.

Все с чрезвычайным вниманием слушали эту беседу, и в конце концов даже козопасы и те уверились, что наш Дон Кихот не в своем уме. Только Санчо Панса, который знал его чуть ли не с колыбели, продолжал верить, что все, что ни скажет его господин, есть истинная правда; единственно, в чем он слегка сомневался, это в существовании красотки Дульсинеи из Тобосо, ибо хотя он жил неподалеку от упомянутого городка, но о принцессе с таким именем отродясь ни от кого не слыхал. Дон Кихот и Вивальдо все еще продолжали беседовать, когда в расселине между скал показалось человек двадцать пастухов в тулупах из черной овчины и с венками на голове, причем, как выяснилось впоследствии, некоторые из этих венков были сплетены из тисовых ветвей, некоторые же из ветвей кипариса. Человек шесть несли носилки, убранные множеством самых разнообразных цветов и ветвей. Увидевши это, один из козопасов сказал:

– Вон несут тело Хризостома, а подошва этой горы и есть то место, где он завещал себя похоронить.

При этих словах путники прибавили шагу и подоспели как раз к тому времени, когда друзья покойного опустили носилки и четверо из них острыми заступами принялись рыть могилу у подножия суровой скалы.

Обменявшись с ними учтивым приветствием, Дон Кихот и его спутники приблизились к носилкам и устремили взор на Хризостома: он лежал весь в цветах, в пастушеском одеянии, и на вид ему можно было дать лет тридцать; мертвый, он все еще хранил следы красоты и изящества, какими, видимо, отличался при жизни. Несколько книг и множество рукописей, из коих иные в виде свитков, а иные в развернутом виде, были разложены вокруг него на носилках. Те, что смотрели на него, те, что копали могилу, и все, кто только здесь находился, хранили благоговейное молчание, пока наконец один из тех, кто нес покойного, не сказал другому:

– Посмотри хорошенько, Амбросьо, то ли это место, о котором говорил Хризостом, раз уж вы хотите в точности исполнить все, что он завещал.

– То самое, – отвечал Амбросьо. – Здесь бедный мой друг часто рассказывал мне историю своего злоключения. Здесь, по его словам, впервые увидел он Марселу, здесь впервые объяснился он этому заклятому врагу человеческого рода в своей столь же страстной, сколь и чистой любви, и здесь же в последний раз Марсела повергла его в отчаяние своим презрением, что и побудило его окончить трагедию безрадостной своей жизни. И вот в память о стольких горестях и пожелал он, чтобы в лоно вечного забвения погрузили его именно здесь.

Тут Амбросьо обратился к Дон Кихоту и его спутникам.

– Это тело, сеньоры, на которое вы с таким участием взираете, – продолжал он, – являло собою вместилище души, одаренной бесчисленным множеством небесных благ. Это тело Хризостома, непревзойденного по уму, не имевшего себе равных в своей учтивости, обходительного в высшей степени, феникса дружбы, в великодушии своем не знавшего границ, гордого, но не спесивого, благонравного в самой своей веселости, – словом, добродетельнейшего из всех добродетельных и не имевшего соперников в своем злосчастии. *Да, он любил, но им пренебрегали, он обожал – и заслужил презренье.* Он тщился растрогать зверя, смягчить бесчувственный мрамор. Он гнался за ветром, вопиял в пустыне, служил самой неблагодарности и в награду за все стал добычею смерти во цвете лет, увядших по вине пастушки, которую он желал обессмертить, дабы она вечно жила в памяти людей, доказательством чему могли бы служить вот эти рукописи, если бы только он не велел мне предать их огню после того, как будет предан земле его прах.

– Надеюсь, вы не проявите к ним еще большей суровости и жестокости, нежели их хозяин, – заметил Вивальдо, – ибо опрометчив и безрассуден тот, кто исполняет чье-либо приказание, идущее наперекор здравому смыслу. Мы и Цезаря Августа[130] не одобрили бы, если б он позволил исполнить последнюю волю божественного мантуанца.[131] А потому,

сеньор Амбросьо, предайте земле прах вашего друга, но не предавайте забвению его писаний: ведь он распорядился так оттого, что почитал себя обиженным, исполнять же его распоряжение было бы с вашей стороны неблагоразумно. Нет, вы должны сохранить им жизнь, и пусть вечно живет жестокость Марселы, и да послужит она на будущее время назиданием для всех живущих, дабы они опасались и избегали подобных бездн. Я и мои спутники уже знаем историю вашего влюбленного и отчаявшегося друга, знаем, как вы были к нему привязаны, знаем причину его смерти и все, что он, умирая, вам завещал. Жалостная эта повесть дает понятие о том, сколь сильны были жестокость Марселы и любовь Хризостома, сколь искренне было ваше дружеское к нему расположение и какая печальная участь ожидает тех, кто очертя голову мчится по тропе, которую безумная любовь открывает их взору. Вчера вечером нам сообщили о кончине Хризостома и о том, где он будет похоронен, и мы, движимые сочувствием и любопытством, отклонились от прямого своего пути и порешили воочию увидеть то, что, едва достигнув нашего слуха, вызвало у нас столь горькое чувство. И вот теперь мы взываем к тебе, благоразумный Амбросьо, – я, по крайней мере, прошу тебя: вознагради наше сочувствие и желание – сделать все от нас зависящее, чтобы помочь вашему горю, и, позволив не сжигать эти рукописи, позволь мне взять хотя бы некоторые из них.

Не дожидаясь ответа, Вивальдо протянул руку и взял те рукописи, которые лежали ближе к нему, тогда Амбросьо обратился к нему с такими словами:

– Дабы оказать вам любезность, сеньор, я изъявляю согласие на то, чтобы рукописи, которые вы уже взяли, остались у вас, однако тщетно было бы надеяться, что я не сожгу остальные.

Вивальдо, снедаемый желанием узнать, что представляют собой эти рукописи, тотчас одну из них развернул и прочитал заглавие:

– *Песнь отчаяния.*

– Это последняя поэма несчастного моего друга, – сказал Амбросьо, – и дабы вам стало ясно, сеньор, до чего довели Хризостома его злоключения, прочтите ее так, чтобы вас слышали все. Времени же у вас для этого довольно, ибо могилу выроют еще не скоро.

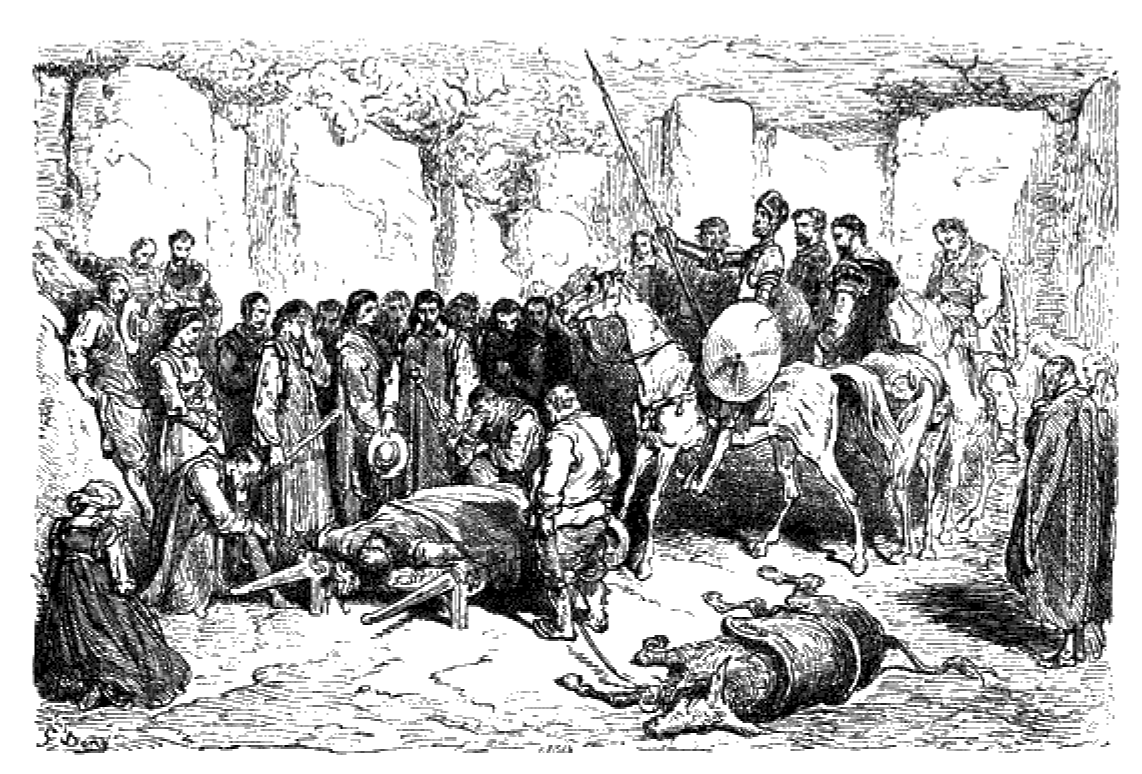
– Я это сделаю с превеликой охотой, – молвил Вивальдо.

Тут все присутствовавшие, влекомые одним желанием, обступили его, и он внятно начал читать.



Глава XIV,

в коей приводятся проникнутые отчаянием стихи покойного пастуха и описываются разные нечаянные происшествия



Песнь Хризостома

Жестокая! Коль для тебя отрада —
Знать, что по свету разнеслась молва,
Как ты надменна и бесчеловечна,
Пусть грешники из тьмы кромешной ада
Подскажут мне ужасные слова
Для выраженья муки бесконечной.
Чтоб выход дать тоске своей сердечной,
Чтоб заклеймить безжалостность твою,
Я исступленье безответной страсти
И боль души, разорванной на части,
В неслыханные звуки перелью.
Так слушай же тревожно и смущенно,
Как из груди, отчаяньем стесненной,
Неудержимо рвется на простор
Не песня, а нестройное стенанье —
Мне в оправданье и тебе в укор.

Шипенье змея, вой волчицы злобной,Сраженного быка предсмертный рев,Вороний грай, что предвещает горе,Неведомых чудовищ вопль утробный,Могучее гудение ветров,Когда они, с волнами буйно споря,Проносятся над синей бездной моря,Рычанье льва, нетопыриный писк,Печальный зов голубки овдовевшей,Глухое уханье совы взлетевшей,Бесовских полчищ сатанинский визг —Все это я смешаю воедино,И обретет язык моя кручина,Которую я до сих пор таил,Затем,

что о твоем бесчеловечьеОбычной речью рассказать нет сил. Пускай внимают, трепеща от страха,Словам живым с умерших уст моихНе льющийся по отмелям песчанымНеторопливый многоводный Тахо,Не древний Бетис[132] меж олив густых,А взморья, где раздолье ураганам,Вершины гор, увитые туманом,Ущелье, где не тешит солнце взгляд,Лесная глушь, безлюдная доныне,И знойная ливийская пустыня,[133] Где гады ядовитые кишат.Пусть эхо о любви моей несчастнойПоведает природе беспристрастной,Чтоб мир узнал, как я тобой казним,И даже в диких тварях пробуждаласьСвятая жалость к горестям моим. Презренье сокрушает нас; разлукаПугает, как тягчайшая беда;Тревожат подозрения безмерно;Снедает ревность, вечная докука;Забвение же раз и навсегдаКладет конец надежде эфемерной.Все это вместе – смерти признак верный,И все ж – о чудо! – смерть щадит меня.Изведал я презренье, подозренья,Разлуку с милой, ревность и забвенье,Сгораю от любовного огня,Но, несмотря на муки, как и прежде,Себе не властен отказать в надежде,Хоть верить ей давно уже страшусь,И – чтоб терзать себя еще сильнее —Расстаться с нею через силу тщусь. Разумно ли питать одновременноСтрах и надежду? Можно ли теперь,Когда ясней, чем солнце в день погожий,Сквозь рану в сердце мне видна измена,Не отворить отчаянию дверь?И не постыдно ль, униженья множа,Все вновь и вновь баюкать разум ложью,Коль нет сомненья, что отвергнут я,Что страх владеет мной не беспричинноИ что лишь затянувшейся кончинойСтановится отныне жизнь моя?О ревность и презренье, два злодея,Чью тиранию свергнуть я не смею!Веревку иль кинжал молю мне дать,И пусть я больше не увижу света!Уж лучше это, чем опять страдать. Мне тяжко умирать и жить постыло,Я понимаю, что гублю себя,Но гибели избегнуть не желаю. Однако даже на краю могилыЯ верю в то, что счастлив был, любя:Что только страсть, мучительница злая,Нам на земле дарит блаженство рая;Что девушки прекрасней нет нигде,Чем ты, о недруг мой непримиримый;Что прав Амур, судья непогрешимый,И сам я виноват в своей беде.С такою верой я свершу до срокаТот путь, которым к смерти недалекойМеня твое презрение ведет,И дух мой, благ земных не алча боле,Из сей юдоли навсегда уйдет. Твоя несправедливость подтверждает,Насколько прав я был, неправый судВерша над бытием своим напрасным;Но за нее тебя не осуждаетТот, чьи останки скоро здесь найдут:Счастливым он умрет, хоть жил несчастным.И я прошу, чтоб надо мной, безгласным,Из дивных глаз ты не струила слез,С притворным сожаленьем не рыдала —Не нужно мне награды запоздалойЗа все, что в жертву я тебе принес.Нет, улыбнись и

докажи наглядно,Сколь смерть моя душе твоей отрадна,Хоть этим ты не удивишь людей:Давно все знают, что тебе охота,Чтоб с жизнью счеты свел я поскорей. Пусть Иксион,[134] на колесе распятый,Сизиф,[135] катящий тяжкий камень свой,Сонм Данаид, работой бесполезнойНаказанный за грех, Тантал[136] проклятый,Томимый вечной жаждой над водой,И Титий,[137] в чью утробу клюв железныйВонзает коршун, – пусть из черной бездныОни восстанут с воплем на устахИ (коль достоин грешник этой чести)К могиле провожать пойдут все вместеМой даже в саван не одетый прах.И пусть подхватит скорбные их стоныСтраж адских врат,[138] трехглавый пес Плутона,А с ним химер и чудищ легион.Не ждет себе иного славословьяТот, кто любовью в цвете лет сражен. А ты, о песнь моя, когда умру я,Умолкни, не крушась и не горюя:Ведь женщине, чей лик навеять мнеТебя перед кончиной не преминул,Я тем, что сгинул, угодил вполне.

Слушателям песнь Хризостома очень понравилась, однако ж чтец заметил, что она противоречит тому, что он слышал о скромности и благонравии Марселы, ибо Хризостом ревнует ее, подозревает, сетует на разлуку и тем самым бросает тень на Марселу и порочит ее доброе имя. На это Амбросьо, от которого покойный не скрывал сокровеннейших своих помыслов, ответил так:

– Дабы рассеять ваши сомнения, я должен сказать вам, сеньор, что страдалец наш сочинил эту песню, находясь в разлуке с Марселой, разлучился же он с ней по собственному желанию, в надежде, что разлука распространит и на него свой закон, но влюбленного в разлуке все тревожит и все донимает, вот почему Хризостома донимали воображаемая ревность и ложные подозрения, как если бы у него были к этому поводы. Таким образом, добродетели Марселы, о которых трубит молва, остаются при ней, ибо, если не считать того, что она жестока, порою дерзка и крайне надменна, сама зависть при всем желании ни в чем не могла бы ее упрекнуть.

– Ваша правда, – согласился Вивальдо.

Прочитать еще одну рукопись, из тех, которые он спас от огня, ему помешало чудесное видение, внезапно представшее перед ним; по крайней мере, все сочли это видением, но то была пастушка Марсела: она появилась на вершине горы, у подошвы которой пастухи рыли могилу, и была она так прекрасна, что красота ее мгновенно затмила блеск своей собственной славы. Те, что видели ее впервые, молча вперили в нее восхищенные взоры, но и те, которым часто приходилось видеть ее, были поражены не меньше тех, кто никогда ее раньше не видел. Амбросьо же, едва увидев ее и не в силах будучи сдержать свое негодование, молвил:

– Для чего ты сюда явилась, свирепый василиск окрестных гор? Для того ли, чтоб поглядеть, не хлынет ли при твоем приближении кровь из ран несчастного, у которого твоя жестокость отняла жизнь? Для того ли, чтобы похвалиться плодами злонравия своего и, подобно жестокосердному Нерону,[139] взиравшему на пожар пылающего Рима, полюбоваться на них с высоты? Или же для того, чтобы, подобно неблагодарной дочери Тарквиния,[140] кощунственною стопою попрать сей охладелый труп? Говори же скорей, зачем ты пришла и чего ты хочешь от нас. Помыслы покойного Хризостома, пока он был жив, устремлялись к тебе, после же его смерти легко могут быть поглощены тобою помыслы тех, что именуют себя его друзьями.

– Нет, Амбросьо, не за тем я пришла сюда! – отвечала Марсела. – Я пришла оправдаться и доказать, что не правы те, кто в смерти Хризостома и в своих собственных горестях обвиняет

меня. А потому я прошу всех присутствующих выслушать меня со вниманием, – ведь для того, чтобы люди разумные познали истину, я не должна тратить много времени и терять много слов. Сами же вы утверждаете, что небо одарило меня красотою и красота моя вас обезоруживает и принуждает любить меня, но вы изъявляете желание и даже требуете, чтобы и я в благодарность за вашу любовь вас любила. Природный ум, которым наделил меня господь, говорит мне, что прекрасное не любить нельзя, но неужели же та, которую любят за красоту, обязана любить того, кто ее любит, единственно потому, что она любима? А теперь вообразите, что влюбленный в красоту к довершению всего безобразен, а как все безобразное не может не внушать отвращения, то было бы очень странно, если бы он сказал: «Я полюбил тебя за красоту, – полюби же и ты меня, хотя я и безобразен». Положим даже, они равно прекрасны, но это не значит, что и желания у них сходны, ибо не всякая красота обладает способностью влюблять в себя, – иная тешит взор, но не покоряет сердца. Ведь если бы всякая красота влюбляла в себя и покоряла, то желания наши, смутные и неопределенные, вечно блуждали бы, не зная, на чем им остановиться, ибо если на свете есть бесчисленное множество прекрасных существ, то и желания наши должны быть бесчисленны. Я же слыхала, что *недробимо истинное чувство и что нельзя любить по принужденью*. Но когда так – а я убеждена, что это именно так и есть, – то можно ли от меня требовать, чтобы я насильно отдала свое сердце единственно потому, что вы клянетесь мне в любви? Ну, а если б небо, создавшее меня прекрасною, создало меня безобразной, скажите, имела ли бы я право упрекать вас в том, что вы меня не любите? Примите в рассуждение и то, что я свою красоту не выбирала: какова бы она ни была, она послана мне в дар небом, я же не домогалась ее и не выбирала. И если змею нельзя осуждать за то, что она ядовита, ибо ядом, которым она убивает, наделила ее сама природа, то и я не виновата в том, что родилась красивою, ибо красота честной женщины – это как бы далекое пламя или же острый меч: кто к ней не приближается, того она не ранит и не опаляет. Честь и добродетели суть украшения души, без которых самое красивое тело теряет всю свою красоту. Ну, а если невинность – одна из тех добродетелей, что так украшают душу и тело и придают им особую прелесть, то неужели же девушка, которую любят за красоту, должна терять свою невинность, уступая домогательствам человека, который ради собственного удовольствия пускается на всякие хитрости, добиваясь того, чтобы она ее утратила? Я родилась свободною, и, чтобы жить свободно, я избрала безлюдье долин: деревья, растущие на горах, – мои собеседники, прозрачные воды ручьев – мои зеркала. Деревьям и водам вверяю я свои думы и свою красу. Я – далекое пламя, я – меч, сверкающий вдали. Кого приворожил мой взгляд, тех разуверяют мои слова. Желания питает надежда, а как я ни Хризостому, ни кому-либо другому никаких надежд не подавала, то скорей можно предположить, что Хризостома свело в могилу его собственное упорство, но не моя жестокость. Могут возразить, что намерения у него были честные и что поэтому я должна была ответить ему взаимностью, – ну так я вам скажу, что, когда на этом самом месте, где ныне роют ему могилу, он поведал мне благие свои желания, я ответила ему, что моим уделом пребудет вечное уединение и что одна лишь земля насладится плодами моей непорочности и останками моей красоты. Если же он, несмотря на мои разуверения, продолжал безнадежно упорствовать и плыть против течения, то что же удивительного в том, что в конце концов его захлестнула волна безрассудства? Если б я удерживала его, я бы кривила душой. Если б я уступила ему, я изменила бы лучшему своему стремлению и побуждению. *Он не желал внимать разувереньям, крушился он, не будучи гонимым,* – судите же теперь, повинна ли я в его страданиях. Пусть ропщет обманутый, пусть сокрушается тот, кого завлекли надеждою, пусть уповает тот, кого я призову, пусть гордится тот, кого я до себя допущу, но пусть не называет меня бесчеловечной убийцею тот, кого я не завлекала, не обманывала, не призывала и не допускала до себя. Небу доселе было не угодно, чтобы я волею судеб кого-нибудь полюбила, а чтобы я сделала выбор сама – этого вы от меня не дождетесь. Пусть же эти всеразуверяющие слова послужат на будущее время предостережением каждому, кто добивается моей благосклонности, и если кто-нибудь умрет из-за меня, то знайте, что умрет он не от ревности

и не от унижения, ибо кто никого не любит, тот ни в ком не может возбудить ревность, разуверить же не значит унизить. Кто называет меня зверем и василиском – пусть отойдет от меня, как от существа вредного и злого, кто называет меня безжалостною – пусть мне не угождает, кто называет неблагодарною – пусть чуждается меня, кто называет жестокою – пусть не преследует меня, ибо сам этот зверь и василиск, эта безжалостная, жестокая и неблагодарная ни за кем не пойдет, никому не станет угождать, пребудет чуждою всем и никого не станет преследовать. Хризостома погубила его безумная страсть и пылкий нрав, при чем же тут скромное мое поведение и целомудрие? Я берегу свою честь в обществе дерев, – почему же те, кто хочет, чтобы я общалась с людьми, хотят у меня ее похитить? Вы знаете, что у меня есть свое богатство, – чужому я не завидую. Нрав у меня свободолюбивый, и я не желаю никому подчиняться. Я никого не люблю и ни к кому не питаю ненависти. Я никого не обманываю и никого не прельщаю, ни над кем не насмехаюсь и ни с кем не любезничаю. Невинные речи деревенских девушек и заботы о козах – вот что любезно мне. Мои мечты не выходят за пределы окрестных гор, а если и выходят, то лишь для того, чтобы, следуя тому пути, по которому душа устремляется к своей отчизне, созерцать красоту небес.

И с этими словами Марсела, не дожидаясь ответа, скрылась в чаще ближнего леса, повергнув в изумление присутствовавших как своею рассудительностью, так и своею красотою. Иные из тех, кого ранили острые стрелы лучистых ее и прекрасных глаз, не вняв голосу убеждения, который столь явственно здесь прозвучал, чуть было за нею не устремились. Но Дон Кихот, угадав их намерение, вообразил, что ему представляется случай исполнить свой рыцарский долг, повелевающий оказывать помощь преследуемым девицам, и, положив руку на рукоять меча, он громко и внятно заговорил:

– Ни один человек, какого бы звания он ни был и к какому бы состоянию ни принадлежал, не осмелится преследовать прекрасную Марселу, если не желает навлечь на себя лютый мой гнев. Она ясно и убедительно доказала, что она почти или, вернее, совсем не повинна в смерти Хризостома и что она отнюдь не намерена снисходить к мольбам кого бы то ни было из своих поклонников, а потому все добрые люди, какие только есть на свете, должны не гоняться за нею, но почитать ее и уважать, ибо уже доказано, что на всем свете вряд ли найдется другая девушка, у которой были бы такие же честные намерения, как у нее.

То ли угрозы Дон Кихота возымели свое действие, а быть может, увещания Амбросьо, который напомнил, что им надлежит до конца исполнить свой долг по отношению к покойному другу, только никто из пастухов не двинулся с места и не удалился до тех пор, пока не вырыли могилу, не сожгли рукописей Хризостома, горько оплаканного всеми присутствовавшими, и не предали его тело земле. На могилу положили тяжелый камень, с тем чтобы после заменить его плитой, которую собирался заказать Амбросьо, причем на этой плите, по его словам, должна была быть высечена следующая эпитафия:

Здесь пастух вкушает сон.
Страсть свела его в могилу,
Потому что не любила
Та, в кого он был влюблен.
Насмерть в сердце поражен
Бессердечьем он, несчастный,
Ибо нами самовластно
Управляет Купидон.

Пастухи засыпали могильный холм цветами и ветками, а затем, выразив соболезнование другу покойного – Амбросьо, простились с ним. Так же поступили Вивальдо и его приятель, и когда Дон Кихот, простившись сперва с козопасами, подошел попрощаться и к ним, они предложили ему отправиться вместе с ними в Севилью – место, по их словам, весьма

подходящее для искателей приключений, ибо приключений там на каждой улице и на каждом перекрестке судьба пошлет ему больше, чем где бы то ни было. Дон Кихот, поблагодарив их за совет и доброе расположение, сказал, что он не хочет и не может ехать в Севилью, ибо прежде ему надлежит очистить окрестные горы от разбойников и лиходеев, которые, как слышно, никому здесь не дают проходу. Видя, что он непреклонен, путники не почли за нужное настаивать и, еще раз с ним попрощавшись, продолжали свой путь, и во все продолжение этого пути история Марселы и Хризостома, а также безумие Дон Кихота служили им обильною пищею для разговоров. Дон Кихот между тем вздумал отправиться на поиски Марселы и предложить ей свои услуги; однако ж судьба распорядилась иначе, о чем вы в свое время и узнаете из этой правдивой истории, вторая часть которой на этом оканчивается.



Глава XV,

в коей рассказывается о злополучном приключении Дон Кихота с бесчеловечными янгуасцами



Мудрый Сид Ахмет Бен-Инхали рассказывает, что Дон Кихот, попрощавшись с козопасами и со всеми, кто на похоронах Хризостома присутствовал, вместе со своим оруженосцем тотчас же направился к лесу, где скрылась пастушка Марсела. Более двух часов прошло у них в бесплодных поисках, и, изъездив лес вдоль и поперек, в конце концов выехали они на зеленый луг, где неслышно струился ручей, манивший путников своею прохладою и соблазнявший их провести здесь часы томительного полдневного жара, уже вступившего к этому времени в свои

права. Дон Кихот и Санчо спешились и, пустив осла и Росинанта на луг, чтобы они полакомились на свободе густою травой, совершили нападение на свою дорожную суму, после чего господин и его слуга, не чинясь, в мире и согласии принялись закусывать тем, что у них нашлось.

Санчо и в голову не пришло стреножить Росинанта – до того он был в нем уверен, и точно: до сих пор это было такое смирное и отнюдь не ветреное существо, что, казалось, все кобылицы кордовских пастбищ не ввели бы его во искушение. Однако ж судьба совместно с дьяволом, который далеко не всегда дремлет, устроили так, что к той же самой долине приблизились янгуаские погонщики[141] с табуном галисийских кобыл, а как они имеют обыкновение полдничать в местах, обильных пастбищами и водою, то долина, где расположился Дон Кихот, показалась им весьма подходящей. И вот случилось так, что Росинанту припала охота приударить за госпожами кобылицами; только зачуял он их – и, не спросясь хозяина, изменив правилам своим и привычкам, затрусил игривой рысцой, дабы удовлетворить свою потребность; но кобылицам, видимо, больше хотелось пастись, а потому они стали лягать его и кусать, да так, что малое время спустя разорвали на нем подпругу, и остался он нагишом, без седла. Погонщики же, видя, что над их кобылицами совершается столь явное насилие, примчались с дубинами и, что было уже совсем ему не по нутру, так его отколотили, что он чуть живой повалился на землю.

Между тем Дон Кихот и Санчо, видя, что Росинанта бьют, со всех ног бросились к нему.

– Сейчас видно, друг Санчо, – сказал Дон Кихот, – что это не рыцари, а подлая челядь, низкопробные людишки. Говорю я это к тому, что ты имеешь полное право оказать мне помощь и явиться орудием праведной мести за то зло, которое они на наших глазах осмелились причинить Росинанту.

– Какая тут, к черту, месть, – воскликнул Санчо Панса, – когда их больше двадцати, нас же всего только двое, а вернее сказать – полтора!

– Я один стою сотни, – возразил Дон Кихот.

Недолго думая, выхватил он свой меч и ринулся на янгуасцев, и, побуждаемый и увлекаемый его примером, так же точно поступил и Санчо Панса; и при первом же натиске Дон Кихот разрубил на одном из погонщиков кожаное полукафтанье, отхватив при этом изрядный кусок плеча.

Но тут погонщики, видя, что их так много, а нападающих всего только двое, взялись за дубинки и, окружив обоих противников, с необычайным рвением и горячностью принялись охаживать их. По правде сказать, довольно было двух ударов для того, чтобы Санчо растянулся на земле, и та же участь постигла и Дон Кихота, несмотря на выказанную им ловкость и присутствие духа; при этом судьбе угодно было, чтобы Дон Кихот упал к ногам Росинанта, который все еще не мог встать и являл собою наглядное доказательство того, какую бешеную силу обретают дубины в руках обозленных сельчан. Увидев же, что они натворили, янгуасцы с великим проворством навьючили своих кобыл и тронулись в путь, оставив двух искателей приключений в самом бедственном положении и в еще худшем состоянии духа.

Санчо Панса очнулся первый; заметив, что его господин лежит рядом с ним, он слабым и жалобным голосом окликнул его:

– Сеньор Дон Кихот, а сеньор Дон Кихот!

– Что ты, брат Санчо? – таким же упавшим и печальным голосом спросил Дон Кихот.

– Будьте так добры, ваша милость, – продолжал Санчо Панса, – если есть у вас бальзам этого, как бишь его, *Безобраза,* дайте мне глоточка два: может, он и от переломов помогает не хуже, чем от ран.

– Увы мне, несчастному! – воскликнул Дон Кихот. – Если бы бальзам Фьерабраса был у меня под рукой, то нам нечего было бы больше желать. Но, клянусь тебе честью

странствующего рыцаря, Санчо Панса, что не пройдет и двух дней – если только судьба не распорядится иначе, – как я добуду его, или у меня отсохнут руки.

– А как вы думаете, ваша милость, когда у нас начнут двигаться ноги? – спросил Санчо Панса.

– Что касается меня, то я не сумею сказать, когда именно, – отвечал избитый рыцарь. – Но виноват во всем я: незачем мне было обнажать меч против тех, кто не посвящен в рыцари. И вот в наказание за то, что я нарушил законы рыцарства, бог сражений[142] и допустил, думается мне, чтобы меня постигла подобная кара. А потому, Санчо Панса, впредь тебе надлежит руководствоваться тем, что я сейчас скажу, это может послужить на пользу нам обоим. Ну так вот: коль скоро ты увидишь, что подобный сброд причиняет нам зло, то не жди, чтобы я выхватил меч, – ты этого все равно не дождешься, а берись за свой и карай их по своему усмотрению. Если же на выручку им подоспеют рыцари, то я всегда сумею выручить тебя из беды и обрушить на них всю свою мощь, – в силе же доблестной моей длани ты имел множество случаев удостовериться, ибо проявлял я ее при тебе неоднократно.

Бедный наш сеньор, как видно, все еще гордился победой над храбрым бискайцем. Санчо Панса, однако же, не признал наказ своего господина столь разумным, чтобы обойти его молчанием.

– Сеньор! – возразил он. – Я человек тихий, смирный, миролюбивый, я готов снести любое унижение, потому мне надо жену кормить и детей вывести в люди. Так что вот вам мой сказ, ваша милость – сказ, а не указ, ибо указывать вам я не имею права: ни за что я не обнажу меча ни против рыцаря, ни против смерда, и как перед богом говорю, что раз навсегда прощаю всем когда-либо меня обидевшим или же долженствующим меня обидеть, независимо от их чина и звания, независимо от того, кто именно меня обижал, обижает или еще когда-нибудь обидит: благородный человек или же худородный, богач или бедняк, дворянин или холоп.

На это его господин ответил так:

– У меня спирает дыхание, и мне трудно говорить, да к тому же еще не прошла боль в боку, а то я объяснил бы тебе, Панса, в какую ты впал ересь. Слушай, греховодник: когда бы ветер Фортуны, доселе столь для нас неблагоприятный, сменился попутным и мы на раздутых парусах упования нашего благополучно и беспрепятственно причалили к острову, который я тебе обещал, то что же было бы с тобой, если б я завоевал его и отдал тебе во владение? Да ты ничего с ним не мог бы поделать, раз что ты не рыцарь и не желаешь быть таковым, – не желаешь развивать в себе мужество, отмщать за нанесенные тебе оскорбления и отстаивать свои права. Надобно тебе знать, что во вновь завоеванных королевствах и провинциях обыкновенно наблюдается брожение умов, и далеко не все туземцы бывают довольны своим государем, вследствие чего всегда можно опасаться, что кто-нибудь, желая вновь изменить порядок вещей и, как говорится, попытать счастье, задумает произвести переворот, вот почему новый правитель должен уметь властвовать собою и быть достаточно мужественным для того, чтобы в случае необходимости защитить себя или же перейти в наступление.



– Давеча с нами произошел такой случай, что я не прочь был бы обладать этим самым мужеством и уменьем, – подхватил Санчо. – Но клянусь честью бедняка, что в настоящее время я нуждаюсь более в пластырях, нежели в наставлениях. Попробуйте встать, ваша милость, а затем давайте поможем Росинанту, хотя он этого и не заслуживает, потому как именно он явился главным виновником давешнего побоища. Не ожидал я этого от Росинанта: я думал, он такой же целомудренный и миролюбивый, как я. Видно, правду говорят люди, что чужая душа потемки и что все на свете меняется. Кто бы мог подумать, что за сокрушительными ударами меча, которые вы нанесли этому несчастному странствующему рыцарю, так скоро последует сильнейший град палочных ударов, что посыпался на наши спины?

– Твоя спина, Санчо, верно, привыкла к подобным напастям, – возразил Дон Кихот, – моя же, приученная к тончайшему голландскому полотну, разумеется, должна сильнее чувствовать боль. И если бы я не предполагал... да что я говорю: предполагал? – если б я не знал наверное, что все эти неприятности неразрывно связаны с походной жизнью, то я тут же умер бы с досады.

– Сеньор! – снова заговорил оруженосец. – Коли подобные бедствия и есть тот урожай, что снимают рыцари, то не можете ли вы мне сказать, ваша милость, часто ли они повторяются, или же для них существуют известные сроки? Ведь после двух таких урожаев снять третий, думается мне, нам будет уже не под силу, если только господь бог, по бесконечному милосердию своему, нам не поможет.

– Знай, друг Санчо, – отвечал Дон Кихот, – что жизнь странствующих рыцарей сопряжена с бесчисленным множеством опасностей и злоключений, но зато, как показывает опыт многих рыцарей, коих разнообразные похождения мне хорошо известны, у них всегда есть возможность стать королями или же императорами. И если б не боль в боку, я рассказал бы тебе о том, как некоторые из них достигали упомянутых мною высоких степеней единственно благодаря доблестным своим дланям, хотя и до и после этого им случалось терпеть бедствия и лишения. Так, например, доблестный Амадис Галльский однажды попался в руки смертельному своему врагу, волшебнику Аркалаю, и тот, взяв его в плен, тотчас же привязал к столбу посреди двора, схватил поводья и отсчитал ему более двухсот ударов, о чем у меня имеются самые достоверные сведения. А еще один неизвестный, но заслуживающий полного доверия автор повествует о том, как Рыцаря Феба в некоем замке заманили в ловушку; пол под ним провалился, и он полетел в глубокую яму, и там, в этом подземелье, ему, связанному по рукам и ногам, поставили клистир из ледяной воды с песком, отчего он чуть не отправился на тот свет. И несдобровать бы бедному нашему рыцарю, когда бы в этой великой беде ему не помог некий кудесник, верный его друг. И вот если уж таким достойным людям надобно было пострадать, то мне и подавно. Притом они подвергались таким неслыханным унижениям, каким мы с тобою доселе не подвергались: знай, Санчо, что раны, нанесенные оружием, случайно подвернувшимся под руку, чести не задевают, ибо в правилах о поединке ясно сказано, что если один сапожник ударит другого колодкой, которую он держит в руке, то хотя это и деревянная колодка, однако ж из этого не следует, что потерпевшему нанесли удар палкой. Говорю я это к тому, что хотя нас и поколотили, но честь наша, да будет тебе известно, осталась незапятнанной, ибо орудия, которые эти люди держали в руках и которыми они нас избили, – всего-навсего дубинки, тогда как рапир, шпаг и кинжалов, сколько мне помнится, не было ни у кого.

– Они не дали мне разглядеть, – сказал Санчо. – Только хотел я взяться за булатный мой меч, а уж они кольями по плечам, да так окрестили, что у меня искры из глаз посыпались и ноги подкосились, и я растянулся на том самом месте, где возлежу и по сие время, и болит у меня не душа – при мысли о том, запятнали мою честь палочные удары или не запятнали, а болит тело от их дубинок, которые с такой же силой врезались мне в память, с какой врезались они в мою спину.

– Со всем тем надобно тебе знать, Панса, – заметил Дон Кихот, – что нет такого несчастья, которого не изгладило бы из памяти время, и нет такой боли, которой не прекратила бы смерть.

– Что же может быть хуже злоключения, которое ничто, кроме времени, прекратить не может и которое одна лишь смерть способна изгладить из памяти? – возразил Панса. – Если б нашему горю можно было пособить двумя пластырями, то это еще куда ни шло, но я вижу, что все пластыри, сколько их ни припасено в больнице, не поставили бы нас теперь на ноги.

– Не думай об этом, Санчо, бери пример с меня и не падай духом, – сказал Дон Кихот. – Лучше посмотри, что с Росинантом: кажется, беднягу постигла не менее горькая участь.

– В этом нет ничего удивительного, – заметил Санчо, – ведь он не просто скотина, а скотина странствующая. Меня удивляет другое: отчего это у моего осла ребра целехоньки, тогда как нам их пересчитали все до единого?

– С кем бы ни стряслась беда – судьба непременно укажет выход, – заметил Дон Кихот. – Говорю я это к тому, что твоя животина на сей раз может заменить мне Росинанта и довезти меня до какого-нибудь замка, где мне помогут залечить раны. Унизить же меня подобное

верховое животное не может, ибо, помнится мне, я читал, что добрый старый Силен,[143] воспитатель и наставник веселого бога смеха, въехал в стовратный город,[144] сидя верхом на превосходном осле, и чувствовал себя при этом великолепно.

– То-то и есть, что сидя верхом, как вы сами изволили заметить, ваша милость, – возразил Санчо. – Одно дело – сидеть верхом, а другое – лежать поперек седла, точно мешок с трухой.

На это ему Дон Кихот ответил так:

– Раны, полученные в бою, скорее могут прославить, нежели обесславить. Поэтому, друг Санчо, не спорь со мной, соберись с силами и встань, о чем я уже тебя просил, а затем устрой меня на осле, как тебе заблагорассудится, – мы должны тронуться в путь прежде, чем настанет ночь и застигнет нас в этих пустынных местах.

– Вы же сами говорили, ваша милость, – возразил Панса, – что странствующие рыцари чуть ли не весь год ночуют обыкновенно в пустынных и безлюдных местах, да еще и за великую удачу это почитают.

– Это в тех случаях, когда им ничего иного не остается или же когда они влюблены, – сказал Дон Кихот. – В самом деле, был один такой рыцарь, который и в жару, и в холод, и в бурю целых два года стоял на скале, а госпожа его об этом и не подозревала. Тот же Амадис, назвавшись Мрачным Красавцем, не то на восемь лет, не то на восемь месяцев, точно не помню, удалился на Бедную Стремнину, – словом, он в чем-то провинился перед госпожой своей Орианой и наложил на себя епитимью. Но довольно об этом, Санчо, пора и в путь, а то, чего доброго, и с ослом случится несчастье, вроде как с Росинантом.

– Того и гляди! – отозвался Санчо.

Тридцать раз охнув, шестьдесят раз вздохнув, сто двадцать раз ругнув того, кому он обязан был своим злоключением, и послав на его голову столько же проклятий, он встал, но на полпути его скрючило наподобие турецкого лука, так что он долго потом не мог выпрямиться. И вот с такими-то ужасными мучениями взнуздал он кое-как своего осла, тоже слегка огорошенного событиями этого слишком бурного дня, а затем поднял Росинанта, который, если б только умел жаловаться, наверняка превзошел бы в этом искусстве и Санчо Пансу, и его господина. В конце концов Санчо устроил Дон Кихота на осле, Росинанта привязал сзади и, взяв осла под уздцы, двинулся примерно в том направлении, где, по его расчетам, должна была пролегать большая дорога. И не прошел он и одной мили, как судьба, которая все делала к лучшему для него, вывела его на эту дорогу, и он тут же заприметил постоялый двор, но Дон Кихот, вопреки мнению Санчо и на радость самому себе, решил, что это замок. Санчо уверял, что это постоялый двор, а его господин – что это не постоялый двор, а замок; и так долго они пререкались, что, еще не кончив пререканий, успели за это время добраться до постоялого двора, куда Санчо, не подумав даже справиться, что же это в самом деле такое, и проследовал со всем своим караваном.



Глава XVI

о том, что случилось с хитроумным идальго на постоялом дворе, который он принял за некий замок



Хозяин постоялого двора, видя, что Дон Кихот лежит поперек осла, спросил Санчо, что с ним стряслось. Санчо ответил, что ничего особенного, что он упал со скалы и слегка повредил бока. Жена хозяина не походила на трактирщицу: это была натура отзывчивая, принимавшая сердечное участие в страданиях своего ближнего: она тотчас принялась ухаживать за Дон Кихотом и велела дочери своей, молоденькой и очень хорошенькой девушке, помочь ей в уходе за постояльцем. В услужении у хозяев находилась девица родом из Астурии, широколицая, курносая, со срезанным затылком, на один глаз кривая, – впрочем, и другой глаз был у нее не в порядке. Правда, сложена она была отлично, и это искупало все прочие ее недостатки: если б смерить ее всю от головы до ног, то не набралось бы и семи четвертей, а чересчур высоко поднятые плечи заставляли ее более внимательно смотреть себе под ноги, чем этого требовала необходимость. Эта самая красотка стала помогать хозяйской дочери, и обе они соорудили Дон Кихоту прескверное ложе в чулане, по всем видимостям на протяжении многих лет заменявшем сеновал. Здесь же ночевал некий погонщик, причем ложе его находилось неподалеку от ложа

Дон Кихота; и хотя, кроме седел и попон, подстелить ему было нечего, все же он находился в гораздо более выгодном положении, нежели Дон Кихот, которого ложе состояло из четырех далеко не гладких досок, настеленных на две не весьма ровные скамьи, тюфяка, такого тоненького, что он скорей напоминал стеганое одеяло, и такого жесткого, что если бы из его дыр вылезала шерсть, то комки этой шерсти на ощупь можно было бы принять за булыжники, двух простынь, сшитых, должно полагать, из той самой кожи, что идет на изготовление щитов, и шерстяного одеяла, коего шерстинки при желании нетрудно было бы пересчитать, и при этом вы ни разу не сбились бы со счета.

Дон Кихот возлег на это треклятое ложе, и тут хозяйка с дочкой принялись лечить его, так что в скором времени он с головы до ног был облеплен пластырями, а Мариторнес – так звали астурийку – им светила. Занявшись же его лечением и увидев, что он весь в синяках, хозяйка сказала, что синяки эти, по всей вероятности, от побоев, а не от ушибов.

– Нет, не от побоев, – возразил Санчо. – Беда в том, что скала попалась острая, вся в выступах, и каждый такой выступ оставил на теле по синяку. Смею вас уверить, сеньора, – прибавил он, – что если у вас останется хоть немного этой пакли, то охотники на нее найдутся: у меня самого что-то ломит поясницу.

– Значит, вы тоже, наверно, упали? – спросила хозяйка.

– Нет, я не падал, – отвечал Санчо. – Но я был так напуган падением моего господина, что у меня до сих пор все тело болит, словно меня отколотили палками.

– Это бывает, – сказала девушка. – Мне самой часто снится, будто я падаю с башни и все никак не могу долететь до земли, а когда проснусь, то чувствую себя такой разбитой и такой измученной, точно я и правда упала.

– В том-то и дело, сеньора, – возразил Санчо, – что я отнюдь не во сне, но будучи еще свежее и бодрее, нежели сейчас, испытал такое чувство, будто мне наставили почти столько же синяков, сколько моему господину Дон Кихоту.

– Как зовут этого кавальеро? – спросила астурийка Мариторнес.

– Дон Кихот Ламанчский, – отвечал Санчо Панса. – Он странствующий рыцарь, один из самых отважных и могучих рыцарей, каких когда-либо видел свет.

– Что такое странствующий рыцарь? – спросила служанка.

– Да вы что, только вчера родились? – воскликнул Санчо Панса. – Странствующий рыцарь – это, знаете ли, сестрица, такая штука! Только сейчас его избили – не успеешь оглянуться, как он уже император. Нынче беднее и несчастнее его нет никого на свете, а завтра он предложит своему оруженосцу на выбор две, а то и три королевские короны.

– Почему же вы у такого доброго господина, как видно, даже графства и того не заслужили? – вмешалась хозяйка.

– Больно скоро захотели, – отвечал Санчо. – Мы всего только месяц ищем приключений, и пока что ни одного стоящего приключения у нас не было. Бывает ведь и так, что пойдешь за одним, а найдешь совсем другое. Но если только мой господин, Дон Кихот, оправится от ран, то есть от ушибов, и я сам не останусь на всю жизнь калекой, то даю вам слово, что я на самого знатного испанского вельможу не захочу смотреть.

Дон Кихот весьма внимательно прислушивался к этой беседе, а затем, сколько мог, приподнялся, взял хозяйку за руку и сказал:

– Поверьте, прелестная сеньора, вы должны быть счастливы, что приютили у себя в замке такую особу, как я, ибо если я себя и не хвалю, то единственно потому, что, как говорится, самовосхваление унижает, но мой оруженосец расскажет вам обо мне. Я же скажу лишь, что услуга ваша никогда не изгладится из моей памяти и что я буду вам благодарен до конца моих дней. И когда бы, по воле всемогущих небес, законы любви еще не приобрели надо мною такой

неодолимой власти и очи жестокой красавицы, которой имя я произношу сейчас мысленно, меня еще не поработили, то свободою моею завладели бы очи этой прелестной девушки.

Хозяйка, ее дочь и добрая Мариторнес слушали странствующего рыцаря с таким недоумением, как если бы он говорил по-гречески; одно лишь они уловили – что он рассыпается в похвалах и изъявлениях преданности, и все же, не привыкшие к подобным оборотам речи, они смотрели на него и дивились: они принимали его за человека совсем из другого мира. Наконец, выразив на своем трактирном языке благодарность нашему рыцарю за его учтивые речи, хозяйка с дочерью удалились, астурийка же Мариторнес принялась лечить Санчо, который нуждался в этом не меньше, чем его господин.

Погонщик и Мариторнес заранее уговорились весело провести эту ночь, и она дала ему слово, что, когда постояльцы угомонятся, а хозяева заснут, она придет сюда, дабы утолить его страсть и исполнить все, что только он от нее не потребует. А про эту славную девицу говорили, что такого рода обещания она исполняла даже в тех случаях, когда они были даны ею в глухом лесу и притом без свидетелей, ибо упомянутая девица весьма кичилась дворянским своим происхождением,[145] каковое, по ее мнению, не могла унизить служба в трактире, раз что довели ее до этого превратности судьбы и выпавшие на ее долю несчастья.

У самого входа в это стойло, куда сквозь дырявую крышу заглядывали звезды, находилось жесткое, узкое, жалкое и ненадежное ложе Дон Кихота, а чуть подальше устроил себе ложе Санчо Панса, причем оно состояло лишь из тростниковой циновки и из одеяла, на которое, видимо, больше пошло свалявшейся пакли, нежели шерсти. За этими двумя ложами помещался погонщик, соорудивший себе ложе, как уже было сказано, из седел и прочего убранства двух лучших своих мулов, – всего же их у него было двенадцать, лоснящихся, сытых и резвых, ибо он принадлежал к числу богатых аревальских погонщиков,[146] как указывает автор этой истории, который хорошо знал нашего погонщика, будто бы даже приходился ему родственником и оттого почел за нужное уделить ему особое внимание. Вообще говоря, Сид Ахмед Бен-Инхали – повествователь чрезвычайно любознательный и во всех отношениях добросовестный: это явствует из того, что все, о чем мы здесь сообщаем, даже низменное и ничтожное, не пожелал он обойти молчанием, и с него не худо бы взять пример историкам солидным, чей слишком беглый и чересчур сжатый рассказ о событиях течет у нас по усам, а в рот не попадает, и которые то ли по собственной небрежности, то ли из коварных побуждений, то ли по своему невежеству оставляют самую суть дела на дне чернильницы. Но да будут стократ прославлены автор *Табланта Рикамонтского* и автор книги о подвигах графа Томильяса:[147] до чего же обстоятельно они все описывают!

Итак, погонщик, навестив мулов и еще раз задав им корму, в ожидании весьма исправной Мариторнес вытянулся на своих седлах. Санчо, облепленный пластырями, также улегся, но из-за боли в боках долго не мог заснуть. Болели бока и у Дон Кихота и он, точно заяц, лежал с открытыми глазами. На постоялом дворе все затихло и погрузилось во мрак, только у входа горел фонарь.

Глубокая тишина и неотвязная мысль о тех событиях, что встречаются на каждой странице любой из книг, повинных в несчастье нашего рыцаря, навеяли ему одну из самых странных и безумных грез, какие так, ни с того ни с сего, кому-либо могли пригрезиться; а именно ему пригрезилось, что он прибыл в некий славный замок, – как известно, постоялые дворы, где ему приходилось останавливаться, он неизменно принимал за замки, – и что дочь хозяина, то бишь владельца замка, которую он якобы сумел очаровать, влюбилась в него и обещала нынче ночью, тайком от родителей, провести с ним часок-другой; но, приняв всю эту нелепицу, им же самим придуманную, за нечто непреложное и бесспорное, он тотчас приуныл и, представив себе, какому тяжкому испытанию должно подвергнуться его целомудрие, мысленно дал себе слово не изменить своей госпоже Дульсинее Тобосской, хотя бы перед ним предстала сама королева Джиневра со своею придворною дамою Кинтаньоной.

Итак, он все еще думал об этой чепухе, а между тем настал роковой для него час, – час, когда должна была прийти астурийка, и точно: босая, в одной сорочке и в сетке из грубой нитки на голове, явилась она на свидание к погонщику и неслышной и легкой стопою вошла в помещение, где трое постояльцев расположились на ночлег; но как скоро приблизилась она к двери, Дон Кихот, заслышав ее шаги, сел на постели и, невзирая на пластыри и боль в боках, раскрыл объятия, дабы заключить в них прелестную деву. Астурийка, безмолвная и настороженная, вытянув руки, пробиралась к своему милому и вдруг наткнулась на руки Дон Кихота, – тот схватил ее, онемевшую от ужаса, за кисть, притянул к себе и усадил на кровать. Дотронувшись же до ее сорочки, сшитой из мешковины, он вообразил, что это дивный тончайший шелк. На руках у нее висели стеклянные четки, но ему почудилось, что это драгоценный восточный жемчуг. Волосы ее, отчасти напоминавшие конскую гриву, он уподобил нитям чистейшего арабского золота, коего блеск затмевает свет солнца. Пахло от нее, по всей вероятности, прокисшим салатом, а ему казалось, что от нее исходит нежное благоухание. Словом, в его представлении образ астурийки слился с образом некоей принцессы, о которой он читал в романах, что, не в силах долее сдерживать свои чувства, она в вышеописанном наряде явилась на свидание к тяжело раненному рыцарю. И до того был слеп наш идальго, что ни его собственное осязание, ни запах, исходивший от этой очаровательной девицы, а равно и все прочие ее свойства, способные вызвать тошноту у всех, кроме погонщика, не могли его разуверить, – напротив, ему казалось, будто он держит в объятиях богиню красоты. И, не разжимая рук, он тихим и ласковым голосом заговорил:

– О, если б я был в силах отплатить вам, прелестная и благородная сеньора, за великую милость, какую вы мне явили, дозволив созерцать дивную красоту вашу! Однако ж судьбе, неустанно преследующей добрых людей, угодно было, чтобы я, истерзанный и разбитый, возлег на это ложе и чтобы я при всем желании не мог исполнить ваше желание. Кроме этого препятствия, существует и другое, совершенно непреодолимое, а именно моя клятва в верности несравненной Дульсинее Тобосской, единственной владычице сокровеннейших моих помыслов. Так вот, если бы между вами и мною не стояли эти преграды, то я, конечно, не ударил бы в грязь лицом и не упустил благоприятного случая, дарованного мне вашею безграничною добротой.



Мариторнес изнывала в объятиях нашего рыцаря и обливалась потом; не слушая и не понимая его речей, она молча пыталась высвободиться. Между тем бравый погонщик, которому не давали спать нечистые желания и который учуял свою возлюбленную, как скоро она шагнула за порог, внимательно прислушивался к тому, что ей говорил Дон Кихот; наконец, мучимый ревнивою мыслью, что астурийка изменяет ему с другим, он приблизился к ложу Дон Кихота и, силясь понять, куда тот клонит, остановился послушать невразумительные его речи; но когда он увидел, что девица хочет вырваться, а Дон Кихот ее не пускает, то это ему не понравилось, – он размахнулся, что было мочи ударил влюбленного рыцаря по его узкой скуле и разбил ему рот в кровь; не удовольствовавшись этим, погонщик подмял его под себя, а затем даже не рысью, а галопом промчался по всем его ребрам. Вслед за тем ложе Дон Кихота, и без того не весьма прочное, воздвигнутое на довольно шатких основаниях, не вынеся добавочного груза, каковым явился для него погонщик, незамедлительно рухнуло, причем вызванный его падением отчаянный грохот разбудил хозяина, и тот сейчас же смекнул, что это проказы Мариторнес, ибо на его зов она не откликалась. Желая удостовериться, насколько основательно его подозрение, он встал, зажег светильник и пошел в ту сторону, где, по-

видимому, происходило побоище. Служанка, растерявшись и струхнув не на шутку при виде рассвирепевшего хозяина, забралась на кровать к спящему Санчо Пансе и свернулась клубком. Хозяин ворвался с криком:

– Эй, девка, ты где? Бьюсь об заклад, что все это твои штучки.

В это время проснулся Санчо; почувствовав, что кто-то всей тяжестью на него навалился, и решив, что это дурной сон, он стал яростно работать кулаками, причем львиная доля щедро раздаваемых им колотушек досталась Мариторнес, – Мариторнес же, забыв от боли всякий стыд, дала ему сдачи столько, что у него сразу прошел весь сон; и вот, чувствуя, что кто-то его тузит, а кто – неизвестно, он, сколько мог, приподнялся и сцепился с Мариторнес, и тут у них началась самая ожесточенная и самая уморительная схватка, какую только можно себе представить. Погонщик же, увидев при свете хозяйского фитилька, что его даме приходится туго, бросил Дон Кихота и поспешил к ней на подмогу. Его примеру последовал и хозяин, но с другой целью: будучи совершенно уверен, что единственною виновницею всего этого шума является Мариторнес, он вознамерился ее проучить. А дальше пошло совсем как в сказке: «кошка на мышку, мышка на кошку», – погонщик ринулся на Санчо, Санчо на служанку, служанка на него, хозяин на служанку, и все при этом без устали молотили кулаками. К довершению всего у хозяина погас светильник, и, очутившись впотьмах, бойцы принялись колошматить друг друга наугад и уже без всякой пощады, так что где только прошелся чей-нибудь кулак – там не оставалось живого места.

На этом самом постоялом дворе случилось ночевать стражнику из старого толедского Святого братства, и тот, услыхав необычайный шум битвы, схватил вещественные знаки своего достоинства, как то: полужезл и жестяную коробку с бумагами, и, ощупью пробравшись в чулан, крикнул:

– Именем правосудия, остановитесь! Остановитесь, именем Святого братства!

Прежде всего стражник наткнулся на избитого и впавшего в беспамятство Дон Кихота, распростертого на своем рухнувшем ложе, и, нащупав его бороду и зажав ее в кулак, несколько раз крикнул: «На помощь правосудию!» Но, видя, что тот, кого он схватил, не двигается и не шевелится, подумал, что это убитый, а что все остальные – убийцы, и как скоро мелькнуло у него это подозрение, он еще громче крикнул:

– Заприте ворота! Не выпускайте отсюда никого, здесь человека убили!

Крик этот перепугал дерущихся, и каждый невольно замер на том самом месте, где его застал голос стражника. Затем хозяин возвратился к себе, погонщик к своим седлам, служанка в свою каморку, – одни лишь горемычные Дон Кихот и Санчо не могли сдвинуться с места. Тут стражник разжал кулак и, выпустив бороду Дон Кихота, пошел искать огня, дабы изловить и задержать преступников; однако ж поиски его оказались тщетными, оттого что хозяин, проходя к себе в комнату, нарочно погасил фонарь, – тогда стражник направил свои стопы к очагу и, потратив немало времени и немало труда, зажег наконец второй светильник.



Глава XVII,

в коей описываются новые неисчислимые бедствия, ожидавшие мужественного Дон Кихота и его верного оруженосца Санчо Пансу на постоялом, дворе, который наш рыцарь, на свое несчастье, принял за некий замок



Тем временем Дон Кихот очнулся и точно таким же голосом, каким он звал своего оруженосца, лежа в долине дубинок, стал взывать к нему и теперь:

– Друг Санчо, ты спишь? Ты спишь, друг Санчо?

– Как же, заснешь тут, прах меня возьми, – полный досады и печали, отвечал Санчо, – когда нынче ночью словно все черти на меня насели!

– У тебя есть все основания думать так, – заметил Дон Кихот, – потому что или я ничего не понимаю, или это очарованный замок. Надобно тебе знать... Нет, прежде ты должен поклясться, что и после моей смерти будешь хранить в тайне все, что я сейчас скажу.

– Клянусь, – сказал Санчо.

– Я потому требую от тебя клятвы, что мне дорога честь каждого человека, – пояснил Дон Кихот.

– Да ведь я уж поклялся в том, что буду молчать и после вашей кончины, – возразил Санчо, – но дай-то бог, чтобы я проговорился завтра же!

– Верно, я причинил тебе зло, если ты желаешь мне столь скорой смерти? – спросил Дон Кихот.

– Вы тут ни при чем, – возразил Санчо. – Просто-напросто не любитель я что бы то ни было долго хранить в себе: хранишь-хранишь, глядь, а оно уже и прогоркло, – вот я чего боюсь.

– Как бы то ни было, порукой мне твоя преданность и твое благородство, – сказал Дон Кихот. – Итак, знай же, что сегодня ночью со мной случилось одно из самых удивительных происшествий, какими я могу похвалиться. Коротко говоря, да будет тебе известно, что ко мне только что приходила дочь владельца этого замка, такая очаровательная и такая изящная девушка, какой на всем свете не сыщешь. Кто возьмется описать ее наряд? Остроту ее ума? Ее скрытые прелести, которые я, будучи верен госпоже моей Дульсинее Тобосской, принужден оставить в покое и обойти молчанием? Одно могу сказать: то ли небо позавидовало блаженству, которое счастливый случай послал мне, а быть может, – даже наверное, – как я уже сказал, мы находимся в очарованном замке, только в то время, как мы в самых нежных выражениях изъяснялись друг другу в любви, невидимая и неизвестно откуда взявшаяся рука некоего чудовищного великана с такой силой ударила меня по челюсти, что у меня все еще полон рот крови, а затем так меня избила, что я сейчас чувствую себя хуже, чем вчера, после того как погонщики нанесли нам памятное тебе оскорбление из-за нескромности Росинантовой. Это наводит меня на мысль, что сокровище красоты этой девушки охраняет какой-нибудь заколдованный мавр и что предназначено оно не мне.

– И не мне, – подхватил Санчо, – меня четыреста с лишним мавров колотили, да так, что после этого дубины погонщиков показались мне пирожками и пряниками. Но скажите мне, сеньор, можно ли назвать этот случай счастливым и редким, коли мы оба не в состоянии пошевелить ни рукой, ни ногой? Вашей милости еще повезло: у вас хоть была в руках несравненная красавица, о чем вы мне только что рассказали. Ну, а я? Я получил столько тумаков, сколько, надеюсь, не получу теперь до самой смерти. Видно, уж я таким несчастным уродился: ведь я не странствующий рыцарь и, надеюсь, никогда им не буду, а почти все шишки валятся на меня!

– Значит, тебя тоже отколотили? – спросил Дон Кихот.

– А разве я вам про это не говорил, нелегкая побери всю мою родню? – в свою очередь, спросил Санчо.

– Не кручинься, друг мой, – молвил Дон Кихот. – Сейчас я приготовлю драгоценный бальзам, и мы с тобой выздоровеем в мгновение ока.

В это самое время стражник, коему удалось наконец зажечь светильник, явился взглянуть на мнимого мертвеца; шел он в одной сорочке, с платком на голове, держа в руках светильник, и при этом с такой злющей рожей, что Санчо невольно спросил своего господина:

– Сеньор! А это часом не заколдованный мавр, – ну как он собирается нас доконать?

– Не может быть, чтобы мавр, – отвечал Дон Кихот, – очарованных видеть нельзя.

– Видеть-то, может, и нельзя, а чувствовать можно, – возразил Санчо. – Об этом вам могут рассказать мои бока.

– Да и мои также, – признался Дон Кихот. – Однако это еще не дает повода думать, что человек, коего мы видим перед собой, – заколдованный мавр.

Стражник подошел ближе и, видя, что они мирно беседуют, замер от удивления. Должно заметить, что Дон Кихот все еще лежал на спине: избитый до полусмерти и облепленный пластырями, он не в силах был пошевелиться. Наконец стражник приблизился к нему и сказал:

– Ну как дела, горемыка?

– Нельзя ли повежливее? – заметил Дон Кихот. – Или, быть может, местные обычаи таковы, что всякий болван имеет право так разговаривать со странствующими рыцарями?

Эти столь непочтительные выражения, исходившие из уст человека, у которого был такой жалкий вид, привели стражника в бешенство: запустив в Дон Кихота светильником со всем его содержимым, он угодил ему прямо в голову и чуть не раскроил череп, а затем, воспользовавшись темнотой, поспешил удалиться.

– Сомнений нет, сеньор, – сказал Санчо Панса, – это заколдованный мавр, и сокровище свое, должно полагать, он бережет для других, а для нас с вами приберегает одни лишь тумаки, а то и светильником засветит.

– Твоя правда, – заметил Дон Кихот, – однако ж обращать внимание на всякие такие чародейства нам не следует, и не следует гневаться и выходить из себя: ведь это все призраки и невидимки, – следственно, мстить некому, как бы мы этого ни желали. Вставай-ка лучше, Санчо, если только это тебе не трудно, да сходи к коменданту крепости и постарайся достать у него немного масла, вина, соли и розмарину, чтобы я мог приготовить целебный бальзам: сказать по совести, он мне теперь совершенно необходим, ибо рана, которую нанес мне этот призрак, сильно кровоточит.

Санчо, превозмогая изрядную боль в костях, поднялся со своего ложа и стал ощупью пробираться к хозяину; наткнувшись на стражника, который в это время подслушивал и силился уяснить себе, куда клонит его недруг, он сказал:

– Кто бы вы ни были, сеньор, сделайте нам такую милость и одолжение, дайте немного розмарину, масла, соли и вина, – все это требуется для лечения одного из лучших странствующих рыцарей, какие только есть на свете, каковой рыцарь лежит сейчас на кровати, раненный заколдованным мавром, который пребывает на вашем постоялом дворе.

Послушав такие речи, стражник заключил, что у этого человека зашел ум за разум; но как начало уже светать, то он отворил дверь и, окликнув хозяина, передал ему просьбу этого чудака. Хозяин наделил Санчо всем, что только ему требовалось, и тот отнес это Дон Кихоту. Дон Кихот же, обхватив руками голову, стонал от боли, хотя отделался он всего лишь двумя основательными шишками, и по лицу у него струился пот, а вовсе не кровь, ибо от пережитых тревог и волнений его и в самом деле прошибла испарина.



Все же он взял снадобья, смешал их, затем стал подогревать эту смесь и снял ее с огня лишь тогда, когда ему показалось, что бальзам готов. Затем он попросил склянку, чтобы перелить в нее бальзам, но на всем постоялом дворе не нашлось ни одной склянки; тогда он решился употребить для этой цели жестянку из-под оливкового масла, каковую хозяин и предоставил ему в безвозмездное пользование, после чего Дон Кихот, при каждом слове творя крестное знамение и как бы благословляя жестянку, прочитал над нею более восьмидесяти раз «Pater noster» и приблизительно столько же раз «Ave Maria», «Salve» и «Credo», при каковой церемонии присутствовали Санчо, хозяин и стражник, – погонщик же как ни в чем не бывало возился в это время со своими мулами. По совершении обряда Дон Кихот, пожелав сей же час испытать на себе целебные свойства этого драгоценного бальзама, выпил почти все, что не вошло в жестянку и оставалось в чугунке, в котором это зелье варилось, то есть приблизительно с пол-асумбры, но стоило ему хлебнуть из чугунка – и его тут же начало рвать, да так, что в желудке у него буквально ничего не осталось; и от истомы и от натуги у него выступила обильная испарина, вследствие чего он попросил укрыть его и оставить одного. Просьба его была исполнена, и он проспал более трех часов, а когда проснулся, то ощутил во

всем теле необычайную легкость, да и боль в костях почти не давала себя знать, так что он почувствовал себя совершенно здоровым и проникся убеждением, что ему и в самом деле удалось приготовить бальзам Фьерабраса и что с этим снадобьем ему уже нечего бояться любых, даже самых опасных, битв, столкновений и схваток.

Чудесное исцеление Дон Кихота поразило его оруженосца, и он попросил позволения осушить чугунок, а там еще оставалось изрядное количество бальзама. Дон Кихот изъявил согласие, тогда Санчо, обеими руками придерживая чугунок, с горячей верой и превеликой охотой припал к нему и влил в себя немногим меньше своего господина. Но желудок у бедняги Санчо оказался не столь нежным, как у Дон Кихота: прежде чем его вырвало, приступы и позывы, испарина и головокружение довели его до такого состояния, что он уже нисколько не сомневался, что пришел его последний час; измученный и удрученный, он проклинал самый бальзам и того злодея, который попотчевал его этим бальзамом. Видя, как он страдает, Дон Кихот сказал:

– Я полагаю, Санчо, что тебе стало худо оттого, что ты не посвящен в рыцари, а я совершенно уверен, что эта жидкость не приносит пользы тем, кто не вступил в рыцарский орден.

– Если ваша милость про это знала, то почему же, будь неладен я сам и вся моя родня, вы позволили мне его попробовать?

Но тут напиток наконец подействовал, и бедный оруженосец столь стремительно стал опорожняться через оба отверстия, что тростниковая циновка, на которую он повалился, и даже одеяло из пакли, которым он укрывался, пришли в совершенную негодность. Его выворачивало наизнанку, он обливался потом, бился в судорогах, так что не только он сам, но и все здесь присутствовавшие решили, что он при смерти. Эта буря и эта невзгода длились около двух часов, по истечении которых нашему оруженосцу легче не стало, – в противоположность своему господину он чувствовал себя таким разбитым и пришибленным, что не мог стоять на ногах; между тем Дон Кихот, как известно, поздоровел и приободрился, и теперь он горел желанием отправиться на поиски приключений, ибо ему казалось, что задержаться в пути – значит лишить человеческий род и всех, кто в нем, Дон Кихоте, нуждается, защиты и покровительства; к тому же он твердо верил в чудотворную силу своего бальзама. Того ради, влекомый этим желанием, он собственноручно оседлал и навьючил обоих верховых животных, помог своему оруженосцу одеться и подсадил его на осла. Затем сел на Росинанта и, отъехав в самый конец двора, прихватил стоявшее там копьецо, которое отныне долженствовало заменять ему копье.

Обитатели постоялого двора, человек двадцать, если не больше, – словом, все, сколько их ни было, смотрели на него, в том числе и хозяйская дочь; он тоже не сводил с нее глаз и по временам так тяжело вздыхал, что казалось, будто вздохи эти вырываются из глубины его души, но все были уверены, что он стонет от боли в боках, – по крайней мере, те, что вчера вечером присутствовали при том, как ему ставили пластыри.

Когда же рыцарь и оруженосец подъехали к крыльцу, Дон Кихот, обратись к хозяину, спокойно и важно молвил:

– Благодеяния, которые вы, сеньор алькайд, в этом замке мне оказали, столь велики и многообразны, что я чувствую себя перед вами в долгу и век этого не забуду. В благодарность я желал бы отомстить за вас какому-нибудь гордецу, который вас чем-либо обидел, ибо знайте, что моя прямая обязанность в том именно и состоит, чтобы помогать беззащитным, мстить за обиженных и карать вероломных. Поройтесь в памяти, и если с вами что-нибудь подобное случилось, то вы смело можете обратиться ко мне: клянусь рыцарским орденом, к коему я принадлежу, что вы будете удовлетворены и вознаграждены согласно вашему желанию.

Хозяин ответил ему столь же невозмутимо:

– Сеньор кавальеро! Я вовсе не нуждаюсь в том, чтобы ваша милость мстила моим обидчикам, я и сам в случае чего сумею им отомстить. Я хочу одного – чтобы ваша милость уплатила мне за ночлег на моем постоялом дворе, то есть за солому и овес для скотины, а также за ужин и за две постели.

– Как, разве это постоялый двор? – спросил Дон Кихот.

– И притом весьма почтенный, – отвечал хозяин.

– Значит, я до сего времени заблуждался, – сказал Дон Кихот. – Откровенно говоря, я думал, что это замок, и к тому же не из последних, но если это не замок, а постоялый двор, то единственно, что я могу сделать, это обратиться к вам с просьбой не брать с меня ничего: ведь я не имею права нарушить устав странствующих рыцарей, а между тем я знаю наверное, – и в доказательство могу сослаться на какой хотите роман, – что на постоялых дворах они никогда не платили ни за ночлег, ни за что-либо еще, ибо все должны и обязаны оказывать им радушный прием за неслыханные муки, которые они терпят, ища приключений, ищут же они их денно и нощно, зимою и летом, в стужу и в зной, пешие и конные, алчущие и жаждущие, не защищенные от стихийных бедствий и изнывающие под бременем земных тягот.

– Это меня не касается, – возразил хозяин. – Платите денежки – вот вам мой сказ, а сказки про рыцарей расскажите кому-нибудь другому. Мое дело получить с вас за постой.

– Вы тупоумный и грубый трактирщик, – заметил Дон Кихот.

Пришпорив Росинанта и положив поперек седла копьецо, он беспрепятственно покинул пределы постоялого двора, и даже когда отъехал на довольно значительное расстояние, то и тут не поглядел, следует ли за ним его оруженосец. Между тем, видя, что рыцарь уехал не расплатившись, хозяин вознамерился получить за постой с Санчо Пансы, но тот объявил, что если его господин не пожелал платить, то и он не заплатит, ибо он, Санчо, является оруженосцем странствующего рыцаря и как таковой обязан придерживаться тех же правил и установлений, что и его господин, то есть ровно ничего не платить как в трактирах, так и на постоялых дворах. Хозяина это взорвало, и он пригрозил, что если Санчо ему не заплатит, то он все равно свое возьмет, но только прибегнет к такому способу, что тот не обрадуется. Санчо ему на это ответил, что, следуя уставу рыцарского ордена, к коему принадлежит его господин, он не заплатит ни гроша, хотя бы это стоило ему жизни, – он-де не намерен ломать славный и древний обычай странствующих рыцарей и не желает, чтобы будущие оруженосцы роптали на него и упрекали в нарушении столь справедливого закона.

К умножению несчастий бедного Санчо, среди тех, кто в это время находился на постоялом дворе, оказались четыре сеговийских суконодела, трое игольщиков из кордовского Потро и двое с севильской Ярмарки, – все, как на подбор, шутники, затейники, озорники и проказники; и вот эти-то самые люди, словно по уговору или по команде, подошли к Санчо, стащили его с осла, повалили на хозяйское одеяло, за которым не поленился сбегать один из них, а затем, подняв глаза и обнаружив, что навес слишком низок для задуманного ими предприятия, решились перейти на скотный двор, коему кровлю заменял небосвод, и там, положив Санчо на одеяло, стали резвиться и подбрасывать его, как собаку во время карнавала.

Истошные вопли злосчастного летуна донеслись до его господина, – тот остановился, прислушался, и сначала подумал, что это какое-нибудь новое приключение, а затем, явственно различив голос своего оруженосца, повернул обратно, грузным галопом подскакал к постоялому двору, но, обнаружив, что ворота заперты, с целью как-нибудь туда проникнуть решился объехать его кругом; однако ж не успел он приблизиться к забору, коим был обнесен скотный двор, кстати сказать, не слишком высокому, как вдруг увидел, что над его оруженосцем измываются. На его глазах Санчо то взлетал, то опускался, и при этом с такой быстротою и легкостью, что если бы гнев, овладевший Дон Кихотом, в это самое мгновение утих, то он, уж верно покатился бы со смеху. Попытался было он перескочить с седла на забор, но он чувствовал себя таким слабым и разбитым, что не мог даже спешиться, а потому

ограничился тем, что, не слезая с коня, принялся осыпать подбрасывавших Санчо Пансу ругательствами и оскорблениями, которые мы не осмеливаемся здесь привести; однако летун Санчо по-прежнему стонал, перемежая стоны мольбами и угрозами, а сорванцы продолжали гоготать и заниматься своим делом, ибо все это на них не действовало, – отпустили же они в конце концов Санчо только тогда, когда устали его подбрасывать. Затем они подвели осла, усадили Санчо и накинули на него пыльник, а сердобольная Мариторнес, видя, как он измучен, рассудила за благо сбегать на колодец и принести ему кувшин холодной воды. Санчо взял кувшин и уже поднес ко рту, как вдруг услышал громкие крики своего господина:

– Сын мой Санчо, не пей воды! Сын мой, не пей воды, – она тебя погубит. Смотри, вот животворный бальзам (тут он показал ему жестянку), прими две капли, и я ручаюсь, что ты поправишься.

Санчо покосился на него и в ответ еще громче крикнул:

– Да разве вы забыли, ваша милость, что я не рыцарь? Или вы хотите, чтобы я выблевал те внутренности, которые у меня еще остались после вчерашней ночи? Пусть им лечатся бесы, а меня увольте.

Произнеся эти слова, он мигом припал к кувшину, но, уверившись после первого же глотка, что это просто вода, не стал больше пить и попросил Мариторнес принести ему вина, что та весьма охотно и исполнила, уплатив за вино из своего кармана, – видно, недаром про нее говорили, будто, несмотря на свое ремесло, какие-то христианские чувства она все же сумела в себе сохранить. Выпив вина, Санчо тотчас же пришпорил осла, настежь распахнул ворота и в восторге от того, что так ничего и не заплатил и все же вырвался отсюда, – хотя эта радость омрачалась тем, что за него расплатились обычные его поручители, то есть его же собственные бока, – выехал со двора. Впрочем, не только бока, – хозяин позаботился о том, чтобы в уплату за ночлег пошла его дорожная сума, но Санчо в расстройстве чувств даже не заметил этого. После того как он уехал, хозяин вознамерился запереть ворота на засов, однако ж мучители нашего оруженосца отговорили его: это были такие удальцы, что не посчитались бы не только с Дон Кихотом, но и с Рыцарем Круглого Стола.



Глава XVIII,

содержащая замечания, коими Санчо Панса поделился со своим господином Дон Кихотом, и повествующая о разных достойных упоминания событиях



Санчо не мог даже подогнать осла, – в таком состоянии он находился, когда подъехал к своему господину. Видя, что он так слаб и пришиблен, Дон Кихот сказал ему:

– Теперь, добрый мой Санчо, я совершенно удостоверился, что этот замок, то есть постоялый двор, действительно очарован. В самом деле, те, что так жестоко над тобой насмеялись, – разве это не привидения и не выходцы с того света? Говорю я это на том основании, что когда я глядел через забор и наблюдал за ходом мрачной твоей трагедии, то не мог не только перескочить через ограду, но даже сойти с коня, оттого что, по всей вероятности, был заколдован. Клянусь честью, будь я в состоянии перескочить через забор или спешиться, я бы за тебя отомстил этим грубиянам и лиходеям, да так, что раз навсегда отбил бы у них охоту издеваться над людьми, хотя бы для этого мне пришлось нарушить законы рыцарства, которые, о чем я уже неоднократно ставил тебя в известность, дозволяют рыцарю поднимать руку на того, кто таковым не является, лишь в случае крайней и острой необходимости, когда посягают на его, рыцаря, жизнь и особу.

– Если б я мог, я бы и сам за себя отомстил, хоть я и не посвящен в рыцари, да то-то и дело, что не мог. А все-таки я стою на том, что те, кто надо мной потешался, – это не бесплотные призраки и не заколдованные, как уверяет ваша милость, а такие же люди, как мы с вами. И у каждого из них есть имя, – они подбрасывали меня, а сами переговаривались, и тут я узнал, что одного зовут Педро Мартинесом, другого – Тенорьо Эрнандесом, а хозяин – Хуан Паломеке, по прозвищу Левша. Так что, государь мой, перескочить через забор и слезть с коня вам помешало не колдовство, а что-то другое. Все это ясно показывает, что приключения, которых мы ищем, в конце концов приведут нас к таким злоключениям, что мы своих не узнаем. И лучше и спокойнее было бы нам, по моему слабому разумению, вернуться домой: теперь самая пора жатвы, самое время заняться хозяйством, а мы с вами скитаемся как неприкаянные и, что называется, кидаемся из огня да в полымя.

– Как плохо ты разбираешься в том, что касается рыцарства, Санчо! – воскликнул Дон Кихот. – Молчи и наберись терпения: придет день, когда ты воочию убедишься, сколь почетно на этом поприще подвизаться. Нет, правда, скажи мне: что может быть выше счастья и что может сравниться с радостью выигрывать сражения и одолевать врага? Разумеется, ничто.

– Положим, что так, хотя я этого на себе не испытывал, – отвечал Санчо. – Я знаю одно: с тех пор, как мы стали странствующими рыцарями, или, вернее, вы, ваша милость, – ведь у меня-то нет никаких прав на столь высокий сан, – мы еще не выиграли ни одного сражения, если не считать сражения с бискайцем, да и то ваша милость потеряла в этом бою пол-уха и половину шлема. Так вот с той поры мы беспрерывно принимаем побои и получаем тумаки, а меня вдобавок еще и подбрасывали – и, как назло, какие-то заколдованные личности: ведь я им даже отомстить не могу и так никогда и не узнаю, велико ль подлинно удовольствие от победы над врагом, как уверяет ваша милость.

– Именно это меня и огорчает, и тебя должно огорчать, Санчо, – заметил Дон Кихот, – однако ж в недалеком будущем я постараюсь добыть себе меч, столь искусно сделанный, что тому, кто им владеет, не страшны никакие чары. А может быть, даже судьба предоставит в мое распоряжение меч Амадиса, тот самый, который служил ему в те времена, когда он именовался Рыцарем Пламенного Меча, а это был один из лучших мечей, какими когда-либо владели рыцари, ибо, помимо указанного свойства, он резал, как бритва, и самая прочная или же заколдованная броня не могла перед ним устоять.

– Мне так везет в жизни, – сказал Санчо, – что если б это сбылось и ваша милость подыскала для себя такой меч, то оказалось бы, что он может сослужить службу и принести пользу только рыцарям, как это случилось с бальзамом, оруженосцам же, видно, на роду написано похмелье в чужом пиру.

– Не унывай, Санчо, – сказал Дон Кихот, – скоро небо сжалится и над тобой.

Оба продолжали беседовать в том же духе, как вдруг Дон Кихот заметил, что навстречу им движется по дороге огромное и густое облако пыли; увидев это облако, Дон Кихот обратился к Санчо с такими словами:

– Настал день, Санчо, когда обнаружится благодеяние, которое намерена оказать мне судьба. В этот день, говорю я, как никогда проявится вся мощь моей длани и я совершу подвиги, которые будут вписаны в книгу славы на вечные времена. Видишь ли ты, Санчо, облако пыли? Так вот, эту пыль поднимает многочисленная и разноплеменная рать, что идет нам навстречу.

– Уж если на то пошло, так не одна, а целых две рати, – возразил Санчо, – потому с противоположной стороны поднимается точно такое же облако пыли.

Оглянувшись, Дон Кихот убедился, что Санчо говорит правду; он чрезвычайно обрадовался и проникся уверенностью, что войска предполагают встретиться и сразиться на этой широкой равнине. Должно заметить, что воображение его всечасно и неотступно преследовали битвы, чары, приключения, всякого рода нелепости, любовные похождения, вызовы на поединок – все, о чем пишут в рыцарских романах, и этим определялись все его поступки, вокруг этого вращались все его помыслы, и на это он сводил все разговоры, тогда как на самом деле пыль, которую он заметил, поднимали два больших стада овец и баранов, двигавшиеся по дороге навстречу друг другу, но за пылью их не было видно до тех пор, пока они не подошли совсем близко. Дон Кихот, однако, с таким жаром доказывал, что это два войска, что Санчо в конце концов поверил ему и сказал:

– Что же нам делать, сеньор?

– Что делать? – переспросил Дон Кихот. – Оказывать помощь и покровительство слабым и беззащитным. Да будет тебе известно, Санчо, что войско, которое движется нам навстречу, ведет великий император Алифанфарон, правитель огромного острова Трапобаны,[148] а тот, что идет за нами, – это его враг, король гарамантов[149] Пентаполин *Засученный Рукав,* названный так потому, что перед боем он всегда обнажает правую руку.

– Почему же эти два сеньора так невзлюбили друг друга? – осведомился Санчо.

– А потому, – отвечал Дон Кихот, – что Алифанфарон, закоренелый язычник, влюбился в дочь Пентаполина, красивую, обворожительную девушку и к тому же христианку, а отец не желает отдавать ее за языческого короля до тех пор, пока тот не отречется от закона лжепророка Магомета и не примет христианства.

– Ей-богу, Пентаполин совершенно прав! – воскликнул Санчо. – Я, со своей стороны, готов сделать для него все, что могу.

– И ты поступишь как должно, Санчо, – сказал Дон Кихот, – для того чтобы вступить в подобного рода бой, можно и не иметь рыцарского звания.

– Это я отлично понимаю, – сказал Санчо, – но только куда бы нам деть осла, чтобы потом не искать его, когда стычка кончится? Потому, думается мне, вряд ли кто вступал в бой, гарцуя на осле.

– Твоя правда, – заметил Дон Кихот. – Единственный выход – это бросить его на произвол судьбы, пропадет так пропадет: ведь если мы выйдем победителями, то у нас будет столько коней, что и Росинант не избежит опасности получить отставку. А теперь слушай меня внимательно и смотри сюда, – я хочу назвать тебе главных рыцарей, которые находятся в рядах этих войск. А дабы ты их получше рассмотрел и приметил, я предлагаю удалиться вон на тот бугорок, и оба войска, уж верно, откроются нашему взору.

Как сказано, так и сделано: Дон Кихот и Санчо въехали на холм, откуда оба стада, которые наш рыцарь преобразил в войска, были бы хорошо видны, когда бы поднятая ими пыль не застилала зрение и не слепила глаза; однако ж Дон Кихот, воображению которого рисовалось то, чего он не видел и чего на самом деле не было, заговорил громким голосом:

– Вон тот рыцарь в ярко-желтых доспехах, на щите которого изображен венценосный лев, распростертый у ног девы, – это доблестный Лауркальк, владелец Серебряного моста. Тот, чьи доспехи разукрашены золотыми цветами и на щите которого по синему полю нарисованы три серебряные короны, – это грозный Микоколемб, великий герцог Киросский. Справа от него, вон тот рыцарь исполинского телосложения, – это неустрашимый Брандабарбаран де Боличе, повелитель трех Аравий; одежды на нем из змеиной кожи, а щитом ему служит дверь, – предание гласит, что это одна из дверей того храма, который разрушил Сампсон, когда он ценою собственной жизни отомстил врагам своим. А теперь оглянись и посмотри в другую сторону: впереди другого войска – всепобеждающий и никем не победимый Тимонель Каркахонский, повелитель Новой Бискайи, в доспехах с синими, зелеными, белыми и желтыми полосками, и на щите у него по желто-бурому полю нарисована золотая кошка, а под ней написано: *Мяу,* – это сокращенное имя его дамы, то есть, если верить слухам, несравненной Мяулины, дочери герцога Алфеньикена Алгарвского. Тот, под тяжестью которого сгибается его ретивый конь, тот, у которого белоснежные доспехи и белый щит без всякого девиза, – это недавно посвященный в рыцари француз по имени Пьер Папен, правитель баронств Утрехтских. Тот, в доспехах, покрытых голубою эмалью, вонзающий железные шпоры в бока полосатой и быстроногой зебры, – это всемогущий герцог Нербийский Эспартафилард дель Боске; на щите у него пучок спаржи и девиз, написанный по-кастильски: *Следи за моей судьбой.*

Так, увлекаемый собственным воображением, отмеченным печатью его доселе невиданного умопомешательства, он продолжал говорить без умолку и перечислять рыцарей обеих воображаемых ратей, тут же сочиняя девизы и прозвища и придумывая для каждого из них особый цвет и особую форму доспехов.

– Войско, которое идет нам навстречу, составляют и образуют многоразличные племена. Здесь можно встретить тех, что пьют сладкие воды прославленного Ксанфа;[150] тех, что попирают массилилийские горные луга;[151] тех, что просеивают тончайшую золотую пыль счастливой Аравии; тех, что блаженствуют на чудесных прохладных берегах светлого Фермодонта;[152] тех, что разными способами достают золотой песок со дна Пактола;[153] изменчивых нумидийцев; персов, славящихся своими луками и стрелами; парфян и мидян, сражающихся на бегу; арабов с их кочевыми шатрами; скифов, славящихся как своею жестокостью, так и белизною кожи; эфиопов с проколотыми губами, и еще я вижу и узнаю бесчисленное множество племен, но только не могу вспомнить их названия. В рядах другого войска находятся те, что утоляют жажду прозрачными струями Бетиса, окаймленного оливковыми рощами; те, что моют и освежают лицо влагою всегда полноводного и золотоносного Тахо; те, что упиваются животворящею водою дивного Хениля; те, что попирают тартесийские долины[154] с их тучными пажитями; те, что веселятся на Елисейских полях Хереса; богатые ламанчцы в венках из золотых колосьев; те, что закованы в латы, –

последние потомки древних готов; те, что купаются в водах Писуэрги, славящейся спокойным своим течением; те, что пасут стада на бескрайних лугах извилистой Гуадианы,[155] славящейся потаенным своим руслом; дрожащие от холода в лесах Пиренеев и осыпаемые снежными хлопьями на вершинах Апеннин, – словом, все племена, которые населяют и наполняют собою Европу.

Господи ты боже мой, какие только страны не назвал Дон Кихот, впитавший в себя все, что он вычитал в лживых романах, и потрясенный этим до глубины души, какие только народы не перечислил, в мгновение ока наделив каждый из них особыми приметами! Санчо Панса слушал Дон Кихота разинув рот, сам же от себя не вставлял ни слова и только время от времени озирался – не видать ли рыцарей и великанов, которых перечислял Дон Кихот, но как он никого из них не обнаружил, то обратился к своему господину с такими словами:

– Сеньор! Верно, черт унес всех ваших великанов и рыцарей, я, по крайней мере, их не вижу: они тоже, поди, заколдованы не хуже вчерашних привидений.

– Как ты можешь так говорить! – воскликнул Дон Кихот. – Разве ты не слышишь ржанья коней, трубного звука и барабанного боя?

– Я слышу только блеянье овец и баранов, – отвечал Санчо.

И точно, оба стада подошли уже совсем близко.

– Страх, овладевший тобою, Санчо, ослепляет и оглушает тебя, – заметил Дон Кихот, – в том-то и заключается действие страха, что он приводит в смятение наши чувства и заставляет нас принимать все предметы не за то, что они есть на самом деле. И вот если ты так напуган, то отъезжай в сторону и оставь меня одного, я и один сумею сделать так, чтобы победа осталась за теми, кому я окажу помощь.

Тут он пришпорил Росинанта и, взяв копье наперевес, с быстротою молнии спустился с холма.

Санчо кричал ему вслед:

– Воротитесь, сеньор Дон Кихот! Клянусь богом, вы нападаете на овец и баранов. Воротитесь! Господи, и зачем только я на свет родился! В уме ли вы, сеньор? Оглянитесь, нет тут никаких великанов, рыцарей, котов, доспехов, щитов, ни разноцветных, ни одноцветных, ни цвета небесной лазури, ни черта тут нет. Да что же он делает? Вот грех тяжкий!

Но Дон Кихот и не думал возвращаться назад, – как раз в это время он громко воскликнул:

– Смелее, рыцари, – вы, что шествуете и сражаетесь под знаменами доблестного императора Пентаполина *Засученный Рукав,* – следуйте за мною, и вы увидите, какую скорую расправу учиню я над его врагом Алифанфароном Трапобанским!

С этими словами он врезался в овечье стадо и столь отважно и столь яростно принялся наносить удары копьем, точно это и впрямь были его смертельные враги. Пастухи пытались остановить его; однако, уверившись, что это ни к чему не ведет, они отвязали свои пращи и принялись услаждать его слух свистом летящих камней величиною с кулак. Но Дон Кихот, не обращая внимания на камни, носился взад и вперед по полю и кричал:

– Где ты, заносчивый Алифанфарон? Выходи на меня. Я – рыцарь, желающий один на один помериться с тобою силами и лишить тебя жизни в наказание за то, что ты чуть было не отнял жизнь у доблестного Пентаполина Гарамантского.

В это самое время голыш угодил ему в бок и вдавил два ребра. Невзвидев света от боли, Дон Кихот вообразил, что он убит или, по меньшей мере, тяжело ранен; но тут он вспомнил про бальзам, схватил жестянку, поднес ее ко рту и стал вливать в себя жидкость; однако ж не успел он принять необходимую, по его мнению, дозу, как другой снаряд, необычайно метко пущенный, угодил ему в руку, пробил жестянку насквозь, мимоходом вышиб ему не то три, не то четыре зуба, в том числе сколько-то коренных, и вдобавок изуродовал два пальца на руке. И таков был первый удар и таков второй, что бедный наш рыцарь слетел с коня. К нему

подбежали пастухи и, решив, что они убили его, с величайшею поспешностью собрали стадо, взвалили себе на плечи убитых овец, каковых оказалось не менее семи, и без дальних размышлений тронулись в путь.

Санчо все это время пребывал на холме и, следя за безумными выходками своего господина, рвал на себе волосы и проклинал тот день и час, когда судьба свела его с ним. Увидев же, что Дон Кихот грянулся оземь, а пастухи удалились, он спустился с холма, приблизился к нему и, удостоверившись, что его отделали здорово, хотя и не до бесчувствия, сказал:

– Не говорил ли я вам, сеньор Дон Кихот, чтобы вы не вступали в бой, а возвращались назад, потому это не войско, а стадо баранов?

– Вот на какие ухищрения и подделки способен этот гнусный волшебник, мой враг. Знай, Санчо, что таким, как он, ничего не стоит ввести нас в обман, и вот этот преследующий меня злодей, позавидовав славе, которую мне предстояло стяжать в бою, превратил вражескую рать в стадо овец. Если же ты все еще сомневаешься, Санчо, то, дабы ты разуверился и признал мою правоту, я очень прошу тебя сделать одну вещь: садись на осла и не торопясь следуй за ними, – ты увидишь, что, отойдя на незначительное расстояние, они вновь примут первоначальный свой вид и из баранов снова превратятся в самых настоящих людей, в тех людей, о которых я тебе рассказывал. Но только ты погоди, – сейчас я нуждаюсь в твоей помощи и поддержке. Подойди поближе и посмотри, сколько мне выбили коренных и передних зубов, – по-моему, у меня ни одного не осталось.

Санчо так близко к нему наклонился, что чуть не влез с головою в рот; но в это самое время начал оказывать свое действие бальзам, и, как раз когда Санчо заглянул к Дон Кихоту в рот, рыцарь наш с быстротою мушкетного выстрела извергнул все, что было у него внутри, прямо на бороду сердобольного оруженосца.

– Пресвятая богородица! – воскликнул Санчо. – Что же это такое? Стало быть, бедняга смертельно ранен, коли его рвет кровью.

Однако, вглядевшись пристальнее, он по цвету, вкусу и запаху догадался, что это не кровь, а бальзам, который Дон Кихот на его глазах пил из жестянки; но тут Санчо почувствовал такое отвращение, что желудок у него вывернуло наизнанку, и он облевал своего собственного господина, так что вид у обоих был теперь хоть куда. Санчо бросился к своему ослу, чтобы достать из сумки что-нибудь такое, чем бы можно было утереться и перевязать Дон Кихота, но, удостоверившись, что сумки нет, пришел в бешенство; он снова разразился проклятиями и мысленно дал себе слово бросить своего господина и возвратиться домой, хотя бы ему пришлось отказаться и от заработанного жалованья, и от мысли когда-нибудь сделаться правителем обещанного острова.

Дон Кихот между тем стал на ноги и, левою рукою придерживая рот, чтобы не вылетели последние зубы, а другою взяв под уздцы Росинанта, который не отходил ни на шаг от своего господина (такой это был верный и благонравный конь), направился к оруженосцу; оруженосец же, поставив локоть на осла и подперев щеку ладонью, пребывал в задумчивости. Видя, что он пригорюнился, Дон Кихот сказал:

– Знай, Санчо, что только тот человек возвышается над другими, кто делает больше других. Бури, которые нам пришлось пережить, – это знак того, что скоро настанет тишина и дела наши пойдут на лад. Горе так же недолговечно, как и радость, следственно, когда полоса невзгод тянется слишком долго, это значит, что радость близка. Итак, да не огорчают тебя случившиеся со мною несчастья, тем более что тебя они не коснулись.

– Как так не коснулись? – воскликнул Санчо. – А тот, кого вчера подбрасывали на одеяле, – кто же он, по-вашему, как не родной сын моего отца? А нынче у меня пропала сумка со всеми драгоценностями, – что же, она чужая, а не моя?

– Как, Санчо, разве у тебя пропала сумка? – спросил Дон Кихот.

– Ну да, пропала, – отвечал Санчо.

– Значит, нам придется сегодня поголодать, – заключил Дон Кихот.

– Пришлось бы, – возразил Санчо, – когда бы на этих лугах не росли травы, которые, как уверяет ваша милость, вам хорошо известны и которые в таких случаях вполне удовлетворяют столь незадачливых странствующих рыцарей, как вы, ваша милость.

– Однако, – заметил Дон Кихот, – я предпочел бы всем травам, которые описывает Диоскорид, хотя бы и с комментариями доктора Лагуны,[156] ломоть хлеба, даже целый каравай, и две сардинки. Как бы то ни было, садись на своего осла, мой добрый Санчо, и следуй за мной, – господь, который всех на свете питает, не оставит и нас, тем более что мы так ревностно ему служим, а ведь он не оставляет и мошек, кружащихся в воздухе, и червей, живущих под землею, и головастиков, плавающих в воде, и, по великому милосердию своему, повелевает солнцу восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных.

– Вашей милости больше подходит быть проповедником, нежели странствующим рыцарем, – заметил Санчо.

– Странствующие рыцари, Санчо, все умели делать и обязаны были уметь, – возразил Дон Кихот. – В былые времена странствующий рыцарь произносил проповедь или речь где-нибудь в стане воинов не хуже любого доктора Парижского университета, отсюда можно вывести заключение, что никогда еще копье не притупляло пера, а перо – копья.

– Ну ладно, пусть будет по-вашему, – сказал Санчо. – А теперь давайте тронемся в путь и поищем ночлега, только дай бог, чтобы там, где мы остановимся, не было ни одеял, ни мастеров по части подбрасывания на одеяле, ни привидений, ни очарованных мавров – словом, всей этой чертовщины, а иначе пропадай все пропадом.

– Помолись об этом богу, сын мой, и веди меня, куда хочешь, – сказал Дон Кихот. – На сей раз я предоставляю выбор ночлега на твое усмотрение. Но только прежде протяни руку и пощупай пальцем, скольких передних и коренных зубов недостает у меня с правой стороны, на верхней челюсти, а то мне тут больно.

Санчо засунул ему пальцы в рот и, пощупав, спросил:

– Сколько бабок было у вашей милости с этой стороны?

– Четыре, – отвечал Дон Кихот, – и, не считая зуба мудрости, все до одного были целые и здоровые.

– Припомните хорошенько, сеньор, – сказал Санчо.

– Говорят тебе, четыре, а то и все пять, – подтвердил Дон Кихот. – За всю жизнь у меня ни разу не было воспаления надкостницы, никогда мне не вырывали ни передних, ни коренных зубов, и сами они не падали и не портились.

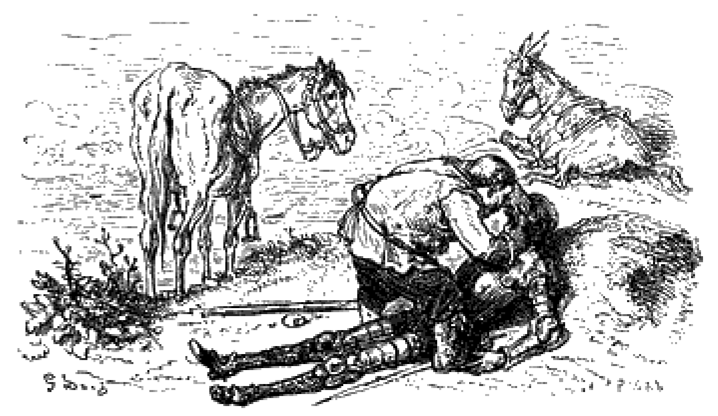
– Ну, а теперь у вас внизу с этой стороны всего две с половиной бабки, – объявил Санчо, – а наверху даже половинки – и той нет: вся верхняя челюсть гладкая, как ладонь.

– Вот беда! – узнав эту печальную новость, воскликнул Дон Кихот. – Лучше бы мне отрубили руку, только не ту, в которой я держу меч. Надобно тебе знать, Санчо, что рот без коренных зубов – это все равно что мельница без жернова, а потому каждый зуб следует беречь пуще алмаза. Впрочем, кто дал суровый обет рыцарства, те должны все невзгоды терпеть безропотно. Итак, садись на осла, друг мой, и указывай путь, а я последую за тобой, куда тебе будет угодно.

Санчо так и сделал и, не сворачивая с большой дороги, которая в этом месте не загибала ни вправо, ни влево, двинулся в ту сторону, где, по его расчетам, можно было бы найти пристанище.

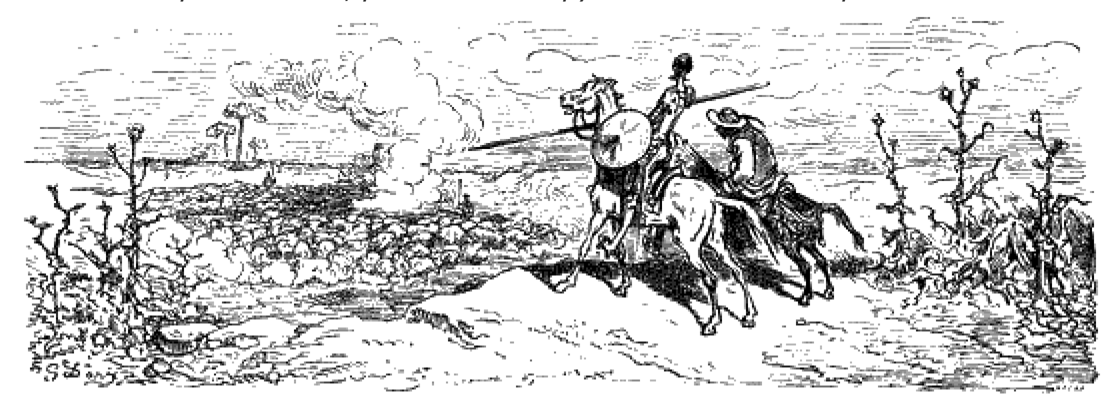
И вот в то время, как оба они еле тащились, оттого что боль в челюстях не давала Дон Кихоту покоя и мешала ему ехать быстрее, Санчо, дабы его господин рассеялся и развлекся,

вздумал повести с ним речь о разных вещах и, между прочим, изрек нечто такое, о чем будет идти речь в следующей главе.



Глава XIX

о глубокомысленных замечаниях, коими Санчо поделился со своим господином, о приключении с мертвым телом, равно как и о других необычайных происшествиях



– Сдается мне, государь мой, что беды, которые сыплются на нас все эти дни, вернее всего посланы вам в наказание за ваши грехи, – за то, что ваша милость нарушила рыцарский устав и не исполнила клятву, а клялись вы обходиться без скатерти, не резвиться с королевой и еще много чего не делать, в чем ваша милость тоже давала клятву, до тех пор пока вы не отнимете у кого-нибудь шлем этого... как его? Маландрина, – я уж позабыл, как зовут того мавра.

– Ты совершенно прав, Санчо, – заметил Дон Кихот. – Откровенно говоря, клятва эта изгладилась из моей памяти. Более того: ты можешь быть уверен, что вся эта история с одеялом произошла единственно потому, что ты вовремя мне про это не напомнил. Но я искуплю свой грех, ибо в уставе рыцарства сказано, как загладить любую вину.

– А разве я тоже в чем-нибудь клялся? – спросил Санчо.

– Это неважно, клялся ты или нет, – сказал Дон Кихот. – Все равно, сколько я понимаю, тебя нетрудно заподозрить в сообщничестве. Так или иначе, нам следует исправить ошибку.

– Коли дело обстоит таким образом, – сказал Санчо, – смотрите, ваша милость, не забудьте ее исправить, как забыли вы свою клятву, а то ну как привидениям взбредет на ум еще раз потешиться надо мной, да и над вашей милостью, если они увидят, что вы такой упорный.

Меж тем как они все еще вели этот разговор, по дороге их застигла ночь, прежде нежели они успели найти или хотя бы заприметить какое-нибудь пристанище; на беду, обоих мучил голод, ибо вместе с дорожной сумой исчезли их съестные припасы. И к довершению всего их

ожидало на сей раз уже не воображаемое, а самое доподлинное приключение. Вот как было дело. Ночь выдалась довольно темная, но, несмотря на это, они продолжали свой путь, ибо Санчо был совершенно уверен, что на больших дорогах постоялые дворы попадаются не реже чем через каждые две мили. Итак, ехали-ехали голодный оруженосец и его господин, который тоже хотел есть, и вдруг заметили, что к ним приближается бесчисленное множество огней, похожих на движущиеся звезды. При виде их Санчо оторопел, а Дон Кихот не поверил собственным глазам; и тот и другой натянули поводья и стали зорко вглядываться, пытаясь уяснить себе, что бы это могло быть; наконец оба увидели, что огни идут прямо на них и по мере своего приближения все увеличиваются в размерах; тут Санчо задрожал как лист, а у Дон Кихота волосы встали дыбом; затем, слегка приободрившись, он сказал:

– Сомнений нет, Санчо: это одно из величайших и опаснейших приключений, и я должен буду напрячь все свои силы и выказать все свое мужество.

– Что я за несчастный! – воскликнул Санчо. – По всему видно, что это опять призраки, а коли так, то где же я возьму ребра, чтобы расплатиться и за это приключение?



– Пусть это даже из призраков призраки, все равно я не позволю им коснуться ворса на твоем платье. Прошлый раз они надругались над тобою единственно потому, что я не в силах был перескочить через забор, но теперь мы в открытом поле, и я могу предоставить моему мечу полную свободу действий.

– А если они его заколдуют и прикуют к месту, как прошлый раз, то какой нам будет прок от того, что мы в открытом поле? – спросил Санчо.

– Во всяком случае, не теряй самообладания, Санчо, прошу тебя, – сказал Дон Кихот, – а я не замедлю показать тебе пример.

– Бог даст, не потеряю, – отозвался Санчо.

Оба отъехали в сторону и стали зорко вглядываться, силясь понять, что собой представляют эти блуждающие огни, и немного погодя им удалось различить множество фигур в белых балахонах; это страшное зрелище так подействовало на Санчо Пансу, что он совершенно потерял самообладание: у него зуб на зуб не попадал, точно его трясла лихорадка. Но как же он задрожал и как застучали у него зубы, когда оба они наконец явственно различили, что это такое! Ибо они увидели до двадцати всадников в балахонах, ехавших с зажженными факелами в руках впереди похоронных дрог, а за дрогами следовали еще шесть всадников в длинном траурном одеянии, ниспадавшем чуть ли не до копыт мулов, – судя по их медленному шагу, это были именно мулы, а не лошади. Балахоны словно переговаривались между собой голосами тихими и жалобными. Необычайное зрелище, явившееся взорам наших путешественников в столь поздний час и в таком пустынном месте, способно было навести страх не только на Санчо, но и на его господина. Дело было за Дон Кихотом, а у Санчо давно уже душа в пятки ушла, но, к сожалению, Дон Кихот испытывал противоположное чувство, ибо в эту самую минуту ему живо представилось одно из тех приключений, которые описываются в его любимых романах.

Он вообразил, что похоронные дроги – это траурная колесница, на которой везут тяжело раненного или же убитого рыцаря, и что отомстить за него суждено не кому-либо, а именно ему, Дон Кихоту; и вот, недолго думая, он выпрямился в седле и, полный отваги и решимости, выехал на середину дороги, по которой неминуемо должны были проехать балахоны, и, как скоро они приблизились, заговорил громким голосом:

– Рыцари вы или не рыцари, – все равно, остановитесь и доложите мне, кто вы такие, откуда и куда путь держите и кого везете вы на этой колеснице. По всем признакам вы являетесь обидчиками или же, наоборот, обиженными, и мне должно и необходимо это знать для того, чтобы наказать вас за совершенное вами злодеяние или же отомстить тем, кто совершил по отношению к вам какую-либо несправедливость.

– Мы торопимся, – отвечал один из балахонов, – а до постоялого двора далеко, и нам недосуг давать столь подробные объяснения.

С этими словами он хлестнул мула и хотел было проехать мимо. Но Дон Кихот, до глубины души оскорбленный таким ответом, схватил мула за узду и сказал:

– Остановитесь, будьте повежливее и отвечайте на мои вопросы, не то я всех вас вызову на бой.

Мул был пугливый, и, когда его схватили за узду, он до того испугался, что взвился на дыбы и сбросил седока наземь. Шедший пешком слуга, видя, что один из балахонов упал с коня, принялся осыпать Дон Кихота бранью; тогда Дон Кихот, и так уже раздраженный, без дальних размышлений взял копьецо наперевес и, ринувшись на одного из облаченных в траур, тяжело ранил его и вышиб из седла; затем он бросился на его спутников, и нужно было видеть, как стремительно он на них нападал и обращал вспять! Казалось, у Росинанта выросли крылья – столь резвый и горделивый скок неожиданно появился у него. Люди в балахонах, народ боязливый и к тому же еще безоружный, мгновенно, не оказав ни малейшего сопротивления, покинули поле битвы и с горящими факелами в руках помчались в разные стороны, так что, глядя на них, можно было подумать, что это ряженые затеяли веселую игру в праздничную ночь. Что же касается облаченных в траур, то они, запутавшись в долгополом своем одеянии, не могли сдвинуться с места, вследствие чего Дон Кихот совершенно безнаказанно и отколотил их всех до единого, и они волей-неволей принуждены были отступить в полной уверенности, что это не человек, а сам дьявол, явившийся из преисподней, дабы похитить у них мертвое тело, лежавшее на дрогах.

Санчо смотрел на все это и, дивясь смелости своего господина, говорил себе: «Стало быть, мой господин и на деле так же храбр и силен, как на словах». Рядом с тем, которого сбросил мул, валялся пылающий факел, и, увидев его при свете этого факела, Дон Кихот подъехал к

нему, приблизил острие копья к его лицу и велел сдаваться, пригрозив в противном случае умертвить его. Поверженный ему на это сказал:

– Куда ж мне еще больше сдаваться, коли я не могу сдвинуться с места: ведь у меня сломана нога! Умоляю вас, ваша милость: если только вы христианин, то не убивайте меня, ибо это будет величайшее святотатство, – ведь я лиценциат, меня рукоположили.

– Коль скоро вы духовная особа, то какой же черт вас сюда занес? – спросил Дон Кихот.

– Что меня сюда занесло, сеньор? – переспросил поверженный. – Мой горький жребий.

– Он станет еще горше, – возразил Дон Кихот, – если вы не дадите мне удовлетворительных объяснений, коих я у вас с самого начала потребовал.

– Сейчас я вам все объясню, – сказал лиценциат. – Итак, да будет известно вашей милости, что хотя я сперва сказал, что я лиценциат, но на самом деле я всего только бакалавр, а зовут меня Алонсо Лопес; родом я из Алькобендаса; еду из города Баэсы, вместе с одиннадцатью священнослужителями – теми самыми, что бежали с факелами в руках; едем же мы в город Сеговию: мы сопровождаем мертвое тело, лежащее на этих дрогах, – тело некоего кавальеро, который умер в Баэсе и там же был похоронен, а теперь, как я уже сказал, мы перевозим его останки в Сеговию, откуда он родом и где находится его фамильный склеп.

– А кто его умертвил? – спросил Дон Кихот.

– Господь бог при помощи гнилой горячки, которая его и доконала, – отвечал бакалавр.

– Значит, господь избавил меня от обязанности мстить за его смерть, – заключил Дон Кихот, – обязанности, которую я вынужден был бы принять на себя, в случае если б его убили. Но коли он умер именно так, как вы рассказываете, то мне остается лишь молча развести руками, ибо если бы мне самому была послана такая смерть, то я поступил бы точно так же. Надобно вам знать, ваше преподобие, что я рыцарь Ламанчский, а зовут меня Дон Кихот, и мой образ действий заключается в том, что я странствую по свету, выпрямляя кривду и заступаясь за обиженных.

– Какой у вас образ действий и как вы там выпрямляете кривду – это мне неизвестно, – возразил бакалавр, – а меня вы самым настоящим образом искалечили, ибо из-за вас я сломал ногу и теперь мне ее не выпрямить до конца моих дней. Заступаясь же за обиженных, вы меня так изобидели, что обиду эту я буду помнить всю жизнь, и потому встреча с искателем приключений явилась для меня истинным злоключением.

– Раз на раз не приходится, – заметил Дон Кихот. – Вся беда в том, сеньор бакалавр Алонсо Лопес, что вы ехали ночью, в траурном облачении, с зажженными факелами, и что-то бормотали, – ну прямо выходцы с того света, – невольно подумаешь, что тут дело нечисто. Разумеется, я не мог не исполнить своего долга и напал на вас, и я напал бы на вас, даже если бы знал наверное, что вы бесы из преисподней, за каковых я и принимал вас до последней минуты.

– Видно, уж такая моя судьба, – рассудил бакалавр. – Но раз уж вы, сеньор странствующий рыцарь, обошлись со мной отнюдь не по-рыцарски, то, по крайней мере, помогите мне, умоляю вас, выкарабкаться из-под мула: ведь у меня нога застряла между стременем и седлом.

– Вот тебе на! – воскликнул Дон Кихот. – Что же вы мне раньше не сказали?

Он сейчас же позвал Санчо Пансу, но тот и ухом не повел: его внимание было поглощено разгрузкой обозного мула, которого эти добрые люди основательно навьючили съестными припасами. Санчо сделал из своего пыльника мешок, напихал в него все, что только могло туда войти, навьючил своего осла и только после этого, явившись на зов Дон Кихота, помог сеньору бакалавру выбраться из-под мула и сесть на него верхом, а затем вложил ему в руку факел. Дон Кихот посоветовал бакалавру отправиться вслед за его спутниками и попросил принести

им от его имени извинения за то зло, которое он им сделал по не зависящим от него причинам, а Санчо к этому еще прибавил:

– В случае, если эти сеньоры пожелают узнать, кто таков этот удалец, который нагнал на них такого страху, то скажите, ваша милость, что это Дон Кихот Ламанчский, по прозванию *Рыцарь Печального Образа.*

Когда же бакалавр удалился, Дон Кихот спросил Санчо, что ему вздумалось вдруг, ни с того ни с сего, назвать его *Рыцарем Печального Образа.*

– Сейчас вам скажу, – отвечал Санчо. – Потому я вам дал это название, что когда я взглянул на вас при свете факела, который увез с собой этот горемыка, то у вас был такой жалкий вид, какого я что-то ни у кого не замечал. Верно, вас утомило сражение, а может, это оттого, что вам выбили коренные и передние зубы.

– Не в этом дело, – возразил Дон Кихот. – По-видимому, тот ученый муж, коему вменено в обязанность написать историю моих деяний, почел за нужное, чтобы я выбрал себе какое-нибудь прозвище, ибо так поступали все прежние рыцари: один именовался *Рыцарем Пламенного Меча,* другой – *Рыцарем Единорога,* кто – *Рыцарем Дев,* кто – *Рыцарем Птицы Феникс,* кто – *Рыцарем Грифа,* кто – *Рыцарем Смерти,* и под этими именами и прозвищами они и пользуются известностью во всем подлунном мире. Вот я и думаю, что именно он, этот ученый муж, внушил тебе мысль как-нибудь меня назвать и подсказал самое название: *Рыцарь Печального Образа,* и так я и буду именоваться впредь. А для того, чтобы это прозвище ко мне привилось, я при первом удобном случае велю нарисовать на моем щите какое-нибудь весьма печальное лицо.

– Незачем тратить время и деньги на то, чтобы вам рисовали какие-то лица, – возразил Санчо. – Вам стоит лишь поднять забрало и выставить на поглядение собственное свое лицо, и тогда безо всяких разговоров и безо всяких изображений на щите каждый назовет вас *Рыцарем Печального Образа.* Поверьте, что я не ошибаюсь. Честное слово, сеньор, – не в обиду вам будь сказано, ваша милость, – от голода и отсутствия коренных зубов вы так подурнели, что, повторяю, вы смело можете обойтись без грустного рисунка.

Шутка Санчо насмешила Дон Кихота; и все же он не отказался ни от прозвища, ни от придуманного им самим рисунка.

– По всей вероятности, Санчо, – снова заговорил он, – меня уже отлучили от церкви за то, что я поднял руку на ее служителя, – *juxta illud, si quis suadente diabolo...*[157] и так далее, хотя, в сущности говоря, я поднял не руку, а вот это самое копьецо. К тому же я и не подозревал, что нападаю на священнослужителей и духовных особ, которых я, как ревностный христианин и католик, чту и уважаю, – мне казалось, что это какие-то чудовища, выходцы с того света. Но пусть даже меня и отлучили: сколько я помню, Сид Руй Диас сломал стул[158] королевского посланника в присутствии его святейшества папы, и тот отлучил его за это, и все же славный Родриго де Вивар поступил тогда, как подобает благородному и смелому рыцарю.

Бакалавр, как уже было сказано, молча удалился. Дон Кихот пожелал удостовериться, что именно лежит на дрогах: мертвое тело или же что-нибудь еще. Санчо, однако ж, воспротивился.

– Сеньор! – сказал он. – Это опасное приключение окончилось для вашей милости благополучнее, нежели все прочие, коих я был свидетелем, но может статься, что люди, которых вы победили и рассеяли, сообразят, что победили их вы один, и, раздосадованные и устыженные, спохватятся, снова пожалуют сюда и зададут нам жару. Осел навьючен как должно, гора неподалеку, голод не тетка, а потому давайте-ка бодрым шагом вперед, – мертвому, как говорится, место в гробу, а живому подле каравая.

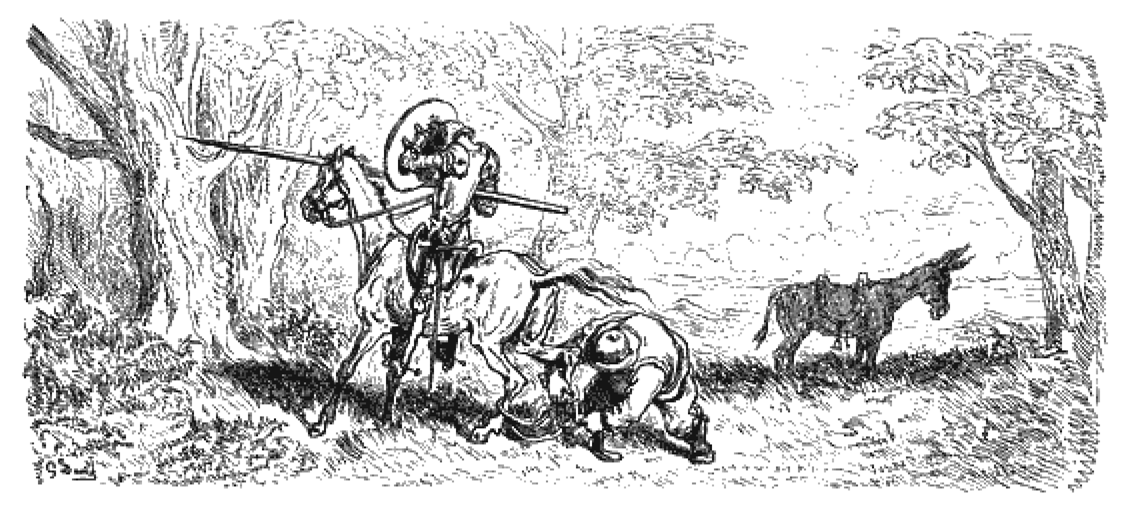
Взяв осла под уздцы, он предложил своему господину следовать за ним, и тот, признав его правоту, без всяких возражений за ним последовал. Некоторое время дорога шла между

двумя холмами; вскоре, однако ж, увидев перед собой широкую и укромную долину, они остановились, и Санчо тут же разгрузил осла, а как у обоих текли слюнки от голода, то, растянувшись на зеленой траве, они устроили себе завтрак, обед и ужин зараз и набили желудки изрядным количеством холодных закусок – тех самых закусок, что составляли ношу обозного мула господ священников, которые, как известно, редко когда не позаботятся о себе. Но тут их снова постигло несчастье, а именно: у них не оказалось ни вина, ни воды, так что им нечем было промочить горло; тогда изнывавший от жажды Санчо, заметив, что долина густо заросла мелкой зеленой травкой, обратился к Дон Кихоту со словами, которые будут приведены в следующей главе.



Глава XX

о доселе невиданном и неслыханном подвиге, какого ни один славный рыцарь на свете не совершал с меньшею для себя опасностью, чем доблестный Дон Кихот Ламанчский



– Эта трава, государь мой, указывает не на что иное, как на то, что где-нибудь поблизости протекает источник или же ручей, питающий ее своею влагой, а потому нам следовало бы пройти чуть подальше: уж верно, мы найдем, где утолить страшную жажду, а ведь жажда доставляет куда больше мучений, нежели голод.

Дон Кихот послушался его совета; он взял под уздцы Росинанта, Санчо взял под уздцы осла, предварительно нагрузив его остатками ужина, и оба побрели наугад, ибо ночная тьма мешала им различать предметы; но не прошли они и двухсот шагов, как вдруг послышался сильный шум воды, как бы низвергавшейся с высоких и отвесных скал. Обрадовались они чрезвычайно; когда же они остановились, чтобы определить, с какой стороны этот шум долетает, то их слуха внезапно достигли странные звуки, и звуки эти сразу расхолодили

спутников, возмечтавших было о холодной воде, особливо Санчо, по природе своей боязливого и малодушного. И точно: слышались какие-то мерные удары и как будто бы лязг цепей и железа, сливавшийся с яростным шумом воды, однако все это могло навеять ужас на кого угодно, только не на Дон Кихота. Ночь, как уже было сказано, выдалась темная, а им в это время случилось проходить под деревьями, которых листья, легким ветерком колеблемые, зловеще и тихо шумели. Словом, пустынная местность, мрак, шум воды, шелест листьев – все невольно повергало в страх и трепет, тем более что удары не прекращались, ветер не утихал, а утро не наступало; к умножению же их несчастий оба не имели ни малейшего представления о том, где они находятся. Однако Дон Кихот, в груди которого билось сердце неустрашимое, вскочил на Росинанта, схватил щит и, положив копьецо поперек седла, молвил:

– Друг Санчо! Да будет тебе известно, что я по воле небес родился в наш железный век, дабы воскресить золотой. Я тот, кому в удел назначены опасности, великие деяния, смелые подвиги. Еще раз повторяю: я тот, кто призван воскресить Рыцарей Круглого Стола, Двенадцать Пэров Франции, Девять Мужей Славы, затмить Платиров, Таблантов, Оливантов, Тирантов, Фебов, Бельянисов и весь сонм славных странствующих рыцарей былых времен, ибо в том веке, в котором суждено жить мне, я совершу столь великие и необыкновенные подвиги, перед коими померкнет все самое блистательное, что было совершено ими. Обрати внимание, верный и преданный мой оруженосец, как мрачна эта ночь, какая необычайная царит тишина, как глухо и невнятно шумят деревья, с каким ужасающим ревом вода, на поиски которой мы устремились, падает и низвергается точно с исполинских гор, как режут и терзают наш слух беспрерывные эти удары. Все эти явления, и вместе и порознь, способны вселить боязнь, страх и ужас в сердце самого Марса, а тем паче в сердце того, кто не привык к подобным опасностям и приключениям. Ну, а я не таков: все, что я тебе живописал, лишь укрепляет и бодрит мой дух, – у меня даже сердце готово выпрыгнуть из груди, так страстно жажду я этого приключения, какие бы трудности оно ни представляло. Итак, подтяни подпругу на Росинанте, оставайся с богом и жди меня здесь не более трех дней, и если я за это время не возвращусь, то возвращайся в нашу деревню, а затем, покорнейше тебя прошу, сходи в Тобосо и скажи несравненной моей госпоже Дульсинее, что преданный ей рыцарь пожертвовал жизнью ради того, чтобы совершить подвиг, которым он снискал бы ее любовь.

При этих словах Санчо Панса заплакал горькими слезами.

– Сеньор! – сказал он. – Я не могу взять в толк, зачем понадобилось вам это ужасное приключение. Сейчас ночь, никто нас здесь не видит, мы смело можем свернуть с дороги и таким образом избежим опасности, хотя бы для этого нам пришлось три дня подряд терпеть жажду. И коли никто нас не видит, то и некому, стало быть, упрекнуть нас в трусости, а я сам сколько раз слыхал, как наш деревенский священник, которого ваша милость великолепно знает, говорил с амвона: кто ищет опасности, тот от лица ее и погибнет. Так вот, не должно испытывать долготерпение господне столь нечестивыми делами: ведь от расплаты за них вас может избавить только чудо. Небо и так много для вас сделало: оно спасло вашу милость от подбрасывания на одеяле, коего не суждено было избежать мне, и оно же помогло вам одолеть стольких врагов, что сопровождали покойника, выйти из боя свободным и невредимым. Если же все это не трогает и не смягчает ваше каменное сердце, то пусть оно смягчится при мысли о том, что не успеет ваша милость удалиться отсюда, как я от страха отдам свою душу первому, кто пожелает ее взять. Я покинул родные края и ушел от жены и детей, чтобы служить вам, – я полагал, что останусь скорей в барышах, нежели внакладе. Однако жадность, от которой, как известно, глаза разбегаются, погубила все мои надежды, и точно: как раз, когда во мне особенно сильна была надежда завладеть этим окаянным и злополучным островом, который ваша милость мне обещала, вы взамен и в счет долга решаетесь расстаться со мной в таком месте, где я живой души не встречу. Ради самого Христа, государь мой, не чините мне столь горькой обиды, а уж если вы во что бы то ни стало намерены совершить этот подвиг, то отложите его, по крайней мере, до утра, и вот почему: наука, которую я изучил в бытность

мою пастухом, говорит мне, что до рассвета остается не больше трех часов, ибо пасть Малой Медведицы над самой нашей головой и линия ее левой лапы показывает, что сейчас полночь.

– Где ты видишь, Санчо, эту свою линию, пасть и затылок? – спросил Дон Кихот. – Ночь темна, на небе ни одна звездочка не проглянет.

– Так-то оно так, – отвечал Санчо, – да у страха глаза велики, и они видят все, что творится под землей, а уж про небо и говорить нечего. Впрочем, по зрелом размышлении, и без того нетрудно догадаться, что скоро утро.

– Скоро или не скоро, – заметил Дон Кихот, – а обо мне ни сейчас, ни когда-либо еще никто не скажет, что слезами и просьбами меня можно удержать от того, к чему обязывают правила рыцарского поведения. А потому, Санчо, пожалуйста, помолчи, ибо господь, ныне исполнивший мое сердце жаждой этого невиданного и ужасного приключения, позаботится о моем здоровье и утешит тебя в твоем горе. Твое дело как можно лучше подтянуть подпругу на Росинанте и ждать меня, а я скоро возвращусь живой или мертвый.

Санчо, видя, что Дон Кихот непреклонен и что слезы, советы и мольбы на него не действуют, решился пуститься на хитрости и попытаться задержать его до утра; того ради, подтягивая подпругу, он ловко и незаметно спутал задние ноги Росинанта недоуздком своего осла, так что когда Дон Кихот пожелал тронуться в путь, то это ему не удалось, оттого что конь мог делать теперь только скачки. Санчо Панса, удостоверившись, что его затея увенчалась полным успехом, сказал:

– Глядите, сеньор: небо, растроганное моими слезами и молитвами, велело Росинанту не двигаться. Упорствовать же, вонзать ему шпоры в бока, и то и се, и пятое и десятое значит навлекать на себя гнев судьбы и, как говорится, прошибать лбом стену.

Дон Кихот приходил в отчаяние: как ни пришпоривал он коня, тот все не двигался; наконец, так и не догадавшись, что Росинант стреножен, он рассудил за благо примириться со своей участью и подождать, пока рассветет или пока у Росинанта вновь появится способность передвигаться, – разумеется, он был далек от мысли, что тут замешан Санчо, а потому повел с ним такую речь:

– Послушай, Санчо: если уж Росинант не может двигаться, то я согласен ждать, пока не улыбнется заря, хотя я и плачу, оттого что она медлит.

– Плакать не стоит, – возразил Санчо. – Уж я сумею развлечь вашу милость: буду хоть до утра рассказывать сказки, если только вам не угодно спешиться и по обычаю странствующих рыцарей немножко поспать на зеленой травке, а потом, когда настанет день и час ожидающего вашу милость бесподобного приключения, встать со свежими силами.

– Кого призываешь ты спешиться и соснуть? – воскликнул Дон Кихот. – Или я, по-твоему, принадлежу к числу рыцарей, которые в минуту опасности наслаждаются отдыхом? Спи сам, коли ты родился для того, чтобы спать, – словом, поступай, как знаешь, а я поступлю сообразно с моими намерениями.

– Не сердитесь, государь мой, – сказал Санчо, – ведь это я так, спроста.

И тут он подошел к Дон Кихоту и, положив одну руку на переднюю луку седла, а другую – на заднюю, прижался к его левому бедру, с тем чтобы уже не отходить от него ни на шаг, – так боялся он этих мерных ударов, которые все еще раздавались. Дон Кихот напомнил Санчо его обещание и попросил для препровождения времени рассказать какую-нибудь сказку, на что Санчо ответил, что он, конечно, рассказал бы, если б его не пугали эти звуки.

– Впрочем, я попытаюсь рассказать вам одну историю, и если только мне удастся ее досказать и никто меня с толку не собьет, то вы увидите, что это лучшая изо всех историй на свете. Итак, слушайте меня со вниманием, ваша милость, а то я сейчас начинаю. Было так, как оно было, хорошего пожелаем всем, а худого – тому, кто сам его ищет... Заметьте, ваша милость, что древние начинали свои сказки не как им бог на душу положит, а неукоснительно

с изречения этого, как бишь его, це... це... *цензаря* Катона римского, то есть: «А худое – для того, кто сам его ищет», и это он словно про нас с вами сказал, государь мой, дабы ваша милость сидела смирно и не искала худа и дабы мы вернулись обратно другой дорогой: ведь никто нас не заставляет ехать по этой, где на нас отовсюду лезут всякие страхи.

– Рассказывай дальше, Санчо, – сказал Дон Кихот, – а уж выбирать дорогу предоставь мне.

– Ну так вот, – продолжал Санчо, – в одном эстремадурском селении жил-был козий пастух, – то есть, я хочу сказать, тот, что пасет коз, – которого пастуха, или же козопаса, звали, сказывают, Лопе Руис, и вот этот Лопе Руис полюбил пастушку по имени Торральба, которая пастушка по имени Торральба была дочь богатого скотовода, а этот богатый скотовод...

– Если ты и дальше будешь так рассказывать свою сказку, Санчо, – прервал его Дон Кихот, – и повторять по два раза каждое слово, то ты и через два дня не кончишь. Рассказывай по порядку, как подобает человеку здравомыслящему, а не то так молчи.

– В нашем краю все так рассказывают сказки, – возразил Санчо, – а иначе я не умею, и пусть ваша милость не требует, чтобы я вводил новые правила.

– Рассказывай, как знаешь, – сказал Дон Кихот. – Коли судьбе не угодно было сделать так, чтобы я мог тебя не слушать, то продолжай.



– И вот, любезный мой господин, – продолжал Санчо, – этот самый пастух, изволите ли видеть, полюбил пастушку Торральбу, а была она девка здоровая, своевольная и слегка смахивала на мужчину, потому у нее росли усики, – я ее как сейчас вижу.

– Разве ты ее знал? – спросил Дон Кихот.

– Нет, не знал, – отвечал Санчо, – но тот, кто мне рассказывал эту историю, уверял, что все это истинная правда и что если мне доведется рассказывать ее кому-нибудь другому, то я могу клясться и божиться, что все видел собственными глазами. Так вот, долго ли, коротко ли, дьявол, который, как известно, не дремлет и всех и вся баламутит, устроил так, что любовь пастуха к пастушке сменилась неприязнью и злобой. А дело состояло в том, что, как говорили злые языки, она беспрестанно возбуждала в нем ревность, выходя при этом из границ и преступая пределы дозволенного. И вышло так, что пастух с той поры возненавидел ее и, дескать – с глаз долой, надумал покинуть родные края и уйти на чужбину, чтобы она больше не попадалась ему на глаза. Торральба же никогда его прежде не любила, а тут, стоило ей заметить, что Лопе ее презирает, возьми да и влюбись в него.

– Таковы все женщины, – заметил Дон Кихот. – Отличительное свойство их натуры – презирать тех, кто их любит, и любить тех, кто их презирает. Продолжай, Санчо.

– Случилось так, – снова заговорил Санчо, – что пастух привел замысел свой в исполнение и погнал коз по полям Эстремадуры в сторону королевства Португальского. Торральба, узнав про то, отправилась вслед за ним: не выпуская его из виду, она шла пешком, босая, с посохом в руке и с котомкой за плечами, а в котомку она будто бы положила вместе с осколком зеркала и обломком гребня баночку с мазью для лица, право, не знаю, с какой, да что бы она там ни положила – не стану же я теперь справляться! Одно я знаю наверное, что пастух со своим стадом подошел, сказывают, к реке Гуадиане, а в ту пору было половодье и вода почти что вышла из берегов, и на этой стороне не оказалось ни лодки, ни плота, ни людей, которые могли бы перевезти стадо и его самого на тот берег, и тут он впал в отчаяние: он видел, что Торральба уже совсем близко и вот сейчас начнет докучать ему своими слезами и просьбами. Между тем, оглядевшись по сторонам, заприметил он рыбака подле лодки, такой маленькой, что поместиться в ней могли только один человек и одна коза. Все же он окликнул рыбака и уговорился, что тот переправит и его самого, и все его триста коз. Сел рыбак в лодку и перевез одну козу, вернулся и перевез другую, потом опять вернулся и перевез третью. Ведите счет, ваша милость, тем козам, которых переправляет рыбак, потому если только вы на одну ошибетесь, то и сказке моей конец, и мне уже нельзя будет прибавить к ней ни единого слова. Так вот, стало быть, тот берег был глинистый, скользкий, и из-за этого пастух тратил много времени на переправу. Как бы то ни было, он вернулся еще за одной козой, потом еще за одной, потом еще за одной.

– Считай, что он уже перевез всех, – сказал Дон Кихот, – и перестань сновать по реке, иначе ты их и за год не перевезешь.

– Сколько он их до сего времени переправил? – спросил Санчо.

– А черт его знает! – отвечал Дон Кихот.

– Говорил я вам: хорошенько ведите счет. Вот и кончилась моя сказка, – рассказывать дальше нельзя, клянусь богом.

– Как же это? – воскликнул Дон Кихот. – Неужели так важно знать, сколько именно коз перевезено на тот берег, и если хоть раз сбиться со счета, то ты уже не сможешь рассказывать дальше свою историю?

– Нет, сеньор, никак не могу, – отвечал Санчо. – Потому, когда я спросил вашу милость, сколько коз было перевезено, а вы мне ответили, что не знаете, в ту же минуту у меня вылетело из головы все, что я должен был досказать, а ведь история моя, право, занятная и поучительная.

– Итак, – сказал Дон Кихот, – история твоя кончилась?

– Скончалась, как все равно моя покойная мать.

– Ну уж и рассказал ты мне то ли сказку, то ли повесть, то ли историю, – заметил Дон Кихот. – По правде говоря, это ровно ни на что не похоже, и никто никогда не слыхал и не услышит впредь, чтобы так начинали и прерывали свой рассказ. Впрочем, ничего другого я и не мог ожидать от твоего светлого ума, и меня это не удивляет: видимо, рассудок твой помутился, оттого что все еще не прекращаются эти удары.

– Очень может быть, – сказал Санчо. – Я знаю одно: к рассказу моему ничего нельзя прибавить, – он кончается там, где начинается ошибка при подсчете перевезенных коз.

– Ну и пусть себе кончается на здоровье, – сказал Дон Кихот. – А теперь давай посмотрим, способен ли Росинант сдвинуться с места.

Тут он снова пришпорил его, но Росинант снова заскакал на одном месте – так крепко у него были спутаны ноги.

Между тем то ли предрассветный холодок подействовал на Санчо, то ли за ужином попалось ему нечто послабляющее, а быть может, просто-напросто пришло ему время, – что, впрочем, всего вероятнее, – только у него явились охота и желание сделать нечто такое, чего никто другой за него сделать не мог. Однако ему было до того страшно, что он не решался хотя бы на четверть шага отойти от своего господина, а чтобы не удовлетворить своей потребности – об этом не могло быть и речи. Тогда он не нашел ничего лучшего, как отнять правую руку от задней луки седла и незаметно и бесшумно развязать шнурок, а на нем одном только и держались его штаны, и вот, едва он справился со шнурком, как штаны немедленно соскочили и, точно кандалы, сковали ему ноги; засим он с превеликою осторожностью поднял рубашку и выставил обе свои, довольно обширные, ягодицы. Когда же он все это проделал, – а ему казалось, что в его затруднительном и бедственном положении ничего иного и нельзя было сделать, – то очутился в положении, еще более затруднительном, а именно: он пришел к мысли, что без шума и треска ему не облегчиться, и вот с этою мыслью он стиснул зубы и втянул голову в плечи, всеми силами стараясь затаить дыхание; но ему явно не повезло, и, несмотря на все эти ухищрения, в конце концов он все же издал не слишком громкий звук, резко, однако же, отличавшийся от тех, что нагнали на него такого страху. Услышав это, Дон Кихот спросил:

– Что это за звук, Санчо?

– Не знаю, сеньор, – отвечал тот. – Уж верно, что-нибудь новое: эти приключения да злоключения как пойдут одно за другим, так только держись.

Тут он снова попытал счастье – и на сей раз так удачно, что уже без всякого шума и треволнений освободился наконец от тяжести, которая доставила ему столько хлопот. Однако обоняние у Дон Кихота было не менее острое, чем слух; притом же Санчо стоял совсем рядом, точно пришитый к своему господину, а потому Дон Кихот и не мог избежать того, чтобы испарения, почти по прямой линии поднимавшиеся кверху, хотя бы частично не достигли его ноздрей; и как скоро это случилось, он прибегнул к самозащите и зажал нос, а затем, слегка гнусавя, сказал:

– Мне кажется, Санчо, ты очень напуган.

– Да, очень, – признался Санчо. – А почему ваша милость только сейчас это заметила?

– Потому что от тебя никогда так не пахло, как сейчас, и притом отнюдь не амброй, – отвечал Дон Кихот.

– Очень может быть, – сказал Санчо, – но виноват в этом не я, а ваша милость: вольно же было вам таскать меня за собой в неурочное время, да еще по нехоженым тропам.

– Отойди-ка, дружок, шага на три, на четыре, – все еще зажимая нос, сказал Дон Кихот, – впредь следи за собой и относись к моей особе с должным уважением. Я с тобой на чересчур короткой ноге, вот ты и стал слишком много себе позволять.

– Бьюсь об заклад, – заметил Санчо, – что ваша милость думает, будто я сделал... нечто неподобающее.

– Лихо пусть себе лежит тихо, друг Санчо, – возразил Дон Кихот.

В таких и тому подобных разговорах прошла у них ночь. Наконец, видя, что до утра осталось недолго, Санчо тихонько распутал Росинанта и завязал штаны. Росинант обыкновенно не отличался особой ретивостью, но тут, почуяв свободу, он приободрился, а как, не в обиду ему будь сказано, курбетов он делать не умел, то ограничился тем, что стал перебирать ногами. Дон Кихот же, глядя на Росинанта, подумал, что это добрый знак – знак того, что пора вступить в жестокий бой. Заря между тем занималась, и окрестные предметы стали явственно различимы, и тут Дон Кихот увидел, что находится он под высокими деревьями, что это каштаны и что они отбрасывают густую тень. Еще он заметил, что удары не прекращаются, но не мог понять, в чем тут дело, а потому, нимало не медля, пришпорил Росинанта и, снова попрощавшись с Санчо, подтвердил свой приказ ждать его самое большее три дня; если же

он, мол, к этому времени не вернется, значит, богу было угодно, чтобы он скончал свои дни в этом опасном бою. Затем он еще раз повторил то, что Санчо надлежало передать и сказать от его имени сеньоре Дульсинее; что же касается вознаграждения за услуги, то пусть, мол, Санчо не беспокоится, ибо он, Дон Кихот, перед тем как выехать из села, составил завещание, предусматривающее выплату ему жалованья за все время, которое он у него прослужил; если же господь поможет ему выйти из опасного боя здравым, целым и невредимым, то Санчо может считать, что обещанный остров у него в руках. Вновь услышав жалостные речи доброго своего господина, Санчо опять всплакнул и решился не покидать его до конца и исхода дела.

Слезы Санчо Пансы и его в высшей степени благородное намерение приводят автора этой истории к мысли, что он, видимо, человек не простой, – во всяком случае, чистокровный христианин. Сочувствие оруженосца растрогало его господина, однако ж не до такой степени, чтобы он поддался слабости, – напротив, он и виду не показал, что расчувствовался, и тотчас же двинулся в том направлении, откуда, как ему казалось, долетал шум воды и удары. Санчо следовал за ним пешком, по обыкновению ведя в поводу верного своего спутника – осла, делившего с ним и горе и радость. Сначала путь их лежал под каштанами и другими тенистыми деревьями, а затем они очутились на лужайке, у подошвы высоких скал, с коих прядали бурные и мощные потоки. У подошвы скал лепились ветхие лачуги, более похожие на развалины, нежели на дома, откуда, по-видимому, и доносился этот все не прекращавшийся стук и грохот. Шум воды и удары напугали Росинанта, но Дон Кихот успокоил его и стал медленно приближаться к домам, всецело отдаваясь под покровительство госпожи своей Дульсинеи и прося ее подать ему силы для сего страшного похода и предприятия, а заодно моля господа бога, чтобы он не оставил его. Санчо шел прямо за своим господином; он вытягивал шею и напрягал зрение, не покажется ли между ног Росинанта то, что приводило его в такое изумление и ужас. Затем они еще шагов на сто продвинулись, и вот тут-то, обогнув выступ скалы, они и обнаружили и улицезрели единственную причину того зловещего, ужасающего стука, который всю ночь пугал их и не давал им покоя. То были – только ты не гневайся и не огорчайся, читатель! – шесть сукновальных молотов, и они-то и производили этот грохот мерными своими ударами.

Увидев, что это такое, Дон Кихот онемел и замер на месте. Санчо взглянул на него и увидел, что он как бы в смущении потупился. Дон Кихот, в свою очередь, взглянул на Санчо и увидел, что щеки у него надулись, что его душит смех и что по всем признакам он вот-вот прыснет, и не такую уж необоримую власть приобрело над ним уныние, чтобы при взгляде на Санчо он сам мог удержаться от смеха. А Санчо, как увидел, что его господина тоже разбирает смех, разразился таким неудержимым хохотом, что, дабы не лопнуть, принужден был упереться руками в бока. Несколько раз он успокаивался и снова, в столь же бурном порыве веселости, принимался хохотать, так что Дон Кихот начал уже поминать черта и наконец совсем рассвирепел, когда услышал, что Санчо словно бы передразнивает его:

– Да будет тебе известно, о друг мой Санчо, что я по воле небес родился в наш железный век, дабы воскресить золотой. Я тот, кому в удел назначены опасности, великие деяния, смелые подвиги...

И так повторил он всю или почти всю речь, которую произнес Дон Кихот, когда заслышали они страшные эти удары.

Видя, что Санчо над ним издевается, Дон Кихот поднял копьецо и, не помня себя от стыда и ярости, дважды столь сильно ударил его, что если б эти удары пришлись не по спине, а по голове, то жалованье оруженосца, возможно, получили бы за него наследники, только не сам оруженосец. Санчо смекнул, что шутки не доведут его до добра; боясь, как бы его господин не зашел слишком далеко, он в высшей степени кротко заговорил:

– Успокойтесь, ваша милость. Клянусь богом, я пошутил.

– Вы изволите шутить, ну, а мне не до шуток, – возразил Дон Кихот. – Послушайте, господин весельчак, неужели вы думаете, что если б вместо сукновальных молотов меня ожидало какое-нибудь опасное приключение, то я не выказал бы твердости духа, потребной для того, чтобы начать и кончить дело? И разве я, рыцарь, обязан знать и различать звуки и угадывать, молоты это или не молоты? А что, если я в жизнь свою их не видел? Это вы, скверный мужик, среди них родились и выросли. Вы бы лучше превратили эти шесть молотов в шесть исполинов, и пусть бы они по одному, а то и все сразу сунулись в драку! И вот если б они все, как один, не полетели у меня вверх тормашками, тогда бы вы и шутили надо мной, сколько влезет.

– Полно, государь мой, – сказал Санчо. – Я признаю, что чересчур развеселился. Ну, а теперь, когда мы помирились, – и дай бог, чтобы вы изо всех приключений выходили живым и здоровым, как вышли из этого, – скажите мне, ваша милость: то, что мы натерпелись такого страху, ведь, правда же, это смешно и тут есть о чем рассказать? Я, по крайней мере, натерпелся. Что же касается вашей милости, то мне известно, что вы не знаете и не ведаете ни боязни, ни страха.

– Я не отрицаю, что тут есть чему посмеяться, – сказал Дон Кихот. – Однако ж рассказывать о том, что с нами произошло, не следует, ибо не все люди разумны и не все обладают правильным взглядом на вещи.

– У кого правильный взгляд на вещи, так это у вашего копьеца, – сказал Санчо, – потому взгляд его был обращен прямо на мою голову, – правда, вы попали мне по спине, но этим я обязан господу богу и той ловкости, с какою я увернулся. Ну, ничего, перемелется – мука будет. Недаром говорится: «Кого люблю, того и бью». Тем более в обычаях знатных господ – сперва обругать слугу, а потом сейчас же подарить ему штаны. Вот только я не знаю, что принято дарить после побоев, – наверно, странствующие рыцари, отколошматив оруженосца, тут же дарят ему остров или королевство где-нибудь на суше.

– Дело может принять столь благоприятный оборот, что все, о чем ты говоришь, осуществится, – заметил Дон Кихот. – Забудь же то, что между нами произошло, – ведь ты неглуп, и ты должен знать, что в первых движениях чувства человек не волен, и пусть это послужит тебе уроком, дабы впредь ты не позволял себе так много болтать. Между тем я не помню, чтобы в рыцарских романах, которые мне довелось прочитать, им же несть числа, кто-нибудь из оруженосцев так много разговаривал со своим господином, как ты. По совести сказать, я вижу тут упущение и с моей и с твоей стороны: твое упущение в том, что ты был недостаточно со мною почтителен, мое же в том, что я не требовал от тебя большей почтительности. Возьмем хотя бы Гандалина, оруженосца Амадиса Галльского: даром что он был графом острова Материкового, а ведь о нем сказано, что он разговаривал со своим господином не иначе, как сняв шапку, склонив голову набок и изогнувшись *more turquesco*.[159] А оруженосец дона Галаора – Гасаваль? Он был до того несловоохотлив, что на всем протяжении этой столь же длинной, сколь и правдивой истории автор всего лишь раз упоминает о нем – только для того, чтобы отметить из ряду вон выходящую его молчаливость. Из всего, что я тебе сказал, Санчо, ты должен вывести заключение, что не следует забывать разницу между господином и слугой, дворянином и холопом, рыцарем и оруженосцем. А потому отныне мы будем относиться друг к другу с большим уважением и перестанем друг над другом шутки шутить, ибо в чем бы мой гнев ни выразился – все равно тебе придется несладко. Обещанные же мною милости и награды явятся в свое время, а если и не явятся, то жалованье, во всяком случае, от тебя не уйдет, о чем ты уже предуведомлен.

– Все это очень хорошо, – заметил Санчо, – однако ж мне бы хотелось знать, – на тот случай, если время милостей так никогда и не настанет и надобно будет подумать о жалованье, – сколько в прежнее время странствующий рыцарь платил своему оруженосцу, и расплачивался ли он с ним помесячно или поденно, как все равно с каменщиками.

– Я полагаю, что оруженосцы тогда не состояли на жалованье, а получали награды, – отвечал Дон Кихот. – Я же упомянул тебя в скрепленном печатью завещании, которое осталось у меня дома, просто так, на всякий случай: еще неизвестно, что в наше тяжелое время ожидает рыцарство, и я бы не хотел, чтобы из-за какой-то безделицы моя душа мучилась на том свете. Да будет тебе известно, Санчо, что на этом свете нет занятия более опасного, нежели поиски приключений.

– И то правда, – сказал Санчо. – Довольно было стука молотов, чтобы смутить и встревожить дух столь доблестного странствующего искателя приключений, как вы, ваша милость. Но отныне вы можете быть уверены, что если я когда и раскрою рот, то не для того, чтобы смеяться над похождениями вашей милости, а единственно для того, чтобы почтить вас как своего господина и природного сеньора.

– И для тебя настанет спокойная жизнь, – подхватил Дон Кихот, – ибо господин – это второй отец, а потому его и надобно чтить наравне с отцом.



Глава XXI,

повествующая о великом приключении, ознаменовавшемся ценным приобретением в виде Мамбринова шлема, а равно к о других происшествиях, которые случились с нашим непобедимым рыцарем



Тем временем стал накрапывать дождь, и Санчо изъявил желание войти в одну из сукновален, однако ж горькая эта насмешка судьбы внушила Дон Кихоту столь сильное к ним отвращение, что он не пожелал туда войти, а повернул направо и выбрался на дорогу, похожую на ту, по которой они ехали накануне. Немного погодя Дон Кихот заметил всадника с каким-то предметом на голове, сверкавшим, точно золото, и, едва завидев его, он обратился к Санчо и сказал:

– Я полагаю, Санчо, что всякая пословица заключает в себе истину, ибо все они суть изречения, добытые из опыта, отца всех наук, особливо та, что гласит: «Одна дверь затворилась, другая отворилась». Говорю я это к тому, что еще вчера случай захлопнул перед нами дверь к приключению, коего мы искали, ибо нас ввел в обман грохот сукновален, а сегодня он настежь распахивает перед нами другую дверь, ведущую к другому, лучшему и на сей раз бесспорному приключению, и вот если я и в нее не сумею войти, то уж тут я буду кругом виноват и ссылки на ночной мрак и на недостаточно близкое знакомство с сукновальнями мне не помогут. Это я говорю к тому, что, если не ошибаюсь, навстречу нам движется некто со шлемом Мамбрина на голове – тем самым шлемом, насчет которого, сколько тебе известно, я давал клятву.

– Вдумайтесь, ваша милость, в то, что вы говорите, а главное в то, что вы намерены предпринять, – заметил Санчо. – А вдруг это опять сукновальни, но только такие, которые примутся нас с вами валять и изобьют до бесчувствия?

– Пошел ты к черту! – сказал Дон Кихот. – Что общего между шлемом и сукновальнями?

– Не знаю, – отвечал Санчо. – Но только если б мне было позволено говорить, как прежде, то я, честное слово, привел бы вашей милости такие доводы, что вы, пожалуй, поняли бы вашу ошибку.

– Да в чем же моя ошибка, несносный маловер? – вскричал Дон Кихот. – Скажи, разве ты не видишь, что навстречу нам едет всадник на сером в яблоках коне и что на голове у него золотой шлем?

– Я ничего не вижу и не различаю, – отвечал Санчо, – кроме человека верхом на пегом осле, совершенно таком же, как мой, а на голове у этого человека что-то блестит.

– Это и есть шлем Мамбрина, – сказал Дон Кихот. – Удались же и оставь меня с ним вдвоем. Ты увидишь, что я, даром времени не теряя, без лишних слов покончу с этим делом, и шлем, о котором я так мечтал, будет мой.

– Да уж я-то непременно удалюсь, – сказал Санчо. – А все-таки меня берет страх: ну как сукновальни – это цветочки, а ягодки, не дай бог, еще впереди?

– Я же вам сказал, любезный, чтобы вы не смели валять дурака и морочить мне голову своими сукновальнями, – отрезал Дон Кихот. – Иначе, клянусь, я вас... одним словом, я из вас душу вытрясу.

Санчо умолк из боязни, что его господин исполнит сорвавшуюся у него с языка клятву, увесистую, словно булыжник.

А между тем вот что собой представляли шлем, конь и всадник, привидевшиеся Дон Кихоту: надобно заметить, что неподалеку отсюда находилось два селения, при этом в одном из них и аптека и цирюльня были, а в соседнем, совсем маленьком, их не было, по каковой причине цирюльник из села, которое побольше, обслуживал и то, которое поменьше, куда он теперь, взяв с собою медный таз, и направлялся пустить кровь больному и побрить другого жителя села; однако ж судьба устроила так, что цирюльник попал под дождь, и, чтобы не промокла его шляпа, – по всей вероятности, новая, – он надел на голову таз, столь тщательно вычищенный, что блеск его виден был за полмили. Ехал он на пегом осле, как Санчо и говорил, а Дон Кихоту указанные обстоятельства дали основание полагать, что тут перед ним и серый в яблоках конь, и всадник, и золотой шлем, ибо все, что ни попадалось ему на глаза, он чрезвычайно легко приводил в согласие со своим помешательством на рыцарях и со

злополучными своими вымыслами. И вот, когда он увидел, что несчастный всадник уже близко, то, не вступая с ним в переговоры и намереваясь проткнуть его насквозь, с копьецом наперевес помчался во весь Росинантов мах; однако ж на всем скаку он успел крикнуть:

– Обороняйся, презренная тварь, или же добровольно отдай то, что по праву должно принадлежать мне!

Цирюльник не думал, не гадал столкнуться нос к носу с этим привидением, однако он быстро нашелся и, чтобы острие копьеца не задело его, рассудил за благо сверзиться с осла, а затем, едва коснувшись земли, вскочил и помчался легче лани, так что его не догнал бы и ветер. Таз остался на земле, и Дон Кихот, удовольствовавшись этим, заметил, что язычник поступил благоразумно и что в сем случае он, вероятно, подражал бобру, который, когда его настигают охотники, перегрызает зубами и отрывает то самое, из-за чего, как подсказывает ему природное чутье, они его и преследуют. Затем он велел Санчо поднять шлем, и тот, взяв его в руки, сказал:

– Ей-богу, хороший таз: такой должен стоить не меньше восьми реалов, это уж наверняка.

Он вручил шлем своему господину, Дон Кихот же тотчас надел его на голову и стал поворачивать то в ту, то в другую сторону, но, так и не обнаружив забрала, сказал:

– У язычника, по мерке которого в свое время выковали этот славный шлем, уж верно, была громадная голова. А хуже всего то, что у этого шлема не хватает половины.

Услышав, что таз для бритья именуется шлемом, Санчо не мог удержаться от смеха, однако ж гнев господина был ему еще памятен, и оттого он живо осекся.

– Чего ты смеешься, Санчо? – спросил Дон Кихот.

– Мне стало смешно, – отвечал он, – когда я представил себе, какая огромная голова была у язычника, владельца этого шлема: ведь это, ни дать ни взять, таз для бритья.

– Знаешь, что мне пришло на ум, Санчо? Должно думать, что этот на славу сработанный чудодейственный шлем по прихоти судьбы попал в руки человека, который не разобрался в его назначении и не сумел оценить его по достоинству, и вот, видя, что шлем из чистого золота, он, не ведая, что творит, вернее всего, расплавил одну половину, дабы извлечь из этого прибыль, а из другой половины смастерил то самое, что напоминает тебе таз для бритья. Но это несущественно: кто-кто, а уж я-то знаю ему цену, и его превращение меня не смущает. В первом же селе, в котором есть кузнец, я его перекую, и тогда он не только не уступит шлему, сработанному и выкованному богом кузнечного ремесла для бога сражений,[160] но еще и превзойдет его. А пока что он мне и так пригодится, – все лучше, чем ничего. Тем более что от камней он вполне может меня защитить.

– Разумеется, при условии, если камни будут выпущены не из пращей, – возразил Санчо, – как это случилось, когда завязался бой между двумя войсками и когда вашей милости пересчитали зубы и пробили жестянку с тем благословенным бальзамом, от которого у меня чуть не вывернуло нутро.

– Я не очень скорблю об этой утрате, – заметил Дон Кихот. – Тебе же известно, Санчо, что рецепт его я знаю наизусть.

– Я тоже, – сказал Санчо. – Но если я хоть раз в жизни приготовлю его или попробую, то мне крышка. Впрочем, не думаю, чтобы он мне когда-нибудь понадобился: я все свои пять чувств буду держать настороже, чтобы других не ранить и чтобы не ранили меня самого. Вот насчет подбрасывания на одеяле – это другой разговор: от подобных несчастий, пожалуй, не убережешься, и когда они случаются, то уж тут ничего иного не остается, как втянуть голову в плечи, затаить дыхание, закрыть глаза и поручить себя попечению судьбы и одеяла.

– Ты дурной христианин, Санчо, – выслушав его, заключил Дон Кихот, – ты никогда не забываешь однажды причиненного тебе зла, но да будет тебе известно, что сердца благородные и великодушные на такие пустяки не обращают внимания. Что, тебе перебили

ногу, или сломали ребро, или проломили голову, что ты никак не можешь забыть эту шутку? В сущности говоря, это была именно шутка, веселое времяпрепровождение, потому что если б я понял это иначе, то непременно возвратился бы и, отмщая за тебя, нанес более тяжкий урон, нежели греки, мстившие за похищение Елены.[161] Кстати, можно сказать с уверенностью, что, живи она в наше время, или же моя Дульсинея – во времена Елены, то она, Елена, не славилась бы так своей красотой.

Тут он возвел очи горе и испустил глубокий вздох. А Санчо сказал:

– Ну пусть это будет шутка, коли мы не имеем возможности отомстить взаправду, хотя я-то отлично знаю, было это взаправду или в шутку, и еще я знаю, что все это навеки запечатлелось в моей памяти, равно как и в моих костях. Но довольно об этом – скажите лучше, ваша милость, что нам делать с серым в яблоках конем, похожим на пегого осла и оставленным здесь без присмотра этим самым, как его, Мам... Мартином, которого ваша милость сбросила наземь. Судя по тому, как он улепетывал и как у него сверкали пятки, едва ли он когда-нибудь за ним вернется. А конь-то, ей-ей, недурен!

– Я не привык грабить побежденных, – возразил Дон Кихот, – да и не в обычаях рыцарства отнимать коней и вынуждать противника идти пешком, если только победитель не утратил своего во время схватки: в сем случае рыцарь волен взять коня у побежденного в качестве трофея, захваченного в правом бою. А потому, Санчо, оставь этого коня, или осла, – называй как хочешь, – и когда хозяин увидит, что мы удалились, то он за ним возвратится.

– Одному богу известно, как бы мне хотелось взять его себе или, по крайности, обменять на моего, – признался Санчо, – ведь он моему не чета. Поистине суровы законы рыцарства, коли они не дозволяют обменивать одного осла на другого. А скажите на милость, упряжь-то обменять можно?

– В этом я не вполне уверен, – ответил Дон Кихот. – Вопрос, по правде говоря, сложный, но раз что я еще в этом не сведущ, то до времени я разрешаю тебе произвести обмен, если только ты крайнюю испытываешь в нем нужду.

– Такую крайнюю, – заметил Санчо, – что если б эта упряжь нужна была мне самому, то и тогда я не так бы по ней страдал.

Получив позволение, он тут же совершил *mutatio caparum*,[162] и на диво разубранный им осел до того сразу похорошел, что на него любо-дорого было смотреть. Засим они покончили со снедью, которая была в свое время обнаружена на обозном муле, и напились из ручья, ни разу при этом не повернув головы в сторону ненавистных сукновален, которые внушили им такой необоримый страх.

Наконец, успокоившись и даже повеселев, они сели верхами, а как у странствующих рыцарей скитаться без цели вошло в обычай, то они и двинулись без всякой определенной цели, положившись на волю Росинанта, которой обыкновенно подчинялась не только воля хозяина, но и воля осла, следовавшего за ним всюду из чувства товарищества. Как бы то ни было, они снова выбрались на большую дорогу и поехали наудачу, не имея в виду ничего определенного.

Словом, ехали они ехали, как вдруг Санчо обратился к своему господину с такими словами:

– Сеньор! Может статься, вы мне позволите немного с вами потолковать? А то ведь с тех пор, как вы наложили на меня тяжкий обет молчания, в моем желудке сгнило около пяти предметов для разговора, и мне бы не хотелось, чтобы последний, который вертится у меня на языке, тоже без поры без времени скончался.

– Ну, говори, – сказал Дон Кихот, – но только будь немногословен, ибо многословие никому удовольствия не доставляет.

– Так вот, сеньор, – начал Санчо, – я уже несколько дней размышляю о том, какое это невыгодное и малоприбыльное занятие – странствовать в поисках приключений, которых ваша милость ищет в пустынных местах и на распутьях, где, сколько бы вы ни одержали побед и из каких бы опасных приключений ни вышли с честью, все равно никто этого не увидит и не узнает, так что, вопреки желанию вашей милости, подвиги ваши будут вечно окружены молчанием, хотя, разумеется, они заслуживают лучшей участи. А потому лучше было бы нам, – если только ваша милость не возражает, – поступить на службу к императору или же к какому-нибудь другому могущественному государю, который с кем-нибудь воюет, и вот на этом-то поприще ваша милость и могла бы выказать свою храбрость, изумительную свою мощь и еще более изумительные умственные способности, а владетельный князь, у которого мы будем состоять на службе, видя таковое ваше усердие, не преминет воздать каждому из нас по заслугам, и, уж верно, найдется там человек, который на вечные времена занесет в летописи подвиги вашей милости. О моих собственных подвигах я умолчу, ибо оруженосцу из круга прямых его обязанностей выходить не положено, – впрочем, смею вас уверить, что когда бы у рыцарей существовал обычай описывать подвиги оруженосцев, то о моих вряд ли было бы сказано мимоходом.

– Отчасти ты прав, Санчо, – заметил Дон Кихот. – Однако ж, прежде чем добиться этой чести, рыцарю в виде испытания надлежит странствовать по свету в поисках приключений, дабы, выйдя победителем, стяжать себе славу и почет, так что ко времени своего появления при дворе он будет уже известен своими делами настолько, что мальчишки, видя, что он въезжает в городские ворота, тотчас сбегутся, обступят его и начнут кричать: «Вот Рыцарь Солнца», или: «Вот Рыцарь Змеи», смотря по тому, под каким именем стал он известен великими своими подвигами. «Это он, – скажут они, – в беспримерном сражении одолел страшного великана Брокабруна, невиданного силача, это он расколдовал великого мамелюка персидского, пребывавшего заколдованным около девятисот лет». И так из уст в уста начнет переходить весть о его деяниях, и сам король, заслышав крики мальчишек и шум толпы, подойдет к окну королевского своего дворца и, взглянув на рыцаря, тотчас узнает его по доспехам или по девизу на щите и непременно скажет: «Гей вы, мои рыцари! Сколько вас ни есть при дворе, выходите встречать красу и гордость рыцарства, ныне нас посетившую». И по его повелению выйдут все, а сам король спустится даже до середины лестницы, прижмет рыцаря к своей груди и в знак благоволения запечатлеет поцелуй на его ланите, а затем возьмет его за руку и отведет в покои сеньоры королевы, и там его встретят она и ее дочь инфанта, само собой разумеется, столь прекрасное и совершенное создание, что таких в известных нам странах если и можно сыскать, то с превеликим трудом. В то же мгновение она обратит свой взор на рыцаря, рыцарь на нее, и каждому из них почудится, будто перед ним не человек, но ангел, и, сами не отдавая себе отчета, что, как и почему, они неминуемо запутаются в хитросплетенной любовной сети, и сердце у них заноет, ибо они не будут знать, как выразить свои чувства и свое томление. Затем рыцаря, разумеется, отведут в один из дворцовых покоев, роскошно обставленный, и там с него снимут доспехи и облекут в роскошную алую мантию, и если он и вооруженный казался красавцем, то столь же и даже еще прекраснее покажется он без оружия. Ввечеру он сядет ужинать с королем, королевою и инфантою и украдкой от сотрапезников своих будет ловить ее взоры, а она с не меньшею опаскою будет смотреть на него, ибо, как я уже сказал, это в высшей степени благонравная девица. Затем все встанут из-за стола, и тут невзначай войдет в залу безобразный маленький карлик, а за ним прекрасная дуэнья в сопровождении двух великанов, и дуэнья эта, предложив испытание, придуманное каким-нибудь древнейшим мудрецом, объявит, что победитель будет признан первым рыцарем в мире.

Король сей же час велит всем присутствующим попробовать свои силы, но к вящей славе своей устоит до конца и выдержит это испытание один лишь рыцарь-гость, чем несказанно обрадует инфанту, и инфанта почтет себя счастливою и вознагражденною за то, что она столь

высоко устремила и вперила взоры души своей. Но это еще не все: король или же князь, все равно – кто бы он ни был, ведет кровопролитную войну с другим, таким же могущественным, как и он, и рыцарь-гость по прошествии нескольких дней, проведенных им при дворе, попросит у него дозволения послужить ему на поле брани. Король весьма охотно согласится, и рыцарь в благодарность за оказанное благодеяние почтительно поцелует ему руки. В ту же ночь он простится со своей госпожою инфантою через решетку сада, куда выходят окна ее опочивальни, через ту самую решетку, через которую он уже не раз с нею беседовал с ведома и при содействии служанки, пользующейся особым ее доверием. Он вздохнет, ей станет дурно, служанка принесет воды и, опасаясь за честь своей госпожи, будет сильно сокрушаться, ибо утро, мол, близко и их могут увидеть. Наконец инфанта придет в себя и через решетку протянет рыцарю белые свои руки, и тот покроет их поцелуями и оросит слезами. Они условятся между собою, как им уведомлять друг друга обо всем хорошем и дурном, что с ними случится, и принцесса станет умолять его возвратиться как можно скорее. Рыцарь торжественное дает обещание, снова целует ей руки и уходит от нее в таком отчаянии, что кажется, будто он вот сейчас умрет. Он удаляется к себе, бросается на свое ложе, но скорбь разлуки гонит от него сон, и он встает чуть свет и идет проститься с королем, королевою и инфантою. Но вот он простился с королем и с королевою, и тут ему говорят, что сеньора инфанта нездорова и не может его принять. Рыцарь догадывается, что причиной тому – боль от расставания с ним, и сердце у него разрывается на части, и ему стоит огромных усилий не выдать себя. Здесь же находится служанка-наперсница, – она все замечает и спешит доложить своей госпоже, и та встречает ее со слезами на глазах и говорит, что ей так тяжело не знать, кто ее рыцарь и королевского он рода или нет. Служанка уверяет ее, что учтивость, изящество и храбрость, какие выказал ее рыцарь, суть приметные свойства человека, принадлежащего к знатному, королевскому роду. Изнывавшая инфанта утешилась. Дабы не возбудить подозрений у родителей, она пересиливает себя и спустя два дня выходит на люди. Рыцарь между тем уже уехал. Он сражается на войне, побеждает врагов короля, завоевывает множество городов, выигрывает множество сражений, возвращается ко двору, видится со своею повелительницею в обычном месте и сообщает ей, что в награду за оказанные услуги он намерен просить у короля ее руки. Король не согласен выдать ее за него, ибо не знает, кто он таков. Однако ж то ли он похитил ее, то ли каким-либо другим путем, но только инфанта становится его женою, и отец ее в конце концов почитает это за великое счастье, ибо ему удается установить, что рыцарь тот – сын доблестного короля какого-то там королевства, – думаю, что на карте оно не обозначено. Король умирает, инфанта – наследница, рыцарь в мгновение ока становится королем. Вот когда наступает время осыпать милостями оруженосца и всех, кто помог ему столь высокого достигнуть положения: он женит оруженосца на служанке инфанты, разумеется, на той самой, которая была посредницею в их сердечных делах, – при этом оказывается, что она дочь весьма родовитого герцога.

– Этого-то я и добиваюсь, скажу вам по чистой совести, – заговорил Санчо, – на это я и возлагаю надежды, потому оно как по писаному и выйдет, коли за это возьмется ваша милость, сиречь *Рыцарь Печального Образа.*

– Можешь не сомневаться, Санчо, – заметил Дон Кихот, – ибо таким путем и по тем же самым ступеням странствующие рыцари и восходили на королевский и императорский престолы. Теперь нам остается только узнать, кто из христианских или языческих королей ведет войну и у кого из них есть красавица дочь. Но об этом у нас еще будет время подумать, ибо, как я уже сказал, прежде чем являться ко двору, необходимо прославиться где-нибудь в другом месте. Притом мне еще кое-чего недостает: положим даже, есть на свете такой воюющий король с красавицей дочкой, а невероятная моя слава прогремела во всей вселенной, но я себе не представляю, может ли так получиться, что я окажусь принцем крови или, по крайней мере, троюродным братом императора. Ведь король, не получив достоверных сведений, не пожелает выдать за меня свою дочь, хотя бы славные мои деяния заслуживали

большего. И вот через этот изъян я рискую потерять то, что я вполне заслужил своею доблестью. Правда, я происхожу из старинного дворянского рода, я – помещик и землевладелец, за нанесенные мне обиды я имею право взыскивать пятьсот суэльдо,[163] и весьма возможно, что тот ученый муж, который возьмется написать мою историю, до такой степени точно установит мое родство и происхождение, что я окажусь внуком короля в пятом или шестом колене. Надобно тебе знать, Санчо, что родословные бывают двух видов: иные ведут свое происхождение от владетельных князей и монархов, однако род их с течением времени постепенно оскудевает и суживается, подобно перевернутой вниз острием пирамиде, иные вышли из простонародья, но мало-помалу поднимаются со ступени на ступень и наконец становятся знатными господами. Таким образом, разница между ними та, что одни были когда-то тем, чем они уже не являются ныне, а другие ныне являются тем, чем они не были прежде. И может статься, что я принадлежу к первым, то есть выяснится наконец, что предки у меня были великие и славные, и король, мой тесть, каковым ему надлежит стать, вне всякого сомнения этим удовольствуется, а если и не удовольствуется, то все равно инфанта воспылает ко мне столь страстной любовью, что, наперекор родительской воле и хотя бы она знала наверное, что я сын водовоза, наречет меня своим повелителем и супругом. Если же нет, то самый верный способ – похитить ее и увезти, куда мне заблагорассудится, а гнев родителей укротят время и смерть.

– Стало быть, верно говорят иные негодники: «Не проси честью того, что можно взять силой», – заметил Санчо. – Впрочем, сюда еще больше подходит другая поговорка: «Лихой наскок лучше молитвы добрых людей». Говорю я это к тому, что если сеньор король, тесть вашей милости, не соизволит выдать за вас сеньору инфанту, то придется, как говорит ваша милость, похитить ее и куда-нибудь отправить. Да вот беда: пока вы не помиритесь и пока не начнется ваше мирное царствование, бедный оруженосец в ожидании милостей будет, поди, щелкать зубами. Разве только служанка-наперсница, будущая его супруга, последует за инфантой, и он, пока небо не распорядится иначе, станет делить с ней горе пополам, – ведь его господину, думается мне, ничего не стоит сделать так, чтобы служанка тут же сочеталась с ним законным браком.

– Никаких препятствий к тому я не вижу, – заметил Дон Кихот.

– А коли так, – подхватил Санчо, – то нам остается лишь поручить себя воле божьей и положиться на судьбу, а уж она сама приведет нас к лучшему.

– Да исполнит господь мое желание, – молвил Дон Кихот, – и да пошлет он и тебе, Санчо, то, в чем ты нуждаешься, а ничтожество да будет уделом того, кто за ничтожество себя почитает.

– Дай-то бог, – сказал Санчо. – Ведь я чистокровный христианин, а для того, чтобы стать графом, этого достаточно.

– Более чем достаточно, – возразил Дон Кихот. – Даже если б ты и не был таковым, то это ничему бы не помешало: когда я воссяду на королевский престол, ты у меня сей же час получишь дворянство, и тебе не придется ни покупать, ни выслуживать его. Стоит мне пожаловать тебя графом – и вот ты уже и дворянин, а там пусть говорят, что хотят; честью клянусь, что каждый волей-неволей станет величать тебя *ваше сиятельство.*

– А уж я графского устроинства не посрамлю, можете быть уверены! – сказал Санчо.

– *Достоинство* должно говорить, а не *устроинство,* – поправил его Дон Кихот.

– Пусть будет так, – согласился Санчо Панса. – Я хочу сказать, что отлично сумею к нему приноровиться: мне одно время, – ей-богу, не вру, – довелось прислуживать в одном братстве, и платье служителя мне очень даже шло, и все говорили, что с моей внушительной осанкой мне впору быть в том же самом братстве за главного. А если я накину себе на плечи герцогскую мантию, стану ходить в золоте да в жемчуге, что твой иностранный граф? Головой ручаюсь, что со всех концов начнут стекаться, только чтобы на меня поглазеть.

– Вид у тебя будет благопристойный, – сказал Дон Кихот. – Однако тебе придется чаще брить бороду, а то она у тебя густая, всклокоченная и растрепанная, и если ты не возьмешь себе за правило бриться, по крайней мере, через день, то на расстоянии мушкетного выстрела будет видно, кто ты есть на самом деле.

– Да на что проще – нанять брадобрея и держать его при себе на жалованье? – сказал Санчо. – В случае нужды он за мной по пятам будет ходить, как все равно конюший за грандом.

– А почем ты знаешь, что конюшие ходят за грандами? – спросил Дон Кихот.

– Сейчас вам скажу, – отвечал Санчо. – Назад тому несколько лет я прожил месяц в столице, и мне довелось видеть, как прогуливался один очень низенький господин, хотя про него говорили, что это особа весьма высокопоставленная, и куда бы он ни свернул – всюду за ним хвостом какой-то человек верхом на коне. Я спросил, отчего этот человек никогда не поравняется с ним, а все держится позади. Мне ответили, что это его конюший и что у грандов такой обычай – всюду таскать конюшего за собой. И так я тогда крепко запомнил эти слова, что они у меня и по сию пору сохранились в памяти.

– Должен сказать, что ты прав и что у тебя есть основания к тому, чтобы за тобой ходил брадобрей, – заметил Дон Кихот. – Обычаи устанавливаются и вводятся не вдруг, но постепенно, и ты смело можешь быть первым графом, за которым ходил брадобрей. К тому же бреющий бороду – лицо более доверенное, нежели седлающий коня.

– Что касается брадобрея, то это уж моя забота, – сказал Санчо, – а забота вашей милости – постараться стать королем и произвести меня в графы.

– Так оно и будет, – подтвердил Дон Кихот.

Тут он поднял глаза и увидел нечто такое, о чем пойдет речь в следующей главе.



Глава XXII

о том, как Дон Кихот освободил многих несчастных, которых насильно вели туда, куда они не имели ни малейшего желания идти



Сид Ахмет Бен-инхали, писатель арабский и ламанчский, в своей глубокомысленной, возвышенной, безыскусственной, усладительной и занятной истории рассказывает, что славный Дон Кихот Ламанчский, обменявшись со своим оруженосцем Санчо Пансой мнениями, которые приводятся в конце главы XXI, поднял глаза и увидел, что навстречу ему по той же самой дороге идут пешком человек двенадцать, нанизанных, словно четки, на длинную железную цепь, обмотанную вокруг их шеи, все до одного в наручниках. Цепь эту сопровождали двое верховых и двое пеших, верховые – с самопалами, пешие же – с копьями и мечами; и Санчо Панса, едва завидев их, молвил:

– Это каторжники, королевские невольники, их угоняют на галеры.[164]

– Как невольники? – переспросил Дон Кихот. – Разве король насилует чью-либо волю?

– Я не то хотел сказать, – заметил Санчо. – Я говорю, что эти люди приговорены за свои преступления к принудительной службе королю на галерах.

– Словом, как бы то ни было, – возразил Дон Кихот, – эти люди идут на галеры по принуждению, а не по своей доброй воле.

– Вот-вот, – подтвердил Санчо.

– В таком случае, – заключил его господин, – мне надлежит исполнить свой долг: искоренить насилие и оказать помощь и покровительство несчастным.

– Примите в соображение, ваша милость, – сказал Санчо, – что правосудие, то есть сам король, не чинит над этими людьми насилия и не делает им зла, а лишь карает их за преступления.

В это время приблизилась цепь каторжников, и Дон Кихот с отменною учтивостью попросил конвойных об одном одолжении, а именно – сказать и объяснить ему, что за причина или, вернее, что за причины, заставляющие их вести этих людей таким образом. Один из верховых ответил, что это каторжники, люди, находящиеся в распоряжении его величества, и что отправляются они на галеры, – это, дескать, все, что он может ему сообщить, а больше ему и знать не положено.

– Со всем тем, – возразил Дон Кихот, – я бы хотел знать, какая беда стряслась с каждым из них в отдельности?

Засим он наговорил конвойным столько любезностей и привел столько разумных доводов, чтобы побудить их исполнить его просьбу, что второй всадник наконец сказал:

– Хотя мы и везем с собой дела всех этих горемык, однако нам некогда останавливаться, доставать их и читать. Расспросите их сами, ваша милость, они вам расскажут, если пожелают, а они, уж верно, пожелают, ибо любимое занятие этих молодцов – плутовать и рассказывать о своих плутнях.

Получив позволение, – впрочем, не получи его Дон Кихот, так он бы сам себе это позволил, – рыцарь наш приблизился к цепи и спросил первого каторжника, за какие грехи он вынужден был избрать столь неудобный способ путешествия. Тот ответил, что путешествует он таким образом потому, что был влюблен.

– Только поэтому? – воскликнул Дон Кихот. – Да если бы всех влюбленных ссылали на галеры, так я уже давным-давно должен был бы взяться за весла.

– Ваша милость совсем про другую любовь толкует, – заметил каторжник. – Мое увлечение было особого рода: мне так приглянулась корзина, полная белья, и я так крепко прижал ее к груди, что не отними ее у меня правосудие силой, то по своей доброй воле я до сих пор не выпустил бы ее из рук. Я был пойман на месте преступления, пытка оказалась не нужна, и мне тут же вынесли приговор: спину мою разукрасили с помощью сотен розог, в придачу я получил ровнехонько *три галочки,* и крышка делу.

– Что значит *три галочки?* – осведомился Дон Кихот.

– Это значит три года галер, – пояснил каторжник.

Это был парень лет двадцати четырех, уроженец, по его словам, Пьедраиты. С тем же вопросом Дон Кихот обратился ко второму каторжнику, но тот, печальный и унылый, ничего ему не ответил; однако ж за него ответил первый, – он сказал:

– Этого, сеньор, угоняют за то, что он был канарейкой, то есть за музыку и пение.

– Что такое? – продолжал допытываться Дон Кихот. – Разве музыкантов и певцов тоже ссылают на галеры?

– Да, сеньор, – отвечал каторжник. – Хуже нет, когда кто запоет с горя.

– Я слышал, наоборот, – возразил наш рыцарь. – Кто песни распевает, тот грусть-тоску разгоняет.

– Ну, а тут по-другому, – сказал каторжник. – Кто хоть раз запоет, тот потом всю жизнь плакать будет.

– Ничего не понимаю, – сказал Дон Кихот.

Но тут к нему обратился один из конвойных:

– Сеньор кавальеро! *Петь с горя* на языке этих нечестивцев означает признаться под пыткой. Этого грешника пытали, и он сознался в своем преступлении, а именно в том, что занимался конокрадством, сиречь крал коней, и как скоро он признался, то его приговорили к шести годам галер и сверх того к двум сотням розог, каковые его спина уже восчувствовала. Задумчив же он и грустен оттого, что другие мошенники, как те, что остались в тюрьме, так и его спутники, обижают и презирают его, издеваются над ним и в грош его не ставят, оттого что он во всем сознался и не имел духу отпереться. Ибо, рассуждают они, в слове *не* столько же букв, сколько в *да,* и преступник имеет то важное преимущество, что жизнь его и смерть зависят не от свидетелей и улик, а от его собственного языка. Я же, со своей стороны, полагаю, что они недалеки от истины.

– И мне так кажется, – сказал Дон Кихот.

Приблизившись к третьему, он спросил его о том же, о чем спрашивал других, и тот живо и без всякого стеснения ему ответил:

– Я отправляюсь на пять лет к сеньорам *галочкам* за то, что у меня не оказалось десяти дукатов.

– Да я с величайшим удовольствием дам двадцать, лишь бы выручить вас из беды, – сказал Дон Кихот.

– Это все равно, – возразил каторжник, – как если бы кто-нибудь очутился в открытом море, будучи при деньгах, и умирал с голоду, оттого что ему негде купить съестного. Говорю я это к тому, что если б ваша милость вовремя предложила мне эти самые двадцать дукатов, то я смазал бы ими перо стряпчего и вдохновил на выдумки моего поверенного, так что гулял бы я теперь в Толедо, по площади Сокодовер, а не по этой дороге, будто взятая на свору борзая. Ну да бог не без милости. Терпение, а там видно будет.

Дон Кихот приблизился к четвертому, – человеку с благородным лицом, с седой, до пояса, бородою, и спросил, за что его ведут на галеры, но тот заплакал и ничего ему не ответил; однако ж пятый осужденный принял на себя обязанности толмача и сказал:

– Этот почтенный человек на четыре года отправляется на галеры, а предварительно его, разряженного, торжественно прокатили верхом по многолюдным улицам.

– Стало быть, – сказал Санчо Панса, – сколько я понимаю, его выставили на позорище.

– Именно, – подтвердил каторжник, – и наказание свое он несет за то, что, помимо разного другого товара, поставлял и живой. То есть, я хочу сказать, что этого кавальеро ссылают, во-первых, за сводничество, а во-вторых, за то, что он грешил по части колдовства.

– Вся беда именно в этом грехе и состоит, – заметил Дон Кихот, – а само по себе сводничество дает ему право не грести на галерах, но предводительствовать и командовать ими. В сводники годятся далеко не все: это дело тонкое и в государстве благоустроенном совершенно необходимое, и заниматься им подобает людям весьма родовитым. А над ними, по образцу других ремесел, должно быть положенное и определенное число надзирателей и ревизоров, все равно как торговых посредников, и таким образом можно будет избежать множества злоупотреблений, которые имеют место единственно потому, что это ремесло и занятие взяли себе на откуп люди слабоумные и непросвещенные: всякие никудышные бабенки либо мальчишки на побегушках и шуты – всё молокососы да несмышленыши, так что в трудную минуту, когда надобно выказать расторопность, они неукоснительно попадают впросак и садятся в лужу. Я мог бы еще многое сказать по поводу того, какой строгий отбор надлежит производить при назначении людей на эту столь необходимую для государства должность, но место здесь для этого неподходящее, – как-нибудь я изложу свой взгляд тем, в чьей власти все это уладить и привести в порядок. А теперь скажу лишь, что от тяжелого чувства, какое я испытал при виде этого убеленного сединами человека с благородным лицом, попавшего в столь бедственное положение из-за того, что он занимался сводничеством, не осталось и следа, как скоро мне сообщили дополнительный пункт касательно колдовства. Впрочем, я отлично знаю, что нет таких чар, которые могли бы поколебать или же сломить нашу волю, как полагают иные простаки, ибо воля наша свободна, и ни колдовские травы, ни чародейство над нею не властны. Простые бабы и отъявленные мошенники составляют обыкновенно разные смеси и яды, от которых у людей мутится рассудок, и при этом внушают им, что они обладают способностью привораживать, но, повторяю, сломить человеческую волю – это вещь невозможная.

– Справедливо, – заметил маститый старец. – И даю вам слово, сеньор, что в колдовстве я не повинен. Вот насчет сводничества нечего греха таить. Но мне в голову не могло прийти, что я поступаю дурно. У меня была одна забота: чтобы все люди на свете веселились и жили тихо и мирно, не ведая ни вражды, ни кручины. Однако ж благие мои намерения не спасли меня от похода в такие места, откуда я не надеюсь возвратиться: ведь я уже на склоне лет, а боль в мочевом пузыре не дает мне ни минуты покоя.

Тут он снова заплакал, и Санчо проникся к старцу таким состраданием, что вынул из-за пазухи монету и подал ему милостыню.

Дон Кихот подъехал к следующему и спросил, в чем состоит его преступление, на что тот ответил тоном не менее, а еще гораздо более развязным, нежели предыдущий:

– Меня ссылают на галеры за то, что уж очень я баловался с двумя моими двоюродными сестрами и с другими двумя сестрами, но уже не с моими. И добаловался я с ними со всеми до того, что из этого баловства возникло крайне запутанное родство, так что теперь его сам черт не разберет. Меня приперли к стене, покровителей не нашлось, денег – ни гроша, и я уже был уверен, что по мне плачет веревка, но мне дали шесть лет галер, и я согласился: поделом! К тому же я еще молод, вся жизнь у меня впереди, а живой человек всего добьется. Если же ваша милость, сеньор кавальеро, может чем-нибудь помочь нам, горемычным, то господь воздаст вам за это на небе, а мы здесь, на земле, будем вечно бога молить о долгоденствии и добром здравии вашей милости, дабы нашими молитвами вы здравствовали много лет, чего такой добрый, судя по всему, человек, как вы, вполне заслуживает.

Этот был в студенческом одеянии, а один из конвойных отозвался о нем, как об изрядном краснобае и весьма недурном латинисте.

Сзади всех шел мужчина лет тридцати, весьма приятной наружности, если не считать того, что один его глаз все поглядывал в сторону другого. Скован он был не так, как его спутники: на ноге у него была цепь, столь длинная, что ее доставало на то, чтобы обвить все его тело, а шею облегали два кольца, – одно припаянное к цепи, и другое, так называемое *стереги друга,* или же *дружеское объятие,* при помощи двух железных прутьев соединявшееся у пояса с наручниками, которые были замкнуты тяжелыми замками, так что он не мог ни рук поднести ко рту, ни опустить голову на руки. Дон Кихот спросил, почему на этом человеке больше оков, нежели на других. В ответ конвойный ему сказал, что он один совершил больше преступлений, нежели все остальные, вместе взятые, и что хотя он и скован по рукам и ногам, однако стража, зная его дерзость и необычайную пронырливость, не может за него поручиться и все еще опасается, как бы он от нее не сбежал.

– Какие же такие за ним преступления, если его приговорили всего лишь к ссылке на галеры? – спросил Дон Кихот.

– Да, но к десяти годам, – возразил конвойный, – а это все равно, что гражданская казнь. Довольно сказать, что этот душа-человек есть не кто иной, как знаменитый Хинес де Пасамонте, а еще его зовут Хинесильо де Ограбильо.

– Сеньор комиссар! Прикусите язык, – вмешался каторжник, – не будем перебирать чужие имена и прозвища. Меня зовут Хинес, а не Хинесильо, и я из рода Пасамонте, а не Ограбильо, как уверяет ваше благородие. Не мешает кое-кому оглянуться на себя, – это было бы куда полезнее.

– Сбавьте-ка тон, сеньор первостатейный разбойник, – прикрикнул на него комиссар, – если не хотите, чтоб я силой заставил вас замолчать!

– Конечно, человек предполагает, а бог располагает, – заметил каторжник, – но все-таки спустя некоторое время некоторым станет известно, прозываюсь я Хинесильо де Ограбильо или нет.

– Да разве тебя не так зовут, мошенник? – вскричал конвойный.

– Зовут-зовут, да и перестанут, – отвечал Хинес, – иначе я им всем повыщиплю волосы в местах неудобь сказуемых. Сеньор кавальеро! Если вы намерены что-нибудь нам пожертвовать, то жертвуйте и поезжайте с богом, – вы нам уже опостылели своим назойливым любопытством к чужой жизни. Если же вам любопытно узнать мою жизнь, то знайте, что я Хинес де Пасамонте и что я ее описал собственноручно.

– То правда, – подтвердил комиссар, – он и в самом деле написал свою биографию, да так, что лучше нельзя, только книга эта за двести реалов заложена в тюрьме.

– Но я не премину выкупить ее, хотя бы с меня потребовали двести дукатов, – объявил Хинес.

– До того она хороша? – осведомился Дон Кихот.

– Она до того хороша, – отвечал Хинес, – что по сравнению с ней *Ласарильо с берегов Тормеса* и другие книги, которые в этом роде были или еще когда-либо будут написаны, ни черта не стоят. Смею вас уверить, ваше высокородие, что все в ней правда, но до того увлекательная и забавная, что никакой выдумке за ней не угнаться.

– А как называется книга? – спросил Дон Кихот.

– *Жизнь Хинеса де Пасамонте,* – отвечал каторжник.

– И она закончена? – спросил Дон Кихот.

– Как же она может быть закончена, коли еще не кончена моя жизнь? – возразил Хинес. – Я начал прямо со дня рождения и успел довести мои записки до той самой минуты, когда меня последний раз отправили на галеры.

– Значит, вы уже там разок побывали? – спросил Дон Кихот.

– Прошлый раз я прослужил там богу и королю четыре года и отведал и сухарей и плетей, – отвечал Хинес. – И я не очень жалею, что меня снова отправляют туда же, – там у меня будет время закончить книгу. Ведь мне еще о многом предстоит рассказать, а у тех, кто попадает на испанские галеры, досуга более чем достаточно, хотя, впрочем, для моих писаний особо длительного досуга и не требуется: все это еще свежо в моей памяти.

– Ловок же ты, как я посмотрю, – сказал Дон Кихот.

– И несчастен, – примолвил Хинес. – Людей даровитых несчастья преследуют неотступно.

– Несчастья преследуют мерзавцев, – поправил его комиссар.

– Я уже вам сказал, сеньор комиссар, чтобы вы прикусили язык, – снова заговорил Пасамонте. – Начальство вручило вам этот жезл не для того, чтобы вы обижали нас, горемычных, а для того, чтобы вы привели и доставили нас к месту, назначенному королем. Иначе даю голову на отсечение... ну да ладно, может статься, в один прекрасный день отольются кошке мышкины слезки. А пока молчок, будем относиться друг к другу с почтением, выражаться еще почтительнее, и пора в путь: полно, в самом деле, дурачиться.

В ответ на эти угрозы комиссар замахнулся жезлом, но Дон Кихот, загородив Пасамонте, попросил не обижать его на том основании, что не велика беда, если у человека со связанными накрепко руками слегка развязался язык. И, обращаясь ко всей цепи, молвил:

– Из всего, что вы мне поведали, любезнейшие братья, я делаю вывод, что хотя вы пострадали не безвинно, однако ж предстоящее наказание вам не очень-то улыбается, и вы идете отбывать его весьма неохотно и отнюдь не по доброй воле. И может статься, что малодушие, выказанное одним под пыткой, безденежье в другом случае, отсутствие покровителей у кого-то еще и, наконец, неправильное решение судьи послужили причиной вашей гибели и того, что вы не сумели оправдаться. Все это живо представляется мысленному моему взору и словно уговаривает, убеждает, более того: подстрекает меня доказать вам, что небо даровало мне жизнь, дабы я принял обет рыцарства и дал клятву защищать обиженных и утесняемых власть имущими. Однако ж, зная, что один из признаков мудрости – не брать силой того, что можно взять добром, я хочу попросить сеньоров караульных и комиссара об одном одолжении, а именно: расковать вас и отпустить с миром, ибо всегда найдутся другие, которые послужат королю при более благоприятных обстоятельствах, – превращать же в рабов тех, кого господь и природа создали свободными, представляется мне крайне жестоким. Тем более, сеньоры конвойные, – продолжал Дон Кихот, – что эти несчастные лично вам ничего дурного не сделали. Пусть каждый сам даст ответ за свои грехи. На небе есть бог, и он

неустанно карает зло и награждает добро, а людям порядочным не пристало быть палачами своих ближних, до которых, кстати сказать, им и нужды нет. Я говорю об этом с вами мягким и спокойным тоном, дабы, если вы исполните мою просьбу, мне было за что вас благодарить. Если же вы не исполните ее по своему хотению, то это копье и меч купно с сильною моею мышцею принудят вас к тому силой.

– Что за глупая шутка! – воскликнул комиссар. – До хорошеньких же вещей договорился этот забавник! Он, видите ли, желает, чтобы мы выпустили королевских невольников, как будто мы вправе освобождать их, а он – отдавать надлежащие распоряжения! Час добрый, ваша милость, поправьте на голове таз, поезжайте своей дорогой и перестаньте, сеньор, лезть на стену.

– Я вас самого заставлю на стену лезть, подлец! – вскричал Дон Кихот.

И, недолго думая, он столь решительно напал на комиссара, что тот, не успев изготовиться к обороне, сраженный копьем своего недруга, грянулся оземь; и то была необычайная для Дон Кихота удача, ибо только комиссар и был вооружен мушкетом. Других конвойных это неожиданное происшествие ошеломило и озадачило; однако, опамятовавшись, верховые взялись за мечи, пешие за копья, и все вместе напали на Дон Кихота, – Дон Кихот же с превеликим спокойствием их поджидал; и ему бы, уж верно, несдобровать, когда бы каторжники, смекнув, что им представляется случай обрести свободу, не предприняли попытку им воспользоваться и не попытались порвать цепь, на которую они были нанизаны. Поднялась невероятная кутерьма: конвойные то бросались к каторжникам, которые уже распутывали цепь, то отбивались от наседавшего на них Дон Кихота – и все без толку. Санчо, со своей стороны, способствовал освобождению Хинеса де Пасамонте, и тот, – первый, кто сбросил с себя оковы и вырвался на свободу, – подскочил к поверженному комиссару, выхватил у него из рук шпагу и мушкет и стал целиться в конвойных и делать выпады, но огня так и не открыл, ибо в то же мгновение на поле брани не осталось ни одного конвойного: все они дали тягу, устрашенные мушкетом Пасамонте, равно как и градом камней, коими другие каторжники, тоже вырвавшиеся на свободу, их осыпали. Происшествие это повергло Санчо Панса в немалое уныние, ибо он полагал, что бежавшие явятся с донесением в Святое братство, и оно сей же час ударит в набат и отправится на розыски преступников. Своими опасениями он поделился с Дон Кихотом и посоветовал ему как можно скорее отсюда уехать и скрыться в ближних горах.

– Хорошо, хорошо, – сказал Дон Кихот, – я сам знаю, как мне надлежит поступить.

Затем он созвал каторжников, которые уже успели до нитки обчистить комиссара и разбрелись по полю, и они обступили его, ожидая, что он им скажет, – он же повел с ними такую речь:

– Люди благовоспитанные почитают за должное отблагодарить того, кто сослужил им службу, ибо из всех грехов наиболее гневящий господа – это неблагодарность. Говорю я это к тому, что вы, сеньоры, на собственном опыте воочию убедились, что я сослужил вам службу. И вот я бы хотел, – и такова моя воля, – чтобы в благодарность за это вы, отягченные цепью, от которой я вас избавил, сей же час тронулись в путь и, прибыв в город Тобосо, явились к сеньоре Дульсинее Тобосской, передали ей привет от ее рыцаря, то есть от Рыцаря Печального Образа, и во всех подробностях рассказали ей об этом славном приключении вплоть до того, как вы обрели желанную свободу. А засим вы можете отправляться куда вам угодно, на все четыре стороны.

Хинес де Пасамонте ответил за всех.

– Ваша милость, государь и спаситель наш, требует от нас невозможного, – сказал он, – ибо не гурьбою надлежит нам ходить по дорогам, но обособленно и порознь, причем все мы будем рады сквозь землю провалиться, лишь бы нас не обнаружило Святое братство, которое, вне всякого сомнения, уже снарядило за нами погоню. Пусть лучше ваша милость – и это будет самое правильное – велит нам, вместо хождения на поклон к сеньоре Дульсинее Тобосской,

прочитать столько-то раз «Богородицу» и «Верую», и мы их прочтем с мыслью о вас, – вот это поручение можно исполнять и днем и ночью, и убегая и отдыхая, как в состоянии мира, так и в состоянии войны. Но воображать, будто мы снова захотим вкусить райское блаженство, то есть снова наденем цепи, а потом зашагаем по дороге в Тобосо, – это все равно, что воображать, будто сейчас ночь, тогда как на самом деле еще и десяти утра нет, и обращаться к нам с подобной просьбой – это все равно, что на вязе искать груш.

– В таком случае я клянусь, – в сердцах воскликнул Дон Кихот, – что вы, дон Хинесильо де Награбильо, или как вас там, мерзавец вы этакий, отправитесь туда один, с поджатым хвостом и влача на себе всю цепь!

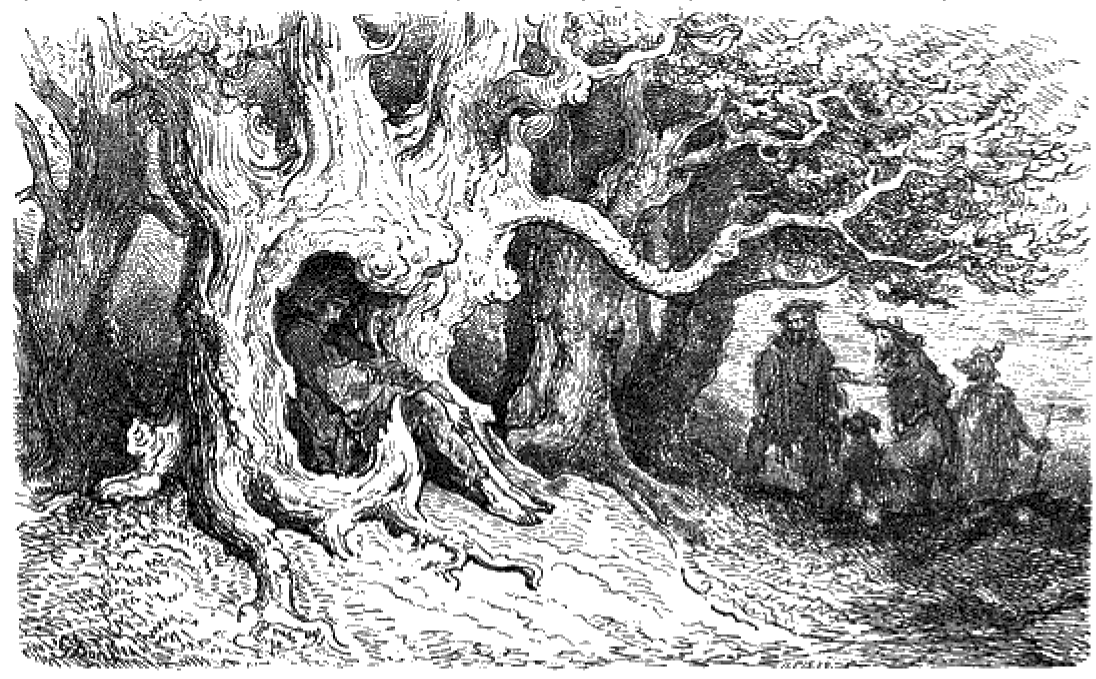
Пасамонте отнюдь не отличался долготерпением, а кроме того, он живо смекнул, что Дон Кихот поврежден в уме, иначе он не сделал бы такой глупости и не освободил бы их; и вот, видя, что с ним так обходятся, он подмигнул товарищам, после чего все они отошли в сторону, и тут на Дон Кихота посыпалось столько камней, что он не успевал закрываться щитом, а бедняга Росинант не обращал ни малейшего внимания на шпоры, точно он был деревянный. Санчо спрятался за своего осла и загородился им от градовой тучи камней, коей суждено было над ними обоими пролиться. Дон Кихот был не столь уже хорошо защищен: несколько булыжников стукнулось об него, да еще с такой силой, что он свалился с коня; и только он упал, как на него насел студент, сорвал с головы таз, три или четыре раза огрел им Дон Кихота по спине, столько же раз хватил его оземь и чуть не разбил. Вслед за тем каторжники стащили с Дон Кихота полукафтанье, которое он носил поверх доспехов, и хотели было снять и чулки, но этому помешали наколенники. С Санчо они стащили пыльник и, обобрав его дочиста и поделив между собой остальную добычу, озабоченные не столько тем, как бы снова надеть на себя цепь и отправиться к сеньоре Дульсинее Тобосской, сколько тем, как бы не попасться в лапы Братства, разбрелись кто куда.

Остались только осел и Росинант, Санчо и Дон Кихот. Осел, задумчивый и понурый, полагая, что ураган камней, еще преследовавший его слух, все не прекращается, время от времени прядал ушами; Росинант, сбитый с ног одним из камней, растянулся подле своего хозяина; Санчо, в чем мать родила, дрожал от страха в ожидании Святого братства, Дон Кихот же был крайне удручен тем, что люди, которым он сделал так много хорошего, столь дурно с ним обошлись.



Глава XXIII

о том, что случилось с прославленным Дон Кихотом в Сьерре Морене, то есть об одном из самых редкостных приключений, о которых идет речь в правдивой этой истории



Видя, что с ним так дурно обошлись, Дон Кихот сказал своему оруженосцу:

– Мне часто приходилось слышать, Санчо, что делать добро мужланам – это все равно что воду решетом черпать. Послушайся я твоего совета, я бы избежал этой напасти. Но дело сделано. Терпение, а впредь будем осмотрительнее.

– Скорей я превращусь в турка, нежели ваша милость станет осмотрительнее, – возразил Санчо. – Но вы говорите, что если б вы меня послушались, то избежали бы этой беды? Ну так

послушайтесь меня теперь, и вы избежите еще горшей, – смею вас уверить, что Святое братство на ваше рыцарское обхождение не поглядит: ему на всех странствующих рыцарей наплевать, и знаете что: у меня как будто уже в ушах гудит от его стрел.[165]

– Ты трус по природе, Санчо, – заметил Дон Кихот. – Впрочем, дабы ты не говорил, что я упрям и никогда не следую твоим советам, на сей раз я намерен поступить так, как ты мне советуешь, и уйти от гнева, коего ты опасаешься. Но только с одним условием: чтобы ты никогда, как при жизни, так и после смерти, никому не говорил, что я из страха скрылся и ушел от опасности, – я просто снисхожу к твоим мольбам. Если же ты это скажешь, то ты солжешь, и я раз навсегда изобличаю тебя во лжи и объявляю, что ты лжешь и будешь лгать всякий раз, как о том помыслишь или же кому-либо скажешь. И не прекословь мне, ибо при одной мысли, что я ушел и скрылся от опасности, да еще от такой, которая, наверное, единственно потому и возникла, что некоторым со страху что-то померещилось, я уже готов остаться здесь один и ждать не только упомянутое тобою и повергающее тебя в трепет Святое братство, но и братьев всех двенадцати колен Израилевых, семерых братьев Маккавеев, Кастора и Поллукса, а также всех братьев и все братства, какие только существуют на свете.

– Сеньор! – снова заговорил Санчо. – Скрыться не значит бежать, и неблагоразумно ждать, когда опасность превосходит все ожидания, мудрым же надлежит оставлять что-нибудь на завтра, а не растрачивать в один день все свои силы. И знайте, что хотя я человек неотесанный и темный, однако ж я имею некоторое понятие о том, что такое благородное поведение, а потому не раскаивайтесь вы, что воспользовались моим советом, – лучше садитесь на Росинанта, если только вам это по силам, а не то так я вас подсажу, и следуйте за мной, ибо, пошевелив мозгами, я прихожу к заключению, что ноги нам теперь нужнее рук.

Дон Кихот без всяких разговоров сел на коня и, предводительствуемый Санчо верхом на осле, вскоре очутился в той части Сьерры Морены, которая была ближе к ним, Санчо же намеревался, перевалив горный хребет, выехать к Висо или же к Альмодовару дель Кампо и на несколько дней укрыться вместе с Дон Кихотом где-нибудь в ущелье, чтобы не быть пойманными в случае, если Братство попытается их изловить. Желание это в нем усилилось, едва он обнаружил, что съестные припасы, которые он вез на осле, от стычки с каторжниками не пострадали, каковое обстоятельство он почел за чудо, приняв в соображение то, как искали поживы каторжники и сколько они унесли с собой.

Под вечер достигли они самого сердца Сьерры Морены, где Санчо и порешил пробыть эту ночь и еще несколько суток, во всяком случае, покуда у них не выйдет продовольствие, а потому они расположились на ночлег между скал, среди множества пробковых дубов. Однако ж неотвратимый рок, который, по мнению тех, кто не озарен светом истинной веры, всем руководит, все приуготовляет и устрояет по своему произволению, распорядился так, что Хинес де Пасамонте, знаменитый плут и мошенник, которого избавили от оков доброта и безумие Дон Кихота, влекомый страхом перед Святым братством, коего он имел все основания опасаться, решился скрыться в горах, судьба же и боязнь привели его туда, где находились Дон Кихот и Санчо Панса, в такую пору и в такой час, когда он еще мог узнать их, и в то самое мгновенье, когда они, не встречая с его стороны препятствий, отходили ко сну. А как злодеи все до одного неблагодарны и нужда служит им достаточным предлогом, чтобы прибегать к средствам недозволенным, причем выход, который представляется в настоящую минуту, им дороже будущих благ, то Хинес, человек неблагодарный и недобросовестный, задумал похитить у Санчо Пансы осла, Росинант же, будучи совершенно непригодной добычей как для заклада, так и для продажи, не привлек его внимания. Санчо Панса спал; Хинес похитил осла и еще до рассвета успел отъехать так далеко, что его уже невозможно было настигнуть.

Взошедшая заря обрадовала землю и опечалила Санчо Пансу, ибо он обнаружил исчезновение серого; и вот, уразумев, что серого с ним больше нет, он поднял донельзя скорбный и жалобный плач, так что вопли его разбудили Дон Кихота, и тот услышал, как он причитает:

– Ах ты, дитятко мое милое, у меня в дому рожденное, забава моих деток, утеха жены моей, зависть моих соседей, облегчение моей ноши и к тому же кормилец половины моей особы, ибо двадцать шесть мараведи, которые ты зарабатывал в день, составляли половинную долю того, что я тратил на ее прокорм!

Услышав плач и осведомившись о причине, Дон Кихот, сколько мог, утешил Санчо, попросил его немного потерпеть и обещал выдать расписку, по которой в его собственность перейдут три осла из тех пяти, что были у Дон Кихота в имении.

Санчо этим утешился, вытер слезы, сдержал рыдания и поблагодарил Дон Кихота за эту милость; Дон Кихот же, как скоро очутился в горах, взыграл духом, ибо места эти показались ему подходящими для приключений, коих он искал. На память ему приходили необычайные происшествия, в таких диких ущельях со странствующими рыцарями случавшиеся, и, увлеченный и упоенный ими, он думал только о них, а все остальное вылетело у него из головы. У Санчо тоже была теперь одна забота, едва он почувствовал себя в безопасности: как бы утолить голод остатками снеди, которую они отбили у духовных особ; по сему обстоятельству, навьюченный всем, что надлежало везти его ослику, он, идя следом за своим господином, запускал руку в мешок и набивал себе брюхо; и подобного рода прогулку он не променял бы ни на какое другое приключение.



Внезапно он поднял глаза и увидел, что его господин, остановив Росинанта, пытается концом копья поднять с земли какой-то тюк, и это зрелище заставило его подскочить к нему на тот случай, если понадобится его помощь, но подскочил он в ту самую минуту, когда Дон Кихот уже поднимал на острие копьеца подушку и привязанный к ней чемодан, наполовину или даже совсем сгнившие и развалившиеся; однако они были столь тяжеловесны, что Санчо пришлось спешиться, чтобы поднять их, после чего Дон Кихот велел ему посмотреть, что лежит в чемодане. Санчо выказал чрезвычайное проворство, и замок и цепочка не помешали ему разглядеть, что лежат в этом прогнившем и дырявом чемодане четыре сорочки тонкого голландского полотна и еще кое-что из белья, столь же чистое, сколь и дорогое, а в носовом платке он обнаружил изрядную кучку золотых монет и, увидев, их, тотчас воскликнул:

– Хвала небесам за то, что они столь выгодное приключение нам уготовали!

Затем, продолжив поиски, он обнаружил записную книжку в роскошном переплете. Книжку Дон Кихот взял себе, а от денег отказался в пользу Санчо. Санчо облобызал ему руки за эту милость и, опустошив чемодан, набил бельем свой мешок с провизией. Наблюдая за всем этим, Дон Кихот сказал:

– Я полагаю, Санчо, – да так оно, разумеется, и есть на самом деле, – что какой-нибудь путник, сбившийся с пути, по всей вероятности, блуждал в горах, и на него напали лиходеи и, наверное, убили, а тело зарыли в этом глухом месте.

– Не может этого быть, – возразил Санчо, – разбойники унесли бы деньги.

– И то правда, – сказал Дон Кихот, – но в таком случае я не могу взять в толк и ума не приложу, что бы это значило. Впрочем, погоди: нет ли в этой книжке каких-либо записей, которые помогли бы нам напасть на след и постигнуть то, что мы так жаждем знать.

Он раскрыл записную книжку, и первое, что он там обнаружил, – это сонет, написанный как бы начерно, однако ж весьма разборчивым почерком, каковой сонет он ради Санчо от первого до последнего слова прочитал вслух:

Иль Купидон немыслимо жесток,

Иль вовсе он утратил разуменье,

Иль худшее из зверств – ничто в сравненье

С той пыткою, что мне назначил рок.

Но Купидон, коль скоро он есть бог.И мудр, и милосерден, без сомненья.Так где ж начало моего мученьяИ вместе с тем всех радостей исток? Я даже не скажу – в тебе, Филида:Не может благо приносить мне вред,Зло и добро вовеки несовместны. Одно бесспорно: в гроб я скоро сниду,Затем что от недуга средства нет,Когда его причины неизвестны.

– В этой песне ничего понять нельзя, – заметил Санчо, – кроме того, что тут про какую-то гниду говорится.

– Про какую гниду? – спросил Дон Кихот.

– Мне показалось, будто ваша милость сказала: *гниду.*

– Да не *гниду,* а *сниду,* – поправил его Дон Кихот, – по-видимому, автор хочет сказать, что он скоро отправится на тот свет. Право, он поэт изрядный, или я ничего не понимаю в поэзии.

– Стало быть, ваша милость и в стихах смыслит? – спросил Санчо.

– Больше, чем ты думаешь, – отвечал Дон Кихот. – И ты в том уверишься, как скоро я вручу тебе послание, сплошь написанное стихами, для передачи госпоже моей Дульсинее Тобосской. Надобно тебе знать, Санчо, что все или почти все странствующие рыцари минувшего века были великими стихотворцами и великими музыкантами: ведь эти две способности или, лучше сказать, два дара присущи странствующим влюбленным. Хотя, по правде сказать, в стихах прежних рыцарей больше чувства, нежели умения.

– Читайте дальше, ваша милость, – сказал Санчо, – может, потом все объяснится.

Дон Кихот перевернул страницу и сказал:

– Это – проза и, по-видимому, письмо.

– Деловое письмо, сеньор? – спросил Санчо.

– Судя по началу, как будто бы любовное, – отвечал Дон Кихот.

– Ну так прочтите же его вслух, ваша милость, – сказал Санчо, – меня хлебом не корми – дай послушать любовную историйку.

– С удовольствием, – сказал Дон Кихот.

Исполняя просьбу Санчо, он прочитал вслух все, что это письмо в себе заключало:

«Твое лживое обещание и мое неоспоримое злополучие влекут меня туда, откуда до твоего слуха скорее долетит весть о моей кончине, нежели слова моих жалоб. Ты отринула меня, о неблагодарная! единственно потому, что другой богаче меня, а не потому, чтобы он

был достойнее; но когда бы добродетель за сокровище почиталась, мне бы не пришлось ни завидовать чужому счастью, ни оплакивать собственное свое злосчастье. Что воздвигла твоя красота, то разрушили твои деяния: красота внушила мне мысль, что ты ангел, деяния же свидетельствуют о том, что ты женщина. Мир тебе, виновница моей тревоги, и пусть по воле небес измены твоего супруга вечно будут окутаны тайною, дабы ты не раскаялась в своем поступке, а я не был бы отомщен за то, что столь противно моему желанию».

Прочитав письмо, Дон Кихот сказал:

– Уж если из стихов мало что можно было узнать, то из письма еще того меньше, разве что писал его отвергнутый любовник.

Перелистав почти всю книжку, он обнаружил еще несколько стихотворений и писем, причем одни ему удалось разобрать, а другие нет, но все они заключали в себе жалобы, пени, упреки, выражения удовольствия и неудовольствия, восторг обласканного и плач отвергнутого. В то время как Дон Кихот просматривал книжку, Санчо подверг осмотру чемодан, и во всем чемодане, равно как и в подушке, не осталось ни единого уголка, который он не обыскал бы, не изучил и не исследовал, ни единого шва, которых он не распорол бы, ни единого клочка шерсти, который он не растрепал бы, дабы ничего не пропустить по своему небрежению или оплошности – до того разлакомился он, найдя более ста золотых монет. И хотя сверх найденного ему больше ничего не удалось найти, однако он пришел к мысли, что и полеты на одеяле, и изверженный напиток, и дубинки, коими его вздули, и кулаки погонщика, и исчезновение дорожной сумы, и похищение пыльника, а также голод, жажда и утомление, которые он изведал на службе у доброго своего господина, – все это было не зря, ибо нашему оруженосцу казалось, что его с лихвою вознаграждает милость, какую явил ему Дон Кихот, отказавшись в его пользу от этой находки.

Рыцарю Печального Образа не терпелось узнать, кто владелец чемодана. Сонет и письмо, золото и прекрасные сорочки указывали на то, что это какой-нибудь знатный влюбленный, которого жестокость и презрение его дамы долженствовали толкнуть на некий отчаянный шаг. Но как в этом безлюдном и суровом краю расспросить было некого, то он, даром времени не теряя, поехал дальше – тою дорогою, которую избрал Росинант, а именно тою, где Росинант в состоянии был проехать, и его преисполняла уверенность, что в этих теснинах без какого-нибудь необычайного приключения дело не обойдется.

Занятый этою мыслью, внезапно увидел он, что прямо перед ним, на верху невысокой горы, какой-то человек с неимоверною легкостью перескакивает с гребня на гребень и прыгает через кусты. Еще он заметил, что человек этот полураздет, что у него густая черная борода, шапка всклокоченных волос, ноги босы и обнажены колени; бедра его прикрывали штаны, по-видимому из рыжего бархата, до того рваные, что во многих местах просвечивало голое тело; голова у него была непокрыта. И хотя, как уже было сказано, человек тот промчался стремглав, однако же все эти подробности Рыцарь Печального Образа разглядел и отметил; и хотя он сделал попытку его догнать, но это ему не удалось, ибо немощный Росинант не создан был для передвижения по этим кручам, особливо если принять в рассуждение короткий его шаг и врожденную неповоротливость. Дон Кихот тотчас догадался, что это и есть владелец подушки и чемодана, и дал себе слово разыскать его, хотя бы ему целый год пришлось странствовать в горах, прежде чем его найти; того ради велел он Санчо сойти с осла[166] и обогнуть один склон горы, он же, дескать, объедет противоположный, – может статься, что так они в конце концов встретятся с человеком, столь стремительно скрывшимся из виду.

– Это выше моих сил, – объявил Санчо, – потому стоит мне удалиться от вашей милости, – и страх уже тут как тут и на меня лезут всякие ужасы и привидения. Так что, не извольте гневаться, я вас упреждаю заранее: от вашей особы я до скончания века не отойду ни на шаг.

– Быть по сему, – сказал Рыцарь Печального Образа, – я чрезвычайно рад, что ты ищешь прибежища в твердости моего духа, и она с тобою не расстанется, хотя бы твоя душа

рассталась с телом. Следуй же за мной по пятам или как сумеешь и смотри во все глаза. Мы объедем эту гору и, может статься, повстречаем человека, которого мы только что видели, – вне всякого сомнения, это не кто иной, как владелец найденных нами вещей.

На это Санчо ему сказал:

– Давайте лучше не искать: ведь если мы его встретим и вдруг окажется, что деньги его, то ясно, что я принужден буду их ему возвратить, а потому уж лучше я без лишних хлопот и не мудрствуя лукаво буду считать себя их хозяином, пока сам собою, без особых с нашей стороны проявлений усердия и любознательности, не объявится их законный владелец. И может статься, что деньги к тому времени будут истрачены, а на нет и суда нет.

– Ты не прав, Санчо, – заметил Дон Кихот. – Коли мелькнула у нас догадка, что хозяин денег – тот, который промчался в двух шагах от нас, то мы обязаны его сыскать и возвратить деньги. Буде же мы не отправимся на розыски, от одной этой весьма правдоподобной догадки, что он таковым является, наша вина становится не меньше, чем если бы мы это знали наверное. Итак, друг Санчо, да не огорчают тебя эти розыски хотя бы потому, что я перестану огорчаться, как скоро сыщу его.

С этими словами он пришпорил Росинанта, а Санчо по милости Хинесильо де Пасамонте побрел за ним на своих на двоих и притом навьюченный; и вот когда уже часть горы осталась позади, на берегу ручья обнаружили они валявшегося на земле, дохлого и наполовину обглоданного собаками и исклеванного воронами мула, оседланного и взнузданного, каковое обстоятельство подтвердило их предположение, что беглец и есть хозяин мула и подушки.

Они все еще смотрели на мула, как вдруг послышался свист, похожий на свист пастуха, стерегущего стадо, слева неожиданно показалось изрядное количество коз, а затем на горе показался и стороживший их козопас, человек преклонного возраста. Дон Кихот окликнул его и попросил спуститься. Тот, возвысив голос, обратился к ним с вопросом: что занесло их в такие места, где редко, а может и ни разу, не ступала нога человека и где бродят одни лишь козы, волки и другие дикие звери? Санчо, однако ж, попросил его спуститься, – тогда, мол, ему дадут полный отчет. Козопас спустился и, приблизившись к Дон Кихоту, молвил:

– Бьюсь об заклад, что глядите вы на мула, который пал в этом рву. Да ведь он, чтобы не соврать, вот уж полгода, как здесь валяется. А скажите на милость, не повстречался ли вам его хозяин?

– Нет, не повстречался, – отвечал Дон Кихот, – но неподалеку отсюда мы нашли подушку и чемодан.

– Да ведь они и мне попались, – сказал козопас, – но только я не то что поднять, а и подойти-то к ним не решился: боюсь, как бы не нажить беды, еще, не ровен час, за вора примут. Нечистый хитер, подставит ногу – вот ты и споткнулся и полетел, а там поди разбирайся, что, да как, да почему.

– Я тоже так думаю, – отозвался Санчо. – Вещи эти и мне было попались, но я на сто шагов не осмелился к ним подойти. Я их оставил в покое, и лежат они там, где лежали, а то еще, пожалуй, свяжешься – не обрадуешься.

– А скажите, добрый человек, – спросил Дон Кихот, – не знаете ли вы, кому принадлежит это имущество?

– Я знаю одно, – отвечал козопас. – Назад тому полгода или около того к одному пастушьему загону, мили за три отсюда, подъехал юноша, пригожий и статный, верхом на том самом муле, что валяется во рву, с подушкой и чемоданом, который вы нашли и, говорите, не тронули. Спросил он нас, с какой стороны этот горный хребет особенно дик и пустынен. Мы ему сказали, что там, где мы сейчас находимся, и так оно и есть на самом деле, потому если вы пройдете еще с полмили вглубь, то выбраться, пожалуй что, и не выберетесь. Я диву даюсь, как вы и здесь-то оказались: ведь сюда ни одна дорога и ни одна тропа не ведет. Ну так вот: выслушал нас юноша, поворотил мула и поехал в ту сторону, куда мы ему указали, и мы все,

как один, полюбовались его статностью и подивились его вопросу, а также той поспешности, с какою он снова направил путь в горы. И только мы его и видели, однако ж несколько дней спустя вышел он на дорогу как раз, когда по ней проходил один из наших пастухов, и, не говоря худого слова, надавал ему колотушек да пинков, а затем подскочил к его ослице и забрал весь хлеб и весь сыр, которым тот ее нагрузил. После этого он с невиданною быстротою снова скрылся в горах. Кое-кто из нас, пастухов, услышал об этом, и мы почти два дня разыскивали его в самой неприступной части гор и наконец нашли в дупле кряжистого и могучего дуба. Он встретил нас весьма миролюбиво, одежда на нем была уже изорвана, а лицо обезображено и обожжено солнцем, так что узнали мы его с трудом, и все-таки как раз по одежде, хотя и порванной, но нам хорошо знакомой, мы и догадались, что перед нами тот, кого мы разыскиваем. Он учтиво приветствовал нас и в кратких и вполне разумных словах объявил нам, что мы не должны удивляться его образу жизни, ибо за великие свои грехи наложил он на себя некое покаяние. Мы просили его назвать себя, но он остался непреклонен. Еще мы ему сказали, что как скоро ему понадобится продовольствие, без коего он все равно не проживет, то пусть уведомит нас, где он находится, и мы с превеликою охотою и старанием все ему принесем, а коли и это ему неприятно, то, по крайности, пусть он, выходя на дорогу, просит у пастухов съестного, но не отнимает. Он поблагодарил нас, извинился за совершенное нападение и впредь обещал просить Христовым именем, никому ничем не досаждая. Касательно постоянного местожительства он объявил, что такового у него не имеется и что он довольствуется случайным, где его застигнет ночь. И закончил он свою речь столь жалобным плачем, что у нас были бы каменные сердца, когда бы мы, заслышав этот плач и мысленно сравнив, каким мы увидели юношу в первый раз и каким он стал теперь, тоже не прослезились. Повторяю, это был юноша очень красивый и статный, и его учтивые и рассудительные речи обличали в нем человека знатного и благовоспитанного, и хотя только деревенские и слушали его, но любезность его даже деревенщине невольно в глаза бросалась. И вот в пылу красноречия он вдруг остановился, умолк и уставил глаза в землю, мы же, остолбеневшие и ошеломленные, ждали, чем кончится это его длительное оцепенение, и с великим участием на него взирали, ибо по тому, как он то открывал глаза и, не мигая, долго и пристально глядел в землю, то снова закрывал их, стискивал зубы и хмурил брови, мы без труда могли догадаться, что с ним случился припадок умоисступления. И вскоре предположение наше подтвердилось, ибо он повалился на землю, но тут же в превеликом гневе вскочил и бросился на пастуха, стоявшего рядом, с такою запальчивостью и бешенством, что, если б мы его не отняли, он загрыз бы его или ударом кулака убил наповал. Бросился же он на него с криком: «А, вероломный Фернандо! Сей же час, сей же час заплатишь ты за то, что так вероломно со мной обошелся. Вот эти самые руки вырвут из твоей груди сердце, в коем обретаются и гнездятся все, какие только есть, пороки, преимущественно коварство и ложь!» К этим речам присовокупил он другие, но все они сводились к тому, чтобы осыпать Фернандо новыми проклятиями и заклеймить его как предателя и обманщика. Итак, с немалым трудом освободили мы пастуха, а юноша, ни слова не говоря, от нас удалился и – бегом сквозь чащу кустарника, так что мы никакими силами не могли бы его догнать. Из всего этого мы заключили, что у него по временам мутится рассудок и что некто по имени Фернандо причинил ему зло, и, уж верно, немалое, судя по тому состоянию, в котором он теперь находится. Впоследствии догадки наши подтверждались всякий раз, как он выходил на дорогу (а это с ним случалось не однажды) и иной раз просил пастухов поделиться с ним пищей, а иной раз отнимал силою, ибо когда он не в своем уме, то он отвергает доброхотные даяния пастухов и набрасывается на них с кулаками. Когда же он в здравом уме, то вежливо и учтиво просит Христовым именем и сердечно, даже со слезами, благодарит. И даю вам слово, сеньоры, – продолжал козопас, – что вчера я и четыре молодых парня – два подпаска и два моих приятеля – порешили искать его, пока не найдем, и, найдя, не добром, так силой препроводить в город Альмодовар, до которого отсюда восемь миль, и там мы его вылечим, если только эта болезнь излечима, или уж, по крайности, узнаем, кем он был до того, как свихнулся, и есть ли у него

родственники, коих надлежит известить о постигшем его несчастье. Вот и все, сеньоры, что я могу вам поведать в ответ на ваш вопрос, и разумейте, что владелец найденных вами вещей и есть тот самый полураздетый человек, который с такою быстротою пробежал мимо вас. (Должно заметить, что Дон Кихот успел рассказать ему, как тот лазал по горам.)

Дон Кихот подивился всему, что услышал от козопаса, и теперь ему еще больше захотелось узнать, кто же этот несчастный безумец, так что он дал себе слово довести до конца задуманное предприятие, а именно: объездить всю гору и, заглядывая во все уголки и пещеры, во что бы то ни стало сыскать его. Судьба, однако ж, устроила лучше, чем он мог предполагать или ожидать, ибо в это мгновенье прямо перед ними в расселине горы показался тот самый юноша, которого они искали: он шел, говоря сам с собою о чем-то таком, чего нельзя было бы понять и вблизи, а тем паче издали. На нем было вышеописанное одеяние; кроме того, Дон Кихот, подъехав вплотную, заметил, что разорванный его колет надушен амброй, каковое обстоятельство окончательно уверило нашего рыцаря, что особа, носящая подобное платье, не может быть из простонародья.

Подойдя к ним, юноша приветствовал их голосом сдавленным и хриплым, с отменною, впрочем, учтивостью. Дон Кихот ответил на его поклон не менее любезно и, спешившись, с чрезвычайным дружелюбием и непринужденностью обнял его, и так долго сжимал он его в своих объятиях, словно они были век знакомы. Юноша, которого мы могли бы назвать *Оборванцем Жалкого Образа,* подобно как Дон Кихот есть *Рыцарь Печального Образа,* прежде дал себя обнять, а затем слегка отстранил Дон Кихота и, положив ему руки на плечи, стал в него всматриваться с таким видом, будто желал уяснить себе, знаком он с ним или нет; по всей вероятности, облик, фигура и доспехи Дон Кихота повергли его в такое же точно изумление, в какое он сам поверг Дон Кихота. В конце концов после объятия первым заговорил оборванец и повел речь, о которой будет речь впереди.



Глава XXIV,

в коей продолжается рассказ о приключении в Сьерре Морене



В истории сказано, что Дон Кихот с величайшим вниманием слушал вконец обносившегося *Рыцаря Гор,* а тот начал свою речь так:

– Разумеется, сеньор, кто бы вы ни были, – ибо я вас не знаю, – я почитаю своим долгом изъявить вам признательность за те знаки уважения, коих вы меня удостоили, и мне бы хотелось иметь возможность не одною только своею готовностью ответить на вашу готовность выказать радушие, с каковым вы и отнеслись ко мне, однако ж судьба пожелала устроить так, чтобы я был способен отблагодарить за доброе дело, которое мне кто-либо делает, одним лишь добрым намерением за него отплатить.

– Что до меня, то я твердо намерен быть вам полезным, – подхватил Дон Кихот, – я даже решился остаться в горах до тех пор, пока не встречусь с вами и не узнаю, есть ли какое-нибудь средство от недуга, который, судя по вашему необычайному образу жизни, вас снедает, и, коли надобно искать это средство, искать его со всем возможным рвением. Когда же горесть ваша принадлежит к числу тех, что любым утешениям путь преграждает, то я вместе с вами стану крушиться и проливать слезы, ибо в несчастье обрести человека, который вам сострадает, – это тоже своего рода утешение. Если же благие мои намерения заслуживают награды в виде какого-либо знака учтивости, то я заклинаю вас, сеньор, тою великою учтивостью, какою, я вижу, вы отличаетесь, и ради того, что вы больше всего на свете любили или же любите, молю вас: скажите мне, кто вы таков и почему вы приняли решение жить и умереть, подобно дикому зверю, в пустынных этих местах, где вы принуждены нарушить весь свой привычный уклад жизни, о котором свидетельствуют одежда ваша и облик? Я же, грешный и недостойный, – промолвил Дон Кихот, – клянусь тем рыцарским орденом, к коему я принадлежу, и саном странствующего рыцаря, что если вы, сеньор, уважите мою просьбу, то я буду служить вам с тою преданностью, к которой меня обязывает мое звание, и либо выручу вас из беды, если только она поправима, либо, как я вам уже обещал, вместе с вами буду лить слезы.

Рыцарь Леса, слушая речи *Рыцаря Печального Образа,* вглядывался в него, приглядывался к нему, снова оглядывал с ног до головы и, только когда вдосталь на него нагляделся, сказал:

– Если у вас найдется поесть, то дайте ради Христа, и, поевши, я исполню все, что от меня требуется, в благодарность за ваше столь доброе ко мне расположение.

Санчо незамедлительно полез в мешок, козопас – в котомку, и оборванец, набросившись на еду как полоумный, стал утолять голод с поспешностью необычайной: он не успевал проглотить один кусок, как уже засовывал в рот другой; и пока он ел, ни он, ни окружающие не проронили ни слова. Когда же он поел, то сделал знак следовать за ним, что и было исполнено, и он повел их на зеленую лужайку, которая находилась неподалеку отсюда, за скалою. Придя, он опустился на траву, а за ним и его спутники; при этом среди них по-прежнему царило молчание – до тех пор, пока оборванец, устроившись поудобнее, не заговорил:

– Если вам угодно, сеньоры, чтобы я вкратце рассказал о неисчислимых моих бедствиях, то вы должны обещать мне, что ни одним вопросом и ни единым словом не прервете нить печального моего повествования, иначе, как скоро вы это сделаете, рассказ мой на этом самом месте и остановится.

Слова оборванца привели Дон Кихоту на память тот случай, когда он, слушая сказку своего оруженосца, все никак не мог сосчитать коз, которых переправляли через реку, вследствие чего конец этой истории остался неизвестен. Оборванец между тем продолжал:

– Я потому вас о том предуведомляю, что мне бы не хотелось долго задерживаться на моих мучениях, ибо вспоминать – значит умножать их, и чем меньше вопросов будете вы мне задавать, тем скорее я с этим покончу, хотя и не пропущу ничего существенного, дабы удовлетворить вас вполне.

Дон Кихот от лица всех присутствовавших обещал не прерывать его, и тот, взяв с него слово, начал так:

– Меня зовут Карденьо, моя отчизна – один из прекраснейших городов нашей Андалусии, я – славного рода, мои родители – люди состоятельные, но горе мое таково, что, сколько бы ни оплакивали меня отец и мать и как бы ни страдали за меня мои родичи, всего их богатства недостанет на то, чтобы его облегчить, ибо с несчастьями, которые посылает небо, благам жизни не совладать. В моей родной земле обитало само небо, получившее в дар от Амура такое великолепие, выше которого я ничего не мог себе представить, – до того прекрасна была Лусинда, девица столь же знатная и богатая, как я, но только более счастливая и отличавшаяся меньшим постоянством, нежели то, какого чистые мои помыслы заслуживали. Эту самую Лусинду я любил, обожал и боготворил измлада, и она любила меня искренне и беззаветно, как лишь в нежном возрасте любить умеют. Родители знали о наших намерениях, но это их не смущало, – они отлично понимали, что конечною нашею целью может быть только брак, каковой был уже почти предрешен благодаря тому, что по своему происхождению и достоянию мы друг к другу вполне подходили. Годы шли, а взаимная наша склонность все росла, и отец Лусинды нашел, что приличия ради должно отказать мне от дома: в сем случае он как бы подражал родителям столь возвеличенной поэтами Тисбы.[167] Но от этого запрета еще пуще возгорелось пламя и воспылала страсть, ибо печатью молчания удалось заградить наши уста, но не перья, – перья же с большею непринужденностью, нежели уста, дают понять тому, кого мы любим, что таится у нас в душе, ибо в присутствии любимого существа весьма часто смущаются и немеют самое твердое намерение и самые смелые уста. О небо, сколько писем написал я ей! Сколько трогательных и невинных посланий получил в ответ! Сколько песен я сочинил и стихов о любви, в коих душа изъясняла и изливала свои чувства, выражала пламенные свои желания, тешила себя воспоминаниями и давала волю своему влечению! Наконец, истерзанный, с душою, изнемогшей от желания видеть ее, положил я осуществить и как можно скорее исполнить то, что представлялось мне необходимым для получения желанной и заслуженной награды, а именно: попросить у ее отца дозволения сочетаться с нею законным браком, и я это сделал. В ответ же услышал я следующее: он-де благодарит меня за оказанную ему честь и желал бы со своей стороны почтить меня и вручить мне свое сокровище,

но коль скоро отец мой жив, то неотъемлемое право вступить в переговоры принадлежит ему. Что же касается Лусинды, то она не из таких, чтобы ее можно было тайно взять в жены или выдать замуж в случае, если этот брак будет ему отнюдь не по сердцу и не по нраву. Я изъявил свою признательность за поданную им благую мысль, ибо мне казалось, что он говорит дело и что отец мой даст согласие, как скоро я ему откроюсь. С этою целью я нимало не медля отправился к отцу сообщить о своем намерении, но, войдя в его покои, увидел, что в руках у него распечатанное письмо, каковое, прежде нежели я успел слово вымолвить, он протянул мне и сказал: «Из этого письма ты увидишь, Карденьо, что герцог Рикардо намерен оказать тебе милость». Вам должно быть известно, сеньоры, что герцог Рикардо – это испанский гранд, коего двор находится в одном из прекраснейших мест нашей Андалусии. Я взял и прочитал письмо, и оно показалось мне столь лестным, что я первый не одобрил бы моего отца, когда бы он не исполнил того, о чем герцог его просил, а именно: незамедлительно направить меня к нему, с тем чтобы отныне я находился при старшем сыне герцога в качестве его товарища, но не слуги, а уж он, герцог, позаботится-де о том, чтобы я достигнул степеней, соответствующих тому уважению, которое он питает ко мне. Я прочитал письмо и, прочитав, оцепенел, особливо когда отец сказал мне: «Во исполнение воли герцога ты, Карденьо, через два дня поедешь к нему, – возблагодари же господа бога за то, что он открыл пред тобою путь, на котором ты добьешься всего, что, по моему разумению, ты заслуживаешь». К этому он присовокупил несколько отеческих наставлений. Перед отъездом я увиделся вечером с Лусиндой, рассказал ей обо всем, что произошло, затем поговорил с ее отцом и попросил его повременить и не выдавать Лусинду замуж до тех пор, пока я не узнаю, какие виды имеет на меня Рикардо. Он обещал, а Лусинда скрепила это обещание бесчисленными клятвами и изъявлениями чувства. Наконец я прибыл во владения герцога Рикардо. Он так хорошо меня принял и так хорошо со мной обошелся, что с этой минуты уже начала делать свое дело зависть, которою преисполнились ко мне старые слуги герцога, ибо они рассудили, что знаки его благорасположения ко мне могут послужить им во вред. Но особенно обрадовался моему приезду младший сын герцога, по имени Фернандо, юноша статный, прелестный, щедрый и пылкий, и вот этот-то самый Фернандо малое время спустя так со мной подружился, что среди придворных только и разговору было, что о нашей дружбе. И хотя старший брат тоже меня любил и благоволил ко мне, однако ж он не доходил до таких пределов, коих достигали любовь и обхождение дона Фернандо. А как для дружбы тайн не существует (я же, перестав быть приближенным дона Фернандо, стал его другом), то он поверял мне теперь все свои думы, в частности думу любовную, причинявшую ему некоторое беспокойство. Он полюбил крестьянку, дочь богатых вассалов его отца, и была она так прекрасна, благонравна, рассудительна и скромна, что все, кто знал ее, затруднялись определить, какое из этих качеств в ней преобладает и какое из них выше. Редкие достоинства прелестной поселянки до того воспламенили страсть дона Фернандо, что он положил, дабы достигнуть цели и сломить ее упорство, дать слово девушке жениться на ней, ибо прибегать к какому-либо иному способу значило добиваться невозможного. Тогда я на правах дружбы, приведя наиболее веские доводы и наиболее яркие примеры, попытался воспрепятствовать этому и отговорить его. Видя, однако ж, что усилия мои тщетны, порешил я рассказать обо всем его отцу, герцогу Рикардо, но дон Фернандо, будучи человеком проницательным и умным, проник в тайные мои помыслы и испугался, – он подумал, что я, как верный слуга, не почту себя вправе утаить от герцога, моего господина, то, что может бросить тень на его доброе имя. И вот, чтобы сбить меня с толку и провести, он сказал, что наилучшее средство забыть красавицу, которая так его поработила, это на несколько месяцев отсюда уехать, – он-де вместе со мной поедет к моему отцу, а герцогу скажет, что желает присмотреть и купить коней, ибо таких чудесных коней, как у нас в городе, на всем свете не сыщешь. Выслушав его, я, движимый своею любовью, способен был и не столь благоразумное решение почесть за одно из самых мудрых, какое только можно вообразить, единственно потому, что мне представлялись удобный случай и возможность свидеться с моею Лусиндою. Руководимый этою мыслью и желанием, я, приняв его

предложение и поощрив его замысел, сказал, чтобы он как можно скорее осуществил его, ибо разлука, точно, сделает свое дело, невзирая на неотвязные мысли. Но когда Фернандо вел со мною этот разговор, он, как я узнал потом, уже обладал поселянкою под видом ее супруга и ждал лишь случая открыть свою тайну без риска для себя, – его пугала мысль, как поступит герцог, когда узнает о его проказах. Между тем любовь юношей по большей части есть не любовь, но похоть, конечная же цель похоти есть насыщение, и, достигнув ее, она сходит на нет, а то, что казалось любовью, принуждено возвратиться вспять, ибо оно не в силах перейти предел, положенный самою природою и которого истинная любовь не знает, – словом, как скоро дон Фернандо насладился поселянкою, страсть его охладела и пыл его угас. И если первоначально он притворялся, что хочет удалиться, дабы охладить его, то теперь он, точно, желал уехать, дабы не расточать его более. Герцог изъявил согласие и велел мне сопровождать дона Фернандо. Мы прибыли в мой родной город, отец принял его как должно, я тотчас же свиделся с Лусиндой, и моя страсть ожила (впрочем, она никогда не умирала и не ослабевала), о чем я, на свое несчастье, сообщил дону Фернандо, – сообщил, ибо мне казалось, что в силу того особого дружеского расположения, какое он ко мне выказывал, я ничего не должен от него скрывать. Я так расхвалил красоту, прелесть и рассудительность Лусинды, что хвалы мои вызвали в нем желание увидеть девушку, таковыми достоинствами отмеченную. По воле злого рока я исполнил его желание и однажды вечером при свете свечи показал ему ее в окне, через которое мы с нею обыкновенно переговаривались. Она была в ночном одеянии, и все красоты, виденные им прежде, пред нею померкли. Он замер на месте, он потерял голову, он пришел в восторг, он полюбил ее, а как горячо – это вы увидите дальше из рассказа о моем злоключении. И дабы усилить в нем чувство, которое он скрывал от меня и лишь наедине с самим собою поверял небу, судьба устроила так, что однажды на глаза ему попалось ее письмо, где она умоляла меня просить у отца ее руки и где она выказала такую рассудительность, скромность и нежность, что, прочитав его, он сказал мне, что в одной Лусинде заключены ум и красота, между всеми женщинами на свете обыкновенно распределяемые. Положа руку на сердце, могу вам теперь признаться, что хотя я и понимал, что у дона Фернандо есть все основания восхвалять Лусинду, однако же слышать эти похвалы из его уст мне было неприятно, и я стал бояться и остерегаться его, ибо он поминутно, при всяком удобном и неудобном случае, заговаривал со мной о Лусинде, каковое обстоятельство возбуждало во мне нечто похожее на ревность, однако ж вовсе не потому, чтобы я опасался неожиданного удара со стороны добродетельной и верной Лусинды; как бы то ни было, судьба заставляла меня бояться за то, что сама же она мне сулила. Дон Фернандо всякий раз изъявлял желание читать письма, которые я писал Лусинде и которые я получал от нее в ответ, под тем предлогом, что красоты нашего слога будто бы доставляют ему величайшее удовольствие. Случилось, однако ж, так, что Лусинда попросила у меня почитать один рыцарский роман, до которого она была большая охотница, а именно *Амадиса Галльского...*

Стоило Дон Кихоту услышать название рыцарского романа, и он тотчас прервал юношу:

– Если б ваша милость с самого начала предуведомила меня, что ее милость сеньора Лусинда – охотница до рыцарских романов, то никаких других славословий не понадобилось бы для того, чтобы уверить меня в возвышенности ее ума, да ум у нее и не был бы столь тонким, как это вы, сеньор, утверждаете, когда бы она к столь занимательному чтению не имела пристрастия, а потому ради меня не должно тратить много слов на описание ее красоты, добродетели и ума, – довольно мне узнать ее вкус, и я сей же час признаю ее прекраснейшею и разумнейшею женщиною в мире. И мне бы хотелось, сеньор, чтобы вместе с *Амадисом Галльским* ваша милость послала ей *Дона Рухела Греческого,* – я уверен, что сеньоре Лусинде очень понравятся Дараида и Гарайя, остроумие пастушка Даринеля, а также чудесные стихи его буколик, которые он с величайшей приятностью, искусно и непринужденно пел и исполнял. Однако со временем замеченный мною пробел будет восполнен, и время его восполнения настанет, как скоро ваша милость соизволит отправиться вместе со мною в мою деревню, ибо

там я предоставлю в ваше распоряжение более трехсот романов, каковые суть услада моей души и радость моей жизни. Впрочем, не остается сомнений, что у меня ни одного романа уже не осталось, – по милости злых волшебников, завистливых и коварных. Простите же меня, ваша милость, за то, что я нарушил обещание не прерывать вас, но когда при мне говорят о рыцарских делах и о странствующих рыцарях, то не поддержать разговор зависит от меня в такой же мере, в какой от лучей солнца зависит не греть, а от лучей месяца – не увлажнять землю. Итак, прошу простить меня и продолжать, что было бы сейчас как нельзя более кстати.

Пока Дон Кихот вел с Карденьо вышеприведенную речь, тот, свесив голову на грудь, казалось, впал в глубокое раздумье. Дон Кихот дважды обращался к нему с просьбой продолжать свой рассказ, но он не поднимал головы и не отвечал ни слова; по истечении долгого времени он, однако же, вскинул голову и сказал:

– Я стою на том, – и не родился еще такой человек, который бы меня с этого сбил или же доказал обратное, да и дурак тот, кто думает или рассуждает иначе, – что эта архибестия лекарь Элисабат сожительствовал с королевой Мадасимой.

– Ах вы, такой-сякой! – в великом гневе вскричал Дон Кихот (по своему обыкновению, выразившийся сильнее). – Да это есть величайшее с вашей стороны вероломство или, лучше сказать, низость! Королева Мадасима – весьма почтенная сеньора, и нельзя себе представить, чтобы столь знатная особа сошлась с каким-то коновалом, а кто утверждает противное – тот лжет, как последний мерзавец. И я берусь ему это доказать пеший и конный, вооруженный и безоружный, и ночью и днем, словом, как ему будет угодно.

Карденьо смотрел на него весьма внимательно; он уже находился в состоянии умоисступления и не способен был продолжать рассказ, точно так же как Дон Кихот – слушать, ибо то, что он услышал о королеве Мадасиме, возмутило его. Странное дело: он вступился за нее так, как если бы она воистину была его истинною и природною сеньорой, и все из-за этих богомерзких романов! Карденьо, как известно, и без того был не в себе, когда же ему надавали всяких оскорбительных названий вроде лжеца, мерзавца и тому подобных, то он рассердился не на шутку и, запустив в Дон Кихота первым попавшимся булыжником, угодил ему в грудь, так что тот повалился навзничь. Санчо Панса, видя, как обходятся с его господином, бросился на умалишенного с кулаками, однако оборванец встретил его достойно: одним ударом сшиб его с ног, вслед за тем навалился на него и наломал ему бока в свое удовольствие. Козопаса, попытавшегося защитить Санчо, постигла та же участь. Расшвыряв же их всех и переколотив, оборванец как ни в чем не бывало скрылся в горах. Санчо встал и, в ярости от того, что столь незаслуженно получил взбучку, сорвал злобу на козопасе, объявив, что это он во всем виноват, ибо не предуведомил их, что на этого человека временами находит, и что если б они это знали, то были бы начеку и сумели за себя постоять. Козопас возразил, что он их упреждал, а что ежели Санчо не слышал, то он, дескать, не виноват. Санчо Панса ему слово, козопас ему два, следствием же всех этих слов было то, что они вцепились друг другу в бороду и пустили в ход кулаки, так что если б Дон Кихот не усмирил их, то от обоих остались бы одни клочья. Схватившись с козопасом, Санчо кричал:

– Оставьте меня, ваша милость, сеньор Рыцарь Печального Образа! Ведь он такой же мужик, как я, а не посвященный в рыцари, стало быть, я имею полное право безо всякого стеснения отплатить ему за обиду и как честный человек помериться с ним силами один на один.

– Так-то оно так, – заметил Дон Кихот, – но, сколько мне известно, он ничуть не виноват в том, что произошло.

Это его замечание утихомирило противников, и Дон Кихот снова спросил козопаса, можно ли сыскать Карденьо, ибо ему страх как хотелось дослушать его историю до конца. Козопас сказал ему то же, что говорил вначале, а именно – что местопребывание Карденьо в точности

ему неизвестно, но что если Дон Кихот как можно дольше в этих краях постранствует, то непременно найдет его – может статься, в здравом уме, а может, и невменяемого.



Глава XXV,

повествующая о необычайных происшествиях, случившихся в Сьерре Морене с отважным рыцарем Ламанчским, и о покаянии, которое он по примеру Мрачного Красавца на себя наложил



Простившись с козопасом, Дон Кихот снова сел на Росинанта и велел Санчо следовать за ним, каковое приказание тот вкупе со своим ослом весьма неохотно исполнил. Наконец они достигли самых что ни на есть крутизн, и Санчо смерть как захотелось побеседовать со своим господином, но, боясь ослушаться его, он ждал, чтобы тот заговорил первым. Однако, не выдержав столь продолжительного молчания, он начал так:

– Сеньор Дон Кихот! Благословите меня, ваша милость, и отпустите с миром: я сей же час намерен возвратиться домой, к жене и детям, – с ними я, по крайности, душу отведу и наговорюсь всласть, а требовать, чтобы я день и ночь скитался вместе с вашей милостью в этой глуши, да еще и молчал, когда мне охота поговорить, – это все равно что живьем закопать

меня в землю. Ежели б судьбе угодно было, чтобы животные умели говорить, как говорили они во времена этого, как бишь его, Укропа или Езопа,[168] – это бы еще куда ни шло: я выкладываю моему ослику все, что только на ум взбредет, и мне и горя мало. А то ведь не так-то легко и не у всякого достанет терпения всю жизнь странствовать в поисках приключений, которые состоят в том, что тебя пинают ногами, подбрасывают на одеяле, побивают камнями, учиняют над тобой кулачную расправу, а у тебя рот на замке, и ты, словно немой, не смеешь заговорить о том, что у тебя на сердце.

– Я тебя понимаю, Санчо, – сказал Дон Кихот, – тебе, мочи нет, хочется, чтобы я снял запрет, наложенный на твои уста. Считай, что он уже снят, и говори все, что тебе вздумается, с условием, однако же, что снятие это будет действительно до тех пор, пока мы не проедем горы.

– Ну ладно, – согласился Санчо, – мне бы только теперь поговорить, а там что господь даст. Так вот, понеже сие дозволение уже вошло в силу, я осмелюсь обратиться к вам с вопросом: что это вашей милости пришло в голову так горячо вступиться за королеву *Мордасиму* или как бишь ее? И что нужды вам до того, был этот самый, как его, *аббат* ее милым или нет? Ведь вы им не судья, и я уверен, что если б вы промолчали, то сумасшедший докончил бы свой рассказ и дело обошлось бы без булыжников, попавших вам в грудь, без пинков и без полдюжины затрещин.

– Право, Санчо, – снова заговорил Дон Кихот, – если б ты знал так же хорошо, как это знаю я, сколь почтенна и благородна была королева Мадасима, – я знаю, ты сказал бы, что я был еще слишком терпелив: другой на моем месте вырвал бы язык, с которого столь кощунственные срывались слова. В самом деле, величайшее кощунство – не только сказать, но даже помыслить, что какая-либо королева делит ложе с лекарем. Истина же заключается в том, что доктора Элисабата, о котором толковал помешанный, человека весьма благоразумного и весьма мудрого советчика, королева держала при себе в качестве лекаря и наставника. Но воображать, будто она была его возлюбленной, – это нелепица, заслуживающая строгого наказания. И если ты примешь в рассуждение, что, когда Карденьо говорил это, он был уже не в своем уме, то, верно, согласишься, что он сам не знал, что говорил.

– Я про то и толкую, что вам не стоило обращать внимание на сумасшедшего, – заметил Санчо, – мало ли что он сболтнет. Ведь если бы счастливый случай не пришел вашей милости на помощь да направил булыжник прямехонько вам в голову, а не в грудь, то хороши бы мы тогда были, а все потому, что стали на защиту этой самой сеньоры, разрази ее господь. А Карденьо еще как здорово вывернулся бы, потому он умалишенный!

– Любой странствующий рыцарь обязан защищать честь женщин, кто бы они ни были, как от людей разумных, так и от невменяемых, наипаче же честь королев, столь могущественных и достойных, какова королева Мадасима, которую я особенно чту за ее добродетели, ибо она была не только прекрасна, но и в высшей степени благоразумна и стойка в несчастиях, а ведь несчастия случались с ней беспрестанно. Советы же и общество доктора Элисабата были ей очень полезны; они умудряли ее и помогали безропотно нести тяготы жизни. А невежественной и злопыхательствующей черни это дало основание думать и утверждать, что она была его наложницей. Но я опять скажу и еще двести раз повторю, что лгут те, кто так думает и говорит.

– Да я ничего не говорю и не думаю, – сказал Санчо, – ну их совсем, пусть себе на здоровье. Сожительствовали они или нет – за это они дадут ответ богу. Мое дело сторона, я знать ничего не знаю, не любитель я вмешиваться в чужие дела, кто покупает да надувает, у того кошелек тощает. Тем более, голышом я родился, голышом весь свой век прожить ухитрился, да хоть бы они и сожительствовали – мне-то что? И ведь люди часто про других думают: у них дом – полная чаша, а поглядишь – хоть шаром покати. Ну да разве на чужой роток накинешь платок? Чего лучше: на самого господа бога наговаривали.

– Господи Иисусе! – воскликнул Дон Кихот. – Какую ты околесицу несешь, Санчо! Какое отношение имеют нанизываемые тобою пословицы к нашему предмету? Ради бога, замолчи, Санчо, и впредь заботься о своем осле и перестань заботиться о том, что тебя не касается. И постарайся наконец воспринять всеми своими пятью чувствами, что все, что я делал, делаю и буду делать, вполне разумно и вполне соответствует правилам рыцарского поведения, которые я знаю лучше, чем все рыцари в мире, когда-либо им следовавшие.

– Сеньор! – возразил Санчо. – А это тоже мудрое рыцарское правило – плутать в горах без пути, без дороги и разыскивать сумасшедшего, которому, когда мы с ним встретимся, еще, чего доброго, захочется довершить начатое, – я разумею не рассказ, а голову вашей милости и мои бока, – и войну с нами он доведет до полной победы?

– Говорят тебе, Санчо, замолчи! – сказал Дон Кихот. – Да будет тебе известно, что в эти края влечет меня не только желание сыскать безумца, но и желание совершить здесь некий подвиг и через то стяжать себе бессмертную славу и почет во всем мире. И подвиг мой будет таков, что отныне все странствующие рыцари станут смотреть на него как на нечто в своем роде совершенное, как на нечто такое, что может привести их к славе и на чем они могут проявить свое искусство.

– А что, этот подвиг очень опасен? – осведомился Санчо Панса.

– Нет, – отвечал Рыцарь Печального Образа. – Хотя к нам может прийти такая карта, что мы проиграемся в пух. Впрочем, все зависит от твоего рвения.

– От моего рвения? – переспросил Санчо.

– Да, – сказал Дон Кихот, – ведь если ты скоро возвратишься оттуда, куда я намерен тебя послать, то и мытарства мои кончатся скоро и скоро начнется пора моего величия. Однако не должно держать тебя долее в неведении касательно того, что я под всем этим разумею, а посему да будет тебе известно, Санчо, что славный Амадис Галльский был одним из лучших рыцарей в мире. Нет, я не так выразился; не одним из, а единственным, первым, непревзойденным, возвышавшимся над всеми, кто только жил в ту пору на свете. Не видать ему добра, этому дону Бельянису, и тем, кто уверял, будто он в чем-то с ним сравнялся, – это одни разговоры, даю тебе слово. Скажу еще, что художник, жаждущий славы, старается подражать творениям единственных в своем роде художников, и правило это распространяется на все почтенные занятия и ремесла, украшению государства способствующие, и оттого всякий, кто желает прослыть благоразумным и стойким, должен подражать и подражает Одиссею, в лице которого Гомер, описав претерпенные им бедствия, явил нам воплощение стойкости и благоразумия, подобно как Вергилий в лице Энея изобразил добродетели почтительного сына и предусмотрительность храброго и многоопытного военачальника, при этом оба изображали и описывали своих героев не такими, каковы они были, а такими, каковыми они должны были бы быть, и тем самым указали грядущим поколениям на их доблести как на достойный подражания пример. Так же точно и Амадис был путеводною звездою, ярким светилом, солнцем отважных и влюбленных рыцарей, и мы все, сражающиеся под стягом любви и рыцарства, должны ему подражать. Следственно, друг Санчо, я нахожу, что тот из странствующих рыцарей в наибольшей степени приближается к образцу рыцарского поведения, который больше, чем кто-либо, Амадису Галльскому подражает. Но особое благоразумие, доблесть, отвагу, выносливость, стойкость и силу чувства выказал Амадис, когда, отвергнутый сеньорой Орианой, наложил он на себя покаяние и удалился на Бедную Стремнину, дав себе имя Мрачного Красавца, имя, разумеется, заключающее в себе глубокий смысл и соответствующее тому образу жизни, который он с превеликою охотою избрал. А что касается меня, то мне легче подражать ему в этом, чем рубить великанов, обезглавливать драконов, убивать андриаков,[169] обращать в бегство войска, пускать ко дну флотилии и разрушать злые чары. И раз что это весьма удобное место для таких предприятий, как мое, то и незачем упускать удобный случай, который ныне столь услужливо подставляет мне свой вихор.

– А позвольте узнать, что же именно ваша милость намерена совершить в такой глухой местности? – осведомился Санчо.

– Разве я тебе не говорил, – отвечал Дон Кихот, – что я намерен подражать Амадису и делать вид, что я обезумел и впал в отчаяние и неистовство, дабы одновременно походить и на храброго Роланда, который, обнаружив возле источника следы Анджелики Прекрасной и догадавшись, что она творила блуд с Медором,[170] сошел с ума от горя, – с корнем вырывал деревья, мутил воду прозрачных ручьев, убивал пастухов, истреблял стада, поджигал хижины, разрушал дома, угонял кобылиц и совершил еще сто тысяч неслыханных деяний, достойных на вечные времена быть занесенными на скрижали истории? Разумеется, я не собираюсь во всем подражать Роланду, или Орландо, или Ротоландо, – его называют и так и этак, – перенимать все его безумные выходки, речи и мысли, я лишь возможно точнее воспроизведу то, что представляется мне наиболее существенным. И может статься, что я удовольствуюсь подражанием только Амадису, который без всяких вредных сумасбродств, одними лишь своими слезами и чувствами стяжал себе такую славу, какою никто еще себя не покрывал.

– Сдается мне, – сказал Санчо, – что вытворять все это рыцарей заставляла необходимость, что у них была причина каяться и валять дурака. Ну, а у вашей милости что за причина сходить с ума? Что, вас отвергла дама, что ли, или вы нашли следы и установили, что сеньора Дульсинея Тобосская резвилась с каким-нибудь мавром или христианином?

– В этом-то вся соль и есть, – отвечал Дон Кихот, – в этом-то и заключается необычность задуманного мною предприятия. Кто из странствующих рыцарей по какой-либо причине сошел с ума, тот ни награды, ни благодарности не спрашивай. Весь фокус в том, чтобы помешаться без всякого повода и дать понять моей даме, что если я, здорово живешь, свихнулся, то что же будет, когда меня до этого доведут. Притом у меня есть достаточное к тому основание, – я имею в виду долгую разлуку с навеки поработившею меня Дульсинеей Тобосской, а ты слышал, что сказал пастух Амбросьо: в разлуке человек всего страшится и все ему причиняет боль. А потому, друг Санчо, не трать времени на то, чтобы отговорить меня от столь своеобразного, столь отрадного и столь необычного подражания. Я безумен и пребуду таковым до тех пор, пока ты не возвратишься с ответом на письмо, которое я намерен послать с тобой госпоже моей Дульсинее. Отдаст она должное моей верности – тут и конец моему безумию и покаянию. Если же нет, то я, и точно, обезумею и, обезумев, уже ничего не буду чувствовать. Словом, что бы она ни ответила, так или иначе выйдет срок предстоящему мне испытанию и пройдет это состояние тревоги, в котором ты меня оставляешь ныне: ведь если ты принесешь мне радость, то я ею упьюсь, потому что я буду тогда в здравом уме, если же причинишь мне боль, то я ее не почувствую, потому что пребуду безумцем. А что, Санчо, цел ли у тебя шлем Мамбрина? Ведь ты на моих глазах подобрал его, после того как этот неблагодарный чуть было его не разбил, но все же так и не разбил, из чего явствует, сколь крепкого он закала.

Санчо ему на это ответил так:

– Клянусь богом, сеньор Рыцарь Печального Образа, с вашей милостью всякое терпение потерять можно, – такие вещи вы иной раз говорите, – ведь я начинаю догадываться, что все, что вы мне толковали про рыцарство, про завоевание королевств и империй, про раздачу островов и прочих милостей и наград, что все это, видать, россказни и враки, что все это анихея, или ахинея, – не знаю, как правильно. Потому, если кто узнает, что ваша милость таз для бритья именует шлемом Мамбрина и уже сколько дней находится в этом заблуждении, то что же иное могут о вас подумать, как не то, что человек, который это утверждает и отстаивает, верно, рехнулся? Таз у меня в мешке, весь как есть погнутый, однако дома я его починю и приспособлю для бритья, если только, господь даст, я когда-нибудь увижусь с женой и детьми.

– Послушай, Санчо, – сказал Дон Кихот, – клянусь тебе тою же самою клятвою, которою только что клялся ты, что ни у кого из покойных и ныне здравствующих оруженосцев ум не был так короток, как у тебя. Как могло случиться, что, столько странствуя вместе со мной, ты еще не удостоверился, что все вещи странствующих рыцарей представляются ненастоящими,

нелепыми, ни с чем не сообразными и что все они как бы выворочены наизнанку? Однако на самом деле это не так, на самом деле нас всюду сопровождает рой волшебников, – вот они-то и видоизменяют и подменивают их и возвращают в таком состоянии, в каком почтут за нужное, в зависимости от того, намерены они облагодетельствовать нас или же сокрушить. Вот почему то, что тебе представляется тазом для бритья, мне представляется шлемом Мамбрина, а другому – чем-нибудь еще. И это было необычайно предусмотрительно со стороны покровительствующего мне чародея – сделать так, чтобы самый настоящий, доподлинный шлем Мамбрина все принимали за таз: ведь это столь великая драгоценность, что на него всякий польстился бы, а как видят, что это просто-напросто таз, то и не пытаются у меня его отнять, в чем мы могли убедиться на примере того человека, который сперва вознамерился сломать шлем, а затем швырнул его наземь и так и оставил. Можешь мне поверить, что если б он знал ему цену, то ни за что бы с ним не расстался. Береги же его, дружок, а мне он пока не нужен, – напротив того, мне надлежит снять все доспехи и остаться в таком виде, в каком я появился на свет, если только я надумаю следовать в своем покаянии не столько Амадису, сколько Роланду.

Разговаривая таким образом, приблизились они к подошве высокой горы, которая, почти как отвесная скала, одиноко стояла среди многих других, ее окружавших. По ее склону тихий сбегал ручеек, а опоясывавший ее луг был до того зелен и травянист, что глаз невольно на нем отдыхал. Множество дерев, растения и цветы сообщали этому уголку особую прелесть. Эту лужайку Рыцарь Печального Образа и избрал местом своего покаяния, – при виде ее он, точно помешанный, громким голосом заговорил:

– Эти места, о небо, я избираю и предназначаю для того, чтобы выплакать посланное мне тобою несчастье. Здесь, в этом уголке, от влаги моих очей разольется этот ручеек, а от всечасных моих и глубоких вздохов не престанет колыхаться листва горного леса – в знак и свидетельство того, как истерзанное мое сердце крушится. Кто б ни были вы, о сельские боги, населяющие этот пустынный край, приклоните слух к стенаниям несчастного любовника, которого долговременная разлука и ревнивые мечты влекут в эти ущелья роптать и жаловаться на жестокий нрав прелестной мучительницы, являющей собою верх и предел земной красоты! О напеи и дриады, имеющие обыкновение селиться в лесистых горах! Да не возмущают сладостный ваш покой быстроногие и похотливые сатиры, в вас – безнадежно, впрочем, – влюбленные, вы же восплачьте вместе со мною над горестным моим уделом или, по крайней мере, неустанно внимайте моему плачу. О Дульсинея Тобосская, день моей ночи, блаженство муки моей, веха моих дорог, звезда судьбы моей! Да наградит тебя небо судьбою счастливою и да пошлет оно тебе все, что ты у него ни попросишь; ты же, молю, помысли о том, в каком месте и в каком состоянии я нахожусь по причине разлуки с тобою, и верности моей воздай по заслугам! О стоящие одиноко деревья, отныне друзья моего одиночества! Подайте мне знак легким трепетаньем ветвей, что присутствие мое вам не досаждает! О ты, мой оруженосец, милый мой спутник, делящий со мною удачи и невзгоды! Запомни все, что я сейчас совершу, запомни, дабы рассказать и доложить о том единственной виновнице всего происходящего!

С этими словами он спешился и, в один миг стащив с Росинанта уздечку и седло, хлопнул его по крупу и сказал:

– Тот, кто сам лишается свободы, дарует ее тебе, о конь, чьи деяния столь же непревзойденны, сколь обойден ты судьбой! Ступай, куда хочешь, ибо на челе твоем написано, что ни Астольфову Гиппогрифу,[171] ни знаменитому Фронтину,[172] который так дорого обошелся Брадаманте,[173] в резвости с тобой не сравняться.

Тут его прервал Санчо:

– Кто-то, дай бог ему здоровья, избавил нас от труда расседлывать серого, а то бы я его тоже похлопал и, можете быть уверены, наговорил бы всяких приятных вещей. Впрочем, если б он был тут, я бы никому не позволил его расседлывать, потому не для чего: повадки влюбленных и удрученных ему не указ, – ведь не они его хозяева, его хозяином когда-то, в

незабвенные времена, был я. И сказать по совести, сеньор Рыцарь Печального Образа, если только мой отъезд и сумасшествие вашей милости – все это взаправду, не мешало бы снова оседлать Росинанта: он заменил бы серого, и это мне и туда и обратно сократило бы время, а то если я двинусь пешком, то уж и не знаю, когда прибуду, когда возвращусь: ведь ходок-то я, собственно говоря, неважный.

– Вот что я тебе скажу, Санчо, – объявил Дон Кихот, – пусть будет по-твоему, мысль твоя представляется мне правильной. И еще скажу тебе, что ты уедешь через три дня, ибо я желаю, чтобы за это время ты увидел и услышал все, что я ради нее свершу и скажу, а затем ты расскажешь об этом ей.

– Да ведь я такого навидался, что после этого что ж мне еще остается увидеть? – возразил Санчо.

– Подумаешь, какой бывалый! – заметил Дон Кихот. – Сейчас я разорву на себе одежды, разбросаю доспехи, стану биться головой о скалы и прочее тому подобное, долженствующее привести тебя в изумление.

– Ради самого Христа, – сказал Санчо, – смотрите, ваша милость, поберегите вы свою голову, а то еще нападете на такую скалу и на такой выступ, что с первого же раза вся эта возня с покаянием кончится. И коль скоро вы находите, что биться головой необходимо, а без этого, мол, никак, я бы на вашем месте удовольствовался, – благо все это одно притворство, шутка и подделка, – удовольствовался бы, говорю я, битьем головы о воду или же обо что-нибудь мягкое, вроде хлопчатой бумаги, а остальное предоставьте мне: я скажу моей госпоже, что вы бились головой о вершину скалы тверже алмаза.

– Спасибо тебе за добрый совет, друг Санчо, – сказал Дон Кихот, – однако ж надобно тебе знать, что все это я проделываю не в шутку, а вполне серьезно, иначе я нарушил бы законы рыцарства, приравнивающие ложь к ереси, а ведь делать одно вместо другого – значит лгать. Следственно, задуманное мной битье головою о скалы – это будет битье с подлинным верное, без всякой примеси чего-либо ложного или показного. И ты непременно оставь мне немного корпии для лечения, если уж судьбе угодно было, чтобы мы остались без бальзама, который мы потеряли.

– Хуже всего, что мы потеряли осла, – отозвался Санчо, – потому вместе с ним пропала корпия и все остальное. Но только умоляю вас, ваша милость, забудьте вы про этот окаянный напиток, – при одном упоминании о нем у меня не то что вся душа, а и нутро переворачивается. И еще умоляю вас: представьте себе, что трехдневный срок, который вы дали мне для того, чтобы я нагляделся на ваши безумства, уже истек, что я уже видел их, что все это, как говорится, решено и подписано, а уж моей госпоже я расскажу про вас чудеса. Ну так вот, пишите письмо и отправляйте меня немедленно: мне до смерти хочется как можно скорее вернуться, чтобы вызволить вас из этого чистилища, в котором я вас оставляю.

– Ты называешь это чистилищем, Санчо? – спросил Дон Кихот. – Правильнее было бы сравнить это с адом или же еще с чем-нибудь похуже, если только есть на свете что-нибудь хуже ада.

– Кто попал в ад, то уж *nula es retencio*,[174] – заметил Санчо.

– Я не понимаю, что значит *retencio,* – сказал Дон Кихот.

– *Retencio* – это когда кто-нибудь никак не может вырваться из ада, – пояснил Санчо. – А с вашей милостью выйдет совсем даже наоборот, если только у меня не отнимутся ноги, которые нужны мне будут для того, чтобы при помощи шпор воодушевлять Росинанта. Словом, я поеду в Тобосо, прямо к госпоже моей Дульсинее, и столько ей наговорю про то, как вы делали и продолжаете делать глупости и безумствуете, – а ведь это одно и то же, – что она станет мягче перчатки, хотя бы до этого она была тверже дуба, и с ее нежным и медоточивым ответным посланием я, будто колдун, примчусь сюда по воздуху и вызволю вашу милость из этого чистилища, которое напоминает ад, но таковым, однако же, не является, ибо есть

надежда отсюда выбраться, каковой надежды выбраться, как я уже сказал, лишены те, которые в аду, о чем ваша милость вряд ли станет спорить.

– Твоя правда, – согласился Рыцарь Печального Образа. – Как бы это нам, однако ж, написать письмо?

– А приказ насчет ослят? – напомнил Санчо.

– Все будет сделано, – сказал Дон Кихот, – но раз что у нас нет бумаги, то не худо было бы по примеру древних написать письмо на листьях дерева или же на вощаных табличках, хотя, впрочем, найти здесь вощаную табличку так же трудно, как и бумагу. Ну да я уже придумал, на чем писать, и это будет более чем прилично: я имею в виду записную книжку, ранее принадлежавшую Карденьо, а ты уж позаботься о том, чтобы в первом же селении, которое встретится на твоем пути, тебе переписал письмо на хорошей бумаге и красивым почерком школьный учитель, если таковой там имеется, а не то так пономарь, только не давай писарям, – их росчерки да закорючки сам черт не разберет.

– А как же быть с подписью? – осведомился Санчо.

– Амадис никогда не ставил своей подписи, – отвечал Дон Кихот.

– Хорошо, – сказал Санчо, – но только скрепить приказ подписью необходимо, потому как если он будет переписан, то скажут, что подпись подделана, и я останусь без ослят.

– Приказ будет в той же самой книжке за моей подписью, и когда ты предъявишь его моей племяннице, то она беспрекословно выполнит мое распоряжение. Что же касается любовного послания, то ты вели подписать его так: *Ваш до гроба Рыцарь Печального Образа.* А что кто-нибудь подпишет за меня, то это несущественно: сколько я помню, Дульсинея не умеет ни читать, ни писать и ни разу в жизни не видела моего почерка и ни одного моего письма, ибо и мое и ее чувство всегда было платоническим и далее почтительных взглядов не заходило. Да и взглядами-то мы редко-редко когда обменивались, и я могу клятвенно утверждать, что вот уже двенадцать лет, как я люблю ее больше, нежели свет моих очей, которые рано или поздно будут засыпаны землею, и за все эти двенадцать лет я видел ее раза три. И притом весьма возможно, что она ни разу и внимания-то не обратила, что я на нее смотрю, – столь добродетельною и стыдливою воспитали ее отец, Лоренсо Корчуэло, и мать, Альдонса Ногалес.

– Те-те-те! – воскликнул Санчо. – Стало быть, дочь Лоренсо Корчуэло, – иначе говоря, Альдонса Лоренсо, – и есть сеньора Дульсинея Тобосская?

– Она самая, – подтвердил Дон Кихот, – и она же достойна быть владычицею всей вселенной.

– Да я ее прекрасно знаю, – молвил Санчо, – и могу сказать, что барру[175] она мечет не хуже самого здоровенного парня изо всей нашей деревни. Девка ой-ой-ой, с ней не шути, и швея, и жница, и в дуду игрица, и за себя постоять мастерица, и любой странствующий или только еще собирающийся странствовать рыцарь, коли она согласится стать его возлюбленной, будет за ней, как за каменной стеной. А уж глотка, мать честная, а уж голосина! Взобралась она как-то, изволите ли видеть, на нашу деревенскую колокольню и давай скликать отцовских батраков, и хотя они работали в поле, больше чем за полмили от деревни, а слышно им было ее, как будто они внизу, под самой колокольней, стояли. А главное, она совсем не кривляка – вот что дорого, готова к любым услугам, со всеми посмеется и изо всего устроит веселье и потеху. Теперь я прямо скажу, сеньор Рыцарь Печального Образа, что вам не только можно и должно безумствовать ради нее, но что у вас есть все основания для того, чтобы впасть в отчаяние и повеситься, и всякий, кто про это узнает, непременно скажет, что вы поступили как должно, хотя бы вас потом утащил к себе дьявол. И я бы уж хотел быть в дороге для того только, чтобы повидать ее, ведь я ее давно не видел, она, наверно, здорово изменилась, день-деньской в поле, на солнце, на воздухе, а от этого цвет лица у женщин портится. И теперь уж я вам признаюсь, сеньор Дон Кихот: до сей поры я находился в полном неведении, я искренне и твердо верил, что сеньора Дульсинея, в которую ваша милость влюбилась, это какая-нибудь

принцесса, вообще какая-нибудь важная особа, достойная тех щедрых даров, которые ваша милость ей посылала – то в виде, например, бискайца, то в виде каторжников, и еще много кой-чего вы ей, наверно, послали, потому, наверно, много побед ваша милость одерживала и одержала в ту пору, когда я еще не был оруженосцем. Но если поразмыслить хорошенько, то какой прок сеньоре Альдонсе Лоренсо, то бишь Дульсинее Тобосской, что побежденные, которых ваша милость к ней посылает и намерена посылать в дальнейшем, падут пред ней на колени? Ведь может же так случиться, что встреча произойдет как раз, когда она будет чесать лен или же молотить на гумне, и вот тут-то при виде ее как бы им не смешаться, а она над вашим подарком начнет потешаться, да еще и обидится.

– Я тебе и прежде много раз говорил, Санчо, – сказал Дон Кихот, – что ты превеликий болтун, и хотя от природы ты тупоумен, а все же вечно пытаешься острить; но дабы ты уразумел, сколь ты глуп и сколь я умен, я хочу тебе рассказать одну небольшую историйку. Надобно тебе знать, что одна прелестная, молодая, свободная, богатая и, самое главное, веселая вдовушка влюбилась в молодого послушника, крепыша и ражего детину. Дошло это до ее духовника, и он сделал доброй вдове нечто вроде отеческого внушения: «Меня крайне удивляет, сеньора, что такая знатная, такая прелестная и такая богатая особа, как вы, ваша милость, полюбила человека столь низкого происхождения, такого мужлана и такого остолопа, как этот самый имярек, а между тем в нашей обители столько магистров и докторов богословия, и вы можете выбирать их по своему вкусу, точно груши, да еще и приговаривать: „Этого хочу, того не хочу“. На это она весьма игриво и непринужденно ответила: „Вы жестоко ошибаетесь, государь мой, и, как видно, ваша милость – человек уж чересчур старинных понятий, коли полагаете, что я сделала неудачный выбор, хотя имярек, по-вашему, и смахивает на дурачка, – ведь в том, что мне от него надобно, он достаточно сведущ и самого Аристотеля за пояс заткнет“. Так вот, Санчо, в том, что мне надобно от Дульсинеи Тобосской, она не уступит благороднейшей принцессе в мире. Да ведь и не все дамы, которых воспевают поэты и которым они дают имена по своему хотению, существуют в действительности. Неужели ты думаешь, что разные эти Амарилис, Дианы, Сильвии, Филисы, Галатеи, Филиды,[176] коими полны романы, песни, цирюльни, театры, что все они и правда живые существа, возлюбленные тех, которые их славили и славят поныне? Разумеется, что нет, большинство из них выдумали поэты, чтобы было о ком писать стихи и чтобы их самих почитали за влюбленных и за людей, достойных любви. Вот почему мне достаточно воображать и верить, что добрая Альдонса Лоренсо прекрасна и чиста, а до ее рода мне мало нужды, – ведь ей в орден не вступать, значит, и незачем о том справляться, словом, в моем представлении это благороднейшая принцесса в мире. Надобно тебе знать, Санчо, если ты только этого еще не знаешь, что более, чем что-либо, возбуждают любовь две вещи, каковы суть великая красота и доброе имя, а Дульсинея имеет право гордиться и тем и другим: в красоте она не имеет соперниц, и лишь у весьма немногих столь же доброе имя, как у нее. Коротко говоря, я полагаю, что все сказанное мною сейчас – это сущая правда и что тут нельзя прибавить или убавить ни единого слова, и воображению моему она представляется так, как я того хочу: и в рассуждении красоты, и в рассуждении знатности, и с нею не сравнится Елена, и до нее не поднимется Лукреция[177] и никакая другая из славных женщин протекших столетий – равной ей не сыщешь ни у греков, ни у латинян, ни у варваров. А люди пусть говорят, что угодно, ибо если невежды станут меня порицать, то строгие судьи меня обелят.

– Должен сознаться, что вы совершенно правы, ваша милость, а я осел, – сказал Санчо. – Вот только я не знаю, зачем у меня с языка сорвалось слово «осел», – ведь в доме повешенного о веревке не говорят. Ну, готовьте письмецо, а затем счастливо оставаться, я отправляюсь в путь.

Дон Кихот вынул записную книжку и, отойдя в сторону, углубился в составление письма, потом, кончив писать, подозвал Санчо и сказал, что намерен прочитать письмо вслух, дабы он

выучил его наизусть на тот случай, если потеряет дорогой, ибо при его незадачливости всего ожидать должно. Санчо же ему на это сказал:

– Да вы несколько раз перепишите его, ваша милость, здесь же, в книжке, и дайте мне, а я доставлю его в целости и сохранности, но чтобы я затвердил его на память – это пустые бредни: у меня такая плохая память, что я сплошь да рядом забываю, как меня зовут. Прочтите, однако ж, письмо, ваша милость, – смерть хочется послушать, – уж верно, из него, как все равно из песни, слова не выкинешь.

– Так вот о чем тут идет речь, – сказал Дон Кихот.

«Всемогущая и бесстрастная сеньора!

Тот, кого ранило острие разлуки и чья изъязвлена душа, желает тебе, сладчайшая Дульсинея Тобосская, здоровья, коего он сам лишился. Если красота твоя пренебрегает мною, если твои добродетели суть мои супостаты, если твое презрение усугубляет мою кручину, то хотя я и много претерпел, однако сей муки мне уже не вынести, зане она мало того что сильна, а еще и весьма долговременна. Добрый мой оруженосец Санчо подробно опишет тебе, о неблагодарная красавица, возлюбленная врагиня моя, то состояние, в какое ты меня привела. Если ты рассудишь за благо прийти мне на помощь – я твой, если же нет, поступай, как тебе заблагорассудится, – я же, покончив счеты с жизнью, тем самым утолю и твою жестокость, и свою страсть.

Твой до гроба Рыцарь Печального Образа».

– Даю голову на отсечение, – послушав, сказал Санчо Панса, – что ничего более возвышенного я за всю свою жизнь не слыхал. Ах ты, будь я неладен, и как это вы, ваша милость, сумели сказать в этом письме все, что вам надобно, и как это все ловко подогнано к подписи *Рыцарь Печального Образа!* Ей-ей, ваша милость, вы дьявол, а не человек, – нет ничего такого, чего бы вы не знали.

– Все может пригодиться для того дела, коему я служу, – заметил Дон Кихот.

– Ну, а теперь, ваша милость, – сказал Санчо, – черкните на обороте записочку насчет трех ослят и подпишитесь как можно разборчивее, чтобы каждый, как взглянет, узнал вашу руку.

– С удовольствием, – молвил Дон Кихот.

Он написал записку, а затем прочитал вслух от слова до слова:

«Благоволите, ваша милость, сеньора племянница, выдать подателю сего первого ослиного векселя, оруженосцу моему Санчо Пансе, трех ослят из числа пяти, коих я оставил у себя в имении и которые находятся на попечении вашей милости. Вышеозначенных трех ослят сим повелеваю выдать ему в уплату за трех других, которых я с него здесь получил наличными и которые в силу настоящего векселя и его, Санчо, расписки долженствуют считаться погашенными. Писано в сердце Сьерры Морены двадцать второго августа сего года».

– Отлично, – сказал Санчо. – Подпишитесь, ваша милость.

– Подписываться не обязательно, – возразил Дон Кихот, – требуется только мой росчерк, – ведь это все равно что подпись, и этого не то что для трех, а и для целых трехсот ослов будет довольно.

– Я вам верю, ваша милость, – сказал Санчо. – А теперь позвольте, я пойду оседлаю Росинанта, вы же, ваша милость, будьте готовы меня благословить, ведь я прямо сейчас и в дорогу и на ваши дикие выходки глядеть не стану, – я их столько, скажу, видел, что уж больше невмоготу.

– Во всяком случае, мне угодно, Санчо, – ибо так нужно, – мне угодно, говорю я, чтобы ты посмотрел, как я в голом виде раз двадцать пять побезумствую, причем все это я в какие-нибудь полчаса сумею проделать, – впоследствии же, коль скоро ты все это видел своими

глазами, ты можешь, положа руку на сердце, поклясться, что видел и другие мои выходки, какие тебе вздумается присовокупить. Но уверяю тебя, что сколько бы ты их ни описал, а все-таки у меня их будет больше.

– Ради всего святого, государь мой, не раздевайтесь при мне, а то мне станет очень жаль вашу милость, и я непременно расплачусь. А вчера я так плакал по своем сером, что у меня и сейчас еще голова трещит, и я не расположен затевать новый плач. А коли вашей милости угодно, чтобы я поглядел на некоторые безумства, то безумствуйте одетый, да поскорее, и притом как попало. Тем более, мне все это ни к чему, и, как я уже сказал, желательно ускорить мое возвращение, каковое долженствует быть с вестями, коих ваша милость ожидает и заслуживает. А в случае чего берегитесь, сеньора Дульсинея! Если она не ответит как подобает, то я готов дать какое угодно клятвенное обещание, что пинками и тумаками выколочу у нее из нутра благоприятный ответ. Потому доколе же это можно терпеть, чтобы такой славный странствующий рыцарь, как вы, ваша милость, лишался рассудка неизвестно из-за чего, из-за какой-то... Пусть лучше эта сеньора не заставляет меня договаривать, иначе, вот как бог свят, я ее выведу на чистую воду, а там будь что будет. Я ведь на этот счет мастер! Плохо она еще меня знает! Коли бы знала, так, ей-же-ей, относилась бы ко мне с почтением.

– Право, Санчо, ум у тебя, мне кажется, не намного здоровее, чем у меня, – заметил Дон Кихот.

– Я не такой безумный, – возразил Санчо, – я только более вспыльчивый. Но оставим этот разговор, – скажите лучше, чем ваша милость намерена питаться впредь до моего возвращения? Уж не думаете ли вы по почину Карденьо выходить на дорогу и грабить пастухов?

– Об этом ты не беспокойся, – сказал Дон Кихот, – если бы даже у меня и было что поесть, я питался бы одними травами и плодами, коими сии деревья и луг меня наделят, – необычность моего предприятия в том именно и состоит, чтобы ничего не есть и терпеть прочие тому подобные лишения. Ну, с богом!

– А знаете, ваша милость, чего я опасаюсь? Что не попаду я опять на то же самое место, – уж больно здесь глухо.

– Запоминай окрестные предметы, – сказал Дон Кихот, – а я постараюсь далеко отсюда не уходить и даже не поленюсь взбираться на самые высокие скалы и посматривать, не едешь ли ты обратно. Кроме того (и это будет самое правильное), чтобы ты меня не потерял и не заблудился, советую тебе нарезать дроку – его здесь гибель – и разбрасывать его по дороге до тех пор, пока не выедешь на ровное место, и по этим вехам и приметам, словно по Тезеевой нити в лабиринте,[178] ты и отыщешь меня на возвратном пути.

– Так я и сделаю, – сказал Санчо Панса.

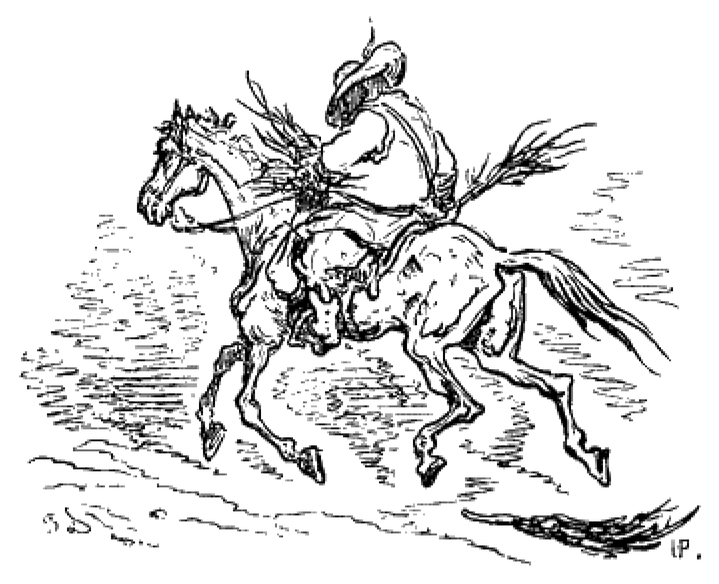
Он нарезал дроку и, попросив у своего господина благословения, с ним попрощался, – при этом и тот и другой проливали обильные слезы. Затем Санчо сел на Росинанта, которого Дон Кихот поручил его заботам, приказав глядеть за ним, как за самим собой, и двинулся в сторону равнины, время от времени по совету своего господина бросая ветки дрока. И как ни приставал к нему Дон Кихот, чтобы он посмотрел, по крайней мере, хоть на два его безумства, он продолжал свой путь. Однако, не отъехав и на сто шагов, он все же вернулся и объявил:

– Я хочу сказать, сеньор, что вы совершенно правы: чтобы я мог со спокойной совестью поклясться, что видел ваши безумства, не худо было бы поглядеть хоть на какое-нибудь из них, – впрочем, одно то, что вы здесь остались, есть уже изрядное с вашей стороны безумие.

– А что я тебе говорил? – сказал Дон Кихот. – Погоди, Санчо, ты оглянуться не успеешь, как я уже что-нибудь сотворю.

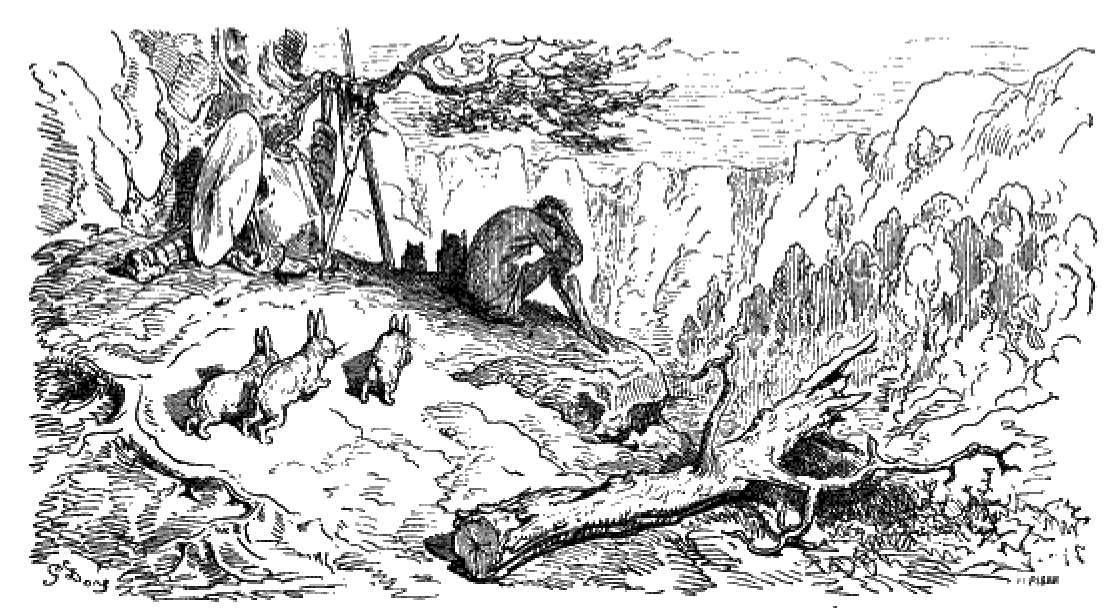
Тут он с необычайною быстротою снял штаны и, оставшись в одной сорочке, нимало не медля дважды перекувырнулся в воздухе – вниз головой и вверх пятами, выставив при этом напоказ такие вещи, что Санчо, дабы не улицезреть их вторично, довольный и

удовлетворенный тем, что мог теперь засвидетельствовать безумие своего господина, дернул поводья. И тут мы с ним и расстанемся впредь до его возвращения, каковое последует весьма скоро.



Глава XXVI,

в коей речь идет о новых странных поступках, которые Дон Кихот в качестве влюбленного почел за нужное совершить в Сьерре Морене



Обращаясь же к рассказу о том, что делал Рыцарь Печального Образа, оставшись один, история гласит, что как скоро Дон Кихот, от пояса до пят нагой и от пояса до головы одетый, покончил с прыжками и кувырканьями, то, видя, что Санчо, не пожелав долее задерживаться ради его сумасбродств, уже отбыл, он тотчас взобрался на вершину высокой горы и стал думать о том, о чем думал много раз, хотя пока еще ни к какому твердому решению не пришел, а именно, что лучше и что целесообразнее: подражать буйному помешательству Роланда или же меланхолическому – Амадиса; и, сам с собой рассуждая, он говорил:

– Общее мнение таково, что Роланд был славным и храбрым рыцарем, но что же в том удивительного? Как-никак, он был очарован, и умертвить его можно было, лишь всадив ему в пятку булавку, а он постоянно носил сапоги с семью железными подметками. Впрочем, хитрости эти его не спасли – Бернардо дель Карпьо их разгадал и задушил его в своих объятиях в Ронсевале. Однако довольно об его храбрости, перейдем к тому, как он потерял рассудок, – а он, бесспорно, его потерял после того, как обнаружил следы возле источника, и после того, как пастух ему сообщил, что Анджелика раза два, если не больше, спала в часы полдневного зноя с Медором, курчавым мавритенком, пажом Аграманта.[179] И коль скоро он поверил этому сообщению, а именно тому, что возлюбленная покрыла его позором, то сойти с ума ему ничего не стоило, но как же я-то буду подражать его безумствам, когда у меня отсутствует подобного рода повод? Ведь я готов поклясться, что моей Дульсинее Тобосской ни разу не попадался на глаза живой мавр, в его настоящем виде, и что она и поныне остается такою же непорочною девою, как и ее родительница. И я нанес бы ей явное оскорбление, когда бы, заподозрив ее в обратном, избрал тот вид умственного расстройства, каким страдал неистовый Роланд. С другой стороны, я знаю, что Амадис Галльский, не потеряв рассудка и без всяких безумств, стяжал себе беспримерную славу одною лишь силою своего чувства: согласно истории, он ограничился тем, что, когда Ориана пренебрегла им и велела не показываться ей на глаза, пока не последует на то ее соизволение, удалился вместе с одним отшельником на Бедную Стремнину, и там он исходил слезами и горячо молился богу, пока наконец небо над ним не сжалилось – в то самое мгновенье, когда он особенно сокрушался и горевал. А если так, то к чему мне ныне брать на себя труд раздеваться догола, докучать деревьям, которые мне ничего дурного не сделали, и возмущать прозрачную воду ручьев, которые в случае нужды меня напоят? Да живет память об Амадисе и да последует его примеру, в чем только может, Дон Кихот Ламанчский, о котором будут говорить то же, что было сказано о ком-то еще: *Он подвигов не совершил, но он погиб, идя на подвиг.* И пусть Дульсинея Тобосская не отринула меня и не пренебрегла мною – повторяю, довольно и того, что я с ней разлучен. Итак, за дело! Придите мне на память, деяния Амадиса, и научите меня, с чего надлежит начать подражание вам. Впрочем, я уже вспомнил, что усерднее всего прочего он молился и поручал себя богу. Да, но что же я буду делать без четок?

Но он тут же сообразил, как с этим быть, а именно: оторвал от болтавшегося края сорочки огромный лоскут и сделал на нем одиннадцать узелков, из коих один – побольше, и вот этот самый лоскут и заменял ему четки в течение всего времени, которое он здесь провел и которого ему с избытком хватило на то, чтобы миллион раз прочитать «Ave Maria». Однако же он был весьма огорчен тем обстоятельством, что здесь не оказалось отшельника, который исповедовал бы его и утешал, а потому он проводил время так: гулял по лугу и без конца вырезал на древесной коре и чертил на мелком песке стихи, в коих преимущественно изливал свою тоску, а также воспевал Дульсинею. Но когда наконец Дон Кихота сыскали, то из всех его стихов, как показали дальнейшие поиски, оказались целыми и удобочитаемыми только лишь следующие:

О кусты, деревья, травы,
Одеянье гор нагих,
Ледяных вершин оправа!
Пусть напеву с уст моих
Вторит хор ваш величавый,
Чтобы горестная весть —
В мире нет ее грустнее! —
Разнеслась повсюду днесь:
Дон Кихот рыдает здесь
От тоски по Дульсинее

Из Тобосо.

Здесь, страдая беспримерноБез владычицы своей,Дни влачит любовник верный,Коего в край дикий сейБог любви, мальчишка скверный,Хитростью сумел завесть.И поэтому, худея,Как бурдюк, где дырка есть,Дон Кихот рыдает здесьОт тоски по ДульсинееИз Тобосо. Бранной славы многотрудной,На несчастие свое,Возжелал он, безрассудный,И дерзнул искать ееВ этой местности безлюдной.Тут Амур его и хлестьПо хребту, лопаткам, шее.И, плетей не в силах счесть,Дон Кихот рыдает здесьОт тоски по ДульсинееИз Тобосо.

Этому добавлению к имени Дульсинея – *из Тобосо* – немало смеялись те, кто вышеприведенные стихи обнаружил; они высказали такое предположение: Дон Кихот, мол, вероятно, решил, что если к имени Дульсинея он не присовокупит – *из Тобосо,* то смысл строфы останется неясным; и они были правы, ибо он сам впоследствии в этом признался. Много еще написал он стихов, но, как уже было сказано, полностью сохранились и могли быть разобраны только эти три строфы. Так, в стихотворстве, во вздохах, в воплях к фавнам и сильванам окрестных дубрав, к нимфам рек, к унылому и слезами увлажненному Эхо – в воплях о том, чтобы они выслушали его, утешили и отозвались, и проходило у него время, а также в поисках трав, коими он намерен был пробавляться до возвращения Санчо; должно заметить, что если б тот пробыл в отсутствии не три дня, а три недели, то Рыцарь Печального Образа так изменил бы свой образ, что его бы не узнала родная мать.

Но пусть он себе сочиняет стихи и вздыхает, мы же расскажем, что случилось с Санчо Пансою за время его посольства, а случилось с ним вот что: выбравшись на большую дорогу, двинулся он в сторону Тобосо и на другой день подъехал к тому самому постоялому двору, где происходило злополучное подбрасывание на одеяле; и не успел Санчо хорошенько его разглядеть, как вдруг почудилось ему, будто он снова летает по воздуху, и ему не захотелось там останавливаться, нужды нет, что подъехал он в такое время, когда это можно и должно было сделать, ибо время было обеденное, самая пора удовлетворить свою потребность в горячем, а ведь он уже давным-давно питался всухомятку.

Необходимость заставила его приблизиться к постоялому двору, хотя он все еще колебался, останавливаться ему или не останавливаться. Но в это время оттуда вышли два человека и тотчас узнали его. И один из них сказал другому:

– Послушайте, сеньор лиценциат! Вот этот всадник – не Санчо ли это Панса, тот самый, который, по рассказам ключницы нашего искателя приключений, отправился вместе со своим господином в качестве его оруженосца?

– Так, это он, – отвечал лиценциат, – и едет он на коне нашего Дон Кихота.

Они потому сразу узнали его, что то были его односельчане – священник и цирюльник, те самые, которые подвергали осмотру книги Дон Кихота и выносили им окончательный приговор. Узнав же Санчо Пансу и Росинанта, снедаемые желанием расспросить про Дон Кихота, они приблизились к нему, и тут священник, назвав его по имени, молвил:

– Друг Санчо Панса! Где твой господин?

Санчо Панса тотчас узнал их и порешил утаить то место и то состояние, в котором его господин находился, а потому ответил, что господин его где-то занят чрезвычайно важным делом, а каким именно – этого он, Санчо, лопни его глаза, открыть не может.

– Нет, нет, Санчо Панса, – возразил цирюльник, – если ты нам не скажешь, где он, мы подумаем, – да уже и начинаем думать, – что ты убил его и ограбил, раз что едешь на его коне. В самом деле, верни нам хозяина этой лошади, а то я тебе задам.

– Вы мне не грозите, я не такой человек, чтоб кого-нибудь грабить и убивать, пусть их убивает судьба или же создатель. Мой господин в свое удовольствие кается сейчас в горах.

И тут Санчо единым духом все и выпалил и рассказал о том, в каком состоянии оставил он Дон Кихота, какие были у его господина приключения и как он, Санчо Панса, отправился с письмом к сеньоре Дульсинее Тобосской, то есть к дочери Лоренсо Корчуэло, в которую его господин влюбился по уши. Подивились священник и цирюльник тому, что услышали из уст Санчо Пансы, и хотя для них не являлось тайной, что Дон Кихот свихнулся и каким именно видом умственного расстройства он страдал, однако это не мешало им всякий раз снова даваться диву. Они попросили Санчо Пансу показать им послание, которое он вез сеньоре Дульсинее Тобосской. Тот сказал, что послание написано на одном из листков в памятной книжке и что Дон Кихот велел отдать его переписать в первом же селении; священник, однако ж, попросил показать письмо – он, дескать, отличным почерком его перепишет. Санчо Панса сунул руку за пазуху и поискал книжку, но так и не нашел, да если б он искал ее даже до сего дня, то все равно не нашел бы, потому что она осталась у Дон Кихота и тот забыл ему передать, а Санчо невдомек было напомнить.

Когда Санчо обнаружил, что книжки нет, он стал бледен как смерть и, вновь принявшись весьма поспешно себя ощупывать, вновь пришел к заключению, что книжки нет, и, мигом запустив обе руки себе в бороду, половину вырвал, а затем в мгновение ока раз шесть подряд хватил себя кулаком по лицу, так что из носу у него потекла кровь. Увидевши это, священник и цирюльник спросили, что с ним случилось и за что он так на себя напустился.

– Что со мной случилось? – воскликнул Санчо. – А то, что в одно, как это говорится, *мановение,* я ахнуть не успел, – у меня уже не стало трех ослят, из коих каждый стоит целого замка.

– Как так? – спросил цирюльник.

– Я потерял записную книжку, – пояснил Санчо, – с письмом к Дульсинее Тобосской и с приказом за подписью моего господина, в котором он велит племяннице выдать мне трех из тех четырех или пяти ослят, что остались у него в имении.

И тут он сообщил им о пропаже серого. Священник принялся утешать его и сказал, что, когда он разыщет своего господина, тот напишет другой приказ, но уже на большом листе бумаги, согласно существующим правилам и законам, ибо вексель, написанный на листке из записной книжки, никто не примет и не оплатит.

Санчо этим утешился и сказал, что коли так, то пропажа письма к Дульсинее не очень его огорчает, тем более что он знает письмо почти наизусть, и с его слов они могут записать его, когда и где им заблагорассудится.

– Говори же, Санчо, – сказал цирюльник, – а мы будем записывать.

Силясь припомнить содержание письма, Санчо Панса почесывал затылок, переминался с ноги на ногу, то поднимал, то опускал глаза, изгрыз полногтя на пальце и, изрядное количество времени продержав в неведении священника и цирюльника, ожидавших, что он скажет, наконец объявил:

– Ей-богу, сеньор лиценциат, видно, черти утащили все, что оставалось у меня в памяти от этого письма. Впрочем, начиналось оно так: «Всемогущая и безотказная сеньора».

– Да не *безотказная,* – поправил цирюльник, – а вернее всего: «бесстрастная» или же «всевластная сеньора».

– Вот-вот, – сказал Санчо. – А дальше, если только память мне не изменяет, было так... если только мне не изменяет память: «Язвительный, и бессонный, и раненый целует вашей милости руки, неблагодарная и никому не известная красавица», и что-то еще насчет здоровья и болезни, коих он ей желает, – одним словом, много всего было подпущено, а кончалось так: «Ваш до гроба Рыцарь Печального Образа».

Немало потешила обоих путников отличная память Санчо Пансы, и они выразили ему свое восхищение и попросили еще два раза прочитать письмо, дабы они, в свою очередь, могли запомнить его и при случае записать. Санчо еще три раза прочитал письмо и наговорил невесть сколько всякой чепухи. Засим он рассказал о делах своего господина, умолчав, однако ж, о том, как его самого подбрасывали на этом постоялом дворе, куда он теперь не решался попроситься на постой. Еще он сказал, что его господин в предвидении благоприятного ответа от сеньоры Дульсинеи Тобосской уже нацелился на императорский или, по крайности, на королевский престол, что так-де между ними условлено и что это – дело нехитрое, ежели принять в рассуждение храбрость Дон Кихота и мощь его длани; и что как скоро это сбудется, то Дон Кихот его, Санчо, женит, ибо он к тому времени овдовеет, это уж как пить дать, и сосватает ему наперсницу императрицы, наследницу огромного и богатого имения, но только на материке, без всяких этих островов и чертостровов, ибо они ему уже разонравились. Все это Санчо проговорил весьма хладнокровно, время от времени прочищая нос и с таким глупым видом, что его односельчане снова дались диву при мысли о том, сколь пылким должно быть безумие Дон Кихота, если увлекло оно за собою рассудок бедняги Санчо. Однако ж они не дали себе труда рассеять его заблуждение: на душе, мол, у него будет спокойнее, если он останется при своем мнении, а им и вовсе одно удовольствие слушать, как он городит чушь. А потому они сказали, чтобы он молился богу о здравии своего господина, ибо со временем стать, как он говорит, императором, или, по малой мере, архиепископом, или же быть возведенным в какой-либо другой высокий сан – это вещь возможная и очень даже легко исполнимая. Санчо же им на это сказал:

– Сеньоры! А что, если судьба повернет дело так, что моему господину вспадет на ум стать не императором, а архиепископом? Так вот я бы хотел знать заранее: чем обыкновенно награждают своих оруженосцев странствующие архиепископы?

– Обычная награда, – отвечал священник, – это приход с отправлением обязанностей духовника или же без оного, или назначают их причетниками, а причетники получают хорошее жалованье, не считая столь же крупных побочных доходов.

– Но для этого необходимо, – возразил Санчо, – чтобы оруженосец не был женат и чтобы он, по крайности, умел прислуживать в церкви. А коли так, то все пропало, потому, перво-наперво, я женат, а во-вторых, не учен грамоте! И что только со мной будет, коли моему господину придет охота стать архиепископом, а не императором, как это принято и как это водится у странствующих рыцарей?

– Не беспокойся, друг Санчо, – заговорил цирюльник, – мы попросим твоего господина, отсоветуем ему, скажем, что он поступит по совести, коли станет императором, а не архиепископом, да это ему и легче, оттого что он более храбр, нежели образован.

– Мне тоже так кажется, – заметил Санчо, – хотя должен вам сказать, что он на все руки мастер. Я же, со своей стороны, буду молить бога направить моего господина в такую сторону, где бы он и самому себе угодил, и меня осчастливил.

– Ты рассуждаешь, как человек здравомыслящий, – сказал священник, – и намерен поступить, как истинный христианин. Но сейчас надлежит обсудить, как нам избавить твоего господина от этого бессмысленного покаяния, о котором ты нам рассказал. И дабы обдумать, как это осуществить, и дабы подкрепиться, – ведь уже время, – не худо было бы зайти на постоялый двор.

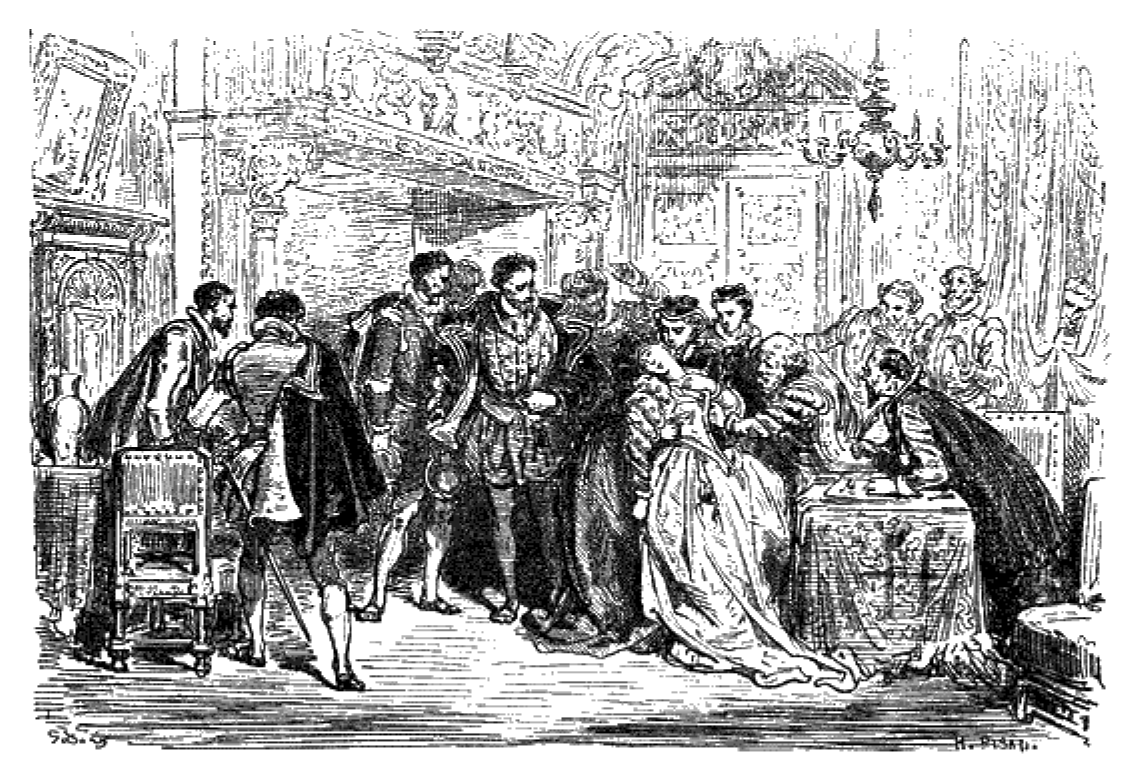
Санчо сказал, что пусть, мол, они зайдут, а он подождет здесь, – потом, дескать, он им объяснит, отчего он не зашел и отчего не след ему туда заходить, – но что он просит вынести ему чего-нибудь горячего, а Росинанту – овса. Они ушли, он остался, а немного погодя цирюльник вынес ему поесть. После этого священник с цирюльником долго еще размышляли, как им достигнуть желаемого, и наконец священник пришел к мысли совершенно во вкусе Дон Кихота и вполне отвечавшей их намерениям, а именно – он сказал цирюльнику, что измыслил

он вот что: он, дескать, переоденется странствующею девицею, а цирюльник приложит все старания, чтобы как можно лучше вырядиться ее слугою, и в таком виде они отправятся к Дон Кихоту, и он, священник, прикинувшись обиженною и беззащитною девицею, попросит его об одном одолжении, в котором тот, как подобает доблестному странствующему рыцарю, разумеется, ему не откажет. Одолжение это состоит в том, чтобы Дон Кихот последовал за девицею и отомстил за оскорбление, неким злым рыцарем ей нанесенное; кроме того, девица попросит у него дозволения не снимать маски, ниже отвечать ему, коль скоро он станет о чем-либо ее вопрошать, покуда он над тем злым рыцарем должной расправы не учинит. В заключение же священник выразил твердую уверенность, что Дон Кихот при таких условиях пойдет на все и что таким образом они вызволят его оттуда и доставят в деревню, а там уж они попытаются сыскать средство от столь необычайного помешательства.



Глава XXVII

о том, как священник и цирюльник справились со своею задачей, а равно и о других вещах, достойных упоминания на страницах великой этой истории



Цирюльник не только не отверг замысел священника, но, напротив, вполне одобрил, и они тот же час привели его в исполнение. У хозяина постоялого двора они раздобыли женское платье и головной убор, а в залог оставили новенькую сутану священника. Цирюльник сделал себе длинную бороду из бычачьего хвоста, не то бурого, не то рыжего, в который хозяин постоялого двора имел обыкновение втыкать гребень. Хозяйка спросила, зачем понадобились им эти вещи. Священник, вкратце рассказав ей о сумасшествии Дон Кихота и сообщив, что в настоящее время он находится в горах, пояснил, что весь этот маскарад нужен им для того, чтобы вызволить его оттуда. Хозяин и хозяйка тотчас догадались, что сумасшедший – это их бывший постоялец, изобретатель бальзама, господин того самого оруженосца, который летал тут у них на одеяле, и рассказали священнику обо всем, что с ним произошло у них на постоялом дворе, не скрыв и того, что так тщательно скрывал Санчо. Наконец хозяйка нарядила священника так, что лучше и желать было нельзя: надела на него суконную юбку, на которой были нашиты полосы черного бархата шириною в ладонь, все до единой с прорезами, и отделанный белым атласом корсаж из зеленого бархата, – так же, как и юбка, времен короля Вамбы.[181] Однако вместо женского головного убора священник пожелал надеть свой полотняный стеганый ночной колпак, лоб он повязал лоскутом черной тафты, а из другого лоскута сделал маску, и она отличнейшим образом закрыла ему и лицо и бороду. Сверху он нахлобучил шляпу, такую огромную, что она могла бы заменить зонт, и, надев накидку, на дамский манер сел верхом на мула, меж тем как на другого мула сел цирюльник с длинною, до пояса, бородою, наполовину белою, наполовину рыжею, ибо сделана она была, как известно, из грязного бычачьего хвоста.

Они попрощались со всеми, в том числе и с доброю Мариторнес, которая им сказала, что хоть она и грешница, а все же дает обещание помолиться, чтобы господь послал им удачу в этом представляющем такие трудности и истинно христианском начинании. Но не успели они отъехать от постоялого двора, как вдруг священнику вспало на ум, что он поступил дурно, вырядившись таким образом, ибо неприлично священнослужителю так наряжаться, хотя бы и для благой цели; и, поделившись своими соображениями с цирюльником, он предложил ему поменяться одеянием, ибо правильнее, дескать, будет, если цирюльник изобразит

беззащитную девицу, а он – ее слугу: при этом условии он-де не так осквернит свой сан; буде же цирюльник на это не согласится, то он дальше не поедет, хотя бы Дон Кихота утащил к себе черт. В это время к ним приблизился Санчо и, поглядев на их наряд, не мог удержаться от смеха. Цирюльник между тем дал священнику полное согласие, и тот, изъясняя свой замысел, стал поучать его, как он должен себя вести и что он должен сказать Дон Кихоту, чтобы побудить и заставить его последовать за ним и покинуть трущобу, которую тот избрал местом бесплодного своего покаяния. Цирюльник на это возразил, что он и без наставлений в лучшем виде обделает дело. Решившись не переодеваться, пока они не подъедут к тому ущелью, где Дон Кихот находился, он уложил свой наряд, а священник приладил бороду, и, предводительствуемые Санчо Пансою, они продолжали свой путь; Санчо рассказал про случай с помешанным, которого он и его господин повстречали в горах, однако ж про чемодан и его содержимое умолчал, ибо хоть и простоват был наш молодец, а на деньги падок.

На другой день увидели они ветки, которые разбросал Санчо, чтобы по этой примете определить место, где он оставил своего господина; узнав же местность, он объявил, что здесь начинаются ущелья и что пора им переодеваться, если только это и правда необходимо для спасения сеньора Дон Кихота; должно заметить, что они уже объяснили Санчо, сколь это важно – предстать пред Дон Кихотом в подобном наряде и что только так и можно принудить его сменить этот ужасный образ жизни на иной, и строго-настрого наказали не говорить ему, кто они такие и что он их знает; если же он спросит – а он-де непременно спросит, – вручил ли Санчо письмо Дульсинее, то сказать, что вручил, но как она грамоте не знает, то и ответила ему на словах и велела под страхом навлечь на себя ее гнев в ту же секунду по крайне важному делу явиться к ней; к этому они еще кое-что прибавят от себя и таким образом, без сомнения, выведут его туда, где его ждет лучшая доля, и с их помощью он немедленно двинется по пути если не к императорскому, то уж, во всяком случае, к королевскому престолу, – архиепископства же, дескать, бояться нечего. Санчо все это выслушал, хорошенько запомнил и поблагодарил их за намерение посоветовать его господину стать императором, а не архиепископом, ибо он был глубоко убежден, что император скорей может чем-либо пожаловать своего оруженосца, нежели странствующий архиепископ. Еще он сказал, что лучше всего, если он поедет вперед и передаст Дон Кихоту ответ его повелительницы, – может, этого окажется достаточно для того, чтобы извлечь его оттуда, и им незачем будет так себя утруждать. Мысль Санчо показалась им правильной, и они решились подождать, пока он возвратится с вестями о своем господине.

Санчо скрылся в одной из расселин, они же остались в другой, где тихий протекал ручеек в прохладной и манящей тени скал и там и сям росших дерев. Знойный день, – надобно заметить, что дело происходило в августе, когда здесь стоят сильные жары, – час, – а именно три часа пополудни, – все это делало открывшийся их взору уголок еще более привлекательным и усиливало соблазн дождаться здесь возвращения Санчо, и они на это склонились. И вот, когда путники отдыхали в тени, их слуха достигнул голос, который, не будучи сопровождаем звуками какого-либо инструмента, приятно и сладко звучал, чему они немало подивились, ибо в их представлении это было совсем не такое место, где бы мог оказаться столь искусный певец. Хоть и принято думать, что в рощах и лугах обретаются пастухи-сладкопевцы, но ведь это скорее поэтический вымысел, нежели правда. Каково, однако же, было их удивление, когда они удостоверились, что поют стихи, да такие, что не простому пастуху под стать, но просвещенному столичному жителю! И они не ошиблись, ибо вот что это были за стихи:

Что питает в милой твердость?

Гордость.

Что сулит мне повседневность?

Ревность.

Что лишит меня терпенья?
Презренье.
Значит, верить в исцеленье
Мне расчета больше нету;
Надломили веру эту
Гордость, ревность и презренье.

Кто таит в себе опасность?Страстность.Кто виновен, что я мучусь?Участь.Кто судил, чтоб так и было?Светила.Значит, мне грозит могилаИ лекарства бесполезны:Ведь меня толкают в безднуСтрастность, участь и светила. Что лишь множит мук безмерность?Верность.Что презреть мне надо б разом?Разум.Что в себе кляну все вновь я?Здоровье.Значит, доведен любовьюЯ до гибели телесной,Ибо с чувством несовместныВерность, разум и здоровье.

Время дня, время года, безлюдье, голос и искусство певца – все преисполняло обоих путников восторга и неги, и они не двигались, ожидая, что вот сейчас снова послышится пение; но безмолвие все еще длилось, а потому они положили отправиться на поиски человека, обладавшего таким прекрасным голосом. И только было начали они приводить замысел свой в исполнение, как тот же голос, приковав их к месту, раздался вновь и пропел вот этот сонет:

Святая дружба! Ты глазам людей
На миг свой образ истинный открыла
И вознеслась, светла и легкокрыла,
К блаженным душам в горний эмпирей,

Откуда путь из тьмы юдоли сейВ мир, где бы ложь над правдой не царилаИ зла добро невольно не творило,Указываешь нам рукой своей. Сойди с небес иль воспрети обмануТвой облик принимать и разжигатьРаздоры на земле многострадальной. Не то наступит день, когда нежданноОна вернется к дикости опятьИ погрузится в хаос изначальный.

Пение завершилось глубоким вздохом, и оба путника вновь напрягли слух в надежде, что певец споет что-нибудь еще; но как мелодия перешла в рыдания и скорбные пени, то они положили узнать, кто этот страдалец, чей голос столь же чудесен, сколь жалобны его стоны; и едва лишь они обогнули скалу, как увидели человека, коего сложение и наружность были точь-в-точь такие, как описывал Санчо Панса, когда пересказывал рассказ Карденьо; появление же их обоих человека того не поразило, – как бы погруженный в раздумье, свесив голову на грудь, он продолжал стоять неподвижно и, однажды взглянув на них, когда они внезапно пред ним предстали, больше уже не поднимал глаз. Священник был осведомлен о его беде, ибо по некоторым признакам тотчас узнал его, и теперь, будучи человеком красноречивым, он приблизился к нему и в кратких, однако ж весьма разумных речах попытался доказать ему, что должно перестать влачить жалкое это существование, иначе земное его существование прекратится вовсе, а это уже величайшее из всех несчастий. Карденьо на ту пору находился в совершенном уме, припадки буйства, так часто выводившие его из себя, на время утратили над ним свою власть, а потому незнакомцы, одеянием своим резко отличавшиеся от тех, кого ему приходилось встречать в пустынных этих местах, привели его в изумление, каковое еще возросло, когда с ним заговорили о его делах, как о чем-то уже известном, что явствовало из слов священника; и повел он с ними такую речь:

– Кто бы вы ни были, сеньоры, я вижу, что само небо, неустанно пекущееся о добрых, равно как – весьма часто – и о злых, послало мне, недостойному, в столь уединенном и далеком от человеческого жилья краю встречу с людьми, которые наглядно, приводя многообразные и разумные доводы, доказывали мне, сколь неразумно с моей стороны вести такую жизнь, и тщились направить меня на менее тесный путь. Но вам неизвестно то, что знаю я, а именно, что новая, горшая беда в сем случае неминуемо заступит место прежней, вот почему вы, верно, принимаете меня за человека слабоумного или, еще того хуже, и вовсе помешанного. И в этом не было бы ничего удивительного, ибо я сам вижу, что воображение мое, живописующее происшедшие со мною несчастья, обладает такою мощною силою и столь стремительно влечет меня к гибели, что, не в силах будучи сопротивляться, я превращаюсь в камень, я ничего уже не чувствую и не сознаю. И только тогда я начинаю понимать, что со мной было, когда мне про это напомнят другие и покажут, что я успел натворить за то время, пока мною владел этот ужасный недуг, и тут мне остается лишь скорбеть напрасно, вотще проклинать свой жребий и в оправдание себе открывать всем, кто только пожелает выслушать меня, причину моих безумств, ибо люди рассудительные, узнав причину, перестанут дивиться следствиям, и если и не исцелят меня, то, по крайней мере, не осудят, и сострадание, вызванное моими горестями, заступит у них в душе место злобы на мою несдержанность. И если вы, сеньоры, явились ко мне с тою же целью, с какою ко мне являлись другие, то, прежде чем снова начать вести со мною столь разумные речи, соблаговолите выслушать отчет о бессчетных моих злоключениях: может статься, тогда вы уже не возьмете на себя труд утешать меня в неутешном моем горе.

Обоим путникам только этого и нужно было – услышать из уст самого Карденьо, что послужило причиной его недуга, и они попросили про это им рассказать, обещав не пытаться врачевать его или же утешать, пока он сам того не пожелает, после чего печальный кавальеро начал излагать жалостную свою историю почти в тех же словах и выражениях, в каких назад тому несколько дней рассказывал он ее Дон Кихоту и козопасу, причем из-за доктора Элисабата и из-за неуклонного стремления Дон Кихота защищать честь рыцарства рассказ тогда так и остался незаконченным, как о том сообщает история. Однако теперь по счастливой случайности припадок буйства замедлил наступлением и дал возможность довести рассказ до конца; дойдя же до случая с запиской, которую дон Фернандо обнаружил в книге об Амадисе Галльском, Карденьо объявил, что он знает ее наизусть и что заключает она в себе следующее:

Л у с и н д а – К а р д е н ь о

«Каждый день я открываю в Вас достоинства, которые обязывают и принуждают меня ценить Вас все более; а потому, если Вам угодно, чтобы я уплатила долг, не губя своей чести, то это всецело зависит от Вас. Мой отец знает Вас и горячо любит меня, и он не пойдет наперекор моему желанию, – напротив: он исполнит то желание, которое подобает испытывать и Вам, если только я Вам действительно дорога, в чем Вы мне, впрочем, сами признались и чему я не имею оснований не верить».

– Эта записка, как я уже говорил, побудила меня просить руки Лусинды, и она же привела дона Фернандо к мысли, что Лусинда – одна из самых умных и рассудительных женщин нашего времени. И эта же самая записка вызвала у него желание сокрушить меня прежде, нежели мое желание претворится в жизнь. Я сообщил дону Фернандо условие отца Лусинды; оно заключалось в том, чтобы ее руки просил для меня мой отец, а я, мол, не осмеливаюсь с ним об этом заговорить из боязни, что он на это не пойдет, – и не потому, чтобы знатность, доброта, строгие правила и красота Лусинды ставились им под сомнение: качества ее таковы, что они могли бы служить украшением любого испанского рода, – нет, он сам мне говорил, что хочет, чтобы я подождал с женитьбой, пока не выяснится, какие виды имеет на меня герцог Рикардо. Словом, я сознался дону Фернандо, что не решаюсь открыться отцу и что, помимо этого препятствия, я со страхом предвижу еще много других, хотя и не могу еще сказать, каких именно, но только у меня такое чувство, что мечте моей не сбыться вовек. На это мне дон Фернандо сказал, что переговоры с моим отцом он берет на себя и устроит так, чтобы тот

переговорил с отцом Лусинды. О тщеславный Марий,[182] о жестокий Катилина,[183] о изверг Сулла,[184] о вероломный Геаелон, о предатель Вельидо, о мстительный Хулиан,[185] о сребролюбивый Иуда! Предатель, изверг, мстительная и коварная душа! Чем не угодил тебе несчастный, который так простодушно поведал тебе свои тайны и радости своей души? Какое зло причинил он тебе? Дал ли он тебе хотя единый совет, сказал ли он тебе хотя единое слово, которое унизило бы твою честь и послужило тебе во вред? Но на что я, злосчастный, ропщу! Ведь это уже установлено, что когда напасти влечет за собою теченье небесных светил и когда они яростно и стремительно рушатся на нас с высоты, то никакая сила на земле не властна их удержать, а изобретательность человеческая – предотвратить. Кто бы мог подумать, что дон Фернандо, знатный, рассудительный, многим обязанный мне кавальеро, который волен утолять свои любовные прихоти, кто бы ни был предметом его страсти, возжаждет отнять у меня, как говорится, одну-единственную овечку, которая к тому же еще не была моею! Но оставим эти ненужные и беспрокие размышления и вновь свяжем порванную нить слезного моего рассказа. Итак, мое присутствие мешало дону Фернандо привести в исполнение коварный и злой его умысел, а потому он решился отослать меня к своему старшему брату под предлогом попросить у него денег, чтобы расплатиться за шесть коней, которых он нарочно, единственно с целью выпроводить меня (так удобнее было ему претворить в жизнь преступное свое намерение), купил в самый тот день, когда вызвался переговорить с моим отцом, и попросил меня съездить за деньгами. Мог ли я предотвратить измену? Мог ли я хоть что-нибудь заподозрить? Разумеется, что нет, – напротив того, в восторге от столь удачной покупки, я с крайним удовольствием изъявил готовность выехать немедля. В тот же вечер я свиделся с Лусиндою, передал ей содержание нашего с доном Фернандо разговора и сказал, что она может не сомневаться, что наши честные и законные намерения увенчаются успехом. Лусинда, осведомленная о предательстве дона Фернандо не лучше, чем я, просила меня как можно скорей возвратиться, ибо она полагала, что решение нашей участи произойдет, как скоро мой отец решится вступить в переговоры с ее отцом. Не знаю, что тут с ней приключилось, только едва она произнесла эти слова, как очи ее увлажнились слезами, к горлу подкатился клубок, и она не могла выговорить ни слова, а между тем казалось, что ей так много надобно мне сказать. Странное это явление, никогда прежде за нею не замечавшееся, поразило меня, ибо время, которое нам уделяла счастливая случайность совместно с моими стараниями, мы неизменно проводили в радости и веселии, не примешивая к нашим беседам ни слез, ни воздыханий, ни ревности, ни подозрений, ни опасений. Я только и делал, что благодарил судьбу за такую возлюбленную, превозносил красоту Лусинды, восхищался душевными ее качествами и умом. Она платила мне тем же и восхваляла во мне то, что ей, как влюбленной, казалось достойным хвалы. Затем мы болтали о том о сем, о происшествиях, случившихся с нашими соседями и знакомыми, и смелость моя не простиралась дальше того, чтобы почти силою взять ее прекрасную белую руку и поднести к своим губам, хотя этому и мешали частые прутья низкой решетки, которая нас разделяла. Но накануне печального дня моего отъезда она плакала, рыдала, вздыхала и наконец удалилась, я же, устрашенный этими столь неожиданными и столь печальными знаками ее скорби и душевной муки, пребывал в смятении и тревоге. Однако ж, дабы не сокрушать моих надежд, я все приписал силе ее чувства ко мне, а также разлуке, которая любящим сердцам всегда причиняет боль. Как бы то ни было, уехал я грустный и озабоченный, полный домыслов и подозрений, и самая смутность домыслов этих и подозрений ясно указывала, что меня ожидают несчастье и горесть.

Я прибыл к месту моего назначения, вручил письмо брату дона Фернандо, был хорошо принят, но не вдруг отпущен восвояси, – к крайнему моему огорчению, мне было приказано подождать с неделю и не показываться на глаза герцогу Рикардо, ибо дон Фернандо просил брата послать ему денег без ведома отца. И все это оказалось уловкою лживого дона Фернандо, ибо у его брата, конечно, нашлись бы деньги, чтобы отпустить меня тотчас же. Мне впору было не выполнить такое повеление и приказ, ибо мне казалось, что я не вынесу столь

долговременной разлуки с Лусиндою, особливо после нашего слезного с ней расставания. Со всем тем я, как верный слуга, повиновался, хотя и предчувствовал, что за это мне придется поплатиться моим счастьем. И вот несколько дней спустя после моего приезда ко мне явился незнакомец и вручил письмо, – я же, только взглянув на адрес, тотчас догадался, что это от Лусинды: то был ее почерк. Распечатывал я его с волненьем и трепетом, – я боялся, что произошло нечто весьма важное, иначе Лусинда не стала бы ко мне писать, пока я нахожусь в отлучке, ибо когда я и не отлучался, она редко ко мне писала. Прежде чем прочитать письмо, я спросил незнакомца, кто ему передал его и как долго он пробыл в пути. Он ответил, что однажды в полдень случилось ему проходить по улице нашего города, как вдруг некая прелестная сеньора окликнула его из окна и со слезами на глазах быстро проговорила:

«Добрый человек! Вы, верно, христианин? Если так, то ради всего святого, молю вас, сей же час доставьте мое письмо по указанному адресу, – имя же человека, которому я пишу, и место, где он находится, хорошо известны, – и господь наградит вас за это доброе дело, а чтобы вы не терпели никаких лишений, вот вам платочек». С последним словом она бросила мне в окно платочек, в котором было завязано сто реалов, вот это золотое кольцо, что я ношу на пальце, и то письмо, что я вам вручил. А затем, не дожидаясь ответа, отошла от окна. Все же она успела заметить, что я поднял письмо и платочек и знаками дал ей понять, что ее просьба будет исполнена. И вот, получив столь щедрое вознаграждение за труды по доставке письма и поняв по адресу, что меня посылают к вам, – а ведь я, сеньор, прекрасно вас знаю, – к тому же растроганный слезами очаровательной этой сеньоры, положил я, никому не доверяя письма, вручить вам его лично, и в течение шестнадцати часов, считая с той минуты, когда она передала мне письмо, проделал весь путь, всего же здесь будет, как вам должно быть известно, восемнадцать миль».

Жадно внимал я словам услужливого и необычного гонца, и у меня так дрожали колени, что я едва мог стоять на ногах. Наконец я распечатал письмо, составленное, как я увидел, в следующих выражениях:

«Дон Фернандо дал Вам слово переговорить с Вашим отцом, чтобы тот переговорил с моим, и он его сдержал, но только это послужит скорее к его удовольствию, чем на пользу Вам. Знайте же, сеньор, что он сам просил моей руки, и отец мой, соблазнившись теми преимуществами, какие дон Фернандо, по его мнению, перед Вами имеет, с необычайною готовностью дал свое согласие, так что спустя два дня надлежит быть нашему обручению, каковое держится в строжайшей тайне и свидетелем какового будет лишь небо да кое-кто из домашних. Вообразите, в каком я сейчас состоянии; решайте, надобно ли Вам приехать; а люблю я Вас или нет – это Вам покажет развязка. Дай бог, чтобы это письмо попало в Ваши руки прежде, нежели моя принуждена будет оказаться в руке того, кто не держит своего слова».

Таково было в общих чертах содержание письма, из-за которого я, не дожидаясь ни ответа, ни денег, тот же час тронулся в путь, ибо тут мне стало совершенно ясно, что не о сделке насчет коней думал дон Фернандо, когда посылал меня к брату, но о сделке, которой он добивался из прихоти. Вспыхнувшая во мне злоба на дона Фернандо вместе с боязнью потерять сокровище, многолетнею верностью и сердечною склонностью выслуженное, окрылила меня, и я на другой же день прилетел в наш город в тот час и мгновенье, когда я обычно отправлялся на свидание с Лусиндою. Я прибыл тайно и оставил мула у того доброго человека, который привез мне письмо, судьбе же на сей раз угодно было споспешествовать мне, и я застал Лусинду у оконной решетки, свидетельницы нашей любви. Лусинда тотчас узнала меня, а я узнал ее, да, видно, плохо еще она знала меня, а я ее. Впрочем, кто мог бы похвалиться, что постигнул и разгадал тайные мысли и изменчивый нрав женщины? Разумеется, что никто. Итак, едва завидев меня, Лусинда молвила:

«Карденьо! На мне подвенечное платье, в зале ждут меня коварный дон Фернандо, корыстолюбивый отец мой и свидетели, которые, однако, скорее окажутся свидетелями смерти

моей, нежели обручения. Не тревожься же, друг мой, и постарайся присутствовать при моем бракосочетании, и если только его не расстроят мои слова, то кинжал, который я прячу у себя на груди и который сумел бы расстроить даже более грозные силы, этот кинжал, положив конец моей жизни, положит начало твоей уверенности в том, что я любила тебя и люблю».

Боясь, что не успею ответить ей, я, торопясь и волнуясь, проговорил:

«Да не разойдутся дела твои, сеньора, с твоими словами, и если ты носишь с собою кинжал, дабы доказать мне свою верность, то я ношу с собою шпагу, дабы тебя защитить или же убить себя, если судьба будет к нам немилостива».

Не думаю, чтобы она могла слышать мои слова, ибо в это самое время кто-то ей возвестил, что жених ее ожидает. И тут настала ночь печали моей, закатилось солнце моей радости, померкнул свет в очах моих, и мысли мои смешались. Я не в силах был войти в ее дом, я не мог сдвинуться с места. Но затем, поняв, что присутствие мое необходимо, ибо мало ли что там может случиться, я переломил себя и вошел. А как все ходы и выходы были мне хорошо известны, к тому же в доме тайная шла суматоха, то никто меня не заметил. И вот я, никем не замеченный, пробрался в залу и, улучив минуту, стал в амбразуре окна, завешенной краями двух ковров, и в отверстие между ними я, оставаясь невидимым, мог видеть все, что в этой зале происходило. Найдутся ли у меня теперь слова, чтобы описать, как билось у меня сердце, когда я стоял там, те мысли, какие одолевали меня, те впечатления, какие я от всего этого вынес? Ведь их было так много и такого они были свойства, что передать их нельзя, да и хорошо, что нельзя. Довольно сказать, что жених вошел в залу в обычном своем одеянии, шафером его был двоюродный брат Лусинды, и, кроме домочадцев, в зале никого посторонних не было. Немного спустя из гардеробной вышла Лусинда вместе с матерью и двумя своими служанками в приличествующем ее знатности и красоте великолепном уборе и наряде, как и подобало быть наряженною той, что являла собою верх изящества и благородного в самой роскоши вкуса. Изумление и гнев помешали мне во всех подробностях рассмотреть и запомнить ее наряд. Мне бросились в глаза лишь его цвета: алый и белый, и сверканье драгоценных камней, коими были унизаны головной убор и одежда, но все это меркло в сравнении с необычайною красотою чудесных ее золотистых волос, которые, успешно состязаясь с драгоценными камнями и светом четырех факелов, горевших в зале, во всем своем блеске глазам представлялись. О память, лютая врагиня моего покоя! Зачем воссоздаешь ты ныне бесподобную красоту обожаемой моей врагини? Не лучше ли было бы, жестокая память, если б ты напомнила и воссоздала ее поступок, дабы, подвигнутый столь явным злом, ею мне причиненным, я попытался если не отомстить ей, то, по крайней мере, покончить с собой? Не сетуйте, сеньоры, на эти отступления – горе мое таково, что о нем нельзя и не должно говорить сжато и вскользь, здесь все обстоятельства заслуживают, по моему разумению, пространных речей.

Священник ему на это сказал, что они не только не сетуют, но, напротив, слушают его весьма охотно, ибо все эти мелочи заслуживают не меньшего внимания, нежели самая суть дела, и умолчать-де о них невозможно.

– Итак, – продолжал Карденьо, – когда все собрались в зале и когда приходский священник, взяв жениха и невесту за руки, дабы совершить положенное по уставу, спросил: «Согласны ли вы, сеньора Лусинда, признать сеньора дона Фернандо, присутствующего здесь, законным своим супругом, как того требует святая церковь?» – я просунул меж ковров голову и, напрягши внимание, со смятенною душою приготовился выслушать ответ Лусинды, которой предстояло вынести мне смертный приговор или же даровать мне жизнь. Ах, если б я тогда осмелился выскочить и крикнуть ей: «О Лусинда, Лусинда! Помысли о том, что ты делаешь, вспомни о своем обещании, помысли о том, что ты моя и не можешь принадлежать другому! Прими в рассуждение, что, как скоро ты скажешь „да“, в тот же миг меня не станет. О вероломный дон Фернандо, похититель моего блаженства, смерть моей жизни! Чего ты хочешь? На что притязаешь? Прими в рассуждение, что достигнуть предела своих мечтаний

через христианский обряд ты не властен, ибо Лусинда – моя супруга, а я – ее муж». О я, безумец! Ныне, когда я разлучен с нею и нахожусь вдали от опасности, я говорю о том, что мне должно было сделать тогда и чего я, однако ж, не сделал! Ныне, не воспрепятствовав похищению бесценного моего сокровища, я проклинаю похитителя, которому я мог бы отомстить, если б нашлись у меня в ту пору для этого силы, как нахожу я их сейчас для того, чтоб роптать! Ну что ж, коли был я тогда глупцом и трусом, значит, суждено мне скончать мои дни в стыде, безумии и покаянии.

Священник ждал, что скажет Лусинда, но она довольно долго не отвечала, и вот, когда я уже начал думать, что она достает кинжал, дабы доказать мне свою верность, или же собирается с духом, дабы выговорить правдивые и разуверяющие слова, которые придали бы делу благоприятный для меня оборот, она упавшим и слабым голосом проговорила: «Согласна», после чего дон Фернандо, произнеся то же самое слово, надел ей на палец кольцо. И в эту минуту нерасторжимые узы связали их. Новобрачный хотел было поцеловать свою супругу, но она схватилась за сердце и упала без чувств на руки своей матери. Теперь остается сказать вам, что испытывал я, когда Лусинда, ответив согласием, насмеялась над моими надеждами и преступила и нарушила клятвы и когда я уразумел, что мне уже не вернуть блага, которые я в это мгновенье утратил. Мне стало невмочь, мне казалось, будто все небесные силы меня оставили, земля, носившая меня, стала моим врагом, воздух не дает мне дыхания для вздохов, а вода – влаги для моих очей. Один лишь огонь разгорался, и все во мне пылало злобой и ревностью. Когда Лусинда упала в обморок, все засуетились, мать же Лусинды, расстегнув ей платье, чтобы легче было дышать, обнаружила у нее на груди запечатанное письмо, и письмо это дон Фернандо тотчас схватил и при свете факела стал читать, а как скоро прочел, то вместо того, чтобы принять участие в уходе за супругой, которую все старались привести в чувство, опустился в кресло и, как бы в глубоком раздумье, подпер щеку ладонью.

Видя, что в доме переполох, я решился, заметят меня или нет, покинуть место моей засады и в случае, если меня заметят, пойти на столь отчаянный шаг, чтобы в наказании, коему я вознамерился подвергнуть не только лживого дона Фернандо, но и потерявшую сознание ветреную изменницу, явно для всех означился правый гнев, овладевший моею душой. Однако ж волею судеб, которые, по-видимому, хранили меня для горших бед (если только может быть что-нибудь горше того, что я уже перенес), я был тогда в полном разуме, – это уж он потом мне тут изменил. Вот почему, раздумав мстить лютейшим моим врагам (а отомстить мне им ничего не стоило – так далеки они были от мысли, что я здесь), надумал я отомстить самому себе и подвергнуть самого себя наказанию, коего заслуживали они, и, может быть, даже более суровому, чем то, какому я собирался подвергнуть их, – а я собирался их умертвить, – ибо внезапная смерть мгновенно прекращает страдания, тогда как медленная смерть под пыткою убивает всечасно, но жизни не лишает. Словом, покинул я этот дом и отправился туда, где оставил мула. Я велел седлать его, затем, даже не попрощавшись с хозяином, сел верхом и, подобно Лоту, покинул город, не дерзнув оглянуться назад. Но как скоро я очутился в поле, один на один с самим собою, и меня объяла ночная тьма, а ночная тишь побудила к ропоту, то, не смущаясь и не боясь, что меня могут услышать и узнать, я дал волю голосу моему и устам послать Лусинде и дону Фернандо столько проклятий, как если бы этим мог отомстить за зло, которое они мне причинили. Я называл ее жестокою, бесчеловечною, лживою и неблагодарною, чаще же всего корыстолюбивою, ибо не что иное, как богатство недруга моего, ослепило очи ее любви, дабы отнять ее у меня и вручить баловню и любимцу Фортуны. Но, бросая упреки и изрыгая проклятия, я в то же время оправдывал ее: нет ничего удивительного, рассуждал я, что девушка, находившаяся под присмотром родителей, привыкшая и всегда готовая им повиноваться, решилась исполнить их волю, тем более что в мужья они прочили ей столь знатного, богатого и любезного кавальеро, и если б она его отвергла, то можно было бы подумать, что она не в своем уме или же что она к кому-нибудь другому питает склонность, каковое обстоятельство бросило бы тень на ее честь и доброе имя.

Но я тут же возражал себе, что если б она назвала своим супругом меня, то родители признали бы, что она сделала неплохой выбор, и оправдали ее, – ведь до того, как дон Фернандо попросил ее руки, они сами, если только их желания сообразовались со здравым смыслом, вряд ли могли желать своей дочери лучшего мужа, чем я, так что она смело могла бы, прежде чем пойти на этот вынужденный и безрассудный шаг и отдать дону Фернандо свою руку, объявить, что она уже отдала ее мне, а я, со своей стороны, пришел бы ей на помощь и подтвердил все, что ей удалось бы в сем случае измыслить. В конце концов я пришел к заключению, что по причине своего непостоянства, взбалмошности, крайнего тщеславия и жажды почестей она позабыла те слова, коими она меня завлекала, коими она питала твердые мои надежды и укрепляла меня в честных моих намерениях.

Остаток ночи я провел в пути, все так же громко ропща и все так же терзаясь, а на рассвете подъехал к горам, и в горах я проплутал еще трое суток, без пути, без дороги, пока наконец где-то неподалеку отсюда глазам моим не открылись луга, и тут я спросил пастухов, с какой стороны особенно дик этот горный хребет. Они мне сказали, что с этой. Тогда я направился сюда с намерением кончить здесь свой век, и в одной из этих теснин пал от истощения мой обессилевший мул, а скорее всего он просто пожелал сбросить с себя столь ненужное бремя, за каковое он, верно, меня почитал. И остался я пеший, изнемогающий от усталости, мучимый голодом, один-одинешенек и даже не зная, где искать помощи. Не могу сказать, как долго я лежал на земле, затем встал, уже не чувствуя голода, и увидел перед собой козопасов, – без сомнения, это они и накормили меня. Они рассказали мне, в каком состоянии я находился, когда они меня увидали, и какие дикие и несуразные вещи я говорил, из чего они заключили, что я тронулся. Да я и сам впоследствии стал замечать, что не всегда я в здравом уме: порою мой ум повреждается и помрачается, и тогда я прихожу в неистовство, рву на себе одежды, оглашаю воплями безлюдные эти места, проклинаю судьбу свою и вотще твержу дорогое мне имя – имя врагини моей, и одна у меня тогда мысль и одно желание – кончить дни мои, взывая к Лусинде. Опомнившись же, я чувствую себя таким усталым и таким разбитым, что с трудом могу двигаться.

Обыкновенно я располагаюсь на ночлег в дупле дуба, – там есть где укрыться жалкому моему телу. Пастухи, пасущие в горах коз и коров, по доброте своей кормят меня, – оставляют мне пищу на дорогах и скалах, где, как им кажется, я скорее всего могу, случайно проходя мимо, ее обнаружить. И даже когда я бываю не в себе, само естество мое наводит меня на пищу и заставляет алкать ее и принимать. Иной раз, когда я бываю в здравом уме, они мне сообщают, что я выхожу на дорогу и отнимаю пищу у пастухов, которые идут из селений к загонам, хотя они делятся ею со мной добровольно. Такую жалкую и мучительную жизнь веду я в надежде, что по воле неба мне самому скоро придет конец или же моей памяти, и я позабуду о красоте и об измене Лусинды и о зле, причиненном мне доном Фернандо. И вот если небо устроит это, не лишая меня жизни, то мысли мои примут естественное свое направление. Если же нет, то мне останется лишь молиться о том, чтобы моя душа была взята на небо, ибо самому исторгнуть тело мое из той жалкой доли, на которую я добровольно его обрек, у меня нет ни сил, ни мужества.

Такова, сеньоры, горестная повесть о моем несчастье, – скажите же, можно ли сопровождать ее менее сильными движениями чувства, нежели те, коими я на ваших глазах ее сопровождал, и не трудитесь уговаривать меня и давать советы, которые, как подсказывает вам здравый смысл, могут помочь мне, ибо пользы мне от них ровно столько, сколько больному от лекарства, которое прописал знаменитый врач, но которое больной принимать не желает. Без Лусинды мне не надобно здоровья, и коль скоро она пожелала принадлежать другому, хотя принадлежала и должна была принадлежать мне, то я пожелал горевать, хотя мог бы радоваться. Своею изменчивостью она намеревалась погубить меня навеки, – я же вознамерился погибнуть, дабы исполнилось ее желание, и поздние потомки скажут обо мне, что у меня было отнято то, в чем никто из несчастных нужды не терпит: обыкновенно их

утешает самая невозможность утешения, а мне это служит причиною еще больших страданий и мук, ибо я начинаю думать, что и смерть их не прекратит.

На этом кончил Карденьо длинную и грустную историю своей любви, и священник уже приготовился сказать несколько утешительных слов, но в это самое время слух его был поражен неким жалобным голосом, говорившим о том, о чем будет идти разговор в четвертой части настоящего повествования, ибо третью часть мудрый и благоразумный историк Сид Ахмет Бен-инхали на этом оканчивает.



Глава XXVIII,

повествующая о новом занятном происшествии, случившемся со священником и цирюльником в тех же самых горах



Блаженны и благословенны времена, когда начал странствовать по свету отважнейший рыцарь Дон Кихот Ламанчский, ибо, благодаря великодушному его решению попытаться воскресить и возвратить миру уже распавшийся и почти исчезнувший орден странствующего рыцарства, ныне, в наш век, нуждающийся в веселых развлечениях, мы наслаждаемся не только прелестью правдивой его истории, но и вкрапленными в нее повестями и эпизодами, в большинстве своем не менее занятными, замысловатыми и правдоподобными, чем самая история, – история же эта, вновь принимаясь за свою чесаную, крученую и намотанную нить, гласит, что, как скоро священник приготовился утешать Карденьо, до слуха его долетел печальный голос, говоривший такие слова:

– О боже! Ужели я сыскала, наконец, место, могущее служить тайною гробницей для тяжкого бремени моего тела – бремени, которое я против воли своей влачу? Да, сыскала, если только безмолвие окрестных гор меня не обманывает. О я, несчастная! Насколько же благоприятнее для моего замысла общество этих утесов и дебрей, ибо они не помешают мне жаловаться небу на горькую мою судьбину, нежели присутствие человеческого существа, ибо нет на свете такого человека, который способен был бы рассеять сомнения, утолить печали и избавить от мук!

Священник и его спутники расслышали и уловили эти слова, и показалось им – да так оно и было на самом деле, – что говорят где-то совсем близко от них, а потому они двинулись на поиски произносившего эти слова человека, но не прошли они и двадцати шагов, как за утесом, под сенью ясеня, глазам их представился одетый по-деревенски юноша, которого лицо, по той причине, что он, наклонившись, мыл в ручье ноги, им сперва не удалось рассмотреть; подошли же они так тихо, что он их не слыхал, да к тому же он был весь поглощен омовением ног, а ноги у него были точно два белых хрусталя, сверкающих среди других камней того же ключа. Белизна и красота его ног поразили путников, – казалось, эти ноги не созданы ступать по вспаханному полю или брести за плугом и волами, несмотря на то, что одежда юноши свидетельствовала о другом, и вот, удостоверившись, что он их не замечает, священник, шедший впереди, сделал знак обоим своим спутникам спрятаться и притаиться за обломками скал, и те так и сделали и стали внимательно следить за юношей. На нем было серое

двубортное полукафтанье, перетянутое у пояса белой косынкой, панталоны, серого сукна гамаши и серый же суконный берет на голове; гамаши он засучил, и голени его смело можно было уподобить алебастру. Омыв прекрасные свои ноги, он тот же час, достав из-под берета головной платок, их вытер; но, доставая платок, он поднял голову, и тут глазам тех, кто на него взирал, на мгновение явилась такая несравненная красота, что Карденьо шепотом сказал священнику:

– Если это не Лусинда, то, значит, это не человек, но ангел.

Юноша снял берет, тряхнул головой, и вслед за тем рассыпались и распустились по плечам его кудри, которым даже Фебовы кудри могли бы позавидовать. И тут все уразумели, что это переодетая хлебопашцем женщина, и притом изящная, более того, – прекраснейшая из всех женщин, каких кто-либо из них видел, в том числе и Карденьо; впрочем, Карденьо знал и созерцал Лусинду, но он сам утверждал впоследствии, что только красота Лусинды могла бы поспорить с этой. Роскошные золотистые волосы, длинные и густые, закрывали не только плечи, – они вились вдоль всего ее стана, так что видны были одни лишь ноги. Гребень ей заменяли собственные ее руки, и если ее ноги в воде походили на хрусталь, то руки, подбиравшие волосы, напоминали плотно слежавшийся снег: и чем дальше смотрели на нее все трое, тем более восхищались, и желание узнать, кто она, усиливалось в них с каждым мгновеньем. Того ради положили они объявиться; когда же они сделали движение, чтобы встать, прелестная девушка подняла голову и, обеими руками откинув с лица волосы, поглядела в ту сторону, откуда донесся шорох; и, едва завидев их, она вскочила, быстрым движением подняла лежавший подле нее узел, как видно, с одеждой, и, босая, с распущенными волосами, в смятении и страхе бросилась бежать; однако нежные ее ноги не вынесли прикосновения острых камней, и, пробежав всего лишь несколько шагов, она упала. Тут все трое приблизились к девушке, и первым заговорил с ней священник:

– Кто бы вы ни были, сеньора, ни шагу далее, ибо единственное желание тех, кого вы видите перед собою, это помочь вам. Напрасно вы опрометью бросились от нас бежать, – все равно ваши ноги не вынесут этого, да и мы этого не допустим.

Недоумевающая и смущенная, она не отвечала ни слова. Тогда они подошли к ней еще ближе, и, взяв ее за руку, священник снова заговорил:

– Что скрыло от нас ваше, сеньора, одеяние, то выдали ваши волосы, наглядно доказывающие, что немаловажные должны были быть у вас причины облечь красоту вашу в столь недостойные одежды и завести ее в такую глушь, где, однако же, нам посчастливилось встретиться с вами, и если мы бессильны прекратить ваши муки, то, во всяком случае, мы можем дать вам совет, а ведь как бы ни было велико горе и как бы оно ни терзало, страждущий, пока он жив, должен, по крайней мере, выслушать того, кто из добрых побуждений желает дать ему совет. Итак, моя сеньора, или же сеньор, как вам будет угодно, преодолейте страх, который мы вам внушили своим появлением, и поведайте нам счастье свое или же злосчастье, и во всех нас, вместе взятых, и в каждом в отдельности вы встретите сочувствие вашему горю.

Между тем переодетая девушка, будто зачарованная, глядела на всех, не шевеля губами и не произнося ни слова, точь-в-точь как деревенский парень, которому неожиданно показали что-нибудь диковинное, доселе невиданное. Но как священник клонил все к одному и тому же, то в конце концов она, глубоко вздохнув, прервала молчание и сказала:

– Коли эти пустынные горы бессильны меня укрыть, а распущенные и нечесаные мои волосы не позволили моим устам солгать, то тщетно стала бы я теперь притворяться, ибо если даже вы и сделали бы вид, что поверили мне, то скорее из вежливости, а не по какой-либо другой причине. После этого предисловия я могу вам сказать, сеньоры, что ваше предложение, за которое я вам так благодарна, обязывает меня удовлетворить вашу просьбу, хотя, впрочем, я опасаюсь, что рассказ о моих невзгодах не только вызовет у вас сострадание, но и огорчит вас, ибо вы не найдете ни лекарства, которое прекратило бы мои муки, ни слов утешения,

которые облегчили бы их. Но чтобы у вас, уже знающих, что я женщина, и встретивших меня, такую юную, одну, да еще в этом наряде, не создалось превратного представления о моих правилах, ибо подобные обстоятельства, вместе взятые, и каждое из них в отдельности способны очернить любую добрую славу, я принуждена поведать вам то, о чем хотела бы умолчать, если б только могла.

Все это красавица девушка проговорила, не переводя дыхания, и складные ее речи и ум, а равно и нежный ее голос привели путников в не меньший восторг, чем ее красота. Когда же они снова начали предлагать ей свои услуги и просить исполнить данное ею обещание, то она не заставила себя долго упрашивать, – строго соблюдая приличия, обулась, подобрала волосы, села на камень и, как скоро трое путников расположились вокруг нее, неторопливо и внятно, еле сдерживая выступавшие на глазах слезы, начала рассказывать историю своей жизни:

– У нас в Андалусии есть такой город, от которого происходит титул некоего герцога, одного из так называемых испанских грандов. У него два сына: старший, наследник его титула, должно полагать, унаследовал и добрый его нрав, младший же вряд ли что-нибудь унаследовал, кроме коварства Вельидо и лживости Ганелона. Мой отец и мать – вассалы герцога. Роду они безвестного, но зато весьма богаты, так что если б их происхождение было не ниже их достатка, то им и желать было бы нечего, а мне нечего было бы опасаться беды, которая ныне со мною стряслась, – ведь все мое несчастье, быть может, и состоит в том, что родители мои не имели счастья родиться от людей родовитых. Правда, род их не столь уж низок, чтобы надобно было его стыдиться, но и не настолько высок, чтобы поколебать мою уверенность в том, что горе мое проистекает от его безвестности. Словом, они хлебопашцы, люди простые, ни с каким нечестивым племенем ничего общего не имеющие, самые настоящие, что называется – чистокровные христиане, но они очень богаты, ни в чем себе не отказывают и, в сущности, теперь уже мало чем отличаются не только от идальго, но даже и от кавальеро. Однако ж все свое богатство и всю именитость свою полагали они в том, что у них такая дочь, как я. А как других наследниц или наследников они не имели, родители же они были чадолюбивые, то я была одною из самых балованных дочек в мире. Я была опорой их старости, зеркалом, в которое они смотрелись, предметом, к коему они устремляли богоугодные свои желания, столь благие, что они не могли идти вразрез с моими. Будучи владычицею их душ, я была хозяйкою у них в доме: сама нанимала и отпускала работников, вела счет всему, что сеялось и убиралось, крупному и мелкому скоту и пчелиным ульям, наблюдала за маслобойками и давильнями. Словом, все, чем только мог владеть и владел такой богатый сельчанин, как мой отец, было у меня на учете, я была и домоправительницею и госпожою, и рачительности моей, а также того удовольствия, которое я этим доставляла моим родителям, я не в силах должным образом описать. Отдав надлежащие распоряжения надсмотрщикам, пастухам и поденщикам, я проводила время за работою, столь же приличною девушкам, сколь и необходимою, например, за иглою и пяльцами, частенько – за прялкой. Когда же я, чтоб развлечься, эти занятия оставляла, то меня тянуло почитать душеспасительную книгу или же поиграть на арфе, ибо я знала по себе, что музыка успокаивает беспокойный дух и умеряет волнения праздной мысли. Вот какую жизнь вела я в родительском доме, и описываю я ее столь подробно не из тщеславия, не из желания похвалиться своим богатством, а единственно для того, чтобы показать, как хорошо жилось мне прежде и в каком плачевном состоянии я, ни в чем не повинная, нахожусь ныне.

Дело состоит в том, что, неустанно трудясь и живя в уединении, монастырскому затвору подобном, я полагала, что меня никто, кроме прислуги, не видит, ибо я и в церковь ходила ранним утром и непременно с матерью и служанками, закутанная и укрытая, так что очи мои не видели ничего, кроме того клочка земли, на который ступали мои ноги, и со всем тем очи любви, или, лучше сказать, очи праздности, с коими и рысьим глазам не сравниться, благодаря стараниям дона Фернандо – так зовут младшего сына герцога, о котором я уже упоминала, – меня заметили.

Стоило рассказчице произнести имя дона Фернандо, и с лица Карденьо мгновенно сбежала краска, а на лбу у него выступил пот, так что священник и цирюльник, заметив охватившее его необычайное волнение, со страхом подумали, не припадок ли это умоисступления, а они слыхали, что такие припадки с ним время от времени случаются. Но Карденьо только обливался потом и, силясь понять, кто эта поселянка, смотрел на нее в упор, – поселянка же, не видя, что происходит с Карденьо, между тем продолжала:

– И не успели его очи увидеть меня, как он мною прельстился, о чем он сам мне потом поведал и непреложным чему доказательством служило дальнейшее его поведение. Однако, желая как можно скорее покончить с неисчислимым числом моих горестей, я умолчу о тех ухищрениях, к коим дон Фернандо прибегнул, чтобы изъясниться мне в любви. Он подкупил прислугу, задарил и осыпал милостями моих родителей, что ни день – на нашей улице игры и смехи, ночью никому не давала спать музыка, в мои руки бог весть какими путями попадали записки, и в бессчетных этих записках, полных уверений и слов любви, было больше обещаний и клятв, нежели букв. Все это, однако же, не только меня не трогало, но, напротив, ожесточало, точно это был лютый мой враг и точно все его попытки меня пленить были предприняты с целью противоположною, – и не потому, чтобы ухаживания дона Фернандо были мне неприятны, не потому, чтобы его домогательства казались мне дерзостью, – нет, я испытывала какое-то непонятное мне самой удовлетворение при мысли о том, что меня любит и уважает столь знатный кавальеро, и мне отнюдь не претили лестные слова, рассыпанные в его посланиях: ведь любая, даже самая уродливая, женщина, уж верно, радуется, когда ее называют красавицей. Но против этого восставал мой девичий стыд и постоянные предостережения моих родителей, для коих сердечная склонность дона Фернандо отнюдь не являлась тайною, ибо он уже и не думал от кого бы то ни было ее скрывать. Родители внушали мне, что только в моей скромности и благонравии поставляют и полагают они собственную свою честь и добрую славу и что если б я, мол, вспомнила о неравенстве между мною и доном Фернандо, то, что бы он ни говорил, мне стало бы ясно, что он думает не столько обо мне, сколько об удовлетворении собственной прихоти. И если, мол, я намерена каким-нибудь образом положить предел беззаконным его притязаниям, то они выдадут меня тогда замуж за того, кто мне больше всех придется по сердцу, будь то самый знатный юноша в нашем селении или даже во всей округе, ибо, приняв в соображение их зажиточность и мое доброе имя, я на это вполне могу рассчитывать. Веские их доводы и неложные обещания укрепили мою стойкость, и я решилась не вымолвить ни единого слова, которое могло бы подать дону Фернандо отдаленную хотя бы надежду на достижение чаемого им.

Однако моя непреклонность, или, как ему, вероятно, казалось, пренебрежение, долженствовала распалить плотоядную его алчбу, – да, именно плотоядную алчбу, иначе нельзя назвать чувство, которое он ко мне питал, – ведь если б это была такая любовь, какою ей надлежало быть, то вы бы теперь ничего о ней не узнали, ибо у меня не было бы тогда повода вам о ней рассказать. Наконец дон Фернандо проведал, что родители мои собираются выдать меня замуж, чтобы отнять у него надежду на обладание мною или, во всяком случае, чтобы у меня прибавилось охраны, и эта весть или, вернее, это подозрение подвигнуло его на то, о чем вы сейчас узнаете, а именно: однажды ночью, когда все двери были у нас уже на запоре, чтобы по небрежению честь моя не оказалась в опасности, когда все меры предосторожности были приняты и когда я пребывала в тиши затвора и уединения, в обществе одной-единственной служанки, в мою опочивальню, откуда ни возьмись, явился он, и при виде его очи мои перестали видеть и онемели мои уста, так что я не могла даже крикнуть, – впрочем, он и не дал бы мне, наверное, крикнуть, потому что он сейчас же бросился ко мне и, заключив меня в объятия (у меня же, говорю я, не было сил сопротивляться: так я была потрясена), заговорил, – и вот я все еще не возьму в толк, может ли ложь быть настолько искусною и как она добивается того, чтобы слова, которые она подбирает, казались такими правдивыми. Изменник сумел слезами удостоверить истинность своих речей и вздохами –

истинность своего намерения, а я, бедняжка, одна-одинешенька, не наученная моими домашними, как в подобных случаях должно себя вести, я, сама не знаю почему, вракам этим придала веру. И все же слезы его и воздыхания ничего, кроме простого сочувствия, во мне не вызвали, а потому, когда первое волнение улеглось, я кое-как собралась с силами и спокойнее, чем могла этого от себя ожидать, сказала:

«Если бы, сеньор, то были не ваши объятия, но когти свирепого льва, и я могла бы вырваться из них лишь ценою деяний и слов, которые погубили бы мою честь, то решиться на это мне было бы так же легко, как упразднить то, что уже совершилось. И подобно как вы сжимаете в объятиях мое тело, так же точно душа моя связана благими моими намерениями, и вы увидите, сколь отличны они от ваших, если только попытаетесь, применив насилие, слишком далеко зайти. Я ваша подданная, но не раба. Благородство крови вашей не властно и не должно иметь власти бесчестить и унижать мое худородство, – я, простолюдинка и поселянка, уважаю себя не меньше, чем вы, сеньор и кавальеро, себя уважаете. Силою вам ничего со мной не поделать, и не соблазнить вам меня своим богатством, и не обмануть вам меня своими словами, и не растрогать вам меня слезами и вздохами. Впрочем, если бы чем-либо из всего мною перечисленного захотел прельстить меня тот, кого родители мои выбрали бы мне в супруги, то их воле подчинилась бы моя и ни в чем из их воли не вышла, – в сем случае я поступила бы так, как велит мне честь, хотя и не так, как велит мое сердце, и сама отдала бы вам, сеньор, то, что вы ныне пытаетесь взять у меня силой. Все это я говорю для того, чтобы вы наконец выкинули из головы мысль, что кто-нибудь, кроме законного супруга, может от меня чего-либо добиться».

«Если дело только за этим, прелестная Доротея (так зовут меня, несчастную), – сказал вероломный кавальеро, – так вот тебе моя рука в знак того, что я твой, и да будут свидетелями нашей помолвки небеса, от коих ничто не скроется, и вот этот образ нашей владычицы».

Услышав, что ее зовут Доротея, Карденьо снова пришел в волнение и заключил, что первоначальные его догадки справедливы; однако, чтобы узнать, чем это кончилось, хотя он почти все уже знал, он положил не прерывать рассказа и только спросил:

– Так вас зовут Доротея, сеньора? Я слышал о другой девушке, которую зовут так же и чьи злоключения, пожалуй, сходны с вашими. Но продолжайте, – в свое время я сообщу вам нечто такое, что ужаснет вас и вместе опечалит.

Речи Карденьо, равно как и странная и убогая его одежда, привлекли к себе внимание Доротеи, и она обратилась к нему с просьбой: если он знает, что было потом, то пусть-де скажет ей, не таясь, ибо один-единственный дар, коим наделила ее Фортуна, состоит в том, что она стойко переносит любое несчастье, тем паче она-де совершенно уверена, что нет на свете такого несчастья, которое хотя бы на йоту могло бы усугубить уже случившееся с нею.

– Я не премину, сеньора, – сказал Карденьо, – поделиться с вами своими соображениями, если только догадка моя подтвердится, но время для этого еще не приспело, и соображения мои вам пока еще не нужны.

– Как вам будет угодно, – заметила Доротея. – Ну, а дальше дело было так: дон Фернандо взял образ, находившийся в моей опочивальне, и поставил его перед нами, как свидетеля нашего обручения. Он дал обещание жениться на мне, но я, прервав поток его страстных слов и необыкновенных клятв, сказала, чтобы он подумал о том, что делает, и о том, как разгневается его отец, когда узнает, что сын женится на крестьянке, на своей подданной, и пусть, мол, не ослепляет его моя красота – какая бы она ни была, она бессильна снять с него вину, и если он подлинно любит меня и желает мне добра, то пусть не препятствует мне связать судьбу с ровней, ибо счастье, коим первое время наслаждаются вступившие в неравный брак, непрочно и недолговечно. Долго я с ним тогда говорила, – многого я уж теперь и не помню, – однако слова мои не принудили дона Фернандо отказаться от своего намерения: так точно человек, заключающий сделку и не собирающийся платить, не помышляет об

условиях. Тогда я призадумалась на секунду и сказала себе: «Ведь не я первая благодаря замужеству из низкого состояния перейду в высокое, да и дон Фернандо не первый, кого женская красота или же собственная безумная страсть (что вернее) принуждает избрать не соответствующую благородному его происхождению спутницу жизни. И раз что я обычаев света тем не нарушаю, то мне подобает принять оказываемую мне судьбою честь, ибо если даже любовь, в коей он ныне мне изъясняется, вместе с утолением страсти пройдет, все равно перед богом я останусь его женою. Если же я с презрением оттолкну его, то от дозволенного он, уж верно, перейдет к недозволенному, то есть применит силу и обесчестит меня, и я же выйду кругом виновата и ничего не смогу ответить на обвинения, которые мне волен предъявить всякий, кто не знает, что дошла я до этого безвинно. В самом деле, как я докажу моим родителям и кому бы то ни было, что этот кавальеро проник в мою опочивальню без моего согласия?» Все эти вопросы и ответы вихрем пронеслись у меня в голове, но главное, что на меня подействовало и побудило сделать шаг, впоследствии оказавшийся для меня роковым, чего я тогда, разумеется, не подозревала, так это то, как страстно дон Фернандо клялся и плакал и кого призывал он в свидетели, а также любезность его и привлекательность, каковые его качества вместе со всевозможными изъявлениями истинного чувства способны были покорить любое другое сердце, столь же свободное и столь же несмелое. Я позвала служанку, чтобы к свидетелям небесным присоединить земного. Дон Фернандо вновь начал клясться и божиться. Он призвал в свидетели всех святых, заранее обрек себя самым ужасным карам, в случае если не сдержит своего слова, вновь увлажнил слезами глаза и усилил вздохи, затем сжал меня в своих объятиях, из коих, впрочем, он не выпускал меня ни на секунду, и тут, едва лишь из опочивальни вышла моя девушка, я перестала быть таковою, а он стал в полном смысле слова обманщиком и предателем.

День, сменивший ночь моего несчастья, наступил все же не так скоро, как того желал, думается мне, дон Фернандо, ибо стоит лишь исполнить веление плоти, как является настойчивое желание покинуть то место, где страсть была утолена. Я потому так говорю, что дон Фернандо поспешил уйти от меня и благодаря хитрости служанки, той самой, которая его сюда привела, еще до рассвета выбрался на улицу. Прощаясь со мной (уже не с тем пылом и горячностью, с какими он меня приветствовал), он сказал, чтобы я не сомневалась в его верности и что клятвы его правдивы и нерушимы, и для вящей убедительности снял с руки драгоценный перстень и надел мне его на палец. Итак, он ушел, а я осталась ни печальна, ни весела, вернее, я была смущена, озабочена и потрясена тем, что со мной случилось, и я не имела духу, а быть может, просто забыла побранить служанку за то, что она предательски заперла меня с доном Фернандо в моей опочивальне: ведь я сама тогда еще не решила, хорошо или дурно все то, что со мною произошло. При прощании я сказала дону Фернандо, что он может таким же точно образом приходить ко мне каждую ночь, ибо теперь уже я принадлежу ему, и так будет продолжаться до тех пор, пока он не объявит о нашей помолвке. Но он пришел только на следующую ночь, а затем уже не появлялся, и я больше месяца не видела его ни на улице, ни в церкви – нигде. Тщетно домогалась я свидания с ним, хотя знала отлично, что он никуда не уезжал и целыми днями охотится, – надобно заметить, что это любимое его занятие.

Эти дни и часы, как сейчас помню, были горестны и мучительны для меня, и, как сейчас помню, в эти дни и часы начала я сомневаться в доне Фернандо, – этого мало, я утратила веру в него. И еще помнится мне, тогда впервые моя служанка услышала от меня слова осуждения дерзкому ее поступку – слова, каких она не слышала от меня прежде. И, помню, пришлось мне тогда глотать слезы и притворяться веселою, чтобы родители мои не начали допытываться, отчего я такая хмурая, иначе я непременно должна была бы для отвода глаз что-нибудь придумать. Но все это потом в одно мгновенье кончилось, и настало мгновенье другое, когда соблюдение приличий рухнуло и пришел конец помышлениям о чести, когда истощилось терпение и обнаружились сокровенные мои думы. А случилось так потому, что вскоре в нашем селении разнесся слух, что в соседнем городе дон Фернандо женился на необыкновенной

красоты девушке, происходящей от родителей благородных, однако ж не с таким богатым приданым, чтобы ей можно было рассчитывать на столь знатного жениха. Говорили, что зовут ее Лусиндой и что их свадьба ознаменовалась достойными удивления происшествиями.

Услышал Карденьо имя Лусинды – и тотчас передернул плечами, закусил губу, нахмурил брови, и вслед за тем из глаз его хлынули потоки слез, однако ж Доротея не прервала своего рассказа:

– Печальная эта весть дошла до меня, и сердце мое, вместо того чтобы оледенеть, загорелось злобой и яростью, так что я чуть было с криком не выбежала на улицу и не разгласила вероломство его и измену. Гнев мой, однако ж, утих при мысли о том, как я нынче же ночью приведу в исполнение то, что я, и точно, осуществила, а именно: поведала свое злоключение одному из тех, кого в деревне называют подпасками, слуге моего отца, надела на себя его платье и попросила проводить меня в город, где, по слухам, находился мой недруг. Подпасок сначала пожурил меня за безрассудство и не одобрил моего намерения, но затем, видя, что я непреклонна, изъявил готовность сопровождать меня, как он выразился, хоть на край света. Я мигом уложила в полотняную наволочку одно из моих платьев, взяла с собой на всякий случай денег и кое-какие драгоценности и глухою ночью, ничего не сказав предательнице-служанке, сопутствуемая слугою и роем неотвязных мыслей, оставила отчий дом и пошла пешком в город, куда я так стремилась не с целью расстроить уже совершившееся, а единственно для того, чтобы спросить дона Фернандо, с какою совестью он мог так поступить. Спустя два с половиной дня я пришла, куда мне было надобно, и, войдя в город, спросила, где живут родители Лусинды, и первый, кому я задала этот вопрос, поведал мне больше, чем я желала услышать. Он указал мне их дом и сообщил обо всем, что произошло во время обручения их дочери, – должно заметить, что событие это получило в городе широкую огласку и люди собирались на улицах кучками, только чтобы посудачить. Вот что он мне сообщил: в тот вечер, когда дон Фернандо обручился с Лусиндой, после того, как она изъявила согласие быть его супругой, с ней приключился глубокий обморок, супруг же ее, расстегнув ей корсаж, чтобы легче было дышать, обнаружил у нее на груди написанную собственной ее рукой записку, в коей она уведомляла и объявляла, что не может быть женою дона Фернандо, ибо она жена Карденьо, некоего весьма знатного, по словам того, кто мне это рассказывал, кавальеро, местного уроженца, и что она дала согласие дону Фернандо единственно потому, что не желала выходить из родительской воли. Из дальнейшего, по словам того же самого человека, явствовало, что она намеревалась тотчас после обручения наложить на себя руки, и в записке этой она объясняла, почему она решилась покончить с собой, – найденный же, как говорят, в ее платье кинжал всему этому служил подтверждением. Тогда дон Фернандо вообразил, что Лусинда насмехается и издевается над ним и не ставит его ни во что, и не успела она очнуться, как он уже бросился на нее с найденным при ней кинжалом и, уж верно, заколол бы ее, когда бы ее родители и все, кто только там ни находился, его не удержали. Еще говорили, будто дон Фернандо тот же час выехал из города, а Лусинда пришла в себя только на другой день и рассказала родителям своим, как она стала законной супругой помянутого мною Карденьо. Еще я узнала, что Карденьо, по слухам, присутствовал при обручении, и как скоро она обручилась, что было для него совершенно непостижимо, он в полном отчаянии бежал из города, оставив письмо, в коем объяснял, как его оскорбила Лусинда и что он удаляется от мира. Все это стало достоянием всего города, и все только об этом и говорили, и заговорили еще больше, когда узнали, что Лусинда бежала из родительского дома, – бежала, должно полагать, прочь из города, ибо ее нигде не могут найти, – что родители совсем потеряли голову и не знают, как быть. Вести эти оживили мои надежды, и я рассудила так: лучше, что я совсем не видела дона Фернандо, чем если бы увидела его женатым, ибо мне казалось, что дверь, ведущая к моему исцелению, еще не захлопнулась окончательно, и я убеждала себя, что, может статься, само небо наложило запрет на этот второй его брак для того, чтобы он сознал наконец свой долг по отношению к первому браку и вспомнил, что он

христианин и что ему надлежит думать более о душе своей, нежели о том, что скажут люди. Такие мысли проносились у меня в голове, и, чтобы поддержать постылое свое существование, я, безутешная, себя утешала, ласкаясь слабыми и смутными надеждами.

Между тем я все еще находилась в городе и не знала, что делать, ибо дона Фернандо я нигде не могла найти, как вдруг слуха моего достигнул голос глашатая, который, суля большое вознаграждение тому, кто меня разыщет, сообщал мой возраст и описывал мою одежду. И еще я услышала, что похитил меня из родительского дома тот самый слуга, который вызвался меня проводить, и это меня сразило, ибо слух этот свидетельствовал о том, как низко я пала во мнении света: одного того, что я погубила свою честь, уйдя из дома, людям показалось мало, надобно было еще выдумать – с кем, и вот предметом моим сделали человека столь низкого звания, человека, недостойного моей любви. Услышав, что говорит глашатай, я тот же час покинула город вместе со слугою, который, как видно, уже начал раскаиваться, что присягнул мне на верность, и ночью мы, опасаясь погони, укрылись в этой теснине. Но беда, говорят, беду кличет, конец одной невзгоды – это начало другой, еще более тяжкой: так же точно случилось и со мною, ибо верный мой слуга, дотоле преданный и надежный, как скоро мы с ним очутились в этой глуши, побуждаемый не столько моею красотою, сколько собственною низостью, положил воспользоваться случаем, который, как он склонен был думать, в этом безлюдном краю ему представлялся, и, утратив стыд и, тем паче, страх божий и всякое уважение ко мне, стал домогаться моей любви. Но, выслушав в ответ на бесстыдные свои предложения мои справедливые и гневные речи, он от молений, с помощью коих первоначально рассчитывал добиться успеха, перешел к насилию. Однако праведное небо, которое всегда или почти всегда споспешествует и покровительствует правому делу, оказало и мне покровительство, так что я слабыми своими руками без труда столкнула его с кручи, и жив он теперь или нет – того я не ведаю, а затем, превозмогая волнение и усталость, я бодро двинулась дальше с одною лишь мыслью и целью – скрыться в горах от отца и от тех, кого он снарядил за мною в погоню. Влекомая этим желанием, я и проникла, назад тому несколько месяцев, в эти ущелья, и здесь, в самом сердце гор, повстречался мне скотовод, – он взял меня к себе в услужение, и это время я была у него подпаском, и, чтобы скрыть свои волосы, из-за которых ныне столь неожиданно все открылось, я старалась целые дни проводить в поле. Однако ж все усилия мои и старания пропали даром, ибо хозяин мой догадался, что я не мужчина, и у него появились столь же грешные мысли, что и у моего слуги. А как судьба далеко не всегда вместе с недугом посылает и средство от него, то на сей раз поблизости не нашлось обрыва или же кручи, которая любовную его кручину рассеяла бы навек, – вот почему я решила, что лучше оставить его в покое и снова начать скрываться в этих теснинах, нежели мериться с ним силами и увещевать его. Итак, гнев я свой уняла и вновь предприняла поиски такого уголка, где бы я беспрепятственно, вздыхая и плача, молила небо сжалиться надо мною, молила помочь и подать мне силы избыть мою беду либо послать мне смерть в пустынных этих местах, чтобы и воспоминания не осталось о несчастной, которая невольно подала людям повод судачить о ней и злословить не только в ее родном, но и в чужих краях.



Глава XXIX,

повествующая о том, каким забавным и хитроумные, способом влюбленный наш рыцарь избавлен был от прежестокого покаяния, которое он на себя наложил



– Вот вам, сеньоры, правдивая повесть о моем злосчастии, – решайте и судите сами, довольно ли у меня причин, чтобы вздохи, которые вы слышали, слова, которым вы внимали, и слезы, которые лились из моих очей, были еще обильнее, и, помыслив о том, какого рода бедствие постигло меня, вы поймете, что утешать меня бесполезно, ибо горю моему помочь нельзя. Об одном молю вас (и это ваш долг, и вам легко будет исполнить его): скажите мне, есть ли здесь такой уголок, где бы меня покинули страх и отчаяние, овладевающие мною при мысли о том, что ищущие настигнут меня. Правда, мне ведома великая любовь моих родителей, и я убеждена, что они мне обрадуются, однако ж неизъяснимый стыд меня объемлет, как скоро я представлю себе, что мне предстоит пред ними предстать не такой, какою они себе меня представляют, – вот почему я предпочла бы скрыться с их глаз, нежели глядеть им в глаза и в это же самое мгновенье представлять себе, что в моих глазах они читают, что я обманула их доверие и чести своей не сберегла.

Вымолвив это, она умолкла и залилась румянцем, обличавшим в ней душу чувствительную и стыдливую. А в душе у тех, кто ее слушал, пробудилась великая к ней жалость, и в то же время все подивились ее злополучию; и священник совсем уж было собрался утешить ее и подать ей совет, но Карденьо опередил его и сказал:

– Так, значит, сеньора, вы и есть прелестная Доротея, единственная дочь богача Кленардо?

Подивилась Доротея, услыхав имя своего отца из уст человека, имевшего столь жалкий вид (мы уже упоминали, что Карденьо ходил в рубище), и обратилась к нему с такими словами:

– А вы, добрый человек, кто будете и откуда вам известно, как зовут моего отца? Ведь если память мне не изменяет, я, повествуя о моей недоле, ни разу не упомянула его имени.

– Я тот злосчастный, – отвечал Карденьо, – которого, как вы, сеньора, сказали, нарекла своим супругом Лусинда. Я обездоленный Карденьо, который беспредельною душевною низостью того, кто и вас довел до предела отчаяния, доведен до такого состояния, в каком я ныне предстал перед вами, то есть оборванным, полураздетым, лишенным человеческого участия и, еще того хуже, лишенным рассудка, – ведь я нахожусь в здравом уме, лишь когда небу благоугодно бывает на краткий миг мне его возвращать. Я тот, Доротея, кто явился свидетелем преступления, совершенного доном Фернандо, и тот, кто слышал, как Лусинда изъявила согласие быть его супругой. Я тот, у кого не хватило духу дождаться, пока она придет в себя и пока обнаружится, что именно заключает в себе найденная у нее на груди записка, ибо не вынесла душа стольких злоключений сразу. Итак, терпение оставило меня, и я оставил этот дом и у хозяина моего оставил письмо с просьбой передать его Лусинде и явился в пустынные эти места с намерением здесь и кончить свою жизнь, которую я с тех самых пор возненавидел, как лютого своего врага. Однако ж судьба, не восхотев лишить меня жизни, удовольствовалась тем, что лишила меня рассудка: может статься, она хранила меня для того, чтобы я по счастливой случайности встретился с вами, и вот, если все, что вы рассказывали, правда, а я в этом не сомневаюсь, то весьма возможно, что по воле небес наши с вами испытания кончатся лучше, чем мы предполагаем. Ведь если принять в соображение, что Лусинда не может выйти замуж за дона Фернандо, ибо она – моя, чего она сама отнюдь не отрицала, а дон Фернандо не может на ней жениться, ибо он – ваш, то мы вполне можем надеяться, что небо снова введет нас во владение тем, что принадлежит нам, ибо оно все еще наше и не было ни отчуждено, ни отторгнуто. И коли есть у нас такое утешение, не отдаленными надеждами порожденное и не на пустых бреднях основанное, то, умоляю вас, сеньора, перемените направление благородных своих мыслей и надейтесь на лучшую долю, а я постараюсь переменить направление своих мыслей. И клянусь честью кавальеро и честью христианина, я не покину вас до тех пор, пока дон Фернандо не вернется к вам, и коли мне не удастся словами убеждения пробудить в нем сознание долга, то, позабыв обиды, которые он нанес мне, и предоставив покарать его за них небу с тем, чтобы здесь, на земле, отомстить за нанесенные вам, я воспользуюсь тою свободою действий, какую предоставляет звание кавальеро, и с полным правом вызову его на поединок за ту неправду, которую он по отношению к вам учинил.

Слова Карденьо привели Доротею в полное изумление; не зная, как благодарить его за столь добрые побуждения, она кинулась к его ногам и чуть было не принялась обнимать их, Карденьо же сопротивлялся, но тут вмешался лиценциат: похвалив Карденьо за прекрасную речь, он стал просить, убеждать и уговаривать их отправиться вместе с ним в его деревню, где, по его словам, они запасутся всем необходимым, а потом-де решат, как им быть далее: искать ли дона Фернандо или же отвести Доротею к родителям, словом, поступят, как им заблагорассудится. Карденьо и Доротея изъявили ему свою признательность и порешили воспользоваться любезным его предложением. Цирюльник, молча всему удивлявшийся, тоже наконец сказал свое слово и с такою же готовностью, как и священник, предложил им свои услуги; затем он в кратких словах сообщил, почему он со священником здесь очутился,

рассказал о необычайном помешательстве Дон Кихота и прибавил, что они поджидают его оруженосца, который отправился разыскивать своего господина. Тут Карденьо припомнилась его драка с Дон Кихотом, но так, будто это происходило во сне, и он рассказал о ней присутствовавшим: он только забыл, из-за чего они поссорились. В это время послышались крики, и священник с цирюльником догадались, что это кричит Санчо Панса, – не найдя их там, где оставил, он громко теперь к ним взывал. Они пошли ему навстречу, и на их вопрос о Дон Кихоте он ответил, что Дон Кихот в одной сорочке, исхудалый, бледный, голодный, вздыхает о госпоже своей Дульсинее и что хотя он, Санчо, ему сказал, что Дульсинея велит ему покинуть эти места и ехать в Тобосо, где она его ожидает, но тот объявил, что не предстанет пред ее великолепием, пока не свершит подвигов, милости ее достойных. И если так будет продолжаться, примолвил Санчо, то Дон Кихот рискует остаться не только без империи, завоевать которую он обязался, но даже без архиепископства, впрочем, архиепископство – это только за неимением лучшего, а посему во что бы то ни стало надлежит вызволить его отсюда. Лиценциат сказал, что он может не беспокоиться: как Дон Кихоту будет угодно, а уж они, дескать, вызволят его отсюда. Затем он сообщил Карденьо и Доротее, что он и цирюльник затеяли для того, чтобы излечить Дон Кихота или уж, по крайности, препроводить домой; Доротея ему на это сказала, что она лучше цирюльника сыграет беззащитную девицу, – к тому же у нее есть соответствующий наряд, так что у нее это выйдет натуральнее, и пусть-де ей поручат изобразить все, что нужно для того, чтобы их начинание увенчалось успехом, ибо она прочла много рыцарских романов и отлично знает, как изъясняются обиженные девицы, когда просят помощи у странствующих рыцарей.

– В таком случае, – заметил священник, – нам остается только приняться за дело. Судьба, несомненно, нам благоприятствует: столь неожиданно отворив дверь, ведущую к нашему, сеньоры, спасению, она в то же время облегчила и нашу задачу.

Тут Доротея достала из своего узла нарядное платье и прекрасной зеленой ткани мантилью, а из ларца ожерелье и прочие драгоценности и, надев их на себя, мгновенно превратилась в богатую и знатную сеньору. Все это, по ее словам, и еще кое-какие вещи она взяла с собою на всякий случай, но до сих пор такого случая не представлялось. Все пришли в восторг от превеликого ее изящества, прелести и очарования и объявили, что дон Фернандо, верно, ничего не понимает, коли пренебрег такою красавицей; однако ж всех более восхищен был Санчо Панса – ему казалось (да так оно и было на самом деле), что за всю свою жизнь не видел он столь обворожительного создания, а потому он в сильном волнении спросил священника, кто сия прелестная сеньора и кого она в этакой глуши разыскивает.

– Эта прелестная сеньора, брат Санчо, – отвечал священник, – является, между прочим, прямою наследницею по мужской линии великого королевства Микомиконского, а разыскивает она твоего господина, дабы обратиться к нему с просьбою о заступлении и об отмщении за нанесенные ей неким злым великаном обиду и оскорбление, слава же о столь добром рыцаре, каков твой господин, идет по всей земле, и принцесса сия прибыла из Гвинеи, дабы его сыскать.

– Счастливые поиски и счастливая находка, – сказал на это Санчо Панса, – особливо ежели на долю моего господина выпадет такая удача, что он убьет эту гадину великана, о котором ваша милость толкует, и тем самым отмстит за обиду и оскорбление, а уж он непременно его убьет, если только с ним встретится и если только это не привидение, потому супротив привидений моему господину не устоять. Но, между прочим, сеньор лиценциат, вот об чем я хочу попросить вашу милость: чтобы моему господину не припала охота стать архиепископом, чего именно я и опасаюсь, посоветуйте ему, ваша милость, как можно скорее жениться на этой принцессе, тогда уж его в сан архиепископа не возведешь, и он без особого труда добьется императорской короны, а я – венца своих желаний. Ведь я долго над этим думал и пришел к заключению, что не с руки это мне – чтобы мой господин становился архиепископом, я для церкви человек бесполезный: я женат, а хлопотать мне теперь о разводе,

чтобы иметь право получать какие-нибудь там церковные доходы – потому как я, значит, имею жену и детей, – это дело безнадежное. Стало быть, сеньор, вся штука в том, чтобы мой господин поскорее женился на этой сеньоре, – я с ее милостью еще незнаком, а потому и не величаю по имени.

– Ее зовут принцесса Микомикона, – отвечал священник, – ибо если королевство ее называется Микомиконским, то ясно, что и ей надлежит называться так же.

– Разумеется, – согласился Санчо. – Мне часто приходилось встречать людей, которые производили свои имена и фамилии от той местности, где они родились, – например, Педро де Алькала, Хуан де Убеда, Дьего де Вальядолид, – наверно, и в Гвинее существует такой обычай, чтобы королевы назывались по имени своих королевств.

– Наверно, – сказал священник, – а что касается женитьбы твоего господина, то я сделаю все, что от меня зависит.

Слова эти столь же обрадовали Санчо, сколь поразило священника его простодушие и то, как прочно засел у него в голове вздор, занимавший воображение его господина, – ведь тот, конечно, был уверен, что сделается императором.

Тем временем Доротея села на священникова мула, а цирюльник приладил бороду из бычачьего хвоста, и они велели Санчо проводить их к Дон Кихоту, предварительно наказав ему не говорить, что это лиценциат и цирюльник, ибо вся, дескать, штука в том, чтобы Дон Кихот не узнал их, – от этого, мол, зависит, быть ему императором или нет. Священник и Карденьо порешили не сопровождать их: Карденьо – чтобы не напоминать Дон Кихоту о драке, священник же – просто потому, что присутствие его было теперь уже лишним, и вот те поехали вперед, а они не спеша двинулись за ними пешком. Священник не преминул сделать Доротее наставление, как ей надлежит действовать, но та ему на это сказала, что он может не беспокоиться: все, дескать, выйдет без сучка, без задоринки, так, как того требуют и как это изображают рыцарские романы. Всадники наши проехали три четверти мили, как вдруг среди нагромождения скал глазам их представился Дон Кихот, уже одетый, но еще не вооруженный, и как скоро Доротея увидела его и получила подтверждение от Санчо, что это и есть Дон Кихот, то хлестнула своего иноходца, а следом за нею поскакал брадатый брадобрей; когда же они приблизились к Дон Кихоту, то слуга соскочил с мула и хотел было подхватить Доротею, но та, с чрезвычайною легкостью спешившись, бросилась перед Дон Кихотом на колени; и хотя Дон Кихот силился поднять ее, она, не вставая, возговорила так:

– Я не встану с колен, о доблестный и могучий рыцарь, до тех пор, пока доброта и любезность ваши не явят мне милость, каковая вашей особе послужит к чести и украшению, а самой неутешной и самой обиженной девице во всем подлунном мире на пользу. И если доблесть мощной вашей длани равновелика гласу вашей бессмертной славы, то ваш долг оказать покровительство несчастной, пришедшей из далеких стран на огонь славного вашего имени просить вас помочь ее горю.

– Я не отверзну уст своих, великолепная сеньора, – отвечал Дон Кихот, – и не приклоню слуха к вашим мольбам до тех пор, пока вы не встанете.

– Я встану, сеньор, – возразила скорбящая девица, – не прежде, нежели ваша любезность окажет мне просимую услугу.

– Я согласен вам ее оказать, – объявил Дон Кихот, – если только от этого не будет вреда и ущерба моему королю, моей отчизне, а также той, кто владеет ключами от сердца моего и свободы.

– Ни вреда, ни ущерба им от этого не будет, добрый мой сеньор, – отвечала страждущая девица.

В это время Санчо Панса приблизился к своему господину и сказал ему на ухо:

– Сеньор! Ваша милость смело может обещать сделать ей это одолжение, потому убить какого-то там великанишку – это для вас пустяк, а просит об том благородная принцесса Микомикона, королева великого королевства Микомиконского в Эфиопии.

– Кто бы она ни была, – возразил Дон Кихот, – я поступлю так, как я обязан поступить и как мне велит моя совесть, в полном соответствии с данным мною обетом.

И, обратясь к девице, молвил:

– Великая красота ваша да восстанет, – я согласен оказать просимую вами услугу.

– Я прошу о том, – сказала девица, – чтобы ваша самоотверженность последовала за мною немедля, предварительно обещав мне не искать никаких других приключений и не исполнять ничьих просьб, пока не отомстит предателю, который, поправ законы божеские и человеческие, захватил мое королевство.

– Повторяю: я исполню вашу просьбу, – объявил Дон Кихот, – а потому, сеньора, вам сей же час надлежит сбросить с себя гнетущее бремя скорби и вдохнуть новые силы и мужество в изнемогшую вашу надежду, ибо с помощью божией и с помощью длани моей вам скоро будет возвращено королевство и вы воссядете на древнем и великом престоле вашего государства – назло и наперекор наглецам, осмелившимся его оспаривать. И – за дело, ибо промедление, как говорится, опаснее всего.

Беззащитная девица крайне настойчиво пыталась облобызать Дон Кихоту руку, но он, будучи рыцарем в высшей степени учтивым и обходительным, этого не допустил, – напротив, он с отменною учтивостью и обходительностью обнял и поднял ее, а затем велел Санчо подтянуть на Росинанте подпругу и сию же минуту подать доспехи. Санчо отвязал доспехи, висевшие, будто трофеи, на дереве, и, подтянув подпругу, в одну минуту облек в них своего господина, господин же его, облачившись в доспехи, молвил:

– Итак, господи благослови, двинемся на защиту этой знатной сеньоры.

Цирюльник все еще стоял на коленях, прилагая огромные усилия к тому, чтобы не прыснуть, и придерживая рукою бороду, которой падение могло бы им всем помешать осуществить благое их начинание; видя, однако ж, что услуга уже обещана и что Дон Кихоту не терпится ее оказать, он встал и, другою рукой поддерживая свою госпожу, вместе с Дон Кихотом помог ей сесть на мула; вслед за тем Дон Кихот воссел на Росинанта, цирюльник тоже сел верхом, а Санчо пошел пешком, и тут он, снова почувствовав, как ему недостает серого, вспомнил об его пропаже; однако на сей раз он к этому отнесся легко, – он утешал себя, что его господин уже на пути к тому, чтобы сделаться императором, и вот-вот это сбудется: ведь он, разумеется, был уверен, что Дон Кихот женится на этой принцессе и станет, по меньшей мере, королем Микомиконским. Одно лишь огорчало его – то, что королевство это находится в стране негров и что люди, коих определят к нему в вассалы, будут чернокожие; впрочем, воображение его тут же указало ему недурной выход, и он подумал: «Ну и что ж такого, что вассалами моими будут негры?[186] Погрузить на корабли, привезти в Испанию, продать их тут, получить за них наличными, купить на эти денежки титул или должность – и вся недолга, а там доживай себе беспечально свой век! Будьте спокойны, мы не прозеваем, у нас хватит сметки и смекалки обстряпать это дельце и мигом продать тридцать или там десять тысяч вассалов. Ей-богу, я их живо спущу, всех гуртом или уж как там придется, но только продам-то я черных, а вернутся они ко мне серебряными да золотыми. Нет, я не такой дурак, как вы думаете!» И так все это его занимало и радовало, что он забывал о неудобстве пешего хождения.

Карденьо и священник наблюдали за всем этим из-за кустов и никак не могли найти предлог, чтобы к ним присоединиться; наконец священник, будучи великим выдумщиком, сообразил, как им достигнуть желаемого, а именно: вынул из находившегося при нем футляра ножницы и в одну секунду отрезал Карденьо бороду, надел на него серую свою накидку и черный плащ, а сам остался в одном камзоле и штанах; и Карденьо мгновенно стал совсем

другим, так что, погляди он в зеркало, он и сам бы себя не узнал. Пока они переодевались, те уже проехали вперед, но им не составило труда первыми выйти на дорогу, ибо заросли и топи не позволяли конным продвигаться так же быстро, как пешим. Словом, они выбрались из ущелья на равнину, и как скоро Дон Кихот со своими спутниками оттуда выбрался, то священник стал пристально в него всматриваться, знаками давая понять, что узнаёт его, и лишь много спустя, с распростертыми объятиями бросившись к нему, воскликнул:

– Здравствуйте, зерцало рыцарства, добрый мой земляк Дон Кихот Ламанчский, верх и предел благородства, прибежище и оплот обездоленных, цвет странствующих рыцарей!

Говоря это, он сжимал в объятиях колено левой ноги Дон Кихота, а тот, ошеломленный речами и движениями этого человека, внимательно на него поглядел и, узнав, словно обомлел при виде его и напряг усилия, чтобы спешиться, однако ж священник этого не допустил, и тогда Дон Кихот сказал:

– Позвольте, ваша милость, сеньор лиценциат! Мне не подобает ехать на коне, в то время как столь высокочтимая особа идет пешком.

– Я этого ни в коем случае не допущу, – сказал священник, – вашему величию подобает оставаться на коне, ибо, оставаясь на коне, вы наконец совершите такие ратные подвиги, каких еще не видел наш век, мне же, недостойному священнослужителю, надлежит взобраться на круп одного из этих мулов, принадлежащих этим сеньорам, что вместе с вашею милостью путешествуют, – если только они ничего не имеют против, – и я еще воображу, что подо мною конь Пегас или же зебра, на которой разъезжал славный мавр Мусарак, тот, что и доныне покоится, заколдованный, в недрах великого холма Соломонова[187] близ великого Комплута.

– Этого я не предусмотрел, сеньор лиценциат, – заметил Дон Кихот, – но я уверен, что сеньора принцесса из любви ко мне будет так любезна, что велит своему слуге уступить вашей милости седло, а он может устроиться на крупе своего мула, если только тот выдержит.

– По-моему, выдержит, – сказала принцесса, – я же уверена в том, что мой слуга в приказаниях не нуждается: он у меня такой обходительный, предупредительный и ни за что не допустит, чтобы духовная особа шла пешком, когда она может ехать.

– Совершенная правда, – подтвердил цирюльник.

Он мигом спешился и уступил место священнику, и тот, не заставив себя долго упрашивать, сел в седло, однако ж, на беду, то был наемный мул, а сказать «наемный» – это все равно что сказать «скверный», и когда цирюльник стал взбираться к нему на круп, он приподнял задние ноги и дважды взбрыкнул ими, так что, попади он маэсе Николасу в грудь или же в голову, тот, уж верно, послал бы к черту свою поездку за Дон Кихотом. Как бы то ни было, цирюльник от испуга свалился, и когда он падал, ему уже было не до бороды, а потому она у него тотчас же отвалилась; и тут он, видя, что остался без бороды, не нашел ничего лучшего, как закрыть лицо руками и крикнуть, что у него выбиты зубы. Дон Кихот же, заметив, что на почтительном расстоянии от потерпевшего крушение слуги валяется пук бороды без челюстей и без крови, воскликнул:

– Свят, свят, свят, это еще что за чудо! Так аккуратно вырвать бороду и швырнуть ее наземь можно только нарочно!

Священник, видя, что его затее грозит опасность быть разоблаченной, подскочил к бороде и бросился с нею к маэсе Николасу, все еще распростертому на земле и кричавшему на крик, а затем, недолго думая, положил его голову себе на грудь, приставил бороду и начал что-то бормотать, предварительно пояснив, что это особая молитва от выпадения бороды и что в чудодейственной ее силе они не замедлят удостовериться; приставив же ему бороду, он отошел, и стал наш слуга, как прежде, здрав и брадат, что привело Дон Кихота в крайнее изумление, и он попросил священника на досуге научить его этой молитве, ибо он, дескать, думает, что действие ее сводится не только к приращиванию бород – ведь на месте вырванной

бороды должны оставаться раны и струпья, и коли молитва все это заживляет, то ясно, что она помогает не только при выпадении бороды.

– Справедливо, – сказал священник и обещал научить его этой молитве при первом удобном случае.

Порешили они на том, что теперь сядет на мула только священник и что он и еще двое будут меняться – и так до самого постоялого двора, до которого отсюда две мили. Когда же трое сели верхами, то есть Дон Кихот, принцесса и священник, а трое пошли пешком, то есть Карденьо, цирюльник и Санчо Панса, Дон Кихот обратился к девице:

– Ваше величие, госпожа моя! Ведите меня, куда вам будет угодно.

Но, прежде чем она успела ответить, заговорил лиценциат:

– В какое королевство нас поведет ваша светлость? Уж не в Микомиконское ли? Вернее всего, что туда, или я ничего не смыслю в королевствах.

Доротея была с ним в заговоре, а потому она живо смекнула, что должно отвечать утвердительно, и сказала Дон Кихоту:

– Да, сеньор, путь мой лежит к этому королевству.

– А коли так, – подхватил священник, – то мы проедем через мое село, оттуда ваша милость направит путь в Картахену, и там вы с божьей помощью сядете на корабль. И если ветер будет попутный, а море спокойно и безбурно, то лет через девять вы очутитесь в виду великого озера Писписийского, то бишь Меотийского,[188] а уж оттуда немногим более ста дней пути до вашего королевства.

– Вы ошибаетесь, государь мой, – возразила принцесса, – не прошло и двух лет, как я выехала оттуда, и даю вам слово, что погода все время стояла скверная, и все же я увидела того, к кому я так стремилась, а именно сеньора Дон Кихота Ламанчского, молва о котором достигла моего слуха, едва лишь я ступила на берег Испании, и подвигнула меня разыскать его, дабы поручить себя его благородству и доверить правое мое дело доблести непобедимой его длани.

– Довольно! Не расточайте мне более похвал, – прервал ее Дон Кихот, – мне претит всякого рода ласкательство, и хотя бы это и не было ласкательством, а все же мой целомудренный слух оскорбляют подобные речи. Одно могу сказать вам, госпожа моя: какова бы ни была моя доблесть, раз что она у меня так или иначе есть, я обязан служить вам, не щадя собственной жизни. Но всему свой черед, а теперь я попрошу вас, сеньор лиценциат, объяснить мне, как вы очутились в этих краях, один, налегке и без слуг, – право, мне это странно.

– На это я отвечу вам кратко, – отвечал священник. – Да будет известно вашей милости, сеньор Дон Кихот, что я и маэсе Николас, наш общий друг и наш общий цирюльник, держали путь в Севилью за деньгами, которые мне прислал мой родственник, назад тому много лет переселившийся в Америку, и деньгами немалыми: шестьдесят тысяч полновесных песо[189] – это вам не кот наплакал. И вот, когда мы вчера здесь проезжали, на нас напали разбойники и отняли все, даже бороды. И так они нас обчистили, что цирюльнику пришлось надеть бороду накладную, а вот этого юношу, – примолвил он, указав на Карденьо, – и вовсе пустили, можно сказать, голеньким. Но это еще не все: местные жители говорят в один голос, что ограбили нас каторжники, которых якобы освободил, и чуть ли не на этом самом месте, некий человек, столь дерзкий, что, невзирая на комиссара и стражу, он отпустил их на все четыре стороны. И, разумеется, это какой-нибудь сумасшедший или такой же отпетый негодяй, как и они, вообще человек, у которого ни стыда, ни совести: ведь он пустил волка на овец, лису на кур, муху на мед. Видно, задумал он обойти правосудие и встать мятежом на короля, природного своего господина, коли нарушил мудрые его распоряжения. Видно, говорю, задумал он лишить галеры гребцов и всполошить Святое братство, которое уже много лет назад почило от дел своих. Словом, за таковой поступок и душе его не миновать гибели, да и телу придется несладко.

Санчо успел рассказать священнику и цирюльнику о приключении с каторжниками, окончившемся к вящей славе его господина, и священник для того теперь об этом распространялся, чтобы посмотреть, как будет вести себя Дон Кихот, а Дон Кихот менялся в лице при каждом его слове, но все не решался сознаться, что он, а не кто-нибудь другой, освободил теплую эту компанию.

– Так вот кто нас ограбил, – заключил священник. – Ты же, господи, по милосердию своему, прости того, кто отвел от них должную кару.



Глава XXX,

повествующая о находчивости прелестной Доротеи и, еще кое о чем, весьма приятном и увлекательном



Не успел священник договорить, как вмешался Санчо:

– По чести, сеньор лиценциат, подвиг этот совершил мой господин, а ведь я его упреждал и внушал ему, чтоб он подумал о том, что делает, и что грешно выпускать их на свободу, ибо угоняют их туда как отъявленных негодяев.

– Глупец! – сказал ему на это Дон Кихот. – В обязанности странствующих рыцарей не входит дознаваться, за что таким образом угоняют и так мучают тех оскорбленных, закованных в цепи и утесняемых, которые встречаются им на пути, – за их преступления или же за их благодеяния. Дело странствующих рыцарей помогать обездоленным, принимая в соображение их страдания, а не их мерзости. Мне попались целые четки, целая низка несчастных и изнывающих людей, и я поступил согласно данному мною обету, а там пусть нас рассудит бог. И я утверждаю, что кому это не нравится – разумеется, я делаю исключение для священного сана сеньора лиценциата и его высокочтимой особы, – тот ничего не понимает в рыцарстве и лжет, как последний смерд и негодяй. И я ему это докажу с помощью моего меча так, как если бы этот меч лежал предо мной.

С последним словом он привстал на стременах и надвинул на лоб шишак, цирюльничий же таз, который он принимал за шлем Мамбрина, до времени, пока не будут исправлены нанесенные ему каторжниками повреждения, висел у него на передней луке седла.

Доротея знала, что у Дон Кихота зашел ум за разум и что все, за исключением Санчо Пансы, над ним потешаются, а потому, будучи девицею находчивой и весьма остроумной, она не пожелала отстать от других и, видя, что Дон Кихот гневается, обратилась к нему с такими словами:

– Сеньор рыцарь! Помыслите о той услуге, которую вы обещали мне оказать, а также о том, что согласно данному обещанию вы не имеете права участвовать в других приключениях, хотя бы участие ваше было крайне необходимо. Смените же гнев на милость: ведь если бы сеньор лиценциат знал, что каторжники освобождены необоримою вашею дланью, он трижды прошил бы себе рот и трижды прикусил язык, прежде чем вымолвить слово, которое вам не придется по нраву.

– Клянусь, – подтвердил священник. – Я бы еще и ус себе вырвал.

– Я замолчу, госпожа моя, – сказал Дон Кихот, – и подавлю праведную злобу, поднявшуюся в моей душе, и пребуду тих и миролюбив, пока не исполню своего обещания. Но если только вам это не тяжело, в награду за благие мои намерения я прошу вас поведать мне, о чем вы горюете, сколь многочисленны, кто такие и каковы те люди, против кого мне надлежит обратить праведную, достойную и беспощадную месть.

– Я охотно исполню вашу просьбу, – молвила Доротея, – если только вам не наскучит рассказ о горестях и невзгодах.

– Не наскучит, госпожа моя, – сказал Дон Кихот.

Доротея же на это сказала:

– Коли так, то я прошу вашего, сеньоры, внимания.

Только успела она это вымолвить, Карденьо и цирюльник, снедаемые желанием узнать, какую историю сочинит находчивая Доротея, приблизились к ней, а за ними Санчо, который, подобно своему господину, принимал ее не за то, что она представляла собою в действительности. Она же, устроившись поудобнее в седле, откашлявшись и прочее, с великою приятностью начала так:

– Прежде всего да будет вам известно, государи мои, что зовут меня...

И тут она запнулась, оттого что забыла, какое имя дал ей священник. Но тот, смекнув, что именно явилось камнем преткновения, поспешил на выручку и сказал:

– Не удивительно, госпожа моя, что ваше величие смущается и испытывает затруднения, повествуя о своих напастях. Такое уж у напастей свойство – отнимать память у тех, кого они преследуют, так что люди даже собственные имена свои забывают, как это случилось с вашей светлостью, ибо вы забыли, что зовут вас принцесса Микомикона и что вы законная наследница великого королевства Микомиконского. Ну, а теперь, после этого напоминания, ваше величие без труда сможет восстановить в скорбной своей памяти все, что вы желаете нам рассказать.

– То правда, – заметила девица, – и я думаю, что больше мне уже не нужно будет напоминать, и правдивую мою историю я благополучно доведу до конца. История же моя такова. Отец мой, король Тинакрий Мудрый, как его называют, был весьма искушен в искусстве, магией именуемом, и вот благодаря своим познаниям постигнул он, что мать моя, королева Харамилья, умрет раньше него и что не в долгом времени суждено и ему перейти в мир иной, мне же – круглою остаться сиротою. Все это, однако ж, не так его удручало, как волновало его то, что почти рядом с нашим королевством чудовищный великан, про которого он слышал от верных людей, правит одним большим островом, а зовут его Пандафиланд Мрачноокий: всем известно, что хотя глаза у него в порядке и на месте, однако ж он все поглядывает вбок, точно косой, и делает он это умышленно, дабы повергать в страх и трепет тех, кто на него взирает, – ну, словом, отец мой узнал, что этот великан, проведав о моем сиротстве, двинет несметную рать на мое королевство и захватит его, так что у меня не останется и малой деревушки, где бы я могла приклонить голову. Со всем тем отец мой утверждал, что бедствие это и разорение можно предотвратить, если только я пожелаю выйти за великана замуж, но что, по крайнему его разумению, я ни при каких обстоятельствах на столь неравный брак не решусь, и он был совершенно прав, ибо у меня и в мыслях никогда не было выходить замуж за великана – ни за этого, ни за другого, ни за самого что ни на есть огромного и непомерного. И завещал мне отец, чтобы после его смерти, когда Пандафиланд вторгнется в мое королевство, я не вздумала обороняться, ибо это значит обречь себя на гибель, но добровольно покинула пределы королевства, если только я желаю уберечь от смерти и полного уничтожения добрых моих и верных вассалов, ибо с таким дьявольски сильным великаном мне все равно-де не совладать, и чтобы без дальних размышлений с кем-нибудь из моих приближенных отправилась в Испанию, где я и обрету наконец избавление от всех зол, как скоро обрету некоего странствующего рыцаря, чья слава к тому времени пройдет по всему этому королевству, а зовут его, если память мне не изменяет, не то Дон Колоброд, не то Дон Сумасброд.

– Наверно, он сказал – Дон Кихот, сеньора, – поправил ее Санчо Панса, – или, иначе, Рыцарь Печального Образа.

– Твоя правда, – молвила Доротея. – Еще он сказал, что рыцарь тот ростом высок, лицом худощав и что у него с правой стороны пониже левого плеча или где-то поблизости темная родинка с волосками вроде щетины.

Услышав это, Дон Кихот сказал своему оруженосцу:

– Санчо! Поди-ка сюда, сынок, помоги мне раздеться, – я желаю удостовериться, точно ли я тот самый рыцарь, о котором пророчествовал мудрый король.

– Зачем же вашей милости раздеваться? – спросила Доротея.

– Хочу посмотреть, есть ли у меня родинка, о которой говорил ваш отец, – отвечал Дон Кихот.

– Раздеваться не к чему, – заметил Санчо, – я знаю, что у вашей милости точно такая родинка посередине спины, и это признак силы.

– Этого довольно, – сказала Доротея. – Друзьям не пристало обращать внимание на мелочи, и на плече родинка или же на спине – это не имеет значения, важно, что она есть, где бы она ни была: ведь тело везде одинаково. И, разумеется, добрый мой отец оказался прав, и я поступила как должно, обратившись к сеньору Дон Кихоту, а ведь он и есть тот самый, о ком мне толковал отец, ибо черты лица у этого рыцаря точь-в-точь такие, как о том гласит молва не только в Испании, но и во всей Ламанче: ведь не успела я высадиться в Осуне, как до меня уже дошла весть о неисчислимых его подвигах, и тут сердце мне подсказало, что он и есть тот самый, кого я разыскиваю.

– Каким же образом ваша милость высадилась в Осуне, коль скоро это не морская гавань? – спросил Дон Кихот.

Однако ж, прежде чем Доротея успела что-нибудь ответить, взял слово священник и сказал:

– Сеньора принцесса, видимо, хочет сказать, что, высадившись в Малаге, она впервые услышала о вашей милости в Осуне.

– Я это и хотела сказать, – подтвердила Доротея.

– Вот так будет понятно, – сказал священник, – продолжайте же, ваше величество.

– Продолжение будет состоять лишь в том, – сказала Доротея, – что счастье мне наконец улыбнулось и я разыскала сеньора Дон Кихота, и теперь я уже могу считать себя королевой и правительницей всего моего королевства, ибо он был настолько великодушен и любезен, что обещал оказать мне услугу и отправиться вместе со мной, куда я его поведу, – поведу же я его прямо к Пандафиланду Мрачноокому, дабы он убил его и возвратил мне то, что Пандафиланд столь беззаконно у меня отнял. И все это должно совершиться как по писаному, ибо так предсказал добрый мой отец Тинакрий Мудрый, который к этому еще прибавил и записал не то халдейскими, не то греческими буквами – я их так и не разобрала, – что если этот предвозвещенный мне рыцарь, обезглавив великана, пожелает вступить со мною в брак, то я немедля и без всяких разговоров должна стать законною его супругой и передать ему власть над моим королевством, а равно и над моею особою.

– Как тебе это нравится, друг Санчо? – обратился тут Дон Кихот к своему оруженосцу. – Видишь, как обстоит дело? А что я тебе говорил? Вот у нас уже и королевство, и королева – хоть сейчас бери бразды правления и женись.

– Клянусь, что это похоже на правду, – воскликнул Санчо, – и какой же распросукин сын после этого не свернет шею господину *Нискладуниладу* и не женится! А ведь королева-то, ей-ей, недурна! Такие блошки хоть бы и для моей постели.

С этими словами он вне себя от восторга дважды подпрыгнул, а затем схватил мула Доротеи под уздцы и, остановив его, бросился перед ней на колени и попросил дозволения поцеловать ей руки в знак того, что он признает ее своею королевою и госпожою. Ну кого бы, право, не насмешило безумие господина и простодушие слуги? Доротея между тем дала ему поцеловать руки и обещала сделать его вельможей в своем королевстве, как скоро небо явит ей милость и она снова будет им владеть и править. Санчо в таких выражениях стал изъявлять ей свою благодарность, что все опять засмеялись.

– Такова, сеньоры, моя история, – продолжала Доротея. – Мне остается лишь добавить, что из всей свиты, которую я вывезла из моего королевства, уцелел один этот бородатый слуга, а все остальные потонули во время ужасной бури, застигшей нас в виду гавани, мы же с ним чудом добрались на двух досках до берега, да и вся моя жизнь, как вы, верно, заметили, есть сплошное чудо и тайна. Если же я позволила себе что-нибудь лишнее или неуместное, то не вините в этом меня и вспомните, что сказал в начале моей повести сеньор лиценциат, а именно, что бесконечные и необычайные испытания отнимают память у того, кому они посылаются.

– Только не у меня, о благородная и доблестная сеньора, как бы многочисленны, тяжки и чрезвычайны ни были те испытания, которые пошлет мне судьба, пока я буду служить вам! – воскликнул Дон Кихот. – И я вновь подтверждаю свое обещание и клянусь, что пойду за вами хоть на край света, дабы переведаться с лютым вашим врагом, коему я надеюсь с помощью божией и с помощью моей длани снести буйную голову лезвием этого... к сожалению, не могу сказать – «этого доброго меча», ибо Хинес де Пасамонте у меня его похитил.

Последние слова он проговорил сквозь зубы, а затем продолжал:

– А как скоро я его обезглавлю и введу вас в мирное владение государством вашим, то вы будете вольны располагать собою по своему благоусмотрению, ибо память моя поглощена, воля пленена, и я потерял рассудок из-за той... далее умолкаю, – словом, я и помыслить не могу о женитьбе на ком бы то ни было, хотя бы даже на птице Феникс.

Слова Дон Кихота о том, что он не хочет жениться, так не понравились Санчо, что он возвысил голос и весьма сердито заговорил:

– Клянусь вам, ручаюсь вам, ваша милость, сеньор Дон Кихот, что у вас не все дома, потому как же можно колебаться, когда речь идет о женитьбе на столь благородной принцессе? Или вы думаете, что такие удачи, как сегодня, на полу валяются? Или, по-вашему, госпожа моя Дульсинея красивее? Конечно, нет, эта вдвое краше, я готов поклясться, что Дульсинея ей в подметки не годится. Ежели ваша милость будет ловить в небе журавля, то черта с два я буду графом. Да ну женитесь вы, женитесь, прах вас побери, и не упускайте королевства, которое само плывет вам в руки, становитесь королем и делайте меня маркизом или же наместником, иначе пускай все летит к черту!

Дон Кихот не мог допустить, чтобы при нем поносили сеньору Дульсинею, а потому он взмахнул копьецом, и, не говоря худого слова, два раза подряд так огрел Санчо, что тот полетел вверх тормашками, и если бы Доротея его не усовестила, он, уж верно, вытряс бы из Санчо душу.

– Вы думаете, мерзкий грубиян, – немного спустя заговорил он, – что вы всегда так же нагло будете себя со мной держать и все на свете путать, а я буду вас миловать? Так нет же, окаянный мерзавец, ибо вы, точно, мерзавец, коли язык ваш коснулся несравненной Дульсинеи. Да знаете ли вы, пентюх, чурбан, лоботряс, что если б она не вливала силы в мою десницу, то я не убил бы и блохи? А ну говорите, насмешник с языком змеи: кто, по-вашему, завоевал это королевство, отсек голову великану и сделал вас маркизом (ведь я полагаю, что все это уже состоялось, что это, как говорится, решено и подписано), – кто, как не доблесть Дульсинеи, избравшей мою длань своим орудием? Она сражается во мне и побеждает мною, а я живу и дышу ею, и ей обязан я жизнью и всем моим бытием. О подлец, негодяй, как же вы неблагодарны! Вас вознесли из праха и сопричислили к титулованной знати, а вы благодетельнице своей платите злословием!

Санчо был избит отнюдь не до бесчувствия, а потому слышал все, что говорил его господин; довольно легко став на ноги, он спрятался за иноходца Доротеи и оттуда обратился к Дон Кихоту:

– Скажите мне, сеньор: положим, ваша милость порешила не жениться на этой знатной принцессе, но тогда, стало быть, вы не получите королевства, а коли так, то каких же мне ожидать от вас милостей? Вот я чего боюсь. Во что бы то ни стало женитесь на этой королеве, тем паче, она нам прямо с неба свалилась, а потом можно будет вернуться к сеньоре Дульсинее – ведь, уж верно, были на свете такие короли, которые жили с полюбовницами. А что касается красоты, то уж тут мое дело сторона, – по чести, коли на то пошло, мне обе нравятся, хотя, впрочем, сеньору Дульсинею я отродясь не видел.

– Как так не видел, кощунствующий еретик? – вскричал Дон Кихот. – Да ведь ты только что привез мне от нее привет?

– Я хотел сказать, что мне не удалось во всех подробностях рассмотреть на свободе ее красоту и каждую из ее прелестей особо, – отвечал Санчо, – но ежели оценить ее на глазок, то она недурна собой.

– Вот теперь я тебя прощаю, – сказал Дон Кихот, – и ты также не помни зла, ибо в первых движениях чувства люди не вольны.

– Уж я вижу, – заметил Санчо. – А у меня первое движение – поговорить, и никак я не могу удержаться, чтобы хоть раз не высказать того, что вертится на языке.

– Все же, Санчо, – сказал Дон Кихот, – думай о том, что ты говоришь, а то ведь повадился кувшин по воду ходить... ты меня понимаешь.

– Ну что ж, – возразил Санчо, – на небе есть бог, никакие козни от него не укроются, и он рассудит, что хуже: дурно ли говорить, как я, или же дурно поступать, как ваша милость.

– Полно, полно, – вмешалась Доротея, – беги, Санчо, поцелуй своему господину руку, попроси у него прощения, впредь будь осторожнее в похвалах и порицаниях, не говори дурно о сеньоре Тобосе, которую я не имею чести знать, хотя и готова к ее услугам, и уповай на бога, а уж владения у тебя непременно будут, и заживешь ты по-княжески.

Санчо, понурив голову, подошел к своему господину и попросил пожаловать руку, и тот величественно ее пожаловал; когда же Санчо поцеловал руку, Дон Кихот благословил его и велел следовать за ним – ему надобно-де расспросить его и потолковать с ним о весьма важных вещах. Санчо так и сделал, и, проехав вперед, Дон Кихот обратился к нему с такими словами:

– С тех пор как ты возвратился, у меня не было времени и случая подробно расспросить тебя ни о посольстве, с коим ты выехал, ни об ответе, который тебе надлежало привезти, но теперь, когда по милости судьбы у нас есть для этого и время и место, ты не вправе лишать меня счастья услышать добрые вести.

– Спрашивайте о чем угодно, ваша милость, – сказал Санчо, – я откликнусь на все так же точно, как мне тут аукнули. Но только я вас умоляю, государь мой: не будьте вы впредь столь мстительны.

– Что ты хочешь этим сказать, Санчо? – спросил Дон Кихот.

– Я хочу сказать, – отвечал Санчо, – что стукнули вы меня больше из-за того, что недавно черт нас дернул поссориться, чем за мои слова о сеньоре Дульсинее: ведь я ее люблю и чту, как святыню, – хотя, впрочем, насчет святости там слабовато, – единственно потому, что она – утеха вашей милости.

– Сделай одолжение, Санчо, не начинай ты опять сначала, – сказал Дон Кихот, – мне это надоело. Ведь я тебя только что простил, а ты сам знаешь, что говорят в таких случаях: «За новый грех – новое покаяние».

Но тут они увидели, что навстречу им едет какой-то человек верхом на осле, и когда он подъехал ближе, им показалось, что это цыган; однако же стоило Санчо Пансе, который при виде каждого осла становился сам не свой, вглядеться в этого человека, и он тотчас же догадался, что это Хинес де Пасамонте, и по одной этой цыганской шерстинке распознал овчинку собственного своего осла, и распознал безошибочно, ибо Пасамонте, точно, ехал верхом на его сером; должно заметить, что упомянутый Пасамонте, дабы не быть узнанным и дабы продать осла, оделся так, как одеваются цыгане, на языке которых, а равно и на многих других языках он изъяснялся не хуже, чем на своем родном. Санчо увидел его и узнал, а увидев и узнав, тотчас же завопил истошным голосом:

– Эй, вор Хинесильо! Отдай мне мое добро, отпусти мою душу на покаяние, не лишай меня покоя, оставь моего осла, верни мне мою усладу! Пошел прочь, сука, сгинь, разбойник, не смей трогать чужого!

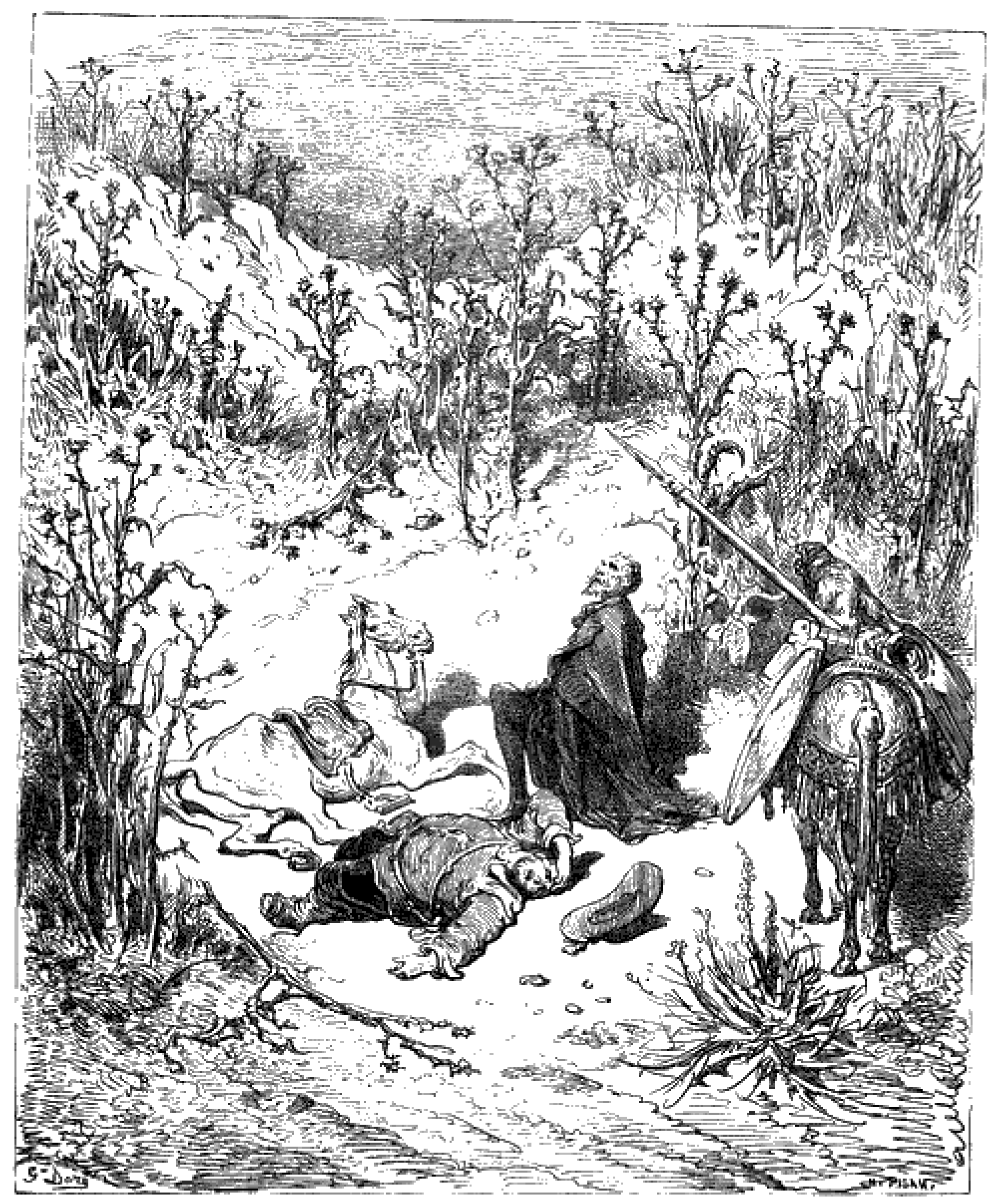
Собственно, в таком количестве поносных слов не было необходимости, ибо при первом же из них Хинес соскочил с осла и, сразу перейдя на крупную рысь, мгновенно исчез и скрылся с глаз. Санчо подбежал к серому и, обняв его, молвил:

– Ну как ты без меня поживал, сокровище мое, красавец мой, дружочек мой серенький?

И при этом он целовал и ласкал его, как человека. Осел помалкивал, – он принимал поцелуи и ласки Санчо, но в ответ не произносил ни слова. Приблизились остальные и поздравили Санчо с возвращением серого, а Дон Кихот, который был особенно рад за своего оруженосца, объявил, что не отменяет приказа касательно трех ослят. Санчо поблагодарил его.

В то время как Дон Кихот и Санчо между собою беседовали, священник, обратившись к Доротее, отметил изрядное ее искусство, проявившееся как в самом рассказе, так и в его краткости и сходстве с теми, что встречаются в рыцарских романах. Доротея ему на это

сказала, что она увлекалась рыцарскими романами, но что она не имеет понятия, где находятся разные провинции и морские гавани, и оттого сказала наобум, что высадилась в Осуне.



– Я так и понял, – сказал священник, – и поспешил вмешаться, после чего все уладилось. Но разве не странно, что незадачливый этот идальго так легко верит всяким басням и небылицам единственно потому, что их слог и лад напоминают вздорные его романы?

– Так, так, – сказал Карденьо, – это в самом деле нечто необычайное и неслыханное, и я не думаю, чтобы нашелся столь глубокий ум, который, задавшись целью придумать и сочинить что-нибудь вроде этого, добился бы успеха.

– Но ведь тут еще вот какое обстоятельство, – заметил священник. – Добрый этот идальго говорит глупости, только если речь заходит о пункте его помешательства, но когда с ним заговорят о чем-нибудь другом, он рассуждает в высшей степени здраво и выказывает ум во всех отношениях светлый и ясный, так что всякий, кто не затронет этой его рыцарщины, признает его за человека большого ума.

В то время как они вели этот разговор, Дон Кихот, продолжая разговор с Санчо, молвил:

– Итак, друг Панса, раздоры наши – побоку, и ты мне, не помня ни зла, ни обиды, скажи: где, как и когда видел ты Дульсинею? Чем она была занята? Что ты ей сказал? Что она тебе ответила? Какое у нее было лицо, когда она читала мое послание? Кто тебе его переписал? Словом, поведай мне все, что, по-твоему, заслуживает в сем случае упоминания, вопроса и ответа, – поведай, ничего не прибавляя и не присочиняя ради того, чтобы доставить мне удовольствие, а главное, ничего не пропуская, иначе ты лишишь меня такового.

– Сеньор! – возразил Санчо. – Сказать по совести, никто мне ничего не переписывал, потому никакого письма я с собою не брал.

– То правда, – заметил Дон Кихот, – записную книжку я обнаружил у себя спустя два дня после твоего отъезда, и это меня весьма огорчило, ибо я не знал, что ты будешь делать, когда увидишь, что письма нет, и я все думал, что ты воротишься, как скоро заметишь свою оплошность.

– Так бы оно и было, – возразил Санчо, – если б я не запомнил его наизусть, когда ваша милость мне его читала, так что я пересказал его псаломщику, и тот здорово, слово в слово, мне его записал, да еще прибавил, что хоть и много приходилось ему читать посланий об отлучении, но такого прекрасного послания он за всю свою жизнь не видел и не читал.

– И ты все еще помнишь его, Санчо? – спросил Дон Кихот.

– Нет, сеньор, – отвечал Санчо, – я его пересказал, а потом вижу, что оно мне больше не понадобится, – ну и стал забывать, я только и помню, что *безотказная,* то бишь *бесстрастная сеньора,* и потом в конце: *Ваш до гроба Рыцарь Печального Образа.* А в середину я вставил штук триста всяких там «душ», «жизней» да «очей моих».



Глава XXXI

о любопытной беседе, которую вели между собою Дон Кихот и его оруженосец Санчо Панса, равно как и о других происшествиях



– Пока что я доволен, – сказал Дон Кихот, – продолжай. Вот ты пришел, – чем в это время была занята царица красоты? Вернее всего, низала жемчуг или же золотыми нитками вышивала девиз для преданного ей рыцаря?

– Никак нет, – отвечал Санчо, – она просеивала зерно у себя во дворе.

– Так вот знай же, – сказал Дон Кихот, – что зерна, к коим прикасались ее руки, превращались в жемчужины. А ты не обратил внимания, друг мой, какое это было зерно? Верно, самой лучшей пшеницы?

– Ан нет, самой что ни на есть дешевой, – отвечал Санчо.

– Ну так я тебя уверяю, – сказал Дон Кихот, – что из зерна, просеянного ее руками, вне всякого сомнения получается наичистейший белый хлеб. Но продолжай. Когда ты вручил ей мое послание, поцеловала ли она его? Возложила ли себе на главу? Совершила ли приличествующие моему письму церемонии, – словом, что она сделала?

– Когда я передавал ей письмо, – отвечал Санчо, – она с увлечением трясла решето, в коем было изрядное количество пшеницы, и сказала мне: «Положи-ка, милый человек, письмо на мешок, – пока всего не просею, я его читать не стану».

– О мудрая сеньора! – воскликнул Дон Кихот. – Уж верно, это она для того, чтобы прочитать на досуге и получить полное удовольствие. Дальше, Санчо. А пока она занималась своим делом, какие вела она с тобою речи? Спрашивала ли обо мне? И что ты ей ответил? Да ну же, рассказывай все, как было, капли не оставляй на дне чернильницы!

– Она меня ни о чем не спрашивала, – отвечал Санчо, – но я ей все рассказал: так, мол, и так, мой господин, чтобы угодить вам, забрался в горы, ровно дикарь, и, голый до пояса, кается; спит на земле, во время трапезы обходится без скатерти, бороды не чешет, плачет и клянет судьбу.

– Насчет того, что я кляну судьбу, это ты неудачно выразился, – заметил Дон Кихот. – Напротив, я ее благословляю и буду благословлять всю жизнь за то, что я оказался достойным полюбить столь высокую особу, какова Дульсинея Тобосская.

– Она высокая, – сказал Санчо, – вершка на три с лишком выше меня будет, клянусь честью.

– Как так, Санчо? – спросил Дон Кихот. – Разве ты с ней мерился?

– Вот как я мерился, – отвечал Санчо, – я вызвался помочь ей взвалить на осла мешок с зерном и стал с нею рядом, – тут-то я и заметил, что она выше меня на добрую пядь.

– И кто посмеет утверждать против очевидности, – воскликнул Дон Кихот, – что высокому ее росту не соответствует и не украшает ее бездна душевных красот? Но ты, уж верно, не станешь отрицать, Санчо, одну вещь: когда ты подошел к ней вплотную, не почувствовал ли ты некий упоительный аромат, некое благоухание, нечто необычайно приятное, для чего я не могу подобрать подходящего выражения? Словом, что от нее пахнет, как в лучшей из модных лавок?

– На это я могу только сказать, что я вроде как мужской душок почувствовал, – отвечал Санчо, – должно полагать, она много двигалась, ну и вспотела, и от нее попахивало кислятиной.

– Полно врать, – возразил Дон Кихот, – у тебя, наверно, был насморк, или же ты почувствовал свой собственный запах. Я же знаю, как благоухает эта роза без шипов, эта полевая лилия, этот раствор амбры.

– Все может быть, – согласился Санчо, – от меня часто исходит тот самый дух, который, как мне показалось, шел тогда от ее милости сеньоры Дульсинеи. И тут ничего удивительного нет: ведь мы с ней из одного теста.

– Итак, – продолжал Дон Кихот, – она уже просеяла зерно и отправила на мельницу. Что она сказала, когда прочитала послание?

– Послание она не прочла, – отвечал Санчо, – она сказала, что не умеет ни читать, ни писать. Она разорвала его в клочки и сказала, что боится, как бы кто в деревне его не прочел и не узнал ее секретов, – с нее, мол, довольно и того, что я передал ей на словах насчет любви, которую ваша милость к ней питает, и того из ряду вон выходящего покаяния, которые вы ради нее на себя наложили. А затем она велела передать вашей милости, что она целует вам руки и что ей больше хочется с вами повидаться, нежели писать вам письма, а потому она, дескать, просит и требует, чтобы по получении настоящего распоряжения вы перестали дурачиться и, выбравшись из этих дебрей, если только что-нибудь более важное вас не задержит, нимало не медля направили путь в Тобосо, потому она страх как хочет повидаться с вашей милостью. Она от души смеялась, когда я ей сказал, что ваша милость называет себя *Рыцарем Печального Образа.*Спросил я, заходил ли к ней достопамятный бискаец, – она сказала, что заходил и что он малый хороший. Еще я спросил ее про каторжников, но она сказала, что пока еще никто из них к ней не заходил.

– Пока все идет хорошо, – заметил Дон Кихот. – Но скажи мне, какую драгоценную вещь дала она тебе на прощанье за вести обо мне? Ведь у странствующих рыцарей и дам искони повелось жаловать оруженосцам, наперсницам и карликам, прибывающим с вестями о дамах к рыцарям или же о рыцарях к дамам, какую-нибудь драгоценную вещь в благодарность за исполненное поручение.

– Весьма возможно, и, по-моему, это обычай похвальный. Но только это, наверно, прежде так было, а нынче принято дарить кусок хлеба с сыром, потому только это и протянула мне через забор сеньора Дульсинея, когда я с нею прощался, да и сыр-то вдобавок овечий.

– В высшей степени щедрая благостыня, – возразил Дон Кихот, – и Дульсинея не подарила тебе какой-нибудь золотой вещи, по всей вероятности, единственно потому, что у нее ничего не нашлось под рукой, однако подарки дороги не только на праздник, – я с нею свижусь, и все уладится. Но знаешь, что меня удивляет, Санчо? Мне кажется, что ты слетал туда и обратно по воздуху: на то, чтобы съездить в Тобосо и вернуться обратно, ты потратил три дня с лишком, а ведь отсюда до Тобосо более тридцати миль. Из этого я заключаю, что

мудрый кудесник, который обо мне печется и питает ко мне дружеские чувства – а таковой у меня, конечно, есть, да и не может не быть, иначе я не был бы славным странствующим рыцарем, – что помянутый кудесник неприметно помогал тебе в пути: ведь иной из таких кудесников схватит странствующего рыцаря, когда тот спит у себя на кровати, и рыцарь сам не знает, как, что и почему, а только на второй день просыпается за тысячу миль от того места, где лег спать. А если б не кудесники, странствующие рыцари не могли бы выручать друг друга из беды, как это они делают постоянно: бывает иной раз так, что кто-нибудь из рыцарей сражается в горах Армении с андриаком, со злым чудовищем или же с другим рыцарем, – вдруг, откуда ни возьмись, в самый страшный для него миг сражения, когда он уже на волосок от смерти, прилетает туда на облаке или же на огненной колеснице рыцарь, его друг, который только что перед тем находился в Англии, бросается на его защиту и спасает от смерти, а вечером этот рыцарь уже у себя дома и с большим аппетитом ужинает, а до его дома, может быть, две, а то и три тысячи миль. И всем этим рыцари обязаны искусству и мудрости мудрых волшебников, заботящихся о доблестных рыцарях. Вот почему, друг Санчо, мне нетрудно поверить, что ты за такое короткое время успел обернуться, ибо, как я уже сказал, некий мудрый покровитель перенес тебя по воздуху, а ты этого и не заметил.

– Уж верно, так оно и было, – сказал Санчо, – потому Росинант мчался, ей-ей, как цыганский осел, у которого в ушах ртуть.[190]

– Какая там ртуть! – воскликнул Дон Кихот. – Не ртуть, а целый легион бесов, а уж это отродье и само носится, и заставляет носиться без устали всякого, кто только ему попадется. Но довольно об этом. Как же, по-твоему, надлежит теперь поступить, коли моя госпожа велит мне явиться к ней? Я почитаю себя обязанным выполнить ее приказание и вместе с тем не могу сделать обещанной милости той принцессе, что едет с нами, да и по законам рыцарства я должен сначала исполнить свое обещание, а потом уже думать об удовольствиях. С одной стороны, меня преследует и томит желание свидеться с моею госпожою; с другой стороны, меня влекут и призывают данное обещание и та слава, которую это предприятие мне сулит. Но вот что я надумал: я поеду быстрее и постараюсь как можно скорей добраться до этого великана, приехав же, отсеку ему голову и благополучно введу принцессу во владение ее страною, а затем, не теряя мгновенья, помчусь к светоносной владычице, озаряющей мою душу, и представлю ей столь уважительные причины, что она не осудит меня за опоздание, – она увидит, что все это служит лишь к вящей славе ее и чести, ибо все, чего я силой оружия достигал, достигаю и еще когда-либо в этом мире достигну, проистекает от ее благосклонности и моей верности.

– Ах, ваша милость, до чего ж у вас голова не в порядке! – воскликнул Санчо. – Ну скажите мне, сеньор: неужели ваша милость собирается даром пропутешествовать, и упустить, и прозевать такую богатую и знатную невесту, в приданое за которой дают целое королевство, каковое, – честное слово, я сам слыхал, – имеет свыше двадцати тысяч миль в окружности, стало быть, побольше Португалии и Кастилии, вместе взятых, и изобилует всем, что необходимо для того, чтобы поддержать человеческое существование? И не перечьте вы мне ради создателя, лучше постыдитесь своих слов, послушайтесь моего совета и, не во гнев вам будь сказано, обвенчайтесь в первом же селении, где только найдется священник, а не то к вашим услугам наш лиценциат, – он вас обвенчает в лучшем виде. И еще примите в рассуждение, что в моем возрасте можно давать советы, что этот совет как нельзя более уместен и что лучше синицу в руки, чем журавля в небе, – ведь кто ищет от добра добра, тому долго ль до беды, а за одну беду – как это говорится? – семь ответов бывает.

– Послушай, Санчо, – сказал Дон Кихот, – если ты советуешь мне жениться единственно потому, что, убив великана, я тотчас же сделаюсь королем и мне сподручнее будет осыпать тебя щедротами и пожаловать обещанное, то знай, что мне и неженатому не составит труда исполнить твое желание, ибо, прежде чем вступать в бой, я выговорю себе, что в случае моей

победы, даже если я и не женюсь, мне отдадут часть королевства, дабы я мог подарить ее кому захочу. А когда она мне достанется, то кому же я ее подарю, как не тебе?

– Это-то ясно, – отвечал Санчо, – но только смотрите, ваша милость, выбирайте поближе к морю, чтобы в случае, если мне там не понравится, я мог погрузить моих черных вассалов на корабли, а затем сделать с ними то самое, что я уже вознамерился сделать. Так что, ваша милость, не вздумайте навещать госпожу мою Дульсинею теперь же, а поезжайте убивать великана, и мы с вами обделаем дельце, – клянусь богом, мне сдается, что оно будет для нас и весьма почетно, и весьма выгодно.

– Говорят тебе, Санчо, что ты можешь быть совершенно спокоен, – сказал Дон Кихот, – я последую твоему совету и поеду сначала с принцессой, а потом уже навещу Дульсинею. Но имей в виду: о нашем с тобой решении и уговоре никому ни слова, даже нашим спутникам, ибо если Дульсинея столь сдержанна, что никому не желает поверять свои думы, то и мне, а равно и кому-либо другому, неприлично их разглашать.

– В таком случае, – заметил Санчо, – зачем же вы, ваша милость, отсылаете всех побежденных вашею дланью к госпоже моей Дульсинее? Стало быть, вы расписываетесь в том, что вы в нее влюблены и что она ваша возлюбленная? А если уж так необходимо, чтобы все, кто к ней отправляется, преклоняли пред нею колена и объявляли, что они посланы вашею милостью и поступают в полное ее распоряжение, то могут ли после этого и ваши и ее думы оставаться в тайне?

– Экий ты дурачина, экий же ты простофиля! – воскликнул Дон Кихот. – Неужели ты не понимаешь, Санчо, что все это способствует ее возвеличению? Да будет тебе известно, что, по нашим рыцарским понятиям, это великая для дамы честь, когда ей служит не один, а много странствующих рыцарей и когда они мечтают единственно о том, чтобы служить ей ради нее самой, не ожидая иной награды за все свои благие намерения, кроме ее соизволения принять их в число своих рыцарей.

– Подобного рода любовью должно любить господа бога, – такую я слыхал проповедь, – сказал Санчо, – любить ради него самого, не надеясь на воздаяние и не из страха быть наказанным. Хотя, впрочем, я лично предпочел бы любить его и служить ему за что-нибудь.

– Ах ты, черт тебя возьми! – воскликнул Дон Кихот. – Мужик, мужик, а какие умные вещи иной раз говоришь! Право, можно подумать, что ты с образованием.

– По чести вам скажу, я даже читать и то не умею, – объявил Санчо.

Тут маэсе Николас крикнул им, чтобы они подождали, ибо все хотят сделать привал возле родника. Дон Кихот остановился, к немалому удовольствию Санчо, который уже устал врать и все боялся, как бы Дон Кихот не поймал его на ошибке, ибо хоть он и знал, что Дульсинея – тобосская крестьянка, однако ж сроду не видел ее.

За это время Карденьо успел переодеться в платье, в котором трое наших путников впервые увидели Доротею, – платье, правда, неважное, но все же гораздо лучше того, которое он носил. Спешившись возле источника, все – правда, слегка – утолили мучивший их голод тем, что священник промыслил на постоялом дворе. В это самое время по дороге шел какой-то мальчуган; в высшей степени внимательно оглядев тех, кто расположился возле источника, он со всех ног бросился к Дон Кихоту и, обняв его колени, нарочито жалобно заплакал и сказал:

– Ах, государь мой! Вы не узнаете меня, ваша милость? Посмотрите хорошенько, я тот самый мальчик Андрес, который был привязан к дубу и которого вы, ваша милость, освободили.

Дон Кихот узнал его и, взяв за руку, обратился к присутствовавшим с такими словами:

– Дабы ваши милости уверились в том, как важно, чтобы жили на свете странствующие рыцари, которые мстят за обиды и утеснения, чинимые людьми бессовестными и злыми, да будет вашим милостям известно, что не так давно, проезжая по лесу, услышал я жалобные крики и стоны, – так стонать могло лишь существо униженное и беззащитное. Побуждаемый

чувством долга, я поспешил туда, откуда, как мне казалось, слезные эти стоны долетали, и увидел привязанного к дубу мальчика, того самого, который ныне стоит перед вами, чему я от души рад, ибо он может подтвердить, что все это истинная правда. Итак, голый до пояса, он был привязан к дубу, и его стегал поводьями некий сельчанин – как я узнал потом, его хозяин. Увидевши это, я тотчас спросил, что за причина столь нещадного бичевания. Грубиян ответил, что сечет он его потому, что это его слуга и что некоторые оплошности мальчугана проистекают не столько от его бестолковости, сколько от жуликоватости, на что отрок сей возразил: «Сеньор! Он бьет меня только за то, что я прошу у него свое жалованье». Хозяин стал оправдываться и разливаться соловьем, я же выслушать его выслушал, но оправданий не принял. Коротко говоря, я велел отвязать мальчика и взял с сельчанина клятву, что он пойдет с ним домой и уплатит ему все до последнего реала, да еще с благодарностью. Не так ли, милый Андрес? Заметил ли ты, каким властным тоном отдал я это приказание и с каким подобострастным видом обещал он исполнить то, что я повелел, предписал и потребовал? Отвечай – не смущайся и не робей. Расскажи этим сеньорам все, как было, дабы они уразумели и признали, какое это великое благо, что на больших дорогах можно встретить странствующих рыцарей.

– Все это совершенная правда, ваша милость, – подтвердил мальчик, – вот только кончилось это дело не так, как ваша милость предполагает, а как раз наоборот.

– Почему наоборот? – спросил рыцарь. – Разве сельчанин тебе не уплатил?

– Не только не уплатил, – отвечал мальчуган, – а, едва успела ваша милость выехать из лесу и мы остались вдвоем, он снова привязал меня к тому же самому дубу и так мне всыпал, что у меня чуть кожа не лопнула, вроде как у святого Варфоломея. И лупил он меня с шуточками да прибауточками и все прохаживался на ваш счет, так что, если б не боль, я покатывался бы со смеху. В конце концов скверный мужик так немилосердно меня отстегал, что по его милости я до сего дня пролежал в больнице. А виноваты во всем этом вы, государь мой, – ехали бы вы своей дорогой, не лезли, куда вас не спрашивают, и не вмешивались в чужие дела, тогда мой хозяин от силы раз двадцать пять стегнул бы меня, затем отвязал и уплатил бы мне долг. Но как ваша милость ни с того ни с чего оскорбила его и наговорила грубостей, то он воспылал злобой, а как выместить ее на вас, государь мой, он не мог, то, когда вы удалились, вся туча вылилась на меня, и останусь я, видно, теперь на всю жизнь калекой.

– Ошибка моя заключается в том, что я уехал, не подождав, пока он тебе заплатит, – сказал Дон Кихот, – мой большой опыт должен был бы мне подсказать, что смерд никогда не держит слова, коли это ему невыгодно. Но ведь ты помнишь, Андрес, я же клялся, что если он тебе не заплатит, то я стану искать его и найду, хотя бы он прятался во чреве китовом.

– Совершенная правда, – подтвердил Андрес, – да что толку!

– Вот ты увидишь, какой от этого толк, – молвил Дон Кихот.

С этими словами он вскочил и велел Санчо взнуздать Росинанта, который пасся, пока они закусывали.

Доротея спросила, что он намерен предпринять. Он ответил, что намерен отправиться на розыски смерда, назло и наперекор всем смердам на свете наказать его за дурной поступок и заставить уплатить Андресу все до последнего мараведи; она же, напомнив Дон Кихоту, что, согласно данному им обещанию, он не вправе заниматься другими делами, пока не доведет до конца ее дело, примолвила, что все это ему должно быть известно лучше, чем кому бы то ни было, а потому пусть-де он умерит свой пыл, коли еще не отвоевал ее королевства.

– И то правда, – сказал Дон Кихот, – придется Андресу потерпеть, пока я, как вы изволили заметить, сеньора, отвоюю королевство. Но я еще раз обещаю и клянусь, что не успокоюсь до тех пор, пока не отомщу за него и не заставлю ему уплатить.

– Не верю я вашим клятвам, – объявил Андрес. – Любой мести на свете я предпочел бы, чтобы у меня было сейчас с чем добраться до Севильи. Коли найдется у вас что-нибудь поесть,

дайте мне с собой, и оставайтесь с богом вы, ваша милость, и все странствующие рыцари, чтоб с ними все так рыцарствовали, как они порыцарствовали со мной.

Санчо выделил из своего запаса кусок хлеба и кусок сыру, отдал их мальчугану и сказал:

– На, братец Андрес, – нам всем выпала такая же горькая доля.

– Какая же доля выпала вам? – спросил Андрес.

– Вот эта самая доля хлеба и сыра, – отвечал Санчо. – Да еще, кто знает, может, у меня и хлеба-то с сыром не будет, потому, приятель, было бы тебе известно, что нам, оруженосцам странствующих рыцарей, приходится терпеть и муки голода, и удары судьбы, и разные другие вещи, весьма чувствительные, но почти непередаваемые.

Андрес схватил хлеб и сыр и, видя, что никто ему больше ничего не дает, понурил голову и, как говорится, пошел отмерять шаги. Впрочем, на прощанье он сказал Дон Кихоту следующее:

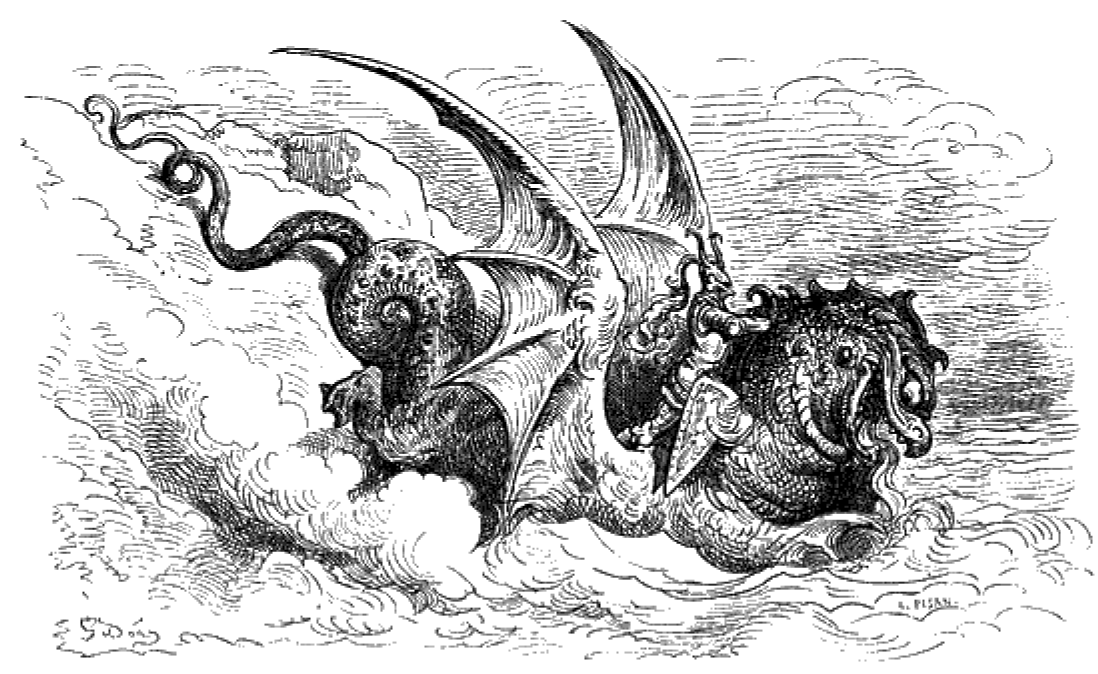
– Ради создателя, сеньор странствующий рыцарь, если вы еще когда-нибудь со мной встретитесь, то, хотя бы меня резали на куски, не защищайте и не выручайте меня и не избавляйте от беды, ибо ваша защита навлечет на меня еще горшую, будьте вы прокляты богом, а вместе с вашей милостью и все странствующие рыцари, какие когда-либо появлялись на свет.

Дон Кихот хотел было встать, чтобы проучить его, но Андрес так припустил, что никто не дерзнул броситься за ним в погоню. Рассказ Андреса привел Дон Кихота в великое смущение, и присутствовавшим надлежало крепко держать себя в руках, чтобы не рассмеяться и не смутить его окончательно.



Глава XXXII,

повествующая о том, что произошло с Дон Кихотом, и со всей его свитой на постоялом дворе



Покончив с роскошною трапезой, они тотчас же оседлали своих скакунов и на другой день без каких-либо достойных упоминания приключений добрались до постоялого двора – этой грозы нашего оруженосца; и сколько ни старался он улизнуть, а все же пришлось ему войти. Хозяин, хозяйка, их дочка и Мариторнес, увидев Дон Кихота и Санчо, вышли им навстречу в самом веселом расположении духа, и Дон Кихот, принявши важный и гордый вид, велел приготовить себе постель получше, чем в прошлый раз; хозяйка же ему на это сказала, что если он заплатит получше, чем в прошлый раз, то она приготовит ему царское ложе. Дон Кихот обещал, и ему соорудили пристойное ложе в том же самом чулане, и он тут же лег, ибо чувствовал во всем теле страшную слабость и плохо соображал.

Не успел он запереть дверь, как хозяйка бросилась к цирюльнику и, схватив его за бороду, начала кричать:

– Крест истинный, не сделать вам больше себе бороды из моего хвоста, и вы мне его сей же час отдадите: ведь мужнин-то причиндал валяется на полу, стыд и срам, – то есть, я хочу сказать, его гребешок, который я всегда втыкала в мой чудный хвост.

Цирюльник не отдавал, а она тащила хвост к себе; наконец лиценциат сказал, чтоб он отдал хвост, ибо теперь уже, дескать, нет нужды в этом изобретении, напротив того, он волен объявиться и предстать в настоящем своем обличье, а Дон Кихоту можно будет объяснить, что, спасаясь бегством от каторжников, которые их ограбили, он укрылся на постоялом дворе; если же Дон Кихот спросит, где слуга принцессы, то ответить, что она послала его вперед известить подданных ее, что она возвращается в свое королевство, а с нею общий их избавитель. Проникшись доводами священника, цирюльник весьма охотно отдал хозяйке хвост, и вместе с хвостом они возвратили ей все принадлежности, коими она наделила их для того, чтобы вызволить Дон Кихота. Обитатели постоялого двора подивились красоте Доротеи, а также миловидности юноши Карденьо. Священник велел подавать на стол все, что есть, и хозяин, в надежде на лучшее вознаграждение, мигом приготовил приличный обед; а Дон Кихот между тем все еще спал, но все решили, что будить его не стоит, ибо сон ему теперь полезнее еды. За обедом проезжающие в присутствии хозяина и его жены, их дочери и Мариторнес заговорили о необыкновенном виде умственного расстройства, коим страдал Дон Кихот, и о том, как они его отыскали. Хозяйка рассказала, что произошло между Дон Кихотом и погонщиком, а затем, поглядев, нет ли здесь Санчо, и удостоверившись, что нет, рассказала и о подбрасывании на одеяле, чем немало потешила слушателей. Когда же священник высказал

мнение, что Дон Кихот спятил оттого, что начитался рыцарских романов, в разговор вмешался хозяин:

– Не понимаю, как это могло случиться. По мне, лучшего чтива на свете не сыщешь, честное слово, да у меня самого вместе с разными бумагами хранится несколько романов, так они мне поистине красят жизнь, и не только мне, а и многим другим: ведь во время жатвы у меня здесь по праздникам собираются жнецы, и среди них всегда найдется грамотей, и вот он-то и берет в руки книгу, а мы, человек тридцать, садимся вокруг и с великим удовольствием слушаем, так что даже слюнки текут. О себе, по крайности, могу сказать, что когда я слышу про эти бешеные и страшные удары, что направо и налево влепляют рыцари, то мне самому охота кого-нибудь съездить, а уж слушать про это я готов день и ночь.

– Да и я их не меньше твоего обожаю, – сказала хозяйка, – потому у меня в доме только и бывает тишина, когда ты сидишь и слушаешь чтение: ты тогда просто балдеешь и даже забываешь со мной поругаться.

– Совершенная правда, – подтвердила Мариторнес, – и скажу по чести, я тоже страсть люблю послушать романы, уж больно они хороши, особливо когда пишут про какую-нибудь сеньору, как она под апельсиновым деревом обнимается со своим миленьким, а на страже стоит дуэнья, умирает от зависти и ужасно волнуется. Словом, для меня это просто мед.

– А вы что скажете, милая девушка? – спросил священник, обращаясь к хозяйской дочери.

– Сама не знаю, клянусь спасением души, – отвечала она. – Я тоже слушаю чтение и, по правде говоря, хоть и не понимаю, а слушаю с удовольствием. Только нравятся мне не удары – удары нравятся моему отцу, а то, как сетуют рыцари, когда они в разлуке со своими дамами; право, иной раз даже заплачешь от жалости.

– А если бы рыцари плакали из-за вас, вы постарались бы их утешить, милая девушка? – спросила Доротея.

– Не знаю, что бы я сделала, – отвечала девушка, – знаю только, что некоторые дамы до того жестоки, что рыцари называют их тигрицами, львицами и всякой гадостью. Господи Иисусе! И что же это за бесчувственный и бессовестный народ: из-за того, что они нос дерут, честный человек должен умирать или же сходить с ума! Не понимаю, к чему это кривляние, – коли уж они такие порядочные, так пускай выходят за них замуж: те только того и ждут.

– Помолчи, дочка, – сказала хозяйка, – ты, я вижу, много в этих делах понимаешь, а девице не к лицу много знать и много болтать.

– Сеньор меня спросил, а я не могла не ответить, – возразила девушка.

– Вот что, хозяин, – сказал священник, – принесите-ка ваши книги, я их просмотрю.

– С удовольствием, – молвил хозяин.

Он прошел к себе в комнату и, возвратившись оттуда со старым сундучком, застегнутым на цепочку, открыл его и достал три толстых тома, а также весьма красивым почерком исписанные бумаги. Первая книга была *Дон Сиронхил Фракийский*,[191] вторая – *Фелисмарт Гирканский*, а третья – *История великого полководца Гонсало Фернандеса Кордовского с приложением жизнеописания Дьего Гарсии де Паредес.* Как скоро священник прочитал первые два заглавия, то обратился к цирюльнику и сказал:

– Здесь нам недостает только ключницы нашего приятеля и его племянницы.

– Ничего не значит, – возразил цирюльник, – я сам сумею отнести их на скотный двор или же бросить в печку – кстати, вон в ней сколько огня.

– Что такое? Ваша милость собирается сжечь мои книги? – спросил хозяин.

– Только две, – отвечал священник: – *Дона Сиронхила* и *Фелисмарта.*

– Что ж, по-вашему, – продолжал допытываться хозяин, – они еретические или флегматические, коли вы хотите их сжечь?

– *Схизматические* должно говорить, друг мой, а не *флегматические,* – заметил цирюльник.

– Пусть будет так, – сказал хозяин, – только если вы непременно хотите что-нибудь сжечь, то жгите уж лучше *Великого полководца* и *Дьего Гарсию,* – я скорей позволю сжечь собственного сына, чем какую-нибудь еще.

– Друг мой! – возразил священник. – Эти две книги лживы, они полны всякого вздора и чепухи, а книга про великого полководца – это история правдивая, и описываются в ней деяния Гонсало Фернандеса Кордовского, которого за многочисленные и великие подвиги весь мир прозвал *великим полководцем,* и это славное и звучное прозвище только он один и заслужил. А Дьего Гарсия де Паредес – это знатный кавальеро родом из эстремадурского города Трухильо, отважнейший воин, которого природа наделила такой силой, что он одним пальцем останавливал мельничное колесо на полном ходу. А как-то раз стал он со шпагой в руке у входа на мост и один преградил путь неисчислимому воинству. И еще совершил он такие подвиги, что если б не он повествовал о них со скромностью, присущей кавальеро, который описывает собственную свою жизнь, а какой-нибудь ничем не связанный и беспристрастный летописец, то деяния Гекторов, Ахиллесов и Роландов были бы после этого преданы забвению.

– Подумаешь, какое дело! – воскликнул хозяин. – Этим вы нас не удивите: останавливает-де мельничное колесо! Ей-богу, ваша милость, почитайте-ка вы про Фелисмарта Гирканского: ведь он одним махом рассек пополам пять великанов, словно они были бобовые, вроде тех монашков, которых делают наши ребята. А другой раз схватился с огромнейшим и сильнейшим войском, насчитывавшим миллион шестьсот тысяч солдат, вооруженных с головы до ног, и обратил их всех в бегство, точно стадо овец. А что вы скажете о славном доне Сиронхиле Фракийском, смельчаке и удальце, о котором написано в книжке, что когда он плыл по реке, то из воды вынырнул огненный змей, и, увидев змея, он тотчас же на него бросился, сел верхом на его чешуйчатую спину и обеими руками изо всех сил сдавил ему горло, так что змей, чувствуя, что рыцарь вот-вот задушит его, рассудил за благо опуститься на дно и увлек за собой рыцаря, который так и не выпустил его из рук? Зато под водой рыцарь увидел перед собою дворцы и сады, красивые на удивленье, и тут змей преобразился в древнего старца и рассказал ему такие вещи, что прямо заслушаешься. Не говорите, сеньор, если б вы только послушали, вы бы с ума сошли от восторга. Куда годятся после этого ваш великий полководец и Дьего Гарсия!

Послушав такие речи, Доротея шепнула на ухо Карденьо:

– Еще немного – и наш хозяин станет вторым Дон Кихотом.

– Мне тоже так кажется, – заметил Карденьо. – По всем признакам, он убежден, что все, о чем пишется в романах, точь-в-точь так на самом деле и происходило, и в этом его не разуверят даже босые братья.[192]

– Послушайте, сын мой, – снова заговорил священник, – да ведь не было на свете никакого Фелисмарта Гирканского, дона Сиронхила Фракийского и подобных им рыцарей, о которых повествуют рыцарские романы, – все это одна игра воображения, и сочиняют их праздные умы для того, чтобы, как вы сами говорите, люди забавлялись, вот как забавляются, слушая их, ваши жнецы. Но я вас клятвенно уверяю, что таких рыцарей на свете не было и столь нелепых подвигов никто в мире не совершал.

– Это вы кому-нибудь другому расскажите, – заметил хозяин. – Мы сами с усами, кажется, не первый год на свете живем. Полно вам, ваша милость, дурачка из меня строить – ей-богу, не на такого напали. Ишь вы чего захотели, ваша милость – уверить меня, будто все, о чем пишут в этих хороших книгах, – вздор и ерунда, да ведь отпечатано-то это с дозволения сеньоров из государственного совета, а они не такие люди, чтобы дозволять печатать столько дребедени сразу – и про битвы, и про чародейства, от которых голова идет кругом!

– Я же вам сказал, друг мой, что все это делается, чтобы занять праздные наши умы, – возразил священник. – И как в государствах благоустроенных дозволяется играть в шахматы, в мяч и на бильярде, чтобы занять тех, кто не желает, не должен или не может трудиться, так же точно дозволяется печатать и выдавать в свет подобные книги, ибо предполагается, – да так оно и есть на самом деле, – что во всем мире нет такого невежды, который признал бы какую-либо из этих историй за правду. И если б мне было позволено и слушатели мои изъявили бы желание, я мог бы кое-что сказать по поводу того, каким должен быть хороший рыцарский роман, – может статься, это было бы полезно, а кое-кому даже и приятно. Но я надеюсь когда-нибудь поговорить с людьми, способными восполнить этот пробел, а пока что, господин хозяин, вы уж мне поверьте, и вот вам ваши книги – решайте сами, что в них правда и что ложь, читайте их себе на здоровье, но не дай бог вам захромать на ту ногу, на какую захромал постоялец ваш Дон Кихот.

– Ну нет, – сказал хозяин, – я с ума не сходил и странствующим рыцарем быть не собираюсь. Я отлично понимаю, что теперь уж не те времена, когда странствовали по свету преславные эти рыцари.

Во время этого разговора подоспел Санчо и, услышав, что ныне странствующие рыцари не водятся и что все рыцарские романы – враки и небылицы, смутился и призадумался и тут же дал себе слово, в случае если путешествие его господина паче чаяния кончится плачевно, уйти от него и возвратиться к жене, к детям и к обычным своим занятиям.

Хозяин хотел было унести сундучок с книгами, но священник ему сказал:

– Погодите, мне хочется посмотреть, что здесь написано таким прекрасным почерком.

Хозяин вынул бумаги и передал священнику, и тут священник увидел, что это рукопись листов в восемь, которой заглавие было выведено вверху крупными буквами: *Повесть о Безрассудно-любопытном.* Пробежав несколько строк, священник сказал:

– Озаглавлена эта повесть, право, недурно, у меня есть желание прочитать ее.

Хозяин же ему на это сказал:

– Прочтите, прочтите, ваше преподобие! Надобно вам знать, что мои постояльцы, которые ее читали, остались очень довольны и всячески старались выпросить ее у меня. Но я так и не дал, – я намерен возвратить ее тому человеку, который забыл здесь сундучок с книгами и бумагами. Очень может быть, что владелец когда-нибудь ко мне заедет, и хоть и скучно мне будет без книг, а все-таки честью клянусь, я ему их отдам: как-никак я христианин, хотя и трактирщик.

– Вы совершенно правы, друг мой, – сказал священник. – Со всем тем, если повесть мне понравится, то вы мне, надеюсь, позволите переписать ее.

– С моим удовольствием, – сказал хозяин.

Пока они разговаривали, Карденьо взял повесть и стал читать; и, сойдясь во мнении со священником, он попросил его прочитать ее вслух.

– Я бы почитал, – сказал священник, – да только полезнее было бы употребить это время на сон, нежели на чтение.

– Для меня лучшим отдыхом было бы послушать какую-нибудь историю, – сказала Доротея. – Смятение, в коем еще пребывает мой дух, все равно не даст мне уснуть, хотя сон был бы мне необходим.

– В таком случае, – сказал священник, – я прочту повесть, хотя бы из любопытства: может статься, в ней, и точно, есть что-нибудь любопытное.

Маэсе Николас поспешил обратиться с тою же просьбой, вслед за ним Санчо; тогда священник, видя, что он и другим доставит удовольствие, и сам получит таковое, сказал:

– Ну, хорошо, слушайте же меня внимательно. Повесть начинается так:



Глава XXXIII,

в коей рассказывается повесть о Безрассудно-любопытном



Во Флоренции, богатом и славном городе Италии, в провинции, именуемой Тоскана, жили Ансельмо и Лотарио, два богатых и родовитых дворянина, столь дружных между собою, что все знакомые обыкновенно называли их не по имени, а просто *два друга.* Были они холосты, молоды, одних лет и одних правил; всего этого было достаточно для того, чтобы они подружились. Правда, Ансельмо выказывал особую склонность к любовным похождениям, меж тем как Лотарио предавался охоте; случалось, однако ж, что Ансельмо изменял обычным своим развлечениям и принимал участие в развлечениях Лотарио, а Лотарио изменял своим и спешил принять участие в развлечениях Ансельмо; и такое между ними царило согласие, что жили они просто, как говорится, душа в душу.

Ансельмо без памяти влюбился в одну знатную и красивую девушку, уроженку того же города, и была она из такой хорошей семьи и так хороша собою, что, узнавши мнение друга своего Лотарио, без которого он никогда ничего не предпринимал, решился он просить у родителей ее руки и решение свое претворил в жизнь: и с посольством к ним отправился Лотарио и довел дело до конца, к большому удовольствию своего друга, так что в скором времени Ансельмо уже обладал тем, чего он так жаждал, а Камилла, блаженствуя с любимым своим супругом, неустанно благодарила небо и Лотарио, через посредство которого ей столько

досталось счастья. Первые дни после свадьбы, как всегда протекавшие в веселье, Лотарио по-прежнему часто бывал у друга своего Ансельмо, оказывая ему всевозможные почести, забавляя и развлекая его; но вот уж свадебные торжества кончились, поток гостей и поздравителей наконец иссякнул, и Лотарио сделался умышленно неаккуратным его посетителем, – он держался того мнения (а иного мнения и не мог держаться человек рассудительный), что женатых друзей не следует посещать и навещать так же часто, как когда они были холосты, ибо хотя истинная и добрая дружба не может и не должна быть мнительною, со всем тем честь женатого человека столь чувствительна, что задеть ее может не только друг, но, кажется, и родной брат.

От Ансельмо не укрылась отчужденность Лотарио, и он стал горько его в том упрекать, говоря, что если б он знал, что из-за его женитьбы они станут реже видаться, то ни за что не женился бы, и раз в ту пору, когда он был еще холостым, все, видя, в сколь добрых они между собой отношениях, стали ласково называть их *два друга,* то и не желает он из-за одной только чрезмерной осторожности Лотарио лишаться общепринятого и столь милого прозвища; что он умоляет Лотарио – если только пристало им говорить между собою на таком языке, – по-прежнему чувствовать себя у него как дома и приходить и уходить когда угодно; что у супруги его Камиллы такие же склонности и влечения, как у него, и что, зная, сколь искренне они друг друга любили, она не может не удивляться теперешней необщительности Лотарио.

На все эти и многие другие доводы, с помощью коих Ансельмо пытался убедить Лотарио бывать у него по-прежнему, Лотарио отвечал так обдуманно, веско и умно, что добрые его побуждения в конце концов тронули Ансельмо, и они уговорились, что Лотарио два раза в неделю и по праздникам будет приходить к нему обедать; однако ж, несмотря на этот уговор, Лотарио порешил вести себя так, чтобы ничуть не страдала честь его друга, коего доброе имя было ему дороже своего собственного. Он рассудил, и рассудил вполне здраво, что мужу, которому небо послало красивую жену, надлежит строго следить за тем, кого он сам вводит как друга в свой дом, а также с кем из подруг общается его жена, ибо на улице, в церкви, во время народных гуляний, на поклонении святым местам (куда у мужа часто нет оснований не пустить жену) не всегда удается условиться о свидании, но зато его легко может устроить у себя дома подруга или же родственница, которая пользуется особым ее доверием. К этому Лотарио прибавил, что и мужу и жене необходимо иметь друга, который указывал бы им на все их оплошности, ибо нередко случается, что муж, влюбленный в свою жену, многого не замечает или же из боязни прогневать ее не заговаривает с нею о том, как ей следует поступать и как не следует, и что служит ей к чести, а что непохвально, а между тем, предуведомленный своим другом, он легко мог бы все исправить. Но где же найти мудрого, преданного и верного друга, которого имел в виду Лотарио? Право, не знаю; один лишь Лотарио мог быть таковым, ибо он с крайним тщанием и предусмотрительностью охранял честь своего друга и старался урезывать, ограничивать и сокращать число отведенных для него дней, дабы досужим сплетникам, дабы взору праздношатающегося и завистливого люда не показались предосудительными приходы богатого, благородного, благовоспитанного и, как он сам о себе полагал, отличающегося многими достоинствами молодого человека к такой прелестной женщине, как супруга Ансельмо Камилла; правда, ее скромность и добропорядочность способны были обуздать любой, самый злоречивый язык, однако ж Лотарио не желал подвергать опасности ее честь и честь своего друга и того ради посвящал отведенные для него дни разным делам, не терпящим, как он уверял, отлагательства, вследствие чего у Ансельмо много времени уходило на сетования, у Лотарио же – на оправдания. Но вот как-то раз, когда они вдвоем вышли погулять в поле, Ансельмо обратился к Лотарио с такими словами:

– Ты, верно, полагаешь, друг Лотарио, что я не знаю, как должным образом прославить творца за те милости, какие он мне явил, даровав мне таких родителей и щедрою рукою меня одарив так называемыми природными способностями, а равно и земными благами, и за то

высшее благо, которое он мне даровал, послав такого друга, как ты, и такую супругу, как моя Камилла, – два сокровища, коими я дорожу если и не так, как должно, то, по крайности, как умею. И все же, хотя я обладаю всем, что обыкновенно бывает нужно для того, чтобы человек чувствовал себя и был счастливым, я чувствую себя самым обойденным и одиноким человеком во всей вселенной, и меня уже столько времени мучает и томит столь странное и из ряду вон выходящее желание, что я сам себе дивлюсь, осуждаю себя, борюсь с собою и тщусь умолчать о нем и утаить его от своих же собственных мыслей, и мне так же трудно сохранить свою тайну, как и умышленно ее обнародовать. И коли рано или поздно она все равно выйдет наружу, то я предпочитаю вверить ее тайникам твоей молчаливости, ибо я убежден, что при твоей молчаливости и при твоем рвении, которое ты, как истинный друг, выкажешь, дабы помочь мне, я в скором времени рассею свою тоску, и радость моя благодаря твоим стараниям достигнет той же степени, какой из-за моей взбалмошности достигла моя тревога.

Слова Ансельмо привели Лотарио в недоумение, – он не мог взять в толк, к чему это столь длинное не то предисловие, не то введение; и сколько ни ломал он себе голову над тем, что может так терзать его друга, все же был он весьма далек от истины; и, дабы положить конец мучительному неведению, он сказал, что, прибегая к околичностям для выражения заветных дум своих, Ансельмо тяжкое наносит оскорбление пылкой их дружбе, тогда как Ансельмо вполне может рассчитывать, что он, Лотарио, или подаст благой совет хранить эти думы в тайне, или поможет претворить их в жизнь.

– То правда, – заметил Ансельмо, – так вот, проникшись этой уверенностью, я хочу поведать тебе, друг Лотарио, томящее меня желание знать, так ли добродетельна и безупречна супруга моя Камилла, как я о ней полагаю, – увериться же в справедливости моего мнения я могу, только лишь подвергнув ее испытанию, с тем чтобы это испытание определило пробу ее добродетели, подобно как золото испытывают огнем. Ведь я убежден, друг мой, что не могут почитаться добродетельными те женщины, чьей любви никто не домогался, и что лишь та из них стойка, которую не тронули ни уверения, ни подношения, ни слезы, ни упорство назойливых поклонников. В самом деле, – продолжал он, – велика ли заслуга жены в том, что она верна, если никто не соблазнял ее стать неверною? Что из того, что она застенчива и нелюдима, если у нее нет повода стать распущенною и если она знает, что у нее есть муж, который при малейшей с ее стороны нескромности лишит ее жизни? Следственно, к женщине, добродетельной страха ради или же оттого, что ей не представился случай, я не могу относиться с таким же уважением, как к той, которая в борьбе с домогавшимися и преследовавшими ее стяжала победный венок. Так вот, по этой-то самой причине, а равно и по многим другим, которые я мог бы привести, дабы подкрепить и обосновать свое мнение, я и хочу, чтобы Камилла, моя супруга, прошла через эти трудности, чтобы она очистилась и закалилась в огне просьб и домогательств человека, достойного избрать ее предметом своей страсти. И если из этого сражения она выйдет победительницею, в чем я не сомневаюсь, то я почту себя счастливейшим из смертных, я буду вправе тогда объявить, что сосуд моих желаний полон, я скажу, что судьба послала мне именно такую стойкую женщину, о которой говорит мудрец: *Кто найдет добродетельную жену?* Если же все произойдет вопреки ожиданиям, то отрадное сознание собственной проницательности поможет мне безболезненно перенести ту боль, которую причинит опыт, доставшийся столь дорогою ценой. И, объявляя заранее, что все твои возражения против моего замысла бессильны помешать мне привести его в исполнение, я прошу твоего согласия, друг Лотарио, стать орудием, которое возделало бы сад моего желания, – я же предоставляю тебе полную свободу действий, и у тебя не будет недостатка ни в чем из того, что я почту необходимым, чтобы добиться расположения женщины честной, всеми уважаемой, скромной и бескорыстной. И, кроме всего прочего, меня побуждает доверить тебе столь сложное предприятие вот какое обстоятельство: если ты и покоришь Камиллу, все же это покорение не дойдет до последней черты, – свершится лишь то, что было задумано, – и таким образом честь мою ты заденешь лишь мысленно, и мой позор

останется погребенным в целомудрии твоего молчания, которое в том, что касается меня, пребудет, я уверен, вечным, как молчание смерти. Итак, если ты желаешь, чтобы мою жизнь можно было назвать жизнью, то сей же час начинай любовную битву – и не теплохладно и лениво, но с тем рвением и жаром, какого мой замысел требует, и с тою добросовестностью, за которую мне дружба наша ручается.

Так говорил Ансельмо, а Лотарио до того внимательно слушал, что, за исключением вышеприведенных слов, он, пока тот не кончил, не произнес больше ни слова, однако ж, видя, что Ансельмо молчит, и окинув его долгим взглядом, как если бы перед ним было нечто невиданное, приводящее в ужас и изумление, наконец заговорил:

– Я все еще не могу поверить, друг Ансельмо, что все, что ты мне говорил, не шутка, ибо, уразумев, что ты говоришь серьезно, я не дал бы тебе докончить и, перестав слушать, тем самым прервал пространную твою речь. Право, мне начинает казаться, что или ты меня не знаешь, или я не знаю тебя. Да нет, я отлично знаю, что ты – Ансельмо, а ты знаешь, что я – Лотарио. Беда в том, что я начинаю думать, что ты не прежний Ансельмо, а ты, верно, думаешь, что я не тот Лотарио, каким ты знал меня прежде, – ведь то, что я от тебя услышал, не мог сказать друг мой Ансельмо, а то, что ты просишь, ты не стал бы просить у того Лотарио, которого ты знаешь, ибо близким друзьям, по слову поэта, надлежит испытывать друг друга и прибегать к взаимной помощи *usque ad aras*:[193] это значит, что нельзя пользоваться дружбой в делах, не угодных богу. Следственно, если так понимал дружбу язычник, то насколько же глубже должен понимать ее христианин, который знает, что из-за дружбы земной нельзя терять дружбу небесную? Если же человек впадает в такую крайность, что думает не о душе, а лишь о друге своем, то на это у него должны быть немаловажные, веские причины, то есть когда речь идет о чести или о жизни друга. Ну так что же, Ансельмо, значит, чести твоей или жизни грозит опасность, коли в угоду тебе я должен отважиться на столь постыдный шаг? Разумеется, что не грозит, – напротив, если я не ошибаюсь, ты сам добиваешься и хлопочешь, чтобы я отнял у тебя жизнь и честь, а заодно и у себя самого. Ибо ясно, что, лишив тебя чести, я лишаю тебя и жизни, оттого что лучше умереть, нежели утратить честь, и если ты избираешь меня орудием твоего бедствия, то как же это может не обесчестить и меня и, следственно, не лишить меня жизни? Выслушай меня, друг Ансельмо, наберись терпения и не прерывай меня, пока я не выскажу тебе все, что я о твоем замысле думаю: ведь у тебя будет еще время мне возразить, я же успею тебя выслушать.

– Пожалуй, – сказал Ансельмо, – говори без утайки.

И Лотарио продолжал:

– Я полагаю, Ансельмо, что у тебя сейчас такое же точно настроение ума, какое всегда бывает у мавров: ведь им невозможно втолковать, почему их вероучение ложно, ни с помощью ссылок на Священное писание, ни с помощью доводов, основанных на умозрительных построениях или же на догмах истинной веры, – они нуждаются в примерах осязательных, доступных, понятных, наглядных, не вызывающих сомнения, с математическими доказательствами, которые нельзя опровергнуть, вроде, например, такого: «Если мы от двух равных величин отымем равные части, то остатки также будут равны». Если же объяснить им на словах не удается, а именно так оно всегда и бывает, то приходится показывать руками, подносить к глазам, да и этого еще оказывается недостаточно для того, чтобы убедить их в истинности святой нашей веры. И вот теперь этот же самый способ и прием мне надлежит применить и к тебе, ибо явившееся у тебя желание в высшей степени сумасбродно, здравого смысла в нем вот настолько нет, так что объяснять тебе, в чем заключается твоя простота, чтобы не сказать больше, это значит даром терять время, и я, собственно говоря, в наказание за твой дурной умысел не стал бы выводить тебя из заблуждения, но моя дружеская к тебе привязанность не позволяет мне столь сурово с тобой обойтись и не допускает, чтобы я покинул тебя, когда тебе грозит явная гибель. И, дабы тебе это стало ясно, скажи, Ансельмо, не говорил ли ты мне, что я должен обольщать скромную, преследовать честную, одарять

бескорыстную, ухаживать за благонравной? Да, говорил. Но если ты знаешь, что твоя супруга скромна, честна, бескорыстна и благонравна, то из чего же ты хлопочешь? И если ты полагаешь, что она отразит все мои атаки – а она, конечно, их отразит, – то сумеешь ли ты тогда придумать для нее названия лучше тех, которые у нее уже есть, и что она от этого выиграет? Или ты на самом деле держишься противоположного о ней мнения, или сам не знаешь, о чем просишь. Если ты противоположного о ней мнения, то зачем же тогда испытывать ее? Коли она дурна, то и поступай с ней, как тебе вздумается. Но если она так хороша, как ты ее считаешь, то было бы безрассудно производить опыты над самою истиной, ибо произведенный опыт не властен изменить первоначально вынесенное о ней суждение. Всем известно, что предпринимать шаги, от коих скорей вреда, нежели пользы ожидать должно, способны лишь неразумные и отчаянные, особливо когда никто их на это не толкает и не подбивает и если заранее можно сказать, что это явное безумие. Дела трудные совершаются для бога, для мира или же для обоих вместе: для бога трудятся святые, которые ведут жизнь ангелов во плоти, для мира трудятся те, что переплывают необозримые воды, путешествуют по разным странам, вступают в общение с чужеземцами – и всё ради так называемых земных благ, а для бога и для мира одновременно трудятся доблестные воины: эти только заметят, что в неприятельском стане ядро проломило брешь, и вот они уже, отринув всякий страх, забыв и думать о грозящей им явной опасности, окрыленные мечтою постоять за веру, отчизну и короля, бестрепетно бросаются навстречу тысяче подстерегающих каждого из них смертей. Вот какие совершаются на свете дела, и, несмотря на сопряженные с ними лишения и опасности, они служат к чести, славе и благоденствию. Но тем, что, по твоим словам, намерен предпринять и осуществить ты, тебе не снискать милости божьей, не снискать земных благ, не снискать почета среди людей, ибо если даже все кончится, как ты того желаешь, то тебе от этого не будет ни особой радости, ни прибыли, ни славы. Если же все кончится по-иному, то ты окажешься в крайне бедственном положении, ибо мысль о том, что никто не знает о постигшем тебя несчастье, не принесет тебе тогда утешения, – ты сам будешь знать о нем, и этого будет довольно, чтобы истерзать тебя и сокрушить. В доказательство же моей правоты я хочу привести тебе строфы, коими закончил первую часть *Слез апостола Петра* знаменитый поэт Луиджи Тансилло,[194] – вот они:

Петра терзает совесть тем сильней,

Чем ярче занимается денница.

Поблизости не видит он людей,

Но, помня, что свершил, стыдом казнится:

Кто прям душой, тот в низости своейСебе и без свидетелей винится,Сгорая на костре душевных мук,Хоть только небо да земля вокруг.

Так же точно и тебя тайна от муки не убережет, напротив того, ты будешь плакать всечасно, – не слезами очей, так кровавыми слезами сердца, подобно тому простодушному врачу, который, по словам нашего поэта, подверг себя испытанию кубком,[195] испытанию, от коего благоразумно уклонился мудрый Ринальд. И пусть это поэтический вымысел, но он содержит в себе скрытое нравоучение, которое должно запомнить, постигнуть и применить к жизни. Этого мало, я скажу тебе еще нечто такое, после чего ты окончательно уверишься в том, какую страшную намерен ты совершить ошибку. Вообрази, Ансельмо, что по воле неба или же благодаря счастливой случайности ты становишься обладателем и законным владельцем чудеснейшего алмаза, коего чистота и вес приводят в восторг всех ювелиров, которым ты его показываешь, и все они говорят в один голос и сходятся на том, что по своему весу, чистоте и доброкачественности он являет собою предел того, на что природа подобного камня способна, да ты и сам того же мнения и ничего не можешь им возразить, – так вот, разумно ли будет с твоей стороны взять ни с того ни с сего этот алмаз, положить его между

молотом и наковальней, а затем изо всех сил начать по нему бить, чтобы испытать его прочность и доброкачественность? Но положим даже, ты это осуществил, более того, – камень выдержал столь нелепое испытание, но ведь от этого ничего не прибавилось бы ни к ценности его, ни к славе, а если бы он разбился, что весьма вероятно, то разве не был бы он потерян безвозвратно? Конечно, да, а владелец его прослыл бы во мнении света глупцом. Так знай же, друг Ансельмо, что великолепный алмаз – это Камилла, как в твоих глазах, так и в глазах всякого другого, и что бессмысленно подвергать его роковой случайности, ибо если он останется невредим, то ценность его от этого не увеличится, если же не выдержит и погибнет, то обдумай заранее, как ты будешь жить без него и сколь основательно станешь ты обвинять себя в его и в своей гибели. Пойми, что нет в целом мире большей драгоценности, нежели честная и верная жена, и что честь женщины – это добрая слава, которая про нее идет. И раз что слава о твоей супруге добрее доброго и ты это знаешь, то для чего же истину эту брать под сомнение? Пойми, друг мой, что женщина – существо низшее и что должно не воздвигать на ее пути препятствия, иначе она споткнется и упадет, а, напротив того, убирать их и расчищать ей путь, дабы она легко и без огорчений достигла совершенства, заключающегося в добродетели. Естествоиспытатели рассказывают, что у горностая белоснежная шерсть и что когда охотники за этим зверьком охотятся, то пускаются на такую хитрость: выследив, куда он имеет обыкновение ходить, они мажут эти места грязью, затем спугивают его и гонят прямо туда, а горностай, как скоро заметит грязь, останавливается, ибо предпочитает сдаться и попасться в руки охотника, нежели, пройдя по грязи, запачкаться и потерять белизну, которая для него дороже свободы и самой жизни. Верная и честная жена – это горностай, честь же ее чище и белее снега, и кто хочет, чтобы она не погубила ее, а, напротив того, сохранила и сберегла, тому не следует применять способ, к коему прибегают охотники на горностая, не должно подводить ее к грязи подарков и услуг навязчивых поклонников, – может статься, даже наверное, по природе своей она недостаточно добродетельна и стойка, чтобы без посторонней помощи брать и преодолевать препятствия, необходимо устранить их с ее пути и подвести ее к чистоте добродетели и той прелести, которую заключает в себе добрая слава. Еще добрую жену можно сравнить с зеркалом из сверкающего и чистого хрусталя, – стоит дохнуть на нее, и она туманится и тускнеет. С порядочною женщиной должно обходиться как со святыней: чтить ее, но не прикасаться к ней. Верную жену должно охранять и лелеять так же точно, как охраняют и лелеют прекрасный сад, полный роз и других цветов, – сад, которого владелец никого туда не пускает и не позволяет трогать цветы, – можете издали, через решетку, наслаждаться благоуханием его и красотою. В заключение я хочу привести несколько стихов из одной современной комедии, которая пришла мне сейчас на память, – мне кажется, это будет как раз к месту. Один благоразумный старик советует другому, отцу молодой девушки, охранять ее, никуда не пускать и держать взаперти и, между прочим, говорит следующее:

Женщина – точь-в-точь стекло.
Так не пробуй убедиться,
Может ли она разбиться:
Случай часто шутит зло.

Кто умен – остережетсяИ не тронет никогдаВещь, что бьется без труда,Чинке же не поддается. Это правило любойДолжен помнить, твердо зная:Там, где сыщется Даная,[196] Дождь найдется золотой.

Все, что я до сих пор говорил, касалось тебя, Ансельмо, а теперь не мешает поговорить и о себе, и если это будет долго, то прости меня, – этого требует лабиринт, в который ты попал и откуда ты желаешь с моей помощью выбраться. Ты почитаешь меня за своего друга – и хочешь отнять у меня честь, что несовместимо с дружбою. Этого мало: ты добиваешься, чтобы и я, в свою очередь, отнял у тебя честь. Что ты хочешь отнять у меня честь – это ясно, ибо когда я по твоей просьбе начну за Камиллой ухаживать, то она подумает, что, уж верно, я

человек бесчестный и испорченный, коли замыслил и начал нечто решительно выходящее за пределы того, к чему обязывают меня мое звание и долг дружбы. Что ты хочешь, чтобы я, в свою очередь, отнял честь у тебя, также сомнению не подлежит, ибо Камилла, видя, что я за нею ухаживаю, подумает, что я усмотрел в ней нечто легкомысленное и что это придало мне смелости поведать ей дурной свой умысел, но ведь ты принадлежишь ей, и если Камилла почтет себя обесчещенною, то бесчестие это коснется и тебя. Отсюда и ведет свое происхождение распространенный этот обычай: мужа неверной жены, хотя бы он ничего и не знал и не давал повода к тому, чтобы его супруга вела себя неподобающим образом, и хотя бы он бессилен был отвратить несчастье, ибо случилось оно не по его беспечности или оплошности, непременно станут называть и именовать оскорбительными и позорными именами, и люди, осведомленные о распутстве его жены, в глубине души сознавая, что он не по своей вине, а по прихоти дурной своей подруги попал в беду, со всем тем станут смотреть на него не с жалостью, но с некоторым презрением. А теперь я должен растолковать тебе, почему каждый вправе почитать мужа неверной жены обесчещенным, хотя бы муж ровным счетом ничего не знал, был бы невиновен, непричастен и не подавал повода к ее измене. Итак, слушай меня со вниманием, – все это для твоего же блага. В Священном писании говорится, что когда господь создал в земном раю нашего прародителя, то навел на него сон и, пока Адам спал, вынул из его левого бока ребро и сотворил из него нашу прародительницу Еву, и как скоро Адам пробудился и увидел ее, то сказал: «Это плоть от плоти моей и кость от костей моих». И сказал господь: «Ради жены оставит человек отца своего и мать свою и будут одна плоть». Тогда-то и было основано священное таинство брака, коего узы одна лишь смерть вольна расторгнуть. И такой чудодейственной силой обладает оно, что два разных человека становятся единою плотью, – более того: у добрых супругов две души, но воля у них едина. Отсюда вытекает, что если муж и жена – одна плоть, то пятна и недостатки ее плоти оскверняют и плоть мужа, хотя бы он, как я уже сказал, был ни в чем не повинен. Подобно как боль в ноге или же в другом члене человеческого тела чувствует все тело, ибо все оно есть единая плоть, и боль в щиколотке отдается в голове, хотя и не она эту боль вызвала, так же точно муж разделяет бесчестие жены, ибо он и она – это одно целое. И коль скоро всякая земная честь и бесчестие сопряжены с плотью и кровью и ими порождаются, в частности бесчестие неверной жены, то доля его неизбежно падает на мужа, и хотя бы он ничего не знал, все же он обесчещен. Подумай же, Ансельмо, какой опасности ты себя подвергаешь, желая нарушить покой, в котором пребывает добрая твоя супруга. Подумай о том, что суетное и безрассудное твое любопытство может пробудить страсти, ныне дремлющие в душе целомудренной твоей супруги. Прими в соображение, что выигрыш твой будет невелик, а проиграть ты можешь столько, что я лучше обойду это молчанием, ибо у меня недостанет слов. Если же все, что я тебе сказал, не принудило тебя отказаться от дурного твоего намерения, то ищи себе тогда другое орудие позора своего и несчастья, я не намерен быть таковым, хотя бы через то я потеряю твою дружбу, а большей потери я и представить себе не могу.

Сказавши это, умолк добродетельный и благоразумный Лотарио, Ансельмо же, задумчивый и смущенный, долго не мог выговорить ни слова; наконец ответил ему так:

– Ты видел, друг Лотарио, с каким вниманием слушал я все, что ты пожелал мне сказать, и речи твои, примеры и сравнения свидетельствуют о великом твоем уме и об искренности необычайных твоих дружеских чувств, я же, со своей стороны, вижу и сознаю, что если я не прислушаюсь к твоему мнению и буду придерживаться своего, то убегу от добра и ринусь вослед злу. Все это так, но ты должен принять в рассуждение, что ныне во мне сидит недуг, какой бывает у некоторых женщин, когда им хочется есть землю, известь, уголь, а то и похуже вещи, – такие, что на них и глядеть-то противно, а не то что их есть. Того ради, дабы меня излечить, надлежит употребить хитрость, и хитрость небольшую: начни только, хотя бы слегка и притворно, ухаживать за Камиллой, а она вовсе не так слабосильна, чтобы при первом же натиске пасть. И одно это начало меня удовлетворит вполне, ты же не только возвратишь мне

жизнь, но и уверишь меня, что честь моя вне опасности, и тем самым исполнишь долг дружбы. И ты обязан это сделать вот по какой причине: раз уж я задумал произвести это испытание, то ты не допустишь, чтобы я кому-нибудь другому сообщил о безрассудной своей затее и тем самым поставил на карту мою честь, о которой ты так печешься. Если же, пока ты будешь ухаживать за Камиллой, твоя честь в ее глазах будет несколько запятнана, то не придавай этому никакого или почти никакого значения, ибо, уверившись в ее непреклонности, коей мы от нее ожидаем, ты тот же час сможешь рассказать ей всю правду о нашей хитрости, после чего снова возвысишься в ее мнении. И, уразумев, сколь малым ты рискуешь и сколь великое удовольствие можешь доставить мне, ты не премянь это сделать, несмотря ни на какие препоны, ибо, повторяю, ты только начни – и я почту дело законченным.

Видя, что решение Ансельмо бесповоротно, не зная, какие примеры еще привести и какие еще доказательства выставить, дабы он изменил его, видя, что он грозится сообщить другому о дурном своем умысле, Лотарио во избежание большего зла порешил уважить его и удовлетворить его просьбу, однако ж с целью и с расчетом повести дело так, чтобы и Ансельмо остался доволен, и чтобы душа Камиллы была спокойна; и для того он велел Ансельмо никому ничего не говорить, ибо он, Лотарио, берет, мол, это дело на себя и начнет его, когда Ансельмо будет угодно. Ансельмо нежно и ласково обнял его и поблагодарил так, как если бы тот великую ему оказал услугу; и порешили они на том, что первый шаг будет сделан завтра же и что Ансельмо предоставит Лотарио место и время, дабы он мог видеться с Камиллою наедине, а также наделит его деньгами и драгоценными вещами для подарков и подношений. Посоветовал он Лотарио услаждать ее слух музыкой и писать в ее честь стихи; если же Лотарио от этого откажется, то он, дескать, сделает это за него. Лотарио согласился на все, впрочем, с совершенно иною целью, о которой Ансельмо не догадывался, и, условившись между собою, они отправились к Ансельмо и застали Камиллу в тоске и тревоге, ибо в тот день муж ее возвратился позднее обыкновенного.

Лотарио пошел домой, между тем как Ансельмо остался у себя, столь же довольный, сколь озабочен был Лотарио, ибо не знал, как должно вести себя, чтобы нелепая эта затея окончилась благополучно. Однако в ту же ночь надумал он, как обмануть Ансельмо и не оскорбить Камиллу, и на другой день отправился к своему другу обедать, и Камилла оказала ему радушный прием, – впрочем, она всегда с величайшей благожелательностью принимала и угощала его, ибо ей было ведомо, сколь благорасположен к нему ее супруг. Но вот уж кончили обедать, убрали со стола, и Ансельмо сказал Лотарио, что ему надобно отлучиться по одному срочному делу, что воротится он через полтора часа и что он просит его побыть это время с Камиллой. Камилла начала уговаривать его не ходить, Лотарио вызвался проводить его, но Ансельмо был непреклонен, – он настоял на том, чтобы Лотарио подождал его: ему, Ансельмо, надобно-де поговорить с ним об одном весьма важном деле. Камилле же он сказал, чтобы до его прихода она не оставляла Лотарио одного. Словом, он так ловко сумел притвориться, будто спешит по неотложному, а вернее, ложному делу, что никто не заподозрил бы его в притворстве. Ансельмо ушел, и в столовой остались лишь Камилла и Лотарио, ибо слуги ушли обедать. У Лотарио было такое чувство, будто он на арене, на той самой арене, о которой мечтал для него Ансельмо, и перед ним его враг, способный одною своею красотою победить целый отряд вооруженных рыцарей, – согласитесь, что Лотарио было чего бояться. И рассудил он за благо, поставив локоть на ручку кресла и подперев щеку ладонью, попросить у Камиллы прощения за неучтивость и сказать, что до прихода Ансельмо он немного соснет. Камилла заметила, что на эстрадо[197] ему будет удобнее, нежели в кресле, и предложила Лотарио прилечь там. Лотарио, однако же, отказался и проспал в кресле до прихода Ансельмо, а тот, застав Камиллу у нее в комнате, Лотарио же спящим, подумал, что возвратился он поздно и что они, уж верно, успели поговорить и даже вздремнуть, и теперь он не чаял, как дождаться пробуждения Лотарио, чтобы уйти вместе с ним из дому и спросить, как его дела. И все так по его желанию и совершилось: Лотарио пробудился, они тут же вышли вдвоем из дому, он задал

ему этот вопрос, и Лотарио ответил, что он почел неприличным с первого же раза открыться ей во всем, а потому пока только восхищался ее красотою и уверял, что в городе только и разговору, что о рассудительности ее и красоте, и ему, Лотарио, представляется-де, что основы заложены: он уже начал добиваться ее расположения и подготовил ее к дальнейшему, так что в следующий раз она будет слушать его с удовольствием, и для того он, мол, прибегнул к хитрости, к какой прибегает сам демон, когда хочет соблазнить человека, зорко следящего за собой, – будучи духом тьмы, он преображается в духа света, выступает под личиной добра и срывает ее не прежде, чем добьется своего, если только его обман не разоблачат в самом начале. Всем этим Ансельмо остался весьма доволен и сказал, что теперь он ежедневно, даже не выходя из дому, но якобы отвлеченный домашними делами, будет оставлять его наедине с Камиллой, а Камилле и в голову не придет, что это уловка.

И вот уже много дней Лотарио не говорил с Камиллой ни слова, а друга своего уверял, что он с нею беседует, но что за все время ни разу не сумел он склонить ее ни на что дурное, и ни разу не подала она ему никакой, даже слабой надежды; напротив того, грозится все рассказать мужу, если только он не оставит дурных своих намерений.

– Отлично, – молвил Ансельмо. – Итак, Камилла устояла против слов, – посмотрим, как устоит она против дел. Завтра же я вручу тебе две тысячи золотых, которые ты ей предложишь и подаришь, и еще две тысячи на покупку драгоценностей, дабы ими ее прельстить, – ведь женщины, все, сколько их ни есть, даже самые из них целомудренные, любят хорошо одеваться и франтить, особливо красивые, и вот если она устоит и против этого соблазна, тогда я почту себя вполне удовлетворенным и не стану больше тебе докучать.

Лотарио заметил, что коли он начал дело, так доведет до конца, хотя знает заранее, что только выбьется из сил и все равно потерпит поражение. На другой день получил он четыре тысячи эскудо,[198] а с ними четыре тысячи затруднений, ибо не мог сообразить, как бы это ему еще солгать; однако в конце концов надумал сказать, что Камилла столь же равнодушна к подаркам и обещаниям, как и к похвалам, и что не из чего столько хлопотать, ибо это значит попусту терять время. Судьба, однако ж, распорядилась иначе: Ансельмо, оставив, по обыкновению, Лотарио и Камиллу вдвоем, заперся в смежной комнате и через замочную скважину стал подсматривать и подслушивать, о чем они толкуют, и, обнаружив, что за полчаса с лишним Лотарио и двух слов не сказал с Камиллой, да и не скажет, если бы даже провел с нею целый век, пришел к заключению, что ответы Камиллы, о которых он слышал от своего друга, – сплошная выдумка и ложь. И, дабы совершенно в том удостовериться, он вышел к ним и, отозвав Лотарио в сторону, спросил, что нового и в каком расположении духа находится Камилла. Лотарио сказал, что больше он палец о палец не ударит, ибо ответы ее столь резки и суровы, что у него не хватает духу продолжать с ней разговор.

– Ах, Лотарио, Лотарио! – воскликнул Ансельмо. – Как плохо ты исполняешь свой долг и как плохо оправдываешь ты мое безграничное к тебе доверие! Я только что следил за тобой через скважину, в которую входит этот ключ, и убедился, что ты словом не перемолвился с Камиллой. Отсюда я делаю вывод, что ты ни о чем еще с нею не говорил. Если же это так – а это, без сомнения, так, – то для чего ты меня обманываешь, для чего ты своею уловкою лишаешь меня возможности иным путем достигнуть цели?

Больше Ансельмо ничего не сказал, но и этого оказалось довольно, чтобы пристыдить и смутить Лотарио, и тот, восприняв предъявленное ему обвинение во лжи почти как личное оскорбление, поклялся Ансельмо, что отныне он самым добросовестным образом возьмется за дело, в чем Ансельмо сможет убедиться, если станет из любопытства за ним следить, – впрочем, в таком рачительном надзоре вряд ли появится-де нужда, ибо рачительность, какую он, Лотарио, намерен выказать, дабы ублаготворить Ансельмо, рассеет всякие подозрения. Ансельмо ему поверил и, дабы тот мог действовать более решительно и без стеснения, задумал съездить на неделю к одному своему приятелю, который проживал в деревне неподалеку от города и с которым он заранее уговорился, что тот, нарочно для Камиллы, будет настойчиво

звать его к себе. О злосчастный и недальновидный Ансельмо! Что ты делаешь? Что приуготовляешь? Куда приказываешь себя вести? Посмотри: ведь ты себе же делаешь зло, приуготовляешь собственное свое бесчестье, приказываешь вести себя к гибели. Твоя супруга Камилла добродетельна; спокойно и безмятежно обладаешь ты ею; никто не мешает тебе наслаждаться; помыслы ее не выходят за стены дома; ты, на земле, ее небо, ты предел ее мечтаний, исполнение желаний ее, мера, которою меряется ее воля, всегда послушная твоей воле и воле небес. Если же все, какие только ты пожелаешь, богатства, содержащиеся в недрах ее чести, красоты, чистоты и скромности, достаются тебе даром, то к чему тебе рыть землю в поисках новых месторождений нового, доселе невиданного сокровища, рискуя тем, что все может рухнуть, ибо в конце концов все держится на неустойчивых креплениях слабой ее природы? Помни, что кто добивается невозможного, тому отказывают и в возможном, как это еще лучше выразил поэт:

Я ищу в темнице волю,

В четырех стенах простор,

Счастье в несчастливой доле,

В смерти жизнь, отраду в боли,

Неподкупность в том, кто вор.

И за это навсегда я

Вами к казни присужден,

Небо и судьбина злая:

Невозможного желаю,

А возможного лишен.

На другой день Ансельмо уехал в деревню, объявив Камилле, что во время его отсутствия Лотарио будет присматривать за домом, ходить к ней обедать и что ей надлежит ухаживать за ним так же, как она ухаживает за мужем. Камилла, будучи женщиною скромною и честною, опечалилась и заметила по поводу отданного ее мужем распоряжения, что нехорошо, если кто-нибудь в его отсутствие будет сидеть за его столом, а коли он-де не верит в хозяйственные ее способности, пусть на сей раз попробует – и он убедится на опыте, что она и с более трудными делами справится. Ансельмо возразил, что такова его воля и что ей остается лишь склонить голову и подчиниться. Камилла сказала, что она повинуется, хотя и против своего желания. Ансельмо уехал, а на другой день пришел Лотарио, и Камилла была с ним приветлива, но сдержанна; вообще она старалась не оставаться с ним наедине и вечно была окружена слугами и служанками, чаще же всего при ней находилась горничная Леонелла, которую она особенно любила и с которой они вместе росли в доме родителей Камиллы, откуда, выйдя замуж за Ансельмо, Камилла взяла ее к себе. В течение первых трех дней Лотарио ничего ей не сказал, хотя время у него для этого было, а именно, когда слуги, убрав со стола, отправлялись по распоряжению Камиллы наскоро поесть; этого мало: она приказала Леонелле обедать раньше и не отходить от нее ни на шаг; однако ж Леонелла, у которой на уме были одни лишь утехи, пользовалась этим временем и возможностью для своих забав и не всегда исполняла приказание своей госпожи – напротив того, оставляла ее наедине с Лотарио, точно именно это ей было приказано. Однако ж скромный вид Камиллы, строгое ее лицо и то, что она с большим достоинством себя держала – все это накладывало печать на уста Лотарио.

Со всем тем польза от множества достоинств Камиллы, заграждавших уста Лотарио молчанием, послужила во вред им обоим, ибо если немотствовали уста, зато мысль не оставалась праздною: она имела возможность созерцать одно за другим все чудеса душевных ее качеств и ее красоты, способные влюбить в себя мраморную статую, а не то что живое сердце. В те промежутки времени, когда Лотарио должен был с ней говорить, он смотрел на нее и думал, сколь достойна она его любви; и дума эта стала постепенно вытеснять его

преданность Ансельмо, и тысячу раз хотел он оставить город и уйти туда, где бы Ансельмо не видел его и где бы он сам не видел Камиллу, однако ж наслаждение, которое он испытывал, взирая на нее, удерживало и не пускало его. Он пересиливал себя и боролся с собой, дабы не ощущать более того блаженного чувства, которое влекло его любоваться Камиллой, дабы истребить это чувство в себе; наедине с самим собою он говорил, что это бред; он называл себя неверным другом и даже дурным христианином; он размышлял, он сравнивал себя с Ансельмо, но все эти рассуждения сводились к тому, что всему виною – сумасбродство и самоуверенность Ансельмо, а не его, Лотарио, нестойкость, и что если бы он оправдался пред богом так же, как мог бы оправдаться пред людьми, то ему нечего было бы бояться наказания за свой грех.

В конце концов красота Камиллы и ее душевные качества, а также случай, который ему представился единственно благодаря неразумному мужу, в прах развеяли верность Лотарио; и тот, покорствуя лишь своей склонности, спустя три дня после отъезда Ансельмо, в течение которых он вел неустанную борьбу, силясь подавить свои желания, с таким волнением и в столь пламенных речах стал изливать Камилле свою страсть, что она, пораженная, молча встала и ушла к себе в комнату. Однако ее холодность не убила в Лотарио надежды, ибо надежда рождается одновременно с любовью, – напротив того: надежда на взаимность стала в нем еще крепче. А Камилла, которая никак этого не ожидала от Лотарио, не знала, что делать; и, подумав, что небезопасно и неприлично давать ему повод и возможность снова начать сердечные излияния, решилась послать – и в тот же вечер послала – к Ансельмо слугу с письмом вот какого содержания:



Глава XXXIV,

в коей следует продолжение повести о Безрассудно-любопытном



«Говорят, что плохо, когда войско остается без предводителя, а крепость без коменданта, – я же скажу, что еще хуже, когда молодая жена остается без мужа, если только какие-либо чрезвычайные обстоятельства того не требуют. Мне так тяжело без Вас и так несносна эта разлука, что если Вы скоро не возвратитесь, то я принуждена буду переехать в дом родителей моих и оставить Ваш дом без сторожа, ибо тот, кого Вы оставили сторожить меня, – если это только, точно, сторож, – думает, кажется, больше о собственном удовольствии, нежели о том, что касается Вас. Вы же, с Вашим умом, и так меня поймете, да мне и не подобает к этому что-либо еще прибавлять».

Получив это письмо, Ансельмо пришел к заключению, что Лотарио уже начал действовать и что Камилла, по-видимому, держит себя с ним так, как этого ему, Ансельмо, хотелось; и, обрадовавшись таковым вестям чрезвычайно, велел он передать на словах Камилле, чтобы она ни в коем случае не оставляла своего дома, ибо он весьма скоро возвратится. Ответ Ансельмо удивил Камиллу, и она в еще пущее пришла замешательство, ибо не знала, как быть: остаться дома или же переехать к родителям, – остаться означало подвергнуть опасности свою честь, уехать – ослушаться мужа. В конце концов она выбрала более тяжкую для нее долю, а именно – осталась дома с твердым намерением не избегать общества Лотарио, дабы не давать челяди повода к пересудам, и теперь Камилле было уже досадно, что она написала супругу такое письмо: она боялась, как бы он не подумал, что Лотарио заметил с ее стороны некоторую вольность и что это его побудило нарушить приличия. Но, уверенная в своей чистоте, она уповала на бога и на свое собственное благоразумие, а благоразумие внушало ей ничего не отвечать Лотарио, с чем бы он к ней ни обращался, и ничего больше не сообщать мужу, дабы не волновать его этим и не вызывать на ссору, – более того: Камилла уже начала думать о том, как бы обелить Лотарио в глазах Ансельмо, когда тот спросит, что заставило ее написать это письмо. В сих мыслях, более великодушных, нежели спасительных и остроумных, слушала она на другой день Лотарио, а тот закусил удила, так что стойкость Камиллы пошатнулась, и скромности ее надлежало прихлынуть к глазам, дабы в них не отразилось чего-нибудь похожего на влюбленное сочувствие, которое в ее душе пробудили слезы и речи Лотарио. Все это Лотарио заметил, и все это его разжигало. В конце концов он почел за нужное, воспользовавшись отсутствием Ансельмо, сжать кольцо осады, а затем, вооруженный похвалами ее красоте, напал на ее честолюбие, оттого что бойницы тщеславия, гнездящегося

в сердцах красавиц, быстрее всего разрушает и сравнивает с землей само же тщеславие, вложенное в льстивые уста. И точно: не поскупившись на боевые припасы, он столь проворно повел подкоп под скалу ее целомудрия, что если б даже Камилла была из мрамора, то и тогда бы неминуемо рухнула. Лотарио рыдал, молил, сулил, льстил, настаивал, притворялся – с такими движениями сердца и по виду столь искренне, что стыдливость Камиллы дрогнула, и он одержал победу, на которую менее всего надеялся и которой более всего желал.

Камилла сдалась; сдалась Камилла; но что же в том удивительного, если и дружеские чувства Лотарио не устояли? Вот пример, ясно показывающий, что с любовною страстью можно совладать, только лишь бежав от нее, и что никто не должен сражаться с таким мощным врагом, ибо нужна сила божественная, дабы противостать человеческой ее силе. Одна лишь Леонелла знала о падении своей госпожи, ибо от нее не могли укрыться неверные друзья и новонареченные любовники. Лотарио из боязни унизить в глазах Камиллы свое чувство и навести ее на мысль, что он случайно и непреднамеренно, а не по собственному хотению ее покорил, так ничего и не сообщил ей о затее Ансельмо и о том, что это он дал ему, Лотарио, возможность этого достигнуть.

Спустя несколько дней Ансельмо возвратился домой и не заметил, что в нем уже недостает того, что он менее всего берег и чем более всего дорожил. Тот же час отправился он к Лотарио и застал его дома; они обнялись, после чего Ансельмо спросил, что нового и должно ли ему жить или умереть.

– Новое заключается в том, друг Ансельмо, – отвечал Лотарио, – что жена твоя достойна быть примером и венцом всех верных жен. Слова, которые я ей говорил, я говорил на ветер, посулы мои она ни во что вменила, подношения были отвергнуты, над притворными моими слезами она от души посмеялась. Коротко говоря, Камилла – это воплощение красоты, это кладезь честности и средоточие благонравия, скромности и всех добродетелей, приносящих славу и счастье порядочной женщине. Возьми свои деньги, друг мой, вот они, в них не было нужды, ибо целомудрие Камиллы не склоняется перед подарками и обещаниями, – это для нее слишком низменно. Удовольствуйся этим, Ансельмо, и новых испытаний не затевай. Ты, будто посуху, прошел море сомнений и подозрений, которые обыкновенно возбуждают и могут возбуждать жены, так не выходи же вновь в открытое море новых опасностей, не поручай другому кормчему испытывать крепость и прочность корабля, посланного тебе небом для прохождения житейского моря, – нет, считай, что ты уже достигнул тихого пристанища, стань на якорь душевного спокойствия и стой до тех пор, пока к тебе не явятся за долгом, который лучшие из лучших не властны не уплатить.

Слова Лотарио доставили Ансельмо полное удовлетворение, и поверил он им, как если б то было прорицание оракула; со всем тем он попросил друга не оставлять этого предприятия, хотя бы из любопытства и для препровождения времени; впредь он волен-де и не выказывать столь неусыпного рвения, – единственно, чего он, Ансельмо, желает, это чтобы были написаны стихи, в которых под именем Хлоры была бы прославлена Камилла, а он скажет Камилле, что Лотарио влюблен в одну даму и под этим именем ее воспевает, дабы соблюсти приличия, каковых скромность ее заслуживает; если же Лотарио не возьмет на себя труд сочинить стихи, то он сам-де их сочинит.

– Нужды в этом нет, – возразил Лотарио, – ибо не так уж меня чуждаются музы, и хоть изредка, а посещают. Итак, скажи Камилле все, что ты сейчас сказал о мнимом моем увлечении, стихи же я напишу, если и не столь исправные, как того заслуживает предмет, то уж, разумеется, лучшие, на какие я только способен.

На этом и уговорились друг безрассудный и друг-изменник; Ансельмо же, возвратившись домой, спросил Камиллу о том, о чем он, к вящему ее изумлению, так долго не спрашивал, а именно, что за причина побудила ее написать ему такое письмо. Камилла ответила, что ей показалось, будто Лотарио позволяет себе с ней больше, чем когда Ансельмо дома, но что потом она разуверилась и полагает, что все это одно воображение, ибо Лотарио уже избегает

ее и не остается с нею наедине. Ансельмо ей на это сказал, что она смело может отрешиться от этих подозрений, ибо ему ведомо, что Лотарио влюблен в одну знатную девушку, которую он воспевает под именем Хлоры, а что если б даже он и не был влюблен, то у нее нет оснований сомневаться в честности Лотарио и в их взаимной наитеснейшей дружеской привязанности. И если б Лотарио не предуведомил Камиллу, что увлечение его Хлорой есть увлечение мнимое и что он рассказал об этом Ансельмо, дабы иметь возможность проводить время в прославлении Камиллы, она, без сомнения, попала бы в неумолимые сети ревности, однако ж, предуведомленная, она приняла это известие спокойно.

На другой день, после обеда, когда они сидели втроем, Ансельмо попросил Лотарио прочитать то, что он сочинил в честь своей возлюбленной Хлоры, – Камилла-де все равно ее не знает, а потому он может говорить о ней все, что угодно.

– Хотя бы даже она ее и знала, я бы ничего не утаил, – возразил Лотарио. – Когда влюбленный восхваляет красоту своей дамы и упрекает ее в жестокости, то этим он не позорит ее доброго имени. Так или иначе, вот сонет, который я вчера сочинил в честь неблагодарной Хлоры:

Когда немая ночь на мир сойдет

И дрема отуманит смертным взоры,

Веду я для небес и милой Хлоры

Своим несчетным мукам скорбный счет.

Когда заря, ликуя, распахнетВорот востока розовые створы,Упорно рвутся вздохи и укорыИз уст моих все утро напролет. Когда же землю с трона голубогоОсыплет полдень стрелами огня,Я предаюсь рыданьям исступленным. Но вот опять приходит ночь, и сноваЯ убеждаюсь, горестно стеня,Что небеса и Хлора глухи к стонам.

Камилле сонет понравился, но еще больше – Ансельмо; он одобрил его и сказал, что дама эта, по-видимому, слишком жестока, если она на столь искреннее чувство не отвечает. Но тут Камилла задала вопрос:

– Разве все, что говорят влюбленные поэты, это правда?

– Как поэты, они говорят неправду, – отвечал Лотарио, – но, как влюбленные, они всегда столь же кратки, сколь искренни.

– Это не подлежит сомнению, – подтвердил Ансельмо единственно для того, чтобы поддержать Лотарио и прибавить его словам весу в глазах Камиллы, но Камилла так была увлечена Лотарио, что не заметила уловки Ансельмо.

А как все, принадлежавшее Лотарио, доставляло ей удовольствие, к тому же ей ведомо было, что все его помыслы и все его писания посвящены ей и что она и есть настоящая Хлора, то она спросила Лотарио, нет ли у него еще сонета или же каких-либо других стихов.

– Один сонет есть, – отвечал Лотарио, – но только я не думаю, чтобы он был так же хорош, как первый, или, лучше сказать, не так плох. Впрочем, судите сами:

Меня своим презреньем губишь ты,

И знаю я, что неизбежно сгину,

Но знаю также, что приму кончину

Рабом твоей небесной красоты.

Ведь и достигнув роковой меты,Где славу, страсть и жизнь, как прах, отрину,С собой в страну забвенья не преминуЯ унести любимые черты. Нет, с этою святынею бесценнойМеня в последний час не разлучатНи

равнодушье, ни отпор холодный. О горе мне, пловцу в пучине пенной,Который, тщетно напрягая взгляд,Нигде звезды не видит путеводной!

Ансельмо одобрил второй сонет не меньше, чем первый, и так звено за звеном присоединял он к цепи, которою он опутывал и приковывал себя к своему бесчестию, ибо когда Лотарио особенно его бесчестил, то он ему говорил, что теперь-то он больше чем когда-либо спокоен за свою честь; и так же точно Камилла, ступень за ступенью, все ниже спускалась в бездну своего позора, а супругу ее казалось, будто она восходит на вершину чистоты и доброй славы. Как-то раз случилось, однако ж, Камилле остаться наедине со своею служанкой, и Камилла обратилась к ней с такими словами:

– Мне стыдно, дорогая Леонелла, что я низко себя оценила и повела себя так, что Лотарио сразу покорил мое сердце, вместо того чтобы завоевывать постепенно. Боюсь, что он станет меня презирать за уступчивость или же за ветреность, не приняв в соображение силы своей страсти, сломившей мое сопротивление.

– Пусть это вас не тревожит, госпожа моя, – сказала Леонелла, – это не имеет значения: ценность подарка не уменьшается от того, что мы скоро его получили, если только подарок, точно, хорош и ценен сам по себе. Недаром говорится пословица: хочешь дать за двоих – давай сразу.

– Есть и другая пословица, – вставила Камилла, – дешево обходится – мало ценится.

– Эта поговорка к вам не относится, – возразила Леонелла, – ведь любовь, как я слышала, то на крыльях летает, то идет шагом, с этим мчится, с тем еле бредет, одних охлаждает, других испепеляет, одних ранит, других убивает, бег ее желаний в один и тот же миг начинается и прекращается, утром предпринимает она осаду крепости, а вечером крепость уже взята, ибо нет той силы, которая могла бы ей сопротивляться. А коли так, то чего же вы опасаетесь, чего страшитесь? Ведь с Лотарио, как видно, случилось то же самое, ибо орудием своей победы над вами любовь избрала отъезд моего господина. И надлежало, чтобы именно в отсутствие Ансельмо свершилось то, что замыслила любовь, пока он не возвратился, ибо его приезд испортил бы все дело: ведь у любви нет лучшего помощника по части исполнения ее желаний, нежели случай, и она пользуется им для всех своих затей, особливо на первых порах. Все это я отлично знаю, и больше по собственному опыту, нежели понаслышке, и когда-нибудь я вам про себя расскажу, сеньора, – ведь я тоже не каменная, во мне молодая играет кровь. Притом, синьора Камилла, вы не так уже скоро доверились ему и сдались, сначала вы узнали душу Лотарио по его взглядам, вздохам, речам, обещаниям и подношениям, и его душевные качества вас убедили, что он вполне достоин любви. А коли так, то не слушайте голоса лицемерия и самолюбия, внушите себе, что Лотарио уважает вас так же точно, как его уважаете вы: он рад и счастлив, что вы попались в сети любви, сети, опутывающие вас в его глазах еще большим уважением и почетом, и помните, что он может похвалиться не только четырьмя *С*, которые будто бы положено иметь каждому порядочному влюбленному, то есть тем, что он *с* вободен, *с* метлив, *с* тоек и *с* крытен, но и всею азбукой, – вы только послушайте, я вам скажу ее сейчас на память. Сколько я понимаю и могу судить, он *б*огат, *в* еликодушен, *г* оряч, *д* обр, *ж* алостлив, *з* натен, *и* зящен, *к* расив, *л* юбезен, *м* уже ственен, *н* астойчив, *о* бходителен, *п* остоянен, *р* ыцарственен, потом эти четыре *С*, затем *т* ерпелив, *у*мен, *х* рабр, *ц* арственен, *ч* истосердечен (*ш* и *щ* сюда не подходят, больно некрасивые буквы), затем *ю* н и, наконец, *я* ростен в битве.

Азбука эта привела Камиллу в веселое расположение духа, и она нашла, что на самом деле Леонелла, вероятно, более опытна в любви, чем это можно понять из ее слов; и тут Леонелла в этом созналась и сказала Камилле, что завела амуры с одним молодым человеком из хорошей семьи, жителем того же города, каковое известие встревожило Камиллу, и она со страхом подумала, что чести ее именно с этой стороны может грозить опасность. Допросила

она ее, как далеко они зашли. Та без малейшего стеснения, крайне развязно ответила, что они зашли далеко. Да ведь так оно обыкновенно и случается: стоит сделать оплошность госпоже, как тотчас теряет стыд служанка и, видя, что хозяйка ее оступилась, начинает хромать сама, нимало не смущаясь, что все про это знают. Камилле ничего иного не оставалось, как упросить Леонеллу не рассказывать своему возлюбленному об ее увлечении, а также держать в тайне собственные свои похождения, дабы про них не узнали Ансельмо и Лотарио. Леонелла все это обещала, но исполнила свое обещание так, что предчувствие Камиллы, что через нее она утратит доброе свое имя, сбылось, ибо бесстыдная и дерзкая Леонелла, видя, что ее госпожа ведет себя уже не так, как прежде, и будучи уверена, что если госпожа и застанет ее с любовником, то все равно не выдаст, осмелилась привести его в дом – таково одно из пагубных последствий греха, совершаемого госпожами: они становятся рабынями собственных своих служанок и принуждены бывают покрывать их бесстыдство и низость, как это и случилось с Камиллой, которая не один, а много раз заставала Леонеллу с ее милым в одном из покоев своего дома и все же не только не решалась ее пожурить, но еще и сама помогала ей прятать его и делала все для того, чтобы Ансельмо его не увидел. Но, несмотря на все их ухищрения, однажды Лотарио увидел, как тот на рассвете выходил из дома Ансельмо; не зная, кто это, Лотарио подумал сперва, что это ему почудилось; когда же он увидел, что тот, завернувшись и закутавшись в плащ, пробирается с величайшею предосторожностью и опаскою, то, отказавшись от простодушного своего заключения, пришел к другому, которое могло бы погубить всех, если бы Камилла в конце концов не нашлась, как этому помочь. Лотарио совершенно забыл о существовании Леонеллы, и ему в голову не могло прийти, что человек, в столь неурочное время выходивший из дома Ансельмо, приходил к Леонелле; он вообразил, что Камилла и тут оказалась столь же доступною и податливою, как и по отношению к нему, – таковы последствия, которые влечет за собою злонравие неверной жены: она теряет уважение в глазах своего же любовника, который мольбами и уверениями достигнул того, что она ему отдалась, ибо он начинает думать, что ей еще легче будет отдаться другому, и малейшее подозрение кажется ему теперь вполне правдоподобным. И тут здравый смысл, очевидно, изменил Лотарио, и рассудок утратил над ним всякую власть, ибо, ослепленный глодавшею его бешеною ревностью, мучимый желанием отомстить Камилле, хотя, на самом деле она ни в чем перед ним не провинилась, он не нашел ничего лучше и умнее, как без дальних размышлений броситься к Ансельмо, когда тот еще лежал в постели, и обратился к нему с такими словами:

– Знай, Ансельмо, что уже много дней борюсь я с собою и делаю усилия, чтобы не сказать тебе того, что я уже не могу и не вправе дольше от тебя скрывать. Знай, что крепость, именуемая Камиллой, сдалась и готова принять любые мои условия. И я не спешил открывать тебе всю правду единственно потому, что желал увериться, не есть ли это с ее стороны пустая женская прихоть и не намеревается ли она испытать меня и проверить, сколь искренен я в сердечных своих излияниях, начатых мною с твоего позволения. Равным образом я полагал, что если Камилла такова, какою ей надлежит быть и какою мы оба ее считали, то она сообщит тебе о моем ухаживании, но, видя, что она медлит, я понял, что обещание ее неложно, – обещала же мне она, что когда ты снова отлучишься, то она назначит мне свидание в твоей гардеробной (и точно: в этой самой комнате они обыкновенно виделись). Однако ж я просил бы тебя удержаться от безрассудной и скорой мести, ибо грех совершен ею пока только в мыслях, и может статься, что, прежде чем он будет совершен на деле, мысли ее примут иное направление и место греха заступит раскаяние. Так вот, коли ты всегда или почти всегда следовал моим советам, то последуй еще одному, который я тебе сейчас преподам, и запомни его, дабы затем, во всем уверясь воочию, по зрелом размышлении поступить, как тебе заблагорассудится. Сделай вид, что ты уезжаешь дня на два, на три, как в прошлый раз, а сам спрячься в гардеробной, которая благодаря коврам и разным другим предметам представляет собой самое подходящее для этого место, и тут мы оба собственными глазами увидим, что

замышляет Камилла, и, если замысел ее порочен, что вернее всего, то тогда ты можешь стать молчаливым, предусмотрительным и разумным палачом, карающим за причиненное тебе зло.

Речи Лотарио удивили, изумили и поразили Ансельмо, ибо тот обратился с ними к нему, когда он меньше всего ожидал их услышать, – он уже считал, что его супруга отбила притворные атаки Лотарио, и праздновал победу. Долго хранил он молчание, уставясь неподвижным взглядом в пол, и наконец сказал:

– Ты поступил как истинный друг, Лотарио. Я непременно послушаюсь твоего совета. Делай, что хочешь, но только держи это в тайне, как того требует столь непредвиденный случай.

Лотарио обещал, но, выйдя от Ансельмо, он горько пожалел, что сказал ему все это, и понял, как глупо он поступил, ибо он сам мог отомстить Камилле, и не таким жестоким и постыдным способом. Он проклинал себя за безрассудство, порицал за легкомыслие и не знал, на что решиться, дабы исправить ошибку и найти какой-нибудь разумный выход. В конце концов он решился повиниться во всем Камилле; сыскать для этого случай ему было нетрудно – в тот же день увиделся он с нею наедине, а она, как скоро удостоверилась, что никто их не слышит, то сказала:

– Знаешь, милый Лотарио, у меня так болит и ноет сердце, что кажется, будто вот-вот разорвется, и если оно и не разорвется, то, право, каким-нибудь чудом. Послушай: бесстыдство Леонеллы дошло до того, что она все ночи напролет просиживает в моем доме со своим возлюбленным, нанося ущерб моему доброму имени, ибо перед всяким, кто видит, как он в непоказанное время выходит из моего дома, открывается широкое поле для подозрений. И мне особенно тяжело, что я не могу ни наказать ее, ни побранить, ибо то обстоятельство, что она является поверенною в наших делах, скрепило мои уста печатью, дабы я молчала про ее дела, и я боюсь, как бы из этого не вышло беды.

Слушая Камиллу, Лотарио сначала решил, что это она придумала для отвода глаз – будто человек, которого он видел, приходил не к ней, а к Леонелле; однако ж, видя, что она сокрушается, плачет и просит у него совета, он ей поверил и, поверив, еще более устыдился и во всем раскаялся. Но со всем тем он сказал Камилле, чтобы она не огорчалась и что он-де надумает, как обуздать наглость Леонеллы. Под конец же Лотарио признался, что, подстрекаемый бешеною и дикою ревностью, он все рассказал Ансельмо и что тот по уговору спрячется в гардеробной, дабы воочию убедиться в ее неверности. Он молил ее простить ему это безрассудство и посоветовать, как исправить дело и как ему выйти из столь запутанного лабиринта, куда его завлекло собственное сумасбродство.

Признание Лотарио ужаснуло Камиллу, и она в превеликом гневе разразилась потоком справедливых укоризн и разбранила его за то, что он столь низкого о ней мнения, и за его нелепую и дурную затею; но как женский ум по природе своей отзывчивее, нежели мужской, и на доброе и на злое, хотя и уступает ему в умении здраво рассуждать, то Камилла мгновенно нашла выход из этого, казалось бы, безвыходного положения и велела Лотарио устроить так, чтобы Ансельмо на другой день, точно, спрятался в условленном месте, ибо она рассчитывала, что из этих пряток можно будет извлечь пользу и что в дальнейшем они уже без всяких помех будут наслаждаться друг другом; и, не раскрывая до конца своих намерений, она предуведомила его, чтобы он, когда Ансельмо спрячется, явился по зову Леонеллы и на все вопросы отвечал так, как если бы он и не подозревал, что Ансельмо его слышит. Лотарио упрашивал ее поделиться с ним своим замыслом, дабы тем увереннее и осмотрительнее начал он действовать.

– Тебе не нужно действовать; повторяю: тебе надлежит лишь отвечать на мои вопросы, – вот все, что сказала ему Камилла, ибо из боязни, что он отвергнет ее затею, которая ей самой казалась столь удачною, и затеет и придумает что-нибудь еще, гораздо менее удачное, положила до времени не посвящать его в свои планы.

С тем и ушел Лотарио, а на другой день Ансельмо сделал вид, что уезжает в деревню к своему приятелю, а сам возвратился и спрятался, что ему было сделать легко, ибо Камилла и Леонелла сами предоставили ему эту возможность.

Итак, Ансельмо спрятался, и его охватило волнение, какое не может, вероятно, не испытывать тот, кто ожидает, что вот сейчас у него на глазах станут попирать его честь, что еще секунда – и у него похитят бесценный клад, за каковой он почитал возлюбленную свою Камиллу. Твердо уверенные в том, что Ансельмо спрятался, Камилла и Леонелла вошли в гардеробную; и, едва переступив порог, Камилла с глубоким вздохом молвила:

– Ах, добрая Леонелла! Я не приведу в исполнение замысел, о котором я не ставила тебя в известность, дабы ты не тщилась меня удерживать, возьми лучше кинжал Ансельмо и пронзи бесчестную грудь мою! Но нет, постой, не должно мне страдать за чужую вину. Прежде всего я хочу знать, что такое усмотрели во мне бессовестные и дерзкие очи Лотарио, отчего он вдруг осмелел и поведал мне преступную свою страсть, тем самым обесчестив своего друга и опозорив меня. Подойди к окну, Леонелла, и позови его, – он, конечно, сейчас на улице ждет, когда можно будет осуществить дурной свой умысел. Однако ж прежде осуществится мой – жестокий, но благородный.

– Ах, госпожа моя! – заговорила догадливая и обо всем осведомленная Леонелла. – Зачем вам кинжал? Неужели вы хотите убить себя или же убить Лотарио? Но и в том и в другом случае вы погубите и честь свою, и доброе имя. Лучше затаите обиду и не пускайте этого скверного человека на порог, когда мы одни. Подумайте, сеньора: ведь мы слабые женщины, а он мужчина, да еще такой, который идет напролом. И вот если он, потеряв голову от страсти, явится с дурным своим намерением сюда, то, пожалуй, прежде нежели вы приведете в исполнение свое, он учинит такое, что окажется для вас горше смерти. Уж этот мой господин Ансельмо, и зачем только он дал такую волю у себя в доме этому потаскуну? Положим даже, сеньора, вы его убьете – а мне сдается, что вы именно это замыслили, – что мы будем делать с мертвым телом?

– Что будем делать? – сказала Камилла. – Пусть его хоронит Ансельмо, – этот труд должен показаться ему отдыхом, ибо он предаст земле собственный свой позор. Ну так зови же его, – медлить с отмщением за причиненное мне зло – это значит, по моему разумению, изменить обету супружеской верности.

Ансельмо слышал все, и каждое слово Камиллы разуверяло его; когда же ему стало ясно, что она решилась убить Лотарио, то он вознамерился выйти и объявиться, дабы не свершилось подобное дело, но его остановило желание посмотреть, к чему приведут эта неустрашимость и это благородное решение, с тем чтобы в последнюю минуту выйти и остановить Камиллу.

А Камилла между тем изобразила глубокий обморок, и как скоро она рухнула на кровать, Леонелла горько заплакала и запричитала:

– Ах ты, беда какая! И что я за несчастная – ведь у меня на руках умирает цвет земной чистоты, венец добродетельных жен, образец целомудрия...

И еще много чего она наговорила, так что кто бы ее ни послушал, всякий почел бы ее за самую сердечную и верную служанку на свете, а ее госпожу – за новоявленную преследуемую Пенелопу. Камилла не замедлила прийти в себя и, очнувшись, молвила:

– Что же ты, Леонелла, не идешь звать самого верного друга во всем подсолнечном и подлунном мире? Торопись же, ступай, беги, лети, да не угасит твоя медлительность пыл моего гнева и да не расточится в угрозах и проклятиях предвкушаемая мною правая месть.

– Иду, иду, госпожа моя, – сказала Леонелла, – только отдайте мне сначала кинжал, а то как бы в мое отсутствие вы не натворили такого, из-за чего ваши близкие потом всю жизнь плакать будут.

– Будь спокойна, милая Леонелла, я ничего такого не сделаю, – возразила Камилла. – Хотя, по-твоему, безрассудно и неумно с моей стороны вступаться за свою честь, однако ж я

не Лукреция, которая якобы наложила на себя руки, будучи ни в чем неповинна и не умертвив прежде виновника своего несчастья. Да, я умру, коли уж мне так положено, но сперва я должна отплатить и отомстить тому, из-за чьей дерзости, для которой я отнюдь не подавала повода, я сейчас проливаю слезы.

Леонелла заставила себя долго упрашивать, прежде чем пойти за Лотарио, но наконец пошла, и, пока ее не было, ее госпожа говорила сама с собою:

– Боже мой, боже мой! Не разумнее ли было бы прогнать Лотарио, как я это уже делала не раз, а не подавать ему повода – к сожалению, у него теперь уже есть повод, – принять меня за женщину бесчестную и низкую, хотя он и не замедлит в том разувериться? Нет сомнения, так было бы лучше. Но я не была бы отомщена, и честь супруга моего осталась бы опороченною, когда бы Лотарио цел и невредим и как ни в чем не бывало вышел оттуда, куда его завлекли преступные замыслы. Да поплатится жизнью предатель за нечистые свои желания! Пусть знает свет (если только он когда-либо про это узнает), что Камилла не только сохранила верность своему супругу, но и отомстила тому, кто дерзнул его оскорбить. Со всем тем, думается мне, лучше было бы уведомить Ансельмо. Но ведь я же намекала ему на это в письме, посланном в деревню, и, думается мне, если он не поспешил предотвратить опасность, о которой я его извещала, то, очевидно, потому, что его благородная и доверчивая душа не могла и не хотела допустить, чтобы его испытанный друг замыслил нечто такое, что задевало бы его честь. Да я и сама потом долго не придавала этому значения и так и не придала бы, если б не настойчивые уверения, роскошные дары и потоки слез, в коих безмерная его наглость себя обнаружила. Но к чему все эти речи? Ужели смелое решение нуждается в совете? Разумеется, что нет. Так берегись же, измена, сюда, отмщение! Входи, предатель, подойти ближе, погибни, умри, а там будь что будет! Чистою отдала я себя под начало того, кто небом был мне дарован в супруги, чистою же должна я выйти из-под его начала – более того: я выйду, омытая в собственной невинной крови и в грязной крови коварнейшего из друзей, каких когда-либо видела дружба на свете.

Все это она говорила, расхаживая по комнате с обнаженным кинжалом, сопровождая свою речь порывистыми и неестественными движениями и необычайно бурно выражая свои чувства, так что, глядя на нее, можно было подумать, будто она лишилась рассудка и будто это не мягкосердечная женщина, но злодей, решимости отчаяния преисполненный.

Ансельмо, стоя за ковром, все это видел и всему дивился, и ему уже начинало казаться, что виденное и слышанное могло бы и более основательные подозрения рассеять, и, боясь какого-либо неожиданного происшествия, он уже хотел, чтобы опыт с приходом Лотарио не состоялся. И он готов был объявиться и выйти, дабы обнять и успокоить свою супругу, но, увидев, что Леонелла ведет за руку Лотарио, невольно остановился, и как скоро Камилла увидела Лотарио, то провела перед собой кинжалом черту на полу и сказала:

– Лотарио! Слушай, что я тебе скажу: если ты осмелишься переступить вот эту черту или хотя бы приблизиться к ней, в то же мгновенье, едва лишь я замечу, что ты намереваешься это сделать, я вонжу себе в грудь вот этот самый кинжал. И прежде чем ты проронишь хоть слово в ответ, я хочу сама сказать тебе несколько слов, а потом уже ты ответишь, как тебе заблагорассудится. Во-первых, Лотарио, я хочу, чтобы ты мне сказал, знаешь ли ты моего мужа Ансельмо и какого ты о нем мнения, а во-вторых, я хочу, чтобы ты мне сказал, знаешь ли ты меня. Отвечай же, не смущайся и ответов своих не обдумывай, ибо вопросы мои нетрудны.

Лотарио был достаточно проницателен для того, чтобы с самого начала, когда еще Камилла велела ему спрятать Ансельмо, догадаться, что она намерена предпринять; и потому, сразу попав ей в тон, он отвечал умно и находчиво, так что благодаря искусной игре их обоих нельзя было не принять эту ложь за совершенную правду; ответил же он Камилле вот что:

– Я не предполагал, прелестная Камилла, что ты позвала меня, дабы расспрашивать о вещах, столь далеких от цели моего прихода. Если ты вознамерилась отсрочить обещанную

награду, то лучше бы уж с самого начала ничего мне не сулить, ибо тем сильнее томит желанное, чем больше надежды на обладание им. Но, дабы ты не подумала, что я не хочу отвечать на твои вопросы, я тебе отвечу на них: да, я знаю супруга твоего Ансельмо, с малых лет мы знаем друг друга, и я не стану говорить тебе о нашей дружбе, которая тебе хорошо известна, дабы самому не сделаться свидетелем зла, которое я ему сделал по наущению любви, неизменно оправдывающей величайшие заблуждения. Я и тебя знаю, и дорога ты мне так же, как и ему: ведь когда бы не твои достоинства, ни за что не изменил бы я долгу дворянина и не поступил бы вопреки священным законам истинной дружбы, ныне мною попранным и нарушенным по наущению любви, этого мощного недруга.

– Коли ты сознаешься в этом, существо, истинной любви недостойное, – сказала Камилла, – то с какими же глазами осмеливаешься ты предстать перед тою, кто, как тебе известно, являет собой зеркало, в которое смотрится тот, на кого не мешает почаще смотреть тебе, дабы увидеть, сколь незаслуженно ты его оскорбляешь? Но как же я несчастна! Ведь нетрудно сообразить, из-за чего не сообразовался ты с велениями долга: должно думать, это некая с моей стороны вольность, – я не могу сказать: нескромность, ибо заранее обдуманного намерения тут не было, а была какая-нибудь оплошность, которую женщины обыкновенно допускают по рассеянности, когда они знают, что опасаться им некого. В самом деле, скажи, изменник: ответила ли я на твои мольбы хотя единым словом или же знаком, который мог бы в тебе пробудить тень надежды на исполнение гнусных твоих желаний? Был ли когда-нибудь такой случай, чтобы я своими речами не уничтожила и со всею суровостью и строгостью не осудила любовных твоих речей? Поверила ли я хотя одному из щедро расточаемых тобою слов и приняла ли я хотя единый из еще более щедрых твоих даров? И все же мне представляется, что нельзя в течение долгого времени находиться в плену у любовной мысли, если только ее не питает надежда, а потому ответ за твое безрассудство хочу держать я, ибо, уж верно, какая-нибудь с моей стороны невнимательность все это время питала твое особое внимание ко мне, – вот я и хочу себя наказать и пострадать за твою вину. И дабы ты уразумел, что коли я так бесчеловечна по отношению к самой себе, то и по отношению к тебе я не могу быть иною, я хочу, чтобы ты был свидетелем жертвы, которую я намереваюсь принести поруганной чести моего честнейшего супруга, которого ты постарался оскорбить, как только мог, и которого оскорбила и я недостаточною решительностью, с какою я избегала – и, по-видимому, так и не избежала – случая поддержать и поощрить дурные твои намерения. Повторяю: меня больше всего мучает подозрение, что моя неосторожность поселила в твоей душе нелепые эти мечты, и вот за нее-то я больше всего и хочу себя наказать своими собственными руками, ибо если кто-нибудь другой будет моим палачом, то вина моя, по всей вероятности, примет огласку. Но я хочу не только умереть самой, но и умертвить и увлечь за собою того, чья смерть утолит мою жажду мести – мести, которую я лелею и ношу в себе, ибо в отмщении, как бы оно ни свершилось, я вижу кару беспристрастного правосудия, и ее не отвратить тому, кто довел меня до такого отчаяния.

И тут она, взмахнув кинжалом и приняв необычайно грозный вид, стремительно ринулась на Лотарио с явным намерением пронзить ему грудь, так что у него даже мелькнула мысль, все ли это у нее деланное, или же это искренне, ибо ему понадобились вся его ловкость и сила, дабы помешать Камилле нанести удар. Она же вела необыкновенную эту игру в высшей степени непринужденно и так увлеклась сама, что, дабы окрасить выдумку эту в цвет истины, решилась, видимо, обагрить ее собственной своею кровью, ибо, уверившись, что не может заколоть Лотарио или же сделав вид, что не может, она сказала:

– Судьбе не угодно, чтобы мое законное желание осуществилось до конца, но как она ни всемогуща, а все же она не воспрепятствует мне осуществить его хотя бы отчасти.

С последним словом она вырвала у Лотарио свою руку и, направив острие кинжала на самое себя, но так, чтобы рана была не глубокой, вонзила его себе в левый бок, чуть ниже плеча, и, как бы без чувств, упала на пол.

Глядя на Камиллу, распростертую на полу и залитую кровью, Леонелла и Лотарио недоумевали и давались диву: они все еще не могли понять, притворство это или нет. Лотарио, от испуга с трудом переводя дух, бросился к Камилле, но, увидев, что рана нимало не опасна, успокоился и снова подивился сметливости, находчивости и большому уму прелестной Камиллы; и, памятуя о том, как должно ему держать себя, начал он протяжный и унылый плач, как если б Камилла была покойница, и принялся осыпать проклятиями не только себя, но и того, кто довел его до беды. А как ему было ведомо, что его друг Ансельмо слышит все, то говорил он такие вещи, что всякий, кто бы его ни послушал, пожалел бы его еще больше, нежели Камиллу, хотя бы даже и почитал ее за умершую. Леонелла взяла ее на руки и перенесла на кровать; она умоляла Лотарио найти врача, который согласился бы втайне от всех вылечить Камиллу, и просила посоветовать ей и надоумить ее, что сказать Ансельмо относительно раны ее госпожи в случае, если он возвратится до ее выздоровления. Лотарио сказал, чтобы она отвечала, как ей вздумается, – он-де сейчас не в состоянии дать хороший совет, он только просит ее поскорее унять кровь, потому что сам он удаляется прочь от людей, – и с сильным движением скорби и душевной муки вышел из комнаты. Когда же он очутился один и в таком месте, где никто его не мог видеть, он стал усердно креститься, дивясь хитрости Камиллы и той естественности, с какою держала себя Леонелла. Он был убежден, что Ансельмо теперь уподобляет свою супругу самой Порции,[199] и ему хотелось с ним повидаться, дабы вместе отпраздновать самую полную победу лжи над правдой, какую только можно себе представить.

Итак, Леонелла остановила кровь своей госпоже – крови между тем вытекло ровно столько, сколько надобно было для того, чтобы выдумка эта показалась правдоподобной, – а затем промыла рану вином и с крайним тщанием перевязала ее; при этом она говорила такие слова, что если б никаких других слов здесь раньше не было произнесено, то этого оказалось бы довольно, чтобы уверить Ансельмо, что супруга его – олицетворение добродетели. К речам Леонеллы присовокупила свои речи и Камилла, – она называла себя трусливой и малодушной, ибо твердость духа покинула ее, мол, в ту самую минуту, когда она в ней особенно нуждалась для того, чтобы покончить все счеты с постылою жизнью. Она спросила свою служанку, стоит ли рассказывать о случившемся любезному ее супругу; та отсоветовала ей, ибо он, дескать, почтет за должное отомстить Лотарио, что сопряжено с большим для него самого риском, доброй же супруге не пристало подбивать мужа на ссоры, – напротив, она должна по возможности удерживать его. Камилла сказала, что этот совет ей по сердцу, что она ему последует, но что все-таки надобно придумать, что сказать Ансельмо по поводу раны, которую он, уж верно, заметит; Леонелла же ей на это сказала, что она и в шутку не умеет лгать.

– А я разве умею, голубка? – воскликнула Камилла. – Да если б даже от этого зависела моя жизнь, и тогда не посмела бы я ни выдумывать, ни лжесвидетельствовать. И коли мы все равно не сумеем выпутаться, то уж лучше сказать всю правду, нежели быть уличенными во лжи.

– Не горюйте, сеньора, – возразила Леонелла, – до завтрашнего утра я придумаю, что сказать, да и рана у вас в таком месте, что он ее и не заметит, и сострадательные небеса окажут содействие нашим законным и честным намерениям. Успокойтесь, госпожа моя, и постарайтесь унять волнение, дабы мой господин не застал вас в тревоге, а в остальном положитесь на меня и на бога, который вечно споспешествует благим желаниям.

С величайшим вниманием слушал и смотрел Ансельмо, как играют трагедию гибели его чести, лицедеи же играли ее с такою необыкновенною, подлинною страстью, что казалось, будто они перевоплотились в тех, кого изображали. Он с нетерпением ждал вечера, чтобы выйти из дому, свидеться с добрым своим другом Лотарио и вместе порадоваться драгоценной жемчужине, которую он нашел, подвергнув испытанию целомудрие своей жены. Камилла и Леонелла позаботились о том, чтобы предоставить ему удобный случай и возможность выйти из дому, и он этой возможности не упустил и, выйдя, поспешил к Лотарио; встреча наконец

состоялась, и язык человеческий не в силах изобразить, как он его обнимал, как изъявлял свою радость и как превозносил Камиллу. Лотарио слушал его без восторга, ибо воображению его представлялось, сколь низко обманут был его друг и сколь незаслуженно он причинил ему зло; но Ансельмо, хоть и видел, что Лотарио не радостен, объяснял это тем, что Лотарио бросил Камиллу раненную и что виновником несчастья он почитает себя; поэтому Ансельмо, между прочим, сказал Лотарио, чтобы он о Камилле не беспокоился, ибо рана, вне всякого сомнения, не опасна, коли ее намерены скрыть от него, – следственно, бояться нечего, а должно радоваться вместе с ним и веселиться, ибо хитрость его и посредничество возвели Ансельмо на самый верх блаженства, и теперь он, Ансельмо, ничем иным не желает заниматься, кроме как писанием стихов в честь Камиллы, дабы она жила в памяти поздних потомков. Лотарио одобрил благую его мысль и сказал, что и он примет участие в воздвижении столь великолепного памятника.

Так презабавнейшим образом был обманут Ансельмо; он сам, думая, что вводит к себе в дом орудие своей славы, ввел в него полную гибель своей чести. Камилла встречала Лотарио с недовольным лицом, но с душою ликующею. Обман этот длился несколько месяцев, а затем Фортуна повернула наконец свое колесо, вследствие чего низость, до тех пор столь искусно скрываемая, вышла наружу, и Ансельмо поплатился жизнью за безрассудное свое любопытство.



Глава XXXV,

в коей речь идет о жестокой и беспримерной битве Дон Кихота с бурдюками красного вина и оканчивается повесть о Безрассудно-любопытном



До конца повести оставалось совсем немного, когда из чулана, где отдыхал Дон Кихот, с криком выбежал перепуганный Санчо Панса:

– Бегите, сеньоры, скорей и помогите моему господину, – он вступил в самый жестокий и яростный бой, какой когда-либо видели мои глаза. Как рубанет он великана, недруга сеньоры принцессы Микомиконы, так голова у того напрочь, словно репа, вот как бог свят!

– Что ты, братец мой, говоришь? – прерывая чтение, воскликнул священник. – Да ты в своем уме, Санчо? Как могла случиться вся эта чертовщина, когда великан находится за две тысячи миль отсюда?

В это время в чулане поднялся превеликий шум и послышались крики Дон Кихота:

– Ни с места, вор, разбойник, трус! Теперь ты в моих руках, и твой ятаган тебе не поможет.

При этом он, видимо, что было мочи ударил мечом по стене. Санчо же сказал:

– Нечего вам стоять и слушать – либо разнимите дерущихся, либо поддержите моего господина. Впрочем, нужды в этом уже нет, потому великан, понятно, уже убит и теперь дает ответ богу за всю свою дурно прожитую жизнь. Я видел, как лилась кровь и как отлетела в сторону его отрубленная голова, здоровенная, что твой бурдюк с вином.

– Убейте меня, – вскричал тут хозяин постоялого двора, – если этот чертов Дон Кихот не пропорол один из бурдюков с красным вином, которые висят над его изголовьем, а этот простофиля, уж верно, принимает за кровь вытекшее вино!

С этими словами он вошел в чулан, а за ним все остальные, и глазам их явился Дон Кихот в самом удивительном наряде, какой только можно себе представить. Был он в одной сорочке, столь короткой, что она едва прикрывала ляжки, а сзади была еще на шесть пальцев короче; длинные его и худые волосатые ноги были далеко не первой чистоты; на голове у него был красный засаленный ночной колпак, принадлежавший хозяину; на левую руку он намотал одеяло, внушавшее Санчо отнюдь не безотчетную неприязнь, а в правой держал обнаженный меч, коим он тыкал во все стороны, произнося при этом такие слова, как если б он, точно, сражался с великаном. А лучше всего, что глаза у него были закрыты, ибо он спал, и это ему приснилось, что он бьется с великаном; воображению его так ясно представлялось ожидавшее его приключение, что ему померещилось, будто он уже прибыл в королевство Микомиконы и

сражается с ее недругом; и, полагая, что он наносит удары мечом великану, он пропорол бурдюки, так что все помещение было залито вином. Тут хозяина взяло такое зло, что он бросился на Дон Кихота с кулаками и так его стал тузить, что если б не Карденьо и священник, то войну с великаном Дон Кихоту пришлось бы прекратить навеки, а между тем бедный рыцарь все не просыпался; наконец цирюльник сходил на колодец, принес большой котел холодной воды и обдал его с головы до ног, после чего Дон Кихот пробудился, но спросонья не заметил, в каком он виде. Доротея же, обратив внимание на его короткую и легкую одежду, не решилась присутствовать при сражении между ее другом и ее ворогом.

Санчо по всему полу искал голову великана и, так и не обнаружив ее, сказал:

– Знаю я этот домик – не дом, а сплошное наваждение. Прошлый раз на этом самом месте неведомо кто надавал мне зуботычин и тумаков – так я его до сих пор и не видел, – теперь пропала голова, а ведь я собственными глазами видел, как ее отсекли: кровь била фонтаном.

– Какая там кровь и какой фонтан, враг ты господень и всех святых? – вскричал хозяин. – Разве ты не видишь, мошенник, что бурдюки крови хлещут из проткнутых фонтанов, – то есть я хотел сказать наоборот, – и что все здесь плавает в красном вине, чтоб у того душа в аду плавала, кто умудрился их проткнуть!

– Ничего не понимаю, – отвечал Санчо, – знаю только, что разнесчастный я буду человек, коли не сыщу этой головы, потому графство мое тогда растает, как соль в воде.

Бодрствующий Санчо был еще хуже спящего Дон Кихота – так ему запали в душу обещания его господина. Хозяина бесило буйство Дон Кихота и спокойствие оруженосца, и он клялся, что теперь они так легко не отделаются, как в прошлый раз, когда они съехали со двора, не заплатив, – теперь особые права рыцарства им не помогут, они рассчитаются и за то и за это и, кроме всего прочего, возместят стоимость заплат для прорванных бурдюков.

Священник держал Дон Кихота за руки, а тот, полагая, что приключение окончилось и что перед ним принцесса Микомикона, опустился перед священником на колени и сказал:

– Отныне, ваше величие, благородная и достославная сеньора, вы можете быть уверены, что это гнусное существо не причинит вам более зла. Я же отныне могу почитать себя свободным от данной мною клятвы, ибо милостью всемогущего бога и под покровом той, ради которой я живу и дышу, я как нельзя лучше ее сдержал.

– А что я вам говорил? – послушав такие речи, вскричал Санчо. – Ведь не пьян же я был, в самом деле. Солоно пришлось великану от моего господина, можете мне поверить! Одним словом, дело идет на лад, графство мое не за горами!

Кто бы не посмеялся бредням обоих – господина и слуги? Все и засмеялись, кроме хозяина, который сулил им черта. Наконец священнику, Карденьо и цирюльнику ценою немалых трудов удалось уложить изнемогавшего от усталости Дон Кихота в постель, и тот уснул. Предоставив ему возможность выспаться, они вышли на крыльцо утешить Санчо Пансу, так и не нашедшего голову великана. Впрочем, еще труднее было им умилостивить хозяина, коему скоропостижная кончина его бурдюков причинила неизбывное горе. А хозяйка между тем вопила и причитала:

– Не в добрый час и не в пору явился в мой дом этот странствующий рыцарь, глаза бы мои его не видали – так дорого он мне обошелся! Прошлый раз он уехал, так и не рассчитавшись за ночлег: ни за ужин, ни за постель, ни за солому, ни за овес – для себя самого, для своего оруженосца, для лошади и для осла: он-де рыцарь, искатель приключений (чтоб с ним лихая беда приключилась, с ним и со всеми искателями приключений, какие только есть на свете), и потому платить-де не обязан, и так, мол, это записано в уложении о странствующем рыцарстве. А потом явился ко мне вот этот самый сеньор, – и все опять из-за него, – и унес мой хвост, а вернул мне его с пребольшим изъяном, весь как есть общипанный, так что теперь мой муж не может употреблять его для своих надобностей. И в довершение всего – продырявить мои бурдюки и выпустить из них вино, чтоб ему так всю кровь

повыпустили! Но только уж как ему будет угодно: клянусь прахом отца и памятью матери, он заплатит мне все до последнего гроша, или меня не так зовут и я не дочь своих родителей!

Вот что в великом гневе говорила хозяйка постоялого двора, а добрая служанка Мариторнес ей вторила. Дочка помалкивала и только время от времени усмехалась. Священник все уладил, обещав полностью возместить убытки, понесенные как на бурдюках, так и на вине, особливо же на повреждении хвоста, коим здесь так дорожили. Доротея утешила Санчо Пансу тем, что как скоро будет доказано, что его господин, точно, обезглавил великана, то, едва лишь в ее королевстве водворится мир, она пожалует ему самое лучшее графство. Санчо этим утешился и стал уверять принцессу, что он без всякого сомнения видел голову великана и даже запомнил такую подробность, что борода у головы была по пояс, а исчезла она, дескать, единственно потому, что все в этом доме происходит колдовским манером, в чем он, Санчо, прошлый раз имел случай удостовериться. Доротея сказала, что она тоже так думает и чтобы он не огорчался, ибо все устроится к лучшему и пойдет как по маслу. Когда все успокоились, священник предложил дочитать повесть, ибо оставалось немного. Карденьо, Доротея и прочие попросили его дочитать. Тогда, желая доставить удовольствие всем присутствующим, а также ради собственного своего удовольствия, он снова принялся за чтение повести, прерванное вот на каком месте:

Итак, уверившись в благонравии Камиллы, Ансельмо был счастлив и беззаботен, а Камилла, чтобы он ничего не заподозрил, нарочно при виде Лотарио делала злое лицо; Лотарио же для вящей убедительности попросил у Ансельмо позволения больше к нему не ходить – ведь он, мол, явно неприятен Камилле; однако обманутый Ансельмо решительно воспротивился, – так, на тысячу ладов, прял он пряжу своего бесчестия, полагая, что это пряжа его счастья. А Леонелла, будучи счастлива тем, что на ее любовные похождения смотрят сквозь пальцы, и уверена, что госпожа не выдаст ее, а в случае чего и предостережет, так что она может безбоязненно, уже ни на что не обращая внимания, предаваться своей страсти, кинулась очертя голову в омут греха. И вот как-то ночью Ансельмо заслышал шаги в комнате Леонеллы, но когда он решился заглянуть, кто это ходит, то почувствовал, что дверь изнутри держат, каковое обстоятельство усилило в нем желание ее отворить; он приналег, дверь отворилась, и он вошел в комнату как раз в ту минуту, когда кто-то выпрыгнул из окна на улицу; Ансельмо бросился за ним, дабы схватить его или, по крайности, узнать, кто это, но ни того, ни другого намерения не исполнил, ибо Леонелла обхватила его руками.

– Успокойтесь, государь мой, – сказала она, – не волнуйтесь и не бегите за тем, кто выпрыгнул, – всему причиной я, так что, одним словом, это мой муж.

Ансельмо ей не поверил – вне себя от ярости, он выхватил кинжал и, велев Леонелле говорить всю правду, иначе, мол, он убьет ее, занес его над нею. Она же в страхе, сама не зная, что говорит, сказала:

– Не убивайте меня, синьор, я сообщу вам более важные вещи, чем вы можете предполагать.

– Говори, – сказал Ансельмо, – или ты умрешь.

– Сейчас не могу, – сказала Леонелла, – я сама не своя. Подождите до утра, и я расскажу вам такое, что приведет вас в изумление. Только вы не беспокойтесь: выпрыгнул отсюда юноша из нашего города, он обещал на мне жениться.

Ансельмо этим удовольствовался и порешил ждать до утра, ибо ему и в голову не могло прийти, что он услышит что-нибудь нехорошее о Камилле, – столь твердо был он уверен в ее благонравии; и по сему обстоятельству он вышел из комнаты и, заперев Леонеллу на ключ, объявил, что она не выйдет отсюда, пока не скажет того, что ей надобно ему сказать.

Затем он пошел к Камилле рассказать обо всем, что произошло между ним и служанкой, в частности о том, что она дала ему слово сообщить какое-то чрезвычайно важное для него

известие. Вряд ли стоит говорить, встревожилась Камилла или нет, – ужас, объявший ее, едва она предположила (а ничего иного тут и нельзя было предположить), что Леонелла намерена рассказать Ансельмо об ее измене, был так велик, что, не имея сил ждать, оправдается ее подозрение или нет, в ту же ночь, как скоро она удостоверилась, что Ансельмо уснул, взяла она самые дорогие свои вещи и немного денег и, никем не замеченная, вышла из дому, побежала к Лотарио, поведала ему о случившемся и стала умолять его спрятать ее или бежать вместе с нею туда, где Ансельмо не мог бы сыскать их. Все это привело Лотарио в великое смятение, и он не знал, что сказать и на что решиться. Наконец положил он отвезти Камиллу в монастырь, коего настоятельницею была его сестра. Камилла изъявила согласие, и с подобающею в сем случае поспешностью Лотарио отвез ее в монастырь, а затем и сам, никого решительно не предуведомив, покинул город.

Поутру Ансельмо, даже не заметив, что Камиллы подле него нет, мучимый желанием узнать, что хочет сказать ему Леонелла, встал и пошел туда, где он ее запер. Он отворил дверь и вошел в комнату, но Леонеллы не обнаружил; обнаружил он лишь прикрепленные к окну простыни – явный знак и доказательство того, что по ним она спустилась и убежала. Пошел он, весьма огорченный, рассказать об этом Камилле и, не найдя ее ни в постели, ни во всем доме, испугался. Стал опрашивать слуг, но никто ничего не знал. Однако ж, разыскивая Камиллу, случайно обнаружил он, что сундуки ее раскрыты и многих драгоценностей недостает, и тут он познал всю глубину своего несчастья и уразумел, что виновницею его была не Леонелла; и он как был, не приодевшись, погруженный в мрачное раздумье, отправился к другу своему Лотарио поведать ему свое горе. Но и Лотарио не оказалось дома, а слуги ответили, что он выехал ночью, взяв с собою все деньги, какие только у него были, и тут Ансельмо почувствовал, что мысли у него путаются. Когда же он возвратился к себе, то к умножению несчастий своих обнаружил, что никого из слуг и служанок не осталось и что дом его пуст и необитаем.

Он не знал, что думать, что делать, что говорить, – он чувствовал, что сходит с ума. Он видел и понимал, что разом лишился жены, друга, слуг, ему казалось, что его оставило само небо, а главное, что он обесчещен, ибо исчезновение Камиллы означало для него утрату чести. После долгого раздумья решился он наконец поехать в деревню к своему приятелю, у которого он гащивал прежде, меж тем как, пока он отсутствовал, плелась нить его злополучия. Он запер свой дом, вскочил на коня и с поникшею головою тронулся в путь; но, проехав с полдороги, неотступно преследуемый своими мыслями, спешился, привязал коня к дереву, а сам с жалобным и слезным стоном повалился на землю и пролежал дотемна, а когда стемнело, то увидел, что из города едет всадник, и, поздоровавшись с ним, спросил, что нового во Флоренции. Горожанин отвечал:

– Так много, как давно не было. Говорят открыто, что Лотарио, ближайший друг богача Ансельмо, который живет возле Сан-Джованни, нынче ночью увез его жену Камиллу, и сам Ансельмо тоже исчез. Обо всем этом рассказала служанка Камиллы, которую градоправитель застигнул ночью, когда она спускалась по простыне из окна дома Ансельмо. Я, собственно, толком не знаю, как было дело. Знаю лишь, что весь город потрясен этим обстоятельством, ибо ничего подобного нельзя было ожидать от их великой и тесной дружбы – ведь, говорят, их все так и звали: *два друга.*

– Не знаете ли вы случайно, по какой дороге поехали Лотарио и Камилла? – спросил Ансельмо.

– Понятия не имею, – отвечал горожанин, – градоправитель все еще усиленно их разыскивает.

– Счастливого пути, синьор, – сказал Ансельмо.

– Счастливо оставаться, – отвечал горожанин и поехал дальше.

Эти мрачные вести довели Ансельмо до такой крайности, что он был теперь на волосок не только от безумия, но и от смерти. Он встал через силу и поехал к своему приятелю, – тот ничего еще не знал о его несчастии, но, видя, какой он бледный, осунувшийся, изможденный, догадался, что, верно, тяжкое горе так его подкосило. Ансельмо захотел лечь и попросил письменные принадлежности. Желание его было исполнено – его уложили, оставили одного и даже, по его просьбе, заперли дверь. И когда он остался один, мысль о случившейся с ним беде так его стала терзать, что он теперь уже ясно сознавал, что конец его близок; и по сему обстоятельству положил он оставить записку и объяснить причину необыкновенной своей смерти; и он начал было писать, но, прежде чем он успел высказать все, что желал, дыхание у него пресеклось, и дни его прекратило горе, которое было ему причинено его же собственным безрассудным любопытством. Хозяин дома, заметив, что уже поздно, а Ансельмо никого не зовет, и решившись войти и спросить, не хуже ли ему, увидел, что Ансельмо полусидит на кровати, уронив голову на письменный стол, на котором лежало раскрытое недописанное письмо, а в руке он все еще держал перо. Хозяин подошел и сначала окликнул его, но, не получив ответа, взял за руку и, ощутив холодное ее прикосновение, понял, что он мертв. Хозяин дома, потрясенный и крайне удрученный этим, созвал слуг, дабы они были свидетелями случившегося с Ансельмо несчастья, а затем прочитал письмо, написанное, как он тотчас признал, собственною рукою покойного и содержавшее в себе такие строки:

«Нелепое и безрассудное желание лишило меня жизни. Если весть о моей кончине дойдет до Камиллы, то пусть она знает, что я ее прощаю, ибо она не властна была творить чудеса, а мне не должно было их от нее требовать, и коль скоро я сам созидал свое бесчестие, то и не для чего...»

На этом обрывается письмо Ансельмо; отсюда явствует, что в эту самую минуту он, не докончив мысли, окончил дни свои. На другой день хозяин дома сообщил о смерти Ансельмо его родственникам, – те уже знали о его горе, а также о том, что Камилла в монастыре и что она едва не оказалась спутницею своего супруга в этом вынужденном его странствии, и причиной тому было не столько известие о смерти мужа, сколько известие об исчезновении друга. Говорят, что, и овдовев, она не пожелала ни уйти из монастыря, ни принять постриг, но не в долгом времени дошла до нее весть о гибели Лотарио в бою между де Лотреком и великим полководцем[200] Гонсало Фернандесом Кордовским, каковая битва имела место в королевстве Неаполитанском, где и сложил голову этот слишком поздно раскаявшийся друг; и вот, когда Камилла про это узнала, то постриглась и вскоре, под бременем тоски и печали, окончила дни свои. Так неразумное начинание одного уготовало всем троим общий конец.

– Повесть мне нравится, – сказал священник, – только я не верю, что это правда, а если это придумано, то придумано неудачно, – в самом деле, трудно себе представить, чтобы существовал на свете такой глупый муж, как Ансельмо, который пожелал бы произвести столь дорого стоящее испытание. Между любовниками – это еще туда-сюда, но чтобы между мужем и женой такое затеялось – нет, это что-то не то. А что касается манеры изложения, то она меня удовлетворяет.



Глава XXXVI,

в коей речь идет о других редкостных происшествиях, на постоялом дворе случившихся



В это время хозяин, стоявший у ворот, сказал:

– Вот едет приятная компания. Если только они здесь остановятся, то это будет для нас торжество из торжеств.

– Что это за люди? – осведомился Карденьо.

– Четверо мужчин верхом, на коротких стременах, с копьями и круглыми щитами, все в черных масках, – отвечал хозяин, – с ними женщина в дамском седле, вся в белом и тоже в маске, и двое пеших слуг.

– Они уже близко? – спросил священник.

– Совсем близко, сейчас подъедут, – отвечал хозяин.

При этих словах Доротея закрыла себе лицо, а Карденьо ушел к Дон Кихоту; и только, можно сказать, успели они это сделать, как все те, о ком говорил хозяин, остановились на постоялом дворе, а затем четыре всадника, статные и хорошо сложенные, спешились сами и

помогли спешиться женщине, один же из них подхватил ее на руки и усадил в кресло, стоявшее у двери в комнату, где спрятался Карденьо. За все это время ни мужчины, ни их спутница не проронили ни слова и никто не снял маски; только, садясь в кресло, женщина тяжело вздохнула и, точно больная, бессильно опустила руки. Слуги отвели коней в стойло.

Священнику между тем не терпелось узнать, что это за люди, почему они так одеты и так молчаливы, и он спросил одного из слуг о том, что его занимало; слуга ему ответил так:

– Право, не знаю, сеньор, что это за люди. Одно могу сказать, что, по видимости, это люди важные, особливо тот, что взял на руки эту самую сеньору, которую вы изволили видеть. Заключаю же я это из того, что все остальные оказывают ему почет и все делается по его приказу и распоряжению.

– А кто же эта сеньора? – полюбопытствовал священник.

– Тоже не сумею вам сказать, – отвечал слуга, – за всю дорогу я даже лица ее ни разу не видел. Вздыхать она, правда, часто вздыхала, а стонала так, что казалось, будто вместе со стоном у нее отлетит душа. Да и неудивительно, что мы ничего больше не знаем, потому что мы с моим товарищем сопровождаем их всего только два дня: мы их встретили по дороге, и они упросили и уговорили нас проводить их до Андалусии и обещали хорошо заплатить.

– А при вас они не называли друг друга по имени? – спросил священник.

– Какое там называли, – отвечал слуга, – всю дорогу молчали – прямо на удивленье. Слышны были только стоны и рыдания бедной сеньоры, так что жалость брала. И мы не сомневаемся, что ее куда-то увозят насильно, а судя по ее одежде, она монахиня или же собирается в монастырь, что, пожалуй, вернее, и, видно, не по своей воле постригается, оттого и грустит.

– Все может быть, – сказал священник.

Оставив слуг, он возвратился к Доротее, у Доротеи же вздохи дамы в маске вызвали естественное чувство сострадания, и она приблизилась к ней и спросила:

– Что за кручина у вас, госпожа моя? Подумайте, не такая ли это кручина, которую умеют и которую привыкли разгонять женщины. Я же, со своей стороны, изъявляю полную готовность быть вам полезной.

Ничего не ответила ей тоскующая сеньора; тогда Доротея обратилась к ней с более настойчивым предложением услуг, но та по-прежнему хранила молчание; наконец возвратился кавальеро в маске (тот самый, которому, по словам слуги, все повиновались) и сказал Доротее:

– Не трудитесь, сеньора, что бы то ни было предлагать этой женщине, – она положила за правило не благодарить ни за какие услуги, и не добивайтесь от нее ответа, если не хотите услышать из ее уст какую-либо ложь.

– Я в жизнь свою не лгала, – неожиданно заговорила та, что до сих пор хранила молчание, – напротив, именно потому, что я была так правдива и никогда не притворялась, мне и выпало на долю такое несчастье, и в свидетели я призываю именно вас, ибо глубокая моя правдивость превратила вас в лжеца и обманщика.

Слова эти великолепно слышал Карденьо, – он находился совсем рядом, в комнате Дон Кихота, его отделяла от произносившей их сеньоры только дверь, – и, услышав, он громко воскликнул:

– Боже мой! Что я слышу? Чей это голос достигнул моего слуха?

Охваченная волнением, сеньора повернула голову, но, не видя, кто это кричит, встала и хотела было пройти в ту комнату, однако ж кавальеро остановил ее и не дал ступить ни шагу. Потрясенная и встревоженная, она не заметила, как упала тафта, закрывавшая ее лицо, и тут взорам присутствовавших открылась несравненная ее красота – чудесное ее лицо, бледное, однако же и явно испуганное, ибо она так стремительно пробегала глазами по находившимся в поле ее зрения предметам, что казалось, будто она не в себе, каковое непонятное явление

внушило Доротее и всем, кто только на нее ни смотрел, великую жалость. Кавальеро крепко держал ее за плечи, и, всецело этим поглощенный, он не обращал внимания, что с лица у него падает маска, и она в конце концов, и точно, упала; и тут Доротея, которая в это время поддерживала сеньору, подняла глаза и увидела, что за плечи держит сеньору не кто иной, как ее, Доротеи, супруг, дон Фернандо; и едва лишь она узнала его, как из глубины ее души вырвался протяжный и горестный стон и она без чувств повалилась навзничь; и не подхвати ее на руки стоявший рядом цирюльник, она грянулась бы оземь. Тут к ней поспешил священник, откинул с ее лица покрывало и брызнул водой, и как скоро он открыл ей лицо, дон Фернандо – ибо это он держал за плечи другую девушку – тотчас узнал Доротею и замер на месте, однако ж не подумал отпустить Лусинду, ибо это Лусинда пыталась вырваться у него из рук: она по вздохам узнала Карденьо, а Карденьо узнал ее. Услышал также Карденьо стон, вырвавшийся у Доротеи, когда она упала замертво, и, решив, что это его Лусинда, он в ужасе выбежал из другой комнаты, и первый, кого он увидел, был дон Фернандо, обнимавший Лусинду. Дон Фернандо также сразу узнал Карденьо, и все трое, Лусинда, Карденьо и Доротея, онемели от изумления, – они почти не сознавали, что с ними происходит.

Все молчали и смотрели друг на друга: Доротея на дона Фернандо, дон Фернандо на Карденьо, Карденьо на Лусинду, Лусинда на Карденьо. Наконец Лусинда первая нарушила молчание и обратилась к дону Фернандо с такими словами:

– Пустите меня, сеньор дон Фернандо – заклинаю вас вашею дворянскою честью, коли уж ничто другое на вас не действует, – пустите меня к стене, для которой я – плющ, к той опоре, от которой меня не могли оторвать ваши домогательства, угрозы, уверения и подарки. Смотрите, какими необычными и неисповедимыми путями небо меня привело к истинному моему супругу, а вы должны знать по опыту, который так дорого вам обошелся, что одна лишь смерть вольна изгладить его из моей памяти. Пусть же это столь явное разуверение превратит (коли уж вы ни на что другое не способны) любовь вашу в ярость, приязнь в злобу и побудит вас отнять у меня жизнь, – лишившись ее на глазах у доброго моего супруга, я буду считать, что жила на свете недаром: быть может, смерть моя его убедит, что я была ему верна до последней минуты жизни.

Тем временем Доротея пришла в себя и из слов Лусинды поняла, кто она, и, видя, что дон Фернандо все не отпускает Лусинду и ничего ей не отвечает, напрягла последние силы, встала, бросилась к его ногам и, проливая потоки дивных и горючих слез, повела с ним такую речь:

– Когда бы, государь мой, тот солнечный свет, который ты ныне держишь в своих объятиях, не ослепил очей твоих, ты давно бы уже заметил распростертую у твоих ног несчастную Доротею, чья невзгода будет длиться до тех пор, пока ты не прекратишь ее. Я – та смиренная поселянка, которую ты по доброте своей или же из прихоти пожелал удостоить высокой чести и назвать своею. Я – та, которая, не выходя за пределы скромности, наслаждалась жизнью, пока наконец на зов твоих домогательств и, казалось, искреннего чувства не отворила врат уединения своего и не вручила тебе ключей от своей свободы, за каковое мое чистосердечие ты отплатил мне черною неблагодарностью, наглядным доказательством чему служит то, где тебе довелось со мною свидеться и как ты предо мною предстал. Со всем тем я бы не хотела, чтобы ты вообразил, будто я шла сюда стопами моего бесчестия, – нет, меня сюда привели стопы печали и душевной муки, оттого что ты забыл меня. Ты пожелал, чтобы я была твоею, и пожелал так страстно, что уже не можешь, хотя ныне ты и желаешь иного, не быть моим. Подумай, мой повелитель, не в состоянии ли беспредельная моя любовь вознаградить тебя за красоту и знатность той, ради которой ты меня оставил. Ты не можешь принадлежать прелестной Лусинде, потому что ты – мой, а она не может быть твоею, потому что она принадлежит Карденьо. Вдумайся в это – и ты увидишь, что тебе легче будет заставить себя полюбить ту, которая тебя обожает, нежели внушить приязнь той, которая тобою гнушается. Ты пользовался моей беспечностью, ты искушал мое целомудрие, для тебя не являлось тайною, из какой я семьи, ты хорошо знаешь, как я покорилась твоей

воле, – следственно, у тебя нет причин и оснований жаловаться на то, что тебя ввели в обман. Если же все это так и если ты столь же истинный христианин, сколь истинный кавальеро, то почто же всеми правдами и неправдами отдаляешь ты от меня счастье, которое было столь близко вначале? И если ты меня не любишь такою, какая я есть, а я – твоя настоящая и законная супруга, то полюби и прими меня, по крайней мере, как свою рабу, ибо, находясь у тебя в подчинении, я почту себя счастливою и взысканною судьбой. Не покидай и не бросай меня, иначе пойдут толки и пересуды о моем позоре, отврати от моих родителей горькую старость: ведь они, как добрые вассалы, не за страх, а за совесть служили твоим родителям и вправе ждать от тебя иного. Если же ты полагаешь, что, смешав свою кровь с моею, ты тем самым унизишь ее, то прими в рассуждение, что все или почти все славные роды через это прошли и что не кровь матери принимается в расчет, когда определяют знатность происхождения. Более того: истинное благородство заключается в добродетели, и если ты такой недобрый, что откажешь мне в том, на что я имею полное право, значит, я благороднее тебя. Итак, сеньор, в заключение я должна тебе сказать, что, хочешь ты или не хочешь, я твоя супруга, – свидетели же суть твои слова, которые не могут и не должны быть лживыми, если только ты точно дорожишь тем, из-за чего ты не дорожишь мною, свидетель – твоя подпись, свидетель – небо, которое ты призывал в свидетели неложности своих обещаний. Если же всего этого мало, то среди твоих веселий неминуемо раздастся безмолвный глас твоей совести и, напомнив высказанную мною правду, спугнет приятнейшие утехи твои и забавы.

Долго еще говорила страждущая Доротея с таким чувством и слезами, что прослезились даже спутники дона Фернандо и все присутствовавшие. Дон Фернандо слушал, не прерывая ее ни единым словом, а она, исчерпав слова, начала так вздыхать и рыдать, что нужно было иметь каменное сердце, чтобы, глядя, как она терзается, не смягчиться. Лусинда вперила в нее взор, полный сочувствия ее горю и восхищения ясным ее умом и красотою; и ей хотелось приблизиться к ней и сказать что-нибудь в утешение, но дон Фернандо все еще сжимал ее в своих объятиях. Он смотрел на Доротею взглядом долгим и пристальным, наконец, смущенный и изумленный, разжал объятия и, отпустив Лусинду, сказал:

– Ты победила, прелестная Доротея, ты победила. Ни у кого не хватило бы духу отрицать, что все твои слова – сущая правда.

Лусинда близка была к обмороку, и когда дон Фернандо ее отпустил, она пошатнулась, но в эту минуту Карденьо, который, чтобы дон Фернандо его не узнал, стоял за его спиной, отринул всякий страх, не задумываясь бросился ее поддержать и, обняв ее, молвил:

– Если сострадательное небо вознамерилось и восхотело дать тебе покой, верная, стойкая и прекрасная госпожа моя, то, думается мне, нигде не будет он столь безмятежным, как в объятиях, в которые я ныне тебя заключаю и в которые заключал и прежде, когда судьбе угодно было, чтобы я называл тебя моею.

При этих словах Лусинда, узнавшая Карденьо сначала по голосу, устремила на него взор, и как скоро зрение подтвердило ей, что это он, вне себя от радости и забывши всякое приличие, обвила его шею руками и, прижавшись щекою к его щеке, молвила:

– Ты, государь мой, ты, а не кто другой, являешься законным господином этой твоей пленницы, сколько бы тому ни противился враждебный рок и что бы ни угрожало моей жизни, которая твоею жизнью живет.

Для дона Фернандо и всех присутствовавших это было зрелище необычайное, и все дивились небывалому этому происшествию. Доротее показалось, что краска сбежала с лица дона Фернандо и что он положил руку на рукоять шпаги с таким видом, точно намеревался отомстить Карденьо; и едва мелькнула у нее эта мысль, как она с поразительною быстротою обхватила руками его ноги и, покрывая их поцелуями, сжимая их в объятиях так, что он не мог двинуться, и не переставая лить слезы, заговорила:

– Что намереваешься ты совершить в столь нечаянный миг, о единственное мое прибежище? У твоих ног твоя супруга, а та, которую ты желал бы иметь своею супругою, находится в объятиях своего мужа. Подумай, можно ли и хорошо ли расстраивать то, что устроило само небо, или же тебе надлежит поднять до себя ту, что, преодолев все трудности, доказав тебе свою преданность и свою правоту, смотрит тебе в глаза и слезами любви орошает лицо и грудь истинного своего супруга. Богом тебя заклинаю и к чести твоей взываю: да не усилит твоего гнева это столь явное разоблачение, но, напротив, умерит его, дабы ты безропотно и смиренно изъявил свое согласие на то, чтобы эти влюбленные, не встречая с твоей стороны никаких препятствий, вкушали мир в течение всего времени, которое дарует им небо, и таким образом ты проявишь благородство возвышенной своей и чистой души, и все увидят, что разум имеет над тобою больше власти, нежели вожделение.

Между тем Карденьо, держа в объятиях Лусинду, не сводил глаз с дона Фернандо, чтобы при первом же его враждебном действии дать ему отпор, а буде окажется возможным, то и самому напасть на всех, кто против него, хотя бы это стоило ему жизни; но в это время дона Фернандо обступили его друзья, а также священник и цирюльник, которые при сем присутствовали, и все, не исключая доброго Санчо Пансы, стали умолять его воззреть на слезы Доротеи и, если правда все, что она говорила, а они были совершенно в этом уверены, сделать так, чтобы она не обманулась в законных своих ожиданиях, и принять в соображение, что не случайно, как это может показаться, но по особому велению свыше собрались они все в таком месте, где уж никак не чаяли встретиться; а священник еще примолвил, что одна лишь смерть вольна разлучить Лусинду с Карденьо, и если даже их разъединит острие шпаги, то такую смерть они почтут за великое счастье; и что это высшая мудрость – в трудных случаях жизни, поборов и одолев самого себя, выказать благородство души и пожелать сделать так, чтобы два других существа наслаждались счастьем, которое им даровало небо; пусть-де он вперит очи в красу Доротеи – и он увидит, что редкая женщина с нею сравнится, а чтобы превзойти ее – это уж и говорить нечего; и пусть-де прибавит он к этой красоте ее смирение и безграничную ее любовь к нему, а главное, пусть помнит, что если он почитает себя за кавальеро и христианина, то не может не исполнить своего долга, – исполнив же его, он исполнит свой долг перед богом и обрадует всех разумных людей, разумные же люди знают и понимают, что преимущество красоты заключается в том, что, даже будучи воплощена в существо низкого состояния, в сочетании с душевною чистотою она способна возвыситься и сравняться с любым величием, нимало не унизив того, кто возвышает ее до себя и равняет с собою; и нельзя-де осуждать человека, следующего непреложным законам влечения, если только в этом влечении нет ничего греховного.

Прочие прибавили к этому от себя столько, что доблестное сердце дона Фернандо (недаром в жилах его текла благородная кровь) наконец смягчилось и склонилось пред истиною, которую он при всем желании не мог бы отрицать; и в знак того, что он покорился и проникся разумными доводами, которые ему здесь приводились, он наклонился к Доротее и, обняв ее, молвил:

– Встань, госпожа моя, – не подобает стоять предо мной на коленях той, которая вечно у меня в душе. И если до сих пор я ничем этого не доказал, то, может статься, такова была воля небес: дабы оценить тебя по достоинству, я должен был прежде увериться в твоем постоянстве. Об одном молю тебя: не брани меня за мое дурное и крайне пренебрежительное к тебе отношение, ибо та же самая причина и та же самая сила, что побудила меня назвать тебя моею, подвигнула меня приложить старания к тому, чтобы перестать быть твоим. А что я говорю правду, в этом ты можешь удостовериться, как скоро обернешься и заглянешь в глаза уже счастливой Лусинды, и в них прочтешь ты оправдательный приговор всем моим преступлениям. И если она наконец нашла то, о чем мечтала, я же нашел предел мечтаний моих в тебе, то пусть она долгие и блаженные годы счастливо и спокойно живет со своим Карденьо, а я буду молить бога о том же для себя и для моей Доротеи.

И, сказавши это, он с необычайно нежным чувством обнял Доротею и припал к ней устами, и ему пришлось сделать над собой огромное усилие, чтобы последним неоспоримым доказательством его любви и раскаяния не явились его слезы. Лусинда же и Карденьо, а равно и все здесь присутствовавшие, оказались менее мужественными, ибо все они наиобильнейшие проливали слезы, кто – радуясь за себя, кто – за другого, так что, глядя на них, можно было подумать, будто всех их постигло тяжкое горе. Даже Санчо Панса – и тот плакал, хотя впоследствии он утверждал, что плакал оттого, что Доротея оказалась совсем не королевой Микомиконой, от которой он стольких ожидал милостей. Оторопь и плач некоторое время еще продолжались, а затем Карденьо и Лусинда опустились перед доном Фернандо на колени и изъявили ему свою признательность в столь почтительных выражениях, что он не нашелся, что ответить, а только поднял их и обнял с несказанною любовью и отменною учтивостью.

Затем он спросил Доротею, как она очутилась в этих местах, так далеко от родных мест. Она же в кратких и разумных словах рассказала все, о чем прежде рассказывала Карденьо, и так понравился ее рассказ дону Фернандо и его спутникам, что они хотели бы слушать еще и еще – с такою приятностью повествовала Доротея о своих горестях. Когда же она кончила, дон Фернандо сообщил, что с ним произошло после того, как он нашел на груди у Лусинды письмо, в котором она объявляла, что она супруга Карденьо и не может принадлежать ему. Он хотел убить ее и, наверное, убил бы, если бы этому не помешали ее родители; тогда, разгневанный и удрученный, он покинул их дом с намерением отомстить, как скоро представится случай, а на другой день узнал, что Лусинда бежала из родительского дома и что никто не знает, где она теперь; наконец спустя несколько месяцев удалось ему узнать, что Лусинда в монастыре и намерена дожить там свой век, коли не суждено ей прожить его с Карденьо; и как скоро он это узнал, то подобрал себе трех кавальеро и двинулся к монастырю, однако ж, боясь, как бы в монастыре не усилили охрану, если узнают, что он здесь, Лусинде на глаза не показался; и вот, дождавшись такого времени, когда ворота были отворены, он двух кавальеро поставил у входа на часах, а сам вместе с третьим пошел за Лусиндой. Лусинда же в это время беседовала с монахиней на монастырском дворе; и, не дав ей опомниться, они схватили ее и спрятали в таком месте, где можно было заняться необходимыми для ее увоза приготовлениями; и все это обошлось для них вполне благополучно, ибо монастырь стоял в чистом поле, вдали от селений. Лусинда же, как скоро очутилась в руках у дона Фернандо, лишилась чувств, а придя в себя, все только молча вздыхала и плакала; и так, сопутствуемые молчанием и слезами, попали они на этот постоялый двор или, как ему теперь кажется, на небо, где предаются забвению и прекращаются все земные страдания.



Глава XXXVII,

содержащая продолжение истории славной инфанты Микомиконы и повествующая о других забавных приключениях



Санчо слушал все это не без душевного прискорбия, ибо надежды его на получение титула разлетелись и развеялись в прах: прелестная принцесса Микомикона превратилась в Доротею, великан – в дона Фернандо, а между тем его господин, ничего не подозревая, спит себе крепким сном. Доротея все еще не могла поверить, что ее счастье – не сон; Карденьо тоже мнилось, что его счастье – греза, да и Лусинда склонна была так же думать о своем счастье. Дон Фернандо благодарил провидение за то, что оно над ним сжалилось и вывело его из сложнейшего лабиринта, где он чуть было не погубил свою душу и доброе имя; словом, все, кто находился на постоялом дворе, были рады и счастливы, что это, казалось, безнадежно запутанное дело так благополучно окончилось. Священник всему этому давал весьма разумное истолкование и каждого поздравлял с радостью; но никто так не ликовал и не торжествовал, как хозяйка постоялого двора, ибо Карденьо и священник обещали с лихвою возместить ей убытки, понесенные из-за Дон Кихота. Только Санчо, как уже было сказано, сокрушался, горевал и тужил; с унылым видом явился он к своему господину, который только что проснулся, и сказал:

– Ваша милость, сеньор Печальный Образ, может спать сколько влезет: никакого великана теперь убивать не нужно и не нужно возвращать принцессе ее королевство, – все уже сделано и все кончено.

– Я тоже так думаю, – сказал Дон Кихот, – у меня завязался с великаном такой лютый и жаркий бой, подобного которому, пожалуй, больше не выпадет на мою долю. Я ему – раз! – и голова с плеч долой, а крови вытекло из него столько, что она струилась потоками по всему полу, будто вода.

– Скажите лучше – будто красное вино, ваша милость, – возразил Санчо. – Было бы вам известно, коли вы этого не знаете, что убитый великан – это продырявленный бурдюк, кровь – это шесть арроб красного вина, которое было у него в брюхе, а отрубленная голова... разэдакая мамаша, и ну их всех к чертям!

– Что ты говоришь, безумец! – вскричал Дон Кихот. – В своем ли ты уме?

– Встаньте, ваша милость, – сказал Санчо, – и поглядите, что вы натворили и сколько нам придется уплатить, а заодно поглядите и на королеву, которая превратилась в самую обыкновенную даму по имени Доротея, и еще тут случилось много такого, что если вы только в это вникнете, то, верно уж, дадитесь диву.

– Меня ничто не удивит, – возразил Дон Кихот. – Если ты помнишь, я еще в прошлый раз, когда мы здесь останавливались, сказал тебе, что все, что в этом доме происходит, это чародейство, и нет ничего странного в том, что и теперь то же самое.

– Я бы всему этому поверил, – объявил Санчо, – когда бы и мое летание на одеяле было такого же рода делом, но в том-то и штука, что это было самое настоящее и доподлинное летание. И я собственными глазами видел, как этот же хозяин держал за один конец одеяло и весело и ловко подбрасывал меня чуть не до неба, и смех его был столь же могуч, сколь мощны были его телодвижения. И хотя я человек простой и грешный, а все-таки я стою на том, что ежели тебе эти люди знакомы, значит, нет никакого чародейства, а есть великая трепка и величайшая незадача.

– Ну, ничего, бог даст, все уладится, – заметил Дон Кихот. – Подай мне одеться, – я пойду узнаю, что это за происшествия и превращения, о которых ты рассказываешь.

Санчо подал ему одеться, а пока он одевался, священник рассказал дону Фернандо и всем присутствовавшим о безумных выходках Дон Кихота и о той хитрости, на какую они пустились, чтобы вызволить его с Бедной Стремнины, куда, как ему казалось, он удалился из-за того, что его сеньора пренебрегла им. Далее священник рассказал почти обо всех приключениях, о которых он слышал от Санчо, и все много дивились им и смеялись и в конце концов пришли к мысли, к какой приходил всякий, кто сталкивался с Дон Кихотом, а именно – что ни один расстроенный ум не страдал таким необыкновенным видом помешательства. Еще священник сказал: коли счастливая развязка не даст, мол, сеньоре Доротее возможности продолжать игру, то необходимо подыскать кого-нибудь другого и попросить доставить Дон Кихота на родину. Карденьо сказал, что надобно довести дело до конца и что Лусинда заменит Доротею и сыграет за нее.

– Нет, так не годится, – возразил дон Фернандо, – пусть лучше Доротея продолжает в том же духе. Если только имение доброго этого кавальеро отсюда недалеко, я с радостью буду содействовать его исцелению.

– Не больше двух дней пути.

– Да хотя бы и больше – ради такого доброго дела я с удовольствием туда съезжу.

В это время вошел Дон Кихот в полном боевом снаряжении, с погнутым шлемом Мамбрина на голове, держа в руке щит и опираясь на жердеобразное свое копье. Он поразил дона Фернандо и всех остальных странною своею наружностью: лицом в полмили длиною, испитым и бледным, разнородностью своих доспехов и важным своим видом, и все примолкли в ожидании, что он скажет, а он необычайно торжественно и спокойно, устремив взор на прелестную Доротею, молвил:

– Мой оруженосец, прелестная сеньора, довел до моего сведения, что ваше величие рухнуло и что вы, как таковая, перестали существовать, ибо из королевы и знатной сеньоры превратились в обыкновенную девушку. Если это случилось по воле вашего отца, короля-чернокнижника, опасавшегося, что я не окажу вам должной и необходимой помощи, то уверяю вас, что он круглый невежда и в рыцарских историях он разбирается плохо. Ведь если б он читал и изучал их столь же внимательно и долго, как изучал и читал их я, то на каждом шагу находил бы в них примеры того, как другие рыцари, менее славные, чем я, справлялись с более сложными задачами, а убить какого-то там великанишку, пусть даже предерзкого, тут еще ничего мудреного нет. Ведь я с ним встретился назад тому всего несколько часов – и уже... но я лучше помолчу, а то еще скажут, что я лгу. Однако время, разгласитель всех тайн, в один прекрасный день откроет и мою тайну.

– Вы встретились с двумя бурдюками, а не с великаном, – вмешался хозяин.

Но дон Фернандо велел ему замолчать и ни под каким видом не прерывать Дон Кихота, а Дон Кихот продолжал:

– В заключение я хочу вам сказать, благородная и развенчанная сеньора, что если отец ваш произвел с вашей особой эту метаморфозу по вышеуказанной мною причине, то ни в коем случае не придавайте ей веры, ибо нет на свете такой опасности, через которую мой меч не проложил бы дороги, и с помощью этого же меча, который обезглавил и повергнул наземь вашего недруга, я вам на главу возложу в скором времени корону вашей родной земли.

Дон Кихот умолк и стал ждать, что скажет принцесса, а та, зная, что дон Фернандо намерен не прекращать обмана, пока не проводит Дон Кихота до дому, с великою важностью и приятностью заговорила:

– Кто бы ни сказал вам, доблестный Рыцарь Печального Образа, что сущность моя изменилась и стала иною, он сказал неправду, ибо я и сегодня та же, что была вчера. Известного рода перемена во мне, в самом деле, произошла благодаря некоторой выпавшей на мою долю удаче, и доля моя стала теперь лучше, чем я могла ожидать, но это не значит, что я перестала быть такою, какой была прежде, и что я отказалась от всечасной моей мысли прибегнуть к помощи вашей мощной и непобедимой длани. А посему, государь мой, благоволите снять с моего родного отца подозрение и признайте, что он был человек мудрый и проницательный, ибо благодаря своей науке сыскал такой легкий и верный способ выручить меня из беды: ведь я убеждена, что если б не вы, сеньор, то не видать бы мне того счастья, которого я удостоилась ныне. Все это могут подтвердить нелицеприятные свидетели моего счастья, то есть большинство здесь присутствующих сеньоров. Нам только придется тронуться в путь завтра, – сегодня мы все равно много не проедем, что же касается успешного завершения начатого предприятия, то тут я полагаюсь на бога и на вашу неустрашимость.

Так говорила умница Доротея, и, выслушав ее, Дон Кихот обратился к Санчо и с сердцем сказал ему:

– Вот что я тебе скажу, паршивец Санчо: другого такого пакостника, как ты, нет во всей Испании. Говори, вор-побродяжка, не ты ли мне только что объявил, что принцесса превратилась в девицу по имени Доротея, а что отрубленная мною голова великана – разэдакая мать, и всей этой чушью так меня озадачил, как это еще никому не удавалось? Клянусь... – тут он возвел очи к небу и стиснул зубы, – что я готов искрошить тебя, дабы впредь неповадно было всем лживым оруженосцам, какие когда-либо у странствующих рыцарей заведутся!

– Успокойтесь, государь мой, – сказал Санчо. – Очень может быть, что я ошибся насчет превращения сеньоры принцессы Микомиконы, ну, а насчет головы великана, вернее сказать, насчет продырявленных бурдюков и насчет того, что кровь – это красное вино, то уж тут я, ей-богу, не ошибся, потому вон они, худые бурдюки, у изголовья вашей милости, а вина на полу – целое озеро. Погодите, хлопнет это вас по карману – тогда поверите, то есть, я хочу сказать, поверите, когда его милость сеньор хозяин подаст вам счет. А что сеньора королева как была, так и осталась, то я этому душевно рад, – стало быть, мое от меня не уйдет.

– Вот что я тебе скажу, Санчо, – объявил Дон Кихот, – прости меня, но ты дурак, и баста.

– Баста, – подхватил дон Фернандо, – не будем больше об этом говорить. И коли сеньора принцесса хочет, чтобы мы поехали завтра, ибо сегодня уж поздно, значит, так тому делу и быть, и всю ночь до рассвета мы можем провести в приятной беседе, а с рассветом выедем и будем сопровождать сеньора Дон Кихота, ибо все мы желаем быть очевидцами смелых и неслыханных подвигов, которые ему надлежит совершить во исполнение данного им великого обета.

– Это мне надлежит служить вам и сопровождать вас, – возразил Дон Кихот. – Я чрезвычайно вам благодарен за ваше доброе ко мне расположение и за ваше лестное мнение

обо мне, которое я непременно постараюсь оправдать, хотя бы это стоило мне жизни, и даже еще дороже, если только что-нибудь может стоить дороже.

Долго еще Дон Кихот и дон Фернандо обменивались любезностями и изъявлениями преданности; умолкнуть же их невольно заставил некий путешественник, который в это время вошел на постоялый двор и по одежде которого можно было догадаться, что это христианин, недавно прибывший из страны мавров, ибо на нем было коротенькое синего сукна полукафтанье с рукавами до локтей и без воротника, синие полотняные штаны, такого же цвета берет, на ногах желтые полусапожки, через плечо перевязь, а на перевязи кривая мавританская сабля. Сзади ехала на осле женщина, одетая по-мавритански: лица ее не было видно под покрывалом, на голове у нее была парчовая шапочка, альмалафа[201] доходила ей до самых пят. Мужчина был статен и широкоплеч, лет около сорока, несколько смугловат, с длинными усами и красивою бородою; словом, наружность его говорила о том, что, будь он хорошо одет, его приняли бы за человека знатного и родовитого. Войдя, он спросил комнату; ему сказали, что свободной комнаты нет, и это его, видимо, огорчило; он подошел к женщине, которую по одежде можно было принять за мавританку, и подхватил ее на руки. Лусинда, Доротея, хозяйка, ее дочь и Мариторнес, привлеченные диковинным и дотоле невиданным нарядом мавританки, обступили ее, и Доротея, заметив, что и мавританка и ее спутник приуныли, оттого что им негде остановиться, со свойственною ей приветливостью, учтивостью и рассудительностью сказала:

– Пусть не смущает вас, госпожа моя, отсутствие удобств: ведь на постоялых дворах везде так, однако ж если вам благоугодно будет остановиться у нас, – примолвила она, указывая на Лусинду, – то на всем протяжении вашего пути вряд ли вы найдете более радушный прием.

Женщина под покрывалом ничего ей на это не ответила, а только встала, скрестила на груди руки и в знак благодарности поклонилась в пояс. А как она при этом не проронила ни слова, то все заключили, что она, вне всякого сомнения, мавританка и что она не умеет говорить по-христиански. В это время подошел пленник, который до того был занят чем-то другим, и, видя, что женщины окружили его спутницу, а она на все их слова отвечает молчанием, сказал:

– Сеньоры мои! Эта девушка с трудом понимает наш язык и говорит только на языке своей отчизны, – вот почему она, должно полагать, не отвечала и не отвечает на ваши вопросы.

– Мы не задавали ей никаких вопросов, – возразила Лусинда, – мы только предложили ей переночевать вместе с нами в той комнате, где мы остановились и где она найдет все удобства, какие только может предоставить ночевка на постоялом дворе, ибо это наш долг – оказывать гостеприимство всем нуждающимся в нем чужестранцам, в особенности женщинам.

– За себя и за нее я целую вам руки, госпожа моя, – сказал пленник, – и высоко ценю, ценю по достоинству вашу услугу, ибо, приняв в соображение, при каких обстоятельствах и сколь знатными, судя по вашему виду, особами она оказана, ее нельзя не признать великой.

– Скажите, сеньор, эта сеньора – христианка или мавританка? – спросила Доротея. – Ее наряд и ее молчание заставляют нас думать о ней не то, что бы мы хотели.

– Она мавританка по одежде и по плоти, в душе же она ревностная христианка, ибо горит желанием сделаться таковою.

– Значит, она еще не крещена? – спросила Лусинда.

– Мы не успели, – отвечал пленник. – С той поры, как она оставила Алжир, родную землю свою и страну, и до сего дня над ней ни разу не нависала угроза смерти, которая могла бы принудить ее креститься без предварительного ознакомления со всеми обрядами, соблюдать которые велит нам святая церковь. Но, даст бог, скоро она примет крещение, как подобает особе ее звания, ибо звание ее выше, чем можно предполагать, глядя на ее и мой наряд.

Слова эти вызвали у слушателей желание узнать, кто такие мавританка и пленник, но никто не решился об этом спросить, – всем было ясно, что прежде должно им дать отдохнуть,

а потом уже их расспрашивать. Доротея взяла мавританку за руку, усадила ее рядом с собой и попросила снять покрывало. Мавританка взглянула на пленника, точно спрашивая, что ей говорят и как ей надлежит поступить. Он ей сказал по-арабски, что ее просят снять покрывало и чтобы она так и сделала; тогда она откинула покрывало, и взорам всех открылось столь прекрасное ее лицо, что Доротее она показалась красивее Лусинды, а Лусинде – красивее Доротеи, прочие же нашли, что если кто и выдержит сравнение с ними обеими, то только мавританка, а некоторые даже кое в чем отдавали ей предпочтение. А как красота наделена исключительною способностью и благодатною силою умиротворять дух и привлекать сердца, то всем захотелось обласкать прелестную мавританку и угодить ей.

Дон Фернандо спросил пленника, как зовут мавританку, – тот сказал, что ее зовут Лела Зораида, а мавританка, услышав это, поняла, о чем на языке христиан спрашивают пленника, и весьма поспешно, с живостью и беспокойством проговорила:

– Нет, не Зораида, – Мария, Мария! – Этим она хотела сказать, что ее зовут Мария, а не Зораида.

Самые эти слова и то волнение, с каким мавританка их произносила, не одну слезу исторгли у присутствовавших, особливо у женщин, от природы нежных и добросердечных. Лусинда с чрезвычайною ласковостью обняла ее и сказала:

– Да, да, Мария, Мария.

А мавританка подтвердила:

– Да, да, Мария – Зораида *маканш!* (Что значит: нет.)

Между тем наступил вечер, и по распоряжению спутников дона Фернандо хозяин приложил все свое усердие и старание, чтобы ужин удался на славу. И когда пришло время и все сели за длинный стол, вроде тех, что стоят в трапезных и в людских, ибо ни круглого, ни четырехугольного на постоялом дворе не оказалось, то на почетное, председательское место, хотя он и отнекивался, посадили Дон Кихота, Дон Кихот же изъявил желание, чтобы рядом с ним села сеньора Микомикона, ибо он почитал себя ее телохранителем. Рядом с ними сели Лусинда и Зораида, против них дон Фернандо и Карденьо, затем пленник и прочие кавальеро, а рядом с дамами священник и цирюльник, и все с великим удовольствием принялись за ужин, но еще большее удовольствие доставил им Дон Кихот – вновь охваченный вдохновением, как во время ужина с козопасами, когда он произнес столь длинную речь, он вдруг перестал есть и заговорил:

– Поразмысливши хорошенько, государи мои, невольно приходишь к заключению, что тем, кто принадлежит к ордену странствующих рыцарей, случается быть свидетелями великих и неслыханных событий. В самом деле, кто из живущих на свете, если б он въехал сейчас в ворота этого замка и мы явились бы его взору так, как мы есть, почел и принял бы нас за тех, кем мы действительно являемся? Кто бы мог подумать, что сеньора, сидящая рядом со мной, – всем нам известная великая королева, а я – тот самый Рыцарь Печального Образа, чье имя на устах у самой Славы? Теперь уже не подлежит сомнению, что рыцарское искусство превосходит все искусства и занятия, изобретенные людьми, и что оно тем более достойно уважения, что с наибольшими сопряжено опасностями. Пусть мне не толкуют, что ученость выше поприща военного, – кто бы ни были эти люди, я скажу, что они сами не знают, что говорят. Довод, который они обыкновенно приводят и который им самим представляется наиболее веским, состоит в том, что умственный труд выше труда телесного, а на военном, дескать, поприще упражняется одно только тело, – как будто воины – это обыкновенные поденщики, коим потребна только силища, как будто в то, что мы, воины, именуем военным искусством, не входят также смелые подвиги, для совершения коих требуется незаурядный ум, как будто мысль полководца, коему вверено целое войско или поручена защита осажденного города, трудится меньше, нежели его тело! Вы только подумайте: можно ли с помощью одних лишь телесных сил понять и разгадать намерения противника, его замыслы, военные хитрости,

обнаружить ловушки, предотвратить опасности? Нет, все это зависит от разумения, а тело тут ни при чем. Итак, военное поприще нуждается в разуме не меньше, нежели ученость, – посмотрим теперь, чья мысль трудится более: мысль ученого человека или же мысль воина, а это будет видно из того, какова мета и какова цель каждого из них, ибо тот помысел выше, который к благороднейшей устремлен цели. Мета и цель наук, – я говорю не о богословских науках, назначение коих возносить и устремлять наши души к небу, ибо с такой бесконечной конечною целью никакая другая сравниться не может, – я говорю о науках светских, и вот их цель состоит в том, чтобы установить справедливое распределение благ, дать каждому то, что принадлежит ему по праву, и следить и принимать меры, чтобы добрые законы соблюдались. Цель, без сомнения, высокая и благородная, достойная великих похвал, но все же не таких, каких заслуживает военное искусство, коего цель и предел стремлений – мир, а мир есть наивысшее из всех земных благ. И оттого первою благою вестью, которую услыхали земля и люди, была весть, принесенная ангелами, певшими в вышине в ту ночь, что для всех нас обратилась в день: «Слава в вышних богу, и на земле мир, в человеках благоволение». И лучший учитель земли и неба заповедал искренним своим и избранным при входе в чей-либо дом приветствовать его, говоря: «Мир дому сему». И много раз говорил он им: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам; мир вам», и воистину это драгоценность и сокровище, данные и оставленные *такою* рукой, – драгоценность, без которой ни на земле, ни на небе ничего хорошего быть не может. Так вот, мир и есть прямая цель войны, а коли войны, то, значит, и воинов. Признав же за истину, что цель войны есть мир и что поэтому она выше цели наук, перейдем к телесным тяготам ученого человека и ратника и посмотрим, чьи больше.

В таком духе и так красноречиво говорил Дон Кихот, и теперь никто из слушателей не принял бы его за сумасшедшего – напротив того, большинство их составляли кавальеро, то есть люди, на бранном поле выросшие, и они слушали его с превеликою охотою, а он между тем продолжал:

– Итак, тяготы студента суть следующие: во-первых, бедность (разумеется, не все они бедны, я нарочно беру худший случай), сказав же, что студент бедствует, я, думается мне, все сказал об его злополучии, ибо жизнь бедняка беспросветна. Он терпит всякого рода нужду: и голод, и холод, и наготу, а то и все сразу. Впрочем, он все-таки питается, хотя и несколько позже обыкновенного, хотя и крохами со стола богачей, что служит у студентов признаком полного обнищания и называется у них *супничать,* и у кого-нибудь да найдется для них место возле жаровни или же очага, где они если и не согреваются, то, во всяком случае, не мерзнут, и наконец спят они под кровом. Я не буду останавливаться на мелочах, как то: на отсутствии сорочек и недостаче обуви, на изрядной потертости верхнего платья, довольно редко, впрочем, у них появляющегося, и на той жадности, с какою они набрасываются на угощение, которое счастливый случай им иной раз устраивает. И вот описанным мною путем, тернистым и тяжелым путем, то и дело спотыкаясь и падая, поднимаясь для того, чтобы снова упасть, они и доходят до вожделенной ученой степени. Наконец степень достигнута, песчаные мели, Сциллы и Харибды[202] пройдены, как если бы благосклонная Фортуна перенесла их на крыльях, и вот уже многие из них, сидя в креслах, на наших глазах правят и повелевают миром, и, как достойная награда за их добронравие, голод обернулся для них сытостью, холод – прохладой, нагота – щегольством, спанье на циновке – отдыхом на голландском полотне и дамасском шелке. Но сопоставьте и сравните их тяготы с тяготами воина-ратоборца, и, как вы сейчас увидите, они останутся далеко позади.



Глава XXXVIII,

в коей приводится любопытная речь Дон Кихота о военном поприще и учености



Далее Дон Кихот сказал следующее:

– Мы начали с разбора видов бедности студента, – посмотрим, богаче ли его солдат. И вот оказывается, что беднее солдата нет никого на свете, ибо существует он на нищенское свое жалованье, которое ему выплачивают с опозданием, а иногда и вовсе не выплачивают, или на то, что он сам сумеет награбить – с явной опасностью для жизни и идя против совести. С одеждой у него подчас бывает так плохо, что рваный колет служит ему одновременно и парадной формой, и сорочкой, и в зимнюю стужу, в открытом поле он согревается обыкновенно

собственным своим дыханием, а я убежден, что, вопреки законам природы, дыхание, коль скоро оно исходит из пустого желудка, долженствует быть холодным. Но подождите: от непогоды он сможет укрыться с наступлением ночи, ибо его ожидает ложе, которое человек непритязательный никогда узким не назовет, – на голой земле он волен как угодно вытягивать ноги или же ворочаться с боку на бок, не боясь измять простыни. И вот наконец настает день и час получения степени, существующей у военных: настает день битвы, и тут ему надевают сшитую из корпии докторскую шапочку, в случае если пуля угодила ему в голову, если же не в голову, то, стало быть, изуродовала ему руку или ногу. Но пусть даже этого не произойдет, и милосердное небо убережет его и сохранит, и он пребудет здрав и невредим, все равно вряд ли он разбогатеет, и надлежит быть еще не одной схватке и не одному сражению, и из всех сражений ему надлежит выйти победителем, чтобы несколько продвинуться по службе, но такие чудеса случаются редко. В самом деле, сеньоры, скажите: задумывались ли вы над тем, что награжденных на войне гораздо меньше, чем погибших? Вы, конечно, скажете, что это несравнимо, что мертвым и счету нет, а число награжденных живых выражается в трехзначной цифре. А вот у судейских все обстоит по-другому: им-то уж непременно доставят пропитание, не с переднего, так с заднего крыльца, – следственно, труд солдата тяжелее, а награда меньше. Могут, впрочем, возразить, что легче наградить две тысячи судейских, нежели тридцать тысяч солдат, ибо первые награждаются должностями, которые по необходимости предоставляются людям соответствующего рода занятий, солдат же можно наградить единственно из средств того сеньора, которому они служат, но ведь это только подтверждает мою мысль. Однако оставим это, ибо из подобного лабиринта выбраться нелегко, и возвратимся к превосходству военного поприща над ученостью – вопросу, до сих пор не разрешенному, ибо каждая из сторон выискивает все новые и новые доводы в свою пользу. И, между прочим, ученые люди утверждают, что без них не могли бы существовать военные, ибо и у войны есть свои законы, коим она подчиняется, и составление таковых – это уж дело наук и людей ученых. Военные на это возражают, что без них не было бы и законов, ибо это они защищают государства, оберегают королевства, обороняют города, охраняют дороги, очищают моря от корсаров, – словом, если б их не было, в государствах, королевствах, монархиях, городах, на наземных и морских путях – всюду наблюдались бы ужасы и беспорядки, которые имеют место во время войны, когда ей дано особое право и власть. А ведь что дорого обходится, то ценится и долженствует цениться дороже, – это всем известно. Чтобы стать изрядным законником, потребно время, потребна усидчивость, нужно отказывать себе в одежде и пище, не считаясь с головокружениями, с несварением желудка, и еще кое-что в том же роде потребно для этого, отчасти мною уже указанное. Но чтобы стать, в свой черед, хорошим солдатом, для этого потребно все, что потребно и студенту, но только возведенное в такую степень, что сравнение тут уже невозможно, ибо солдат каждую секунду рискует жизнью. В самом деле, что такое страх перед бедностью и нищетою, охватывающий и преследующий студента, по сравнению с тем страхом, который овладевает солдатом, когда он в осажденной крепости стоит на часах, охраняя равелин или же кавальер,[203] и чувствует, что неприятель ведет подкоп, а ему никак нельзя уйти с поста и избежать столь грозной опасности? Единственно, что он может сделать, это дать знать своему начальнику, и начальник постарается отвести угрозу контрминою, а его дело стоять смирно, с трепетом ожидая, что вот-вот он без помощи крыльев взлетит под облака или же, отнюдь не по своей доброй воле, низвергнется в пропасть. А если и это, по-вашему, опасность небольшая, то не менее страшно, а, пожалуй, даже и пострашнее, когда в открытом море две галеры идут на абордажный приступ, сойдутся, сцепятся вплотную, а солдату приходится стоять на таране в два фута шириной. Да притом еще он видит пред собой столько же грозящих ему прислужников смерти, сколько с неприятельской стороны наведено на него огнестрельных орудий, находящихся на расстоянии копья, сознает, что один неосторожный шаг – и он отправится обозревать Нептуновы подводные владения, и все же из чувства чести бесстрашно подставляет грудь под пули и тщится по узенькой дощечке пробраться на вражеское судно. Но еще удивительнее вот

что: стоит одному упасть туда, откуда он уже не выберется до скончания века, и на его место становится другой, а если и этот канет в морскую пучину, подстерегающую его, словно врага, на смену ему ринутся еще и еще, и не заметишь, как они, столь же незаметно, сгинут, – да, подобной смелости и дерзновения ни в каком другом бою не увидишь. Благословенны счастливые времена, не знавшие чудовищной ярости этих сатанинских огнестрельных орудий, коих изобретатель, я убежден, получил награду в преисподней за свое дьявольское изобретение, с помощью которого чья-нибудь трусливая и подлая рука может отнять ныне жизнь у доблестного кавальеро, – он полон решимости и отваги, этот кавальеро, той отваги, что воспламеняет и воодушевляет храбрые сердца, и вдруг откуда ни возьмись шальная пуля (выпущенная человеком, который, может статься, сам испугался вспышки, произведенной выстрелом из этого проклятого орудия, и удрал) в одно мгновение обрывает и губит нить мыслей и самую жизнь того, кто достоин был наслаждаться ею долгие годы. И вот я вынужден сознаться, что, приняв все это в рассуждение, в глубине души я раскаиваюсь, что избрал поприще странствующего рыцарства в наше подлое время, ибо хотя мне не страшна никакая опасность, а все же меня берет сомнение, когда подумаю, что свинец и порох могут лишить меня возможности стяжать доблестною моею дланью и острием моего меча почет и славу во всех известных нам странах. Но на все воля неба, и если только мне удастся совершить все, что я задумал, то мне воздадут наибольшие почести, ибо я встречаюсь лицом к лицу с такими опасностями, с какими странствующие рыцари протекших столетий доселе еще не встречались.

Всю эту длинную цепь рассуждений развертывал Дон Кихот в то время, как другие ужинали, сам же он так и не притронулся к еде, хотя Санчо Панса неоднократно напоминал ему, что сейчас, мол, время ужинать, а поговорить он успеет потом. Слушатели снова пожалели, что человек, который, по-видимому, так здраво рассуждает и так хорошо во всем разбирается, чуть только речь зайдет о распроклятом этом рыцарстве, безнадежно теряет рассудок. Священник заметил, что доводы, приведенные Дон Кихотом в пользу военного поприща, весьма убедительны и что хотя он, священник, человек ученый и к тому же еще имеющий степень, а все же сходится с ним во мнениях.

Но вот кончили ужинать, убрали со стола, и пока хозяйка, ее дочь и Мариторнес приводили в порядок чулан Дон Кихота Ламанчского, где на сей раз должны были ночевать одни только дамы, дон Фернандо обратился к пленнику с просьбой рассказать историю своей жизни, каковая-де не может не быть своеобразною и занимательною, судя по одному тому, что он вместе с Зораидою здесь появился. Пленник ему на это сказал, что он весьма охотно просьбу эту исполнит, хотя опасается, что рассказ может разочаровать их, но что, дабы они удостоверились, сколь он послушен их воле, он, однако же, рассказать соглашается. Священник и все остальные поблагодарили его и еще раз подтвердили свою просьбу, он же, видя, что все наперебой упрашивают его, сказал, что там, где довольно приказания, просьбы излишни.

– Так будьте же, ваши милости, внимательны, и вы услышите историю правдивую, по сравнению с которой вымышленные истории, отмеченные печатью глубоких раздумий и изощренного искусства, может статься, покажутся вам слабее.

При этих словах все сели на свои места, и водворилось глубокое молчание, он же, видя, что все затихли и приготовились слушать, негромким и приятным голосом начал так:



Глава XXXIX,

в коей пленник рассказывает о своей жизни и об ее превратностях



– В одном из леонских горных селений берет начало мой род, по отношению к которому природа выказала большую щедрость и благосклонность, нежели Фортуна, – впрочем, кругом была такая бедность, что отец мой сходил там за богача, да он и в самом деле был бы таковым, когда бы его тянуло копить, а не росточать. Наклонность к щедрости и расточительности появилась у него еще в молодые годы, когда он был солдатом, ибо солдатчина – это школа, в

которой бережливый становится тороватым, а тороватый становится мотом, на скупого же солдата, если такой попадается, смотрят как на диво, ибо это редчайшее исключение. Щедрость отца моего граничила с мотовством, а человеку семейному, человеку, которому надлежит передать своим детям имя и звание, таковое свойство ничего доброго не сулит. У моего отца было трое детей, всё сыновья, и все трое вошли в тот возраст, когда пора уже выбирать себе род занятий. Отец мой, видя, что ему, как он выражался, с собою не сладить, пожелал лишить себя орудия и источника своей расточительности и страсти сорить деньгами, то есть лишить себя достояния, а без достояния сам Александр Македонский показался бы скупцом. И вот однажды заперся он со всеми нами у себя в комнате и повел примерно такую речь:

«Дети мои! Дабы изъявить и выразить мою любовь к вам, довольно сказать, что вы мои дети, но дабы вы знали, что я люблю вас не так, как должно, довольно сказать, что я не мог себя принудить беречь ваше достояние. Так вот, дабы отныне вам было ясно, что я люблю вас как отец, а не желаю погубить, как желал бы отчим, я по зрелом размышлении, все давно взвесив и предусмотрев, решился предпринять нечто. Вы уже в том возрасте, когда надлежит занять положение или, по крайности, избрать род занятий, который впоследствии послужит вам к чести и принесет пользу. А надумал я разделить мое имение на четыре части: три части я отдам вам, никого ничем не обделив, а четвертую оставлю себе, чтобы было мне чем жить и поддерживать себя до конца положенных мне дней. Но я бы хотел, чтобы каждый из вас, получив причитающуюся ему часть имения, избрал один из путей, которые я вам укажу. Есть у нас в Испании пословица, по моему разумению, весьма верная, как, впрочем, любая из пословиц, ибо все они суть краткие изречения, принадлежащие людям, многолетним опытом умудренным, та же, которую я имею в виду, гласит: „Либо церковь, либо моря, либо дворец короля“, – иными словами: кто желает выйти в люди и разбогатеть, тому надлежит или принять духовный сан, или пойти по торговой части и пуститься в плавание, или поступить на службу к королю, – ведь недаром говорится: „Лучше крохи с королевского стола, нежели милости сеньора“. Все это я говорю вот к чему: я бы хотел – и такова моя воля, – чтобы один из вас посвятил себя наукам, другой – торговле, а третий послужил королю в рядах его войска, ибо стать придворным – дело нелегкое, на военной же службе особенно не разбогатеешь, но зато можно добыть себе великую славу и великий почет. Через неделю каждый из вас получит от меня свою часть деньгами, все до последнего гроша, в чем вы убедитесь на деле. А теперь скажите, согласны ли вы со мной и намерены ли последовать моему совету».

Мне как старшему пришлось отвечать первому, и я стал просить отца не совершать раздела и тратить сколько его душе угодно, ибо мы, дескать, молоды и можем зарабатывать сами, а в заключение сказал, что я готов исполнить его хотение и что я хочу пойти в армию и на этом поприще послужить богу и королю. Средний брат сначала обратился к отцу с тою же просьбой, а затем объявил, что желает ехать в Америку и вложить свою часть в какое-либо предприятие. Меньшой брат, и, по моему мнению, самый разумный, сказал, что желает стать духовным лицом или же закончить начатое учение в Саламанке.

После того, как все мы по собственному желанию избрали себе род занятий, отец обнял нас. Замысел свой он осуществил в положенный срок, и, получивши каждый свою часть, то есть, сколько я помню, по три тысячи дукатов деньгами (надобно заметить, что все имение купил наш дядя, который, не желая, чтобы оно перешло в чужие руки, уплатил за него наличными), мы все трое простились с добрым нашим отцом, и в тот же самый день, подумав, что бесчеловечно оставлять отца на старости лет почти без средств, я уговорил его из моих трех тысяч дукатов две тысячи взять себе, ибо оставшихся денег мне хватит, мол, на то, чтобы обзавестись всем необходимым солдату. Братья последовали моему примеру и дали отцу по тысяче дукатов каждый; таким образом, у отца моего оказалось четыре тысячи наличными деньгами, да сверх того еще три тысячи, в каковой сумме, должно полагать, исчислялось недвижимое его имущество, которое он не пожелал продавать и оставил за собой. Итак, мы

простились с отцом и с дядей, о котором я уже упоминал; волнение, охватившее нас, было столь сильно, что никто не мог удержаться от слез, отец же умолял нас не упускать случая извещать его о наших удачах и неудачах. Мы обещали, он обнял нас и благословил, а затем один брат отправился в Саламанку, другой в Севилью, а я в Аликанте, и там я узнал, что одно генуэзское судно с грузом шерсти готовится к отплытию в Геную.

Тому уже двадцать два года, как оставил я отчий дом, и за все это время, хотя сам послал не одно письмо, не имел вестей ни об отце, ни о братьях, а обо всем, что за эти годы случилось со мной, я вам вкратце сейчас расскажу. Я сел на корабль в Аликанте, благополучно прибыл в Геную, оттуда проехал в Милан,[204] там приобрел воинские доспехи и одеяние и порешил вступить в ряды пьемонтского войска, но по дороге в Алессандрию делла Палла[205] прослышал, что великий герцог Альба отправляется во Фландрию.[206] Я передумал, присоединился к нему, проделал с ним весь поход, присутствовал при казни графов Эгмонта и Горна,[207] был произведен в знаменщики славным военачальником из Гуадалахары по имени Дьего де Урбина,[208] а некоторое время спустя после моего прибытия во Фландрию распространился слух, что его святейшество, блаженной памяти папа Пий Пятый, заключил союз с Венецией и Испанией[209] против общего врага – против турок, коих флот в это самое время завоевал славный остров Кипр, дотоле подвластный Венеции, тем самым нанеся ей тяжелую и прискорбную потерю.

Стало известно, что командовать союзными войсками будет светлейший дон Хуан Австрийский, побочный брат доброго нашего короля дона Филиппа, говорили о каких-то необычайных приготовлениях к войне, – все это воспламеняло мой дух и вызывало желание принять участие в ожидаемом походе. И хотя меня обнадеживали и даже прямо обещали, что при первом же случае я буду произведен в капитаны, я решился бросить все и уехать, и я, точно, прибыл в Италию, – прибыл как раз, когда по счастливой случайности сеньор дон Хуан Австрийский намеревался из Генуи выехать в Неаполь, чтобы соединиться с венецианским флотом, каковое соединение впоследствии и произошло в Мессине. Словом, я участвовал в удачнейшем этом походе уже в чине капитана-от-инфантерии, каковым высоким чином я обязан не столько моим заслугам, сколько моей счастливой звезде. Но в столь радостный для христиан день, когда наконец рассеялось заблуждение, в коем пребывали весь мир и все народы, полагавшие, что турки на море непобедимы, в тот день, говорю я, когда оттоманские спесь и гордыня были развеяны в прах, из стольких счастливцев (ибо христиане, сложившие голову в этом бою, еще счастливее тех, кто остался жив и вышел победителем) я один оказался несчастным; в самом деле, будь это во времена Древнего Рима, я мог бы ожидать морского победного венка, а вместо этого в ту самую ночь, что сменила столь славный день, я увидел на руках своих цепи, а на ногах кандалы. Вот как это случилось. Алжирский король Улудж-Али,[210] дерзкий и удачливый корсар, напал на флагманскую галеру Мальтийского ордена[211] и разгромил ее, так что остались живы на ней всего лишь три воина, да и те были тяжело ранены, но тут на помощь к ней устремилась флагманская галера Джованни Андреа,[212] на которой со своей ротой находился и я. И, как это в подобных случаях полагается, я прыгнул на неприятельскую галеру, но в эту самую минуту она отделилась от нашей, в силу чего мои солдаты не могли за мною последовать, и вышло так, что я очутился один среди врагов, коим я не мог оказать сопротивление по причине их многочисленности, – словом, весь израненный, я попал к ним в плен. Как вы, вероятно, знаете, сеньоры, Улудж-Али со всею своею эскадрою спасся, и вот я очутился у него в руках – один-единственный скорбящий из числа стольких ликующих, один-единственный пленник из числа стольких свободных, ибо в тот день пятнадцать тысяч христиан, гребцов на турецких судах, обрели наконец желанную свободу.

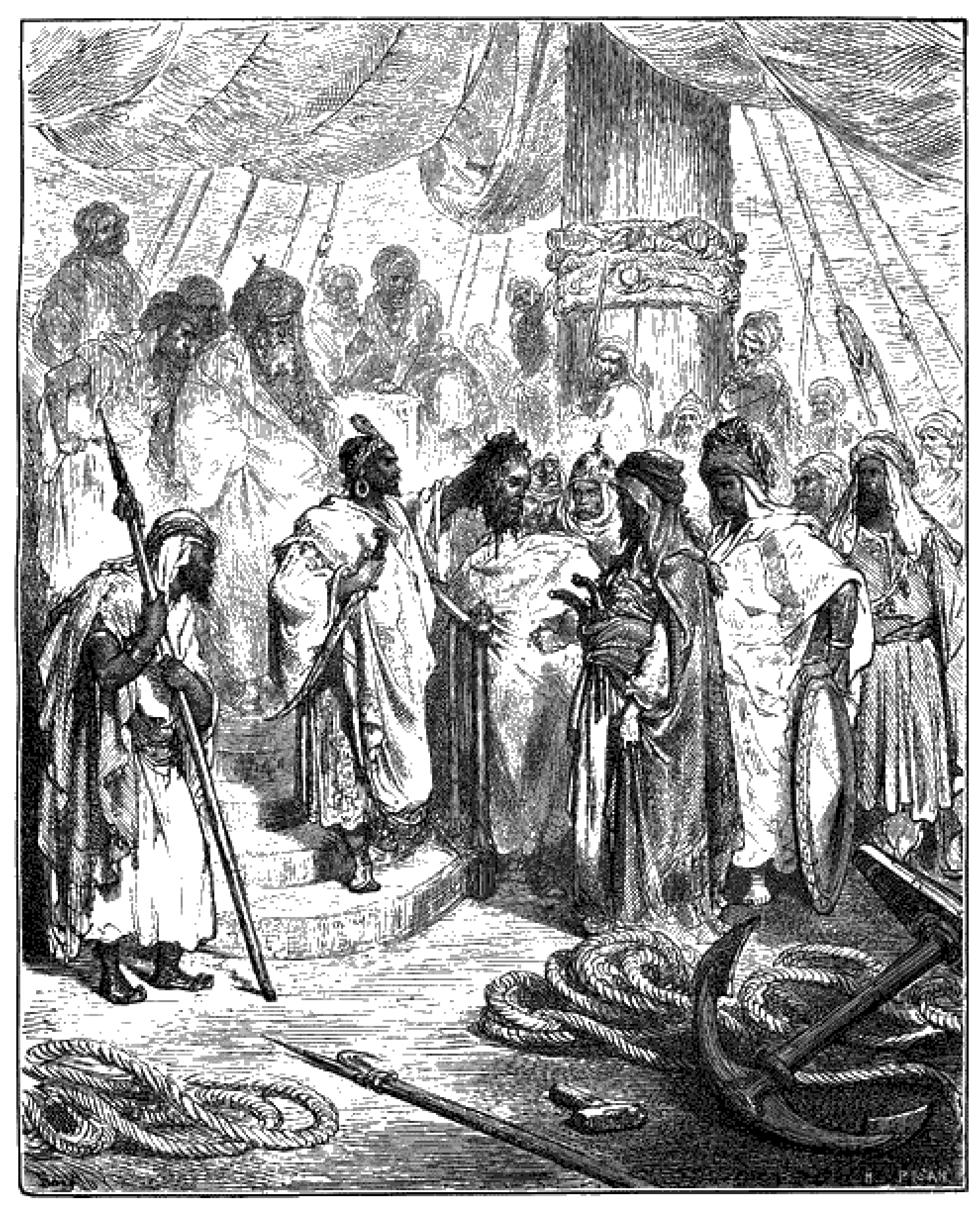
Меня привезли в Константинополь, и тут султан Селим назначил моего хозяина генерал-адмиралом за то, что он исполнил свой долг в этом бою и в доказательство своей доблести привез знамя Мальтийского ордена. Спустя год, то есть в семьдесят втором году, я, будучи гребцом на адмиральском судне, оказался свидетелем Наваринской битвы. На моих глазах был

упущен случай захватить в гавани турецкий флот, ибо вся турецкая морская и наземная пехота была уверена, что ее атакуют в самой гавани, и держала наготове платье и *башмаки* (так турки называют свою обувь) с тем, чтобы, не дожидаясь, когда ее разобьют, бежать сухопутьем: столь великий страх внушал ей наш флот. Случилось, однако ж, не так – и не по вине или по небрежению нашего адмирала,[213] но по грехам христиан и потому, что произволением и попущением божиим всегда находятся палачи, которые нас карают. И точно: Улудж-Али отступил к Модону, – такой есть близ Наварина остров, – и, высадив войско, укрепил вход в гавань и просидел там до тех пор, пока сеньор дон Хуан не возвратился вспять. Во время этого похода нашими войсками была захвачена галера «Добыча», коей командовал сын знаменитого корсара Рыжая Борода.[214] Захватила ее неаполитанская флагманская галера «Волчица», находившаяся под командою бога войны и родного отца своих солдат, удачливого и непобедимого военачальника дона Альваро де Басан, маркиза де Санта Крус. Не могу не рассказать о том, как удалось добыть «Добычу». Сын Рыжей Бороды был жесток и дурно обходился с пленниками, и вот как скоро гребцы увидели, что галера «Волчица» гонится за ними и уже настигает, то все разом побросали весла и, схватив капитана, который, находясь на галере, кричал, чтобы они дружнее гребли, стали перебрасывать его от одной скамьи к другой, от кормы до самого носа, и при этом так его искусали, что вскоре после того, как он оказался у них в руках, душа его оказалась в преисподней, – столь жестоко, повторяю, он с ними обходился и такую вызвал к себе ненависть. Мы возвратились в Константинополь, а в следующем, семьдесят третьем, году там стало известно, что сеньор дон Хуан взял Тунис и, очистив его от турок, передал во владение мулею[215] Ахмету, тем самым отняв надежду вновь воцариться в Тунисе у мулея Хамида, самого жестокого и самого храброго мавра на свете. Султан, горько оплакивавший эту потерю, с присущим всему его роду коварством заключил мир с венецианцами, которые желали этого еще больше, чем он, а в следующем, семьдесят четвертом, году осадил Голету[216] и форт неподалеку от Туниса – форт, который сеньор дон Хуан не успел достроить. Во время всех этих военных действий я сидел за веслами и уже нисколько не надеялся на освобождение, – во всяком случае, я не рассчитывал на выкуп, ибо положил не писать о своем несчастье отцу.

Наконец пала Голета, пал форт, в осаде коих участвовало семьдесят пять тысяч наемных турецких войск да более четырехсот тысяч мавров и арабов со всей Африки, причем все это несметное войско было наделено изрядным количеством боевых припасов и военного снаряжения и располагало изрядным числом подкопщиков, так что довольно было каждому солдату бросить одну только горсть земли, чтобы и Голета и форт были засыпаны. Первою пала Голета, слывшая дотоле неприступною, – пала не по вине защитников своих, которые сделали для ее защиты все, что могли и должны были сделать, а потому, что рыть окопы, как показал опыт, в песках пустыни легко: обыкновенно две пяди вглубь – и уже вода, турки же рыли на два локтя, а воды не встретили. И вот из множества мешков с песком они соорудили столь высокий вал, что могли господствовать над стенами крепости, осажденные же были лишены возможности защищаться и препятствовать обстрелу с высоты.

Ходячее мнение было таково, что наши, вместо того чтобы отсиживаться в Голете, должны были в открытом месте ожидать высадки неприятеля, но так рассуждать можно только со стороны, тем, кому в подобных делах не приходилось участвовать. В самом деле, в Голете и форте насчитывалось около семи тысяч солдат, – так вот, могло ли столь малочисленное войско, какою бы храбростью оно ни отличалось, в открытом месте сдержать натиск во много раз превосходящих сил неприятеля? И какая крепость удержится, ниоткуда не получая помощи, когда ее осаждает многочисленный и ожесточенный враг, да еще сражающийся на своей земле? Напротив, многие, в том числе и я, полагали, что уничтожение этого бича, этой губки, этой моли, без толку пожирающей огромные средства, этого источника и средоточия зол, пригодного единственно для того, чтобы хранить память о том, как его завоевал блаженнейшей памяти непобедимейший Карл Пятый (точно память о нем, которая и без того

есть и будет вечною, нуждается для своего упрочения в этих камнях!), уничтожение его, говорю я, – это знак особой милости неба к Испании, особого его благоволения. Пал также и форт, однако туркам пришлось отвоевывать его пядь за пядью, ибо его защитники бились до того яростно и храбро, что неприятель, предприняв двадцать два приступа, потерял более двадцати пяти тысяч убитыми. Из трехсот человек, оставшихся в живых, ни один не был взят в плен целым и невредимым – явное и непреложное доказательство доблести их и мужества, доказательство того, как стойко они оборонялись, того, что никто из них не покинул своего поста. Сдался и еще один маленький форт или, вернее, воздвигнутая на берегу залива башня, которую защищал дон Хуан Саногера, валенсийский кавальеро и славный воин. Был взят в плен комендант Голеты дон Педро Пуэртокарреро, – он сделал все от него зависящее для защиты крепости и был так удручен ее падением, что умер с горя по дороге в Константинополь, куда его угоняли в плен. Попал в плен также комендант форта Габриеле Червеллон,[217] миланский дворянин, искусный строитель и отважнейший воин. В этих двух крепостях погибло немало прекрасных людей, как, например, Пагано Дориа,[218] кавалер ордена Иоанна Крестителя, высокой души человек, выказавший необычайное добросердечие по отношению к брату своему, славному Джованни Андреа Дориа. Смерть его тем более обидна, что пал он от руки арабов, коим он доверился, как скоро убедился, что форта не отстоять, и кои взялись доставить его, переодетого в мавританское платье, в Табарку[219] – небольшую гавань или, вернее, поселок, принадлежащий генуэзцам, заплывающим в эти воды на предмет добычи караллов, и вот эти самые арабы отрубили ему голову и отнесли ее командующему турецким флотом, но тот поступил с ними согласно нашей кастильской пословице: «Измена пригодится, а с изменником – не водиться», – говорят, будто командующий велел повесить тех, кто принес ему этот подарок, за то, что они не доставили Дориа живым.



Среди взятых в плен христиан – защитников форта был некто по имени дон Педро де Агилар, родом откуда-то из Андалусии, – в форте он был знаменщиком, и все почитали его за изрядного воина и за человека редкого ума, а кроме того, у него были исключительные способности к стихотворству. Заговорил я о нем потому, что волею судеб он стал рабом моего хозяина, и мы с ним оказались на одной галере и на одной скамье. И еще до того, как мы покинули эту гавань, помянутый кавальеро сочинил нечто вроде двух эпитафий в форме сонета, одну – посвященную Голете, а другую – форту. Откровенно говоря, мне бы хотелось вам их прочесть, ибо я знаю их наизусть и полагаю, что они вам не наскучат, а скорее доставят удовольствие.

При имени дона Педро де Агилара дон Фернандо взглянул на своих спутников, и все трое улыбнулись друг другу. Пленник совсем уже было собрался прочитать сонеты, но один из спутников дона Фернандо прервал его:

– Прежде чем продолжать, скажите, пожалуйста, ваша милость, что сталось с доном Педро де Агиларом, о котором вы упомянули?

– Вот что я о нем знаю, – отвечал пленник. – Два года он пробыл в Константинополе, а затем, переодевшись арнаутом, при посредстве греческого лазутчика бежал, но только не знаю наверное, на свободе ли он, хотя думаю, что на свободе, – год спустя я встретил грека в Константинополе, однако же мне не удалось его расспросить, чем кончился их побег.

– Он на свободе, – сказал кавальеро. – Ведь этот дон Педро – мой брат, и теперь он с женой и тремя детьми в добром здравии и в довольстве проживает в наших краях.

– Благодарю тебя, боже, за великую твою милость! – воскликнул пленник. – По мне, нет на свете большей радости, нежели радость вновь обретенной свободы.

– И вот еще что, – продолжал кавальеро, – я знаю сонеты моего брата.

– Так прочтите их вы, ваша милость, – сказал пленник, – уж верно, у вас это выйдет лучше, чем у меня.

– Охотно, – сказал кавальеро. – Вот сонет, посвященный Голете:



Глава XL,

в коей следует продолжение истории пленника



Вам, кто за веру отдал жизнь свою;
Чьи души, сбросив свой покров телесный,
Взнеслись на крыльях в высший круг небесный
И днесь блаженство обрели в раю;
Вам, кто в далеком и чужом краю

Служил отчизне преданно и честно;
Кто море и пески страны окрестной
Окрасил в кровь – и вражью, и свою;
Вам не отвага – силы изменили,
И ваше поражение в борьбе
Победою считаем мы по праву.
Здесь, меж руин, вы тлеете в могиле.
Стяжав ценою гибели себе
Бессмертье в мире том, а в этом славу.

– Да, это тот самый сонет, – заметил пленник.

– А вот, если память мне не изменяет, о форте, – сказал кавальеро.

Здесь, на песке бесплодном, где во прах
Низринул башни вихрь огня и стали,
Три тысячи бойцов геройски пали,
И души их теперь на небесах.

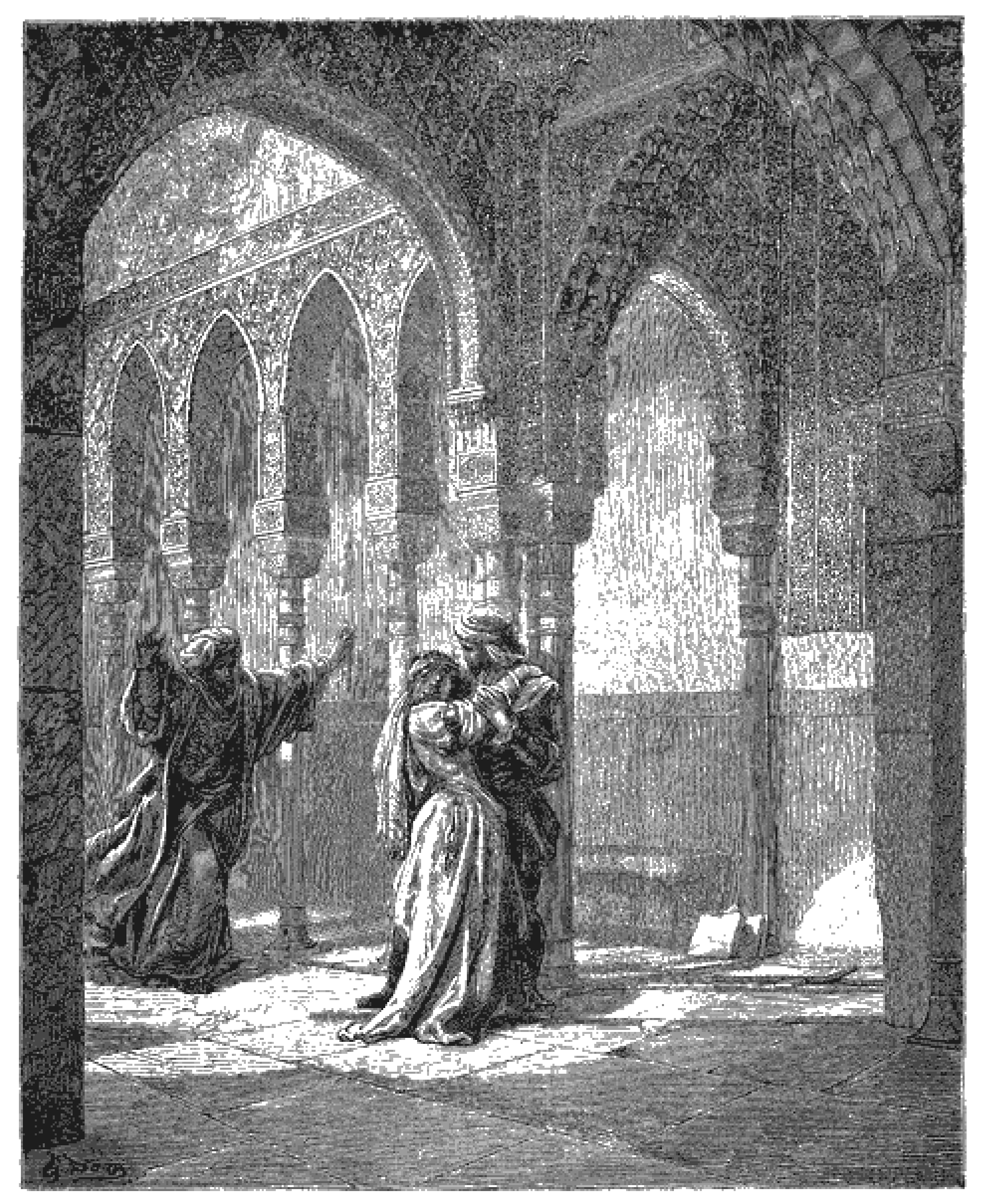
Не ведали они, что значит страх,И верх над ними взял бы враг едва ли,Когда б они рубиться не усталиИ не иссякла сила в их руках. Немало бед, в горниле войн пылая,И встарь и ныне видел этот край,Который кровь обильно оросила, Но никогда земля его скупаяСтоль смелых душ не воссылала в райИ тел столь закаленных не носила.

Все одобрили эти сонеты, и пленник, порадовавшись вестям о своем товарище, продолжал рассказ:

– Итак, Голета и форт пали, и турки отдали приказ сровнять Голету с землею (форт находился в таком состоянии, что там уже нечего было сносить), и, чтобы ускорить и облегчить работу, с трех сторон подвели под Голету подкоп, но что до сего времени казалось наименее прочным, то как раз и не взлетело на воздух, а именно – старые крепостные стены, все же, что осталось от новых укреплений, воздвигнутых Фратино,[220] мгновенно рухнуло. Наконец эскадра с победой и славой возвратилась в Константинополь, а несколько месяцев спустя умер хозяин мой Улудж-Али, по прозванию *Улудж-Али-Фарташ,* что значит по-турецки *шелудивый вероотступник,* ибо таковым он был на самом деле, турки же имеют обыкновение давать прозвища по какому-либо недостатку или же достоинству – и это потому, что у них существует всего лишь четыре фамилии, ведущие свое происхождение от Дома Оттоманов, тогда как прочим, повторяю, имена и фамилии даются по их телесным недостаткам или же душевным качествам. Так вот этот самый *Шелудивый,* будучи рабом султана, целых четырнадцать лет просидел за веслами, а когда ему было уже года тридцать четыре, он, затаив злобу на одного турка, который как-то раз на галере ударил его по лицу, отрекся от своей веры, дабы иметь возможность отомстить обидчику. Достоинства же его были столь велики, что он, и не прибегая к окольным путям, которыми приближенные султана обыкновенно пользуются, стал королем алжирским, а затем генерал-адмиралом, то есть занял третью по степени важности должность во всей империи. Родом он был из Калабрии, сердце имел доброе и со своими рабами обходился по-человечески, а рабов у него было три тысячи, и после его смерти, согласно оставленному им завещанию, их распределили между султаном, который почитается наследником любого из умерших своих подданных и получает равную с сыновьями покойного долю, и вероотступниками, состоявшими у Улудж-Али на службе. Я же достался одному вероотступнику родом из Венеции, – он был юнгой на корабле, когда его захватил в плен Улудж-Али, и вскоре он уже вошел к Улудж-Али в доверие, сделался одним из любимых его

советников, а в конце концов превратился в самого жестокого вероотступника, которого когда-либо видел свет. Звали его Гасан Ага,[221] и стал он весьма богат, и стал он королем Алжира. С ним я и отбыл туда из Константинополя, отбыл не без удовольствия, ибо Алжир совсем близко от Испании, – впрочем, я никому не собирался писать о своей недоле, я только надеялся, что в Алжире судьба будет ко мне благосклоннее, нежели в Константинополе, где я тысячу раз пытался бежать – и все неудачно. Так вот, в Алжире я рассчитывал найти иные способы осуществления того, о чем я так мечтал, ибо надежда обрести свободу никогда не оставляла меня, и если то, что я замышлял, обдумывал и приводил в исполнение, успеха не имело, я не падал духом и тотчас цеплялся и хватался за какую-нибудь другую надежду, пусть слабую и непрочную. Это меня поддерживало в алжирском остроге, или, как его называют турки, *банья,* куда сажают пленных христиан – как рабов короля и некоторых частных лиц, так и рабов *алмахзана,* то есть рабов городского совета, которых посылают на работы по благоустройству города и на всякие другие работы и которым особенно трудно выйти на свободу, ибо они принадлежат общине, но не отдельным лицам, так что если б даже они и достали себе выкуп, то все равно им не с кем было бы начать переговоры. В этих тюрьмах, как я уже сказал, содержатся рабы и некоторых частных лиц из местных жителей, преимущественно такие, за которых надеются получить выкуп, ибо здесь их работать не приневоливают, а глядят за ними в оба до тех пор, пока не придет выкуп. Так же точно и рабов короля, за которых ждут выкуп, посылают на работы вместе со всеми, только если выкуп запаздывает; в сем случае для того, чтобы они более решительно добивались выкупа, их принуждают работать и посылают вместе с прочими рубить лес, а это труд нелегкий.

Я тоже оказался в числе выкупных, ибо когда стало известно, что я капитан, то, сколько я ни уверял, что средства мои весьма скромны и что имущества у меня никакого нет, все же я был отнесен к разряду дворян и выкупных пленников. Меня заковали в цепи – не столько для того, чтобы легче было меня сторожить, сколько в знак того, что я выкупной, и так я жил в этом банья вместе с многими другими дворянами и знатными людьми, которые значились как выкупные и в качестве таковых здесь содержались. И хотя порою, а вернее, почти все время, нас мучили голод и холод, но еще больше нас мучило то, что мы на каждом шагу видели и слышали, как хозяин мой совершает по отношению к христианам невиданные и неслыханные жестокости. Каждый день он кого-нибудь вешал, другого сажал на кол, третьему отрезал уши, – и все по самому ничтожному поводу, а то и вовсе без всякого повода, так что сами турки понимали, что это жестокость ради жестокости и что он человеконенавистник по своей природе. Единственно, с кем он хорошо обходился, это с одним испанским солдатом, неким Сааведра,[222] – тот проделывал такие вещи, что турки долго его не забудут, и все для того, чтобы вырваться на свободу, однако ж хозяин мой ни разу сам его не ударил, не приказал избить его и не сказал ему худого слова, а между тем мы боялись, что нашего товарища за самую невинную из его проделок посадят на кол, да он и сам не раз этого опасался. И если б мне позволило время, я бы вам кое-что рассказал о подвигах этого солдата, и рассказ о них показался бы вам гораздо более занимательным и удивления достойным, нежели моя история.



Ну так вот: во двор нашего острога выходили окна дома одного богатого и знатного мавра, причем окна эти, как обыкновенно у мавров, скорее напоминали щелки, нежели окна, а в довершение всего на них висели отменно плотные, непроницаемые занавески. Случилось, однако ж, так, что, когда в один прекрасный день я и еще трое моих товарищей, оставшись одни, – ибо другие христиане ушли на работу, – от нечего делать пытались прыгать в кандалах на крыльце нашего острога, я невзначай поднял глаза и увидел, что в одном из этих завешенных окошек показалась тростинка, к коей был привязан платок, и тростинка эта двигалась и раскачивалась, точно это был знак, чтобы мы ее взяли. Посмотрели мы на нее, и наконец один из нас пошел поглядеть, бросят ли ему тростинку и что будет дальше, но как скоро он приблизился, тростинку подняли и махнули ею вправо и влево, словно отрицательно покачав головой. Возвратился христианин, и тростинка снова спустилась и стала раскачиваться, как прежде. Пошел второй мой товарищ, но и с ним случилось то же, что с первым. Наконец пошел третий, и с ним приключилось то же, что и с первыми двумя. Тогда и я решился попытать счастья, и только стал под окном, как кто-то выпустил тростинку из рук, и она упала на тюремный двор прямо к моим ногам. Я поспешил отвязать платок, и в узелке,

который я на нем обнаружил, оказалось десять *сиани,* то есть десять золотых монет низкой пробы: монеты эти имеют хождение у мавров, и каждая из них равна десяти нашим реалам. Нечего и говорить, какое удовольствие доставила мне эта находка, как я был рад и как я терялся в догадках – кто мог оказать нам это благодеяние, то есть, собственно, мне, ибо тростинку никому не желали спускать, кроме меня, а это был явный знак, что подарок предназначается мне. Я спрятал монетки, сломал тростинку, снова поднялся на крыльцо, взглянул на окно и увидел, что чья-то белоснежная ручка отворила окно и сейчас же захлопнула. Тут мы наконец сообразили и догадались, что одарила нас женщина из этого дома, и, дабы выразить ей свою признательность, мы, по мавританскому обычаю, сделали ей *селям,* то есть опустили голову, склонили стан и сложили на груди руки. Не в долгом времени из окна спустили тростниковый крестик и тотчас подняли. Знак этот указывал как будто на то, что там живет пленница-христианка и что это она облагодетельствовала нас, однако ж белизна ее руки и браслеты нас разуверили, и мы решили, что это, наверное, христианка-вероотступница, а на вероотступницах мавры часто женятся, да еще и почитают это за счастье, ибо ставят их выше своих соплеменниц. Эти наши соображения были весьма далеки от истины, но с тех пор мы, точно кораблеводители, чьи взоры прикованы к северу, только и делали, что смотрели на окно, в котором путеводною звездою нам блеснула тростинка, однако ж прошло две недели, а ни тростинки, ни руки, ни какого-либо другого знака не было видно. И хотя все это время мы всячески пытались разведать, кто живет в этом доме и нет ли там христианки-вероотступницы, однако ж толком никто нам ничего не мог сказать, кроме того, что там живет богатый и знатный мавр по имени Хаджи Мурат, бывший комендант Аль-Баты,[223] каковую должность мавры признают за одну из самых почетных. И вот, когда мы совершенно не рассчитывали, что на нас снова посыплется дождь сиани, нежданно-негаданно вновь показалась тростинка, а на ней опять платок с еще более толстым узлом, и случилось это, как и в прошлый раз, когда во всем банья никого, кроме нас, не было. Мы произвели все тот же опыт: прежде меня подошли трое моих товарищей, но тростинка никому из них в руки не далась – бросили ее только тогда, когда приблизился я. Я развязал узелок и обнаружил сорок испанских золотых и письмо, написанное по-арабски, с большим крестом в конце. Я поцеловал крест, спрятал золотые, возвратился на крыльцо, мы проделали наш селям, в окне снова показалась рука, я сделал знак, что прочитаю письмо, окно захлопнулось. Случай этот поразил и обрадовал нас, по-арабски же мы не разумели, и, как ни велико было наше желание узнать, что это письмо в себе заключает, однако ж найти кого-нибудь, кто бы нам его прочитал, было весьма затруднительно. В конце концов я решился открыться одному вероотступнику родом из Мурсии: он неукоснительно изъявлял мне свою преданность, а я был посвящен в такие его дела, что он, думалось мне, не осмелится выдать мою тайну. Надобно знать, что некоторые вероотступники, имеющие намерение возвратиться в христианские земли, обыкновенно запасаются письмами от знатных пленников, в которых пленники в той или иной форме удостоверяют, что такой-то вероотступник – человек порядочный, что с христианами он всегда обходился хорошо и собирался бежать при первой возможности. Иные достают эти свидетельства с хорошей целью, иные же – на всякий случай и не без задней мысли: в то время как они грабят христианские земли, им случается заблудиться и попасть в плен, и вот тут-то они и предъявляют свидетельства и говорят, что по этим бумагам видно, с какою целью они сюда прибыли, – их цель, дескать, остаться у христиан, и ради этого они-де и прибыли к нам на турецком корсарском судне. Это их спасает от расправы, и, нимало не пострадав, они мирятся с церковью, но при малейшей возможности возвращаются в Берберию и становятся тем же, чем были прежде. Есть среди них и такие, которые запасаются и пользуются этими письмами с добрыми намерениями и остаются у христиан. Одним из таких вероотступников был мой приятель: у него хранились письма от всех нас с самыми похвальными отзывами, так что если бы мавры нашли у него эти бумаги, они сожгли бы его живьем. Я знал, что он отлично умеет не только говорить, но и писать по-арабски. Однако ж, прежде чем поведать ему все, я сказал, что случайно обнаружил в щели моего барака письмо и прошу мне его прочитать. Он

развернул его, а затем долго разглядывал и разбирал, что-то бормоча себе под нос. Я спросил, понимает ли он, что тут написано, – он ответил, что великолепно понимает и что если мне угодно, чтобы он перевел мне его слово в слово, то чтобы я принес ему перо и чернила: так-де ему удобнее. Мы принесли ему и то и другое, он засел за перевод и, кончив, объявил:

«Вот буквальный перевод на испанский язык того, что содержит в себе арабское это письмо, – предуведомляю вас, что *Лела Мариам* всюду означает *владычица наша Дева Мария*».

Письмо было следующего содержания:

«Когда я была маленькая, невольница моего отца научила меня на моем родном языке христианской салаат и много мне рассказывала о Леле Мариам. Христианка эта умерла, и я знаю, что душа ее попала не в огонь, но к аллаху, ибо она мне потом дважды являлась и велела мне ехать к христианам и повидать Лелу Мариам, которая очень меня любит, а я не знаю, как это сделать. Я видела из окна много христиан, но одного тебя я почитаю за настоящего дворянина. Я молода и красива и могу захватить с собой много денег, – подумай, не можешь ли ты поехать вместе со мной, и там, если захочешь, ты станешь моим мужем, а если не захочешь, то и это не беда: Лела Мариам найдет мне жениха. Я это написала, – подумай, кому это дать прочесть, только не доверяйся маврам, ибо все они коварны. Это меня очень тревожит, и лучше бы ты не открывался никому, потому что, если мой отец про это узнает, он бросит меня в колодец и закидает камнями. Я прикреплю к тростинке нитку, а ты привяжи за нитку ответ. Если же у тебя нет никого, кто бы мог написать письмо по-арабски, то объяснись знаками, – Лела Мариам сделает так, что я тебя пойму. Да хранят тебя она и аллах, и еще этот крест, который я целую много раз, как мне велела невольница».

Вы не должны удивляться, сеньоры, тому, как удивило и обрадовало нас это письмо. И так велики были наше восхищение и наша радость, что отступник догадался, что не случайно найдено было это письмо, а что оно в самом деле написано одному из нас, и стал умолять, если только, мол, догадки его справедливы, довериться ему и поведать все, а он-де пожертвует жизнью ради нашего освобождения. Тут он снял с себя металлический крест и, проливая обильные слезы, поклялся изображенным на этом кресте богом, в которого он, будучи-де грешником и злодеем, искренне и твердо однако же верит, не изменить нам и сохранить в тайне все, что нам благоугодно будет ему поведать, ибо он полагал и почти был уверен, что с помощью той, которая написала это письмо, мы, а вместе с нами и он, обретем свободу, и сбудется наконец заветная его мечта – возвратиться в лоно святой нашей матери-церкви, от коей он, точно гниющий член, по неведению своему и грехам был удален и отсечен. При этом он так горько плакал и так искренне, по-видимому, раскаивался, что мы все сошлись на том, что надобно сказать ему всю правду, и точно: мы ему поведали все без утайки. Мы показали ему окошко, откуда спускалась тростинка, и он заметил этот дом и обещал приложить особые и чрезвычайные старания, чтобы выведать, кто там живет. Порешили мы также непременно ответить на письмо мавританки, и как теперь у нас было кому написать ей, то я немедленно продиктовал ему письмо, коего содержание я могу вам сейчас передать слово в слово, ибо ни одна из существенных подробностей этого происшествия не изгладилась из моей памяти и не изгладится до конца моих дней. Так вот какой ответ составлен был мавританке:

«Да хранит тебя, госпожа моя, правый аллах, а с ним и благословенная Мариам, истинная Матерь Божья, из любви к тебе вложившая в твое сердце мысль отправиться в христианские земли. Молись ей, да внушит она тебе, как исполнить ее повеление, – милосердие ее велико, и она тебе внушит. От своего имени, а равно и от имени всех христиан, находящихся вместе со мною, обещаю сделать для тебя все, что возможно, и если нужно – умереть за тебя. Непременно напиши и сообщи мне, что ты намерена предпринять, а я не замедлю ответом, ибо великий аллах послал нам пленного христианина, который умеет говорить и писать на твоем языке, о чем ты можешь судить по этому письму. Итак, ты безбоязненно можешь уведомлять меня обо всем. Ты пишешь, что хотела бы, прибыв в

христианскую страну, стать моею женою, я же, как добрый христианин, тебе это обещаю, а да будет тебе известно, что христиане держат свое слово лучше, чем мавры. Да хранят тебя, госпожа моя, аллах и матерь его Мариам».

После того как письмо это было написано и запечатано, мне пришлось ждать целых два дня, – наконец банья снова опустел, и тогда я вышел на крыльцо, на свое обычное место, и стал поглядывать, не покажется ли тростинка, и тростинка не замедлила появиться. Как скоро я ее заметил, так сейчас же, хотя мне и не было видно, кто ее держит, показал письмо, давая этим понять, что прошу спустить нитку. Нитка, однако, была уже прикреплена к тростинке, и я привязал письмо, а немного погодя вновь показалась наша звезда с белым флагом мира в виде платка. Платок упал, я поднял его и обнаружил в узелке более пятидесяти эскудо в различной серебряной и золотой монете, каковые в пятьдесят раз увеличили нашу радость и укрепили нашу надежду на освобождение. В ту же ночь возвратился отступник и сказал нам, что, по его сведениям, в этом доме живет тот самый мавр, о котором мы были наслышаны, что зовут его Хаджи Мурат, что у этого сказочно богатого человека есть дочь, единственная наследница его достояния, которую весь город почитает первой красавицей во всей Берберии, и что многие вице-короли приезжали просить ее руки, но она так ни за кого и не вышла. И еще отступник узнал, что была у нее невольница-христианка и что она умерла. Все это вполне соответствовало тому, что нам было известно из письма.

Мы тут же стали держать совет с отступником, как нам похитить мавританку и как нам всем пробраться в христианские земли, и в конце концов уговорились подождать вторичного уведомления от Зораиды (так звали ту, что ныне желает зваться Марией), ибо мы отлично понимали, что без нее нам всех трудностей не преодолеть. Когда же мы на том порешили, отступник сказал, чтобы мы не беспокоились, – он-де сам погибнет, а уж нас освободит. В течение четырех дней в остроге было полно народу, вследствие чего в течение четырех дней тростинка не появлялась, а на пятый день, как скоро в остроге снова стало тихо, показалась вновь, да еще с весьма заметно округлившимся узелком, сулившим наисчастливые роды. При моем приближении тростинка с платком спустилась, и я обнаружил в нем письмо и сто эскудо только в золотой монете. Отступник находился тут же, мы отвели его в наш барак, и он перевел нам ее письмо:

«Я не знаю, господин мой, как нам пробраться в Испанию, и Лела Мариам ничего мне не сказала, хотя я ее и спрашивала; вот что, однако, можно сделать: я тебе спущу из окна как можно больше золотых монет, ты же выкупишь на них себя и своих друзей, и тогда пусть кто-нибудь из вас отправится к христианам, купит фелюгу и вернется за остальными, а меня вы найдете в загородном доме моего отца, что у Бабассунских ворот, близко от моря, – там я с отцом и слугами буду проводить лето. Ночью вы меня беспрепятственно оттуда похитите и отведете к фелюге; только, смотри, женись на мне, а не то я пожалуюсь Мариам, и она тебя накажет. Если ты никому не можешь доверить покупку фелюги, то выкупи себя и поезжай сам, – я уверена, что ты умеешь держать свое слово лучше, чем кто-либо другой: ведь ты дворянин и христианин. Постарайся отыскать наш загородный дом, а когда я увижу, что ты здесь гуляешь, я пойму, что в банья никого нет, и передам тебе много денег. Да хранит тебя аллах, господин мой».

Вот что заключало в себе и гласило это второе письмо, по прочтении коего мы все, как один, объявили о своем желании быть выкупленными, вызвались поехать за фелюгой и обещали в срок возвратиться, в том числе и я, чему отступник, однако же, воспротивился, сказав, что он ни в коем случае не допустит, чтобы кто-нибудь один вышел на свободу раньше других: он, дескать, знает по опыту, что освободившиеся плохо исполняют обещания, которые они дали в плену, ибо знатные пленники не раз прибегали к этому способу: выкупали кого-нибудь из товарищей и, наделив его деньгами, посылали в Валенсию или же на Майорку, чтобы тот снарядил фелюгу и вернулся за теми, кто его выкупил, но еще не было случая, чтобы кто-нибудь вернулся, – достигнутая свобода и боязнь вновь утратить ее заставляли их забывать

обо всех обязательствах на свете. В виде примера он вкратце рассказал нам об одном происшествии, недавно случившемся с некими знатными христианами, самом необычайном из всех, что случались в этих краях, где каждую секунду творятся такие страшные дела, что только даешься диву. Коротко говоря, по его словам выходило так, что деньги, переданные нам для выкупа кого-нибудь из христиан, можно и должно отдать ему на приобретение тут же, в Алжире, фелюги якобы для того, чтобы вести и держать торг с Тетуаном и со всем побережьем, а, приобретя фелюгу, он-де мигом сообразит, как вывести нас из острога и посадить в фелюгу. Если же мавританка, как обещает, даст денег, чтобы выкупить всех, то тем лучше, потому что люди, выпущенные на свободу, и при свете дня могут сесть в фелюгу. Главная трудность состоит, мол, в том, что мавры не позволяют отступникам ни покупать, ни иметь никаких судов, за исключением больших кораблей, предназначенных для корсарства, ибо они опасаются, что приобретающий судно, особливо если это испанец, приобретает его не для чего-либо, а единственно для того, чтобы бежать к христианам. Но он-де выйдет из этого положения: купит фелюгу пополам с одним мавром-тагарином, предоставив ему равную долю в барышах, и под видом этого завладеет судном, а за все остальное он, мол, ручается. И хотя мне и моим товарищам казалось более благоразумным по совету мавританки послать кого-нибудь за фелюгой на Майорку, однако ж мы не посмели ему перечить из боязни, что если мы его не послушаемся, то он всех нас выдаст, а если откроется наш уговор с Зораидой, за которую мы готовы отдать жизнь, то и жизни нашей придет конец. Того ради положили мы предаться в руки господа бога и в руки отступника, и в ту же секунду был составлен ответ Зораиде, гласивший, что мы неуклонно будем исполнять все ее советы, ибо она все так умно придумала, словно ей это внушила сама Лела Мариам, и что теперь от нее одной зависит, отложить это предприятие или же немедленно осуществить. При этом я еще раз дал слово на ней жениться. А на другой день банья на наше счастье снова опустел, и Зораида в несколько приемов с помощью тростинки и платка передала нам две тысячи золотых и письмо, в котором было сказано, что в ближайшую *джуму,* то есть в пятницу, она переезжает в загородный дом своего отца и до отъезда передаст нам еще денег и что если этого недостаточно, то наше дело об этом уведомить, а она передаст нам, сколько мы попросим: у ее отца столько денег, что он, мол, не обратит внимания, а все ключи у нее в руках. Мы тот же час вручили отступнику пятьсот эскудо на приобретение фелюги, а восемьсот эскудо я дал за себя одному валенсийскому купцу, который тогда находился в Алжире, – он выпросил меня у короля под честное слово, обещав внести выкуп, как скоро прибудет корабль из Валенсии, а то если б он тут же внес за меня выкуп, это внушило бы королю подозрение, что выкупные деньги уже давно находятся в Алжире, а купец из выгоды об этом помалкивает. Словом сказать, хозяин мой был столь недоверчив, что я не отважился уплатить ему сразу. В пятницу прелестная Зораида должна была отправиться в загородный дом, а в четверг она передала нам еще тысячу эскудо, уведомила о завтрашнем переезде и попросила меня, в случае если меня отпустят, поскорее изучить местоположение загородного дома, под любым предлогом туда проникнуть и повидаться с нею. Я в кратких словах ответил ей, что так, мол, и сделаю и прошу ее поручить нас Леле Мариам и прочитать все те молитвы, коим пленница ее научила. Затем был внесен выкуп за трех моих товарищей, – сделано это было для того, чтобы облегчить выход из острога и чтобы они, видя, что я выкуплен, а они нет, хотя деньги есть, не возмутились и чтобы дьявол не подстрекнул их в чем-либо навредить Зораиде. Правда, зная их, я мог этого не опасаться, и все же не хотелось мне подвергать риску наше предприятие, а потому я их выкупил тем же самым способом, что и себя, то есть дал денег купцу, чтобы тот совершенно спокойно и безбоязненно мог взять их на поруки, однако же нашего заговора и нашей тайны мы ему не открыли, ибо это нам представлялось опасным.



Глава XLI,

в коей пленник все еще продолжает свой рассказ



Не прошло и двух недель, как вероотступник уже обзавелся отличной фелюгой, в которой могло поместиться свыше тридцати человек. А чтобы обезопасить свое предприятие и чтобы оно имело благовидный предлог, он вознамерился совершить и в конце концов совершил на ней путешествие в Сарджел, который находится в тридцати милях от Алжира в сторону Орана и где идет крупная торговля сушеными фигами. Несколько раз ездил он туда вместе с тагарином, о котором я уже упоминал. *Тагаринами* в Берберии называют мавров арагонских, а гранадских – *мудэхарами,* в Фецcанском же королевстве мудэхаров называют *эльчами,* и войско фецcанского короля состоит главным образом из них. Так вот, по пути отступник

неизменно становился на якоре в маленькой бухте, на расстоянии менее двух арбалетных выстрелов от того дома, где нас ожидала Зораида. Останавливался он, разумеется, умышленно и иной раз вместе с гребцами-маврами творил здесь салаат, а бывало, в виде упражнения, как бы в шутку проделывал то, что в скором времени намеревался проделать взаправду, именно: заходил в дом Зораиды и просил фруктов, и отец Зораиды хотя и не знал его, а все же не отказывал. Вероотступник мне после говорил, что сколько ни старался он вступить с Зораидою в переговоры и объявить ей, что отвезти ее к христианам я поручил ему и что она может быть спокойна и довольна, это ему так и не удалось, ибо мавританки ни с маврами, ни с турками обыкновенно не видятся, разве им прикажет отец или муж, тогда как с христианскими пленниками они позволяют себе общаться и беседовать даже больше, чем следует. А мне было бы неприятно, если бы он с нею заговорил: может статься, она встревожилась бы, видя, что ее судьба в руках вероотступника. Как бы то ни было, господь не захотел, чтобы это благое желание отступника исполнилось, отступник же, удостоверившись, что он беспрепятственно может ездить в Сарджел и обратно и бросать якорь где, когда и как ему заблагорассудится, что его товарищ татарин находится в полном у него подчинении, а я уже выкуплен, и, следственно, остается лишь подыскать среди христиан гребцов, сказал мне, чтобы я подумал, кого еще взять с собой помимо выкупленных, и условился с ними на ближайшую пятницу, ибо на этот день был назначен наш отъезд. Я подговорил двенадцать испанцев, именно тех, которые беспрепятственно могли покинуть город, и притом великолепных гребцов, а подыскать столько людей было не так-то легко, ибо двадцать корсарских судов уже вышли на промысел, забрав всех гребцов, так что я не нашел бы и этих, когда бы хозяин их не остался на лето в гавани, чтобы закончить постройку галиота, стоявшего на верфи. И вот этим двенадцати я сказал только, чтобы в ближайшую пятницу, вечером, они тайком и поодиночке вышли из города и возле дома Хаджи Мурата меня подождали. Это наставление я дал каждому из них в отдельности и наказал ничего не говорить другим христианам, которых они могут встретить, кроме того, что я велел-де ждать меня здесь. Уладив это, я гораздо охотнее принялся за другое: мне надлежало дать знать Зораиде, как обстоят дела, чтобы она, получив эти сведения, была наготове и не испугалась, если мы на нее нападем неожиданно, раньше, чем, по ее предположениям, фелюга может возвратиться от христиан. Итак, я порешил идти к ней и попытаться с нею поговорить. И вот накануне моего отъезда я отправился туда будто бы для сбора трав, и первый, кого я там встретил, был ее отец: он заговорил со мной на языке, который принят во всей Берберии и даже в Константинополе у пленных и у мавров, на языке ни мавров, ни кастильцев, ни какого-либо другого племени, но представляющем собою смешение всех языков и всем нам понятном, – так вот на этого сорта наречии он и спросил меня, чего мне надобно в его саду и кто я таков. Я ответил, что я невольник арнаута Мами[224] (я знал наверное, что арнаут Мами его ближайший друг) и что ищу я всевозможных трав для салата. Далее он спросил меня, выкупной я или нет и сколько просит за меня мой хозяин. В то время как мы с ним разговаривали, прекрасная Зораида, давно уже меня заметившая, вышла из дому. А как мавританки, повторяю, не стесняются показываться на глаза христианам и не избегают их, то она почла вполне приличным направиться к нам. Более того: едва лишь отец увидел, что она медленно направляется к нам, так сейчас же окликнул ее и велел подойти.

Я не имею довольно слов, чтобы описать дивную красоту и стройность любезной моей Зораиды, а также изящество и пышность наряда, в каком она представилась моим глазам, – скажу лишь, что на прекраснейшей ее шее, в ушах и в волосах у нее жемчуга было больше, нежели волос на голове. На щиколотках ее ног, по обычаю той страны обнаженных, были надеты две чистейшего золота *каркаджи* (так называются по-мавритански ножные кольца или браслеты), усыпанные таким количеством бриллиантов, что отец Зораиды, как я узнал от нее впоследствии, оценивал эти каркаджи в десять тысяч дублонов, и столько же стоили ее запястья. На ней было много жемчуга, и притом великолепного, ибо мавританки почитают крупный и мелкий жемчуг предметом наивысшей роскоши и щегольства, вот почему ни у

одного народа нет столько жемчуга, как у мавров, а про отца Зораиды говорили, что он обладатель не только большого количества лучшего в Алжире жемчуга, но и более двухсот тысяч испанских эскудо чистыми деньгами, и что распоряжается ими та, которая ныне распоряжается мною. Показалась ли она мне прекрасной в этом уборе или нет? Поглядев, какова она в обносках, оставшихся у нее после всех испытаний, вы можете судить, какова она была во времена благоденствия. Известно, что у красоты иных женщин есть свои дни и своя пора, и от какой-нибудь случайности они дурнеют или хорошеют, и вполне естественно, что душевные потрясения действуют на них таким образом, что они становятся более или, напротив, менее красивыми, чаще же всего уродуют их. Словом сказать, тогда она вышла ко мне вся разубранная и необыкновенно прекрасная, – по крайней мере, мне показалось, что такой красоты я никогда еще не видал. И, вспомнив в эту минуту, чем я ей обязан, я невольно подумал, что это божество, сошедшее с небес на землю ради моего счастья и ради моего спасения. Как скоро она приблизилась, отец сказал ей на их языке, что я невольник его друга арнаута Мами и что я пришел набрать трав для салата. Тогда она также приняла участие в разговоре и на том смешанном языке, о котором я уже упоминал, спросила меня, дворянин ли я и по какой причине я до сих пор себя не выкупил. Я ответил, что я уже выкуплен и что по цене можно судить, как дорожил мною хозяин: я принужден был уплатить ему за себя тысячу пятьсот султанов.[225] На это она мне сказала:

«Если б ты был невольником моего отца и ему давали за тебя вдвое больше – право, я уговорила бы его не соглашаться: вы, христиане, лжете на каждом шагу, вы прикидываетесь бедняками и обманываете мавров».

«Может, иной раз так и бывает, сеньора, – заметил я, – однако ж я с моим хозяином поступил по совести, и так я всегда поступал и буду поступать с кем бы то ни было».

«А когда ты уезжаешь?» – спросила Зораида.

«Думаю, завтра, – отвечал я, – завтра снимется с якоря французское судно, и я рассчитываю уехать на нем».

«А не лучше ли, – возразила Зораида, – подождать испанские суда и уехать с ними? Ведь французы вам не друзья».

«Нет, – отвечал я, – если бы вести об испанском судне оказались неложными, то я бы, конечно, его подождал, но вернее всего я уеду завтра, ибо так сильно во мне желание возвратиться на родину и увидеть милых моему сердцу людей, что я не стану откладывать свой отъезд до другого раза, хотя бы потом мне представился более удобный случай».

«Верно, ты оставил на родине жену, – заметила Зораида, – и теперь мечтаешь свидеться с нею?»

«Нет, я не женат, – отвечал я, – но я дал слово жениться, как скоро приеду на родину».

«И она красива – та, с которой ты связан словом?» – спросила Зораида.

«Чтобы воздать должное ее красоте, – отвечал я, – я могу сказать только, что она очень похожа на тебя».

Тут отец Зораиды засмеялся довольным смехом и сказал:

«Клянусь аллахом, христианин, уж верно, она очень красива, коли походит на мою дочь: ведь моя дочь – первая красавица во всем королевстве. Не веришь, так приглядись к ней, и ты увидишь, что я говорю правду».

В течение почти всего этого разговора отец Зораиды, как наиболее в разных языках сведущий, служил нам переводчиком, ибо хотя она и говорила на том ублюдочном языке, который, как я уже сказал, в тех краях принят, а все же изъяснялась более знаками, нежели словами. Мы еще не кончили беседовать, как вдруг прибежал мавр и громко крикнул, что четыре турка перелезли через забор в сад и рвут еще неспелые плоды. Старик испугался, и Зораида также, и это был страх вполне естественный, обычный страх мавров, находящихся под

пятою турок, ибо те, в особенности же турецкие солдаты, ведут себя нагло, помыкают ими и поступают с ними хуже, нежели с рабами. Итак, вот что сказал Зораиде отец:

«Дочь моя! Ступай домой и запрись, а я пойду поговорю с этими собаками, ты же, христианин, набери трав – и счастливого тебе пути, и да поможет тебе аллах благополучно возвратиться на родину».

Я поклонился ему, а он пошел к туркам, оставив меня вдвоем с Зораидой, Зораида же сделала вид, что идет домой, как приказал отец, но едва лишь он скрылся за деревьями, как она вернулась ко мне и со слезами на глазах молвила:

«Тамши, христианин, *тамши?»* (Что означает: «Ты уезжаешь, христианин, ты уезжаешь?»)

Я же ответил ей:

«Да, сеньора, но без тебя – ни за что. Жди меня в ближайшую джуму[226] и не пугайся, когда нас увидишь. Мы непременно уедем к христианам».

Я все растолковал ей так, что ничего неясного во всей нашей беседе для нее не осталось, и, обвив мне шею рукой, она неверными шагами направилась к дому, и это чуть было не кончилось для нас дурно, когда бы небо не распорядилось иначе, а именно: идем мы с нею, как я уже сказал, обнявшись, а ее отец прогнал турок, возвращается, смотрит – мы тут с нею прогуливаемся, и мы тоже видим, что он на нас смотрит, однако же находчивая и сообразительная Зораида не отняла руки, – напротив того, она еще теснее прижалась ко мне, склонила голову ко мне на грудь и чуть согнула колени, ясно и определенно давая этим понять, что ей нехорошо, а я всем своим видом показываю, что, мол, вынужден ее поддержать. Отец подбежал к нам и, видя, в каком состоянии дочь, спросил, что с нею, и, не получив ответа, сказал:

«Вне всякого сомнения, она испугалась набега этих собак, и ей стало дурно».

Тут он отторг ее от моей груди и прижал к своей, а она вздохнула и, приоткрыв еще влажные от слез глаза, молвила:

«Амши, христианин, амши!» («Уходи, христианин, уходи!»)

Отец же ей на это сказал:

«Христианину незачем уходить, дочка: он тебе ничего дурного не сделал, а турки ушли. Не бойся – право же, тебе нечего бояться: ведь я тебе сказал, что турок я попросил подобру-поздорову убраться».

«Именно они ее и испугали, как вы сами изволили заметить, сеньор, – сказал я, – но коли она велит мне уйти, то я не стану ей докучать. Счастливо вам оставаться. Когда понадобится, я, если позволите, опять приду к вам в сад за травами для салата, – хозяин мой говорит, что таких хороших трав ни в одном саду нет».

«Можешь приходить, когда тебе вздумается, – сказал Хаджи Мурат, – моя дочь сказала так не потому, чтобы ей было неприятно видеть тебя или же еще кого-нибудь из христиан, – это она туркам хотела сказать: уходите, а сказала тебе, а быть может, она подразумевала, что тебе пора идти за травами».

Тут я с ними обоими простился. Зораида, у которой, должно думать, душа разрывалась, пошла с отцом, а я под видом сбора трав не спеша, как мне только хотелось, обошел весь сад: высмотрел все входы и выходы, проверил, сколь крепки засовы и что может способствовать успеху нашего предприятия. Затем я дал подробный отчет обо всем отступнику и моим товарищам и уже не чаял, как дождаться минуты, когда можно будет беспрепятственно упиваться тем счастьем, которое в лице прекрасной и чудной Зораиды судьба мне послала. Время шло, и наконец настал долгожданный день и час, и, следуя плану и замыслу, который был нами одобрен лишь по зрелом размышлении и после долгого и многократного обсуждения, мы достигли желанной цели: на другой день после моего разговора с Зораидой в саду, а именно

в пятницу, вероотступник, чуть только смерклось, бросил якорь почти против самого дома прекраснейшей Зораиды.

Христиане, коим предстояло грести, уже предуведомленные, попрятались в разных местах неподалеку от дома. Они ждали меня с радостным нетерпением, их подмывало напасть на фелюгу, до которой от них было рукой подать: ведь они ничего не знали о нашем уговоре с отступником, – они полагали, что им придется своими руками завоевать себе свободу и перебить всех находящихся в фелюге мавров. И вот, как скоро я с моими товарищами здесь появился, они, завидев нас, выбежали навстречу. Городские ворота в это время уже закрывались, и на берегу не было ни души. Тут все мы стали думать, что лучше: идти прямо к Зораиде или же захватить врасплох мавров-мореходов, сидевших на веслах. И мы все еще раздумывали, когда к нам подошел отступник и спросил, отчего мы медлим: пора, мол, мавры в фелюге ничего не подозревают, а многие уже спят. Мы поделились с ним своими сомнениями, он же на это сказал, что самое важное – захватить сначала фелюгу, тем более что сделать это чрезвычайно легко и что тут нет никакого риска, а потом, дескать, пойдем к Зораиде. Мы с ним согласились и, не задерживаясь более, под его предводительством двинулись к фелюге, – он первый прыгнул в нее и, выхватив саблю, крикнул по-мавритански:

«Ни с места, иначе вам всем конец!»

В это время почти все христиане были уже на борту. Слова арраиса[227] напугали малодушных мавров, и, так и не взявшись за оружие, которого, впрочем, почти ни у кого из них не было, они молча дали христианам себя связать, христиане же, пригрозив маврам, что, только посмей они пикнуть, их тут же всех перережут, связали их с поспешностью чрезвычайною. После этого половина христиан осталась сторожить мавров, прочие под предводительством того же самого отступника направились к дому Хаджи Мурата и уже хотели было ломать ворота, как вдруг по счастливой случайности они отворились сами, да так легко, точно не были заперты. И вот, в полной тишине и молчании, оставшись незамеченными, приблизились мы к самому дому.

Прелестнейшая Зораида ждала нас у окна и, заслышав шаги, спросила вполголоса, не *низарани*[228] ли мы, то есть не христиане ли. Я отвечал утвердительно и попросил спуститься к нам. Узнав меня, она уже не колебалась, – ни слова не говоря, мгновенно спустилась вниз, отперла дверь и предстала пред нами столь прекрасною и в таком богатом уборе, что я не берусь ее описать. Увидев ее, я сейчас же схватил ее руку и стал целовать, за мною отступник и два моих товарища, да и остальные последовали нашему примеру, – правда, они не были посвящены в нашу тайну, но им было понятно одно – что мы ее благодарим и почитаем нашею избавительницею. Отступник спросил ее по-мавритански, дома ли ее отец. Она ответила, что дома и что он спит.

«Что ж, придется разбудить его и увезти с собою, – объявил отступник, – а также все ценное, что есть в этом великолепном доме».

«Нет, – сказала она, – моего отца никак нельзя трогать, а все ценное, что есть в нашем доме, я беру с собой, и этого вполне довольно, чтобы обогатить и удовлетворить вас всех: погодите, увидите сами».

И тут она, сказав, что сейчас вернется и чтобы мы не двигались и не шумели, вошла в дом. Я спросил отступника, о чем он с ней говорил, и он ответил на мой вопрос, тогда я ему сказал, что ни в чем не должно нарушать волю Зораиды, а Зораида между тем уже возвращалась с ларцом, полным золотых, коих было так много, что она еле его несла. Нужно же было случиться так, чтобы в это самое время проснулся отец Зораиды и услышал доносившийся из сада шум. И, высунувшись в окно, он тотчас узнал, что это христиане, и громко и дико закричал по-арабски: «Христиане, христиане! Воры, воры!» Крики эти повергли нас в превеликое смятение и трепет, однако же отступник, представив себе, какая грозит нам опасность, и решив, что необходимо с этим покончить, прежде нежели в доме начнется

переполох, с величайшею поспешностью бросился к Хаджи Мурату, а за ним кое-кто из нас, я же не решился оставить Зораиду, которая почти замертво упала в мои объятия. Словом сказать, те, что поднялись по лестнице, выказали такое проворство, что мгновение спустя они уже вели Хаджи Мурата со связанными за спиной руками и с платком во рту, чтобы он не мог выговорить ни слова, и они еще грозили ему, что одно, мол, слово – и прощайся с жизнью. Зораида закрыла лицо руками, чтобы не смотреть на отца, отец же ее, не подозревавший, что она по своей доброй воле предалась в наши руки, пришел в ужас. Однако мы могли надеяться теперь только на свои ноги, а потому быстрым и торопливым шагом двинулись к фелюге, где нас с нетерпением ждали, ибо уже начинали бояться, не случилось ли с нами недоброе.

Еще не было двух часов ночи, а мы все уже собрались в фелюге, и тут мы развязали отцу Зораиды руки и вынули у него изо рта платок, однако отступник еще раз повторил, что если он скажет хоть слово, то его убьют. Он же, как скоро увидел здесь свою дочь, начал тяжко вздыхать, особливо когда заметил, что я сжимаю ее в объятиях, а она не противится, не ропщет и не уклоняется, – что она спокойна. И все же он молчал, боясь, что мы приведем страшную угрозу отступника в исполнение. Между тем Зораида, видя, что она уже в фелюге и что мы собираемся отчаливать, а ее отец и прочие мавры связаны, попросила отступника передать мне, чтобы я сделал ей милость; отпустил мавров и освободил ее отца, ибо легче-де ей броситься в море, нежели видеть пред собою отца, который так горячо ее любит и которого из-за нее везут в плен. Отступник мне это передал, и я ответил согласием, но он возразил, что это не дело, ибо если их отпустить, то они кликнут клич и поднимут на ноги весь город, и тогда в погоню за фелюгой снарядят корветы, и нам и на суше и на море все пути к спасению будут отрезаны, – единственно, что можно было, по его мнению, сделать, это выпустить их, как скоро мы очутимся на христианской земле. На том мы и порешили, и Зораида, которой объяснили, почему мы не можем сей же час исполнить ее просьбу, объяснениями этими удовольствовалась. И вот могучие наши гребцы в безмолвном восторге и с радостною живостью взялись за весла, и, всецело поручив себя воле божией, мы легли на курс Майоркских островов, ибо то была ближайшая к нам христианская земля. Но тут подул северный ветер, море стало неспокойным, и держать курс прямо на Майорку оказалось невозможным – пришлось идти в виду берега, держа курс на Оран, что было весьма огорчительно, ибо нас могли заметить из Сарджела, гавани, расположенной на том же побережье, что и Алжир, в шестидесяти милях от него. А еще боялись мы повстречать в этих водах один из тех галиотов, которые обыкновенно возвращаются с грузом товаров из Тетуана. Впрочем, каждый из нас и все мы, вместе взятые, склонны были думать, что коли повстречается нам галиот с товаром, если только это не корсарский галиот, то мы не только не погибнем, но завладеем судном и уже с меньшим для себя риском сможем окончить наше путешествие. Зораида как опустила голову мне на руки, так, дабы не видеть отца, во все время плавания и не поднимала ее, и я слышал, как она молила о помощи Лелу Мариам.

Мы прошли добрых тридцать миль, когда наконец занялась заря, при свете которой мы обнаружили, что находимся на расстоянии трех аркебузных выстрелов от берега, берег же в этот час был пустынен, никто не мог нас заметить, но со всем тем мы дружными усилиями вывели судно в море, которое к тому времени утихло, а пройдя в открытом море около двух миль, мы предложили грести посменно, чтобы гребцы имели возможность перекусить, в провианте же у нас недостатка не было; гребцы, однако ж, объявили, что сейчас не время отдыхать, – пусть, мол, покормят их те, кто не гребет, они же ни за что не выпустят весел из рук. Так мы и сделали, и в это самое время подул пассатный ветер, вследствие чего мы принуждены были, оставив весла, поднять паруса и взять курс на Оран, ибо идти куда-либо еще не было никакой возможности. Все это было совершено с поспешностью чрезвычайною, и под парусами мы стали делать более восьми миль в час, не опасаясь уже ничего, кроме встречи с корсарскими судами. Маврам-гребцам мы дали поесть, а отступник утешил их, сказав, что

они не пленники – что их отпустят при первом случае. То же самое было объявлено отцу Зораиды, и он на это сказал:

«Чему угодно я готов, христиане, поверить, и чего угодно мог ожидать от вашей доброты и от вашего великодушия, но чтобы вы меня освободили, – нет, я не так прост, как вы полагаете. Вы не стали бы с такой для себя опасностью лишать меня свободы для того, чтобы теперь столь великодушно мне ее возвратить, особливо зная, кто я таков и сколь великий выкуп можете вы за меня получить. Если же вы соизволите назначить сумму выкупа, то я не колеблясь отдам вам все, что вы ни потребуете за меня самого и за несчастную дочь мою, или же за нее одну, ибо она есть большая и лучшая часть моей души».

Тут он горько заплакал, так что все мы прониклись к нему жалостью, а Зораида невольно на него взглянула и, увидев, что он плачет, до того растрогалась, что вскочила с моих колен и бросилась его обнимать, и тут они оба, прижавшись друг к другу лицом, столь жалобный подняли плач, что многие из присутствовавших начали им вторить. Однако ж, увидев на ней праздничный наряд и множество драгоценных камней, отец сказал ей на их языке:

«Что это значит, дочь моя? Вечор, перед тем как случиться ужасному этому несчастью, на тебе было простое домашнее платье, – между тем у тебя не было времени переодеться, и ты не получила никакой радостной вести, ради которой следовало бы наряжаться и прихорашиваться, и вдруг сегодня я вижу, что на тебе лучшее из платьев, какое я только знаю и какое я только мог тебе подарить, когда судьба была еще к нам благосклонна. Отвечай же, ибо это приводит меня в еще большее изумление и недоумение, нежели свалившееся на меня несчастье».

Все, что мавр говорил своей дочери, нам переводил отступник, а она не отвечала ни слова. Когда же мавр увидел у борта ларец, в котором Зораида хранила свои драгоценности – а он был уверен, что Зораида оставила его в Алжире и не взяла с собой в загородный дом, – то удивление его возросло, и он спросил, каким образом ларец попал к нам в руки и что в нем спрятано. Отступник же, не дожидаясь ответа Зораиды, ответил за нее:

«Не трудитесь, сеньор, задавать дочери вашей Зораиде столько вопросов, – я отвечу сразу на все. Итак, да будет вам известно, что она христианка и что это она распилила наши цепи и вывела нас на свободу. Она едет с нами по своей доброй воле, и я уверен, что она счастлива и что у нее теперь такое чувство, точно из мрака вознесли ее к свету, из смерти к жизни, из мук к блаженству».

«Он правду говорит, дочь моя?» – спросил мавр.

«Да», – отвечала Зораида.

«Так, значит, ты христианка, – продолжал старик, – так, значит, ты предала отца в руки врагов?»

На это ему Зораида ответила так:

«Да, я христианка, это правда, но я тебя не предавала, – все помыслы мои были устремлены не к тому, чтобы тебя покинуть или же причинить тебе зло, но единственно к собственному моему благу».

«Какое же это благо, дочь моя?»

«Об этом ты спроси Лелу Мариам, – отвечала Зораида, – она лучше меня сумеет тебе объяснить».

Стоило мавру это услышать, и он с невероятною быстротою бросился вниз головой в море и, без сомнения, утонул бы, если б из-за длинного и неудобного своего одеяния некоторое время не продержался на поверхности. Зораида стала кричать, чтобы мы его спасли, и мы поспешили ему на помощь и, ухватив за альмалафу, втащили его, полумертвого, лишившегося чувств, в фелюгу. Зораида *же,* отягченная печалью, начала по нем, как по покойнике, горько и жалобно плакать. Мы положили его на живот, изо рта у него полилась вода, и спустя два

часа он пришел в себя, а тем временем ветер переменил направление, и нас понесло к берегу, так что, дабы нашу фелюгу не выбросило на сушу, пришлось налечь на весла. Однако ж по счастливой случайности нас пригнало в бухту, которая находится за небольшим мысом, или же косою, и которую мавры называют *Кава Румия*,[229] что на нашем языке означает *блудница-христианка,* ибо у них существует предание, что здесь погребена *Кава,* из-за которой погибла Испания, *кава* же на их языке означает *блудница,* а *румия – христианка,* и когда нужда заставляет их в этой бухте становиться на якоре, то они почитают это за дурное предзнаменование и без крайней нужды на якоре здесь не становятся; для нас же это был не вертеп блудницы, но тихое и спасительное пристанище, ибо море все еще волновалось. Мы выслали на берег дозор, а между тем сами ни на секунду не выпускали весел из рук; отступник накормил нас из своих запасов, а затем мы стали горячо молиться богу и царице небесной и просить их о том, чтобы они были помощниками нашими и покровителями и чтобы столь счастливо начатое дело увенчалось благополучным концом. Зораида снова стала умолять нас высадить на берег ее отца и всех связанных мавров, ибо у нее не было сил смотреть на связанного отца и плененных соотечественников, при виде коих нежная ее душа содрогалась. Мы обещали отпустить их перед самым отплытием, ибо высадить их в этом безлюдном месте не представляло для нас опасности. Молитвы наши были отнюдь не напрасны, и небо услышало нас: на наше счастье ветер упал, отчего море снова утихло, как бы призывая нас безбоязненно продолжать путешествие. По сему обстоятельству мы развязали мавров и, к вящему их удивлению, одного за другим высадили на берег. Когда же мы стали высаживать отца Зораиды, который был теперь уже в твердой памяти, он сказал:

«Как вы думаете, христиане, почему эта тварь радуется моему освобождению? Думаете, из жалости ко мне? Разумеется, что нет, – просто-напросто мое присутствие мешает ей привести в исполнение низкий ее замысел. Не думайте также, что она пожелала оставить свою веру, убедившись в преимуществе вашей, – просто-напросто она узнала, что развратникам у вас вольнее живется, нежели у нас».

И, обратясь к Зораиде, меж тем как я и еще один христианин держали его за руки, дабы он снова не решился на какой-либо отчаянный шаг, воскликнул:

«О беспутная девка, о дитя неразумное! Почто отдалась ты во власть этих псов, исконных врагов наших! Да будет проклят тот час, когда я тебя породил, и да будут прокляты веселья и приятности, в коих я взрастил тебя!»

Видя, что он не собирается скоро умолкнуть, я поспешил высадить его на берег, но он и там продолжал громко сетовать и проклинать и просил Магомета умолить аллаха истребить нас, уничтожить и умертвить. Когда же мы снова пошли под парусами, до нас перестали долетать его слова, но зато мы видели его поступки, каковые заключались в том, что он хватал себя за бороду, рвал на себе волосы и катался по земле, однако ж ему потом удалось возвысить голос, и мы услышали, что он говорил:

«Воротись, возлюбленная дочь моя, воротись ко мне, я тебе все прощу! Отдай этим людям деньги – все равно теперь это уже их достояние, – и приди утешить скорбящего твоего отца, который расстанется с жизнью на этом пустынном бреге, если ты расстанешься с ним».

Зораида все это слышала, она страдала и плакала и наконец ответила ему так:

«Я стала христианкой по милости Лелы Мариам, – да будет же угодно аллаху, отец мой, чтобы она утешила тебя в твоем горе. Аллах видит, я не могла поступить иначе, христиане не склоняли на то моей воли: ведь если бы даже я порешила остаться дома и не ехать с ними, то это было бы свыше моих сил, – так жаждала моя душа сделать то, что мне столь добрым представляется делом, вам же, возлюбленный отец мой, столь злым».

Когда она это говорила, отец уже не слышал ее, а мы не видели его, и тут я стал утешать Зораиду, и все мы были теперь поглощены мыслью о путешествии нашем, которое облегчал попутный ветер, так что мы уже были уверены, что на рассвете следующего дня увидим берега

Испании. Однако же счастье так просто почти никогда не приходит и безоблачным не бывает, вместе с ним или же следом за ним непременно приходит несчастье, которое спугивает и омрачает его, и вот – то ли так угодно было судьбе, то ли подействовали проклятья, которые посылал своей дочери мавр: ведь каковы бы ни были отцовские проклятья, их всегда должно страшиться, – словом, часа в три ночи, когда, развернув паруса и сложив весла, ибо благодаря попутному ветру необходимость в гребле отпала, шли мы в открытом море, то при ярком свете луны мы увидели, что нам наперерез, держа руль к ветру, идет корабль с развернутыми четырехугольными парусами.[230] И шел он на таком близком от нас расстоянии, что, боясь наскочить на него, мы принуждены были убрать паруса, а там, чтобы пропустить нас, изо всех сил налегли на руль. С палубы встречного судна нас окликнули и спросили, кто мы такие и откуда и куда идем, но как вопросы свои они задавали на языке французском, то отступник сказал:

«Не отвечайте ни слова. Без сомнения, это французские корсары, от них пощады не жди».

После такого предостережения мы рассудили за благо молчать. Мы прошли немного вперед, и встречный корабль остался у нас с подветренной стороны, как вдруг раз за разом грянули два орудийных выстрела, и, должно полагать, то были цепные ядра,[231] ибо первое ядро срезало половину нашей мачты, и мачта вместе с парусом упала в воду, а ядро, выпущенное следом за ним из другого орудия, попало в середину нашей фелюги и пробило ее насквозь, никакого другого ущерба, однако ж, не причинив. Мы же, видя, что идем ко дну, начали громко взывать о помощи и просить вражеское судно спасти нас, ибо мы, дескать, тонем. Тогда они убрали паруса и спустили на воду шлюпку, и туда вошли человек двенадцать отлично вооруженных французов с аркебузами и зажженными фитилями и приблизились к нам. Видя, что нас немного и что фелюга идет ко дну, они нас подобрали, объявив при этом, что все это произошло потому, что мы были так невежливы и ничего им не ответили. Отступник схватил ларец с драгоценностями Зораиды и незаметно бросил его в море. Коротко говоря, все мы попали к французам, и те, расспросив нас обо всем, что им хотелось знать, как злейшие наши враги ограбили нас дочиста – у Зораиды они отняли даже каркаджи, которые были у нее на ногах. Но меня не столь огорчало то огорчение, какое они этим доставили Зораиде, сколь горько мне было думать, что, отняв у нее богатейшие и редкостнейшие сокровища, они отнимут у нее сокровище иное, коему нет цены и коим она сама особенно дорожила. Однако ж все помыслы этих людей вращаются вокруг наживы, алчность их ненасытима, и доходила она тогда до того, что они и невольничьи наши одежды отняли бы у нас, если б только это было им на что-нибудь нужно. И они уже склонялись к тому, чтобы завязать нас всех в парус и бросить в море, ибо они намеревались торговать в испанских гаванях, выдавая себя за бретонцев, и если б они оставили нас в живых, то грабеж был бы раскрыт и они подверглись бы наказанию, однако ж капитан, тот самый, который ограбил любезную мою Зораиду, сказал, что с него этой добычи довольно и что ни в какие испанские гавани он заходить не намерен, а хочет пройти Гибралтарский пролив ночью, или уж как там придется, и направиться в Ла Рошель, откуда они и вышли на разбой. Того ради порешили они дать нам со своего корабля шлюпку и наделить нас всем необходимым для остававшегося нам недолгого пути, что они на другой день и сделали – уже в виду берегов Испании, при виде коих мы позабыли все горести наши и бедствия, как будто бы с нами ничего не случилось – так велика радость обретения утраченной свободы.

Было, наверное, около полудня, когда нас посадили в шлюпку и дали нам два бочонка с водой и немного сухарей. Когда же в лодку спускалась прелестнейшая Зораида, капитан, внезапным состраданием движимый, вручил ей сорок золотых и не позволил морякам снять с нее те самые одежды, в коих вы ее сейчас видите. Мы сели в шлюпку и, стараясь показать французам, что мы не только на них не в обиде, но, напротив того, признательны им, поблагодарили их за ту милость, какую они нам сделали. Они удалились, держа курс на Гибралтарский пролив, а нашею путеводною звездою была земля, видневшаяся впереди, и мы

столь усердно начали грести, что на закате были уже совсем близко от берега и, по нашим расчетам, вполне могли высадиться до наступления ночи. Но луна все не показывалась, небо было темное, местность же эта была нам незнакома, а потому мы почли небезопасным сей же час высаживаться на берег, хотя многие держались противоположного мнения и утверждали, что нам должно пристать к берегу, пусть даже к скалистому и безлюдному, и таким образом рассеять вполне естественный страх наш перед судами тетуанских корсаров, которые ночуют в Берберии, а зарю обыкновенно встречают уже у берегов Испании и, захватив добычу, возвращаются к себе домой. В конце концов восторжествовали те, что советовали не спеша подойти к берегу и, если море будет спокойно, высадиться где придется. Так мы и сделали и незадолго до полуночи приблизились к подошве громадной и крутой горы, возвышавшейся не на самом берегу, так что между нею и морем оставалось небольшое пространство, на котором вполне удобно было высаживаться. Шлюпка врезалась в песок, мы сошли на берег, облобызали землю и со слезами несказанной радости и счастья возблагодарили господа бога нашего за неизреченную его милость. Вытащив шлюпку на берег и забрав припасы, мы стали взбираться на гору, но и поднявшись на большую высоту, мы всё не могли унять волнение и не смели верить, что под нами земля христиан.

Мы не чаяли, как дождаться рассвета. Наконец поднялись на вершину горы и стали смотреть, не видно ли отсюда какого-нибудь селения или пастушьей хижины, однако ж, куда ни обращали мы взор, ни людей, ни селений, ни троп, ни дорог не было видно. Со всем тем порешили мы идти дальше, ибо, думалось нам, не может быть, чтобы вскоре нам кто-нибудь не повстречался и не сказал, где мы находимся. Меня же особенно мучило то, что Зораида шла через эти дебри пешком, – надобно сказать, что я попробовал посадить ее к себе на плечи, но ее больше утомляло мое утомление, нежели мог ей дать отдохновения ее отдых, и потому она не захотела более меня обременять, – всю дорогу она, держа меня за руку, безропотно шла сама и даже казалась веселою. И вот, когда мы прошли около четверти мили, до слуха нашего долетел звон колокольчика – явный знак того, что поблизости должно было быть стадо. И, внимательно оглядевшись, не видать ли кого-нибудь, заприметили мы юного пастуха: безмятежный и беззаботный, он, сидя под дубом, вырезывал ножом палочку. Мы окликнули его, – он вскинул голову, мигом вскочил, и, как мы узнали потом, первые, кто представился его глазам, были отступник и Зораида в мавританских одеждах, и тут он, вообразив, что все берберийские мавры идут на него, стремглав пустился в лес, крича во всю мочь:

«Мавры, мавры на нашей земле! Мавры, мавры! К оружию, к оружию!»

Крики эти смутили нас, и мы не знали, как быть. Приняв, однако ж, в рассуждение, что крики пастуха поднимут на ноги местных жителей и что конная береговая охрана[232] мгновенно примчится узнать, в чем дело, мы уговорились, что отступник снимет с себя турецкое платье и наденет невольничий *йелек,* то есть куртку, которую один из нас, сам оставшись в одной сорочке, тут же ему и уступил. Итак, положившись на волю божию, пошли мы в ту сторону, куда побежал пастух, и все время ждали нападения береговой охраны. И предчувствие не обмануло нас, ибо не прошло и двух часов, едва успели мы выбраться из дебрей на равнину, как показалось около полусотни всадников, с необычайною быстротою летевших прямо на нас, и, увидев их, мы остановились в ожидании. Но когда они подскакали и вместо мавров, за которыми они гнались, увидели перед собою нищих христиан, то смутились, и один из них спросил, не мы ли явились причиной того, что некий пастух взывал к оружию.

«Да», – отвечал я и только было хотел рассказать, что со мною сталось, откуда мы и кто мы такие, как один из христиан, наших спутников, узнал всадника, который нас допрашивал, и, перебив меня, воскликнул:

«Прославим господа, сеньоры, за это великое счастье! Если я не ошибаюсь, мы ступаем по земле Велес Малаги, и если годы плена не ослабили мою память, то вы, сеньор – вы, что спрашиваете, кто мы такие, – Педро де Бустаманте, мой дядя».

Только пленный христианин успел это вымолвить, как всадник спрыгнул с коня и, обняв юношу, воскликнул:

«Милый мой, любезный мой племянник, я тебя узнаю! Ведь я уже оплакивал твою кончину, и я, и моя сестра, твоя мать, и все твои сродники, которые еще остались в живых, – видно, богу было угодно продлить им жизнь, дабы они на тебя порадовались. Мы знали, что ты в Алжире, и по одежде твоей и спутников твоих я догадываюсь, что вы чудом вырвались из плена».

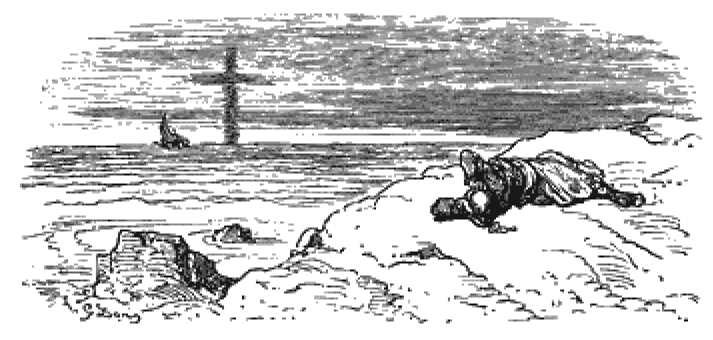
«То правда, – подтвердил юноша, – и у нас еще будет время рассказать вам обо всем».

Другие всадники, уразумев, что мы пленные христиане, немедленно спешились и предложили нам своих коней, чтобы доставить нас в город Велес Малагу, находившийся в полутора милях отсюда. Некоторые из них, узнав, что мы оставили шлюпку, вознамерились переправить ее в город, другие посадили нас на своих коней, а Зораиду посадил к себе дядя нашего спутника. Один из всадников нарочно поехал вперед, чтобы известить жителей о нашем возвращении из плена, и весь город высыпал нам навстречу. Но не пленники, вырвавшиеся на свободу, и не пленные мавры привели в изумление горожан, ибо для жителей прибрежных селений это привычное зрелище, – их изумила красота Зораиды, которая именно в эту минуту и в это мгновение была особенно хороша, чему способствовали как дорожная усталость, так и радость при одной мысли, что она находится у христиан, в полнейшей притом безопасности, и оттого на щеках ее заиграл столь яркий румянец, что я осмеливаюсь утверждать, если только любовь моя в тот миг меня не ослепляла, что более прекрасного создания нет в целом свете, – по крайней мере, я такого не видел.

Мы пошли прямо в церковь возблагодарить бога за ниспосланную нам милость, и Зораида, войдя в храм, сказала, что здесь есть лики, напоминающие Лелу Мариам. Мы сказали Зораиде, что это и есть ее изображение, а отступник постарался ей объяснить, что они обозначают и почему она должна чтить их, как если бы каждое из них представляло собою подлинный лик той самой Лелы Мариам, которая с нею беседовала. Зораида, будучи девушкою понятливою и одаренною умом живым и ясным, мгновенно постигла все, что ей об этих изображениях было сказано. Затем нас всех разместили по разным домам, отступника же, Зораиду и меня наш бывший товарищ по несчастью повел в дом к своим родителям, людям довольно зажиточным, и те приняли нас не менее радушно, чем собственного сына.

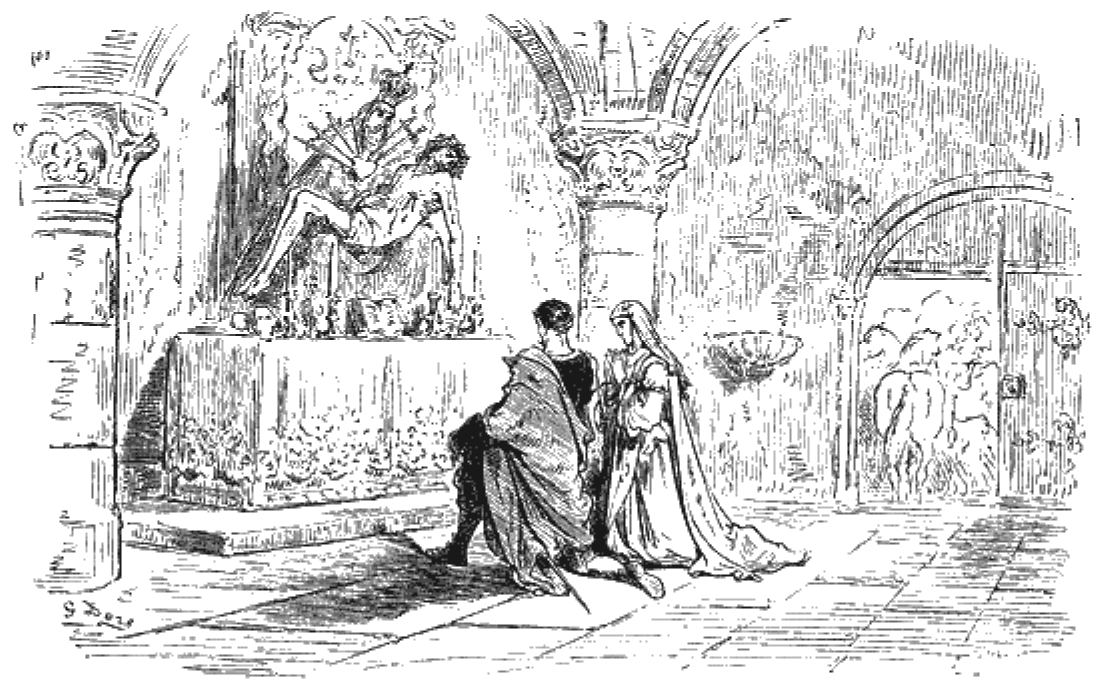
Шесть дней пробыли мы в Велесе, а затем отступник, наведя необходимые справки, поехал в город Гранаду, чтобы там при посредстве священной инквизиции возвратиться в лоно святой церкви,[233] другие освобожденные христиане отправились кто куда, остались лишь мы с Зораидой, и на те деньги, которые француз из любезности ей вручил, я купил осла, и на нем она сюда и приехала, я же до сей поры был для нее отцом и слугою, но не супругом, и едем мы с нею узнать, жив ли мой отец и кто из моих братьев оказался удачливее меня, хотя, впрочем, я полагаю, что, послав мне такую спутницу жизни, как Зораида, небо не могло уготовать мне лучшего жребия. Стойкость, с какою Зораида переносит лишения, которые влечет за собою нужда, а также страстное ее желание стать христианкою восхищают меня и побуждают служить ей до последнего моего издыхания. И все же радость, какую я испытываю при мысли о том, что я принадлежу ей, а она мне, омрачена и отравлена, ибо я не знаю, найдется ли на моей родине уголок, где бы можно было нам с ней поселиться, – может статься, время и смерть явились причиною таких перемен в делах и в самой жизни моего отца и братьев, что никто меня там и не узнает.

Вот, сеньоры, и вся моя история, – судить же о том, насколько она занимательна и необычна, предоставляется вашему просвещенному мнению. Я, со своей стороны, скажу лишь, что мне хотелось быть еще более кратким, хотя, впрочем, я и так уж из боязни наскучить вам опустил кое-какие подробности.



Глава XLII,

повествующая о том, что еще случилось на постоялом дворе, и о многих других достойных внимания вещах



Пленник, сказавши это, умолк, и тогда дон Фернандо обратился к нему с такими словами:

– Поистине, сеньор капитан, форма, в которую вы облекли рассказ о необычайных своих приключениях, не уступает новизне и необычности самого предмета. Все здесь странно, своеобразно, полно неожиданностей, которые изумляют и потрясают слушателей. И такое удовольствие доставили вы нам своим рассказом, что хотя бы даже нас застала заря, мы охотно послушали бы еще раз.

И тут дон Фернандо и все присутствовавшие с такою благожелательностью и горячностью стали предлагать ему свои услуги, что эта их сердечность тронула капитана. Дон Фернандо, в частности, объявил, что если тот пожелает отправиться с ним, то он устроит так, что крестным отцом Зораиды будет его брат, маркиз, а он, со своей стороны, наделит капитана всем необходимым для того, чтобы тот мог возвратиться на родину с честью и со средствами, особе его подобающими. Пленник в наипочтительнейших выражениях изъявил свою признательность, но от всех этих любезных предложений отказался.

Между тем настала ночь, и уже в полной темноте к постоялому двору подъехала карета в сопровождении нескольких верховых. Они попросились на постой, но хозяйка объявила, что на всем постоялом дворе свободного угла нет.

– Для кого, для кого, а для сеньора аудитора[234] уголок найдется, – возразил один из подъехавших всадников.

При этих словах хозяйка смешалась.

– Сеньор! – сказала она. – Беда в том, что у нас нет ни одной кровати. Вот если у сеньора аудитора постель своя, а у него, уж верно, есть своя постель, тогда милости просим, мы с мужем уступим ему нашу комнату.

– Так-то лучше, – заметил слуга.

В это время из кареты вышел человек, по одежде коего можно было тотчас определить чин его и звание, ибо длинная его мантия со сборчатыми рукавами свидетельствовала о том, что слуга не солгал и что это, и точно, судья. Он вел за руку девушку лет шестнадцати в дорожном одеянии, столь привлекательную, хорошенькую и изящную, что все ею залюбовались, так что, не окажись на постоялом дворе Доротеи, Лусинды и Зораиды, можно было бы подумать, что такой красивой девушки скоро не сыщешь. Находившийся тут же Дон Кихот, увидев аудитора с девушкой, молвил:

– Ваша милость безбоязненно может в этом замке располагаться. Правда, здесь тесно и неудобно, но нет на свете такой тесноты и таких неудобств, которые не расступились бы перед военным искусством и перед ученостью, особливо когда предводительницею и начальницею их является красота, предводительствующая вашею, сеньор, ученостью в лице этой прелестной девушки, пред которой не только воротам замка надлежит отворяться и распахиваться, дабы впустить ее, но и скалы должны распадаться, и раздвигаться и рушиться горы. Входите же, ваша милость, в этот рай, где вы найдете и звезды, и солнца, способные быть спутниками того неба, которое милость ваша привезла с собою: тут найдете вы и военное искусство во всем его блеске, и красоту во всем ее великолепии.

Аудитор, пораженный его речами, стал внимательно его разглядывать, и наружность Дон Кихота поразила аудитора не меньше, чем его речи; и, не найдясь, что на них ответить, он снова поразился, как скоро увидел перед собою Лусинду, Доротею и Зораиду, которые, услышав новость, что прибыли новые гости, и узнав от хозяйки, что девушка – красотка, пошли поглядеть на нее и поздороваться с нею, но как раз в это время дон Фернандо, Карденьо и священник с чрезвычайным дружелюбием и отменною учтивостью стали предлагать аудитору свои услуги. Наконец сеньор аудитор, в полном недоумении от всего виденного и слышанного, вошел, и тут прелестные обитательницы постоялого двора обратились к прелестной девушке с приветствием. Как бы то ни было, аудитору не могло не броситься в глаза, что все это люди знатные, однако облик и наружность Дон Кихота, а также его манера держаться сбивали аудитора с толку. Обменявшись любезностями и осмотрев помещение, присутствовавшие порешили так, как уже было решено прежде, а именно – что женщины переночуют в уже упоминавшейся комнате для постояльцев, а мужчины, как бы для охраны, останутся в сенях. Словом, аудитор позволил своей дочери, – надобно заметить, что молодая девушка была его дочь, – ночевать в одной комнате с другими женщинами, чем доставил ей большое удовольствие, и, объединив часть узкого ложа, предоставленного хозяином, с половиной постельных принадлежностей аудитора, женщины устроились на ночь лучше, чем могли предполагать.

У пленника при виде судьи сильно забилось сердце, ибо смутное предчувствие говорило ему, что это его брат, и он спросил одного из сопровождавших аудитора слуг, кто он таков и откуда родом. Слуга ответил, что это лиценциат Хуан Перес де Вьедма и что родился он, кажется, в горах Леона. Это известие в дополнение к тому, что он видел своими глазами, окончательно убедило пленника, что это его брат, тот самый, который по совету отца пошел по ученой части; и, охваченный радостным волнением, отозвал он дона Фернандо, Карденьо и священника в сторону и, сообщив им эту новость, уверил, что аудитор его родной брат. Слуга рассказал ему также, что его господин получил назначение в Америку, в мексиканскую

судебную палату; еще пленник узнал, что девушка эта – дочь судьи, а что жена его умерла от родов, оставив ему дочь и богатейшее приданое. Пленник спросил, как ему быть: назвать себя сей же час или лучше выведать исподволь, устыдится его брат, когда увидит, что он так беден, или же примет его с распростертыми объятиями.

– Поручите это испытание мне, – сказал священник, – тем более что я не допускаю мысли, сеньор капитан, чтобы он вас неласково встретил: весь облик вашего брата дышит таким благородством и умом, что его никак нельзя заподозрить ни в спесивости, ни в черствости, ни в нежелании принимать в соображение превратности судьбы.

– Со всем тем, – заметил капитан, – мне бы хотелось не вдруг, а как-нибудь обиняками дать ему знать, кто я таков.

– Повторяю, – объявил священник, – я устрою так, что все мы останемся довольны.

Тем временем подали ужинать, и все сели за стол, кроме пленника, а также дам, ужинавших отдельно в своей комнате. За ужином священник сказал:

– С такой же фамилией, как у вашей милости, сеньор аудитор, был у меня один приятель в Константинополе, где я несколько лет пробыл в плену. Приятеля этого почитали за одного из самых отважных солдат и военачальников во всей испанской пехоте, но он был столь же доблестен и смел, сколь и несчастен.

– А как звали этого военачальника, государь мой? – спросил судья.

– Его звали Руй Перес де Вьедма, и родился он в горах Леона, – отвечал священник. – Он рассказал мне про своего отца и братьев такое, что если б мне это рассказывал не столь правдивый человек, как он, то я подумал бы, что это одна из тех сказок, которые зимой у очага любят рассказывать старухи. Он мне сказал, что его отец разделил имение между тремя своими сыновьями и дал им советы более мудрые, нежели советы Катона. И вот, изволите ли видеть, сын, пожелавший пойти на войну, так отличился, что вскоре за выказанную им доблесть и бесстрашие ему дали чин капитана от инфантерии, чем он был обязан единственно своим заслугам, и не сегодня-завтра его должны были произвести в полковники. Но как раз когда он мог надеяться на особую милость Фортуны, она изменила ему, и вместе с ее покровительством он лишился свободы в тот наисчастливейший день, когда столькие обрели ее, то есть в день битвы при Лепанто. Я утратил свободу в Голете, и вот, после стольких приключений, мы встретились с ним в Константинополе и подружились. Оттуда он попал в Алжир, и там, сколько мне известно, с ним произошел один из самых необыкновенных случаев, какие когда-либо происходили на свете.

Далее священник в самых кратких чертах изложил то, что произошло между Зораидой и братом судьи, судья же так внимательно слушал, как не слушал никого даже во время судебного разбирательства. Священник, дойдя до того, как французы ограбили ехавших в фелюге христиан, описал бедность и нищету, в какую впали его приятель и красавица-мавританка, а что с ними сталось потом, пробрались ли они в Испанию или же французы увезли их с собой во Францию, – этого он, дескать, не знает.

Стоявший поодаль капитан слушал, что говорит священник, и следил за малейшим движением своего брата, а тот, видя, что рассказ священника подходит к концу, тяжело вздохнул и со слезами на глазах воскликнул:

– Ах, сеньор! Если б вы знали, какие вести сообщили вы мне и как они меня взволновали! Несмотря на все мое благоразумие и уменье владеть собой, слезы все же выдали мое волнение и навернулись мне на глаза. Отважный капитан, о котором вы рассказываете, это мой старший брат; будучи человеком более мужественным и более возвышенного образа мыслей, нежели я и другой мой брат, избрал он почетное и достойное поприще, то есть один из тех путей, которые предначертал нам отец, о чем вы уже знаете со слов вашего товарища, чье жизнеописание показалось вам похожим на сказку. Я избрал ученую часть и на этом пути с божьей помощью, а также благодаря собственному моему прилежанию достигнул известных

вам степеней. Другой мой брат так разбогател в Перу, что теми деньгами, которые он посылал отцу и мне, он не только с лихвою возместил полученную им в свое время долю имения, но еще и предоставил возможность моему отцу выказывать присущую ему щедрость, а мне с честью и успешно окончить занятия и вступить в теперешнюю мою должность. Отец мой на краю могилы, жаждет вестей о старшем своем сыне и неустанно молит бога, чтобы смерть не сомкнула ему очей до тех пор, пока он еще при жизни не взглянет в очи своего сына, в котором меня лично удивляет одно: почему он, обыкновенно столь догадливый, не удосужился подать о себе весточку и уведомить отца как о своих мытарствах и огорчениях, так и о своих успехах: ведь если бы отец или же братья что-нибудь о нем знали, то, чтобы добиться выкупа, ему не пришлось бы дожидаться чуда с тростинкой. А теперь я со страхом думаю, отпустили его французы или же, чтобы скрыть грабеж, умертвили. Одной этой мысли довольно, чтобы я продолжал свой путь не с радостью, как я начал его, но с превеликою грустью и печалью. О добрый мой брат! Если б кто-нибудь мне сказал, где ты теперь, я отыскал бы тебя и избавил от мук, хотя бы ценою собственных! О, если бы кто-нибудь принес старику-отцу весть о том, что ты жив, но томишься в самой глубокой из берберийских подземных темниц – оттуда извлекло бы тебя наше богатство, богатство отца, брата и мое! О прекрасная и отзывчивая Зораида! Если б можно было вознаградить тебя за добро, которое ты сделала моему брату! О, если б нам довелось присутствовать при возрождении твоей души и на твоей свадьбе, которой мы были бы несказанно рады!

Так говорил аудитор, до глубины души взволнованный вестями о брате, и все слушали его с сильным движением чувства, вызванным его скорбью. Между тем священник, удостоверившись, что цель его достигнута и желание капитана исполнено, и решив, что пора положить конец общему унынию, встал из-за стола и, войдя в помещение, где находилась Зораида, взял ее за руку, а за нею последовали Лусинда, Доротея и дочь аудитора. Капитан ждал, что будет делать священник, а тот и его взял за руку и вместе с ними обоими приблизился к аудитору и прочим кавальеро.

– Сеньор аудитор! Вытрите слезы, – молвил он. – И да будет венцом желания вашего наивысшее благо, какого вы только могли бы желать, ибо перед вами добрый ваш брат и добрая ваша невестка. Вот это – капитан Вьедма, а это – прекрасная мавританка, которая сделала ему так много хорошего. Французы, о которых я упоминал, ввергли их в нищету, дабы вы могли выказать щедрость доброго вашего сердца.

Капитан бросился обнимать своего брата, а тот, чтобы лучше его рассмотреть, положил ему руки на плечи; когда же он окончательно уверился в том, кто перед ним, то сдавил его в своих объятиях и заплакал жаркими слезами радости, так что, глядя на него, многие из присутствовавших прослезились. Речи обоих братьев, а равно и сердечное их волнение вряд ли, думается мне, можно себе представить, а не только что передать. И вот они уже вкратце рассказали друг другу о себе; и вот уже оба брата уверились в неизменности дружеских своих чувств; и вот уже аудитор обнял Зораиду; и вот уже попросил он ее распоряжаться его имением как своим собственным; и вот уже велел он своей дочке обнять Зораиду; и вот уже, глядя на прекрасную христианку и прекраснейшую мавританку, все прослезились снова. И вот уже Дон Кихот, молча и с неослабным вниманием следивший за всеми этими необыкновенными событиями, истолковал их во вкусе небылиц о странствующем рыцарстве. И вот уже порешили, что капитан, Зораида и его брат поедут вместе в Севилью и известят отца, что сын его бежал из плена и нашелся, дабы тот, если только он может, выехал в Севилью, где ему надлежит присутствовать при крещении Зораиды и на свадьбе вместо аудитора, которому нельзя мешкать в пути, ибо он получил известие, что через месяц из Севильи в Новую Испанию отправляется флотилия, и упустить этот случай было бы ему весьма неудобно. Словом, все были счастливы и довольны, что у пленника все благополучно окончилось, а как почти две трети ночи уже прошло, то решено было долее не задерживаться и лечь спать. Дон Кихот вызвался охранять замок, дабы предотвратить нападение какого-нибудь великана или же

какого-нибудь недоброго человека, который позарится на бесценные сокровища красоты, в этом замке хранящиеся. Все, кто знал Дон Кихота, поблагодарили его и рассказали о его странностях аудитору, чем немало его потешили. Один лишь Санчо Панса был в отчаянии, что почтенное собрание никак не угомонится, и лишь он один, прикорнув на упряжи своего осла, расположился со всеми удобствами, что ему отнюдь не дешево обойдется, но об этом речь еще впереди. Итак, дамы ушли к себе, мужчины постарались устроиться с возможно меньшими неудобствами, а Дон Кихот отправился за ворота, дабы, согласно данному обещанию, объезжать замок дозором.

Случилось, однако ж, так, что перед зарей до слуха дам долетел столь приятный и сладкий голос, что все невольно заслушались, особливо Доротея, которая лежала рядом с доньей Кларой де Вьедма (так звали дочь аудитора) и не спала. Никто не мог догадаться, кто это так хорошо поет, и притом без сопровождения какого-либо инструмента. Порою казалось, что поют во дворе, порой – что в конюшне, и они, все еще находясь в полном недоумении, внимательно слушали, когда к дверям приблизился Карденьо и сказал:

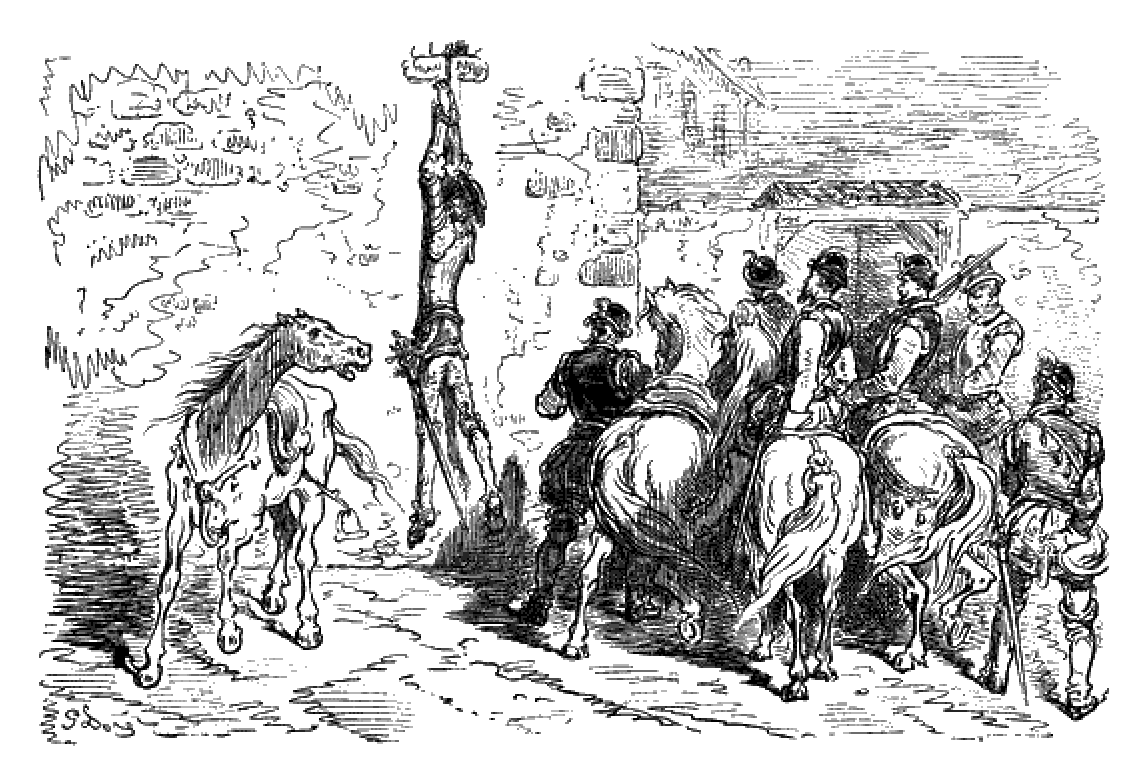
– Если вы не спите, то послушайте: это поет погонщик мулов, и голос у него поистине дивный.

– Мы слушаем, сеньор, – отозвалась Доротея. Карденьо в ту же минуту удалился, а Доротея, вся – внимание, уловила слова вот этой самой песни:



Глава XLIII,

в коей рассказывается занятная история погонщика мулов и описываются другие необычайные происшествия, на постоялом дворе случившиеся



В грозный океан любви,
Беспредельный и бездонный,
Как моряк, я уплываю,
Хоть и не достигну порта.

Я ведом звездой столь яркой,Всюду столь приметной взору,Что таких не видел дажеПалинур,[235] Энеев кормчий; Но куда ведом – не знаюИ скитаюсь в бурном море,День и ночь следя за неюВосхищенно и тревожно. То чрезмерная стыдливость,То надменная холодностьОт меня ее скрывают,Словно толща туч грозовых. О светило, в чьем сияньеПросветляюсь я душою!Коль погаснешь для меня ты,Жизнь во мне погаснет тоже.

В этот миг Доротея подумала, что Кларе тоже не мешает послушать столь приятный голос, и для того начала тормошить ее и, разбудив, сказала:

– Прости, крошка, что я тебя бужу, но мне хочется, чтобы ты насладилась звуками голоса, прекраснее которого ты, может статься, никогда больше не услышишь.

Клара пробудилась и спросонок не вдруг догадалась, чего от нее хотят; она переспросила Доротею и, только когда Доротея еще раз все повторила, стала прислушиваться; однако ж не успела она уловить следующие два стиха, как на нее напала странная дрожь, точно это был сильный приступ лихорадки, и, прижавшись всем телом к Доротее, она воскликнула:

– Ах, дорогая, милая моя сеньора! Зачем вы меня разбудили? Самое лучшее, что могла бы для меня сейчас сделать судьба, – это закрыть мне глаза и уши, чтобы я не видела и не слышала несчастного этого певца.

– Что ты, моя крошка? Ведь говорят, что это погонщик мулов.

– Это владелец нескольких поместий, – возразила Клара, – а кроме того, он так прочно завладел моим сердцем, что теперь оно вечно будет принадлежать ему, если только он сам не захочет его покинуть.

Подивилась Доротея красноречию девушки, разумной, по ее мнению, не по летам, и сказала:

– Вы говорите так, сеньора Клара, что я не могу вас понять. Выражайтесь яснее и скажите, как надобно понимать ваши слова о сердце, о поместьях и об этом певце, чей голос столь сильно тревожит вас. Впрочем, не говорите мне сейчас ничего, а то мне придется вас успокаивать, я же не хочу лишать себя удовольствия послушать пение, тем более что это, по-моему, новая песня и новый напев.

– Ну что ж, пусть себе поет, – сказала Клара.

И, чтобы не слушать, она заткнула себе уши, снова приведя в изумление Доротею, а Доротея напрягла внимание и уловила такие слова:

Моя надежда! К цели

Прокладывай себе тернистый путь,

Которым шла доселе,

И малодушно не мечтай свернуть

С дороги этой длинной,

Где каждый новый шаг грозит кончиной.

Тем, кто ленив и вял,Кто в этой жизни грудью встретить, бедыНи разу не дерзал,Не суждены триумфы и победы:Нет счастья для того,Кто не умеет с бою взять его. Любовь, что и понятно,В ущерб себе не раздает наградБессчетно и бесплатно.Она свои дары хранит, как клад.От века так ведется:В цене лишь то, что трудно достается. Упорство – вот залогТого, что невозможное возможно,И хоть я изнемог,Взаимности взыскуя безнадежно,А все ж упрямо жду,Что на земле небесный рай найду.

На этом песня кончилась, а Клара начала рыдать и тем возбудила любопытство Доротеи, коей любопытно было знать, что означают столь сладостное пение и столь жалобный плач; и того ради она еще раз спросила, что хочет сказать ей Клара. Тогда Клара, боясь, как бы не услышала Лусинда, прижалась к Доротее и, нагнувшись к самому ее уху, так что теперь она могла быть совершенно уверена в сохранении своей тайны, молвила:

– Тот, кто сейчас пел, госпожа моя, это родной сын одного арагонского кавальеро, владельца двух поместий, обитающего в столице как раз напротив моего отца. И, хотя в доме моего отца зимой на окнах занавески, а летом решетчатые ставни, этот кавальеро, который учился в столице, каким-то образом увидел меня: то ли в церкви, то ли где-нибудь еще. Словом, он в меня влюбился и из окон своего дома стал мне изъясняться в любви с помощью знаков и обильных слез, так что в конце концов я не могла ему не поверить и полюбила сама, хотя еще не знала, за что. Один из тех знаков, которые он мне делал, состоял в том, что он складывал обе руки вместе, давая этим понять, что он на мне женится. Я бы очень этого хотела, но я одинока, матери у меня нет, посоветоваться не с кем, и оттого единственная радость, какую я могла ему доставить, заключалась в том, что, когда родителей наших не было дома, я приподнимала, чтобы ему лучше было меня видно, занавеску или же приотворяла ставню, а он с ума сходил от восторга. Между тем нам с отцом пришло время уезжать, о чем кавальеро узнал, но не от меня, ибо я никак не могла его уведомить. Он заболел – по всей вероятности, от горя, – и в день нашего отъезда я не могла даже бросить на него прощальный взгляд, но прошло два дня, и вот еду я по селу, до которого отсюда не более дня пути, и вижу, что у

ворот постоялого двора стоит он, до того искусно переодетый погонщиком мулов, что, когда бы образ его не был запечатлен в моей душе, я ни за что бы его не узнала. Я узнала его, подивилась и обрадовалась. Он взглянул на меня украдкой, так, чтобы не видел отец, и теперь он прячется от него всякий раз, когда мы встречаемся с ним в пути или же на постоялых дворах. И вот, потому что мне известно, кто он таков, и понятно, что это он из любви ко мне идет пешком и терпит всяческие неудобства, я и болею за него душой, и взор мой сопутствует ему всюду. Не знаю, каковы его намерения и как удалось ему бежать от отца, который любит его превыше меры, ибо это его единственный сын, и к тому же достойный такой любви, в чем вы удостоверитесь, как скоро его увидите. И еще я должна сказать: все эти песни он сам сочинил, – мне говорили, что он оказывает большие успехи в учении и в стихотворстве. Да, еще: когда я вижу его или слышу, как он поет, я вся дрожу от страха и волнения – боюсь, как бы не узнал его мой отец и не догадался о нашей сердечной склонности. За все время я с ним словом не перемолвилась, и, однако ж, я люблю его так, что не могу без него жить. Вот и все, что я могу вам сказать, госпожа моя, об этом певце, чей голос так пленил вас, что уж по одному этому вы могли бы догадаться, что это не погонщик мулов, как вы говорите, но, как я уже сказала, владелец поместий и сердец.

– Больше вы мне ничего не говорите, сеньора донья Клара, – сказала ей на это Доротея, осыпая ее поцелуями, – говорю вам, ничего мне больше не говорите и подождите до утра: бог даст, дело ваше увенчает счастливый конец, коего столь невинное начало заслуживает.

– Ах, сеньора! – воскликнула донья Клара. – Чего мне ждать, когда отец его столь знатен и богат, что, по его мнению, я, конечно, недостойна быть служанкою его сына, а не то что женою? А между тем украдкой от моего отца я ни за что на свете не выйду за него замуж. Я хочу одного: чтобы юноша оставил меня и возвратился домой, – может статься, разлука и огромное расстояние, которое нас разделит, уврачуют душевную мою рану. Впрочем, я знаю наверное, что придуманное мною средство большой пользы мне не принесет. Не могу понять, что это за дьявольское наваждение и как в мое сердце закралась любовь, – ведь я еще так молода, и он еще так молод, право, я думаю, мы с ним ровесники, а мне еще нет шестнадцати: отец говорит, что мне исполнится шестнадцать лет на Михаила-архангела.

Детские рассуждения доньи Клары насмешили Доротею, и она ей сказала:

– Давайте подремлем, сеньора, ведь скоро уже и утро, а утром, бог даст, наша возьмет, это уж вы мне поверьте!

Тут они уснули, и на всем постоялом дворе воцарилась мертвая тишина; не спали только хозяйская дочь и служанка Мариторнес: наслышанные о повадке Дон Кихота, а также о том, что он сейчас, вооруженный и верхом на коне, сторожит постоялый двор, они вознамерились над ним подшутить или, во всяком случае, позабавиться немного его болтовней.

Надобно знать, что ни одно окно постоялого двора не выходило в поле, за исключением отверстия в сарае, – отверстия, в которое снаружи кидали солому. Полторы девицы подошли к нему и обнаружили, что Дон Кихот, восседая на коне и опершись на копье, по временам так глубоко и тяжко вздыхает, точно при каждом вздохе душа его расстается с телом. И еще услышали они тихий его, нежный и страстный голос:

– О госпожа моя Дульсинея Тобосская, венец красоты, верх и предел мудрости, родник остроумия, обиталище добродетели и, наконец, воплощение всего благодетельного, непорочного и усладительного, что только есть на земле! О чем твоя милость в сей миг помышляет? Может статься, ты думаешь о преданном тебе рыцаре, который добровольно, единственно ради тебя, стольким опасностям себя подвергает? Поведай мне о ней хоть ты, о трехликое светило![236] Может статься, ты на ее лик завистливым оком сейчас взираешь, в то время как она изволит гулять по галерее роскошного своего дворца или же, грудью опершись на балюстраду, размышляет о том, как бы, блюдя свою честь и достоинства своего не роняя, утишить муку, которую бедное мое сердце из-за нее терпит, каким блаженством воздать мне

за мои страдания, каким покоем – за мою заботу, какою жизнью – за мою смерть, как наградить меня за мою службу. И ты, златокудрый, уже спешащий запрячь коней,[237] дабы заутра помчаться навстречу моей госпоже, – как скоро ее ты увидишь, молю: передай ей привет от меня, но, созерцая ее и приветствуя, остерегись в то же время к лику ее прикоснуться устами, не то я приревную ее к тебе сильнее, нежели ты ревновал легконогую гордячку,[238] за которой ты до изнеможения гонялся то ли по равнинам Фессалии, то ли по берегам Пенея, – точно не помню, где именно ты, ревнивый и влюбленный, носился тогда.

Дон Кихот намерен был продолжать трогательную свою речь, но в это время его окликнула хозяйская дочь и сказала:

– Государь мой! Соблаговолите подъехать сюда.

На ее знаки и зов Дон Кихот повернул голову и при луне, особенно ярко в это время сиявшей, увидел, что кто-то подзывает его из сарая; при этом ему померещилось, что это окно, да еще с золоченою решеткою, именно такою, какая роскошному приличествует замку, за который он принимал постоялый двор; и тут расстроенному его воображению мгновенно представилось, что и сейчас, как и в прошлый раз, прелестная дева, дочь владелицы замка, не в силах долее сдерживать свою страсть, снова добивается от него взаимности; и в сих мыслях, дабы не признали его за человека неучтивого и неблагодарного, он тронул поводья, подъехал к отверстию и, увидев двух девушек, молвил:

– Я весьма сожалею, прелестная сеньора, что любовные ваши мечтания устремлены на предмет, который не в состоянии ответить вам так, как великие ваши достоинства и любезность заслуживают, в чем вам не должно винить сего злосчастного странствующего рыцаря, коему Амур воспрещает находиться в подчинении у кого бы то ни было, кроме той, которая в то самое мгновение, когда его взор упал на нее, стала самодержицею его души. Простите меня, досточтимая сеньора, удалитесь в свои покои и чувств своих мне не открывайте, ибо я не хочу лишний раз выказывать неблагодарность. Если же при всей вашей любви ко мне вы пожелаете, чтобы я услужил вам чем-либо, к любви отношения не имеющим, то попросите меня об этом, – клянусь именем отсутствующей кроткой моей врагини, я в ту же секунду достану любую вещь, хотя бы вам понадобилась прядь волос Медузы,[239] – а ведь это были не волосы, а змеи, – или даже солнечные лучи, в стеклянный сосуд уловленные.

– Моя госпожа ни в чем таком не нуждается, сеньор рыцарь, – сказала ему на это Мариторнес.

– А в чем же госпожа ваша нуждается, мудрая дуэнья? – спросил Дон Кихот.

– Только в вашей прекрасной руке, – отвечала Мариторнес, – чтобы рука ваша укротила страсть, которая привела ее к этому окошку и из-за которой она рискует погубить свою честь: ведь если батюшка увидит ее, то все кости ей переломает.

– Ну, это еще положим! – воскликнул Дон Кихот. – Пусть будет осторожнее, если не хочет, чтобы его столь печальный постигнул конец, какой еще ни одного отца на свете не постигал, за то, что он дерзнул поднять руку на нежную дочь свою, пылающую любовью.

Мариторнес, уверившись, что Дон Кихот не преминет протянуть руку, и сообразив, как надобно действовать, мигом слетала в конюшню и, прихватив недоуздок Санчо-Пансова осла, вновь очутилась возле отверстия в ту самую минуту, когда Дон Кихот стал на седло, чтобы достать до зарешеченного окна, за которым, по его представлению, должна была находиться раненная любовью дева, и, протянув ей руку, молвил:

– Вот вам, сеньора, моя рука, или, лучше сказать, этот бич всех злодеев на свете. Вот вам моя рука, говорю я, к коей не прикасалась еще ни одна женщина, даже рука той, которая безраздельно владеет всем моим существом. Я вам ее протягиваю не для того, чтобы вы целовали ее, но для того, чтобы вы рассмотрели сплетение ее сухожилий, сцепление мускулов, протяжение и ширину ее жил, на основании чего вы можете судить о том, какая же сильная должна быть эта рука, если у нее такая кисть.

– Сейчас посмотрим, – сказала Мариторнес и, сделав на недоуздке петлю, накинула ее Дон Кихоту на запястье и затянула, а затем подбежала к воротам сарая и другой конец недоуздка крепко-накрепко привязала к засову. Ощутив жесткое прикосновение ремня, Дон Кихот сказал:

– У меня такое чувство, как будто ваша милость не гладит мою руку, а трет ее теркой. Не обходитесь с нею столь жестоко: ведь она неповинна в той жестокости, какую по отношению к вам выказало мое сердце; бессердечно вымещать весь свой гнев на столь малой части тела. Помните, что кто любит всем сердцем, тот столь жестоко не отомщает.

Но никто уже Дон Кихота не слушал, ибо только успела Мариторнес привязать его, и обе они, помирая со смеху, дали стрекача, Дон Кихот же был совершенно лишен возможности высвободиться.

Как известно, он стоял на Росинанте, просунув в отверстие руку, коей запястье было привязано к засову, и, с превеликим страхом и беспокойством думая о том, что ежели Росинант дернет, то он повиснет на руке, не смел пошевелиться, хотя от такого смирного и долготерпеливого существа, как Росинант, вполне можно было ожидать, что оно целый век простоит неподвижно. Наконец, удостоверившись, что он привязан и что дамы ушли, Дон Кихот вообразил, что тут дело нечисто, – ведь и прошлый раз в этом же замке очарованный мавр в образе погонщика отколотил его; и мысленно он уже проклинал себя за недогадливость и неосмотрительность: чуть живым выбравшись из этого замка в первый раз, он рискнул посетить его вторично, хотя опыт показывал, что если какое-либо приключение кончается для странствующего рыцаря неудачей, то из этого следует, что оно предуготовано не для него, а для кого-нибудь еще, и ему нет никакого смысла искать его снова. Со всем тем он дергал руку, пытаясь высвободиться, но его так крепко привязали, что все усилия его были тщетны. Правда, дергал он руку с опаской, чтобы не сдвинулся с места Росинант; и как ни хотелось ему сесть в седло, однако он принужден был стоять на ногах или уж вырвать себе руку.

И пошли тут сожаления о том, что нет у него Амадисова меча, супротив коего всякое колдовство бессильно; и пошли тут проклятия судьбе; и пошли тут явные преувеличения того урона, какой потерпит мир, пока он будет заколдован, а что он, точно, заколдован, в этом он ни одной секунды не сомневался; и пошли тут опять воспоминания о дражайшей Дульсинее Тобосской; и пошли тут взывания к доброму оруженосцу Санчо Пансе, который в это время, прикорнув на седле своего осла, спал столь крепким сном, что забыл даже, как звали его родительницу; и пошли тут мольбы о помощи, обращенные к волшебникам Лиргандею и Алкифу; и пошли тут заклинания, обращенные к искренней его приятельнице Урганде, с мольбою о заступлении, а когда наконец настало утро, то он, смятенный и охваченный безнадежным отчаянием, ревел, как бык, ибо уже не надеялся, что новый день положит конец его муке, которая, казалось ему, будет длиться вечно, оттого что он заколдован. И утверждался он в этой мысли, видя, что Росинант стоит как вкопанный; и мнилось ему, что вот так, не евши, не пивши, не спавши, он и его конь простоят до тех пор, пока не кончится дурное влияние небесных светил или же какой-нибудь более мудрый колдун его не расколдует.

Но он очень ошибся в расчетах, ибо только начало светать, как к постоялому двору подъехали четыре всадника, великолепно одетые и снаряженные, с мушкетами у седельных лук. Ворота постоялого двора были еще заперты, и они начали изо всех сил стучать; тогда Дон Кихот, который, несмотря ни на что, почитал за должное нести караул, громко и запальчиво крикнул:

– Рыцари или оруженосцы, кто бы вы ни были! Перестаньте стучать в ворота этого замка, ибо яснее ясного, что в столь раннюю пору обитатели его еще вкушают сон, да и врата всякой крепости отворяются не прежде, нежели солнце распространит по всему миру свои лучи. Итак, поворотите ваших коней и подождите, пока рассветет, а там мы посмотрим, стоит вам отворять или нет.

– Какой там еще замок или крепость и какого черта вы заставляете нас разводить эти церемонии? – вскричал один из всадников. – Коли вы хозяин постоялого двора, так распорядитесь, чтобы нам отворили, – мы только покормим коней и поедем дальше: нам очень некогда.

– Неужели, рыцари, я похож на хозяина постоялого двора? – спросил Дон Кихот.

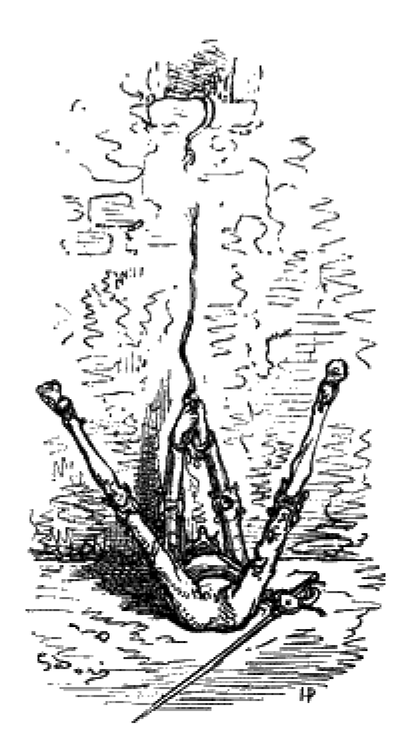
– Не знаю, на кого вы похожи, – отвечал другой всадник, – знаю только, что вы порете дичь, ибо постоялый двор именуете замком.

– Это замок, – подтвердил Дон Кихот, – да еще один из лучших во всей округе, у обитателей же его некогда был в руках скипетр, а на голове корона.

– Лучше бы наоборот, – заметил путешественник, – скипетр на голове, а на руках корона.[240] И сдается мне, что это, уж верно, лицедеи, потому короны и скипетры у них не переводятся, между тем постоялый двор этот слишком мал и оттуда не слышно ни малейшего шума, так что вряд ли здесь могли остановиться особы, достойные короны и скипетра.

– Плохо же вы знаете свет, – возразил Дон Кихот, – коли не имеете понятия о том, какие со странствующими рыцарями бывают случаи.

Спутникам всадника, который вступил в переговоры с Дон Кихотом, препирательства эти наскучили, и они неистово забарабанили в ворота, так что проснулись все, кто только на постоялом дворе находился, а хозяин пошел узнать, кто стучит. В это самое время одному из четырех коней, которые принадлежали новоприбывшим, вздумалось обнюхать Росинанта, а тот, печальный и унылый, опустив уши и не шевелясь, подпирал собою своего висевшего между небом и землею хозяина; но как он все же был живой конь, хотя и казался деревянным, то в долгу остаться не мог – и давай обнюхивать того, кто к нему ласкался; и вот, чуть только он шевельнулся, как ноги у Дон Кихота разъехались и соскользнули с седла, так что, не будь у него привязана рука, он грянулся бы оземь; при этом он почувствовал боль нестерпимую, точно ему резали кисть руки или же старались вывихнуть плечо, – он висел так низко, что пальцы его ног почти касались земли, но от этого ему было только хуже, ибо, чувствуя, что еще немного, и он всею ступнею упрется в землю, он из кожи вон лез, чтобы дотянуться до земли, точь-в-точь как преступники, для коих избирают орудие пытки с блоком и которые, будучи низко-низко подвешены, сами же увеличивают свои страдания: обманутые надеждою, что еще одно усилие – и можно будет достать до земли, они настойчиво пытаются вытянуться.



Глава XLIV,

в коей продолжается рассказ о неслыханных происшествиях на постоялом дворе



Одним словом, Дон Кихот так кричал, что хозяин, поспешно отворив ворота, в ужасе выбежал узнать, кто это кричит, а за ним и новоприбывшие. Крики эти разбудили и Мариторнес, и, живо смекнув, что это может быть, она тайком забралась на сеновал и отвязала недоуздок, на котором висел наш рыцарь, и тот на глазах у хозяина и проезжающих грянулся оземь, проезжающие же приблизились к нему и спросили, что с ним такое и почему он так кричит. Дон Кихот молча сорвал с руки ремень, стал на ноги, взобрался на Росинанта,

заградился щитом, взял копьецо наперевес, отъехал на довольно значительное расстояние, а затем с разгона перешел на полугалоп и на всем скаку возгласил:

– Всякого, кто скажет, что меня околдовали не напрасно, я с дозволения госпожи моей принцессы Микомиконы изобличу во лжи, призову к ответу и вызову на единоборство.

Новоприбывшие подивились речам Дон Кихота, но хозяин разрешил их недоумение, объяснив, кто таков Дон Кихот и что не стоит обращать на него внимания, ибо он поврежден в уме.

Тогда они спросили хозяина, не остановился ли у него, часом, юноша лет пятнадцати, одетый, как погонщик мулов, такой-то из себя, и описали наружность возлюбленного доньи Клары. Хозяин ответил, что на постоялом дворе народу тьма и он не припомнит, попадался ему тот, про кого они спрашивают, или нет. Но тут один из новоприбывших заметил карету аудитора и сказал:

– Конечно, он здесь, – вот и карета, за которой, как я слышал, он следует. Один из нас пусть станет у ворот, а другие в это время отправятся на поиски, а еще лучше, если кто-нибудь походит вокруг постоялого двора, чтобы он не махнул через забор.

– Так мы и сделаем, – сказал другой.

И тут двое отправились на постоялый двор, третий остался у ворот, а четвертый стал ходить вокруг, хозяин же смотрел на них и не мог взять в толк, к чему все эти хлопоты, хотя он отлично понимал, что новоприбывшие разыскивают юношу, коего приметы они ему описали.

Между тем солнце уже взошло, и отчасти по этой причине, отчасти из-за шума, поднятого Дон Кихотом, все проснулись и встали, а раньше всех донья Клара и Доротея: одной не давала покоя мысль, что ее возлюбленный находится так близко, другой – желание видеть своего, словом, обеим было из-за чего не выспаться. Дон Кихот, видя, что ни один из четырех проезжающих не обращает на него ни малейшего внимания и вызова его не принимает, из себя выходил от досады и злости, и если бы правила рыцарского поведения дозволяли странствующему рыцарю затевать и предпринимать новые предприятия, несмотря на то что он дал честное слово ни за какое дело не браться, пока не исполнит обещанного, он не преминул бы на них напасть и волей-неволей заставил принять вызов, но, памятуя о том, что нельзя и не должно затевать новое предприятие, пока он не водворит Микомикону в ее королевстве, он успокоился и примолк в ожидании, к чему приведут хлопоты новоприбывших, один из которых между тем отыскал юношу, – тот спал рядом с настоящим погонщиком мулов, не подозревая, что кто-то его ищет, а тем более что он уже пойман. Новоприбывший схватил его за руку и сказал:

– Поистине, сеньор дон Луис, одежда ваша вполне соответствует вашему званию, а ваше ложе красноречиво свидетельствует о той роскоши, в коей ваша матушка вас воспитала.

Юноша протер слипавшиеся глаза и, пристально в него вглядевшись, узнал в нем наконец слугу своего отца, каковое обстоятельство так его ошеломило, что он долго не мог и не в силах был выговорить ни слова, а слуга между тем продолжал:

– Вам ничего иного не остается, сеньор дон Луис, как запастись терпением и возвратиться домой, если только ваша милость не желает, чтобы ваш батюшка, а мой господин, отправился на тот свет, а ничего иного и ожидать нельзя – так огорчило его ваше отсутствие.

– Но как же отец узнал, что я поехал в эту сторону и в таком одеянии? – спросил дон Луис.

– Один школяр, коему вы замысел свой поведали, сжалился над вашим отцом, когда увидел, как он по вас убивается, и все ему рассказал, а тот снарядил четырех своих слуг за вами в погоню, и вот мы все четверо к вашим услугам, и радости нашей нет границ, потому что поездка наша вышла весьма удачной и вы явитесь наконец пред горячо любящие вас очи.

– Ну, это еще как я захочу и как распорядится небо, – возразил дон Луис.

– Да чего тут еще хотеть и чего тут распоряжаться, когда надобно только согласиться ехать домой? Ничего другого и быть не может.

Погонщик мулов, находившийся рядом с доном Луисом, слышал весь этот разговор, – он вскочил с постели и побежал уведомить о случившемся дона Фернандо, Карденьо и всех прочих, которые уже успели одеться; и вот от него-то они и узнали, что человек тот величает юношу *доном,* и о чем они между собой говорили, и что человек тот хочет увезти юношу домой, а юноша не хочет. Рассказ погонщика, равно как и то, что им было прежде известно о юноше, а именно – что небо наделило его прекрасным голосом, вызвало у всех неодолимое желание узнать поподробнее, кто этот юноша, и даже прийти ему на помощь в случае, если над ним станут чинить насилие, и для того они направились туда, где у юноши со слугою все еще продолжались споры и раздоры. В это время из своей комнаты вышла Доротея, а за нею со встревоженным видом донья Клара, и тут Доротея, отозвав Карденьо в сторону, вкратце рассказала ему историю юного певца и доньи Клары, а Карденьо, в свою очередь, сообщил ей о прибытии слуг, посланных за юношею его отцом, причем говорил он не настолько тихо, чтобы его не могла слышать Клара, которая от всего этого пришла в такое волнение, что, не поддержи ее Доротея, она, уж верно, упала бы без чувств. Карденьо посоветовал Доротее увести ее в комнату, а он-де постарается все уладить, и Доротея так и сделала.

Между тем все четверо слуг собрались на постоялом дворе, обступили дона Луиса и принялись уговаривать его, не теряя ни минуты, поехать утешить отца. Дон Луис говорил, что ни в каком случае не поедет, пока не доведет до конца одно дело, в коем он полагал и жизнь свою, и честь, и душу. Слуги стояли на своем, – они-де ни за что без него не вернутся, и как-де ему будет угодно, а уж домой они его доставят.

– Вы доставите только мой труп, – возразил дон Луис. – Каким бы образом вы меня ни доставили, вы доставите меня бездыханного.

Тем временем на спор сбежалось большинство постояльцев, в том числе Карденьо, дон Фернандо, его спутники, аудитор, священник, цирюльник, а также Дон Кихот, который решил, что охранять замок больше незачем. Карденьо, уже знавший историю юноши, обратился к слугам с вопросом, что побуждает их насильно увозить этого молодого человека.

– Нас побуждает желание возвратить жизнь его отцу, коему грозит опасность ее лишиться по причине разлуки с этим кавальеро, – отвечал один из четырех.

Дон Луис же ему на это сказал:

– Здесь не место обсуждать личные мои дела. Я человек вольный: захочу – возвращусь, а нет – принудить меня никому из вас не удастся.

– Вашу милость принудит благоразумие, – возразил слуга, – а коли у вашей милости его недостанет, так его достанет у нас, чтобы довести до конца то, ради чего мы сюда явились и что велит нам долг.

– Следовало бы все разузнать досконально, – вмешался аудитор.

Тут слуга, узнавший в нем соседа своего господина, спросил:

– Неужто, ваша милость, сеньор аудитор, не узнает этого кавальеро? Ведь это же сын вашего соседа, – он бежал из родительского дома в неподобающей его званию одежде, в чем милость ваша может убедиться воочию.

При этих словах аудитор более внимательно посмотрел на юношу и узнал его; и, обняв его, молвил:

– Что это, сеньор дон Луис: чистое ребячество или же какие-либо важные причины вынудили вас путешествовать таким образом и в этой одежде, которая так роняет звание ваше?

На глазах у юноши выступили слезы, и он ничего не мог ответить аудитору, аудитор же сказал слугам, чтобы они успокоились и что все, мол, будет хорошо; и, взяв дона Луиса за

руку, он отвел его в сторону и спросил, что все это значит. А в то время, как он подробно его расспрашивал, у ворот постоялого двора раздались громкие крики, и вот по какой причине: два ночевавших здесь постояльца, видя, что слуги дона Луиса сильно возбудили всеобщее любопытство, замыслили уехать, не заплатив; однако ж хозяин, коего больше занимали собственные дела, нежели чужие, поймал их у ворот, потребовал платы и осудил их злой умысел в таких выражениях, что те вместо ответа пустили в ход кулаки; и вот стали они его тузить, да так, что несчастному хозяину пришлось громко взывать о помощи. Хозяйка и ее дочь наименее занятым и наиболее подходящим на предмет оказания ему помощи признали Дон Кихота, а потому дочка обратилась к нему с такими словами:

– Помогите, сеньор рыцарь, коли вам такой дар послан от бога, бедному моему отцу, которого два злодея молотят, точно пшеницу!

Выслушав ее, Дон Кихот крайне медленно и весьма спокойно заговорил:

– Прелестная дева! В настоящее время ваша просьба долженствует остаться без последствий, ибо я поставлен в невозможность принимать участие в каком-либо другом приключении, пока не доверщу того, к чему меня вынуждает данное мною слово. Вот, однако ж, какую службу я могу сослужить вам: бегите и скажите вашему отцу, чтобы он как можно более стойко в этом бою держался и не сдавался ни в коем случае, а я тем временем испрошу дозволения у принцессы Микомиконы помочь ему в беде, и если она мне позволит, то можете быть уверены, что я его выручу.

– Вот грех тяжкий! – вскричала присутствовавшая при сем Мариторнес. – Пока ваша милость исхлопочет это самое дозволение, хозяин мой будет уже на том свете.

– Дайте мне исхлопотать дозволение, – возразил Дон Кихот, – а будет он тогда на том свете или нет – это несущественно, ибо я вызволю его оттуда, даже если бы весь тот свет этому воспротивился, или, по крайности, так отплачу тем, кто его туда отправит, что вы получите полное удовлетворение.

И, недолго думая, преклонил он колена перед Доротеей и на своем странствующе-рыцарском языке изложил ей просьбу о том, чтобы ее величие соизволило позволить ему поспешить на помощь владельцу этого замка, который в великую попал беду. Принцесса охотно дала свое согласие, Дон Кихот, заградившись щитом и выхватив меч, бросился к воротам, где два постояльца все еще по-хозяйски разделывались с хозяином, но, приблизившись, он остановился и замер на месте, хотя Мариторнес и хозяйка кричали ему, чтобы он не медлил и защитил наконец хозяина их и супруга.

– Я медлю, – сказал Дон Кихот, – ибо я не вправе обнажать меч против служилых людей. Позовите сюда моего оруженосца Санчо, ибо подобного рода защита и отмщение – это его дело и его забота.

Разговор этот происходил у ворот постоялого двора, а в высшей степени меткие тумаки и зуботычины сыпались тут же своим чередом, причиняя немалый ущерб хозяину и распаляя гнев Мариторнес, хозяйки и ее дочери, коих приводило в отчаяние малодушие Дон Кихота, а также напасть, постигшая их хозяина, супруга и отца.

Но оставим до времени хозяина, ибо защитники у него, уже верно, найдутся, а не найдутся – пусть терпит да помалкивает, коли отважился на то, что ему не по силам, и отойдем на полсотни шагов назад, дабы послушать, что ответит дон Луис аудитору, с коим мы расстались, когда тот допытывался, почему юноша идет пешком и почему столь жалкое на нем одеяние, а юноша, сжимая его руки в своих, как бы в знак того, что сердце у него разрывается от горя, и обильные проливая слезы, начал так:

– Государь мой! Я могу сказать вам только одно: в ту минуту, когда небо пожелало, чтобы я увидел госпожу мою донью Клару, чему наше с вами средство благоприятствовало, в тот миг ваша дочь, а моя госпожа, стала владычицею моего сердца, и если только ваше сердце, истинный повелитель и отец мой, этому не противится, то она сегодня же будет моею супругой.

Ради нее я оставил отчий дом, и ради нее переоделся я в это платье, дабы следовать за нею куда бы то ни было, подобно стреле, пущенной в цель, подобно мореплавателю, которого ведет компас. Она знает о моем чувстве не более того, что могли ей сказать слезы на моих глазах, виденные ею несколько раз издали. Вам, сеньор, ведомы богатство и знатность моих родителей, коих я единственный наследник, и если вы полагаете, что этого довольно для того, чтобы вы решились удовлетворить меня вполне, то назовите меня своим сыном теперь же. Если же мой отец, руководствуясь своими особыми соображениями, не оценит сокровище, которое мне удалось сыскать, то ведь по части разрушений и перемен время сильнее человеческих желаний.

Сказавши это, влюбленный юноша умолк, аудитора же удивили красноречие и рассудительность, какие выказал дон Луис, говоря о своих чувствах, а еще он был смущен и озадачен тем, что не знал, как поступить, ибо все случилось внезапно и неожиданно; по сему обстоятельству он пока ничего не мог ему сказать и посоветовать, кроме как успокоиться и задержать слуг до завтра, чтобы было время подумать, как все устроить к общему благополучию. Дон Луис насильно поцеловал ему руки и оросил их слезами, отчего могло бы смягчиться каменное сердце, а не только сердце аудитора, который, будучи человеком разумным, отдавал себе отчет в том, какие блага сулит этот брак его дочери; ему только хотелось, чтобы поженились они, буде окажется возможным, с благословения отца дона Луиса, намеревавшегося, сколько ему было известно, приобрести для сына титул.

Тем временем постояльцы, на которых подействовали не столько угрозы, сколько слово убеждения и разумные доводы Дон Кихота, замирились с хозяином и уплатили ему сполна, слуги же дона Луиса ждали, чем кончится разговор с аудитором и какое решение примет их господин, но в эту минуту по наущению вечно бодрствующего дьявола на постоялый двор зашел тот самый цирюльник, у коего Дон Кихот отнял шлем Мамбрина, а Санчо Панса забрал упряжь в обмен на свою, каковой цирюльник, ставя своего осла в стойло, увидел, что Санчо Панса возится с вьючным седлом, и, тотчас узнав свое седло, набрался храбрости и кинулся на Санчо с криком:

– А, мошенник ты этакий, попался! Давай сюда мой таз для бритья, седло и всю упряжь, которую ты у меня стащил.

Подвергшись столь внезапному нападению и услышав, что его так честят, Санчо одной рукой ухватился за седло, а другой дал цирюльнику в зубы и разбил ему рот в кровь; но, несмотря на это, цирюльник не выпустил из рук добычи, каковою явилось для него седло, – напротив, он так возвысил голос, что шум и брань привлекли всех обитателей постоялого двора.

– Правосудие, сюда, именем короля! – кричал он. – Я свое имущество отбираю, а этот вор, этот разбойник с большой дороги хочет меня убить.

– Врешь, – возразил Санчо, – я не разбойник с большой дороги, эта добыча досталась моему господину Дон Кихоту в честном бою.

Дон Кихот был уже тут как тут; с великим удовольствием глядя, как обороняется и нападает его оруженосец, он раз навсегда решил, что это человек стоящий, и дал себе слово при первом удобном случае посвятить его в рыцари, ибо ему казалось, что для рыцарского ордена Санчо будет ценным приобретением. Во время перебранки цирюльник, между прочим, объявил:

– Что седло мое, сеньоры, это так же верно, как то, что бог пошлет мне смерть, и знаю я свое седло так, словно сам его родил. Притом здесь же, в стойле, мой осел: он может это подтвердить, а не то так примерьте, и коли седло не придется ему в самый раз, то я подлец. Этого мало: в тот самый день, как у меня пропало седло, я обнаружил пропажу новенького медного таза, – я его еще не успел обновить, – а заплатил я за него, ни много ни мало, один эскудо.

Тут Дон Кихот не выдержал и, став между ними и разняв их, положил седло на землю, так чтобы оно было у всех на виду до тех пор, пока не удастся установить истину, и сказал:

– Заблуждение, в коем добрый этот оруженосец находится, не может не выступить перед вашими милостями с полной ясностью и очевидностью, ибо он именует тазом для бритья то, что было, есть и будет шлемом Мамбрина, каковой я захватил у него в честном бою и какового я стал законным и полноправным владельцем. Что же касается вьючного седла, то в это я не вмешиваюсь. Я знаю одно: оруженосец мой Санчо обратился ко мне с просьбой позволить ему снять попону с коня, принадлежавшего побежденному этому трусу, и украсить ею своего. Я ему позволил, и он ее снял, а каким образом попона обратилась во вьючное седло, это объясняется весьма просто: перед нами одно из тех превращений, какие в рыцарском мире наблюдаются постоянно. Для вящей же убедительности сбегай, дружок Санчо, и принеси сюда шлем, который этот добрый человек принимает за цирюльничий таз.

– Ей-ей, сеньор, – заметил Санчо, – если у нас нет других доказательств нашей невиновности, кроме тех, которые ваша милость уже привела, то цирюльничий таз – такой же шлем этого, как бишь его, *Сукинсына,* как попона этого доброго человека – вьючное седло.

– Делай, что тебе говорят, – сказал Дон Кихот, – ведь не все же в этом замке заколдовано.

Санчо сбегал за тазом, и как скоро Дон Кихот увидел его, то взял в руки и сказал:

– Посудите, ваши милости, с каким лицом этот оруженосец осмеливается утверждать, что это таз для бритья, а не упомянутый мною шлем, я же клянусь рыцарским орденом, к коему я принадлежу, что это тот самый шлем, который я у него отнял, и что я ничего не прибавил к нему и не убавил.

– Это не подлежит сомнению, – заметил Санчо, – с той поры, как мой господин его завоевал, он сражался в нем всего один раз, когда освобождал закованных в цепи горемык, и если б не этот *тазошлем,* то ему, уж верно, не поздоровилось бы, потому неприятель усердно метал в нас камни.



Глава XLV,

в коей окончательно разрешаются сомнения по поводу Мамбринова шлема и седла, а также со всею возможною правдивостью повествуется о других приключениях



– Нет, как вам нравятся, сеньоры, эти молодцы? – вскричал цирюльник. – Они продолжают стоять на том, что это не таз для бритья, а шлем.

– А кто утверждает противное, – подхватил Дон Кихот, – то, коли он рыцарь, я докажу ему, что он лжет, если ж оруженосец – то что он тысячу раз лжет.

Наш цирюльник, который при сем присутствовал и коему хорошо известен был нрав Дон Кихота, решился, дабы позабавить народ, устроить из этого потеху и поддакнуть ему и, обратясь к другому цирюльнику, заговорил:

– Сеньор, если не ошибаюсь, цирюльник! Было бы вам известно, что я ваш собрат по ремеслу, вот уже двадцать с лишним лет, как я получил диплом, и все принадлежности для бритья знаю как свои пять пальцев, в молодости же мне, с вашего дозволения, довелось быть солдатом, и я смекаю также, что такое шлем, что такое шишак, что такое забрало и прочие предметы, к военному делу относящиеся, иначе говоря, все виды оружия мне знакомы. И вот я осмеливаюсь утверждать – а коли что не так, то вы меня поправите, – что предмет, который находится в руках у доброго этого сеньора, совсем не таз для бритья и так же от него отличается, как белый цвет от черного, а правда от лжи. Полагаю, впрочем, нелишним заметить, что хотя это и шлем, однако ж не цельный.

– Разумеется, что нет, – сказал Дон Кихот, – ему недостает половины, а именно подбородника.

– Справедливо, – заметил священник, догадавшийся о намерении своего друга цирюльника.

Присоединились к цирюльнику и Карденьо и дон Фернандо со своими спутниками, даже аудитор, если б только он не погрузился в размышления, как быть с доном Луисом, и тот, уж верно, принял бы участие в шутке, но он так был занят серьезными делами, что на эти забавы не обращал почти никакого внимания.

– С нами крестная сила! – воскликнул одураченный цирюльник. – Статочное ли это дело, чтобы столько почтенных людей уверяло, будто это не таз для бритья, а шлем? Да ведь тут

целый университет при всей своей учености, пожалуй, ахнул бы от удивления. Что там толковать: коли этот таз – шлем, стало быть, и седло – попона, на чем настаивает этот сеньор.

– По-моему, это седло, – заметил Дон Кихот. – Впрочем, я уже сказал, что в это я не вмешиваюсь.

– Седло или попона – это должен определить сеньор Дон Кихот, – объявил священник, – в знании рыцарского обихода и эти сеньоры и я – мы все ему уступаем.

– Клянусь богом, государи мои, – снова заговорил Дон Кихот, – что в этом замке, где я останавливался дважды, со мною случилось столько необыкновенных вещей, что я не решаюсь дать положительный ответ ни на один из вопросов, помянутого замка касающихся, ибо я догадываюсь, что все, что здесь творится, совершается через колдовство. В первый раз мне весьма досаждал живущий здесь заколдованный мавр, да и Санчо досталось от его присных, а нынче ночью я около двух часов провисел, подвешенный за руку, и так и не могу постигнуть, откуда на меня свалилось это несчастье. Вот почему высказывать свое мнение по поводу всей этой неразберихи было бы с моей стороны опрометчиво. Тем, кто утверждал, что это таз, а не шлем, я уже ответил, касательно же того, что это такое: седло или попона, я не решаюсь высказать что-либо определенное, а предоставляю это благоусмотрению ваших милостей: может статься, именно потому, что вы не посвящены в рыцари, как я, местные чародеи ничего не могут с вами поделать, и разумение ваше, следственно, свободно, и в противоположность мне, судящему обо всем, что в этом замке происходит, в зависимости от того, как это мне представляется, вы можете высказать суждение верное и соответствующее действительности.

– Нет сомнения, – вмешался дон Фернандо, – сеньор Дон Кихот говорит чудесно: в самом деле, решить этот вопрос приличествует нам, а для большей основательности я тайно соберу мнения этих сеньоров и о том, что получится, дам полный и ясный отчет.

Кто знал о причудах Дон Кихота, те хохотали до упаду, прочим же все это представлялось несусветною чушью, в том числе четырем слугам дона Луиса и самому дону Луису, а также трем проезжающим, в это самое время прибывшим на постоялый двор и походившим на стражников, каковыми они, кстати сказать, и являлись. Но всех более возмущался цирюльник, у коего на глазах его собственный таз превратился в Мамбринов шлем, а вьючное седло, вне всякого сомнения, собиралось превратиться в роскошную попону, а между тем все покатывались со смеху, глядя, как дон Фернандо собирает мнения: к каждому подходит и шепотом просит сказать ему по секрету, что собой представляет эта драгоценность, за которую столь ожесточенная идет борьба: вьючное седло или попону; собрав же мнения всех, кто знал Дон Кихота, он во всеуслышание объявил:

– Вот что, любезный: я уже устал спрашивать мнения, – кого об этом ни спросишь, все говорят, что вовсе это не ослиное седло, это дескать, вздор, а попона с коня, да еще с коня породистого. Так что уж тут ничего не поделаешь, – как это вам и вашему ослу ни неприятно, это попона, а не вьючное седло, и все ваши доводы и доказательства признаны ошибочными.

– Не войти мне в царство небесное, если ошибаюсь я, а не ваши милости, – возопил бедняга цирюльник, – пусть душа моя не предстанет пред лицом божиим, коли предо мною не вьючное седло, ну да *законы не для королевск* ... ох, молчу, молчу! – персоны, и ведь я, честное слово, не пьян: в чем другом грешен, а завтракать еще не завтракал.

Глупости, какие болтал цирюльник, насмешили всех не меньше, чем бредни Дон Кихота, который как раз в это время заговорил:

– Теперь остается только каждому взять свое – что господь бог посылает, то и апостол Петр благословляет.

Один из четырех слуг сказал:

– Если только это не шутка, то я не могу допустить, чтобы люди столь разумные, каковы суть или, по крайности, каковыми кажутся все здесь находящиеся, имели смелость говорить и утверждать, что это не таз и не седло. Но как они, однако ж, именно это утверждают и говорят,

то я начинаю думать, что, стало быть, тут дело нечисто, коли люди спорят против того, что глаголет истина и показывает простой опыт, потому хоть бы вы тут все... – и он ввернул крепкое словцо, – а все-таки меня целый свет не заставит думать, будто это не таз для бритья, а это не седло осла.

– Очень может быть, что ослицы, – вставил священник.

– Разница не велика, – заметил слуга, – дело не в этом, а в том, седло это или не седло, как уверяют ваши милости.

Тут один из новоприбывших стражников, который присутствовал при этой ссоре и распре, в запальчивости и раздражении проговорил:

– Это такое же точно седло, как я – родной сын моего отца, а кто говорит или же скажет другое, тот, верно, хватил лишнее.

– Вы лжете, как последний мерзавец, – объявил Дон Кихот.

Тут он поднял копьецо, которое никогда не выпускал из рук, и с такой силой вознамерился опустить его на голову стражника, что если б тот не увернулся, то рухнул бы неминуемо. Копьецо, ударившись оземь, разлетелось на куски, прочие же стражники, видя, как дурно с их товарищем обходятся, стали громко звать на помощь Святому братству.

Хозяин, который тоже служил в Братстве, мигом слетал за жезлом и шпагой и примкнул к своим собратьям; слуги дона Луиса, боясь, как бы их господин не ускользнул в суматохе, обступили его; цирюльник, видя, что поднялась кутерьма, ухватился за седло, и то же самое сделал Санчо; Дон Кихот выхватил меч и ринулся на стражников; дон Луис кричал слугам, чтобы они оставили его и бежали на помощь Дон Кихоту, а равно и Карденьо и дону Фернандо, которые стали на сторону Дон Кихота; священник вопиял; хозяйка орала; ее дочь сокрушалась; Мариторнес выла; Доротея пребывала в смятении; Лусинда была поражена, а донье Кларе сделалось дурно. Цирюльник дубасил Санчо, Санчо тузил цирюльника; дон Луис, коего один из слуг осмелился схватить за руку, дабы он не убежал, съездил его по зубам и разбил ему рот в кровь; аудитор бросился на его защиту; дон Фернандо сшиб с ног одного из стражников, после чего ноги дона Фернандо начали усердно потчевать его пинками; хозяин не своим голосом призывал на помощь слугам Святого братства, – словом, весь постоялый двор стонал, кричал, выл, метался, ужасался, бил тревогу, терпел бедствия, дрался на шпагах, раздавал зуботычины, охаживал дубинами, пинал ногами и лил кровь. И вот когда эта смута, путаница и бестолочь достигли своего предела, воображению Дон Кихота представилось, что он сдуру впутался в междуусобицу, возникшую в стане Аграманта, и по сему обстоятельству крикнул так, что у всех зазвенело в ушах:

– Стой! Мечи в ножны! Смирно! Слушать меня, коли вам дорога жизнь!

Громовой его голос вразумил всех, а он продолжал:

– Не говорил ли я вам, сеньоры, что замок этот заколдован и что в нем, уж верно, обитает легион бесов? И вот вам доказательство: междоусобная брань в стане Аграмантовом[241] на ваших глазах только что перекинулась сюда и вспыхнула между нами. Полюбуйтесь: один борется за меч, другой за коня, этот за орла, тот за шлем, – все мы бьемся и друг друга не разумеем. Итак, пожалуйте сюда, ваша милость, сеньор аудитор, и вы, ваша милость, сеньор священник, представьте себе, что один из вас царь Аграмант, а другой царь Собрин, и заключайте мир, ибо – клянусь всемогущим богом – это величайший позор, что мы, люди благородного происхождения, из-за сущей безделицы убиваем друг друга.

Стражники, не понимавшие Дон Кихота, но чувствовавшие, что Карденьо, дон Фернандо и его спутники изрядно им всыпали, не унимались; цирюльник, напротив, унялся тотчас же, ибо в драке пострадали его борода и седло; Санчо, как верный слуга, повиновался по первому слову своего господина; четверо слуг дона Луиса также успокоились, рассудив, что волноваться им, в сущности, не из-за чего; один лишь хозяин стоял на том, чтобы дерзость этого сумасшедшего, который только и делает, что баламутит постоялый двор, была наказана.

Наконец шум мало-помалу затих, в воображении же Дон Кихота вьючное седло так до второго пришествия и осталось попоной, таз – шлемом, а постоялый двор – замком.

Когда же все, сдавшись на уговоры аудитора и священника, успокоились и помирились, слуги дона Луиса опять начали настаивать, чтобы он сей же час ехал с ними. А пока он со своими слугами пререкался, аудитор обратился за советом к дону Фернандо, Карденьо и священнику, как в сем случае поступить должно, и рассказал им все, что знал со слов дона Луиса. В конце концов было решено, что коль скоро дон Луис предпочтет быть изрубленным на куски, чем теперь же показаться на глаза отцу, то дон Фернандо скажет слугам, кто он таков и что он желает увезти дона Луиса в Андалусию, где его брат, маркиз, окажет дону Луису подобающий прием. Когда же все четверо слуг узнали, какого дон Фернандо звания и что замыслил дон Луис, то порешили между собою так: трое возвратятся и доложат о случившемся его отцу, а четвертый останется для услуг с доном Луисом и не покинет его, пока те трое за ним не приедут или пока не последует какого-либо распоряжения от отца. Так, властью Аграманта и мудростью царя Собрина, было прекращено великое это междоусобие; однако же враг согласия и ненавистник мира, почувствовав себя посрамленным и одураченным и видя, что все его усилия посеять смуту принесли довольно скудные плоды, решился еще раз попытать счастья и вызвать новые распри и треволнения.

А дело было так: чуть только до стражников дошло, что сражаются с ними люди не простые, как боевой их пыл тотчас же охладел и они покинули поле брани: они живо смекнули, что, чем бы все это ни кончилось, в ответе будут они, но один из них, тот самый, которого колотил и пинал дон Фернандо, вспомнил, что в числе указов о задержании преступников у него имеется указ, прямо касающийся Дон Кихота, коего Святое братство постановило задержать за то, что он освободил каторжников, какового указа Санчо столь основательно опасался. Итак, вспомнив об этом, стражник пожелал удостовериться, сходятся ли приметы Дон Кихота с теми, которые значились в указе, и для того вынул из-за пазухи грамоту и отыскал нужное место, а как он к числу изрядных грамотеев отнюдь не принадлежал, то стал читать по складам, при каждом слове взглядывая на Дон Кихота и сопоставляя приметы, перечисленные в указе, с его наружностью, и, наконец, нашел, что это, вне всякого сомнения, тот самый, кого имел в виду указ. Когда же он удостоверился, то свернул указ и переложил его в левую руку, а правой схватил Дон Кихота за шиворот, так что у того пресеклось дыхание, и во всю мочь крикнул:

– На помощь Святому братству! А чтобы вы все убедились, что я призываю не зря, прочтите указ, предписывающий мне задержать этого разбойника с большой дороги.

Священник взял указ и удостоверился, что стражник говорит правду и что приметы Дон Кихота совпадают; Дон Кихот же, видя, что с ним так дурно обходится этот подлый мужик, рассвирепел и, хотя у него самого трещали кости, обеими руками вцепился стражнику в горло, так что, не выручи стражника товарищи, он расстался бы с жизнью, прежде нежели Дон Кихот расстался бы со своею жертвою. Хозяин по долгу службы обязан был оказывать помощь своим собратьям, а потому он тот же час бросился на помощь к стражнику. Хозяйка, увидев, что супруг ее снова в бою, снова завела ту же самую песню, немедленно подхваченную ее дочерью и Мариторнес, которые призывали на помощь небо и все небесные силы. Санчо посмотрел, что тут творится, и сказал:

– Вот как бог свят, все, что мой господин говорит насчет колдовства в этом замке, – это истинная правда, потому здесь часу спокойно нельзя прожить!

Дон Фернандо рознял стражника и Дон Кихота, к обоюдному их удовольствию разжав пальцы первого, впившиеся в ворот второго, и пальцы второго, впившиеся в горло первого; со всем тем стражники продолжали добиваться выдачи преступника и настаивать, чтобы им помогли связать его и передали в полное их распоряжение, к чему, дескать, обязывают установления короля и Святого братства, от имени коего они снова потребовали оказать им

поддержку и содействие в поимке этого грабителя и разбойника с больших и малых дорог. Дон Кихот, слушая такие речи, сперва только посмеивался, а затем прехладнокровно заговорил:

– Подите сюда, худородные и неучтивые твари! Вы называете разбойником с большой дороги того, кто дарует свободу колодникам, выпускает узников, приходит на помощь несчастным, протягивает руку павшим, вознаграждает обойденных? О гнусный сброд! Низменный ваш и подлый ум недостоин с помощью неба познать величие, коего исполнено странствующее рыцарство, и отдать себе отчет в том, какие же вы невежды и грешники, если не знаете, что даже тень кого бы то ни было из странствующих рыцарей должна внушать вам уважение, а тем паче его присутствие! Сами вы стражники с большой дороги, промышляющие разбоем с благословения Святого братства, – так вот, подите сюда и скажите: кто этот невежда, который подписал указ о задержании такого рыцаря, каков я? Кто он, не ведающий, что странствующие рыцари ничьей юрисдикции не подлежат, что их закон – меч, их юрисдикция – отвага, их уложения – собственная добрая воля? Кто этот олух, говорю я, который не подозревает, что ни одна дворянская грамота не дает столько льгот и преимуществ, сколько получает странствующий рыцарь в тот день, когда вступает в рыцарский орден и посвящает себя нелегкому делу рыцарства? Кто из странствующих рыцарей платит «алькавалу»,[242] «туфлю королевы»,[243] аренду,[244] ввозную, дорожную или речную пошлину? Разве портной берет с него за пошивку платья? Разве владелец замка принимает его у себя не бесплатно? Кто из королей не сажает его за свой стол? Какая девица не питала к нему склонности и всецело не подчинялась воле его и хотению? И, наконец, был ли, есть или будет такой странствующий рыцарь, у коего не хватило бы смелости собственными руками влепить четыреста палочных ударов четырем сотням стражников, которые станут ему поперек дороги?



Глава XLVI

о достопримечательном приключении со стражниками и о великой свирепости доброго нашего рыцаря Дон Кихота



В то время как Дон Кихот произносил эту речь, священник уговаривал стражников принять в соображение, что Дон Кихот поврежден в уме, о чем они могут судить по его словам и поступкам, и прекратить это дело, ибо если даже они его и задержат и уведут, то все равно им потом придется отпустить его, как умалишенного, на что стражник, у которого был указ, заметил, что входить в рассмотрение, сумасшедший Дон Кихот иль нет, он не обязан, его дело выполнить приказание начальства и на сей раз непременно задержать Дон Кихота, а там пусть его хоть триста раз выпускают.

– Со всем тем, – сказал священник, – на сей раз вы его не задержите, да и он, думается мне, не даст себя задержать.

В конце концов священник такого им наговорил, а Дон Кихот наделал столько глупостей, что стражники оказались бы безумными вдвойне, когда бы не признали безумие Дон Кихота; итак, они рассудили за благо утихомириться и даже выступить посредниками между цирюльником и Санчо Пансою, которые все еще весьма злобно переругивались. Наконец они в качестве представителей правосудия вмешались в это дело и вынесли решение, которое если и не вполне обе стороны примирило, то все же отчасти удовлетворило их: тяжебщики обменялись седлами, а подпруги и недоуздки остались при них; что же касается Мамбринова шлема, то священник тайком, так, чтобы Дон Кихот этого не заметил, дал цирюльнику за его таз восемь реалов, а тот написал ему расписку, в коей давал обещание не жаловаться на обман ни ныне, ни во веки веков, аминь. Итак, две ссоры, наиболее крупные и наиболее серьезные, были прекращены, оставалось лишь добиться того, чтобы трое слуг дона Луиса согласились возвратиться домой, а четвертый – всюду следовать за доном Фернандо; а как счастливый случай и счастливейшая судьба всех влюбленных и всех удальцов, на постоялом дворе собравшихся, уже начали расчищать им дорогу и устранять препятствия, то и пожелали они довести это дело до конца и благополучную придать ему развязку, и точно: слуги согласились исполнить просьбу дона Луиса, чему донья Клара так обрадовалась, что по выражению ее лица было видно, как ликует ее душа. Зораиде были не совсем понятны происходившие на ее глазах события, и однако смутная печаль сменялась в ее сердце столь же смутною радостью в зависимости от того, как менялись лица у окружающих, за которыми она все время следила и

наблюдала, особливо за своим испанцем, к коему были прикованы ее взоры и в ком была вся ее душа. От хозяина не укрылось, что священник одарил и вознаградил цирюльника, и он, поклявшись, что не пустит со двора ни Росинанта, ни Санчова осла, пока ему не будут возмещены все протори и убытки, потребовал, чтобы Дон Кихот уплатил ему за постой, а также за поврежденные бурдюки и за пролитое вино. Священник и это уладил: за все заплатил дон Фернандо, – впрочем, и аудитор, со своей стороны, изъявил полную готовность уплатить за Дон Кихота; и вот благодаря этому на постоялом дворе воцарились мир и тишина, так что теперь он уже отнюдь не походил на раздираемый междуусобною бранью стан Аграманта, как выразился Дон Кихот, – теперь здесь царили тишина и спокойствие времен Октавиановых,[245] чем все единодушно почитали себя обязанными особой благожелательности и красноречивости священника, а также несравненной щедрости дона Фернандо.

А Дон Кихот, почувствовав, что он свободен и избавлен от распрей, возникавших то из-за его оруженосца, то из-за него самого, рассудил, что пора продолжать начатый путь и довершить великое предприятие, ради которого он был *зван и избран,* и потому с самым решительным видом опустился перед Доротеей на колени, но та не позволила ему вымолвить слово, пока он не встанет, – он же в угоду ей встал и сказал:

– Вошло в поговорку, прелестная сеньора, выражение: «Настойчивость – мать удачи», да и опыт показывает, что во многих и важных случаях жизни от усердия истца зависит благоприятный исход самой сомнительной тяжбы, но нигде эта истина не выступает так наглядно, как на войне, где быстрота и натиск путают все планы врага и победа достигается прежде, нежели противник изготовится к обороне. Все это, благородная и бесценная сеньора, я говорю к тому, что дальнейшее наше пребывание в этом замке, на мой взгляд, бесполезно, а в один прекрасный день может оказаться и весьма для нас пагубным, ибо – кто знает? – быть может, через тайных своих и рьяных соглядатаев ваш недруг-великан уже проведал, что я иду сокрушить его, и за это время укрепился в каком-либо неприступном замке или же крепости, коих не одолеют мое рвение и мощь неутомимой моей длани. А потому, как я уже сказал, госпожа моя, да опередит наше рвение его замыслы, едемте в добрый час, и час, столь для вашего высочества желанный, не замедлит настать, едва лишь я с недругом вашим встречусь лицом к лицу.

Дон Кихот умолк, ни слова более не прибавил и с превеликим спокойствием стал ждать ответа прелестной инфанты, она же с величественным видом, подражая слогу Дон Кихота, возговорила так:

– Благодарю вас, сеньор рыцарь, за высказанное вами желание помочь мне в великой моей беде, – желание, истинному свойственное рыцарю, коему сродно и коему положено оказывать покровительство сирым и беззащитным, и да исполнится милостью неба общее наше желание, дабы вы удостоверились, что есть еще на свете благодарные женщины. Что касается отъезда, то едемте сей же час, намерения наши совпадают, – располагайте же мною по своему благоусмотрению: та, которая однажды доверила вам защиту своей особы и поручила вам возвратить ей ее владения, не отважится пойти наперекор тому, что мудрость ваша повелевает.

– С богом! – сказал Дон Кихот. – Когда я вижу, что какая-либо сеньора на моих глазах терпит унижения, я не могу упустить случай возвысить ее и восстановить в правах престолонаследия. Итак, едемте сей же час, промедление, как говорится, опаснее всего, и при одной мысли об этом я сгораю от нетерпения возможно скорее пуститься в путь. И коль скоро небо еще не создало, а преисподняя не видела такого человека, который напугал бы меня и устрашил, то седлай Росинанта, Санчо, взнуздай своего осла и иноходца королевы, простимся с владельцем замка и этими сеньорами – и прямым путем к цели!

Санчо, при сем присутствовавший, покачал головой и сказал:

– Ах, сеньор! Да ведь в нашей-то деревеньке, не в обиду будь сказано прекрасному полу, больше дурного, нежели о том болтают!

– Пусть даже это дурное происходит не в одной какой-то деревне, а и во всех городах мира, почему же толки об этом могут меня позорить, невежа?

– Коли ваша милость гневается, то я замолчу, – заметил Санчо, – и не скажу того, что обязан был бы сказать как верный оруженосец и что всякий верный слуга должен говорить своему господину.

– Говори что хочешь, – сказал Дон Кихот, – твои слова не нагонят на меня страху, – ты испытываешь его, потому что такого уж ты звания человек, а я не испытываю его, потому что я другой породы.

– Боже милосердный, да я совсем не про то! – воскликнул Санчо. – Мне доподлинно и точно известно, что эта сеньора, которая выдает себя за королеву великого королевства Микомиконского, такая же королева, как моя покойная мать, потому королева не стала бы поминутно и по всякому поводу лизаться с одним из нашей компании.

При этих словах Доротея вспыхнула, – по правде сказать, супруг ее дон Фернандо украдкой от постороннего взора не раз срывал с ее уст часть награды, коей заслуживало его чувство, а Санчо это подглядел и нашел, что подобная вольность скорее к лицу девице легкого поведения, нежели королеве столь великого королевства, и вот теперь ей нечего было возразить Санчо и не могла она прервать его болтовню, а он между тем продолжал:

– Говорю я это вот к чему, сеньор: изъездим мы с вами все дороги и тропы, и после стольких беспокойных ночей и еще менее спокойных дней вдруг окажется, что плоды трудов наших пожал тот самый, что милуется с нею здесь, на постоялом дворе, стало быть, нечего мне спешить седлать Росинанта, иноходца и осла, лучше сидеть на месте: шлюхам, как говорится, игрушки, а нам пирушки.

Господи боже, как же возмутили Дон Кихота нескромные речи его оруженосца! Так возмутили, что он, захлебываясь и запинаясь от волнения и сверкая очами, воскликнул:

– О подлый смерд, нескромный, неучтивый, невежественный, косноязычный, сквернослов, наглец, наушник и клеветник! Какие слова осмелился ты произнести в моем присутствии, а также в присутствии именитых этих дам, и что за непристойные и дерзкие мысли осмелился ты вбить в глупую свою голову? Прочь с глаз моих, изверг естества, кладовая лжи, копилка небылиц, подвал гнусностей, устроитель козней, распространитель нелепостей, не испытывающий никакого почтения к особам королевского рода! Прочь, не показывайся мне на глаза под страхом навлечь на себя мой гнев!

Злоба, кипевшая у него внутри, выражалась еще в том, что он хмурил брови, надувал щеки, вращал глазами и наконец изо всех сил топнул правой ногой. А Санчо, наслушавшись подобных слов и наглядевшись на подобные движения гнева, так оробел и струсил, что если б в этот миг под его ногами разверзлась земля и поглотила его, то он был бы только этому рад, и рассудил он за благо обратить тыл и скрыться от расходившегося своего сеньора. Однако ж сметливая Доротея, для которой нрав Дон Кихота отнюдь не представлял загадки, сказала, дабы умерить его гнев:

– Не сердитесь, сеньор Рыцарь Печального Образа, на доброго вашего оруженосца за то, что он говорил глупости: а вдруг он говорил их не без причины? Зная его здравый ум и истинно христианскую душу, трудно заподозрить, чтобы он мог кого-либо оклеветать, а потому, отринув всякие сомнения, должно полагать, что если в этом замке, по вашим же, сеньор рыцарь, словам, все происходит и совершается посредством волшебства, то, может статься, говорю я, что все, что Санчо, как он уверяет, видел и что так порочит мою честь, было лишь дьявольским наваждением.

– Клянусь всемогущим богом, ваше высочество попало в самую точку! – воскликнул тут Дон Кихот. – Уж верно, какая-нибудь нечисть так подстроила, что этот греховодник Санчо

увидел то, что можно увидеть только колдовским путем, честность же и прямодушие этого несчастного мне хорошо известны, и оклеветать кого-либо он не способен.

– Что верно, то верно, – заметил дон Фернандо, – а потому, сеньор Дон Кихот, простите его и верните в лоно своего благоволения, *sicut erat in principio*,[246] прежде нежели он не свихнется от подобных видений.

Дон Кихот объявил, что прощает его, тогда священник пошел за Санчо, и тот с весьма покорным видом явился, стал на колени и попросил у своего господина руку, и господин ему ее дал и, после того как оруженосец к ней приложился, благословил его и сказал:

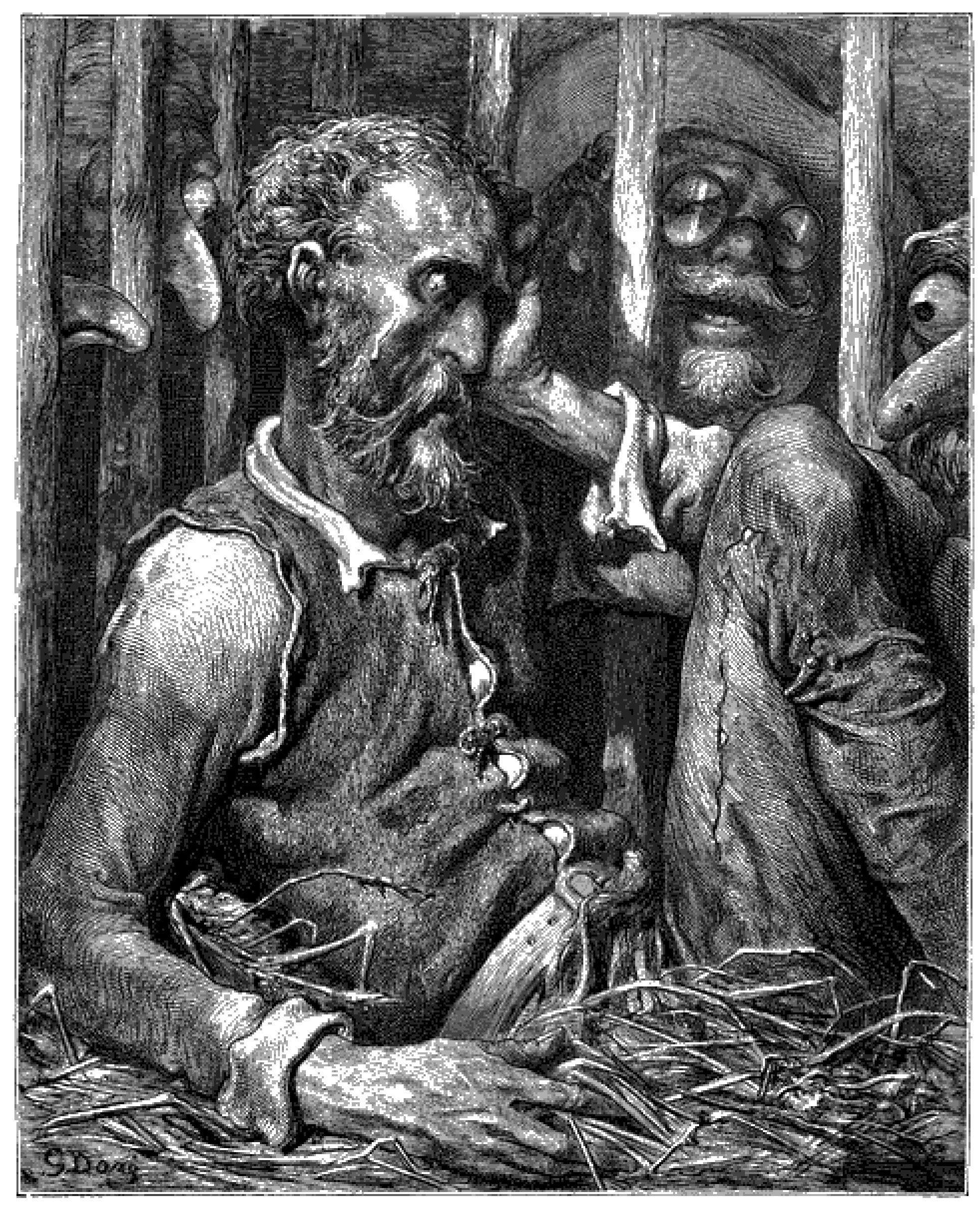
– Теперь, сын мой Санчо, ты должен окончательно удостовериться, что я был прав, когда столько раз тебе говорил, что все в этом замке совершается колдовским способом.

– Я тоже думаю, что все, – заметил Санчо, – кроме подбрасывания на одеяле, каковое подбрасывание совершилось обыкновенным способом и на самом деле.

– Напрасно ты так думаешь, – возразил Дон Кихот, – потому что если б это было так, то я бы за тебя отомстил или тогда же, или теперь, но я и теперь не могу найти, как не мог найти и тогда, кому следует отомстить за причиненную тебе обиду.

Все пожелали узнать, что это за подбрасывание, и тогда хозяин рассказал во всех подробностях о порхании Санчо Пансы, каковой рассказ не столько насмешил всех остальных, сколько совсем уж было устыдил Санчо, когда бы его господин снова не стал уверять его, что это было наваждение, хотя, впрочем, простодушие Санчо имело свои пределы, и он все же не мог не почитать за непреложную и неоспоримую истину без всякой примеси обмана, что он был подбрасываем живыми людьми, а не почудившимися ему и не представившимися его воображению привидениями, как полагал и как уверял его господин.

Уже два дня все это изысканное общество пребывало на постоялом дворе, и как скоро путники нашли, что пора собираться в дорогу, то решено было избавить Доротею и дона Фернандо от поездки с Дон Кихотом в его деревню, будто бы для освобождения земель королевы Микомиконы, на том основании, что священник и цирюльник сами могут его отвезти и там, на месте, приняться за его лечение. И для того сговорились они с одним человеком, коему случилось ехать мимо на волах, что он его отвезет, но отвезет вот как: они смастерили из палок, прибитых крест-накрест одна к другой, нечто вроде клетки, в которой Дон Кихот мог поместиться со всеми удобствами, после чего дон Фернандо со своими спутниками, слуги дона Луиса, стражники и, наконец, сам хозяин во исполнение приказа и замысла священника надели личины и нарядились кто как мог, чтобы Дон Кихот их не узнал. Затем все, совершенное храня молчание, вошли в помещение, где он почивал и отдыхал от минувших тревог.



В то время как он, и не помышляя о грядущем событии, спокойно спал, они приблизились к нему и, схватив его, крепко-накрепко связали ему руки и ноги, так что когда он в испуге проснулся, то не мог пошевелиться и только в недоумении и замешательстве смотрел на диковинные эти образины; и, сообразуясь с тем, что неутомимому и расстроенному его воображению рисовалось, он вообразил, что все это призраки из заколдованного замка и что он сам, вне всякого сомнения, заколдован, ибо не в состоянии ни двигаться, ни обороняться, – словом, все вышло так, как рассчитывал затеявший эту канитель священник. Из всех присутствовавших один только Санчо был в своем уме и в своем обличье, и хотя он был весьма недалек от того, чтобы заболеть тою же болезнью, что и его господин, однако ж тотчас догадался, кто эти ряженые, но до времени помалкивал, ибо еще не мог постигнуть, чем кончится взятие и пленение его господина, господин же его тоже как воды в рот набрал в ожидании предела своего несчастья, каковой предел заключался в том, что в помещение внесли клетку, посадили его туда и так крепко приколотили палки, что их, и принатужившись, невозможно было бы отодрать.

Ряженые взвалили клетку на плечи, но в то самое мгновение, когда они выносили ее из комнаты, послышался страшный голос, такой страшный, какой только мог оказаться у цирюльника, но не у владельца седла, а у другого:

– О Рыцарь Печального Образа! Не крушись, что полонили тебя, – так нужно для того, чтобы елико возможно скорее кончилось приключение, на которое тебя подвигнула великая твоя храбрость. Кончится же оно, как скоро свирепый ламанчский лев и кроткая тобосская голубица станут жить вместе, и не прежде, чем гордые их выи покорно впрягутся в мягкий брачный хомут, от какового неслыханного союза произойдут на свет хищные детеныши, которые унаследуют цепкие когти доблестного своего родителя. И случится это еще до того, как преследователь убегающей нимфы[247] в своем стремительном и естественном течении дважды посетит сияющие знаки. А ты, о благороднейший и послушнейший из всех оруженосцев, у коих за поясом был меч, на подбородке растительность и обоняние в ноздрях! Не тужи и не горюй, что на твоих глазах увозят таким образом цвет странствующего рыцарства, – скоро, коли будет на то воля зиждителя мира, ты так высоко вознесешься и возвеличишься, что сам себя не узнаешь, и обещания доброго твоего господина не останутся втуне. И от имени мудрой Навралии я клятвенно тебя уверяю, что жалованье будет тебе выплачено, в чем ты убедишься на деле. Итак, иди по стопам сего доблестного и очарованного рыцаря, ибо тебе надлежит следовать за ним вплоть до того места, где оба вы остановитесь. А как мне не положено что-либо к этому прибавить, то и счастливый вам путь, а куда возвращусь я – это одному мне лишь известно.

В конце этого пророчества цирюльник сперва сильно возвысил голос, а затем понизил его и пустил такую нежную трель, что даже бывшие с ним в заговоре едва всему этому не поверили.

Дон Кихот цирюльниковым предсказанием утешился, ибо он живо и вполне постиг его смысл и вывел из него, что ему суждено сочетаться законным браком со своею возлюбленною Дульсинеей Тобосской и что плоды блаженного ее чрева, его сыновья, на веки вечные прославят Ламанчу; и, без малейших колебаний приняв это за правду, он глубоко вздохнул и, возвысив голос, заговорил:

– Кто б ни был ты, предрекший мне столь великое благо, молю тебя, попроси от моего имени мудрого волшебника, пекущегося обо мне, чтобы он не дал мне погибнуть в темнице, в которой ныне меня увозят, пока не сбудутся принесенные тобою радостные и беспримерные вести, ибо если только они сбудутся, то муки узилища я почту за счастье, сковывающие меня цепи – за облегчение, а тюремный пол, на который меня бросили, покажется мне не жестким полем битвы, но мягкою постелью, счастливым брачным ложем. Что же касается слов, сказанных тобой в утешение оруженосцу моему Санчо Пансе, то я уверен, что при своей честности и добронравии он ни в радости, ни в горе меня не оставит. Если же ему или мне так не посчастливится, что я не в состоянии буду подарить ему остров или что-нибудь равноценное, то жалованье его, во всяком случае, не пропадет, ибо в уже составленном мною завещании я, сообразуясь не с многочисленными и важными его услугами, а единственно с моими средствами, указал, что именно ему следует.

Санчо Панса почтительнейше наклонился и облобызал ему обе руки, поцеловать же какую-нибудь одну он не мог при всем желании, ибо они были связаны вместе.

Затем привидения снова взвалили клетку на плечи и перенесли ее на телегу, запряженную волами.



Глава XLVII

о том, каким необыкновенным способом был очарован Дон Кихот, равно как и о других достопамятных событиях



Дон Кихот, видя, что его посадили в клетку и погрузили на телегу, сказал:

– Много чудесных историй довелось мне читать о странствующих рыцарях, но никогда я не читал, не видал и не слышал, чтобы очарованных рыцарей так увозили – с тою медлительностью, какой должно ожидать от этих ленивых и неповоротливых животных. Обыкновенно рыцарей с поразительною легкостью переносят по воздуху, закутанных в серое или же черное облако, на огненной колеснице, на гиппогрифе или же на каком-либо другом подобном звере, но увозить на волах – ей-богу, я ничего не понимаю! Впрочем, чего доброго, рыцарство и чародейство нашего времени идут не по тому пути, по какому они шли в старину. И еще может статься, что коли я – рыцарь нового времени, первый рыцарь в мире, воскресивший давно забытое поприще рыцарства, ищущего приключений, то появились и новые виды чародейства и новые способы похищения очарованных. Как ты на это смотришь, сын мой Санчо?

– Я сам не знаю, как я на это смотрю, – отвечал Санчо, – ведь я не так начитан в странствующем писании, как ваша милость. Со всем тем я готов поклясться, что привидения, которые тут бродят, народ отнюдь не благочестивый.

– Благочестивый? Да бог с тобой! – вскричал Дон Кихот. – Какое там благочестивый, – это сущие демоны, облекшиеся в призрачную плоть, дабы совершить это и довести меня до такой крайности! Если ж ты желаешь в том удостовериться, то дотронься до них и ощупай, и ты удостоверишься, что тела у них из воздуха и что все это одна только видимость.

– Ей-богу, сеньор, я уж их трогал, – признался Санчо, – и вон тот дьявол, который все хлопочет, он – гладкий, и еще есть у него одно свойство, противоположное тому, коим обладают черти: ведь говорят, что черти воняют серой и всякой дрянью, а от него за полмили несет амброй.

Санчо имел в виду дона Фернандо, от которого, как от знатного сеньора, вероятно, пахло чем-нибудь вроде этого.

– Тебя это не должно удивлять, друг Санчо, – возразил Дон Кихот. – Надобно тебе знать, что черти – великие искусники: они распространяют зловоние, но сами ничем не пахнут, ибо они – духи, а если и пахнут, то это не хороший запах, а мерзкий и отвратительный. Причиной же этому то, что ад неотступно с ними и неоткуда им ожидать облегчения своим мукам, а как приятный запах доставляет удовольствие и упояет, то они и не могут приятно пахнуть. Если же тебе кажется, что бес, о котором ты толкуешь, пахнет амброй, то или ты сам обманулся, или он намерен тебя обмануть, дабы ты не принимал его за черта.

Вот о чем беседовали между собою господин и слуга; дон Фернандо же и Карденьо, боясь, как бы Санчо окончательно не распознал их затею, к чему тот был уже весьма близок, порешили ускорить отъезд и, отозвав хозяина в сторону, велели седлать Росинанта и Санчова осла, что хозяин с великим проворством и исполнил. Тем временем священник уговорился со стражниками, что они проводят Дон Кихота до места и что с ними будут рассчитываться поденно. Карденьо подвесил к седельной луке Росинанта с одной стороны щит, с другой – таз для бритья и знаками приказал Санчо сесть на осла и вести в поводу Росинанта, а двум стражникам с мушкетами идти рядом с повозкой: одному – с правой стороны, другому – с левой. Но прежде чем повозка тронулась, хозяйка, ее дочь и Мариторнес с таким видом, будто они оплакивают постигшее Дон Кихота несчастье, вышли с ним проститься. Дон Кихот же сказал им:

– Не плачьте, добрые мои сеньоры, – все эти невзгоды неразлучны с теми, кто подвизается на поприще, на каком подвизаюсь я, и когда бы со мною подобных коловратностей не случалось, я не почитал бы себя за славного странствующего рыцаря, ибо с рыцарями неизвестными и ничем не знаменитыми подобных происшествий никогда не бывает, – вот почему никто их и не помнит, с доблестными же – бывают, ибо многие государи и многие рыцари завидуют их добродетели и отваге и тщатся всякими коварными способами сжить их со свету. Однако ж добродетель сама по себе столь могущественна, что назло всей черной магии, какую только знал первый ее изобретатель Зороастр, она выйдет с честью из всех испытаний и воссияет на земле, подобно солнцу в небе. Простите меня, прекрасные дамы, если я чем-либо вас оскорбил, – разумеется, невольно, ибо умышленно и преднамеренно я никого никогда не оскорблял, – и помолитесь богу, чтобы он вывел меня из темницы, куда некий злокозненный волшебник меня заточил. Если же я выйду на свободу, то из памяти моей вовек не изгладятся милости, какие в этом замке были мне сделаны, и я вас отблагодарю, и вознагражу, и заслужу вам как должно.

Пока Дон Кихот беседовал с обитательницами замка, священник и цирюльник простились с доном Фернандо и его спутниками, с капитаном и его братом, а также со всеми довольными своей судьбой дамами, особливо с Лусиндой и Доротеей. Все обнялись и уговорились, что будут друг друга уведомлять о себе, дон Фернандо же сообщил священнику, куда надлежит писать

ему о том, что станется с Дон Кихотом, и уверил его, что ему это весьма любопытно знать и что и он, дон Фернандо, постарается известить священника обо всем, что может быть ему любопытно: о своей свадьбе, о крещении Зораиды, о судьбе дона Луиса и о возвращении Лусинды в родительский дом. Священник обещал в точности исполнить его просьбу. Все снова обнялись и снова надавали друг другу обещаний. Хозяин подошел к священнику и, вручив ему какие-то бумаги, сказал, что он обнаружил их за подкладкой сундучка, в коем оказалась *Повесть о Безрассудно-любопытном,* и раз что, мол, владелец больше сюда не заезжал, то священник волен взять их себе, ибо сам он читать не умеет и они ему, дескать, без надобности. Священник поблагодарил и, тотчас же развернув рукопись, прочитал заглавие: *Повесть о Ринконете и Кортадильо*,[248] из чего явствовало, что тут есть еще одна повесть; и, рассудив, что коли *Безрассудно-любопытный* хорош, то, может статься, и эта повесть недурна, ибо, как видно, она того же автора, он спрятал рукопись в чаянии прочитать ее, как скоро представится случай.

Затем он и его друг цирюльник сели верхами, оба в масках, ибо не хотели, чтобы Дон Кихот узнал их, и поехали следом за повозкой. Процессия двигалась в таком порядке: впереди ехала повозка, коей правил ее владелец; по бокам, как уже было сказано, шествовали стражники с мушкетами; позади, ведя в поводу Росинанта, ехал на осле Санчо, а сзади всех, скрываясь, как уже было сказано, под масками, с видом важным и невозмутимым, соразмеряя шаг могучих своих мулов с медлительною поступью волов, ехали священник и цирюльник. В клетке же, вытянув ноги и прислонившись к решетке, со связанными руками сидел Дон Кихот, столь покорный и тихий, точно это был не живой человек, но каменная статуя. Так, молча и не спеша, проехали они около двух миль и наконец приблизились к долине, каковая показалась вознице местом, подходящим для отдыха и для кормления волов, однако ж цирюльник, посоветовавшись со священником, предложил еще немного проехать, ибо ему было известно, что за холмом, видневшимся невдалеке, есть более травянистый луг, гораздо лучше того, где собирался остановиться хозяин волов. Мнение цирюльника возобладало, и путешественники поехали дальше.

Но тут священник оглянулся и увидел, что сзади едут верхами человек шесть или семь, хорошо одетые и снаряженные, и люди эти путников наших скоро нагнали, ибо ехали они не на волах, ко всему безучастных и неповоротливых, а на таких мулах, какие бывают у каноников,[249] и, должно полагать, стремились еще до полудня расположиться на постоялом дворе, который виднелся на расстоянии меньше одной мили отсюда. Поравнявшись, скороходы любезно раскланялись с ленивцами, а один из них, впоследствии оказавшийся толедским каноником и господином спутников своих, окинув взглядом повозку, стражников, Санчо, Росинанта, священника с цирюльником и наконец полоненного и посаженного в клетку Дон Кихота, всю эту двигавшуюся в определенном порядке процессию, не мог удержаться, чтобы не спросить, почему этого человека везут таким образом, хотя по знакам достоинства, которые он заметил у стражников, он понял, что это какой-нибудь страшный разбойник, вообще какой-нибудь преступник, коего дело подсудно Святому братству. Один из стражников, к которому он обратился с этим вопросом, ответил так:

– Сеньор! Пусть этот кавальеро сам скажет, почему его так везут, а мы ничего не знаем.

Услышав, о чем идет речь, Дон Кихот сказал:

– Может статься, ваши милости знают толк и разбираются в том, что такое странствующее рыцарство? Если да, то я поведаю вам свои невзгоды, если же нет, то мне не к чему утруждать себя повествованием о них.

В это время священник и цирюльник, видя, что путники вступили в разговор с Дон Кихотом Ламанчским, подъехали поближе, с намерением в случае чего дать такие объяснения, чтобы хитрость их осталась неразгаданной.

Каноник на вопрос Дон Кихота ответил так:

– По правде сказать, сын мой, рыцарские романы я знаю лучше, чем *Sumulas*[250] Вильяльпандо, а посему, если дело только за этим, вы смело можете поведать мне все, что угодно.

– Слава богу, – молвил Дон Кихот. – Когда так, то да будет вам известно, сеньор кавальеро, что меня околдовали и посадили в клетку, а виной тому зависть и коварство злых волшебников, ибо добродетель сильнее ненавидят грешники, нежели любят праведники. Я – странствующий рыцарь, но не из тех, чьи имена Слава ни разу не вспомнила и не увековечила, а из тех, кому суждено назло и наперекор самой зависти, а равно и всем магам Персии, браминам Индии[251] и гимнософистам Эфиопии[252] начертать свое имя в храме бессмертия, дабы оно послужило примером и образцом далеким потомкам и дабы странствующие рыцари будущего знали, какие пути ведут к наивысшему почету на ратном поприще.

– Сеньор Дон Кихот Ламанчский говорит правду, – сказал на это священник. – Он, точно, едет заколдованный на этой телеге, и не за свои грехи и провинности, но по злоумышлению тех, кому добродетель несносна, а доблесть постыла. Это, сеньор, *Рыцарь Печального Образа,* о котором вы, может статься, уже от кого-нибудь слышали и которого смелые подвиги и великие деяния будут вычеканены на прочной меди и несокрушимом мраморе, сколько бы зависть ни старалась их очернить, а лукавство – скрыть.

Когда каноник услышал, каким слогом говорят и пленник и находящийся на свободе, то чуть не перекрестился от изумления, – он не мог понять, что это такое, и в не меньшее изумление привело это его спутников. Тут Санчо Панса, подъехав послушать, о чем говорят, и решившись внести в это дело полную ясность, сказал:

– Вот что, сеньоры: как вам будет угодно, а только мой господин Дон Кихот так же заколдован, как мы с вами, – он совершенно в своем уме, ест, пьет и отправляет свои потребности не хуже всякого другого, так же как он это делал вчера, когда его еще не сажали в клетку. А коли так, то чем же вы можете мне доказать, что он заколдован? Ведь я от многих слыхал, что заколдованные не едят, не спят, не говорят, а мой господин, если только его не остановить, наговорит больше, чем тридцать стряпчих.

И, обратясь к священнику, продолжал:

– Ах, сеньор священник, сеньор священник! Неужто ваша милость думала, что я вас не узнал и что я не догадываюсь и не смекаю, куда ведут эти новые чародейства? Ан нет, узнал, было бы вам известно, сколько бы вы ни прятались под маской, и раскусил, было бы вам известно, сколько бы вы ни скрывали свои козни. Словом сказать, где царствует зависть, там нет места для добродетели, а со скаредностью не уживается щедрость. Черт возьми! Когда бы не ваше преподобие, то мой господин когда бы уж был женат на инфанте Микомиконе, а я был бы по меньшей мере графом, – порукой тому доброта моего *Печального Образа,* равно как и важность оказанных мною услуг! Но я вижу, что недаром у нас люди говорят: колесо Фортуны проворнее мельничного, и кто вчера был высоко-высоко, тот нынче лежит во прахе. Жаль мне мою жену и детей: ведь у них были все основания надеяться, что их отец вернется домой губернатором острова или же – как бишь его? – *птице-королем* какого-нибудь королевства, а вместо этого он вернется конюхом. Все это, сеньор священник, я говорю единственно для того, чтобы вы, ваше высокопреподобие, раскаялись в дурном обхождении с моим господином, а то глядите, как бы на том свете бог не спросил с вас за то, что вы его заточили, и не осудил вас за то, что мой господин Дон Кихот не совершил за время плена ни одного доброго дела и никому не помог.

– Экие он пули отливает! – сказал на это цирюльник. – Стало быть, Санчо, ты со своим господином одного поля ягода? Ей-богу, я начинаю думать, не посадить ли и тебя в клетку к нему за компанию и не побыть ли тебе вместе с ним на положении заколдованного, потому что тебе передались его замашки и его рыцарщина. Не в добрый час соблазнил он тебя своими обещаниями, и не в пору втемяшился тебе этот остров, о котором ты так мечтаешь.

– Я не девушка, чтобы меня соблазнять, – возразил Санчо, – меня еще никто не соблазнял, ниже сам король, я хоть и бедняк, но христианин чистокровный и никому ничего не должен. И я мечтаю об острове, а другие мечтают кое о чем похуже, и ведь все от человека зависит, стало быть, коли я человек, то могу стать папой, а не только губернатором острова, островов же этих самых мой господин может завоевать столько, что и раздавать их будет некому. Думайте, что вы говорите, ваша милость, сеньор цирюльник, это вам не бороду брить, нельзя мерить всех одной меркой. Говорю я это к тому, что все мы здесь друг дружку знаем, и нечего мне голову морочить. А что мой господин будто бы заколдован, то бог правду видит, а мы пока помолчим, потому лучше этого не трогать.

Цирюльник, боясь, что из-за простодушия Санчо откроется то, что он и священник столь тщательно скрыть старались, не стал отвечать ему; и по той же самой причине священник предложил канонику проехать с ним вперед, – он-де поведает ему тайну сидящего в клетке и расскажет еще кое-что забавное. Каноник изъявил согласие и, проехав вместе со своими слугами и священником вперед, внимательно выслушал все, что тот рассказал о звании, нраве, образе жизни и безумии Дон Кихота, вкратце остановившись на первопричине его умопомешательства, а также на всех его похождениях, вплоть до того, как он был посажен в клетку, и поделившись с каноником своим намерением отвезти его домой и там уже взяться за его лечение. Слушая необычайную историю Дон Кихота, каноник и его люди снова давались диву; выслушав же ее, каноник сказал:

– Признаюсь, сеньор священник, я совершенно уверен, что так называемые рыцарские романы приносят государству вред, и хотя, движимый праздным и ложным любопытством, я прочитал начала почти всех вышедших из печати романов, но так и не мог принудить себя дочитать ни одного из них до конца, ибо я полагаю, что все они, в общем, на один покрой и в одном то же, что и в другом, а в другом то же, что и в третьем. И еще я склонен думать, что этот род писаний и сочинений приближается к так называемым милетским сказкам,[253] этим нелепым басням, которые стремятся к тому, чтобы услаждать, но не поучать – в противоположность апологам, которые не только услаждают, но и поучают. Если же основная цель подобных романов – услаждать, то вряд ли они ее достигают, ибо они изобилуют чудовищными нелепостями. Между тем душа наслаждается лишь тогда, когда в явлениях, предносящихся взору нашему или воображению, она наблюдает и созерцает красоту и стройность, а все безобразное и несогласное никакого удовольствия доставить не может. А когда так, то какая же может быть красота и соответствие частей с целым и целого с частями в романе или повести, где великана ростом с башню шестнадцатилетний юнец разрезает мечом надвое, точно он из пряничного теста, и где сам автор, описывая битву, сообщает, что силы неприятеля исчислялись в миллион воинов, но коль скоро против них выступил главный герой, то мы, хотим или не хотим, волей-неволей должны верить, что рыцарь этот достигнул победы одною лишь доблестью могучей своей длани? А что вы скажете об этих королевах или же будущих императрицах, которым ничего не стоит броситься в объятия незнакомого странствующего рыцаря? Кто, кроме умов неразвитых и грубых, получит удовольствие, читая о том, что громадная башня с рыцарями плавает по морю, точно корабль при попутном ветре, и ночует в Ломбардии, а рассвет встречает на земле пресвитера Иоанна Индийского, а то еще и на такой, которую ни Птолемей[254] не описывал, ни Марко Поло[255] не видывал? Мне могут возразить, что сочинители рыцарских романов так и пишут их, как вещи вымышленные, а потому они, мол, не обязаны соблюдать все тонкости и гнаться за правдоподобием, – я же на это скажу, что вымысел тем лучше, чем он правдоподобнее, и тем отраднее, чем больше в нем возможного и вероятного. Произведения, основанные на вымысле, должны быть доступны пониманию читателей, их надлежит писать так, чтобы, упрощая невероятности, сглаживая преувеличения и приковывая внимание, они изумляли, захватывали, восхищали и развлекали таким образом, чтобы изумление и восторг шли рука об руку. Но всего этого не может достигнуть тот, кто избегает правдоподобия и подражания природе, а в них-то и заключается

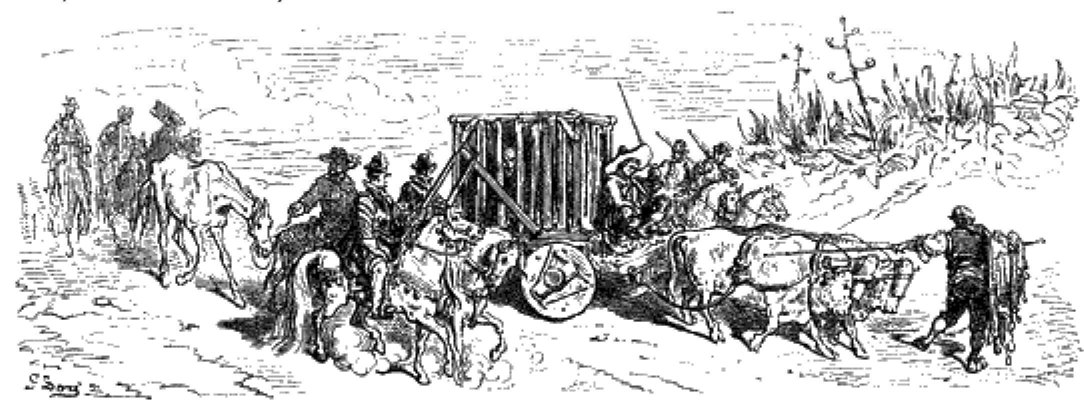
совершенство произведения. Я не знаю ни одного рыцарского романа, где бы все члены повествования составляли единое тело, так что середина соответствовала бы началу, а конец – началу и середине, – все они состоят из стольких членов, что кажется, будто сочинитель вместо хорошо сложенной фигуры задумал создать какое-то чудище или же урода. Кроме того, слог в этих романах груб, подвиги неправдоподобны, любовь похотлива, вежливость неуклюжа, битвы утомительны, рассуждения глупы, путешествия нелепы – словом, с искусством разумным они ничего общего не имеют и по этой причине подлежат изгнанию из христианского государства наравне с людьми бесполезными.

Священник выслушал его с великим вниманием и решил, что это человек здравомыслящий и что он совершенно прав, а потому объявил, что держится того же мнения и что из ненависти к рыцарским романам он, священник, сжег все книги Дон Кихота, каковых было многое множество. И тут он рассказал канонику, как он подвергал их осмотру и какие из них предал сожжению, а какие помиловал. Каноник немало смеялся, а затем высказал ту мысль, что рыцарские романы при всех отмеченных им недостатках обладают одним положительным свойством: самый их предмет позволяет зрелому уму проявить себя, ибо они открывают перед ним широкий и вольный простор, где перо может бежать свободно, описывая кораблекрушения, бури, схватки, битвы; изображая доблестного полководца, обладающего всеми необходимыми для того, чтобы быть таковым, качествами: предусмотрительного, когда нужно разгадать хитрости врага, красноречивого, когда нужно убедить или же разубедить солдат, мудрого в своих советах, быстрого в решениях, столь же храбро обороняющегося, как и нападающего; описывая то печальные и трагические случаи, то события радостные и неожиданные, то прекраснейшую даму, добродетельную, благоразумную и осмотрительную, то рыцаря-христианина, отважного и учтивого, то бессовестного и грубого хвастуна, то любезного государя, доблестного и благовоспитанного, живописуя добропорядочность и верность вассалов, величие и добросердечие сеньоров. Сочинитель волен показать, что он знает астрологию, что он и превосходный космограф, и музыкант, и в государственных делах искушен, а коли пожелает, то всегда найдет повод показать, что он и в черной магии знает толк. Он волен изобразить хитроумие Одиссея, богобоязненность Энея, мужество Ахилла, бедствия Гектора, предательство Синона,[256] дружескую верность Эвриала,[257] щедрость Александра Македонского, доблесть Цезаря, милосердие и правдивость Траяна, постоянство Зопира,[258] мудрость Катона – словом, все те качества, которые делают славных мужей совершенными, наделить ими одного героя или же распределить их между несколькими. И если при этом еще чистота слога и живость воображения, старающегося держаться как можно ближе к истине, то ему бесспорно удастся изготовить ткань, из разноцветных и прекрасных нитей сотканную, которая в законченном виде будет отмечена печатью совершенства и красоты, и таким образом он достигнет высшей цели сочинительства, а именно, как уже было сказано, поучать и услаждать одновременно. Должно заметить, что непринужденная форма рыцарского романа позволяет автору быть эпиком, лириком, трагиком и комиком и пользоваться всеми средствами, коими располагают две сладчайшие и пленительные науки: поэзия и риторика, – ведь произведения эпические с таким же успехом можно писать в прозе, как и в стихах.



Глава XLVIII,

в коей каноник продолжает рассуждать о рыцарских романах, равно как и о других предметах, достойных его ума



– Вы совершенно правы, сеньор каноник, – сказал священник, – и потому-то авторы рыцарских романов и заслуживают особого порицания, ибо они не сообразуются со здравым смыслом и не подчиняются правилам искусства, руководствуясь коими, они могли бы прославиться в прозе, подобно как в стихах прославились два столпа поэзии – греческой и латинской.[259]

– Я, по крайней мере, поддался искушению написать рыцарский роман, соблюдая все перечисленные мною пункты, – объявил каноник, – и, признаться сказать, написал я более ста листов. А дабы удостовериться, правильно ли я оцениваю свой труд, я читал его любителям такого чтения, и не только людям образованным и умным, но и невеждам, для которых послушать какую-нибудь нелепицу – первое удовольствие, и все отзывались о нем с похвалой. Но со всем тем продолжать я не стал: во-первых, я полагал, что сан мой этого не позволяет, а во-вторых, я удостоверился, что дураков на свете больше, чем умных, и хотя похвала горсточки знатоков стоит дороже насмешек собрания глупцов, однако я не желаю зависеть от невразумительных суждений суетной черни, которая главным образом и читает подобные книги. Но окончательно охладел я к роману и отказался от намерения его продолжать после того, как меня навели на размышления комедии,[260] которые теперь играются. «Известно, – говорил я себе, – что все или, во всяком случае, большинство современных комедий, основанных на вымысле, равно как и на событиях исторических, – гиль и что в них нет ни складу ни ладу, а между тем чернь смотрит их с удовольствием, одобряет их и признает за хорошие, хотя они отнюдь не заслуживают подобной оценки; авторы, которые их сочиняют, и актеры, которые их представляют, говорят, что иными они и не должны быть, ибо чернь любит-

де их такими, каковы они есть, а те, в которых есть связь и в которых действие развивается, как того требует искусство, удовлетворяют, мол, двух-трех знатоков, всем же остальным их мастерство – не в коня корм, и что авторам и актерам кусок хлеба, который им дает большинство, важнее мнения немногих, следственно, то же самое получится и с моим романом: я буду ночи напролет корпеть, только чтобы соблюсти указанные правила, а в конце концов выйдет, что я вроде того портного, который со своим прикладом шьет и за работу денег не берет. И ведь я неоднократно пытался убедить актеров, что они неправильного придерживаются взгляда и что они привлекли бы больше зрителей и славы было бы у них больше, если бы они представляли комедии, написанные по всем правилам искусства, а не всякую дребедень, но они закоснели и уперлись на своем, так что никакие доводы и даже самая очевидность их не разуверят». Помнится, как-то раз я сказал одному из этих упрямцев: «Скажите: вы помните, что назад тому несколько лет в Испании были играны три трагедии одного знаменитого нашего писателя, и они изумили, привели в восторг и потрясли всех зрителей без исключения, и необразованных и ученых, и избранных и чернь, так что три эти трагедии дали актерам больше сборов, нежели тридцать лучших комедий, игранных впоследствии?» – «Ваша милость, уж верно, разумеет *Изабеллу, Филиду* и *Александру*»,[261] – сказал директор театра. «Именно, – подтвердил я. – И заметьте, что правила искусства в них тщательно соблюдены, но это, однако ж, не помешало им стать тем, чем они стали, и всем понравиться. Значит, виновата не публика, которая якобы требует вздора, а те, кто не умеет показать ей что-нибудь другое. Ведь не дребедень же *Наказанная неблагодарность, Нумансия, Влюбленный купец, Благородная соперница*[262] и некоторые другие комедии, принадлежащие перу поэтов просвещенных и принесшие славу и почет сочинителям и доход тем, кто в них участвовал». Долго еще я с ним говорил, и он, по-видимому, был слегка смущен, но не удовлетворен моими доводами и не разубежден и так и остался при ошибочном своем мнении.

– Сеньор каноник! Вы, ваша милость, затронули предмет, пробудивший во мне давнюю неприязнь к нынешним комедиям, не менее сильную, чем к рыцарским романам, – сказал на это священник, – ведь по словам Туллия,[263] комедия должна быть зеркалом жизни человеческой, образцом нравов и олицетворением истины, меж тем как нынешние комедии суть зеркала бессмыслицы, образцы глупости и олицетворения распутства. В самом деле, что в сем случае может быть несообразнее, когда в первой сцене первого акта перед нами дитя в пеленках, а во второй – это уже бородатый мужчина? Что может быть нелепее – изображать старика отважным, а юношу малодушным, слугу – ритором, пажа – советчиком, короля – чернорабочим, принцессу – судомойкой? А что можно сказать о соблюдении времени, в течение коего могут или же могли произойти изображаемые события? Я видел одну комедию, так там первое действие происходило в Европе, второе в Азии, третье в Африке, а будь в ней четыре действия, то четвертое, уж верно, происходило бы в Америке и таким образом ни одна из четырех частей света не была бы забыта.[264] Если подражание природе есть основа комедии, то какое же удовольствие может получить даже самый ограниченный ум, когда действие комедии происходит во времена королей Пипина[265] и Карла Великого,[266] а главный ее герой – император Ираклий,[267] который, подобно Готфриду Бульонскому, идет крестовым походом на Иерусалим и завоевывает Гроб Господень, хотя этих героев разделяет бессчетное число лет? Если же комедия зиждется на вымысле, то зачем мешать с ним события исторические, да к тому же еще происходившие в разные времена и с разными лицами, и все это без единой правдоподобной черты, напротив – с явными ошибками, совершенно недопустимыми? А хуже всего, что находятся невежды, которые утверждают, будто это верх совершенства и будто желать чего-то другого – значит искать птичьего молока. Ну, а комедии божественные?[268] Сколько тут напридумано чудес, которых никогда и не было, сколько событий апокрифических, сколько тут всего напутано, вроде того, что чудеса одного святого приписываются другому! Да и в комедиях светских сочинители осмеливаются изображать чудеса только на том основании и из тех соображений, что чудеса и, как это у них называется,

превращения сильно действуют на воображение невежественного люда и привлекают его в театр. И все это делается в ущерб истине, наперекор истории и бросает тень на умы Испании, ибо чужеземцы, строго соблюдающие законы комедии, видя наши нелепости и несуразности, почитают нас за варваров и невежд. Скажут, что основная цель, которую преследуют государства благоустроенные, дозволяя публичные зрелища, это доставить обществу невинные увеселения и отвлечь его от дурных наклонностей, праздностью порождаемых, и если, мол, цели этой достигает любая комедия, как хорошая, так и дурная, то и незачем устанавливать правила и стеснять сочинителей и актеров определенными рамками, ибо, как уже было сказано, любая из них назначению своему соответствует, – и все же это не может служить им к оправданию. Я бы на это возразил, что указанная цель была бы гораздо скорее достигнута с помощью не плохих, а хороших комедий: посмотрев комедию замысловатую и отличающуюся искусством в расположении, зритель уйдет из театра, смеясь шуткам, проникшись нравоучениями, в восторге от происшествий, умудренный рассуждениями, предостереженный кознями, наученный примерами, возмущенный пороком и влюбленный в добродетель, ибо хорошая комедия способна пробудить все эти страсти в любой душе, даже самой грубой и невосприимчивой, и, само собою разумеется, комедия, всеми этими качествами обладающая, должна гораздо больше увеселять и забавлять и доставлять гораздо больше удовольствия и наслаждения, нежели качеств этих лишенная, а таковы почти все современные комедии. И поэты, их сочиняющие, тут ни при чем, ибо некоторые прекрасно видят свои недостатки и отлично понимают, как должно писать, – беда в том, что комедия нынче превратилась в товар, и авторы говорят, и говорят сущую правду, что иного сорта комедию ни один театр у них не купит, и по сему обстоятельству поэт приноравливается к требованиям того театра, который его произведения покупает. В доказательство можно сослаться на бесчисленное множество комедий одного нашего счастливейшего писателя,[269] исполненных такого блеска и живости, столь изящным стихом написанных, содержащих в себе столь здравые рассуждения и столь глубокомысленные изречения, наконец самый слог которых до такой степени изыскан и высок, что слава о них идет по всему свету, и все же из-за того, что автор желает угодить вкусам актеров, далеко не все, а только некоторые из них являют собою перл создания. Прочие же до того небрежно пишут, что после представления актеры из боязни преследований должны бежать и скрываться, как это и бывало уже не раз, когда давалось что-нибудь оскорбительное для короля или же задевающее честь того или иного знатного рода. А ведь подобные безобразия, равно как и многие другие, о которых я говорить не стану, могли бы быть устранены, когда бы в столице кто-либо из людей просвещенных и разумных просматривал все комедии до их представления на сцене, и не только те, которые играны бывают в столице, но и любую комедию, какую только пожелают сыграть где-либо в Испании, и без его одобрения, подписи и печати местные власти не дозволяли на сцену ни одной комедии, – таким образом, комедиантам пришлось бы сперва посылать комедии в столицу, зато потом они могли бы уже совершенно спокойно их представлять, а сочинители, боясь строгого суда знатока, стали бы с большею тщательностью и прилежанием над своими комедиями трудиться. И так у нас появились бы хорошие комедии, в полной мере отвечающие своему назначению, то есть они увеселяли бы народ, удовлетворяли лучшие умы Испании и обеспечивали доход и безопасность актеров, власти же были бы избавлены от труда преследовать их. И если бы тому же самому лицу или кому-нибудь другому поручить просмотр вновь выходящих рыцарских романов, то некоторые из них достигли бы того совершенства, о коем ваша милость мечтает: они обогатили бы наш язык пленительными и бесценными сокровищами красноречия, так что блеск старых романов померкнул бы при свете только что вышедших, и послужили бы невинным развлечением не для одних праздных, но даже для наиболее занятых людей, ибо как тетива лука не может быть постоянно натянута, так же точно и природа человеческая по слабости своей в дозволенном нуждается увеселении.

В этом месте беседу каноника со священником прервал цирюльник, который, нагнав их, сказал священнику:

– Сеньор лиценциат! Вот то место, где и нам, как я уже говорил, не худо было бы пополдничать, и волы найдут себе пастбище, обильное свежей травой.

– И я того же мнения, – заметил священник.

Он сообщил о своем намерении канонику; каноник, прельщенный видом на роскошную долину, который открывался его глазам, сказал, что он тоже здесь остановится. И вот, чтобы насладиться этим видом, а также беседою со священником, к коему он почувствовал расположение, а также чтобы узнать во всех подробностях о подвигах Дон Кихота, велел он нескольким своим слугам дойти до постоялого двора, находившегося неподалеку отсюда, и принести для всех чего-нибудь съестного, ибо полдничать он намерен-де тут; слуга же ему на это сказал, что обозный их мул, уж верно, теперь на постоялом дворе, снеди же на нем, дескать, довольно, так что на постоялом дворе придется купить только овса для мулов.

– Когда так, – сказал каноник, – отведите туда всех наших мулов, а сюда приведите обозного.

Пока шел у них этот разговор, Санчо, видя, что священник с цирюльником, которые казались ему подозрительными, отлучились и что теперь ему самое время побеседовать с Дон Кихотом, приблизился к клетке, где сидел его господин, и сказал:

– Сеньор! Для очистки совести я должен с вами поговорить насчет вашей заколдованности. Дело состоит в том, что вон те, в масках, не кто иные, как священник из нашего села и цирюльник. И мне сдается, что это они из зависти надумали так увезти вас, потому славные ваши подвиги не дают им спать. Если же мое предположение справедливо, то выходит, что вас не заколдовали, а оплели и околпачили. В подтверждение сего я намерен спросить у вас одну вещь, и коли вы мне ответите, как я ожидаю, то увидите сами, что это один обман, и поймете, что вы не заколдованы, а просто-напросто спятили.

– Спрашивай что угодно, сын мой Санчо, – сказал Дон Кихот, – я удовлетворю твое любопытство и отвечу на все вопросы. А что касается того, будто те двое, которые едут с нами, – священник и цирюльник, наши знакомые и соотчичи, то вполне может статься, что они тебе таковыми кажутся, но ты ни в коем случае не должен думать, что это взаправду и на самом деле так. Ты должен думать и должен понять, что если они, по-твоему, похожи на священника и цирюльника, значит, те, кто меня околдовал, приняли образ их и подобие, – ведь волшебникам ничего не стоит принять любой облик, – облик же наших друзей они приняли для того, чтобы заставить тебя думать так, как ты на самом деле и думаешь, и завести тебя в лабиринт мечтаний, из которого тебе не выбраться, хотя бы в руках у тебя была Тезеева нить. И еще для того они это сделали, чтобы рассудок мой помутился и я не мог догадаться, откуда на меня свалилось это несчастье, ибо если, с одной стороны, ты мне говоришь, что меня сопровождают цирюльник и священник из нашего села, а с другой стороны, я вижу, что меня держат в клетке, и твердо знаю, что только силам сверхъестественным, но никак не человеческим дано посадить меня в клетку, то могу ли я что-нибудь еще сказать или подумать, кроме того, что способ, каким меня околдовали, превосходит все, что мне приходилось читать в книгах о том, как очаровывали странствующих рыцарей? И по сему обстоятельству ты смело можешь про это забыть и не думать, ибо они такие же священник и цирюльник, как я турок. А вот ты хотел о чем-то меня спросить – это пожалуйста, я тебе на все отвечу, хотя бы ты спрашивал меня до завтрашнего утра.

– Пресвятая богородица! – истошным голосом завопил Санчо. – Неужто вы, ваша милость, такая тупица и такой бестолковый, что не понимаете, насколько я прав и что в вашем пленении и злополучии повинно более коварство, нежели волшебство? Ну да ладно, я вам сейчас докажу, как дважды два, что вы не заколдованы. Итак, ответьте мне, и да избавит вас творец

от этой напасти, и хоть бы уж вы в один прекрасный день очутились наконец в объятиях сеньоры Дульсинеи!

– Полно тебе заклинать меня, – сказал Дон Кихот, – спрашивай что тебе надобно, я же тебе сказал, что дам самый точный ответ.

– Об этом-то я и прошу, – заметил Санчо, – и хочу, чтобы вы мне сказали по чистой совести, ничего не прибавляя и не опуская, как, чаятельно, должны говорить и говорят все, кто подвизается на ратном поприще, как, например, вы, ваша милость, и носит звание странствующего рыцаря...

– Говорят тебе, я не стану лгать, – сказал Дон Кихот. – Спрашивай же, наконец, – честное слово, Санчо, ты мне надоел со своими мольбами, предисловиями и подходами.

– А я говорю, что честность и правдивость моего господина для меня несомненны. Так вот, коли уж к слову пришлось, хочу я у вас спросить, извините за выражение, не было ли у вашей милости охоты и желания, когда уже вас посадили в клетку и, по вашему разумению, заколдовали, сходить, как говорится, за большой или же за малой нуждой?

– Я не понимаю, что значит ходить за нуждой, Санчо. Выражайся яснее, если желаешь, чтобы я дал тебе прямой ответ.

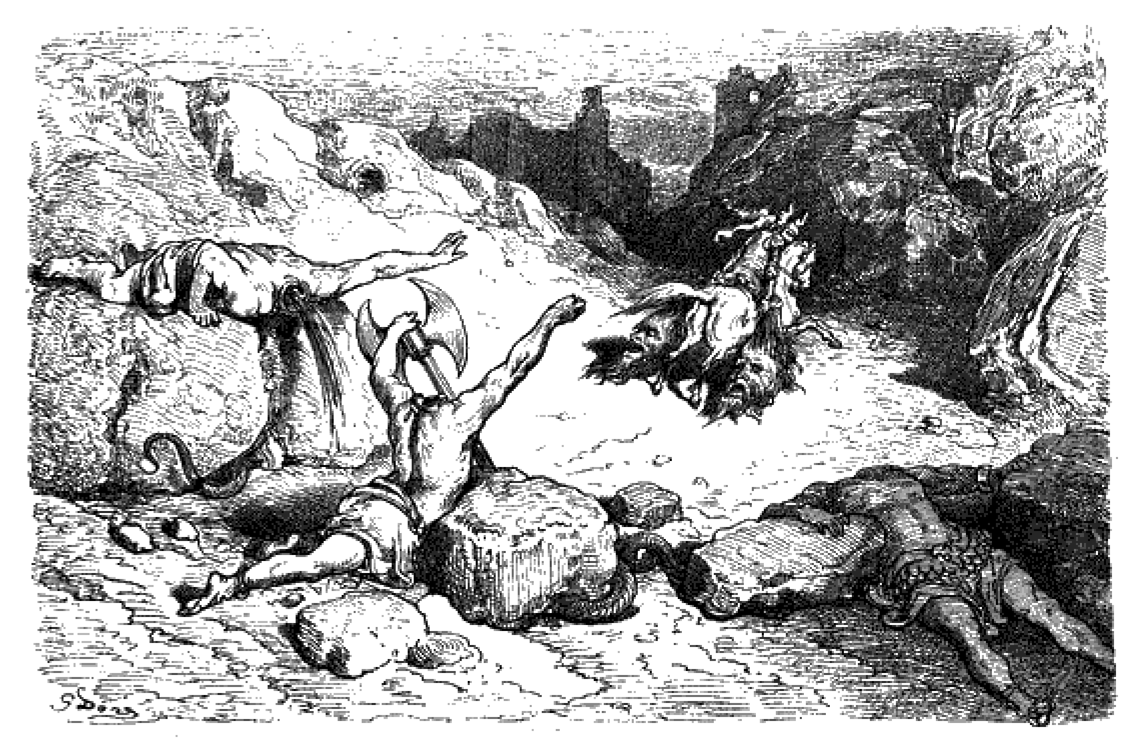
– Неужто ваша милость не понимает, что значит малая и большая нужда? Да ведь это грудному ребенку ясно. Одним словом, я хочу сказать, не хотелось ли вам сделать нечто такое, чего нельзя избежать?

– А, понимаю, Санчо! Много раз, и сейчас вот хочется. Пожалуй, выручи меня из беды, а то у меня тут не все в порядке!



Глава XLIX,

в коей приводится дельный разговор между Санчо Пансою и его господином Дон Кихотом



– Ага! – воскликнул Санчо. – Вот я вас и поймал, это-то мне и хотелось узнать, смерть как хотелось. Послушайте, сеньор, неужто вы станете отрицать, что когда человеку нездоровится, то про него обыкновенно говорят так: «Не знаю, что с ним такое, не ест, не пьет, не спит, отвечает невпопад, точно кто его околдовал?» Стало быть, которые не едят, не пьют, не спят и не отправляют помянутых мною естественных потребностей, те и есть заколдованные, а вовсе не такой человек, которому хочется того, чего хочется вашей милости, который пьет, когда ему дают, кушает, когда у него что-нибудь есть, и отвечает на любые вопросы.

– То правда, Санчо, – заметил Дон Кихот. – Но я уже говорил, что есть много способов колдовства, и может статься, что с течением времени одни сменялись другими и что ныне применяется такой, при котором заколдованные делают все, что делаю я и чего не делали прежде. Так что против духа времени идти не стоит и не к чему делать отсюда какие-либо выводы. Я знаю и стою на том, что я заколдован, и потому совесть моя спокойна, а ведь она язвила бы меня, когда бы я полагал, что я не заколдован, а просто от лени и из трусости не выхожу из клетки и тем самым лишаю защиты многих обездоленных и утесненных, в моей помощи и заступлении в этот самый час крайнюю и насущную необходимость испытывающих.

– Как бы то ни было, – возразил Санчо, – для вящего благоденствия и спокойствия вашей милости хорошо, если бы вы постарались выйти из этой темницы – а я, со своей стороны, обязуюсь сделать все от меня зависящее и даже собственноручно извлечь вас отсюда, – и попробовали снова сесть на доброго своего Росинанта, который тоже, как видно, заколдован: вон он какой грустный и унылый, а потом мы опять попытаем счастья и поищем приключений. Если же нам не повезет, то вернуться в клетку мы всегда успеем, и я обещаю вам, как подобает доброму и верному оруженосцу, засесть в клетку вместе с вашей милостью в случае, если вы, ваша милость, окажетесь таким незадачливым, а я таким простаком, что у нас ничего не получится.

– Я не прочь поступить, как ты предлагаешь, брат Санчо, – заметил Дон Кихот, – и чуть только ты найдешь возможным освободить меня, я окажу тебе полное и совершенное повиновение. И все же ты удостоверишься, Санчо, в ошибочности своего представления о моем несчастье.

В таком духе беседовали странствующий наш рыцарь и его оруженосец, за которым тоже водились странности, и наконец прибыли туда, где, уже спешившись, их поджидали священник, каноник и цирюльник. Возница тотчас распряг волов и пустил их погулять на свободе в этом зеленом и приветном поле, коего прохлада манила насладиться ею не таких заколдованных личностей, как Дон Кихот, а таких рассудительных и благоразумных, как его оруженосец, который попросил священника позволить его господину выйти на минуточку из клетки: если его-де не выпустят, то в тюрьме будет не столь опрятно, как того требует присутствие такого рыцаря, каков его господин. Священник понял Санчо и сказал, что он весьма охотно исполнил бы эту просьбу, если бы не боялся, что Дон Кихот, очутившись на свободе, снова примется за свое – и только, мол, его и видели.

– Я ручаюсь, что он не убежит, – сказал Санчо.

– Я тоже, – сказал каноник, – в особенности, если он даст мне слово рыцаря без нашего позволения никуда отсюда не уходить.

– Даю, – молвил Дон Кихот, который слышал весь этот разговор. – Тем более что человек заколдованный, как, например, я, собою не располагает, – тот, кто его заколдовал, может сделать так, что он триста лет простоит на одном месте, а если и убежит, то его все равно вернут обратно по воздуху.

А коли так, то его, дескать, смело можно выпустить, – им же, дескать, будет лучше; если же они на это не согласны, то пусть отойдут в сторону, в противном случае он объявляет во всеобщее сведение, что принужден будет оскорбить их обоняние.

Каноник взял его за руку – руки же у Дон Кихота были связаны, – и под честное слово выпустил его из клетки, чему тот несказанно и чрезвычайно обрадовался; прежде всего он потянулся, а затем приблизился к Росинанту и, огладив его, сказал:

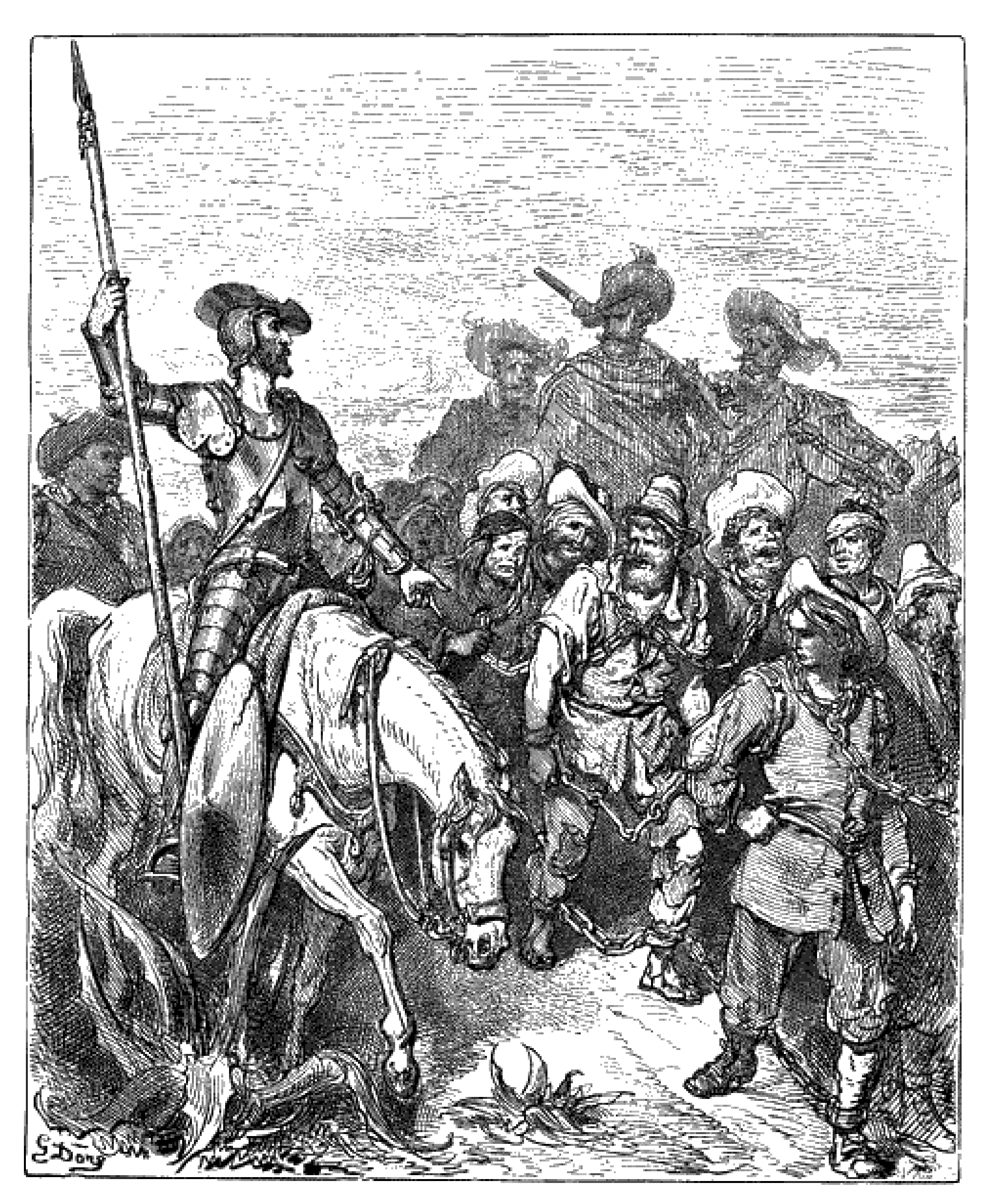
– Я все же надеюсь, что господь и пречистая его матерь скоро исполнят наши с тобой желания, о цвет и зерцало коней, и ты снова будешь возить на себе своего господина, а я, верхом на тебе, снова примусь за дело, ради которого господь бог произвел меня на свет.

Сказавши это, Дон Кихот удалился вместе с Санчо в укромное местечко и вернулся облегченный, горя желанием осуществить замысел своего оруженосца.

Каноник глядел на Дон Кихота, и необычайность великого этого безумия поражала его, ибо все рассуждения и ответы Дон Кихота были исполнены здравого смысла; только если дело касалось рыцарства, он, как уже не раз было сказано, начинал нести околесную. И вот, когда в ожидании имевшихся у каноника съестных припасов все расположились на зеленой травке, он, проникшись к Дон Кихоту состраданием, заговорил с ним:

– Неужели, сеньор идальго, чтение тошнотворных и пустопорожних рыцарских романов так на вас подействовало, что вы повредились в уме и вообразили, будто кто-то вас заколдовал и прочее тому подобное, столь же далекое от истинного устройства вещей, сколь ложь далека от истины? И как мог человеческий разум допустить, что была когда-то целая прорва всяких Амадисов, этих пресловутых рыцарей, что были все эти императоры Трапезундские, Фелисмарты Гирканские, иноходцы, странствующие девицы, змеи, андриаки, великаны, неслыханные приключения, всевозможные чародейства, сражения, жаркие схватки, причудливые наряды, влюбленные принцессы, оруженосцы-графы, забавные карлики, нежные послания, объяснения в любви, смелые женщины – словом, всякий вздор, коим набиты рыцарские романы? О себе могу сказать, что пока я их читаю, не думая о том, что все это враки, что все это пустое, я еще получаю некоторое удовольствие, но как скоро я себе представлю, что это такое, то мне тогда ничего не стоит хватить лучший из них об стену, а если б у меня в эту минуту горел огонь, я бы и в огонь их пошвырял, и они в самом деле заслуживают подобной казни, ибо все это выдумки и небылицы, и поведение их героев не соответствует природе вещей; ибо они создают новые секты и новые правила жизни;[270] ибо невежественная чернь верит всей этой ерунде и принимает ее за истину. И сочинители этих

романов еще имеют наглость смущать умы здравомыслящих и благородных идальго, как это мы видим на примере вашей милости, ибо они довели вас до такой крайности, что пришлось засадить вас в клетку и везти на волах, подобно как возят с места на место тигров и львов и показывают их за деньги. Полно же, сеньор Дон Кихот, пожалейте себя, возвратитесь в лоно разума, обратите ко благу тот светлый ум, коим небо вас наделило, и употребите счастливейшие способности ваши на иного рода чтение, которое послужит вам к чести и на пользу вашей душе. Если же, несмотря ни на что, вследствие природной склонности, вас потянет к книгам о подвигах и о рыцарских поступках, то откройте Священное писание и прочтите *Книгу Судей:* здесь вы найдете великие и подлинные события и деяния столь же истинные, сколь и отважные. В Лузитании[271] был Вириат,[272] в Риме – Цезарь, в Карфагене – Ганнибал, в Греции – Александр, в Кастилии – граф Фернан Гонсалес,[273] в Валенсии – Сид,[274] в Андалусии – Гонсало Фернандес,[275] в Эстремадуре – Дьего Гарсия де Паредес, в Хересе – Гарсия Перес де Варгас, в Толедо – Гарсиласо, в Севилье – дон Мануэль де Леон, и повесть об их доблестных подвигах способна развлечь, обогатить познаниями, усладить и удивить самые высокие умы. Вот это чтение, и правда, достойно светлого ума вашей милости, сеньор Дон Кихот: благодаря такому чтению вы будете знать историю, полюбите добродетель, научитесь всему хорошему, станете лучше сами, будете смелым, но не безрассудно, решительным без тени малодушия, – и все во славу божию, себе самому на пользу и к чести Ламанчи, откуда, сколько мне известно, вы, ваша милость, родом.



С чрезвычайным вниманием слушал Дон Кихот рассуждения каноника, и когда тот кончил, он посмотрел на него долгим взглядом и сказал:

– Сдается мне, сеньор идальго, что милость ваша вела речь к тому, чтобы уверить меня, будто странствующих рыцарей никогда не было, будто все рыцарские романы – сплошная выдумка и вранье, а для государства они бесполезны и даже вредны, и нехорошо, мол, с моей стороны, что я читал их, еще хуже, что верил им, и совсем худо, что подражал им, избрав тесный путь странствующего рыцарства, на который они наставляют, ибо, по-вашему, не было на свете никаких Амадисов, ни Галльского, ни Греческого, и никого из рыцарей, коими творения эти полны.

– Ваша милость совершенно верно поняла мою мысль, – сказал на это каноник.

А Дон Кихот продолжал:

– К этому ваша милость еще прибавила, что эти романы принесли мне большой вред, ибо из-за них я сошел с ума и попал в клетку, и что мне пора исправиться, переменить род чтения и приняться за другие книги, более правдивые, более усладительные и поучительные.

– Так, – подтвердил каноник.

– Я же, со своей стороны, полагаю, – возразил Дон Кихот, – что безумен и заколдован не я, а ваша милость, ибо вы позволили себе изрыгнуть хулу на нечто такое, что весь мир признает и почитает за истину, кто же это отрицает – а ваша милость это отрицала, – тот заслуживает такого же точно наказания, какому ваша милость, как вы сами сказали, подвергает романы, которые вам не понравились. Уверять кого бы то ни было, что Амадис не существовал, а также все прочие искавшие приключений рыцари, коими полны страницы романов, это все равно что пытаться доказывать, что солнце не светит, лед не холодит, а земля не держит. И сыщется ли такой человек, который сумеет кому-либо доказать, будто все об инфанте Флорипе и Ги Бургундском[276] и все, что во времена Карла Великого совершил на Мантибльском мосту[277] Фьерабрас, – будто все это неправда, тогда как я душу свою прозаложу, что это такая же правда, как то, что сейчас день? А коли это ложь, значит, не было ни Гектора, ни Ахилла, ни Троянской войны, ни Двенадцати Пэров Франции, ни короля Артура Английского, который был превращен в ворона и не расколдован поныне, между тем как в родном королевстве его ожидают с минуты на минуту. Пожалуй, осмелятся также утверждать, что выдумки – история Гварина Жалкого[278] и поиски священного Грааля,[279] что недостоверна любовь Тристана и королевы Изольды,[280] равно как Джиневры и Ланцелота, а между тем еще живы люди, смутно помнящие придворную даму Кинтаньону, которая была лучшим виночерпием во всей Великобритании. Да, это сущая правда, я сам помню, что моя бабушка со стороны отца при встрече с какой-нибудь дуэньей в длинном вдовьем покрывале говорила мне: «Погляди-ка, внучек, как она похожа на придворную даму Кинтаньону». Из этого я заключаю, что она, наверное, знала ее лично или, во всяком случае, видела ее портрет. А кто станет отрицать достоверность истории Пьера и прекрасной Магелоны,[281] когда в королевском арсенале доныне хранится колок, при помощи коего отважный Пьер правил деревянным конем, носившим его по воздуху, – колок чуть побольше дышла? А рядом с колком находится седло Бабьеки, а в Ронсевале хранится Роландов рог величиною с громадную балку. Отсюда явствует, что существовали и Двенадцать Пэров, и Пьер, и Сид, и прочие им подобные рыцари, что *стяжали вечну славу поисками приключений.* И пусть мне скажут также, что не было странствующего рыцаря, отважного лузитанца Жоана ди Мерлу,[282] который ездил в Бургундию и сражался в городе Аррасе с достославным сеньором де Шарни, известным под именем мосена Пьера, а затем в городе Базеле с мосеном Анри де Реместаном, и из обеих схваток вышел победителем и неувядаемою покрыл себя славой, что в той же самой Бургундии не было приключений у отважных испанцев Педро Барбы и Гутьерре Кихады[283] (от коего я происхожу по мужской линии), которые бросили вызов сыновьям графа де Сен-Поля и одолели их. Пусть попробуют также отрицать, что дон Фернандо де Гевара[284] ездил искать приключений в Германию и переведался с мессером Георгом, рыцарем герцога Австрийского. Скажут еще, пожалуй, что всё враки: и турнир Суэро де Киньонеса, описанный в *Честном бою*,[285] и единоборство мосена Луиса де Фальсеса[286] с Гонсало де Гусманом, рыцарем кастильским, а равно и все многочисленные подвиги, совершенные рыцарями-христианами, как нашими, так и иноземными, подвиги действительные и несомненные, так что я еще раз повторяю: кто их отрицает, у того нет ни разума, ни здравого смысла.

Каноника удивило то, как мешается у Дон Кихота правда с ложью и какую осведомленность обнаруживает он во всем, что касается деяний его любимого странствующего рыцарства и имеет к ним отношение, и обратился он к нему с такими словами:

– Не могу не признать, сеньор Дон Кихот, что в словах вашей милости есть доля истины, особливо в том, что вы говорили об испанских странствующих рыцарях. Равным образом я готов согласиться, что Двенадцать Пэров Франции существовали, однако ж я не могу поверить, что они совершили все, что о них пишет архиепископ Турпин; истина заключается лишь в том, что то были рыцари, коих избрали французские короли и назвали *пэрами*,[287] потому что все они были одинаково доблестны, родовиты и отважны, – во всяком случае, они долженствовали

быть таковыми, – это было нечто вроде нынешнего ордена апостола Иакова или же ордена Калатравы; предполагается, что вступающие в них суть и долженствуют быть доблестными, отважными и благородного происхождения. И как ныне говорят: *рыцарь ордена Иоанна Крестителя* или же *ордена Алькантары*,[288] так же точно говорили тогда: *рыцарь ордена Двенадцати Пэров,* ибо все двенадцать, для этого военного ордена избранные, были равны между собой. Разумеется, что самое существование Сида, а также Бернардо дель Карпьо сомнению не подлежит, а вот рассказы об их подвигах вызывают у меня как раз большое сомнение. Что же касается колка, который, по словам вашей милости, принадлежал графу Пьеру и вместе с седлом Бабьеки хранится в королевском арсенале, то уж тут я свой грех признаю: не то по своему невежеству, не то по слабости зрения, седло-то я разглядел, а колка не приметил, даром что он, как говорит ваша милость, такой большущий.

– Да нет же, он там, без всякого сомнения, – возразил Дон Кихот. – И вот еще примета: говорят, что, дабы он не заржавел, его положили в телячьей кожи футляр.

– Все может быть, – заметил каноник, – однако же, клянусь моим саном, не помню я, чтоб он мне попался. Но положим даже, он там, – из этого не следует, что я обязан относиться с доверием к рассказам о всяких Амадисах и о тьме-тьмущей других рыцарей, о которых мы читаем в романах, а вам, ваша милость, человеку столь почтенному, таких превосходных качеств и столь светлого ума, не должно принимать за правду все те необычайные сумасбродства, о которых пишут в этих вздорных романах.



Глава L

об остроумном словопрении, имевшем место между Дон Кихотом и каноником, равно как и о других событиях



– Вот так так! – воскликнул Дон Кихот. – Значит, книги, печатавшиеся с дозволения королей, одобренные теми, кому они были отданы на просмотр, и с одинаковым удовольствием читаемые и восхваляемые и старыми и малыми, и бедными и богатыми, и учеными и невеждами, и плебеями и дворянами, словом, людьми всякого чина и звания, – сплошная ложь, несмотря на все их правдоподобие, несмотря на то, что мы знаем отца, мать, родственников, место рождения, возраст того или иного рыцаря, и нам подробно, день за днем, описывают его жизнь и подвиги с непременным указанием места, где они были совершены? Полно, ваша милость, не кощунствуйте, поверьте, что совету, который я вам преподал, должен последовать всякий разумный человек, – лучше перечтите их, и вы увидите, какое удовольствие доставляет подобное чтение. Нет, правда, скажите: что может быть более увлекательного, когда мы словно видим пред собой громадное озеро кипящей и клокочущей смолы, в коем плавают и кишат бесчисленные змеи, ужи, ящерицы и многие другие страшные и свирепые гады, а из глубины его доносится голос, полный глубокой тоски: *«Кто б ни был ты, о рыцарь, взирающий на ужасное это озеро! Если хочешь добыть сокровища, под его черною водою сокрытые, то покажи величие неустрашимого твоего духа и погрузись в эту огненную и черную влагу, ибо только при этом условии сподобишься ты узреть дивные чудеса, таящиеся и заключенные в семи замках семи фей, которые в сей мрачной обретаются пучине»?*

Стоит рыцарю услышать этот дрожащий голос, и он, не рассуждая и не думая об опасности, даже не освободившись от бремени тяжелых своих доспехов, поручив себя богу и своей госпоже, бросается в глубину бурлящего озера, и вдруг, нежданно-негаданно, перед ним цветущие поля, после которых на поля Елисейские и смотреть не захочешь. И мнится ему, что небо здесь прозрачнее, солнечный свет – первозданной яркости, глазам открывается приютная роща, где зеленые и ветвистые деревья зеленью своею ласкают взор, а слух лелеет сладкое и безыскусственное пение бесчисленных пестрых маленьких пташек, порхающих в чаще. Тут видит он ключ, коего прохладные струи, текучему хрусталю подобные, бегут по мелкому песку и белым камешкам, похожим на просеянное золото и чистый жемчуг. Вот искусственный водомет из разноцветной яшмы и полированного мрамора, а вон другой, в виде грота, где разбросанные в нестройном порядке мелкие раковины и изогнутые белые и желтые домики

улиток вперемежку с кусочками блестящего хрусталя и поддельными изумрудами вместе составляют причудливый узор, такой, что кажется, будто искусство, подражая природе, в то же время побеждает ее. Здесь внезапно является взору укрепленный замок или же роскошный чертог, коего стены – литого золота, зубцы – алмазы, ворота – из гиацинта, и хотя он сложен не из чего-нибудь, а из алмазов, карбункулов, рубинов, жемчуга, золота и изумрудов, однако ж восхитительная его постройка вящего удивления достойна. Что же еще после всего этого нам остается увидеть? Разве девушек, длинною вереницею выходящих из ворот замка и коих одежды отличаются таким богатством и пышностью, что если б я взялся описать их на манер сочинителей рыцарских романов, то никогда бы не кончил, и как самая из них, по-видимому, главная возьмет за руку рыцаря, отважно бросившегося в бурлящее озеро, молча отведет его в дивный чертог или же замок, велит ему сбросить одежды, омоет его теплой водой, умастит его тело благовонными мазями, наденет на него легчайшей ткани сорочку, надушенную и благоухающую, а затем другая девушка накинет ему на плечи плащ, который, самое меньшее, стоит столько, сколько целый город, а то и дороже? Еще что увидим мы? Разве то, как после этого, – рассказывают нам, – его поведут в другую палату, где так красиво накрыты столы, что он только любуется и дается диву? Как на руки льют ему воду с примесью амбры и сока душистых цветов? Как сажают его в кресло слоновой кости? Как прислуживают ему все девушки, глубокое храня молчание? Как приносят ему множество яств, столь вкусно приготовленных, что алкание не знает, к которому из них протянуть руку? Разве послушать еще музыку, что играет на этом пиру, причем неизвестно, кто поет и откуда она доносится? Наконец, когда пиршество кончится и со столов уберут, посмотреть еще разве, как рыцарь развалится в креслах и по привычке, чего доброго, начнет ковырять в зубах, а тут невзначай войдет девица краше тех, которых он видел прежде, сядет с ним рядом и начнет рассказывать, какой это замок, как ее здесь заколдовали и о многом другом, и рассказ ее приведет рыцаря в изумление, а читателей этой истории в восторг? Я не хочу более об этом распространяться, ибо сказанного мною довольно, чтобы сделать вывод, что любая часть любой книги о странствующих рыцарях способна доставить удовольствие и наслаждение любому читателю. Так что вы, ваша милость, мне поверьте и, еще раз повторяю, романы эти перечтите, и они рассеют вашу грусть, и вы развеселитесь, если до этого находились в дурном расположении духа. О себе могу сказать, что с тех пор, как я стал странствующим рыцарем, я храбр, любезен, щедр, благовоспитан, великодушен, учтив, дерзновенен, кроток, терпелив и покорно сношу и плен, и тяготы, и колдовство. И хотя совсем недавно меня приняли за сумасшедшего и посадили в клетку, все же я надеюсь, если только небо будет ко мне благосклонно и не враждебна Фортуна, с помощью доблестной моей длани не в долгом времени стать королем, и тогда все увидят, сколь я отзывчив и щедр, ибо, по чести, сеньор, щедрость – это такая добродетель, которую бедняк ни на ком проявить не способен, хотя бы она была ему в высшей степени сродни, отзывчивость же, которая далее благих намерений не идет, так же мертва, как мертва вера без дел. Поэтому я и хотел бы, чтобы Фортуна как можно скорее предоставила мне возможность стать императором: я бы тогда показал, какое у меня сердце, и облагодетельствовал моих друзей, особливо беднягу Санчо Пансу, моего оруженосца, прекраснейшего человека, какого я только знаю, и мне бы хотелось пожаловать ему графство, которое я давно ему обещал, – вот только я боюсь, что у него нет смекалки, чтобы им управлять.

Санчо расслышал эти последние слова своего господина и сказал ему:

– Вы только потрудитесь, сеньор Дон Кихот, выделить мне это графство, которое ваша милость так твердо мне обещала и которого я так жду, а уж я вам ручаюсь, что у меня хватит смекалки им управлять, – буде же не хватит, то я слыхал, что есть на свете такие люди, которые берут в аренду поместья сеньоров, сколько-то платят за это в год и принимают на себя обязанность управлять ими, а сеньор лежит себе на боку, живет на арендную плату и ни

о чем не заботится. Вот так я и сделаю: морочить себе голову не стану, тут же сдам все дела и буду жить на арендную плату, что твой герцог, а уж они там как хотят.

– Так обстоит лишь в рассуждении доходов, брат Санчо, – возразил каноник, – но суд чинить обязан сам владелец имения, и вот тут-то и необходимы смекалка и здравый смысл, а главное – искреннее желание решить дело по справедливости: ведь если его не обнаружить в самом начале, то и в середине и в конце выйдет путаница, ибо господь споспешествует благим желаниям простодушных и губит недобрые желания мудрецов.

– Эта философия – не моего ума дело, – заметил Санчо Панса. – Я знаю одно: только бы мне получить графство, а уж управлять-то я им сумею – души у меня столько, сколько у всех, а тела даже побольше, и управлял бы я своим имением не хуже любого короля, став же королем в своем имении, я буду делать что хочу, делая же, что хочу, я буду жить в свое удовольствие, живя же в свое удовольствие, я буду наверху блаженства, а кто наверху блаженства, тому и желать нечего, а коли нечего желать, так и дело с концом, лишь бы поскорей графство, а там – слепой сказал: «Посмотрим».

– Что касается твоей философии, Санчо, то она недурна, однако ж со всем тем графство – это дело темное.

Но Дон Кихот возразил канонику:

– А что тут, собственно, такого темного? Я лично руководствуюсь примером великого Амадиса Галльского, который сделал своего оруженосца графом острова Материкового, – следственно, я без зазрения совести могу сделать графом Санчо Пансу, одного из лучших оруженосцев, какие когда-либо у странствующих рыцарей состояли на службе.

Каноника поразил тот связный вздор, какой представляли собою речи Дон Кихота, и то, как он описал приключение Рыцаря Озера, и то впечатление, какое произвели на него хитросплетенные небылицы, которых он начитался, и еще поражало каноника простодушие Санчо, который так страстно желал получить графство, обещанное ему его господином. Тем временем возвратились слуги каноника, которых тот посылал на постоялый двор за обозным мулом, и, чтобы возница, как уже было сказано, воспользовался отменным этим пастбищем, все расположились в тени дерев и принялись за еду, причем обеденный стол заменяли им ковер и зеленая трава луга. И вот во время трапезы внезапно услышали они сильный шум и звон бубенчиков, доносившийся сквозь густые заросли, и вслед за тем из чащи выскочила хорошенькая беленькая козочка с черными и рыжими пятнами. За нею бежал пастух и, пытаясь удержать ее и вернуть обратно в стадо, кричал так, как обыкновенно в таких случаях кричат пастухи. Беглянка в страхе и ужасе бросилась к людям, как бы ища у них защиты, и подле них остановилась. Пастух настигнул ее, схватил за рога и заговорил с ней, как с существом мыслящим и разумным:

– Ах, дикарка, дикарка, Пеструшка, Пеструшка! Что это ты последние дни все балуешь? Что тебя, дочка, волки напугали, что ли? Да скажи же мне, красавица, что с тобой приключилось? А, да что с тобой могло приключиться – просто-напросто ты женского пола и потому не можешь быть спокойна, чтобы черт побрал твой нрав и нрав всех женщин без исключения! Воротись, воротись, милуша! Коли загон тебе не по сердцу, так, по крайности, там безопаснее, и притом с подругами. Ведь тебе надлежит блюсти их и указывать им дорогу, а уж коли ты сама мечешься, не разбирая дороги, то что же будет с ними?

Речь козопаса всем доставила удовольствие, особливо канонику, который обратился к нему с такими словами:

– Успокойся ради бога, любезный, и не торопись загонять козу в стадо: коль скоро она, как ты выражаешься, женского пола, то, сколько бы ты ни старался ее удержать, она принуждена следовать природному своему влечению. Возьми-ка вот этот кусочек и выпей вина, – гнев твой утихнет, а козочка тем временем отдохнет.

Сказавши это, каноник тотчас протянул козопасу на кончике ножа кусок холодного кролика. Козопас взял и поблагодарил каноника; затем выпил вина, успокоился и сказал:

– Мне бы не хотелось, чтоб из-за того, что я с этой животиной вел такую разумную речь, ваши милости приняли меня за дурачка, – признаться, в моих словах есть скрытый смысл. Я хоть и деревенский житель, однако ж не из таких, чтобы не уметь обходиться с людьми и животными.

– Охотно этому верю, – заметил священник, – я знаю по опыту, что горы вскармливают ученых, а в пастушеских хижинах скрываются философы.

– Во всяком случае, сеньор, они служат пристанищем людям, изведавшим свет, – сказал козопас. – И чтобы вы признали эту истину и могли осязать ее, – если только это вас, сеньоры, не затруднит и вы ничего не имеете против, хотя может показаться, что я, незваный, напрашиваюсь сам, – уделите мне, пожалуйста, минутку внимания, и я расскажу вам об одном истинном происшествии, которое подтвердит, что мы оба правы: и этот сеньор, – тут он указал на священника, – и я.

Дон Кихот же ему на это сказал:

– Дабы удостовериться, что этот случай имеет нечто общее с рыцарскими приключениями, я буду слушать тебя, мой любезный, весьма охотно, как, впрочем, и все эти сеньоры, ибо они люди умные и любители занятных историй, повергающих в изумление, веселящих и тешащих душу, каков именно – я в этом не сомневаюсь – твой рассказ. Итак, начинай, друг мой, мы все тебя слушаем.

– Чур не я, – отозвался Санчо, – я с этим пирогом пойду к ручью и постараюсь наесться дня на три, потому со слов господина моего Дон Кихота я знаю, что оруженосец странствующего рыцаря, когда ему представится случай, должен наедаться до отвала по той причине, что ему нередко случается попадать в дремучие леса, откуда и через неделю не выберешься, так что ежели человек не наестся и не набьет, как следует быть, суму, то может там и остаться, как это уже не раз бывало, и умереть с голоду.

– Твоя правда, Санчо, – сказал Дон Кихот, – иди куда хочешь, и ешь, сколько можешь, а я уже насытился, и теперь мне остается лишь напитать душу, что я и сделаю, послушав рассказ этого доброго человека.

– Мы все испытываем потребность напитать душу, – сказал каноник.

Затем он попросил пастуха начать обещанный рассказ. Пастух, держа козу за рога, похлопал ее по спине и сказал:

– Ляг подле меня, Пеструшка, мы еще успеем вернуться к стаду.

Козочка как будто поняла его, – когда хозяин сел, она преспокойно улеглась подле него и стала смотреть ему прямо в лицо, словно желая показать, что она внимательно его слушает, а он начал свой рассказ так:



Глава LI,

в коей приводится все, что козопас рассказал сопровождавшим Дон Кихота



– В трех милях от этой долины стоит село, хоть и небольшое, да зато одно из самых богатых во всей округе. Жил в этом селе один весьма почтенный крестьянин, столь почтенный, что, хотя обыкновенно людям оказывают почет за богатство, его почитали не столько за богатство, сколько за качества души. Однако ж, по собственному его признанию, наивысшее свое счастье он полагал в том, что у него есть дочь такой необычайной красоты, столь редкого ума, столь прелестная и столь добродетельная, что всякий, кто только знал ее и видел, дивился тем необыкновенным щедротам, какими небо совместно с природою ее осыпало. Она еще в детстве была красива, потом все хорошела и хорошела, и в шестнадцать лет она была уже просто красавицей. Слава об ее красоте шла по всем окрестным селениям, – да что я говорю:

по окрестным! – отдаленных городов достигла она, проникла в королевские палаты и достигла слуха людей всякого звания, и они со всех сторон стали съезжаться, чтобы посмотреть на нее, ровно на какую диковину или на чудотворный образ. Отец оберегал ее, и она сама себя оберегала, ибо никакие замки, сторожа и засовы так не уберегут девушку, как строгие ее правила.

Богатство отца и красота дочери побудили многих, и односельчан и приезжих, просить ее руки, но отец, коему надлежало распорядиться такой драгоценностью, пребывал в нерешительности и не знал, за кого из бесчисленного множества женихов предпочтительнее ее отдать. В числе тех, кто лелеял сладкую эту мечту, был и я, и я имел основание питать большие надежды на успех, ибо отец меня знал: знал, что я его односельчанин, что в жилах моих течет чистая кровь, что я в цветущей поре, дом мой – полная чаша и умом я горазд. Но за нее стал свататься и другой наш односельчанин, обладавший такими же точно достоинствами, и вот тут-то отец смутился и заколебался, ибо ему казалось, что дочь его и с тем и с другим может быть счастлива. И вот, полагая, что коли мы равны между собой, то пусть лучше любезная его дочь сама выберет, кто ей более по сердцу, порешил он, чтобы выйти из затруднительного этого положения, обо всем рассказать Леандре – так зовут ту богачку, которая довела меня до такого убожества, – и тем подал пример, коему должны следовать все родители, намеревающиеся устраивать судьбу детей своих, – я не хочу этим сказать, чтобы они предоставляли им выбирать среди предметов низких и дурных, а чтобы они предлагали им на выбор хорошие, а те чтоб из хороших выбирали по собственному желанию. Не знаю, какое желание изъявила Леандра, только в беседе со мной и моим соперником отец отговорился молодостью дочери, а затем сказал несколько самых общих слов: его они ни к чему не обязывали, а между тем мы все же не могли считать себя свободными. Соперника моего зовут Ансельмо, а меня – Эухеньо, – итак, теперь вы знаете имена действующих лиц этой трагедии, коей развязка еще неизвестна, но, по всей вероятности, будет печальной.

На ту пору к нам прибыл некий Висенте де ла Рока, сын бедного земледельца, нашего односельчанина, – он возвратился из похода по Италии и другим странам. Его еще двенадцатилетним мальчиком увел из нашего селения один военачальник, коему со своим полком случилось здесь проходить, а возвратился он юношей двадцати четырех лет, в разноцветной военной форме, увешанный всякими стекляшками и тонкими стальными цепочками. Нынче на нем одна побрякушка, завтра, смотришь, другая, но все это такое тоненькое, пестрое, небольшого весу и еще меньших размеров. Сельчане и так-то лукавый народ, а уж на досуге они прямо само лукавство, – вот они подметили и сосчитали, сколько у него всяких нарядов и украшений, и оказалось, что у него всего только три платья разных цветов, с подвязками и чулками, но он столь изобретательно их перетасовывал, что если б их не сосчитали, то можно было бы поклясться, что у него более десяти платьев и не менее двадцати перьев для шляпы. Но только я вас прошу: не примите за назойливую болтливость то, что я так подробно рассказываю про его одеяние, – в моей истории оно играет роль немаловажную.

Садился он обыкновенно на скамье под большим тополем, на нашей деревенской площади, и рассказывал нам про свои подвиги, а мы слушали его, разинув рот и стараясь не проронить ни единого слова. Не было такой страны во всем подлунном мире, которой бы он не повидал, не было сражения, в котором бы он не участвовал. Мавров он перебил больше, чем можно их сыскать во всем Марокко и Тунисе, а поединков, по его словам, у него было больше, чем у Ганте, Луны, Дьего Гарсии де Паредес и тысячи других воинов, которых он упоминал, и изо всех-то боев выходил он победителем, не потеряв ни капли крови. Впрочем, он показывал рубцы, и хотя различить их было нельзя, однако ж он уверял, что это следы аркебузных пуль, которые в него попадали во время сражений и стычек. Держал он себя развязно, с невиданною наглостью, и хвастал, что его рука – вот его родная мать, его дела – вот его родословная и что когда он в солдатском мундире, то ему и король не король.

Самоуверенность его питалась еще тем, что он был немного музыкантом и так умел бренчать на гитаре, что, как уверяли некоторые, гитара у него прямо так и разговаривала. Но этого мало: он обладал еще даром стихотворца и по поводу всякой безделицы, случавшейся в нашем селе, сочинял романсы в полторы мили длиной.

И вот этого-то самого солдата, которого я вам описал, этого самого Висенте де ла Рока, этого удальца, этого франта, этого музыканта, этого стихотворца, не раз видела и созерцала Леандра из окна своего дома, выходившего на площадь. Мишура пышных его нарядов ослепила ее, его романсы, которые он переписывал и раздавал направо и налево, очаровали ее, молва о его подвигах, о которых он сам всем рассказывал, достигла ее слуха, – словом, уж верно, так устроил дьявол, но только она в него влюбилась прежде, нежели ему самому вспало на ум за нею ухаживать. А как сердечные дела быстрее всего идут к развязке, когда к ней стремится и женщина, то Леандра и Висенте столковались без труда, и прежде, нежели кто-либо из многочисленных ее поклонников проведал о ее намерении, она уже привела его в исполнение: оставила дом горячо любимого своего отца, – матери у нее нет, – и бежала из нашего села с солдатом, который в этом деле добился большего успеха, нежели во множестве тех, которые он себе приписывал. Происшествие это привело в изумление все наше село и всех, до кого дошла эта весть. Я был растерян, Ансельмо поражен, отец опечален, его родня оскорблена, блюстители порядка в хлопотах, стражники сбивались с ног. Обрыскали все дороги, обшарили леса и все, что только возможно, и через три дня нашли своенравную Леандру в пещере, – она была в одной сорочке, крупной суммы денег и драгоценностей, которые она взяла с собой из дому, при ней не оказалось. Ее привели к несчастному отцу, стали спрашивать, как с ней случилась эта беда, и она добровольно созналась, что Висенте де ла Рока обманул ее и, давши слово жениться, сманил из отчего дома: он-де увезет ее в самый богатый и самый веселый город, какой только есть на белом свете, а именно в Неаполь, и она по неопытности далась в обман и поверила ему; и, обокрав отца, она ушла с Висенте в ту самую ночь, как исчезла из дому, он же привел ее на крутую гору и заточил в той самой пещере, где ее потом и нашли. Рассказала она еще, как солдат, не покусившись на ее честь, ограбил ее и бросил в этой пещере, а сам убежал, каковое обстоятельство снова привело всех в изумление. Трудно было поверить, сеньор, в воздержание этого молодца, но она так твердо на том стояла, что неутешный отец в конце концов утешился и, уверившись, что у дочери не отняли той драгоценности, которую, однажды утратив, восстанавливать уже безнадежно, забыл и думать о похищенных у него богатствах. В тот же день, когда Леандра предстала пред очи отца, он, скрыв ее от наших очей, в надежде, что время хоть отчасти поглотит дурную славу, которую она сама о себе создала, услал ее в городской монастырь. Молодость Леандры служила ей оправданием, по крайней мере, в глазах тех, которым было безразлично – хороша она или плоха, но те, кому ведомы были ее рассудительность и светлый ум, объясняли ее проступок не неопытностью, но легкомыслием, а также отличительными особенностями женской натуры, то есть опрометчивостью и нескромностью.

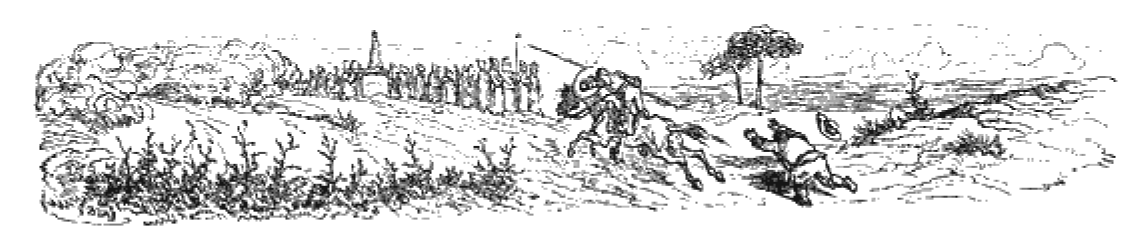
Когда Леандру заточили в монастырь, очи Ансельмо ни на что уже более не глядели – во всяком случае, ничто уже не тешило его взора, – и для моих очей также настала ночь: свет в них померкнул и уже не озарял ничего отрадного. В разлуке с Леандрой росла наша тоска, истощалось наше терпение, мы проклинали франтовство солдата и презирали отца Леандры за то, что он был недостаточно бдителен. В конце концов мы с Ансельмо уговорились оставить село и отправиться в эти луга, и здесь он пасет изрядное количество собственных овец, я же – огромное стадо коз моих собственных, и живем мы среди дерев, давая полную волю нашим чувствам: то вместе восславляем прелестную Леандру, то осуждаем ее или же в одиночку вздыхаем и, каждый наедине с самим собою, воссылаем жалобы к небу. По нашему примеру многие другие поклонники Леандры устремились в эти скалистые горы и занялись тем же, чем и мы. И столько их собралось, что местность эта точно превратилась в пастушескую Аркадию, ибо здесь полно пастухов и загонов, и нет такого уголка, где бы не было слышно имени

прелестной Леандры. Этот проклинает ее и называет взбалмошной, ветреной и бесчестной, тот обвиняет ее в податливости и легкомыслии, один оправдывает и прощает ее, другой осуждает и порицает, кто восторгается ее красотою, кто хулит ее нрав – словом, все поносят ее и все боготворят, и до того доходит это безумие, что сетуют на то, что она их отвергла, даже те, которые с ней не сказали двух слов, а иные ропщут и испытывают дикие муки ревности, хотя она ни в ком не могла ее возбудить, ибо, как я уже сказал, прежде стал известен ее проступок, а потом уже ее страсть. Нет ни одной теснины, ни берега ручья, ни древесной сени, где бы кто-нибудь из пастухов не поверял ветру свои злоключения, эхо повторяет имя Леандры всюду, где только оно раздается, *Леандра* – рокочут горы, *Леандра* – лепечут ручьи, Леандра всех нас держит в состоянии неизвестности и завороженности, мы безнадежно надеемся и страшимся сами не знаем чего. Изо всех этих сумасбродов наименее и в то же время наиболее рассудительным представляется соперник мой Ансельмо, ибо, имея так много причин для жалоб, он жалуется лишь на то, что Леандра далеко, и под звуки равеля, на котором он чудесно играет, изливает свои жалобы в песнях, свидетельствующих о здравом его уме. Я иду другим путем, более легким и, как мне кажется, более разумным, а именно: обличаю легкомыслие женщин, их непостоянство, их двуличие, пустоту их обещаний, их вероломство, наконец, их неосмотрительность в выборе предмета мыслей своих и мечтаний. И теперь вам, сеньоры, должны быть понятны те слова и те речи, с коими я обращался к моей козочке, когда подходил к вам: она – женского пола, и потому я ставлю ее невысоко, хотя она и лучшая коза во всем моем стаде. Вот и все, что я обещал вам рассказать. Если я был слишком многословен, то и угощение мое также не будет скудным: загон мой близко, а там у меня и свежее молоко, и отменный сыр, и спелые плоды, приятные и на вид и на вкус.



Глава LII

о стычке Дон Кихота с козопасом и о редкостном приключении с бичующимися, которое Дон Кихот, изрядно попотев, довел до победного конца



Рассказ пастуха всем слушателям понравился; однако ж наибольшее удовольствие пастух доставил канонику, который особенно был поражен его манерой рассказывать, обличавшей в нем скорее просвещенного жителя столицы, нежели деревенского пастуха, а потому каноник сказал, что он вполне согласен со священником, что горы вскармливают ученых. Все стали предлагать Эухенью свои услуги; при этом наибольшее великодушие выказал Дон Кихот, ибо он молвил так:

– Даю тебе слово, брат пастух, что если б я имел возможность отправиться на поиски приключений, то я, не задумываясь, пустился бы в путь, дабы устроить так, чтобы с тобою ничего уже более не приключалось худого: я увез бы Леандру из монастыря (где ее, вне всякого сомнения, держат насильно), невзирая на настоятельницу и на всех, кто вздумал бы этому воспрепятствовать, и отдал бы ее тебе, дабы ты поступил с ней по своему благоусмотрению, соблюдая, однако ж, законы рыцарства, воспрещающие чинить девицам какие бы то ни было обиды. Впрочем, я уповаю на господа бога и верю, что власть зловредного волшебника не так сильна, как власть волшебника благонамеренного, и на будущее время я обещаю тебе мою помощь и покровительство, к чему меня обязывает данный мною обет, который как раз к состоит в том, чтобы заступаться за беспомощных и обездоленных.

Козопас поглядел на Дон Кихота и, подивившись убогому его наряду и подозрительному обличью, спросил сидевшего с ним рядом цирюльника:

– Сеньор! Кто этот человек такой странной наружности и который так чудно говорит?

– Кто же еще, как не достославный Дон Кихот Ламанчский, – отвечал цирюльник, – искоренитель зла, борец с неправдой, заступник девиц, пугалище великанов, победитель на ратном поле?

– Это мне напоминает то, о чем пишут в книгах о странствующих рыцарях, – заметил козопас, – они делали то же самое, что ваша милость рассказывает про этого человека, но только мне думается, что или ваша милость шутить изволит, или у этого господина в голове пусто.

– Ты изрядный негодяй, – сказал на это Дон Кихот, – и это ты пустоголовый и безмозглый болван, а у меня голова набита так, как она никогда не была набита у той распотаскушки и потаскушкиной дочери, которая произвела тебя на свет.

Перейдя от слов к делу, он схватил лежавший перед ним хлеб и, в бешенстве швырнув его прямо в лицо пастуху, разбил ему до крови нос; пастух шутить не любил, к тому же он почувствовал, что за него самого взялись не в шутку, а по-настоящему, – не обращая внимания ни на ковер, ни на скатерть, ни на обедающих, он бросился на Дон Кихота, схватил его обеими руками за горло и, уж верно, не остановился бы перед тем, чтобы задушить его, когда бы в это самое время не подоспел Санчо Панса, не схватил его за плечи и, давя блюда, сокрушая чаши и расплескивая и разбрызгивая их содержимое, вместе с ним не повалился на скатерть. Дон Кихот, обретя свободу, снова ринулся на пастуха, а у пастуха и так все лицо было в крови, да еще Санчо наградил его пинками, и теперь он ползал на четвереньках в поисках ножа для задуманной им кровавой мести, но этому помешали каноник и священник, однако ж цирюльник устроил так, что козопас подмял под себя Дон Кихота, и тут на бедного рыцаря посыпался град колотушек, так что теперь по лицу у него текло не меньше крови, чем у козопаса. Каноник и священник покатывались со смеху, стражники подпрыгивали от удовольствия и науськивали

одного на другого, будто грызущихся собак; только Санчо Панса был в отчаянии, ибо никак не мог вырваться из рук слуги каноника, который не давал ему броситься на выручку его господину.

Словом, все радовались и веселились, а два бойца продолжали лупить друг друга, но тут послышался звук трубы, столь унылый, что все невольно повернули головы в ту сторону, откуда он долетал, однако ж всех более всполошился, заслышав его, Дон Кихот; отнюдь не по своей доброй воле лежа под козопасом и будучи весьма прилично потрепан, он все же сказал:

– Брат бес – ибо ты, разумеется, бес, коли сила твоя и смелость возобладали над моими, – прошу тебя: давай заключим перемирие хотя бы на час, ибо томный звук трубы, достигший нашего слуха, по-видимому, призывает меня на новые приключения.

Козопасу надоело бить других и самому быть битым, и он немедля отпустил Дон Кихота, после чего тот вскочил, повернул голову, куда и все, и вдруг увидел, что с косогора спускается множество людей в белом, которые напоминали бичующихся.

Должно заметить, что в тот год облака не желали кропить землю, и по сему обстоятельству во всех окрестных селениях устраивались процессии, совершались молебствия и покаяния, дабы господь отверз двери милосердия своего и послал дождь; и того ради жители ближней деревни совершали паломничество к одной чтимой ими часовне, стоявшей на горке. У Дон Кихота, как скоро он обратил внимание на необычные их одежды, вылетело из головы, что ему не раз приходилось видеть бичующихся, – напротив, он представил себе, что тут пахнет приключением, в котором ему, как странствующему рыцарю, надлежит принять самое деятельное участие; и еще более укрепился он в своем мнении, оттого что изваяние под траурным покровом, которое несли эти люди, он принял за некую знатную сеньору, похищаемую наглецами и чудовищными злодеями; и как скоро это ему взбрело на ум, он с чрезвычайною легкостью подбежал к Росинанту, который пасся невдалеке, снял с луки уздечку и щит, в ту же секунду взнуздал его, попросил у Санчо свой меч, затем вскочил на Росинанта и, обращаясь ко всем присутствовавшим, громким голосом произнес:

– Сейчас, честная компания, вы уразумеете, сколь важно, чтобы на свете существовали кавальеро, принадлежащие к ордену странствующего рыцарства. Сейчас, повторяю, явившись свидетелями освобождения почтенной этой сеньоры, которую ведут в плен, вы уразумеете, достойны ли уважения странствующие рыцари.

С этими словами он, за неимением шпор, всадил пятки в бока Росинанту, и тот во весь опор, но не рысью, ибо на всем протяжении этой правдивой истории ни разу не говорится, что Росинант ехал рысью, поскакал навстречу бичующимся, невзирая на то, что священник, каноник и цирюльник всячески старались его удержать, но, разумеется, тщетно, – на него не подействовали даже крики Санчо, который взывал к нему:

– Куда вы, сеньор Дон Кихот? Какие бесы в вас вселились и наущают идти против нашей католической веры? Да поймите же вы, прах меня возьми, что это процессия бичующихся и что сеньора, которую несут на подставке, это священный образ пренепорочной девы. Подумайте, сеньор, что вы делаете, – на сей раз наверняка можно сказать, что вы сами того не знаете.

Санчо старался зря, – его господин был так поглощен мыслью скорей подъехать к балахонам и освободить облаченную в траур сеньору, что не слыхал ни единого слова, а если б даже и слышал, то все равно не повернул бы назад, хотя бы это ему приказал сам король. Наконец он приблизился к процессии и остановил Росинанта, который уже льстил себя надеждою на отдых, и хриплым от волнения голосом произнес:

– Вы, скрывающие свои лица, по всей вероятности, потому, что у вас нечиста совесть! Слушайте внимательно то, что я вам сейчас скажу.

Несшие изваяние остановились первыми, а один из четырех псаломщиков, распевавших молитвы, коему бросились в глаза странный вид Дон Кихота, худоба Росинанта и другие обнаруженные и подмеченные им смешные черты Дон Кихота, ответил так:

– Сеньор мой и брат! Если вы хотите нам что-то сказать, то говорите скорее – эти братья разрывают на себе кожу до мяса, и мы не можем, да и не к чему нам останавливаться и что-то слушать, разве что-нибудь очень короткое, такое, что можно сказать в двух словах.

– Да я вам это в одном слове скажу, – возразил Дон Кихот, – а именно: нимало не медля, освободите прелестную эту сеньору, чьи слезы и грустный вид ясно показывают, что вы увозите ее насильно и что вы какое-то глубокое ей нанесли оскорбление, я же, пришедший в мир для того, чтобы искоренять подобные злодейства, не позволю вам шагу ступить, пока, вступившись за нее, не возвращу ей желанной и заслуженной свободы.

Послушав такие речи, все пришли к заключению, что это сумасшедший, и покатились со смеху, каковой смех только подлил масла в огонь Дон-Кихотова гнева, – ни слова не говоря, он выхватил меч и ринулся к носилкам. Один из тех, кто нес изваяние, поменявшись с товарищем и держа над головой то ли вилы, то ли шест, коим подпирают носилки, когда кто-либо из несущих желает отдохнуть, вышел Дон Кихоту навстречу, и вот по этому-то шесту как раз и пришелся страшный удар Дон-Кихотова меча, рассекший его надвое, однако ж носильщик оставшимся у него в руках обломком так огрел Дон Кихота по той руке, в которой он держал меч и которую щит не мог укрыть от грубой силы, что бедный Дон Кихот в весьма жалком состоянии полетел с коня. Санчо Панса, во весь дух гнавшийся за ним, видя, что он упал, крикнул его супостату, чтобы тот больше не наносил удара, – это-де очарованный рыцарь, который за всю свою жизнь никому не причинил никакого зла. Однако сельчанина остановили не крики Санчо, а то, что Дон Кихот не шевелил ни рукой, ни ногой; по сему обстоятельству, решив, что Дон Кихот убит, он подобрал полы своего балахона и с быстротою оленя бросился наутек.

Тем временем подоспели и все прочие спутники Дон Кихота, участники же процессии, видя, что они летят прямо на них, а с ними стражники, вооруженные арбалетами, и смекнув, что дело плохо, сгрудились вокруг изваяния; и, надев капюшоны, крепко держа в руках бичи, а псаломщики – подсвечники, они стали ждать неприятеля с твердым намерением отразить его натиск, а буде окажется возможным, то и самим перейти в наступление, однако ж судьба устроила лучше, чем можно было ожидать, ибо Санчо, вообразив, что господин его мертв, припал к его телу и прежалобно и преуморительно над ним запричитал. Нашего же священника узнал другой священник, шедший вместе с процессией, и это обстоятельство успокоило оба равно устрашенных воинства. Наш священник в двух словах объяснил другому, кто таков Дон Кихот, и тогда тот пошел посмотреть, жив ли бедный рыцарь, а за ним гурьбой повалили бичующиеся и услышали, что Санчо Панса со слезами на глазах причитает:

– О цвет рыцарства, нить драгоценной жизни коего оборвал один лишь удар дубиной! О честь своего рода, краса и гордость всей Ламанчи и всего мира, каковой после твоей смерти наполнится злодеями, ибо все их злодеяния отныне будут оставаться безнаказанными! О ты, более щедрый, нежели все Александры на свете, ибо всего только за восемь месяцев, что я у тебя прослужил, ты пожаловал мне лучший из островов, омываемых и окруженных морем! О ты, смиренный с надменными и гордый со смиренными, – то есть я хотел сказать наоборот, – смотрящий опасности прямо в глаза, не унывающий в бедах, влюбленный ни в кого, подражатель добрым, бич дурных, гроза подлецов, – одним словом, странствующий рыцарь, ибо этим все сказано!

Вопли и стенания Санчо воскресили Дон Кихота, и первыми его словами были:

– Кто пребывает в разлуке с вами, сладчайшая Дульсинея, тот и не такие еще бедствия терпит. Помоги мне, друг Санчо, сесть на очарованную повозку, я не в состоянии держаться в Росинантовом седле по той причине, что плечо у меня раздроблено.

– С большим удовольствием, государь мой, – сказал Санчо, – и поедемте прямо к нам в деревню вместе с этими сеньорами, которые вам желают добра, а там уж мы замыслим новый поход, такой, чтоб нам от него было побольше пользы и побольше славы.

– Ты дело говоришь, Санчо, – заметил Дон Кихот, – с нашей стороны будет в высшей степени благоразумно, если мы подождем, пока пройдет ныне действующее зловредное влияние светил.

Каноник, священник и цирюльник объявили, что лучше этого он ничего не мог бы придумать, и, в совершенном восторге от простоты Санчо Пансы, посадили Дон Кихота на ту же самую повозку, на которой он ехал прежде; участники процессии снова двинулись стройными рядами. Козопас со всеми распрощался, стражники отказались ехать дальше, и священник уплатил им сполна, каноник попросил священника уведомить его о том, что станется с Дон Кихотом: придет ли он в разум или же будет куролесить и дальше, и засим поехал своей дорогой. Словом, все разъехались в разные стороны и кто куда, остались только священник и цирюльник, Дон Кихот, Панса и добрый Росинант, столь же безропотно сносивший все, что бы с ним ни стряслось, как и его хозяин.

Возница запряг волов, посадил Дон Кихота на охапку сена и с присущим ему хладнокровием двинулся по той дороге, которую ему указал священник, и шесть дней спустя достигли они деревни Дон Кихота и въехали в нее среди бела дня, а пришлось это как раз в воскресенье, и площадь, через которую проезжала повозка Дон Кихота, была полна народу. Все бросились смотреть, кто это едет, и как скоро узнали своего соотчича, то подивились, а какой-то мальчишка побежал сказать ключнице его и племяннице, что их дядю и господина, бледного и худого, везут на волах, подстилки же никакой, кроме охапки сена. Невозможно было без сожаления смотреть на добрых этих женщин, вопивших, бивших себя по голове и посылавших новые проклятия этим окаянным рыцарским романам, и все это поднялось с новою силою, как скоро в дверях показался Дон Кихот.

Прослышав о том, что Дон Кихот возвратился, прибежала и жена Санчо Пансы, которой было известно, что муж ее последовал за ним в качестве оруженосца, и, едва увидев Санчо, она прежде всего осведомилась, здоров ли осел. Санчо ответил, что осел здоровее своего хозяина.

– Благодарю тебя, господи, за великую твою милость, – сказала она. – Ну, а теперь скажи-ка, дружочек, много ли ты заработал на своей оруженоске? Обновку-то ты мне привез? А башмачки детишкам?

– Ничего такого я, женушка, не привез, – отвечал Санчо, – зато я привез кое-что поважнее и посущественнее.

– Вот этому я очень рада, – заметила жена, – покажи-ка мне, дружочек, это важное и существенное, я хочу поглядеть, тогда душа моя будет довольна, а то, пока ты там скитался целую вечность, я вся истомилась и извелась.

– Дома покажу, жена, – объявил Панса, – а пока что утешься: если мы, господь даст, еще раз поедем искать приключений, то ты увидишь, что я скоро стану графом или же губернатором острова, да не какого-нибудь там захудалого, а самого что ни на есть лучшего.

– Дай-то бог, муженек, это нам вот как пригодится. А только скажи мне, что такое остров, я что-то не могу взять в толк.

– Осла медом не кормят, – отрезал Санчо, – придет время – узнаешь, да еще рот разинешь, когда твои вассалы станут величать тебя *ваше сиятельство.*

– Что ты несешь, Санчо? Какие такие сиятельства, острова и вассалы? – воскликнула Хуана Панса (так звали жену Санчо, ибо хотя она и не была с ним в родстве, но в Ламанче принято, чтобы жены брали фамилию мужа).

– Не все сразу, Хуана, не торопись, довольно и того, что я сказал тебе правду, пока держи язык на привязи. Между прочим, могу тебе сказать, что нет ничего приятнее быть почтенным оруженосцем какого-нибудь этакого странствующего рыцаря, искателя приключений. Правда, чаще всего попадаются приключения не такие, каких бы тебе хотелось: в девяноста девяти случаях из ста все получается шиворот-навыворот. Это я на себе испытал, потому в иных случаях меня подбрасывали на одеяле, в иных лупили. Однако со всем тем до чего ж хорошо в ожидании происшествий скакать по горам, плутать в лесах, взбираться на скалы, посещать замки, останавливаться на каких угодно постоялых дворах и при этом ни черта не платить за ночлег!

Такую беседу вели между собой Санчо Панса и его жена Хуана Панса, а в это время ключница и племянница Дон Кихота ухаживали за ним, раздевали его и укладывали на старую его кровать. Он смотрел на них блуждающим взором и никак не мог понять, где он находится. Священник, сообщив племяннице, чего стоило доставить его домой, сказал, чтобы она как можно лучше позаботилась о дяде и чтобы они обе были начеку, а то, мол, он опять убежит. Тут снова подняли они страшный крик, снова стали посылать проклятия рыцарским романам, снова стали молить бога, чтобы сочинители подобных врак и нелепостей провалились сквозь землю. Одним словом, священник оставил их в смятении и страхе, ибо они полагали, что, как скоро дело пойдет на поправку, дядя их и господин тот же час их покинет, и чего они опасались, то как раз и случилось.

Однако ж автор этой истории, несмотря на то что он со всею любознательностью и усердием допытывался, какие именно деяния совершил Дон Кихот во время третьего своего выезда, так и не мог обнаружить на сей предмет каких-либо указаний, – по крайней мере, в летописях подлинных; только в изустных преданиях Ламанчи сохранилось воспоминание о том, что, выехав из дому в третий раз, Дон Кихот побывал в Сарагосе и участвовал в знаменитых турнирах, которые в этом городе были устроены, и там с ним произошли события, достойные его неустрашимости и светлого ума. О смерти его и кончине также ничего не удалось узнать, и так бы автор ничего не знал и не ведал, когда бы счастливый случай не свел его с одним престарелым лекарем, обладателем свинцовой шкатулки, найденной, по его словам, среди развалин какой-то древней часовни, которую восстанавливали; и вот в этой-то самой шкатулке оказались пергаменты, на которых готическими буквами были написаны испанские стихи, в коих содержались сведения о многих подвигах Дон Кихота, о красоте Дульсинеи Тобосской, о наружности Росинанта, о верности Санчо Пансы и о погребении самого Дон Кихота, а также несколько эпитафий и похвальных стихов нраву его и обычаю. И те из них, которые удалось прочитать и разобрать, правдолюбивый автор этой новой и доселе невиданной истории здесь приводит. При этом за огромный труд, который пришлось положить на розыски и копанье в архивах Ламанчи, дабы вытащить помянутую историю на свет божий, автор не требует от своих читателей никакой другой благодарности, кроме того, чтобы они отнеслись к ней с таким же доверием, с каким люди здравомыслящие относятся к рыцарским романам, которые пользуются ныне таким успехом: это вполне вознаградит и удовлетворит его и подвигнет на то, чтобы извлечь и разыскать другие, если и не столь правдивые, то, во всяком случае, не менее занятные и увлекательные.

Вот первые слова пергамента, обнаруженного в свинцовой шкатулке:

Академики из Аргамасильи, местечка в Ламанче, на жизнь и на кончину доблестного Дон Кихота Ламанчского

Hoc Scripserunt[289]

Черномаза, академика Аргамасильского, на гробницу дон Кихота

эпитафия

Скиталец, словно Грецию – Язон,[290]
Прославивший ламанчские пределы;
Чудак, чей ум, как флюгер заржавелый,
И ветрен был, и столь же изощрен;

Певец, меж виршеплетов всех времен,Быть может, самый тонкий и умелый;Боец, настолько яростный и смелый,Что до границ Катая[291] славен он; Тот, кто, затмив собою Амадисов,Гигантов, словно карликов, сражал;Тот, кто был даме предан всей душою; Тот, кто, вселяя зависть в Бельянисов,Верхом на Росинанте разъезжал,Почиет под холодной сей плитою.

Крохобора, академика Аргамасильского, In Laudem Dulcineae De Toboso[292]

сонет

Ты, кто узрел сей толстогубый рот,
Внушительную стать и лик курносый,
Знай: это Дульсинея из Тобосо,
Которою пленился Дон Кихот.

О ней мечтал он ночи напролет,Монтьеля травянистые откосыИ Сьерры Негры[293] голые утесыИсхаживая, пеший, взад-вперед, В чем Росинант повинен... О светила!Зачем судили вы, чтоб в цвете летС обоими произошло несчастье? Ее красу от нас могила скрыла,А он, хотя узнал о нем весь свет,Погублен ложью, завистью и страстью.

Сумасброда, остроумнейшего академика Аргамасильского, в похвалу Росинанту, коню дон Кихота Ламанчского

сонет

На тот алмазный трон, где столько лет

Марс восседал, от крови весь багровый,
Взошел Ламанчец и рукой суровой
Над миром поднял стяг своих побед.

В столь грозные доспехи он одет,Столь остр его клинок, разить готовый,Что новый сей герой в манере новойБыть должен новой музою воспет. Британию до звезд во время оноОтвага Амадиса вознесла,Его сынами греки знамениты; Но днесь Кихот введен во храм Беллоны,[294] И гордая Ламанча превзошлаВладенья грека и отчизну бритта. Его дела не могут быть забыты:Ведь Росинант – и тот таких коней,Как Брильядор[295] с Баярдом,[296] стал славней.

Зубоскала, академика Аргамасильского, Санчо Пансе

сонет

Вот Санчо Панса. Хоть он ростом мал,
Но доблестью велик, и мир покуда,
В чем, если нужно, я порукой буду, —
Верней оруженосца не видал.

Он возведенья в графы ожидал,Но не дождался, что отнюдь не чудо:С ним во вражде был свет, а свет – Иуда.Его осла – и то б живым сглодал. И на скотине этой безответнойЗа незлобивым Росинантом вновьПотрюхал сей воитель незлобивый. О сладкие надежды, как вы тщетны!Вы нам на миг разгорячите кровь —И стали тенью, сном, химерой лживой.

Чертолома, академика Аргамасильского на гробницу дон Кихота

эпитафия

Дон Кихот, что здесь лежит,
Росинанта обладатель,
Приключений был искатель,
Был он также часто бит.
Рядом с рыцарем зарыт
Санчо Панса, малый нравный,
Но оруженосец славный.
Пусть господь его простит!

Тикитака, академика Аргамасильского, на гробницу Дульсинеи Тобосской

эпитафия

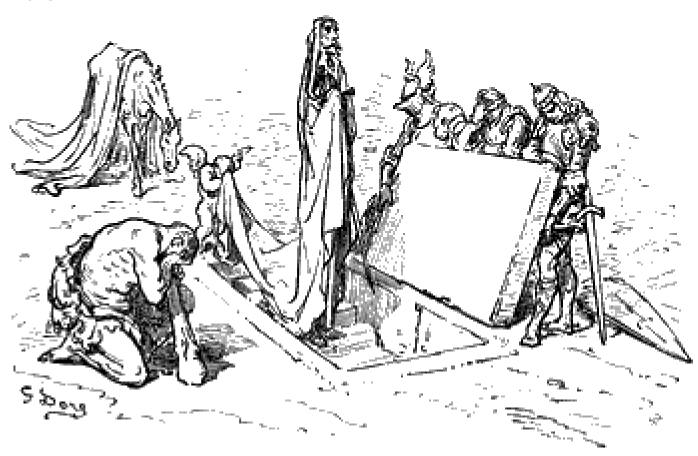
Мир навеки обрела
В сей могиле Дульсинея,
Смерть расправилась и с нею,
Хоть крепка она была.

Гордость своего села,Не знатна, но чистокровна,В Дон Кихоте пыл любовныйЭта скотница зажгла.

Вот и все стихи, какие нам удалось разобрать; в остальных же буквы были попорчены червями, вследствие чего пришлось передать их одному академику, дабы он прочитал их предположительно. По имеющимся сведениям, он этого добился усидчивым и кропотливым трудом и, в надежде на третий выезд Дон Кихота, намеревается обнародовать их.

Forse altri cantera con miglior plettro[297]

Конец первой части



Примечания

1

...породить в темнице... – намек на пребывание автора в тюрьме в Севилье дважды: в 1597 и 1602 гг.

2

...после стольких лет, проведенных в тиши забвения... – До выхода в свет первой части «Дон Кихота» Сервантесу удалось опубликовать только роман «Галатея» (1585).

3

Святой Фома – Фома Аквинский (1225–1274), знаменитый богослов, автор трактата «Суммы богословия».

4

Ксенофонт – греческий историк (ок. 430–354 до н. э.). *Зоил* – греческий ритор и грамматик (жил в Александрии в середине III в. до н. э.). Имя его стало синонимом придирчивого критика. *Зевксид* – греческий живописец второй половины V века до н. э.

5

Иоанн Индийский – легендарный владыка восточного христианского царства. Царство «пресвитера Иоанна» европейские летописцы помещали то в Средней Азии, то в Эфиопии, то в Индии и Китае.

6

Император Трапезундский – Трапезунд – город на южном побережье Черного моря. В 1204 г. знатный византиец Алексей Комнин основал там Трапезундскую империю, которая просуществовала вплоть до 1461 г., и стал первым императором Трапезундским и родоначальником трапезундской династии Комнинов.

7

Свободу не следует продавать ни за какие деньги *(лат.)*

8

Бледная смерть стучится и в хижины бедняков, и в царские дворцы *(лат.)* (стихи из Горация, кн. I, ода 4).

9

А я говорю вам: любите врагов ваших *(лат.)* (Евангелие от Матфея, гл. V).

10

Из сердца исходят дурные помыслы *(лат.)* (Евангелие от Матфея, гл. XV).

11

Покуда ты будешь счастлив, тебя будут окружать многочисленные друзья, но, когда наступят смутные дни, ты будешь одинок *(лат.)* (стихи не Катона, а Овидия из сборника элегий «Скорби», кн. I, элегия VI).

12

Море-Океан, или Океаническое море – так именовался тогда Атлантический океан.

13

Как (миф.) – исполин, похитивший у Геркулеса порученных его охране коров, за что был убит им в жестоком бою. Имя нарицательное ловкого и изобретательного вора.

14

Епископ Мондоньедский – испанский писатель Антоньо де Гевара (1480? —1545), епископ Гуадисский (1528) и Мондоньедский (1545), автор «Золотой книги Марка Аврелия», пользовавшейся широкой известностью.

15

Медея (миф.) – дочь царя Колхиды, оказавшая помощь Язону при овладении золотым руном и бежавшая с ним в Грецию. Когда Язон решил жениться на дочери коринфского царя Креусе, Медея убила свою соперницу, а также своих детей от Язона. Рассказ о ней помещен в седьмой книге «Метаморфоз» Овидия.

16

Калипсо (миф.) – дочь Атланта, нимфа с острова Огигея, в гостях у которой Одиссей пробыл семь лет.

17

Цирцея (миф.) – волшебница, которая обратила часть спутников Одиссея в свиней, но по его просьбе вновь вернула им человеческий облик.

18

Юлий Цезарь в своих «Записках»... – «Записки о Галльской войне» Юлия Цезаря (100—44 до н. э.), в которых он ставил целью оправдать свои действия в Галлии: нападение на галлов и подчинение их Риму.

19

Плутарх – греческий писатель (46—126 н. э.). Особенный интерес представляют его «Параллельные жизнеописания», в которых сопоставляются видные греческие и римские государственные деятели.

20

Лев Иудей – псевдоним Иуды Абрабанеля (1460? – после 1521), написавшего на итальянском языке трактат в диалогической форме «Беседы о любви».

21

Трактат Фонсеки. – Трактат августинского монарха Кристоваля де Фонсеки (1550? —1621) «О любви к богу» вышел в свет в 1592 г.

22

Монтьельская округа – местность в Ламанче.

23

Прощай, будь здоров *(лат.)*

24

Неистовый Роланд или Орландо – главный герой поэмы великого итальянского писателя Лодовико Ариосто (1474–1533) «Неистовый Роланд»; повествование о рыцарских приключениях сказочного характера ведется Ариосто в шутливом тоне.

25

Ганнибал – знаменитый карфагенский полководец (ок. 247–183 до н. э.), командовавший карфагенской армией во время второй Пунической войны.

26

...над Бедною Стремниною... – В романе «Амадис Галльский» рассказывается, что, после того как Амадис овладел одним островом и передал его законной владелице Бриолане, его возлюбленная Ориана, охваченная чувством ревности, запретила ему встречаться с Брионаной. Амадис в отчаянии решил отказаться от рыцарских подвигов и удалился в обитель на скале Бедная Стремнина. В подражание Амадису Дон Кихот точно так же решил подвергнуть себя испытаниям, о чем рассказывается в гл. XXV и XXVI первой части «Дон Кихота».

27

Мирафлорес – замок, в котором жила возлюбленная Амадиса Галльского Ориана.

28

«Селестина» – выдающееся произведение испанской литературы, вышедшее в свет в конце XV в. и вызвавшее множество подражаний. Ее автором считают Фернандо де Рохаса.

29

Бабьека – любимый конь Сида.

30

Ласарильо – намек на один из эпизодов плутовской повести «Жизнь Ласарильо с берегов Тормеса» (1554).

31

Анджелика – героиня поэмы Ариосто «Неистовый Роланд».

32

Кларидьяна – одна из героинь рыцарского романа «Рыцарь Феб», дочь императора Трапезунда и царицы амазонок.

33

В некоем селе Ламанчском… – строка из испанского народного романса.

34

Олья – так называемая «олья подрида» – испанское национальное блюдо.

35

Кихада, Кесада. – Кихада – челюсть; *кесада* – пирог с сыром.

36

Фелисьяно де Сильва – автор многих рыцарских романов (XVI в.).

37

Кавальеро – общее название лиц дворянского происхождения; в узком смысле слова – представитель среднего дворянства.

38

Сигуэнса – небольшой городок в провинции Гуадалахара, в котором находился университет второстепенного значения.

39

Пальмерин Английский – герой рыцарского романа «Могучий рыцарь Пальмерин Английский».

40

Амадис Галльский, точнее Амадис Уэлльский (родина Амадиса – Gaula – Уэлльс, Валлис). – Подлинный текст «Смелого и доблестного рыцаря Амадиса, сына Периона Галльского и королевы Элисены» (в четырех частях) написан на испанском языке. Первое известное нам издание появилось в Сарагосе в 1508 г.

41

Сид – Родриго (Руй) Диас де Бивар (1043? —1099), прозванный Сидом (Сид по-арабски «господин») – испанский национальный герой, один из вождей реконкисты – борьбы, которую с 711 по 1492 г. вел испанский народ против своих завоевателей – арабов (мавров). Подвиги Сида воспеты в поэме «Песнь о моем Сиде» и многочисленных народных песнях (романсах).

42

Рыцарь Пламенного Меча – прозвище Амадиса Греческого, героя одноименного рыцарского романа.

43

Бермардо дель Карпьо – легендарный испанский герой.

44

Роланд – главный герой «Песни о Роланде» и многих средневековых сказаний, главное действующее лицо поэм Ариосто, Боярдо и др.

45

Моргант – герой поэмы Пульчи «Моргант-великан», свирепый великан-язычник, которого Роланд обращает в христианство, после чего Моргант совершенно преображается, становится великодушным, учтивым, благородным.

46

Ринальд Монтальванский – персонаж поэмы Торквато Тассо (1544–1595) «Освобожденный Иерусалим», «Влюбленного Роланда» Боярдо и «Неистового Роланда» Ариосто.

47

Ганнелон – один из персонажей «Песни о Роланде», враг Роланда, ради мщения которому он изменяет своему королю.

48

Гонелла – шут одного из герцогов феррарских (XV в.); у него был необыкновенно худой конь, который служил предметом шуток.

49

Была только кожа да кости *(лат.)* (слова из комедии Плавта «Горшок», акт III, сц. VI).

50

Буцефал – по преданию, любимый конь Александра Македонского.

51

Росинант – составное слово: «росин» – кляча, «анте» – прежде и впереди, то есть то, что было клячей когда-то, а также кляча, идущая впереди всех остальных.

52

Дульсинея – Имя Дульсинея происходит от слова «dulce» (сладкая, нежная).

53

Тобосо – город в Ламанче, в ста километрах к юго-востоку от Толедо.

54

Ущелье Лаписе – лесистое ущелье в Ламанче.

55

Кастелян – комендант крепости, замка.

56

...мой наряд – мои доспехи, в лютой битве мой покой... – слова из испанского народного романса.

57

Сан Лукар – Сан Лукар Баррамедский – морской порт в Севильской провинции, в устье Гуадалквивира, связывавший метрополию с ее заморскими владениями.

58

...ложе вашей милости – твердый камень, бденье до зари – ваш сон... – перефразированная строка того же романса.

59

Ланцелот – прославленный рыцарь «Круглого Стола», влюбленный в Джиневру, жену короля Артура, в честь которой им было совершено множество подвигов. В тексте приводятся стихи из старинного романса о Ланцелоте.

60

Реал – старинная испанская серебряная или медная монета. Один серебряный реал равнялся двум медным.

61

Перчелес под Малагой – Перчелес – местность в окрестностях города Малаги.

62

Риаранские острова – предместье Малаги. Отдельные группы домов носили название «островов».

63

Севильский Компас, сеговийский Асогехо, валенсийская (Оливера, гранадская Рондилья – пригородные районы, пользовавшиеся дурной славой.

64

Кордовский Потро – предместье в южной части Кордовы, в котором жил уголовный сброд.

65

Донья. – Дон, донья – звание лица дворянского сословия.

66

...что произошло между Балдуином и маркизом Мантуанским... – испанский вариант одного из сказаний «каролингского цикла», то есть цикла французских поэм XII в., связанных с императором Карлом Великим. Маркиз Мантуанский, отставший от своей свиты во время охоты, находит в лесу Балдуина, раненного насмерть сыном Карла Великого – Карлото. Маркиз дает клятву перед распятием не расчесывать бороды, не появляться в городе и не расставаться с оружием ни днем, ни ночью до тех пор, пока он не отомстит убийце Балдуина.

67

Родриго де Нарваэс – первый алькайд (комендант) Антекеры после отвоевания этого города испанцами у мавров в 1410 г.

68

Абиндарраэс – знатный мавр, персонаж небольшого рассказа «История Абиндарраэса и Харифы», опубликованного в сборнике поэта Антоньо де Вильегас (1549? – ок. 1577). Этот рассказ получил большую популярность благодаря тому, что был включен в четвертую часть пасторального (пастушеского) романа Хорхе де Монтемайора (1520? —1561) «Диана».

69

Абенсерраг – один из знатных мавританских родов в Гранаде.

70

Двенадцать Пэров Франции – упоминающиеся в средневековых рыцарских поэмах двенадцать паладинов Карла Великого, в числе которых значились и часто встречающиеся в «Дон Кихоте» Роланд, Ринальд Монтальванский и др.

71

Девять Мужей Славы – Таковыми считались библейский вождь, преемник Моисея – Иисус Навин, библейский царь, герой, победивший великана Голиафа, и псалмопевец Давид, библейский герой, освободитель своего народа Иуда Маккавей, Александр Македонский, герой Троянской войны Гектор, Юлий Цезарь, король Артур, император Карл Великий и герой первого крестового похода герцог Готфрид Бульонский.

72

Лиценциат – лицо, получившее диплом об окончании университета.

73

«Подвиги Эспландиана» – роман «Подвиги весьма добродетельного рыцаря Эспландиана, сына Амадиса Галльского, вышел в свет в 1510 г.

74

«Дон Оливант Лаврский» – Полное название этого романа Антоньо де Торкемады – «Повествование о непобедимом рыцаре Оливанте Лаврском, принце Македонском, ставшем, благодаря чудесным своим подвигам, императором константинопольским» (1564).

75

«Флорисмарт Гирканский...» – Автором этого романа («Первая часть великой истории о преславном и могучем рыцаре Флорисмарте Гирканском», 1556) является Мельчор Ортега. В романе «Дон Кихот» встречается и другое написание имени Флорисмарт: Фелисмарт.

76

«Рыцарь Платир» – «Летопись деяний весьма отважного и могучего рыцаря Платира, сына императора Прималеона» (1533).

77

«Рыцарь Креста...» – Роман состоит из двух частей: первая часть носит название: «Летопись деяний Леполемо, прозванного Рыцарем Креста, сына императора германского, написанная на арабском языке и переведенная на испанский» (1521).

78

«Зерцало рыцарства...» – Речь идет о романе под названием «Первая, вторая и третья части Влюбленного Роланда. Зерцало рыцарства, в коем повествуется о деяниях графа Роланда и могучего рыцаря Ринальда Монтальванского и многих других именитых рыцарей» (1586).

79

Правдивый летописец Турпин – согласно средневековым сказаниям, реймский архиепископ Турпин – один из уцелевших участников сражения в Ронсевальском ущелье. Ему приписывали авторство латинской «Хроники архиепископа Турпина», относящейся к XI в. и представляющей собою рассказ о легендарных деяниях Карла Великого и Роланда в Испании.

80

Маттео Боярдо (1434–1494) – итальянский писатель, автор поэмы «Влюбленный Роланд». Сюжет «Влюбленного Роланда» был в дальнейшем разработан Лодовико Ариосто в поэме «Неистовый Роланд».

81

...сеньору военачальнику... – Имеется в виду Херонимо де Урреа, который перевел на испанский язык «Неистового Роланда» в 1549 г. Перевод считается малохудожественным.

82

«Бернардо дель Карпьо» – поэма Аугустино Алонсо под названием «Повествование о подвигах и деяниях непобедимого рыцаря Бернардо дель Карпьо» (1585).

83

«Ронсеваль» – написанная плохими октавами поэма Франсиско Гарридо Вильена «Правдивое описание славного сражения в Ронсевале, а также гибели Двенадцати Пэров Франции» (1555).

84

«Пальмерин Оливский» – Первая часть этого романа вышла в свет в 1511 г. под названием «Книга о могучем рыцаре Дальмерине Оливском».

85

...в особом ларце... – Согласно рассказу Плутарха, Александр Македонский, найдя среди добычи, захваченной им после поражения Дария, богатый ларец, велел хранить в нем сочинения Гомера.

86

История славного рыцаря Тиранта Белого. – Речь идет об испанском переводе (1511) каталонского рыцарского романа, вышедшего в 1490 г., «Могучий и непобедимый рыцарь Тирант Белый, в пяти частях». В отличие от обычного типа рыцарских романов в «Тиранте Белом» иногда проскальзывают намеки на реальную действительность и заметна попытка снизить условную героику, о чем свидетельствуют, в частности, приводимые священником гротескные названия отдельных персонажей романа: Кириэлейсон (начальные слова молитвы «Господи, помилуй!», дева Отрада (в подлиннике: Отрада моей жизни), вдова Потрафира и др.

87

«Диана» Хорхе де Монтемайора. – Этот роман оказал большое влияние на развитие так называемого пасторального жанра в Испании.

88

Длинные строчки – стихотворные строки, состоящие из двенадцати слогов. «Диана», как характерно для пасторального романа вообще, – произведение, в котором проза чередуется со стихами.

89

Вторая «Диана» ... Саламантинца – вышла в свет в 1564 г., подражание «Диане» Монтемайора, автором ее был саламанкский врач Алонсо Перес.

90

«Диана» Хиля Поло – другое подражание Монтемайору, автором ее был Гаспар Хиль Поло (ум. 1591 г.), опубликована в том же году, что и роман Алонсо Переса.

91

«Счастье любви, в десяти частях» – роман Антоньо де Лофрасо, вышел в свет в 1573 г.

92

«Пастух Филиды» – пасторальный роман Луиса Гальвеса де Монтальво (1549?—1591), вышедший в 1582 г.

93

«Сокровищница разных стихотворений» – сборник стихов Педро де Падилья (1587). Педро де Падилья – испанский поэт и священник, друг Сервантеса.

94

«Сборник песен» Лопеса Мальдонадо – вышел в свет в 1586 г. Лопес Мальдонадо Габриэль – испанский поэт, автор романсов и эпиграмм.

95

«Араукана» дона Алонсо де Эрсильи. – Алонсо де Эрсилья – знаменитый испанский поэт. Поэма «Араукана» посвящена войне испанцев с арауканцами (чилийскими индейцами), поднявшими восстание за независимость. Участник этой войны, Эрсилья, воспевая славу испанского оружия, восхищается в то же время мужеством индейцев. Первая часть вышла в 1569 г.; полностью поэма была опубликована в 1589 г.

96

«Австриада» Хуана Рифо – опубликованная в 1584 г. поэма, в которой воспеты подвиги побочного брата Филиппа II дона Хуана Австрийского.

97

«Монсеррат» – поэма Кристоваля де Вируэса (1550–1609), испанского поэта и драматурга. Вышла в 1587 г.

98

«Слезы Анджелики» – поэма Луиса Бараона де Сото (1586) на сюжет, заимствованный из «Неистового Роланда» Ариосто.

99

«Карлиада» – поэма Хоронимо Семпере о Карле V (1560).

100

«Лев Испанский» – поэма Педро де ла Весилья Кастельянос под названием «Первая и вторая части Леона Испанского» (1584), в которой воспевается основание города Леона (по-испански leon – лев) и повествуется о мученической смерти уроженцев этого города.

101

«Деяния императора» – поэма Луиса Сапата «Достославный Карл» (1566) в сорок тысяч стихов, посвященная императору Карлу V, ошибочно приписана Сервантесом Луису де Авила.

102

Бриарей (миф.) – сторукий великан.

103

Дьего Перес де Варгас – толедский рыцарь; служил в войсках Фернандо III; отличался необычайной храбростью и мужеством в боях с маврами.

104

Цикорная вода. – Медицина того времени считала цикорный напиток средством, вызывающим легкий и спокойный сон.

105

Дорожные очки – маски с вставленными в них стеклами для защиты глаз от пыли и солнечных лучей.

106

Ну, это мы еще посмотрим, как сказал Аграхес... – Это выражение, заключающее в себе угрозу, часто встречается в рыцарских романах, откуда и вошло в поговорку. Оно связано с именем Аграхеса, одного из персонажей романа «Амадис Галльский».

107

...об этом будет рассказано во второй части. – Первое издание первой книги «Дон Кихота» (1605) делилось на четыре части. Вторую книгу «Дон Кихота», вышедшую в 1615 г., Сервантес назвал второй, а не пятой частью, не желая подражать Авельянеде. Алонсо Фернандес де Авельянеда – псевдоним автора подложного «Дон Кихота» (изд. в 1614 г.). Личность автора не установлена. Роман Авельянеды носит пародийный характер и содержит резкие выпады против Сервантеса. Во второй части своего «Дон Кихота» Сервантес, в свою очередь, дает резкую отповедь Авельянеде.

108

...стяжали вечну славу поискам приключений... – строка из «Триумфов» Петрарки в переводе Альваро Гомеса.

109

Арроба – мера веса (11,5 кг).

110

Фанега – мера емкости (55,5 л).

111

Панса и Санкас – Панса – по-испански – брюхо, санкас – тонкие ноги.

112

...арабы – злейшие наши враги... – Враждебное отношение испанцев к арабам имело свои корни в семивековой борьбе испанского народа с арабами, захватившими в начале VIII в. значительную часть Иберийского полуострова. После отвоевания захваченных территорий (в конце XV в.) католическая церковь, в целях поддержания и укрепления религиозного фанатизма, продолжала всеми средствами разжигать расовую ненависть к арабам.

113

...укрыться в какой-нибудь церкви. – Церковь в те времена предоставляла право убежища и обеспечивала неприкосновенность личности.

114

Святое братство. – В средние века, в эпоху борьбы королевской власти с феодалами, возник институт «Санта Эрмандад» (Святое братство), представлявший собой боевой союз городов в защиту городских вольностей. Впоследствии этим именем называлась также полиция инквизиции.

115

Фьерабрас – персонаж одноименной поэмы, относящейся к XII в.; сын египетского эмира, во владении которого, согласно легенде, находился чудодейственный бальзам. Один из двенадцати пэров, Оливье (по-испански Оливерос) одержал победу над фьерабрасом.

116

Асумбра – мера емкости (2,02 л).

117

Шлем Мамбрина. – Мамбрин – один из персонажей поэм Боярдо и Ариосто, мавританский царь, обладатель чудодейственного золотого шлема, предохранявшего от ранений.

118

Сакрипант – персонаж тех же поэм, синоним человека хвастливого и напыщенного.

119

Альбрака – замок на скале, в котором, как повествуется во «Влюбленном Роланде», скрывалась Анджелика.

120

Собрадиса – фантастическое государство, упоминаемое в «Амадисе Галльском».

121

Равель – трехструнная скрипка.

122

Король Артур – легендарный британский король (VI в.), герой многочисленных средневековых сказаний и поэм, главным образом связанных с подвигами «рыцарей Круглого Стола» (приближенные короля Артура сидели во время пиров за круглым столом для того, чтобы не было ни лучших, ни худших мест и все рыцари чувствовали себя равными).

123

Рыцарь Озера Ланцелот – Ланцелот прозван был Рыцарем Озера по той причине, что детство и юность он провел при дворе возлюбленной мага Мерлина, Вивианы, известной под именем Владычицы Озера.

124

Обет картезианских монахов – то есть обет молчания.

125

Елисейские поля – у древних греков и римлян – часть подземного мира, куда после смерти отходят души героев и праведников.

126

Курции, Кац и Сципионы – знатные роды в Древнем Риме. Колонна, Орсини, Монкада, Рекесены... – знатные роды современной Сервантесу Италии, Каталонии, Арагона, Кастилии и Португалии.

127

Курции, Кац и Сципионы – знатные роды в Древнем Риме. Колонна, Орсини, Монкада, Рекесены... – знатные роды современной Сервантесу Италии, Каталонии, Арагона, Кастилии и Португалии.

128

Дзербин – один из персонажей «Неистового Роланда» Ариосто, сын короля шотландского, получивший свободу благодаря Роланду. Найдя однажды доспехи своего спасителя, он сделал приведенную в тексте надпись, представляющую перевод стихов из поэмы Ариосто (песня XXIV).

129

Выскочки Ларедские – Ларедо – небольшой портовый городок на севере Испании. Ларедскими выскочками называли людей, разбогатевших на торговых операциях с Америкой.

130

Цезарь Октавиан Август – римский император (27 до н. э. – 14 н. э.), в царствование которого жили крупнейшие поэты (Вергилий, Овидий и пр.).

131

Божественный мантуанец – знаменитый римский поэт Вергилий (70–19 до н. э.) был родом из Мантуи. По преданию, он завещал уничтожить рукопись своей поэмы «Энеида», прославившей его имя.

132

Бетис – старинное название реки Гуадалквивира.

133

Ливийская пустыня – то есть африканские плоскогорья.

134

Иксион (миф.) – фессалийский царь, пожелавший овладеть Юноной; Юпитер подменил ее облаком, а Иксиона осудил вечно вращаться в подземном царстве на огненном колесе.

135

Сизиф (миф.) – основатель и царь Коринфа. За обманы и предательства он был осужден богами на тяжелый и бесцельный труд: вечно вкатывать на гору неизменно скатывающуюся обратно каменную глыбу.

136

Тантал (миф.) – царь Фригии, осужденный за разглашение божественной тайны томиться в подземном царстве вечным голодом и вечной жаждой.

137

Титий (миф.) – великан с острова Эвбея, который за покушение на честь матери Аполлона – Латоны был низвергнут в подземное царство, где коршуны терзали его печень.

138

Страж адских врат – Цербер, трехглавый пес, охранявший вход в подземное царство.

139

Жестокосердный Нерон – римский император (54–68). Народная молва считала его виновником грандиозного пожара в Риме (64), длившегося девять дней.

140

Неблагодарная дочь Тарквиния – Поступок этот, согласно преданию, совершила дочь Сервия Туллия, жена (а не дочь) Тарквиния Гордого, которая надругалась над трупом своего отца.

141

Янгуасские погонщики – Ниже упоминаются также и богатые аревальские погонщики. Извозным промыслом занимались тогда целые селения.

142

Бог сражений (миф.) – Марс.

143

Силен (миф.) – воспитатель и постоянный спутник Вакха, вечно пьяный тучный старик.

144

Стовратный город – Стовратными назывались Фивы, столица Верхнего Египта на реке Нил; Фивы, куда въехал Силен, столица Беотии, назывались Семивратными.

145

...кичилась дворянским своим происхождением... – Мариторнес была родом из Астурии, области, не завоеванной маврами. Уроженцы Астурии, независимо от сословной принадлежности, считали себя потомками вестготов, а потому дворянами. Племя вестготов в V в. завоевало Испанию.

146

Аревальские погонщики – Аревало – селение в Кастилии.

147

Граф Томильяс – один из второстепенных персонажей рыцарского романа «История Энрике, сына Оливы, царя иерусалимского и императора константинопольского» (1498).

148

Трапобана – вместо Трапробана (древнее название острова Цейлон).

149

Гараманты – народ, живущий к югу от Нумидии.

150

Ксанф – река Скамандр в Малой Азии.

151

Массилийские горные луга – местность в восточной Нумидии.

152

Фермодонт – река в Понте, впадающая в Черное море. На ее берегах, по преданию, жили амазонки.

153

Пактол – золотоносная река в Лидии (ныне Сарабат).

154

Тартесийские долины – Тартес – древний финикийский город в юго-западной Испании, в устье реки Гуадалквивир.

155

Гуадиана – река в Испании, которая в своем течении несколько раз скрывается под землей, а затем вновь появляется на поверхности.

156

Доктор Лагуна – испанский переводчик и комментатор трактата о лекарственных травах греческого врача Диоскорида (I в. н. э.).

157

В соответствии с этим, если кто по наущению дьявола... *(лат.)* (слова из текста постановлений Тридентского собора).

158

Сид Руй Диас сломал стул... – В одном из романсов о Сиде рассказывается о том, как он однажды зашел в собор св. Петра и заметил, что стул испанского короля стоит ниже стула французского короля, сидевшего рядом с папой. Недолго думая, Сид опрокинул ногой стул французского короля и на его место поставил стул своего короля. Рассерженный папа отлучил Сида от церкви. Тогда Сид обратился к папе со следующими словами: «Отпусти мой грех, если же ты этого не сделаешь, то это тебе припомнится».

159

По турецкому обычаю *(лат.)*

160

...выкованному богом кузнечного ремесла для бога сражений... – то есть Вулканом для Марса. На самом же деле, согласно мифу, Вулкан выковал для Марса не оружие, а тонкую железную сеть.

161

Елена (миф.) – жена греческого царя Менелая, отличавшаяся необыкновенной красотой; она была похищена сыном троянского царя Приама Парисом, из-за чего началась Троянская война.

162

Обмен мантий (лат.). Предусмотренный ватиканским церемониалом пасхальный обряд, при котором кардиналы и прелаты меняют свои плащи и мантии, подбитые мехом, на одежду из красного шелка.

163

...за нанесенные мне обиды... пятьсот суэльдо... – К числу преимуществ дворянства относилось право требовать за обиду, причиненную лицом «низкого» сословия, денежный штраф.

164

Галера – гребное судно. Здесь имеется в виду наказание, к которому приговаривались преступники: их приковывали к бортам галеры, и им приходилось грести до полного изнеможения.

165

...в ушах гудит от его стрел... – Казнь, которой Святое братство подвергало преступников, состояла в том, что их привязывали к столбу и стреляли в них из лука.

166

...велел... Санчо сойти с осла... – Несколько дальше сказано: «Санчо по милости Хинесильо де Пасамонте побрел за ним на своих двоих», – противоречие, которое Сервантес объясняет во второй части «Дон Кихота».

167

Тисба – героиня повести Овидия о Пираме и Тисбе («Метаморфозы»).

168

Езоп – то есть Эзоп, знаменитый греческий баснописец (VI в. до н. э.).

169

Андриаки – чудовища в виде полулюдей-полузверей, фигурирующие в романе «Амадис Галльский».

170

Медор – персонаж поэмы Ариосто «Неистовый Роланд».

171

Гиппогриф – сказочное животное, наполовину конь, наполовину гриф.

172

Фронтин – крылатый конь Руджера.

173

Астольф, Брадаманта – персонажи поэмы Ариосто «Неистовый Роланд»: Астольф – рыцарь, Брадаманта – сестра Ринальда и возлюбленная рыцаря Руджера.

174

Искаженное «nulla est retentio» *(лат.)* – «никак не удержишься», которое Санчо употребляет вместо «in inferno nulla est redemptio» – «от ада нет избавления».

175

Барра – игра, заключающаяся в том, чтобы возможно дальше бросить железный прут.

176

Амарилис, Дианы, Сильвии, Филисы, Галатеи, Филиды – имена героинь популярных пасторальных романов.

177

Лукреция – римлянка, происходившая из знатного рода Тарквиниев; прославилась своим мужеством и целомудрием.

178

Тезеева нить в лабиринте – намек на миф о Тезее, который выбрался из запутанных ходов критского лабиринта, благодаря нити, полученной от Ариадны.

179

Аграмант – мавританский царь, один из персонажей «Неистового Роланда».

180

Фавны, сильваны (миф.) – божества полей и лесов.

181

...времен короля Вамбы... – то есть в незапамятные времена; соответствует русскому: во времена царя Гороха. Вамба – готский король (672–680).

182

Марий – глава народной партии в Риме и главный противник Суллы, семь раз переизбирался консулом (106—86 до н. э.).

183

Катилина – организатор заговора против сенатской олигархии, поддержанный демократическими слоями. Заговор был раскрыт Цицероном в 63 г. до н. э.

184

Сулла – римский диктатор, боровшийся с демократической партией (138—78 до н. э.).

185

Хулиан – по преданию, граф Хулиан, желая отомстить королю Родриго за насилие, учиненное последним над его дочерью (или женой) Кавой, призвал мавров и те покорили Испанию.

186

Ну и что ж такого, что вассалами моими будут негры? – Торговля африканскими неграми, которых отправляли затем в Новый Свет, была широко распространена в Испании в XVI–XVII вв.

187

Холм Соломонов – холм Сулема, расположенный к юго-западу от Алькала де Энарес, отождествленного здесь с Комплутом (латинское название Алькала, упоминаемое у Птолемея).

188

Озеро Меотийское – старинное название Азовского моря.

189

Песо – в Южной и Центральной Америке (XVI–XVII вв.) за недостатком денег употреблялись слитки драгоценных металлов определенного веса (песо по-испански означает вес). Песо равнялось унции серебра или восьми серебряным реалам.

190

...цыганский осел, у которого в ушах ртуть. – В те времена в народе было распространено убеждение, что цыгане при продаже лошадей вливают им в уши ртуть для того, чтобы они скакали быстрее.

191

«Дон Сиронхил Фракийский» – рыцарский роман «Отважный рыцарь дон Сиронхил Фракийский, в четырех частях» (1545).

192

Босые братья – монахи Францисканского ордена, которым запрещено было носить какую-либо обувь, кроме сандалий.

193

Вплоть до алтарей (лат.). Место расположения алтарей считалось в римском доме священным и неприкосновенным.

194

Луиджи Тансилло – неаполитанский поэт (1510–1568), автор поэмы «Слезы апостола Петра».

195

Испытание кубком – эпизод из поэмы Ариосто «Неистовый Роланд». В XLIII песне помещен рассказ одного рыцаря о кубке, обладавшем чудесным свойством: вино из него проливалось на грудь пьющего в том случае, если супруга этого человека была ему неверна. Рассказ о подобном чудесном кубке встречается и в XLI песне той же поэмы.

196

Даная (миф.) – дочь аргосского царя Акрисия. Опасаясь осуществления предсказания, что он будет убит одним из своих внуков, царь велел заточить свою дочь в неприступную башню под охраной стражи и собак. Увлекшийся ее красотой Юпитер проник в башню в виде золотого дождя.

197

Эстрадо – небольшое возвышение на женской половине дома, устланное коврами и подушками. Эстрадо называлась также и комната, в которой находилось это возвышение и которая служила для приема гостей.

198

Эскудо – старинная испанская золотая монета.

199

Порция – жена Марка Брута. Желая доказать Бруту, что она достаточно мужественна и отважна и поэтому достойна быть посвященной в заговор против Юлия Цезаря, Порция тяжело ранила себя в присутствии мужа. Позднее, узнав о его смерти на поле брани, она покончила с собой.

200

...в бою между де Лотреком и великим полководцем... – Французский маршал де Лотрек принял командование над французской армией в Италии в 1527 г., а Гонсало Фернандес Кордовский, прозванный «великим полководцем», умер в 1515 г. (анахронизм).

201

Альмалафа – арабское мужское и женское верхнее платье.

202

Сцилла и Харибда – Сцилла – утес на итальянской стороне Сицилийского пролива, против водоворота Харибды – на сицилийской стороне. В мифологии – чудовища, угрожавшие проходившим судам; синоним большой опасности.

203

Кавальер – высокое сооружение на главном валу крепости.

204

...проехал в Милан... – Оружейные заводы в Милане пользовались в то время славой.

205

Алессандрия делла Палла – сильно укрепленная крепость на берегу реки Танаро, в Миланском герцогстве.

206

...герцог Альба отправляется во Фландрию. – Кровавый усмиритель Нидерландов Фернандо Альварес Толедский, или герцог Альба, отбыл туда осенью 1567 г. во главе отборного войска из испанских отрядов, расквартированных в Италии.

207

Графы Эгмонт и Горн – вожди оппозиционной испанскому владычеству нидерландской знати, были казнены 5 июня 1568 г.

208

Дьего де Урбина – командир роты, в которой служил Сервантес.

209

Союз с Венецией и Испанией – лига, созданная по почину папы Пия V. После того как турки захватили в 1571 г. остров Кипр, принадлежавший тогда Венеции, и усилилась угроза средиземноморским владениям Венеции и Испании, лига организовала для борьбы с турками объединенный флот. Во главе этого флота был поставлен дон Хуан Австрийский (1547–1578), побочный сын Карла V. 7 октября 1571 г. произошла встреча турецкого и соединенного испано-венецианского флота в Лепантском заливе у берегов Греции, где турецкому флоту был нанесен сокрушительный удар. Доблестным участником Лепантского боя был Сервантес (см. пролог к т. 2).

210

Улудж-Али (1508 – ок. 1580) – родом калабриец, находился на службе у турок. За победу, одержанную им под Мальтой в 1665 г., защита которой от нападения турецкой флотилии была поручена Карлом V мальтийскому ордену, он получил царство Триполитанское. Принимал участие в сражении при Лепанто и руководил операциями турецкого флота при отвоевании Туниса в 1574 г.

211

Мальтийский орден – военно-религиозный орден иоаннитов, или госпитальеров; возник в эпоху крестовых походов. В 1530 г. испанский король Карл V передал во владение этого ордена остров Мальту. Орден вел постоянную борьбу с турецким флотом, стремившимся захватить остров как опорный стратегический пункт в Средиземном море. В 1565 г. остров подвергся осаде турецкого флота под начальством Драгута, а после его смерти – Мустафа-паши, но с честью выдержал осаду.

212

Джованни Андреа – генуэзский военачальник, руководивший в Лепантском сражении правым флангом соединенной эскадры.

213

...и не по вине или по небрежению нашего адмирала... – то есть Хуана Австрийского.

214

Корсар Рыжая Борода – турецкий пират, адмирал турецкого флота. Его сын Гасан-паша правил Алжиром. Тут идет речь не о Гасан-паше, а о внуке Рыжей Бороды, Магомет-бее,

который и был капитаном судна, о чем рассказывает пленник. Магомет-бей отличался крайней жестокостью.

215

Мулей – арабское слово, означающее «мой господин», «мой наставник». Звание «мулей» присваивалось арабским халифам и лицам царского происхождения.

216

Голета – форт, защищавший вход в Тунисскую гавань. После захвата его испанцами в 1535 г. в нем оставлен был испанский гарнизон. Когда Венеция заключила в 1573 г. мир с Турцией, король Филипп II направил дона Хуана Австрийского в Голету для руководства фортификационными работами. Но предпринятые в 1574 г. атаки со стороны турецкого флота нарушили планы Филиппа II.

217

Габриеле Червеллон – миланский дворянин, градоправитель Туниса, был взят турками в плен после захвата Голеты и Туниса. По освобождении из плена служил в испанских войсках в Голландии. Умер в 1580 г. в Милане.

218

Пагано Дориа – брат Андреа Дориа, участвовал в сражении при Лепанто, погиб при защите Голеты. Его «необычайное добросердечие» по отношению к брату выразилось в том, что он отказался в пользу последнего от своих огромных богатств.

219

Табарка – приморское селение на северном побережье Африки. При осаде Туниса командующим турецким флотом был Улудж-Али. Описанный поступок Улудж-Али объясняется вернее всего его алчностью, а не благородством: он был раздосадован тем, что со смертью Дориа утратил возможность получить за него большой выкуп.

220

Фратино – то есть Монашек, прозвище итальянского инженера Джакомо Палеаццо, руководившего при Карле V и Филиппе II укреплениями на Гибралтаре. Он выступает также как один из персонажей в пьесе Сервантеса «Удалой испанец».

221

Гасан Ага – правитель Алжира. Принято считать, что Сервантес тут упоминает Гасана Ага вместо Гасана-паши, который правил в Алжире до 1580 г., то есть до освобождения Сервантеса из рабства.

222

...неким Сааведра... – Речь идет о самом Сервантесе, который пять лет пробыл в алжирском плену и неоднократно предпринимал попытки к бегству.

223

Аль-Бата – крепость, расположенная в двух милях от Орана.

224

Арнаут Мами – начальник пиратов, захвативший галеру «Эль Соль» («Солнце»), на которой Сервантес и его брат Родриго возвращались в 1575 г. в Испанию. Арнаутами турки называли албанцев.

225

Султан – название турецкой золотой монеты стоимостью 125 асперов (аспер – восьмая часть реала).

226

Джума – день отдыха у арабов.

227

Арраис (араб.) – начальник над гребцами.

228

Низарани – то есть Назарей, христианин (по Назарету – городу, где родился Иисус Христос).

229

Кава Румия – мыс Альбатель.

230

Четырехугольные паруса, или прямые паруса – квадратные или прямоугольные полотнища, растягиваемые на поперечных бревнах, которые подвешивались к мачтам за середину.

231

Цепные ядра – два ядра, скрепленные небольшой цепью.

232

Конная береговая охрана – специально организованная для охраны побережья Испании от нападения корсаров легкая кавалерия. Наблюдатели на особых вышках следили за появлявшимися у берегов судами и сигнализировали об опасности, зажигая костры.

233

...при посредстве священной инквизиции возвратиться в лоно святой церкви... – Процедура, установленная инквизицией для возвращавшихся в «лоно церкви» вероотступников, побывавших у турок, была весьма упрощенной. Инквизиция, жестоко расправлявшаяся со всякого рода «еретиками», меньше опасалась турецких шпионов, чем проникновения нежелательных идей с Запада.

234

Аудитор – крупный судейский чиновник.

235

Палинур (миф.) – главный кормчий на судах, на которых Эней со своей дружиной отправился из Трои в Италию.

236

Трехликое светило – то есть луна, появляющаяся в трех своих фазах. Гораций и Овидий называли ее «трехликим божеством», сочетающим в себе Луну на небе, Диану на земле и Гекату в преисподней.

237

...златокудрый, уже спешащий запрячь коней...(миф.) – Феб (солнце), запрягающий свою колесницу, на которой в течение дня он объезжает небосвод.

238

Легконогая гордячка (миф.) – нимфа Дафна, дочь речного бога Пенея, за которой тщетно гнался увлеченный ею Аполлон (Феб) и которая была превращена сжалившимся над нею отцом в лавр. Река Пеней находится в Фессалии.

239

Медуза (миф.) – одна из трех горгон (чудовищ в образе женщины), взгляд ее превращает человека в камень, вместо волос на голове у нее змеи.

240

...скипетр на голове, а на руках корона. – Одним из наказаний, которым подвергались в то время преступники, было выжигание короны на их руках.

241

...междоусобная брань в стане Аграмантовом... – В XXVII песне «Неистового Роланда» рассказывается о том, что архангел Михаил наслал, по просьбе Карла Великого, распрю на стан царя Аграманта, осаждавшего Париж. Возникла междоусобица, которую Аграманту удалось прекратить благодаря мудрым советам царя Собрина.

242

«Алькавала» – налог в виде определенного процента от продажи любого предмета; он превышал во времена Сервантеса десять процентов и тяжким бременем ложился на товарооборот в стране.

243

«Туфля королевы» – налог, взимавшийся по случаю царского бракосочетания и шедший исключительно в пользу королевы, на удовлетворение ее личных нужд.

244

Аренда – земельный налог, вносившийся в средние века каждые семь лет.

245

...спокойствие времен Октавиановых... – Октавиан Август – римский император (27 г. до н. э. – 14 г. н. э.).

246

Как это было вначале *(лат.)*

247

...преследователь убегающей нимфы... (миф.) – Феб, преследующий нимфу Дафну.

248

«Повесть о Ринконете и Кортадильо» – вошла в состав сборника Сервантеса «Назидательные новеллы», опубликованного в 1613 г.

249

Каноник – соборный священник.

250

Краткий учебник элементарных основ диалектики *(исп.)*

251

Брамины Индии – точнее, брахманы, жрецы, принадлежавшие к высшей из четырех каст, на которые делилось население древней Индии.

252

Гимнософисты Эфиопии – древнейшая индусская религиозная секта, получившая широкое распространение в Египте и Эфиопии. Она призывала к полному отказу от жизненных благ, умерщвлению плоти, пренебрежению к богатству и почестям.

253

Милетские сказки – Речь идет о сборнике любовных новелл, составленных Аристидом из Милета (вероятно, в конце II в. до н. э.). Название этого не дошедшего до нас сборника, «Милетские сказки», стало нарицательным для всего жанра.

254

Птолемей – Клавдий Птолемей, математик, астроном и географ, живший в первой половине II в. н. э. в Александрии.

255

Марко Поло – знаменитый венецианский путешественник XIII в., посетивший восточные страны, где он прожил двадцать шесть лет.

256

Предательство Синона – Синон – грек, убедивший троянцев ввести в город деревянного коня, внутри которого были спрятаны вооруженные греческие воины.

257

Дружеская верность Эвриала – Нис и Эвриал – спутники Энея, теснейшая дружба которых описана в «Энеиде» Вергилия.

258

Постоянство Зопира – Зопир – персидский воин, который во время восстания вавилонян против персидского царя Дария нанес себе увечье и, перейдя в стан вавилонян, убедил их в том, что его искалечил Дарий. Заручившись таким путем доверием вавилонян, он добился того, что они подчинились Дарию. Последний, однако, отказался Воспользоваться победой, которая обошлась такой ценой.

259

...два столпа поэзии – греческой и латинской. – Гомер и Вергилий.

260

Комедия – Испанская драматургия XVII в. не знала делений на жанры (комедия, драма, трагедия). Безотносительно к содержанию любая трехактная пьеса называлась комедией.

261

«Изабелла», «Филида» и «Александра» – трагедии, автором которых был Луперсьо Леонардо де Архенсола (1562–1613). Трагедия «Филида» до нас не дошла, что же касается двух остальных трагедий, то они, вопреки мнению каноника, не представляют никакой художественной ценности.

262

«Наказанная неблагодарность», «Нумансия», «Влюбленный купец», «Благородная соперница» – Первая принадлежит перу Лопе де Вега; третья – валенсийскому поэту и драматургу Гаспару де Агилар (1561–1623), пьеса весьма посредственная; четвертая – валенсийскому драматургу Франсиско Таррега (1554–1602), также в художественном отношении слабая. «Нумансия» Сервантеса, написанная, вероятно, в 80-е годы XVI в., не была им включена в сборник драматических произведений, опубликованный в 1615 г.; эта трагедия, равно как и драматические картины «Алжирские нравы», была обнаружена только в XVIII в. и впервые вышла в 1784 г. Обе эти драмы относятся к раннему периоду творчества Сервантеса.

263

...по словам Туллия... – то есть Марка Туллия Цицерона, который писал, что комедия должна являться «подражанием жизни» (а не «зеркалом жизни»), «зеркалом нравов и олицетворением истины».

264

...ни одна из четырех частей света не была бы забыта. – В то время Австралия как континент еще не была известна.

265

Пипин – франкский король. Пипин III Короткий (751–768).

266

Карл Великий – король франков (800–814), крупный полководец и завоеватель, значительно расширивший границы своего государства.

267

Император Ираклий – византийский император (610–641).

268

Комедии божественные – пьесы на сюжеты из житий святых.

269

...бесчисленное множество комедий одного нашего счастливейшего писателя... – намек на Лопе де Вега. В составленном Лопе де Вега списке пьес, написанных им с конца 80-х годов XVI в. до 1602 г., числится 219 драматических произведений.

270

...они создают новые секты и новые правила жизни... – Во второй половине XVII в. инквизиция обнаружила «еретические» элементы в «Амадисе Галльском».

271

Лузитания – древнее название территории, на которой впоследствии образовалось португальское государство.

272

Вириат – лузитанский пастух, предводитель восстания лузитанцев против римлян (151–140 до н. э.).

273

Граф Фермам Гонсалес – легендарный деятель реконкисты, освободивший Кастилию от власти мавров. Ему посвящены «Поэма о Фернане Гонсалесе» (XIII в.) и множество романсов.

274

...в Валенсии – Сид – Сид Руй Диас был родом из Бургоса. Прозвище «Сид» он получил после завоевания у мавров Валенсии.

275

...в Андалусии – Гонсало Фернандес. – Речь идет о так называемом «великом полководце» Гонсало Фернандесе Кодовском, который был родом из Монтильи, селения в Андалусии.

276

Флорипа и Ги Бургундский – В одном из сказаний, связанных с Двенадцатью Пэрами Франции, рассказывается о том, что прекрасная Флорипа, дочь мавританского адмирала Балана, оказала у себя приют Двенадцати Пэрам, в том числе и Ги Бургундскому, которого она полюбила.

277

Мантибльский мост – согласно тем же сказаниям, находился во владениях упомянутого Балана, его охранял свирепый великан Галафр.

278

Гварин Жалкий – герой итальянского рыцарского романа (XIII в.).

279

Священный Грааль – согласно средневековым сказаниям, чудодейственная чаша из цельного алмаза, в который якобы собрана была кровь распятого Христа. В многочисленных рыцарских сказаниях и романах рассказывается о подвигах и самопожертвовании рыцарей, отправлявшихся на поиски этой чаши.

280

Тристан и королева Изольда – герои средневековых рыцарских поэм и романов (XI–XII вв.), в которых описывается любовь Изольды, жены корнуэльского короля Марка и племянника короля Тристана.

281

Пьер и прекрасная Магелона – герои французского рыцарского романа «История прекрасной Магелоны, дочери короля неаполитанского, и Пьера, сына короля провансальского» (XIII в.).

282

Жоан ди Мерлу – португальский дворянин, который в 1433 г. отправился в другие страны помериться силами с чужестранными рыцарями.

283

Педро Барба, Гутьерре Кихада – испанские рыцари, предпринявшие в 1435 г. путешествие в другие страны с той же целью, что и ди Мерлу.

284

Фернандо де Гевара – испанский дворянин; сражался на поединке с австрийским рыцарем Георгом в Вене в 1436 г.

285

...в Честном бою – точнее, в «Книге о честном бое Суэро де Киньонеса», написанной Перо Родригесом де Лена, очевидцем турнира, и спустя почти столетие переработанной и выпущенной в свет Хуаном де Пинеда (1588). Необыкновенный бой, о котором рассказывается в этой книге, возник по почину Суэро де Киньонеса, который дал обет носить на шее железное кольцо в знак того, что он пленен красотою своей возлюбленной. Чтобы освободиться от этого обета, он предложил биться вместе с девятью своими друзьями с любым рыцарем, соотечественником или чужестранцем, защищая проход через мост в шести милях от Леона. В этой дуэли участвовало множество рыцарей.

286

Мосен Луис де Фальсе – наваррский рыцарь, сражавшийся на поединке с кастильским рыцарем Гонсало де Гусманом в 1428 г.

287

Пэр – по-французски равный.

288

Ордена: апостола Иакова (Сантьяго), Калатравы, Алькантары – духовно-рыцарские ордена, возникшие в Испании в начальный период реконкисты; орден Иоанна – иоанниты.

289

Написали следующее *(лат.)*

290

Язон (миф.) – предводитель аргонавтов, отправившихся на поиски золотого руна.

291

Катай – так назывался в средние века Китай.

292

В похвалу Дульсинее Тобосской *(лат.)*

293

Сьерра Негра то же, что Сьерра Морена – горная цепь, отделяющая Кастилию от Андалусии.

294

Беллона (миф.) – богиня войны у римлян, сестра Марса.

295

Брильядор – конь Роланда.

296

Баярд – конь рыцаря Ринальда.

297

Стих из XXX песни «Неистового Роланда» Ариосто: «Другие, может статься, воспоют (это) с большим поэтическим блеском» *(ит.).*